МИТРОПОЛИТ

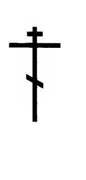
ВЕНИАМИН

(ФЕДЧЕНКОВ)



На рубеже двух эпох

НАСЛЕДИЕ



МИТРОПОЛИТ

ВЕНИАМИН

(ФЕДЧЕНКОВ)



НАСЛЕДИЕ

МИТРОПОЛИТ

ВЕНИАМИН

(ФЕДЧЕНКОВ)



На рубеже двух эпох

Издательство «Отчий дом»
Москва. 2016

УДК 94 (47)
ББК 86. 372
В-29

Рекомендовано к публикации
Издательским Советом
Русской Православной Церкви
(ИС Р16-557-3843)

Вениамин (Федченков), митрополит
В-29 На рубеже двух эпох. – М.: Издательство «Отчий дом», 2016. – 704 с. (Серия «Наследие»).

«На рубеже двух эпох» — уже полюбившаяся читателю книга воспоминаний митрополита Вениамина (Федченкова, 1880–1961). Владыка был свидетелем трех революций, двух мировых войн, жил в годы гонений на христиан, в эмиграции на себе ощутил всю тяжесть церковного раскола. Митрополит Вениамин пишет о своей жизни, вспоминает пережитое, но благодаря дару смирения в центре повествования оказывается не его личность, а время, в которое он жил, и люди, с которыми встречался. Владыка — талантливый рассказчик, чуткий наблюдатель, у него внимательный глаз и острая память, и потому картины событий, выходящие из-под его пера, становятся живыми, а портреты современников — святого праведного Иоанна Кронштадтского, императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, П.Н. Врангеля, Г.Е. Распутина и многих других — яркими и запоминающимися.

УДК 94 (47)
ББК 86. 372

Издательство благодарит за предоставленные фотографии Р.Ю. Просветова и М.А. Климкову

ISBN 978-5-906241-19-1

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

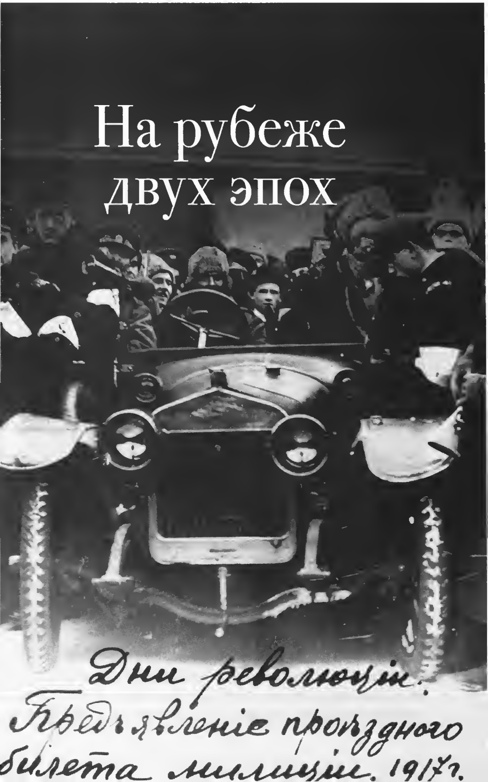
Митрополит Вениамин (Федченков, 1880–1961), выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, духовный писатель, проходил жизненный путь на рубеже столетий, в трагическое для нашего народа время. Он был свидетелем революционных событий, во время гражданской войны занимал должность главы военного духовенства в Русской армии барона П.Н. Врангеля, более четверти века провел в эмиграции и после Второй мировой войны вернулся на родину. Владыка хорошо знал жизнь разных сословий: родившись в семье дворового человека помещиков Боратынских, который застал еще крепостное право, уже в зрелом возрасте он в течение пятнадцати лет был экзархом Российской Православной Церкви в Северной Америке. Митрополит Вениамин был членом Всероссийского Поместного Собора в Москве в 1917–1918 гг. и Всезаграничного Карловацкого Собора в Сербии в 1921 г. Свидетель и участник многих значительных исторических событий, владыка Вениамин, обладавший даром повествователя, написал о том, что видел и что пережил. Так появилась книга воспоминаний «На рубеже двух эпох».

Митрополит Вениамин описывает свою жизнь в деревне, учебу в семинарии и академии, церковное служение на Родине и за границей и одновременно эпохальные события в масштабе страны и мира: революционные перевороты, войны, эмиграцию из России. Как он сам оговаривается в предисловии, он не рассказывает о «всей жизни своей сполна», а останавливается «преимущественно на общественной стороне пережитого». И о церковных событиях истории говорит «по преимуществу и больше для того, чтобы уяснить связь их с общественными течениями». «Таким образом, характер этих записей будет собственно политически-социальным, все остальное будет служить материалом для освещения этой общественной стороны на грани двух эпох», — заключает автор.

Когда у владыки появился замысел написать воспоминания, он задался вопросом: архиерейское ли это дело — «заниматься политическо-социальными записками». И вот ответ: этой книгой он «выполняет долг перед Родиной», а «всякое патриотическое дело нашей Православной Церковью считается нравственным». Работа над книгой воспоминаний была служением своему народу, и автор постарался быть максимально точным, объективным и искренним.

Впервые книга была издана в 1994 году с предисловием и комментариями А.К. Светозарского. Нынешнее издание подготовлено с учетом изменений, произошедших в нашей стране за последние годы. Текст владыки публикуется полностью, без изъятий, по авторской машинописи, хранящейся в библиотеке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

На рубеже двух эпох





Митрополит Вениамин в своей келье
в Псково-Печерском монастыре

ПРЕДИСЛОВИЕ

Жизнь моя идет уже к закату, хотя один Бог знает, сколько еще придется утешаться Божьим миром и его красотами. Кое-что мне пришлось видеть за эти шестьдесят с лишним лет. И иногда самому приходила мысль записать кое-что из пережитого, советовали то же и друзья. Но все как-то откладывалось это решение. А в это лето мне пришлось познакомиться с новым советским консулом в Соединенных Штатах Евгением Дмитриевичем Киселевым[1]. С его позволения, я на первый раз поделился несколькими биографическими фактами из моей жизни, попутно освещая и принципиальные вопросы момента. Выслушав меня очень внимательно, он неожиданно для меня сказал следующее:

— Вам все это нужно записать.

— Почему?

— Вы жили на рубеже двух эпох, много видели в обеих — все это само по себе интересно. Но думаю, что это было бы важно и для истории: она будет писаться на основании разных документов, а ваши воспоминания незаурядные, вы приняли новую эпоху не легко и не сразу, потому ваши переживания особенно важны как материал для будущего историка.

Удивившись такому предложению, я стал немного возражать консулу, не зная, однако, что решить. Видя мое смущение и догадываясь отчасти о некоторых мотивах его, Евгений Дмитриевич поспешил на выручку:

— Конечно, вас может останавливать ваше религиозное убеждение: не будет ли это занятие признаком самолюбия? Но посмотрите с другой точки зрения: как на

нравственный долг перед Родиной... Впрочем, конечно, ваше дело — поступить, как хотите.

— Спасибо! Я подумаю.

И вот решил начать эти записки. Таким образом, они в конце концов обязаны совету консула, и если будет что-нибудь интересное для истории, то поблагодарить нужно и Евгения Дмитриевича Киселева. Ему же я обязан и самим заглавием.

Заранее оговариваюсь, что я не собираюсь описывать всю жизнь свою сполна, а остановлюсь преимущественно на общественной стороне пережитого. Не буду углубляться здесь в духовную сторону моей личной жизни — хотя собственно в ней лежал и лежит центр моей души. И на церковных событиях истории буду останавливаться по преимуществу и больше для того, чтобы уяснить связь их с общественными течениями. Таким образом, характер этих записей будет собственно политически-социальным, все остальное будет служить материалом для освещения этой общественной стороны на грани двух эпох.

Разумеется, я не придаю своим записям какого-нибудь особого значения, но вот так думал один из архиереев Русской Церкви этого времени.

Никакими другими справками я не намерен подтверждать свои воспоминания: буду писать так, как это представляется мне теперь, в данный момент. Надеюсь писать искренно. А теперь — с Богом в путь! Кажется, он будет не коротким, но запишу то, что почту интересным и для себя, и для читателей.

И еще одно размышление. Может быть, кому-либо покажется не архиерейским делом заниматься политико-социальными записками. Но, как сказано, выполню долг перед Родиной. А всякое патриотическое дело нашей Православной Церковью считается нравственным: будет ли это служение на войне или в партизанах, или творчество писателей на пользу Родине, или же послания на-

шего Первоиерарха, митрополита Московского Сергия[2], воодушевляющие народы на борьбу с современными врагами человечества — немцами, или сбор денег на танковые колонны[3], или речи в защиту нашей Родины, или вот эти записки в поучение потомству, — все такое, связанное с именем Родины, Церковь, верую, благословляет и благословит.

Несомненно, у архиерея есть более высокие и специальные духовные задачи: религия, внутренняя жизнь души, церковное устройство, наставления о вере, богословские труды. Среди моих рукописей лежит довольно материала и по этим вопросам. Но всему — особое время: иногда и архиереи могут больше отдаться общественным делам, не забывая, конечно, главного своего дела: *молитвы и служения словом,* благовестия, — как сказали в свое время апостолы, избирая специальных семь диаконов на общественное обслуживание бедных, сирот и вдов в первые дни христианства, чем сначала занимались сами апостолы (см.: Деян. 6, 1–6). И наша Церковь всегда шла с жизнью своего народа: история преодоления татарского ига, изживание Смутного времени, двенадцатый год, благословение освобождения крепостных крестьян, теперь сотрудничество с Советским Союзом народов, — все это благословляет и меня.

Итак, Господи, благослови!

ДЕРЕВНЯ

Мой отец, Афанасий Иванович Федченков, родился крепостным. Его отец, Иван Ильич, и мать, Наталья, принадлежали помещикам Бельского уезда Смоленской губернии Боратынским. Иван Ильич был плотником и столяром на «дворне». Так назывались крепостные крестьяне, служившие в помещичьем хозяйстве, или, как говорили, «имении», в отличие от крестьян-земледельцев, живших в деревне (или в селе, если там был храм). К дворне относились: управляющий барским имением, или иногда «бурмистр»; чином ниже — конторщик, заведовавший письмоводством; приказчик, исполнявший приказания управляющего по сношению с народом; после, в мое время, называли его «объездчиком», потому что его всегда можно было видеть верхом на лошади с кнутом или приглашающего крестьян на полевые работы, или наблюдающего за исполнением их. Я помню такого объездчика — Тимофея Ивановича и его жену, всегда розовую женщину. Ее именем никто не интересовался, довольно было, что она «жена Тимофея Ивановича». Не знали и фамилии их. Зачем это знать о «маленьких» людях? От многолетней езды у него и ноги выгнулись колесом, нос был всегда красноватым: вероятно, укромно выпивал, но это никого не касалось. Потом шли: ключник, владевший ключами от амбаров с хлебом; садовник, выращивавший господам (а иногда — еще раньше — и управляющему) ранние огурцы, дыни, ухаживавший за стеклянной «оранжереей» при барском доме с персиками и разными цветами. Повар на барской кухне. Лакей в барском доме, экономка, горничная, ко-

торых мы мало и видали, как и вообще господ; кузнец, плотник, кучера — один или два специально для барской конюшни, он же почтарь, а третий — для управляющего и общей конюшни. Собачник, ухаживающий за целым особняком с гончими собаками для барских охот. При мне был кривой на один глаз, Иван Родионыч, старый вдовец. Потом пчеловод; помню иконописного бородатого старца удивительной кротости, его можно было видеть лишь на огороде под горой, где был и чистенький пчельник; там он и жил, как настоящий отшельник, а зимой переходил в подвальную комнату «под Тимофеем Ивановичем». Звали его Михаилом Нестеровичем. Он был братом Андрею Нестеровичу Заверячеву, управляющему в «нашем имении», а сын Андрея Нестеровича, Михаил, мой крестный, управлял уже в мое время, после панщины. Ну, потом были разные подручные помощники: заведующий овчарней, птичница, коровница, пастух и прочие. Овчар «у нас» был Гавриил Андреевич. Фамилиями мы мало интересовались: разве уж кто выделялся особо... Ах, какой это был умный и способный человек! И хитрый, но хитрость — от ума: нужно было ко всем прилаживаться, и у него уже выработалась слащавая улыбочка, когда он говорил с высшими себя. Ну, а на рабочих властно покрикивал, когда нужно было. Если бы ему дано было образование, был бы из него большой дипломат. Голова! Слышал я, что у него семья живет бедно (он имел избу в деревне почему-то); но какое кому дело, что кто-то живет впроголодь? Об этом мало думали тогда... Пастух был последним в ранге всех этих служащих, и когда хотели указать на самое низкое и бедное житье, то говорили: «Смотри, а то пастухом будешь». И всех нас звали «дворней», вероятно, от слова «двор», «придворные». Помещичий же дом был по подобию царского дворца, центром, а мы, все окружающие, и составляли его «двор», или, говоря более униженно, «дворню».

Ни мы сами себя, ни даже земледельцы-крестьяне нас не очень высоко почитали, так что слово «дворня» произносилось скорее с неуважением, хотя мы, собственно, составляли уже промежуточный слой между высшим, недосягаемым классом «господ» и «крестьян», «мужиков». Управляющий же, бывший фактически господином над всеми нами и «мужиками», занимал уже исключительное положение, близкое к барскому.

Вся эта дворня, включая и управляющего, была безземельной и до, и после освобождения крестьян, потому вся жизнь зависела исключительно от помещика и управляющего. Лишись мы «места», службы, и тотчас же становился перед нами вопрос, чем и как жить, чем питаться, где найти просто место для избы, для существования под солнцем. Но странно, как-то мало об этом думали не только господа наши, но и мы сами.

У крестьян, тогда большей частью звали их мужиками, так буду звать их дальше и я в записках, был хоть какой-нибудь кусок земли, прежде барской, а потом и собственный клочок. А у нас, безземельных, — ничего: ни избы (так звали наше жилье в отличие от барского дома или дома управляющего), ни земли для постройки, ни огорода даже.

Я описываю все это по своей памяти, хотя и родился через 20 лет после освобождения крестьян, но старый быт дворни еще хранился по традиции почти целиком, и я отлично все помню.

Чтобы кончить с описанием жизни в имении, нужно рассказать еще особо о самих господах.

Господа жили всегда среди прекрасного сада в замечательном, как мне тогда казалось, дворце. Этот барский дом для нас был недосягаемым: никто из простых смертных туда не допускался. И мне он представлялся (хотя я никогда так и не удостоился видеть ни одного барского дома целиком) волшебным замком, раем на земле, где живут существа необыкновенные, не как мы. Впервые

я имел волшебное счастье попасть в дом Боратынских, когда мне было года три-четыре. Господа (я помню лишь единственный этот случай) на Святки устраивали своим детям елку и, вероятно, после них приглашали на нее и детей дворни с родителями, заготовив для них гостинцы — сласти. Это было зимним вечером. Чтобы довезти нас до барского дома и отвезти обратно домой, нам дали с конюшни буланку с санями. Звездное небо, искрящийся снег, скрип санных полозьев — вся эта красота и сейчас стоит перед моим взором, как живая. Но когда нас провели в барский зал, то я от восторга не знал, где я, не в раю ли? «Невероятно» высокие потолки, красивое убранство зала, «необыкновенные существа» — господа, такие все красивые и нарядные, все улыбаются. И среди всей этой волшебно-сказочной прелести еще огромная елка до потолка: с зажженными, мерцающими свечами, серебристыми нитями, со звездами, игрушками, сластями. Нас водили хороводом вокруг нее... Потом раздали подарки, и буланка доставила нас «с неба на землю». Кажется, я и спал еще в очаровании, больше уже никогда не повторившемся в такой яркой силе красоты.

Кругом дома — обычно красивый парк, иногда целая роща, аллеи, клумбы цветов, и всегда особый подъезд, в начале которого два белых столба, иногда перекрытые, как арка. Никому эти столбы не нужны были, но они отделяли жизнь простых людей от небожителей. И хорошо помню — эта застава производила на меня в детстве торжественное впечатление: отселе начнется особый мир! А в одном имении в столбах такой арки были клетки для медведей, и я еще сам видел их.

В главном селе был храм. Он обычно строился рядом с парком. Тут же, внутри кирпичной ограды, было барское кладбище, где хоронили семьи усопших помещиков и священников, а диаконов и псаломщиков, если не ошибаюсь, хоронили уже на общем кладбище. Классовое различие распространялось даже и на клир.

Например, на праздники Пасхи, Рождества и Крещения, когда духовенство посещало с молебнами дома господ, то священник и диакон приглашались потом к столу в барской столовой, а дьячок должен был кушать в лакейской комнате, как низший по рангу. И никого это не удивляло, такие порядки были искони... Ворочусь к кладбищам. В ограде церковной стояли мраморные красивые памятники с мерцающими, неугасимыми, кое-где разноцветными лампадами в углублениях и с соответствующими надписями из слова Божия. Между ними — чистая дорожка, усыпанная песком. И все это укрывалось под листвой долголетних деревьев. В свободной от могил передней части внутриоградной земли был лужок: здесь летом сидел народ, дожидаясь службы, или в перерыв между утреней и Литургией.

За оградой, в десяти – двадцати шагах, было (это, конечно, не везде так) другое маленькое кладбище, окопанное рвом и обсаженное сплошными кустами колючей акации. Здесь вот хоронили из дворни, да и то не всех, а кто повыше; тут ставили на могилах деревянные кресты.

А вдалеке, приблизительно в версте, было уже общее мужицкое кладбище. Тут уже не было ни ограды, ни кустов, а только старая-старая уже канавка, уже почти заравненная от времени землей. На могилах кое-где были кресты, а то — один лишь уцелевший основной кол. Все заросло травою; и только, будто придумано для цельности картины заброшенного места, росла одинокая небольшая березка. А в углу кладбища также уединенно стояла большая ветряная мельница. Когда-то, в «незапамятные» времена, сорвало бурей крылья и весь деревянный верх, а кирпичный нижний очень высокий остов сохранился, и его далеко видно было, место было возвышенное. И такое уныние было это третье кладбище, вдали от людей, жилья, среди голого поля... Но с ним связывается у меня одно умилительное воспоминание.

Был засушливый год. Я уже был тогда студентом духовной академии и по обычаю и любви пел на клиросе с дьячком Павлом Андреевичем Космодамианским (фамилии-то какие традиционные!). Он обладал прекрасным нежным тенором и ходил еще с длинной косичкой и в подряснике, по старому обычаю. А история его голоса — тоже не случайная. В стародавние времена помещики, строя храмы, заботились и о хорошем пении в них. Таким любителем был и барин Михаил Сергеевич Боратынский, о котором еще расскажу после. И вот он, как рассказывала мне мать, сам подбирал и в члены клира, и в среду своих дворовых людей с голосами. Таким был и Павел Андреевич, помнивший еще крепостное право. Хор давно распался, а он, оставшийся от вырубленной рощи дуб, украшал богослужение. И он знал красоту свою, но проявлял это очень редко, когда — по праздникам — напивался до потери своей шляпы. Отстав от прочего духовенства через пять-шесть домов для угощения, он все же приходил на клирос в растрепанном виде к пасхальной вечерне. Но я вместе с братом замещал его по службе. Скрестивши на груди руки, он пытался петь, но ничего не выходило у него. Видя же, что «все в порядке» на клиросе, он оглядывал нас с нескрываемым презрением как никудышных певцов и, шатаясь, уходил из церкви на продолжение своего удовольствия. Но в другое время — это было безответное скромное существо, терпеливо несущее свой жизненный крест и служение Богу.

И вот однажды после Литургии группа мужиков подходит к нашему клиру и просит передать в алтарь батюшке (у нас в то время был очень хороший и культурный священник, обремененный, как и большинство духовенства вообще, большой семьей):

— Просим молебен по полям совершить... о дожде...

Павел Андреевич ушел в алтарь доложить о просьбе, а мужики обратились ко мне:

— Афанасьевич (по отцу называли у нас в знак уважения и приятельства), ты уж тоже походи с нами и помолись.

— Хорошо, — согласился я.

Мужчины и женщины взяли крест, хоругви, иконы и под трезвон колоколов направились... куда же? На общее кладбище свое... И там мы отслужили сначала панихиду по всем усопшим. Оказалось, как мне разъяснил по пути к кладбищу батюшка, исстари велся этот обычай: живые молились по умершим, чтобы те помолились там Богу о нуждах живых своих потомков и близких... Мудрый и умилительный обычай святой Руси... И вот, когда мы отпели панихиду, Павел Андреевич в своем подрясничке, с непокрытой головой, грустно подперев правой рукой подбородок, сказал мне тихо, смотря в землю:

— Я думаю: сколько, чай, здесь лежит святых?

— Каких святых? — с удивлением спросил я его. А кладбище стояло уже другое столетие...

— Да как же? Как терпели-то! Крепостное право легко ли было переносить? А несли без ропота до смерти...

И он замолчал задумчиво, точно вспоминая картины тяжелого прошлого и еще так недавнего. Молчал и я.

В это время наши родные женщины-богомолочки бросились по разным концам кладбища, к родным бедным могилкам, и кое-где послышался жалобный плач... Потом мы пошли с пением молитв по полям. Что это были за горячие молитвы! Я и сейчас, когда пишу данные строки, не могу удержаться от слез жалости и умиления к этим Божьим детям... И не раз на полях приходили мне такие мысли: «Господи! Ты не можешь не услышать этих бедных чад Твоих! За эту веру их, за слезы Ты дашь им, что нужно им! Дашь! Дашь!» — почти требовало чуда сердце мое.

И было оно... В тот ли день или на другой пошел дождь... И не помню я из своей жизни случая, чтобы такие молебны вообще оставались без исполнения.

Недаром же и Лесков в хронике «Соборяне» отметил про протопопа Туберозова подробность: когда его звали служить молебен о дожде, он неизменно надевал калоши и брал зонтик, потому что верил: дождь будет![4]

...Чтобы кончить уже о храме, вспомню одно предание из истории создания его, лет 130 тому назад. Строили его Боратынские. Но они пригласили к участию и соседнего помещика Артыганьева. Тот будто бы отказался, не знаю почему. Может быть, был «вольтерьянцем» тогда? Боратынский Абрам Сергеевич (отец поэта Евгения Абрамовича, современника Пушкина[5]), один выстроил храм с колоннами, в стиле ампир, времен Александра I. А на трех фронтонах его, под треугольным навесом, он велел написать (если мне не изменяет память) следующие изречения из Писания: на стороне, обращенной на запад, к селу, — такие слова: *Вниду в дом Твой и поклонюся храму святому Твоему* (Пс. 5, 8). Это относится ко всем вообще. А на правой, южной, стороне, обращенной к парку (у нас называли его садом), было написано: *Благословен Грядый во имя Господне!* (Мф. 21, 9; Пс. 117, 26) — это благословение относилось к благочестивым храмосоздателям. На третьем же фронтоне, обращенном к отказавшемуся Артыганьеву, было изображено: *Да будут очи твои отверсты на храм сей день и нощь*! (3 Цар. 8, 29), то есть: смотри и казнись совестью как виноватый. Конечно, эти слова можно истолковать и в хорошем смысле — постоянной памяти о месте Божия присутствия и молитвы. Но вот такое предание почему-то передавалось и дошло до меня, не было ли и в самом деле огня для этого дыма?

А по связи вспомню уж и о другом предании. Упомянутый выше Михаил Сергеевич Боратынский выстроил недалеко от барского дома, но все же в отдалении от него, другой — длинный одноэтажный «флигель» (уже иное имя), который назывался «флигель Марьи Григорьевны». Здесь романтическая подкладка. Молодой

барин служил офицером где-то на украинской Полтавщине и там встретил крестьянскую девушку Марусеньку. Любил ли он ее или побуждала его совесть, а может быть, он уж и повенчался с нею в церкви, но только, возвращаясь в родное поместье, Михаил Сергеевич взял с собою и Марью Григорьевну. Однако не посмел сразу явиться с ней в барский дом, а оставил ее сначала у крестьян деревни Осиновки, в четырех верстах от своего дома. И уж потом сообщил своей матери неожиданную новость, что он не один, а с любушкою. Мать, как говорит предание, сняла туфли со своей ножки и отхлестала сына по щекам. Потом приказала ему привезти Марью как законную жену в общий дом. Но не выдержала барской жизни украинская крестьяночка: все непривычно было для нее в чужом классе. Тогда барин и построил для себя с нею этот флигель, за заставными столбами, ближе к селу, у дороги. А она обсадила его кругом деревьями. Говорили про нее: любила она ходить к мужичкам родным, и ее жалел и любил народ. Но несчастлива была ее жизнь: она начала пить, а потом и скончалась скоро. От нее остался сын Владимир, и тоже был бедным алкоголиком, так что и ему пришлось выстроить особый домик возле барского. Я его помню... И он умер раньше времени холостяком... Нелегко уживались вместе люди разных классов, хотя одной родины и веры...

Но и о Михаиле Сергеевиче сохранилась в народе добрая память. Он был потом крестным отцом моей матери. Как можно думать и видеть, он был уже более простым по душе человеком, чем его предки. Жизнь постепенно начала изменяться и изменять людей.

Однако даже и в мое время помещичий и богатый класс жил совершенно обособленной от народа жизнью. И встречались мы с ними лишь в храме: это было единственное место общения, где перед Богом все были равны. Правда, и тут для них были особые отгородочки впереди, но никто из молящихся не дивился этому и не

осуждал их. Зато все одинаково каялись в грехах перед общим духовником, причащались из одной Чаши, стояли рядом в одном храме, молились одному Богу и ревностно ожидали одной участи — смерти, хотя и на разных кладбищах.

И, пожалуй, нужно сказать, что у благочестивых помещиков было добросердечное отношение к крестьянам. Но были и другие: жили только для себя и мало думали о народе и «меньших братьях». Это были два чуждых класса.

Пошли новые времена. Соседнее имение, после роскошной жизни Башмаковых, перешло к либеральному члену Думы Маркову[6], но от этого никому не стало легче. Расскажу пример. У моих родителей, как безземельных, не было места, где бы поставить домик, а рядом был кусочек земли, принадлежащий этому Маркову. Он находился на взгорье, около оврага, и оставался без употребленья. Я, уже студентом, отправился к нему с просьбой продать этот крошечный участок. Но он даже не стал разговаривать со мною. Другой случай. Прямая дорога из разных деревень в город шла через усадьбу этого Маркова; ни крепостники Артыганьевы, ни Башмаковы не запрещали мужикам пользоваться ею. А Марков обнес свое поместье забором в две версты и закрыл путь проезжим. Пришлось делать объездной круг на версту больше, и притом по неудачной узкой дороге. И опять народ молчал: будто так и нужно. Стали мы ездить и ходить кругом и тоже мирились спокойно. Но все же «разговор пошел» уже на этот раз: уже близились предреволюционные годы... О них после.

Еще я помню ребенком старого барина Андрея Ильича Боратынского. Это был грузный старик, со строгим взором, большими седыми усами. Как больного его возил по имению на коляске сильный лакей из бывших фельдфебелей. Мы, особенно дети, не смели даже и подойти близко к нему. Скоро он умер, кажется,

от сердечного удара. И это весьма болезненно ударило по всей нашей семье. Но о том речь еще впереди.

Помню и барина известной семьи Чичериных: суровый и недоступный был старец, с седыми густыми бровями. Не помню случая, чтобы он говорил когда-нибудь с крестьянином. После службы в храме молча уходил он по «средней дорожке» рощи (были еще «верхняя» и «нижняя») домой со своей женой, Софьей Сергеевной Боратынской. Люди молча снимали шапки и кланялись ему, он молча откланивался, и пути их опять расходились. Народу разрешалось обходить рощу тоже кругом, по «верхней» дорожке, но по «средней», которая вела к дому, ходили помещики да дворня...

Красивые были места везде... Храм — прекрасный, в стиле санкт-петербургского Исаакиевского собора — был построен ими далеко от дома, ближе к селу и беднякам, чтобы удобнее было народу... Неприветлива и строга была барыня. Она выстроила отличную школу для детей округи, давала ученикам ежедневную пищу на обед из дворовой кухни. На 8 марта, день прилета жаворонков, нам пекли вкусных птичек, в некоторые из них было вложено по серебряному гривеннику. Но все же память сохранила строгий и холодный облик ее. Не помню, чтобы она когда-нибудь улыбалась, как еще менее — муж ее.

Но зато какие были симпатичные, смиренные, богомольные сестры ее, дожившие в девицах до 80 лет и скончавшиеся перед второй революцией.

— Хорошо, что наши барышни не дожили до этих ужасов! — говорили мои родители.

Посещал наши края один из трех «составных частей» «Козьмы Пруткова» А. Жемчужников[7], но и его мы видели лишь издалека, прогуливавшимся с тросточкой по имению М.А. Боратынского, который был женат вторым браком на его дочери. Эта семья тоже была добрыми и благочестивыми людьми.



Елизавета Антоновна Дельвиг, Александра Сергеевна и Анастасия Сергеевна Боратынские с воспитанницами в Маре, усадьбе Боратынских. *Фото 1900-х гг.*

Пришлось мне слышать от достоверных людей об одном помещике-народолюбе. Я после знал его и лично: замечательной души человек! Во время революционного беженства, после вице-губернаторства, шил отлично сапоги. В пути заразился тифом и умер примерным христианином. Но про него мне говорили, что таких, как он, было мало.

Потом пошел новый тип — либерально-революционных владельцев, земцев. Мне их пришлось встречать лишь на земских собраниях, куда я ходил из любопытства... И странно: хотя вход на эти «съезды» в так называемом дворянском собрании был открытым, никто не интересовался ими и не посещал их, а народ просто даже не знал. Этот тип собственников едва ли не дальше был от народного сердца, чем даже иные крепостные господа. Во всяком случае, при разразившейся революции народ не считал их своими, а многие из них пострадали, как и другие из правого лагеря: между этими двумя слоями была вырыта такая уж пропасть, что перешагнуть ее не сумели ни те, ни другие.

Начался приток владельцев из купеческого класса. Я их видел мало. Пожалуй, эти были проще, ближе к народу, потому что их отцы и деды сами вышли из народа. Но богатство ставило стену между ними и народом.

И грозовая буря погнала и эти новые листы вместе со старыми дворянскими куда попало, по заграницам. Чужие, чужие были эти классы. Вот каково мое основное впечатление от прошлого.

Что было раньше, в крепостное время, я могу лишь судить по книгам, устным рассказам да со слов родителей. К этому и ворочусь теперь в истории моего отца.

Как он рассказывал мне (вообще-то он был скромен и молчалив и лишь иногда немного делился воспоминаниями), «университет» его был очень короткий и несложный. За полмеры пшена, полученной от отца-плотника, дьячиха (даже не сам дьячок!) местной церкви



Вознесенская церковь в Маре. *Фото начала XX в.*

На пашне. *Фото начала XX в.*

обучила его немудреной грамоте — читать, писать, считать. Но мальчик, оказалось, был не только способным вообще, но еще и очень красиво писал. Это и определило всю дальнейшую судьбу его семьи. Способности свои он потом передал по наследству нам — детям: из шести человек пятеро учились в школах первыми учениками, и лишь один шел средним, кажется, по причине длительной болезни в детстве...

Я нередко и тогда, и теперь думаю: сколько же способнейших людей существовало на нашей земле! Сколько было бы талантов выращено, если бы им дано было образование! Теперь, в эти последние 25 лет, а особенно на войне, мы с очевидностью убедились, сколько даровитых людей возрастила наша страна из этого «простого» народа, из бывших крепостных! Точно сказочные богатыри, появились там «из земли» ученые профессора, доктора, инженеры, генералы, писатели, летчики, государственные деятели... И все это — почти исключительно из рабочего сословия!.. И здесь, в Америке, во время моих путешествий я столько встречал одаренных рабочих, что иногда удивлялся им: какие из них есть ораторы, умницы, деловые специалисты!

Вот для примера возьму лишь один хотя бы случай из последних дней. Пятнадцатилетний юноша, один из кучи детей, добирается из Гродненской губернии в Соединенные Штаты. Здесь он проделывает довольно обычную историю эмигранта: смазчик машин на сахарном заводе, потом рабочий по выемке земли для проведения собзоя[8], где он сразу был поставлен работать на электрической подъемной машине. Хотя доселе он не занимался этим делом, но пока заведующий рабочими куда-то выходил, наш приятель попробовал одну, другую рукоятку, повертел туда-сюда. «Фозман»[9] воротился и спрашивает:

— Чем занимался?

— Машинами, — смело ответил смазчик.

— Электричеством управлял?

— Управлял, — сказал двухминутный электрик.

— Ну, подними вот эту тачку с землей наверх!

Гродненский землячок повернул рукоятку направо, — тачка поползла.

— Спусти!

Спустил.

— Олл-райт! Оставайся, будешь получать сорок долларов в неделю!

Смазчиком имел лишь двенадцать. Потом приказчиком в огромном магазине, заведующим отделом... Ему доверяют...

Однажды, рассказывал он мне, ему дали два миллиона долларов отнести в банк. «Иду один, и вдруг на уме мысль: а что если скрыться с этими деньгами? Свидетелей же нет?.. Но раздумал: года два нужно скрываться, уезжать из Америки, бояться людей. Нет! И так проживу!» Потом этот, прошедший лишь два класса сельской школы, гродничанин пять лет ведет с успехом газету, изучив предварительно в два месяца технику машин, ведение дел и прочее. А содержание статей, особенно об Америке, он сам просматривал: как бы чего не написали там! И дело шло: он зарабатывал, кормились хорошо сотрудники, шла газета. Но тут однажды подслушал он невольно разговор в автомобиле двух соседей о неспособности русских устраивать дела по погребальному делу.

— Русские дураки, — говорил галичанин-погребник американцу.

«И вот это задело меня: как дураки?! — говорил он мне. — Я отказался от газеты, собрал от знакомых деньги на веру, без расписок, и открыл свое погребальное бюро. Сначала было трудно. Иной раз и десяти центов не было в кармане. Как жить дальше? Но не унываю, креплюсь. Как-то мóю в рабочем костюме автомобиль. Весь грязный. Подходит человек, увидел погребальную вывеску. Оказался немец. Его мать только что умерла, а он из другого места приехал. Спрашивает:

— Может ли ваше бюро скоро похоронить?

— Пойду доложу, — отвечаю.

А сам переоделся во все чистое, причесался: он даже и не узнал меня. Похоронили, получил 1000 долларов. Так и пошло потом».

Кстати, газета после него пропала совсем, и инвентарь продали. Теперь он принимает участие в самых разных делах, и все-то у него идет быстро, гладко и в порядке, без неровности, будто «между делом», и везде успевает. Ему бы, с образованием, можно поручить любой завод, любое предприятие! А может быть, и министром стал бы.

Вот тоже и мой отец, только не с такой энергией, а тихий, методичный. На разные дела мастер. Поправлял, бывало, часы. Годами не шли в помещичьем доме круглые часы в стене. Отдали ему. Он по вечерам разбирал, перечищал, собирал. И часы затикали. Ему сказали: «Спасибо». А его никто никогда не учил этому искусству. Да и инструментов у него было немного: конечно, перочинный нож, отверточки, стамесочки, плоскогубцы, да... своя голова. Была у него жестяная высокая коробка, где все это было сложено вместе с молотками, старыми гвоздями, обрывками проволоки, испорченными замками и прочим. Мать называла эту коробку «магазин отца»... И бывало, при нужде там всегда можно было найти что-нибудь. И плотничал он, и столярничал. После нам пришлось арендовать десятину земли, так он — косил отлично. И петь мог тенором. И управлял молотилкой.

Но особенно поражал меня его интерес к звездному небу: он знал имена многих созвездий и объяснял нам. Бывало, сидит вечером таково — тихонько смотрит на небо, покуривает «цигарку» с махоркой и молча думает, думает. Уже семинаристом, «ученый», я рассказывал ему о планетной системе Галилея-Коперника. Он знал о ней откуда-то. Может быть, из календаря Гатцука[10], откуда

малограмотная Русь тогда получала всемирное образование... Помолчав немного, он скептически заявил:

— Нет, это не так! Слишком далеко бегать Земле вокруг Солнца.

— А как же, папа, думаете?

И он начал развивать мне свою собственную систему, очевидно, давно им выношенную в минуты вечерних созерцаний. По его мнению, Солнце «висит» неподвижно «наверху», а Земля делает круг свой «внизу» под ним, поворачиваясь, как должно, для перемены дня и ночи и времен года. К моему позору, я не мог опровергнуть его системы. Так он и остался несогласным с Коперником! Кто знает: дай ему тихий ученый кабинет, из него, при его методичности, вышел бы недурной астроном... Интересовался, конечно, он и идеей «вечного движения», как все самоучки... А другой земляк наш, старый мельник, с обвисшими усами и лохматой бородой, с подслеповатыми глазами в огромных очках, Авксентий Ильич, думал, что он уже открыл это самое при помощи водяных турбин... Никто, конечно, кроме меня да моего отца отчасти, не знал и не интересовался думами этих русских мыслителей-самоучек. А теперь им дан ход на Родине...

Но тогда иные были времена: культурой пользовались лишь высшие классы да отчасти лишь горожане.

Когда отцу моему было лет 13–14, то помещики Боратынские послали его, как хорошего писца, в другое свое имение, из Смоленской губернии в Тамбовскую.

Крепостное право имело железные свои законы и обычаи, и мало кто из крепостных думал о ненормальности и бесчеловечности этих «прав» человека на человека. Отнимают мальчика от отца, матери (не знаю, были ли другие дети в семье), и никто не смеет даже задумываться, хорошо ли это, больно ли родителям, полезно ли безнадзорному «хлопчику».

Такова воля помещика, а может быть, лишь бурмистра, и почти еще ребенка отправляют на «перекладных»

за 700 верст в другой край. Но так думаю лишь я, отец же решительно никогда не обменивался жалобой на этот «порядок». Наоборот, ему казалось, что так и следовало. Во всяком случае, как-то рассказывая один раз об этом длинном путешествии зимой на лошадях, он с тайным удовольствием вспоминал, что в лесу на них напал разбойник и уже разрезал сзади кибитку, но кучер услышал это и особым кнутом, с чугунным кистенем на конце, ударил вора наотмашь через весь возок и ускакал... Что стало с разбойником, не помню рассказа...

Отец вообще любил, как и все деревенские люди (да и одни ли они?), все особенное, страшное, сверхъестественное, сказочное. Бывало, везет нас с братом Михаилом из уездного училища домой на Святки. В поле на семь верст ни души, ни дерева, лишь лошадь впереди, да снегом крутит вьюга. Лощины... По дорогам соломенные вешки стоят, качаясь во тьме, как живые люди. У нас только глаза и носы открыты из шуб и башлыков. А отец рассказывает, как вот в этом самом месте «оборотень» появлялся. Кажется, что были бесы, но только не очень злые, а больше пугающие и путающие добрых людей с пути. И почему-то эти существа любили «оборачиваться» преимущественно в диких свиней. Вероятно, это отголосок из евангельского события о вселении изгнанных Господом бесов в гадаринских свиней, бросившихся потом в Геннисаретское озеро и утонувших (см.: Мк. 5, 1–20). Но иногда оборотни принимали вид собак, волков, вообще недобрых животных. Пробежит такая свинья перед мордой лошади поперек дороги, и видишь ее, вдруг она исчезнет... потом опять явится где-нибудь... Мы слушаем затаенно, и нам страшно... Вешки во тьме нам уже готовы казаться оборотнями. А отцу интересно рассказывать: точно он сейчас вот видит все это...

Кстати, припомню и действительный случай. Мой бывший духовник, ученейший епископ, знавший одиннадцать языков[11], ехал из Москвы в Санкт-Петербург

с другим моим знакомым, студентом академии, а после ученым монахом, и оба они совершенно ясно видели, как параллельно поезду за окнами несся по воздуху черный пес. По совету духовника, молодой испуганный юноша уткнулся в колена ему, пока видение не исчезло... Не все так просто, как кажется иным мудрецам!

А один профессор Московского университета даже написал целую книгу: «Простые речи о мудреных вещах»[12], где собрано много фактов из сверхъестественного мира. Народ наш верил в это. И если мы признаем за ним большой здравый смысл, то не нужно раньше времени смеяться над нашими отцами и дедами. Недаром еще Гейне, поэт из евреев, написал: есть на свете вещи, которые не снились и мудрецам[13]... Но вспомню снова об отце.

Доехал мальчик до нового имения Боратынских в деревне Вяжли (вероятно, по имени речки Вяжля, которая крутилась узлами, пока не впадала в Ворону, Ворона — в Хопёр, Хопёр — в Дон). Еще это село называлось Ильянкой, по имени старого барина, Ильи Абрамовича. Вообще села и деревни назывались большей частью по именам, а иногда по фамилиям владельцев: Софьинка, Натальевка, Марьинка, а иногда — Артыганьевка, Веденеевка, Рачинка (по фамилии известного педагога С. Рачинского[14]); иногда же как-то неожиданно: Царевка, Ядровка, Дербень, Умет, Чутановка, Кананс. Были деревни Осиновка и Березовка, хотя там я не видел уже ни одной осины и березы...

И дальше я не помнил, чтобы отец рассказывал что-нибудь о своей личной жизни в течение последующих шестидесяти лет. «Маленькие люди», что тут рассказывать? А литература писала о «дворянских гнездах» да еще о горожанах. О народе же лишь изредка говорили что-нибудь в книгах: «Записки охотника» Тургенева, рассказы Толстого, «Мужик Марей» Достоевского, Глеб Успенский, потом Горький, Чехов, немного Бунин,

Гусев. Но народ наш совершенно не знал этой литературы. И только теперь, в наше время, стали писать авторы из народа, о народе и для народа. И вдруг мы, интеллигенты, неожиданно увидели целый живой мир там! Оказалось, и у «мужиков» и «баб» страсти и нежная любовь, страдания и счастье, борьба и победы, грехи и чистота, грубость и благородство души, вера и сомнение, разбой и жалость к преступникам, искание правды и терпеливое примирение с бедностью, горем и людским насилием, печаль-тоска и разудалое веселье, бунт и терпение, темнота и стремление к знанию, жалость, а еще более — милосердие, себялюбие, а больше — жертвенность.

Все человеческое, и такое подчас глубокое, тонкое, деликатное, что умиляешься. Да, мы знаем и странное в нем. Например, моя нянька Арина, помогавшая нашей многодетной матери выпестывать детей, терпела смертные побои от мужа — пастуха Василия, уходившего чуть не на полгода с чужими овцами в степь. На вид симпатичный блондин, он почему-то всегда хмуро молчал, как я помню его: мы потом жили в его избе. Или Арина была виновата неверностью, или еще что, но у нее рубцы от его побоев перекроили все лицо... Потом началась великая революция, и она в ссоре зарубила его топором. Сослали на каторгу... А нянька она нам была хорошая, и мы ее любили и считали за родную. Дочка ее Анюта была смиренная, как Ангел. Получала же от нас, кроме пищи, кажется, рубль или полтора в месяц. По три копейки в день... Мой брат, мальчик Александр, загоревшийся желанием иметь собственные деньги, по месяцам ходил чистить и выпалывать «среднюю» и «низкую» дорожки — по семь копеек за 10–11 часов работы, да еще на «своих хлебах». Правда, и цены на все были невысокие... А крепостные работали, разумеется, за землю. Дворовые же получали, кроме бесплатного помещения, еще «месячные». Например, на моей уже памяти наша семья получала два пуда муки, полмеры пшена, керосин и соль; и, вероятно, соло-



Иеромонах Вениамин у грота в Маре. *Фото 1900-х гг.*

му и сено для коровы. А сверх всего — 22 с половиной рубля (почему такая дробь — не знаю). Но это было 25 лет спустя после освобождения. Нужно же было одеваться, обуваться. Вероятно, была какая-нибудь скромная плата помимо «месячного».

Какое общее воспоминание осталось у меня от рассказов отца о крепостном праве?

Казалось, нужно было бы ожидать от него грустных историй и трагических событий. Но должен сказать правду: за всю жизнь с ним я буквально не слышал ни одного осудительного слова о господах и всем крепостном строе. Странно это? Да! Но так было. «Слова из сказки не выбросишь», как говорили у нас на селе. Даже наоборот, он иногда вспоминал о прошлом времени с одобрением.

— Что же, — бывало, скажет, — тогда народ был лучше, не то, что теперь, самовольники. — И, подумавши немного, будто вспоминая картины старого времени, добавит: — Ну, по субботам, понятно, секли кое-кого на конюшне... Да ведь поделом же!

Отчего у него составилось такое воззрение, затрудняюсь сейчас сказать... Могу лишь предполагать. Может быть, и в самом деле мы теперь слишком сгущаем краски далекого прошлого, а в действительности все было проще? И теперь ведь много нужды и горя в мире: и экономическая зависимость одних от других и вообще от всего строя жизни давит людей... Или у этих помещиков добрых жилось лучше, чем у других?.. Или великое смирение крестьян-христиан давало народу такую огромную силу терпеть все? Или глубокая идея о суетности и скоротечности этой временной жизни давала ему мудрость философа, народа-богоносца, по слову Достоевского... Или уж данная многовековая, укрепившаяся привычка повиноваться, подчиняться, со всем мириться облегчала ему суровость жизни? Или при довольстве, сытости, своеволии самих господ он видел и у них те же болезни, свои страдания, грехи и беды? Или он чуял, что корни

несчастий и скорбей находятся где-то глубже и неустранимы? Или просто, при своем хорошем сердце и сносной жизни, он удовлетворялся малым своим счастьем, не зная другого, лучшего, а если и видел его у господ, то не завидовал им?..

Затрудняюсь ответить решительно: душа вещь сложная и многогранная. Больше я склонен думать вместе с Достоевским и даже с Толстым, что наш народ есть народ-философ, народ-христианин, «хрестьянин», крестьянин, как он сам прозвал себя. Никакой другой народ в мире не называл себя по вере, лишь русские. И отец мой воспитался в такой же философии.

Но возможно, что у дворовых крепостных, в отличие даже от рядовых мужиков-земледельцев, постепенно вырабатывалась особая психология повиновения, терпения, примиренчества; они были более зависимыми от начальства: не только от помещика и управляющих, но и от меньшей «власти». Они были ближе к контрольному оку. Мужики жили дальше, самостоятельнее: отрабатывали свои два-три дня в неделю, а потом ты — сам себе господин, хозяин в семье, на скотном дворе, в огороде, в хозяйстве, в поле. Эту сторону психологической независимости, даже и при крепостном праве, эту власть в своем маленьком мире особенно отмечал Глеб Успенский[15]: земля давала ему [земледельцу]* силу и опыт. У дворовых же, безземельных, оставался один путь: держаться «места», зависеть всецело от воли владельцев, уйти было почти некуда.

А кроме всего этого, по моему мнению, в терпеливом отце сохранился еще и белорусско-«хохлацкий» характер, как у нас, без обиды, называли тогда украинцев. Он происходил из Смоленской губернии, но несомненно, что прадеды его были «хохлы». Сама фамилия его — Федченко («в» прибавлено, конечно, после, под

* В квадратные скобки заключены слова, поясняющие авторский текст. — *Ред.*

влиянием великорусского языка) — говорит за украинское происхождение наше по отцу. Я и теперь еще люблю слушать украинскую «мову» и часто говорю, что в моем теле смесь: одна половина от отца — украинская, а другая — по матери — великорусская.

В давние времена, еще половцев и татар, наши южные предки (Федченки, Мевченки, Прокопенки) переселились вверх, на север и на восток. А пути эти, как теперь по железным дорогам, шли тогда по рекам. И киевский Днепр донес их по протокам своим до самого Смоленска.

Украинская же психология, по многим вековым историческим, политическим, географическим, экономическим, климатическим причинам, постепенно выработала из южан особый тип славян-полян: медлительность, сентиментальность, даже нежность и ласковость.

Но одной из черт этого типа можно считать некоторую леность и беспечную податливость, согласие на все.

Я единственный раз в жизни выехал на сербскую станцию волами. И не вынес этой сонной раскачивающейся развалки их: с полдороги соскочил и пришел пешком много раньше. Тут сказалась во мне больше мать-великороссска. А эти самые «хохлы» могут неделями ехать на своих волах и мечтательно мурлыкать или петь свои чудные песни. Помню, большевики-великороссы зимой 1918 года осаждали Киев, где тогда пановала Центральная Рада[16] с Грушевским, Винниченко, Макаренко[17] и еще с кем-то во главе. А у нас в это время был Украинский Церковный Собор там. Кроме архиереев и очень немногих священников, члены Собора были подлинные «хохлы»... И вот, бывало, снаряды ложатся возле нашего здания на Липках: один попал уже в конюшню, другой влетел в алтарь храма (прежде там было женское епархиальное училище), третий ударил в мраморный верх выходной двери. А наши украинцы после сытного обеда ложатся по койкам отдыхать и беспечно

поют: «Ще не вмэрла Украина» или «Виют витры». Дивился я тогда их этой беспечности! В противоположность им великоросс, прошедший более суровую школу истории, преодолевавший холодный климат, дремучие леса, короткое лето, холодную зиму, бедную землю, вырос в закаленного жизнью борца, колонизатора, правителя. И совсем не случайно это великодержавное племя оказалось во главе России. И также не случайно, что и в эти два последних десятилетия коллективная форма хозяйства проведена была с решительностью в великорусских общинных областях, но нелегко прививалась в хуторских индивидуальных умах украинцев.

Так и в моем отце, думаю, оставалась еще эта «хохлацкая» беспечность: «Э-э!» — и промолчит...

Помню из одного рассказа Горького, кажется, «Ярмарка в Голтве», подробность. Среди других возов с товарами стоит телега с «макитрами» (глиняными блюдами, в которых «мак терли»). Два вола, спрятавши маленькую часть своего тела в тень воза, медленно и равнодушно жевали жвачку. Рядом с ними лежал и их хозяин, «хохол». Он точно не интересовался продажей своих макитр: кому нужно, ведь купят! Подходит барыня-«хохлушка». Долго она выбирала себе блюдо, всё постукивала, а он лежит, будто и нет никого. Наконец покупщица остановилась почему-то на одной и говорит невидимому хозяину под воз: «Макитра с дыркой». Оттуда не сразу, медленно следует спокойный и разумный ответ: «Визми биз дирки».

Конечно, эта черта совсем не означает слабости народа. Наоборот, когда «хохол» додумает до конца и придет к решению, он будет упрямым, как его волы: упрется, но вывезет!

И мой отец спокойно вывозил и крепостное иго, и отрыв от дому, и тридцатитрехлетнюю службу господам, а потом и горькую нужду. Моя мать в последний раз моего посещения семьи весною 1918 года, провожая меня из дома, между прочим, сказала со слезами:

— Трудно нам жилось! Но одно лишь скажу: отец у вас был святой!

— Почему — святой?

— Уж очень терпелив был: во всю жизнь свою никогда не роптал.

А разве мало было таких отцов на Руси, Украине, в Белоруссии? Миллионы... И сейчас выносят и вынесут. «Сдюжим!» — сказал один терпеливый селянин про борьбу с немцами. И украинцы заодно уже уперлись... Не устоять немцу.

Но, возвращаясь к вопросу о крепостном праве, я должен сказать: не все так благодушно относились к нему, как отец. И прежде всего не так думала о нем мать наша, великоросска племенем.

Ее родители, из давней духовной семьи Оржевских, по имени села Оржевки[18], никогда не были крепостными, принадлежа к свободному сословию. Отец и дед ее были диаконами, и мать — дочерью диакона.

Рассказывала она, как женили ее отца. Это вообще характерно для старого быта... Как-то зимой мой прадед, дьякон Василий, обращается к молодому сыну Николаю, лежавшему на теплой огромной русской печи, со словами:

— Николай, а Николай!

— Что, батюшка?

— Я решил тебя женить.

— На ком, батюшка? — поинтересовался дед мой.

— Да вот хочу взять у отца Василия (тоже дьякона, но из другого прихода, село было большое — две церкви) Надежду.

— Батюшка, это — рябую-то?

А бабушка моя в детстве болела оспою, и на ее хорошем личике осталось с десяток, и даже малозаметных, рябинок.

— Ка-ак? Что ты сказал?

— Я говорю, рябая она.

— Да как ты смел это? Ну-ка, слезь сюда с печи!

Сын повиновался. Прадед взял от печи рогач да раза два вытянул им по спине своеумного жениха.

— Вот тебе рябая! Что, я не знаю, что ли, кого тебе выбрать? Надежда — смирная, а что рябая малость, так воду с ее лица, что ли, пить? Жить придется с нею. Душа нужна.

— Прости, батюшка! — смирился мой дед, — хоть на рябой, хоть на кривой, ваша воля!

И поженились. И какая она была чудная жена и мать! Преданная, смиренная, благочестивая, чистая, терпеливая (дедушка последние 13 лет болел: от вина погубил рассудок, впал в тихое «детство»), молчальница. Никто никогда не видел ее сердитой или недовольной. Кротчайшее существо было. Могу сказать: святая! И умерла свято, безболезненно, подобно тому, как Л. Толстой описывал тихую смерть своей нянюшки Натальи Саввишны[19]. Я еще помню ее кончину. Стоит рассказать потомству о таких людях, как они жили и как помирали.

Ничем она не болела. Пришла старость. Было ей лет около семидесяти двух. Сложения она была полненького. Спала она на теплой лежанке — это продолговатая кирпичная прокладка сбоку главной печи, но со своей особой топкой. В эту ночь ей не спалось, видимо. В избе нашей горела керосиновая притушенная лампа. Бабушка заметила, что младший наш брат Сергей, еще младенец, во сне сбросил с себя одеяльце. В нашей избе, точнее, в третьей части длинного флигеля, была лишь одна комната, но только третья часть ее до печи была отгорожена переборкой под кухню. Там же была и столовая, то есть стол для обеда и скамья. А в главной части, которую мы называли «залою», стояла единственная кровать с периною, стол, три-четыре стула и комод для платья, да еще горшки с цветами перед окном. В углу, конечно, много икон с лампадкой; в кухне — для молитвы перед пищей и после — висела одна, без лампадки. На

постели обычно спала мать с младенцами, отец на печке, а мы все прочие — на полу, подостлав шерстяной войлок. Было так тесно, что и пройти мимо трудно. Нас было шестеро детей, тогда еще пятеро, да бабушка, а с родителями — восемь душ. Но мы не замечали этой тесноты, нам казалось — столько и нужно. Никто даже не обращал внимания и не жаловался. Спали безмятежно и сладко, нисколько не хуже любых богачей и господ.

Вдруг я слышу (у меня всегда был очень тонкий слух и способность к пению) тихий голос бабушки к моей матери:

— Наташа, Наташа!

Мама сразу вскочила. Она была очень чуткая, энергичнейшая, горячая, не в пример отцу.

— Что, мама?

— Сережа-то разметался, посмотри-ка!

Очевидно, бабушка сама уже не в силах была покрыть братика.

Ну, мама покрыла. А я все это слышал, мне было лет шесть тогда. Вдруг бабушка начала тяжело дышать. Мама, она тревожная была при всей своей телесной и душевной силе, испугалась. В таких случаях она всегда обращалась к безмятежному отцу, как она его называла сама.

— Отец, отец, проснись!

— Что? — спросил он.

— Маме худо!

Он неторопливо встал, подошел к лежанке, прислушался к дыханию кончавшейся и ровным тоном сказал:

— Бабушка, — он так звал ее с нами, — умира-а-ет!

Взял из-под икон свечечку, зажег ее и, вкладывая в холодевшие уже руки, сказал:

— Бабушка, возьми свечечку!

Она удержала ее. Потом еще несколько раз вздохнула и безболезненно, тихо-мирно скончалась. Раздался раздирающий душу вопль матери. Дети все проснулись,

и нас, полусонных, переправили в соседнюю комнату флигеля, где жил ключник-вдовец с красавицей взрослой дочерью, тоже Наташей.

Потом похороны. Я нес до церкви, версты с полторы, иконочку перед гробом бабушки. И верую, что она, несомненно, угодница Божия, святая женщина в миру. Постоянно поминаю я ее на службах. А в трудные минуты своей жизни молюсь я ей, прошу небесного заступления ее пред Богом... Через полгода скончался у другой дочери, тоже святой женщины, и дедушка.

Отец женился на моей матери, когда ему было уже тридцать три года, а ей — девятнадцать. Он носил тогда усы, после отпустил и небольшую бородку, а она имела тяжелую косу. Он был блондин, она — шатенка.

Так вот эта моя мама, захватившая крепостное право лишь трехлетним ребенком, конечно, ничего не помнила о нем сама. Но со слов родителей и только что освобожденных крестьян она, конечно, знала, что это было за время! И у нее на всю жизнь осталось горькое воспоминание о нем. Помню, как мать, кончив все дневные работы, присядет около нас с вязаньем чулка (она не могла сидеть без дела) и грустно-грустно, хорошим дискантом запоет песню о «воле»... и плачет, плачет... Я помню лишь первый куплет:

Ах ты, воля, моя воля,
Золотая ты моя!
Воля — сокол поднебесный,
Воля — светлая заря!

И вся песня грустная.

Может быть, мать изливала в этой песне и свое личное горе, но главное, она грустила о горькой жизни других, сама она не была же крепостною. А когда заходила какая-нибудь речь об этом времени и даже если отец вспоминал о нем спокойно или с похвалой, то мать мгно-

венно разражалась на это целым потоком слов и слезами... Отец обыкновенно тогда замолкал. К сожалению, я не помню, что именно тогда вспоминала она тяжелое, но одно знаю: не выносила она этой горькой доли народной. Была ли она не такой смиренной, как отец или бабушка (скорее, она была в отца), или, как сама свободная от рабства, она потому сильнее возмущалась им за других, или по своей активной, горячей натуре, или от родных своих, как более интеллигентных и вдумчивых свидетелей жизни современного им общества, она наслушалась печальных рассказов, или как великодержавная великоросска не могла мириться с прибитостью людей; но только она в этом пункте никогда не соглашалась с отцом моим. И он уже не спорил с ней; и вообще в семье нашей, естественно, главенствовала она, как необычайно сильная духом женщина.

Я иногда говорю: ее энергии хватило бы на трех матерей, и все они были бы все же твердыми творцами жизни. Нет никакого сомнения, что воспитанием всех нас, шестерых детей, из которых трое получили образование в высших учебных заведениях, а трое — в средних, мы обязаны больше всего нашей могучей матери. Отец наш, добрая душа, лишь помогал ей в этом, конечно, тоже с радостью. Царство им Небесное за одно это!

У них даже и походка была разная: отец немного сутулился и ходил не спеша, а она, прямая, немного подняв голову и устремивши грудь вперед, быстро и энергично шла, точно на борьбу, а иногда еще по-мужски складывала руки назад. Иной раз, идя, наклонит голову вниз и о чем-то думает, думает... Конечно, о жизни да о нас, дорогих ей детях.

Но кончу о крепостном праве свои воспоминания. После мне пришлось читать много книг и рассказов о нем. И порою просто не верилось, как могли люди так издеваться над людьми, своими же братьями и сестрами! Да еще и христиане... Конечно, смирение — прекрасная



Иеромонах Вениамин в гостях у своего крестного отца М.А. Заверячева в Ильиновке. Слева направо: сестры иеромонаха Вениамина Надежда и Елизавета, мама Наталья Николаевна, иеромонах Вениамин, его однокурсник по Санкт-Петербургской духовной академии, А.И. Заверячева (жена М.А. Заверячева). *Фото 1900-х гг.*

вещь для смиряющихся, это — великая, чудная, Божественная красота в них! И апостол Павел таких смиренных рабов своего времени называет *украшением* Евангелия (Тит. 2, 10). Да!

Но владение людьми совсем не Божественное дело. Великий святой подвижник XI века Симеон Новый Богослов объясняет происхождение рабства — и политическое, и экономическое — прямо от дьявола, который ожесточает одних против других[20]. Конечно, горе можно терпеть, но оправдывать причиняющих его — нельзя.

И еще можно сказать: конечно, всецелое спасение человечества от горя и страданий не приходило и не придет от политических и экономических свобод. Простое доказательство тому — в самих богатых и свободных: разве они лучше бедных и подчиненных? Не хуже ли душою? Не грешнее ли? Не гордее ли? Не жесточе ли? Недаром же сказано Господом: *трудно богатому войти в Царство Небесное* (Мф. 19, 23), то есть быть хорошим здесь нравственно, чтобы удостоиться будущей награды там.

Но и это соображение не оправдывает насилия одних над другими: как бы ни было мало или велико зло, оно остается им всегда. И, конечно, если бы мы все были святыми, высокими, идеальными христианами, тогда мы способны были бы переносить все трудности жизни, как их переносили мученики первых трех веков. Но и опять: и тогда были отступавшие от веры из-за жестокости невыносимых мук огнем, колесами с ножами, зверями. И тогда приходилось апостолам все же убеждать, уговаривать христиан, писать им — не отрекаться от креста страданий, терпеть и невинные муки (см.: Иак. 5, 7–8; 2 Кор. 4, 17). Значит, нелегко все это было и для святых! А если мы не святые? Тогда к нам относится иное слово того же апостола Павла: *отцы! не раздражайте чад своих*! (Еф. 6, 4). А еще раньше его, политический вождь — царь Давид — в псалме говорит: Когда *гордится* (много о себе думает и позволяет) *нечестивый,* то *возгарается*

нищий (ср.: Пс. 9, 23), то есть обижаемый, бедняк, подчиненный. И тогда происходит революция.

Ровоам, сын Соломона[21], стал жестоко обращаться со своими подданными. Они взбунтовались, и отделились 10 колен израильских от Ровоама. Он собрал воинство, чтобы подавить эту революцию, но пришел к нему пророк и сказал от имени Господа: «Не ходи и не воюй, ибо это — от Меня произошло!» (См.: 3 Цар., гл. 12.) Значит, Божье попущение или изволение. Иногда у людей (не святых) уже не хватает сил терпеть.

Мне пришлось читать одну очень редкую книжку, описание страданий одной крепостной девушки Федосьи, современницы преподобного Серафима Саровского. Ее красота приглянулась барину, но отказалась она быть во грехе с ним. Боже! Что потом он делал с ней! Как ее били, истязали по его приказанию. Потом она убежала, скрывалась и летом и зимой в лесу. И какие-то бродячие собаки заходили к ней в логовище и согревали тело ее. А уж чем питалась она, и говорить нечего... Но эти мои слова не дают никакого впечатления читателю, нужно читать в подробностях ее страдания. А описал их, со слов ее самой, духовник, священник Новгородской епархии, умерший незадолго до революции. О, сколько таких трагедий знает история, а отчасти и литература!

И я не тому дивлюсь, что бывали восстания крестьян, а нужно дивиться тому, что их было все же очень мало. Поразительно мало, как ни вычерпывай их из архивов. И это оттого, что народ наш был необычайно терпелив и кроток... Крестоносец народ. Но потом начало иссякать и смирение, а с ним — и сила терпения. И началось иное, о чем речь в свое время будет.

Когда же это иное пришло, когда начали страдать уже «раздражающие нищих», то мне пришлось слышать от одной, прежде бывшей очень богатой и знатной женщины, у которой большевики убили единственного сына, такие слова:

— Это Федосьины внуки отплачивают за наших дедов!

Она давно, и как понимающий человек, и как христианка, — простила убийцам своего сына и теперь молится о победе советских людей над врагами. И, конечно, уж не мечтает о возвращении «доброго старого времени» и прежних богатств, хотя живет сейчас лишь на милостыню американского народа и правительства его.

И других, подобных ей, и даже лучше, видел я.

Один князь, потомок самых великих имен прошедшей истории, К., делился со мною своими мыслями. И между прочим сказал, что теперь ему ничего не нужно, хотя прежде он был богатейшим человеком в России.

Кто-то из знакомых посетил его скромную комнатку, заметил недостаток мебели и сказал:

— Я вам пришлю кресло.

— Зачем? — просто ответил он. — Оно мне не нужно, без лишнего богатства мне живется и легче, и спокойнее.

Но увы! Жена не выдержала такой бессребренности и примиренности мужа и ушла от него, развелась, вышла замуж за другого. Нелегко такое бескорыстие и бесстрастие к земным благам... И другие защищали и защищают их всеми способами.

Помню, как единственный раз мне пришлось быть в Государственной думе на прениях о передаче земель крестьянам. Сам министр Кутлер был за какой-то широкий проект, но его отвергли[22]... И мне припоминается трехчасовая речь южного помещика, князя С. М-го: каких только доводов не приводил он в защиту крупного землевладения! И что же? Все было отнято потом...

Да, Федосьины внуки заявили свои права... И не нужно винить их одних: не больше ли виноваты деды и прадеды, крепостники? Потом я расскажу свои впечатления о деревенской жизни, как уже я застал ее. А сейчас скажу, смиренен был мой отец, — и честь ему, но даже

сама жена его, наша мать, в конце концов удивлялась такому его терпению: «Никогда не роптал». А не всякий на это способен... С силами человеческими нужно бы считаться больше, чем это бывает. Печальная история случилась и с отцом нашим...

Прослужил отец конторщиком у Боратынских около 33-х лет подряд, служил честно, непорочно, как говорят, а в результате — лишение места. По рассказу матери от того времени, случилось это так. Умер старый барин Андрей Ильич. Его трое детей получили все в наследство и разделили его. Отцу моему, после такой долголетней службы, естественно было бы получить место управляющего в одном вновь отделенном имении — в деревне Осиновке, упомянутой выше, в истории Марьи Григорьевны. Но отец был малоспособен к административной власти, как человек мягкой души. Однако, кажется, его прочили на это место. А в разделенном имении он был уже не нужен как конторщик. А тут помешала еще и правда. При разделе имения (не знаю уж кем, не управляющим ли?) брату Илье Андреевичу отведены были худшие места и в полях, и в лесах, и в займищах, то есть в заливных весною лугах. Конечно, отец знал это. И — не по совету ли энергичной матери? — написал обоим братьям (Михаилу и Илье, а сестра Наталия получила Натальевку) в Москву письмо о том, желая добра своему будущему господину. Но братья на него обиделись: будто отец желает их перессорить. А может быть, была и третья причина: брат нашего управляющего, холостяк Петр Андреевич, тоже метил на это место.

И вот однажды утром в зимний месяц я проснулся раньше других детей. Мать уже возилась около весело пылавшей печи. Я вертелся около нее тоже радостно, ожидая ухода в школу вместе со старшим братом. А в нашем доме была пословица: «Кто рано встает, тому Бог дает». Но на этот раз, по-видимому (а в сущности

один Он знал, что будет лучше всей семье нашей), случилось иначе.

— Знаешь, сынок (мне было лет восемь, вероятно), я ныне видела сон, будто получила я красивое яблоко. Разломила его, а там внутри оно гнилое. Как ты думаешь, к чему это?

Не нужно было иметь большого ума, чтобы ответить ей:

— Не к добру это, мама.

А когда я воротился из школы, родителями было уже получено письмо из Москвы, в котором наши помещики отказывали отцу совершенно от службы.

— Вот, сынок, — в слезах говорила мать, — и яблоко нам: конверт-то белый, а внутри — беда. Что будем делать? Что делать?

Кажется, это было первое горе и в нашей семье, и в моей жизни. Остро оно почувствовалось и мною. Но протестовать нельзя было. И вот я часто думал после: как холодны люди к несчастиям других! Ведь нас тогда уже было восемь человек: родители и шестеро ребятишек! Меньшой, Лизочке, едва ли был годик или полтора... Куда идти? Чем жить? Кому какое дело? Каждый думает лишь о себе... Да и мы сами такими же были, конечно. У нашей соседки, жены лакея барского, было 10–12 детей. Они тоже остались после без службы. А куда разбрелись, я не знаю, да, по совести сказать, и не интересовался этим. Не виню и господ теперь я. Такова уж была общая жизнь, общий уклад. Они не были хуже других, и даже, вероятно, и добрее, но не нужен стал человек, прослуживший им 33 года, и уходи куда знаешь. А что с ним будет и с шестеркой детей — это на Божью волю.

— Бог подаст, — говорили, бывало, в селе, отказывая через окошко нищему...

Мать моя после очень жалела такого одного полуглупенького Кузьму Иваныча, ходившего без шапки с растрепанными рыжими длинными волосами, с двумя

перекрестными мешками за плечами: один — для «кусков» (хлеба), другой — для муки. Бывало, зазовет его, покормит горячими щами или кашей, поговорит с ним дружески и даст еще чего-нибудь в мешок, а то и поплачет вместе с ним. Кузьма Иваныч не жаловался: и дождь, и снег, и жар — все терпел равнодушно, точно птица. А где и как он жил, не поинтересовался я тогда и спросить, даже деревни его не знал. Опять — какое равнодушие! Вот господ-то я, пожалуй, и готов обвинить за отца и семью, а сам вспоминал об этом нищем лишь тогда, когда наша собачонка неистово лаяла на него: почему-то собаки никогда не любили нищих. А потом тут же забывал: «С глаз долой — из сердца вон...» Нищий, ну, пусть и будет нищим! Другие — богаты, мы — сыты, а ему «суждено на роду» быть бродягой... Так все мы жили. И кажется, крестьяне больше жалели этих нищих, чем другие. Конечно, в барский дом нищим за «кусками» не полагалось обращаться. Странно! Но ко всему мы привыкаем, будто бы так и нужно...

Впрочем, спасибо господам за одно: они подарили нам ту избу, то есть часть флигеля, где мы жили. Сосед-ключник успел умереть, красавица Наташа не знаю, куда делась потом. Общая наша с ними стена отошла в наше владение как часть подаренной избы.

Что было делать? Слезами горю не помочь, или, как у нас говорили, «Москва слезам не верит». Нужно было умудряться жить дальше. Куда? Ни клочка земли нет, ни ремесла отец не знает, кроме письмоводства. Видя такое трудное положение, помещики — спасибо им — дозволили нам жить еще год или полтора на том же месте, но без службы.

Отец заарендовал землю и занялся летом бахчой (арбузами, дынями), огурцами. Был приличный доход. На следующий год повторили, но пришла холера, овощей не покупали, и мы остались в убытке. Пора было уезжать из нашей Ильинки[23].

Нужно было искать своего оседлого места. Те же помещики дали нам для бесплатного пользования клочок земли возле мельницы, оттуда брали каждой весной землю для постройки плотины в селе Сергиевка. И туда перевезли мы старую хату, построили сарай для живности (коров, свиней, кур). А до перевозки целую зиму прожили у няньки Арины с мужем Василием. Но опять стоял неизбывный вопрос: чем жить, чем питаться, во что одеваться? И отец то заведовал молотилкой, которую где-то приобрел по случаю; был помощником церковного старосты Чичерина; снимал земли — одну десятину — и сеял рожь, чтобы иметь свой хлеб. И вся наша семья, никогда прежде не работавшая на поле, занималась теперь и этим. Летом мы пасли двух своих коров. Но все же и этого недоставало на прожитие восьми душ.

А тут еще к общему горю прибавилось новое: муж сестры моей матери К.В. Богачев лишился тоже и «места», и жены (святая была и она, как и бабушка, бывало, по один-два часа вечером молилась) и приехал к нам жить с четырьмя детьми на несколько месяцев. Разумеется, приняли и их.

И вот тут особенно тяжело стало. Тогда родители заарендовали в селе право торговать вином; платили 100 рублей «обществу», а выторговывали 300–400 рублей в год. Выгодное это было дело, но ужасно соблазнительное: постоянно пьяные вокруг, брань, драки и, конечно, уже грешное дело. Мне из детей особенно было неприятно, но иначе жить было нечем. Однако через два года у нас явился конкурент, тоже бывший управляющий. Предложил крестьянам на 25 рублей больше, но они готовы были уступить нам за 110 рублей, мать заколебалась. За эти два года отношения между нею и отцом обострились, иногда очень резко... Не хочу и вспоминать здесь об этом подробно. Бывало, сидим все на печи (топили мало, всё берегли). Отец что-то чита-

ет молча, мать вяжет, и горькие слезы бегут ручьями из ее глаз. Мы жутко тоже молчим... Ох! Тяжкое время было! Близкое к трагическому ужасу... Да, бедность нелегко переносить, иногда отчаяние подкрадывается к душе обездоленных людей. Хорошо еще, что наша семья была всегда верующей, и это облегчало нам нести страдания...

Когда крестьяне хотели оставить винную торговлю за нами, то мать вошла с улицы, где была шумная «сходка», в комнату, а я был тогда болен, лежал в лихорадке, и спросила меня:

— Как ты, сынок, думаешь?

— Мамочка, бросим это дело. Нехорошее оно! Грех!

— Чем же жить?

— Бог поможет за это как-нибудь.

— Ну, хорошо, пойду, откажусь!

И отказалась, слава Богу.

А летом отец нашел себе старую конторскую работу в том селе, где жила мать девочкою, у Боратынских же, благочестивых старых девственниц, о коих я писал раньше.

Жалованье ему назначили 12 рублей в месяц, и без семьи: опасно было брать такую большую обузу. Так раздельно мы жили опять несколько лет. Потом нам дали все же маленький домик там, и мы переехали к отцу. А свой домик продали в деревню Козловку. Существует ли еще он? Много в нем было пережито и горя, но и радости... Посмотрел бы я на него теперь... В то время, еще с Сергиевки, началось наше ученье в средних школах. Чтобы существовать и платить за обучение детей, мать пошла в коровницы у тех же господ.

Это лишь легко сказать сейчас, а дело было очень трудное: чуть еще начинает светать, мать должна была бежать на «варон» (скотный двор). И там одна, без помощниц, выдаивала с десяток барских коров да свою бу-

ренку. Потом все это убиралось в ледник (погреб). Мать делала для господ масло, простоквашу, сливки, творог и прочее и носила в господский дом. Иногда же оттуда присылали кого-нибудь за чем-либо молочным. Думаю, что мать иной раз пользовалась и барским молоком для нас, детей. Конечно, грех, но шестеро нас было у нее. Да простит ей Господь это! И отец, бывало, летом нагребет около скирд опавшей ржи и принесет для «курей», как говорилось у нас. Огородик развел он рядом, в шесть-восемь квадратных саженей. Поставил два улья для пчел, но меда не помню. Так тут мы и жили, перебивались кое-как. Но и за то еще — слава Богу и спасибо господам: должно быть, они пожалели мать мою ради кучи детей, потому что имение небольшое, в 500 десятин. И можно было бы тут обходиться без особого конторщика. Управляющий Чернов, красивый старик, не нажимал ни на отца, ни на мать. И дожились мы здесь до собственного дома и усадебного участка в четверть десятины, но уже в другом селе, Чутановке, купив их у крестьян. Но тогда уже было иное время: мы обучались, стали получать «жалованье» и помогли родителям создать собственный уголок хоть на старости лет.

Спрашиваю я себя: что же? Как прошло детство мое в деревне? Печально или не очень? Конечно, были горькие, иногда даже жуткие моменты в семье. Но дети всегда беззаботны, и, до лишения места и особенно до винной лавки, я весело вспоминаю свое детство. Расскажу несколько светлых воспоминаний.

Первое, что я сам помню (или после рассказывала мать?), это опять о бабушке. Кажется, мне тогда было два-три года. В чулане у нас летом была корзина купленных яблок. Бабушка водила меня туда, и я с трудом перетаскивал свои ноженьки через порог. Она начинала выбирать для меня послаще, скороспелку пресную, а для большей верности сначала надкусывала ее сама и, давая мне, приговаривала:

— Мы с тобою уж пополам.

И когда мне хотелось еще яблок, я ласково просил ее:

— Бабушка, пойдем «пополам».

И мы опять делили, но не пополам, мне много больше.

Как я любил грозы, бурю, дождь! Вот, бывало, собирается туча черная. Все гуще-гуще. Потом видим: впереди ее движутся гигантские, до неба, столбы пыли. А у нас, наоборот, начинает стихать. Куры прячутся невесело, закрываются окна. И вдруг страшный удар грома. И кап... кап-кап... И польет... А гром и молния беспрерывно, беспрерывно; и страшно, и интересно. Так час, другой. И вдруг туча сваливает за взгорье; небо светлеет, облака разрываются, и показывается голубое небо, а потом и яркое солнышко. Растворяются снова окна. Весело вылезают куры! Петух орет победоносно. А мы, дети, босиком, засучив штанишки, с непокрытыми головками начинаем бегать по блестящим лужам. Родители всегда поощряли нас на это: почему-то думали, что дождевая вода полезна для здоровья. Мать нарежет хлебца, посыплет солью, и мы, веселые, живые, всем довольные, скачем, смеемся, шалим. И вспоминаем чьи-то стихи, которым научила нас мать или в школе: «Золото, золото падает с неба»[24]. Дальше не помню. Возвращаемся забрызганные грязью, но радостные, здоровые. А небо чистое... Солнышко теплое... Трава умыта, зеленая. Хорошо!

Еще. Лето. Созревали яблоки. Отец ведет нас в огромный сад, который обычно сдавался помещиками каким-то купцам из «города», этого таинственного еще для меня места в мире, где все иначе, чем в деревне: двухэтажные дома, говорят, богатые лавки, «плитуары» (тротуары). Оттуда мать привозит хорошо пахнущую материю на рубашки и вкусные калачи... Еще далеко до сада, но уже оттуда несется чудный аромат. Выходим за ворота. И вижу: зрелые горы яблок разных сортов и цветов.

Красота! Сначала мы пробовали, потом покупали. Разумеется, мало, чтобы лишь можно было унести с собою. Но и этой радости было довольно.

Пусканье змеев... Отец был особенный мастер, умело клеил их из бумаги на крестообразных деревянных «дранках», с длинными хвостами. Делали и соседи наши. И, бывало, пустим их на бечевках в поднебесье, и они плавают там, тихо покачиваясь. А мы любуемся, дергая за бечевки. Кажется, я уж никогда после не видел такой высоты их полетов.

Сбор желудей. Это было особое удовольствие вместе с пользой: они нужны были для питания свиней, а нам — новое утешение. Собирались компанией. Кто посильнее, вскарабкивался на дуб и тряс его сучья. Оттуда пулями летели желуди, стуча по нашим головам, и мы со смехом бросались собирать их в ведра, корзины, а после пересыпали в мешки, заготовляя на зиму корм свинушкам... Потом их ранней зимой закалывали. Отец делал это с непонятным мне хладнокровием, а я не выносил их предсмертного визга. Во всю мою жизнь и куренка я не зарезал... Но кушал... Потом свинью опаливали на соломенном костре, красиво пылавшем на первом белом снегу. Разрезали, готовили ветчину, вешали ее на чердак. Но ели ее очень редко, по праздникам, иначе на восемь человек хватило бы ее ненадолго. Вообще мяса мы не покупали и не ели: роскошь эта была не по нашим карманам, хотя баранина тогда развозилась всего лишь по три-четыре копейки за фунт. И лишь на большие праздники — Рождество, Пасху — разговляться — мать варила и жарила то курицу, то утку. Но едва ли индюшку. Это была бы чрезмерная трата, разве что потроха из нее да головки с ножками. Все это потом нужно было продавать, продавать, добывать деньги, копить их. А зачем — будет ясно дальше... Попутно скажу, что ели мы скудно. А отец, кажется мне и доселе, едва ли когда наедался досыта. Да и мать все думала о нас, детях. У отца живот всю жизнь

был подтянут, как будто у исхудавшего больного. Уже после, когда мы выросли, помню, как Сергей, младший брат, но более крупный, бывало, спросит:

— Мама, я могу отрезать себе ветчины?

— Отрежь!

Он лез на чердак, отрезал и ел один. А мы, другие, молчали. Как-то неловко было ему и нам, но нельзя было всем резать. Маленький это случай и редкий, конечно, но, не правда ли, показательный?

Однако про себя я не могу сказать, чтобы мы голодали. У нас всегда была корова, а когда и две, и они были нашими кормилицами. И доселе у меня осталась любовь к молоку. Правда, мать всегда снимала с горшков сливки на масло: все нужно было продавать, а мы пили «снятое» молоко, но и ему рады. Зато по воскресеньям, после обедни, вдруг на столе самовар, пышечки и сливочки. Роскошь. А кроме молока всегда уже было довольно хлеба. Какой чудесный наш русский ржаной хлеб: вкусный, твердый (не как американский «ватный»), «серьезный», говорил я потом. Мать раз или два в неделю напекала шесть-семь огромных хлебов, фунтов по 10–12, сколько вмещала печь наша. Потом ставила их ребрами на полку в кухне. И мы знали, что самое главное, «хлеб насущный», у нас есть, слава Богу. Бывало, проголодаешься, и к матери:

— Мама, дай хлебца! (Не хлеба, а ласково — хлебца.)

А как мы почитали его! За обедом, Боже сохрани, уронить крошку на пол. Грех! А иногда за это отец и деревянной ложкой по затылку слегка даст: на память... И доселе я берегу хлеб, не выбрасываю, подъедаю старый, сушу сухари: лишь бы ничто не пропало.

Деревенские ребята еще больше нас тоже жили хлебом... И иногда слышится мне, будто по всей необъятной России чаще всего слышалось:

— Мамка, хлебца!

Но, повторяю, мы были довольны и этим. Другой жизни не знали, а хлеба тогда было вдоволь. После узна-

ли и настоящий голод. Это уже во время революции. И тогда я еще больше понял, что такое хлеб!

И тогда, да и теперь еще, накрошим его в глубокое блюдо, порежем лука, посыпем солью, польем постным маслом, дольем хорошей водой ключевой, — и какое вкусное кушанье! Это называлось «тюрей».

Вспоминается ежегодная ярмарка около церкви в селе Софьинке. Сколько мечтаний строили мы задолго до этого! 8 июля: «Казанская» (икона Божией Матери)... Чудесное время. Жара, но терпим. Мы останавливались у священника, родственника матери. Как мне все казалось красивым и богатым в «поповском» доме! Несколько комнат. Чистая зала с самоткаными разноцветными вышитыми «дорожками» на полу, «женская» мебель из Кирсанова, цветы на окошках, большой, покрытый белой скатертью стол для обеда, и каждому своя тарелка (дома мы «хлебали» всегда из общей «чашки»). А уж о пище и говорить нечего! Кухня отдельно. А дальше вниз огород со зрелой малиной. На ярмарке веселый гомон, зазывание торговцев из палаток с «красным товаром» — сукном, коленкором, сатином, ржанье лошадей, запах оладьев, «с пылу, с жару пятак за пару», «кислые щи» — род хлебного крепкого кваса, белые булки, калачи, яблоки, огурцы, «конфетки», леденцы, сладкая вода. Балаган с фокусами. Все это нас увлекало... Подальше: косы, топоры, «скрябки», грабли, ножи, вилы — это нас не интересовало.

А в церкви — беспрерывные молебны, древний лысый дьякон и еще не успевший искуситься Павел Андреевич, так задушевно по привычке поют: «Пресвятая Богородице, спаси нас!» Горят свечки копеечные и «семиковые» (по две копейки)[25]. На пять копеек с позолотой винтом ставили лишь господа да управляющие. Выслушав сразу по приезде молебен, мы спешили на людской радостный гомон. Родители давали нам по пятачку, чтобы мы купили себе чего душа захочет... Весело было.

Часам к четырем начинался разъезд в дальние деревни. К вечеру на месте веселой однодневной жизни оставался лишь сор, вытоптанная трава, дыры из-под кольев палаток. Да собирались с мальчиком-поводырем куда-то в неведомый мне и таинственный путь слепцы, калики перехожие, сидевшие с самого утра около ворот церковной ограды и гнусавившие какие-то особые заунывные песни, а бабы, поджав руками подбородки, жалостно слушали, бросали грошики и отходили. А те куда?..

С вечерней прохладой при безоблачной заре мы на «буланке» возвращались счастливые домой... Хорошо!

И вообще, я почти не помню грязной осени: или солнце, или крутой трескучий мороз, или зимнее облачное тихое небо и мягкий снег, который я любил... Это характерно для общей картины счастливого детства!

А весна! Боже, что за красота! Здесь люди не знают ее. Еще с февраля, со «Сретенки», — прежняя Русь жила ведь не по юлианскому календарю, а по праздникам: с «Егория» до Покрова, по трем «Спасам», по «Казанской» и «Тихвинской», на «Петра и Павла» да на «Ивана Купалу», от «Спиридона-поворота» (зимы на лето, 12/25 декабря) до «Ильи-пророка»[26] — так вот еще на Сретение солнышко начинало сильнее пригревать снег на соломенной крыше; и капельки отрадно, мирно, не спеша падали вниз, а к вечеру замерзали в прозрачные ледяные сосульки. Нам запрещалось сосать их, но мы все это проделывали тайно, как полагалось... А потом снег все рыхлел и осаживался. Потом ручьи, журча как живые, побегут повсюду: и на виду, и тайно под снегом в лощинах, на припеках появляются проталины, уже высыхающие. Ломается с треском лед на реках, «икры» (льдины)[27], половодье на версты, первая ловля рыбы в мутной бурной воде. Зеленеет травка, в лесу из-под снега очаровательные ландыши, ранние фиалки... На «Герасима-грачевника» (4/17 марта) грачи должны прилетать откуда-то с юга;

на «Сорок мучеников» ожидаем жаворонков (19/22 марта), печем птичек из белой муки[28]. Где-то в стороне — серые дикие гуси, гогоча, деловито несутся высоко. Летом мирно и медленно курлыкают в поднебесье журавли...

А пришло раннее лето: земля разодета зеленью рощ и садов, колыхающейся рожью, низким белесоватым овсом, коричневым просом, темно-зелеными кустами картофеля... Синее небо с медленно плывущими белоснежными кучами облаков... Купанье в речке... И я три раза в жизни тонул, но остался жив, слава Богу... А там вкусная новая картошка, особенно вкусный хлеб из «новины», огурцы, арбузы (изредка). И солнышко, солнышко, солнышко! Сколько в мире красоты!

Как сейчас, особенно ярко вспоминаю чудный летний день. Суббота. В этот день у нас спевка для службы. Место сбора — барский дом Чичериных, в двух верстах от нас. Мать надевает на меня все чистенькое: к господам иду! Мне лет восемь-девять. Вбегаю на взгорье: вправо — конюшня, пробегаю имение, миную развалившуюся «кирпичную»... И перед моим взором чудная картина — впереди чичеринская роща. Направо от нее наш кирпично-красный храм с отдельной колокольней, на ней главный колокол в 98 пудов, а кругом меня и налево без конца — поля, поля, поля с колосящейся рожью «нашего» имения. Небо ясно. Солнце греет. Ветерок обдувает. И я бегу, бегу весело. Счастлив, как жаворонок в небе... Чист, как Ангел, ни о чем не думается... Радостно наслаждаешься Божьим миром... По «верхней» дорожке добегаешь до сказочного замка — дома. Входишь с черного лакейского входа, пахнет особенно, не как у нас — кофе и еще чем-то специальным. В окнах прекрасные висящие цветы фуксии. Главный лакей — милый безмятежный Тихон Егорыч, со светло-коричневыми баками на полных щеках, всегда в опрятном сюртуке и мягких туфельках (барин болен туберкулезом и раздражителен) — с улыбкой встречает и тихо (показывает знак



На родине митрополита Вениамина (Федченкова).
Село Ильиновка. *Фото 2005 г.*

Река Вяжля. *Фото 2005 г.*

пальцем: «Ш-ш!») ведет по ковру узкого коридора в комнату «парадного подъезда». Учитель-регент, о нем после особая речь, Илья Иваныч, ждет с нами, тоже молча, выхода самой барыни, небольшой, но плотной старушки Софьи Сергеевны... Сам учитель поет басом; Тихон Егорыч — прекрасной бархатной октавой; Семен Иванович, садовник, светло-белый блондин с льняною же красивою широкою бородою, чистенький, — отличный тенор; у барыни — хороший женский альт, как и у одной дочери учителя, Анюты; мы, мальчики, больше дисканты, бредем за старшей дочкой его, милой, нежной и умной Катенькой, способной певицей.

Через две-три минуты растворяется зал. Мелькает сзади какое-то райское убранство, которое я не успеваю уловить, и важно, спокойно входит барыня. Мы все почтительно кланяемся. Спевка начинается. А потом опять через рощу, поля, под солнышком домой. Где ты, милое блаженное детство?!

Кстати, у Чичериных была приемная узаконенная дочь Машенька, сирота одной крестьянки (у нас называли проще: «бабы») из Натальевки. Своих детей у них не было. Историю этой необыкновенной судьбы я не знаю. Она была полная, высокая, пухло-беленькая. Говорила по-французски, играла на «фортепьянах», каталась амазонкой, вместе с другой воспитанницей у Боратынских, Юленькой. Обе потом были выданы замуж. Наши родители верили и говорили: «Что храм создать, что сироту воспитать, одинаково спасение души от Бога получишь». А эти люди и то, и другое сделали. Царство им Небесное! А за прочее строго судить их нельзя: такое время было, такой строй существовал. И вспоминаются слова пушкинского монаха Пимена: «А за грехи, за темные деянья Спасителя смиренно умоляют...»[29]

Может быть, это лишь мое мнение и чувство?

А что думал и как жил прочий деревенский люд в то время, в дни детства моего?

Конечно, я мало еще понимал тогда. Но ведь я свои воспоминания пишу, а не чужие; это — не история, а мои лучшие впечатления, поэтому и о народе скажу то и так, что и как отложилось тогда на моем сердце и в памяти.

Скажу сразу и прямо: мирно жил народ.

О революции тогда он не думал, как я помню. Это пришло уже потом. Жили же тихо, просто, смиренно.

Вот набросаю несколько живых картин с натуры.

Перед нашим флигелем вниз, за рекою, полукругом расстилался большой сельский луг. Весною его заливало водой: трава там была хорошая. Пришел Петров пост[30]. Однажды утром вижу из окна, как ходят люди по лугу с раздвижным саженным циркулем и что-то размеряют. Собрались косить. И вот на другой день после Петровского разговенья весь луг был усеян, как цветами, мужиками с косами, больше — в белых посконных самотканых рубахах, с кумачными подмышниками. Установились в ряды, кто сильнее — в голове. И завизжали косы. Косили весело, точно на праздник вышли. Любо было смотреть, как размахивались руки, поворачивались сильные плечи. И ряды за рядами ложились, как по нитке. А на другой день бабы в разноцветных платках и сарафанах с песнями пошли ворочать подсохшее сено граблями. Еще раз, и копны выросли. И на высокие воза уложили и свезли, а по отаве скотину пустили кормиться.

Пришла страдная пора. Мужики с ранней зари до темной ночи — в полях. Трудное это было время: недосыпать, недоедать, не отдохнуть. Но зато раз в год, а там легче будет; зимою хоть объешься сном. Свезли хлеб в скирды и молотить обглаженными цепами начали... Нового хлебушка скоро спекут.

Покров Божией Матери пришел (1/14 октября). Свадьбы справляют во всей округе. На тройках примчали несколько пар «молодых» в церковь... Все по чину прошло. И обратно домой, к жениху — гулять два-три дня.

А на полях уже опять взошли зеленя[31], радуя хозяйственный глаз надеждой на будущий урожай.

И так из года в год мирно, а по временам и весело текла спокойная жизнь.

Часто пишут о каком-то повальном и тупом пьянстве мужиков. Я не видел этого, а ведь два года наблюдал их около винной лавки. Пьяницы были исключением, из всей округи я сейчас буквально не помню ни одного лица, ни одного имени таких алкоголиков. Ну, понятно, все любили выпить при случае, но напивались допьяна лишь на покровских свадьбах у себя или у родных. Так что тут особенного?! Раз или два-три в год? Это не пьянство. Нет, народ в массе был трезвым и скромным. Семейная жизнь была в общем тоже чистая, о разводах и не думал никто. На пятьдесят верст кругом я не слышал ни об одном случае развода. Были, правда, побои жен, но и тоже совсем не как правило. Наоборот, жили нормально, мирно. Помню моего товарища по школе, умного мальчика Козьму Саверина. Когда уже он женился, я встретил его. Высокий, стройный, точно вылитый из бронзы блондин. Улыбчатый. Остроумный. С какой любовью он говорил о своей жене и совместной жизни! После он был на селе старостой, а потом революция — наверняка стал колхозным заведующим.

Или вот вспоминается год коронации бывшего царя Николая Второго[32]. Как все готовились к этому! Многие мечтали попасть в Москву, чтобы получить коронационную чашку с орлом. Несколько дней висели у всей деревни флаги. Наша мать распорола наволочку, а отец повесил на месте. И когда пришла ужасная весть о ходынской давке, то никто не винил царя, а жалели его и задавленных, но скоро и забыли, как забывается все.

Не было и разбоев, грабежей, воровства. Село жило дружно. Когда мы свезли со своей десятины рожь к избе, а отец сделал ток, то на воскресенье пришли на «помочь», то есть бесплатную помощь, бабы во главе с



Торжественное шествие в ходе коронации Николая II. Москва. 14 мая 1896 г.

сильной и бойкой Степанидой и в один день цепами обмолотили всё...

Вспоминаю и еще картинку. По зимним вечерам мать иногда зазывала на «посиделки» крестьянских женщин и девушек; они что-то пряли, шили и песни пели.

Даже вот одна наивная подробность в том же духе. Когда у нас была бахча, мы приглашали «девок» на «полку». Конечно, за гроши: 12–15 копеек в день. А из нас, детей, кто-нибудь всегда жил на бахче днем и ночью, для этого был сложен соломенный шалаш. Девушки, неторопливо, но и не лениво подсекая тяпками (мотыгами) сорную траву, пели безмятежно какие-нибудь песни или частушки. Из песен запомнилось мне начало про какого-то «несчастного» преступника, в молодости бывшего обыкновенным хорошим парнем: «Когда я был мальчик свободный, не зная горя и нужды. Родные все меня любили и баловали, как могли». Частушки были невинные: «Шел я верхом, шел я низом, у милашки дом с карнизом», или: «Едет барин при цепочке, это значит — без часов; едет парень при калошах, это значит — без сапог». А о нас с братом Михаилом пели так: «Как мы девки все вопче (вообще, вместе) у Мишатки (или у Ванятки — ласковая форма имени) на бахче». Все это мирно и беззаботно.

Конечно, попадались и отрицательные типы, но они были не часты. Например, «сотский» (вроде начальника сельской полиции, у него был один или два помощника — «десятские») села, где мы жили и держали пивную лавку, бывало, пришлет какого-нибудь соседа со своей, известной всему селу, длинной палкой вместо себя и просит дать ему водки в долг. И давали — всё же начальство! А десятский однажды в лавке подвел меня: спросил вина и заговорил со мной, облокотившись на прилавок. Я же пошевелил пальцами бороду его. «Как ты смеешь хвататься за бороду?! Разве не знаешь, что за это по закону — в тюрьму?!» Я и не знал этого закона, мне было 10–11 лет тогда. Может быть, и есть закон? «Хочешь ми-

ровую?» Мне ничего не оставалось, как тюрьму заменить даровой бутылкой водки. И десятский ушел удовлетворенный, а я лишь несколько лет спустя рассказал родителям о неудачной ласке своей. Но эти факты совсем не трагичные, а скорее смешные, и притом крайне редкие...

Помню однажды злобную выходку молодого парня на сходке против отца с намерением даже и ударить его. Отец смирился, промолчал, и тем все кончилось. Но зато какие смиренные были соседи наши Губановы: отец и сын, оба Василии Васильевичи, выделывали зимние валенки. Работа не чистая. А изба их небольшая, да еще и «по-черному», то есть без трубы, дым из трубы шел по потолку в раскрытую дверь. Молодой Василий, красивый тонкий человек, схватил чахотку, болел смиренно и скончался в молодости... В чахотке же скончался и Миша, молодой муж нашей Анюточки, дочки няньки Арины. Тоже был смиренный и добрый.

Нет! Безропотлив был наш народ... Хороший народ...

Но, конечно, жили бедно, кое-как!

Земли было мало. Вот на это приходилось слышать жалобы с детства. Заработков других не было, а идти на сторону — кому охота? И можно сказать, что большинство крестьян жило гораздо беднее нашей семьи. И, конечно, не могли скопить никаких денег на что-нибудь иное, кроме лишь на существование. Да и какое оно было? «Щи да каша — пища наша». И хлеб: «Мама, хлебца!» Ну, капуста соленая с огорода, у немногих огурцы. Мяса, конечно, тоже не знали в обычной жизни. Коровка тощая. Пара-другая овец. Лошаденка небольшая, десяток кур. Вот и всё... Бедно, бедно жилось. Но терпели...

Вот какою представляется мне жизнь народа в юные мои годы. Вероятно, я не всё видел, так как жил все же в лучших условиях, чем они, бедные...

А хаты их — небольшие; зимой обваливали стены и «окошки» почти до верха навозом и соломой, чтобы

теплее было. Но зато в избе стоял такой тяжелый воздух, что и дышать трудно. А тут еще, как известно, то телка нужно взять в избу от отелившейся коровы, то кур на яйцах посадить «под лавку». Да еще и печь нужно закрыть, заглушить пораньше, чтобы не вытянуло всего тепла: от этого угары. И наша семья так привыкла к ним, даже не допускала мысли, что были где дома́ без угаров. Не верится, а правда. Всё, решительно всё, приходилось беречь, продавать, откладывать, копить.

И понял я постепенно две русские пословицы. «Сам бы ел, да денег жалко», — говорили мужики. Всё лучшее нужно было продавать — масло, индюшек, свиней, телят, даже и хлеб... А другая пословица говорит более ободряюще: «Нужда заставит калачи есть!» Калач, вообще белый хлеб, это — роскошь в деревне, это — «гостинец» из города. Как же при нужде, да такая роскошь? Не от нужды, конечно, калач, а нужда заставляет человека напрягаться, бороться, выковывать силу, ум, бережливость. И если она кончается удачей, то и до калачей доживет человек. Так случилось и с нашей семьей. Но как это было трудно! Особенно для матери...

ШКОЛА, ОБЩЕСТВО И ЦЕРКОВЬ

В этой главе я хочу рассказать, как шло воспитание в мое время.

По долголетнему опыту жизни я давно пришел к заключению, что главную роль в характере человека играет прежде всего наследственность. Ее я понимаю собственно в двух видах: общем и индивидуальном. Под первым я разумею общечеловеческое природное состояние, с положительными и отрицательными свойствами его, склонностями к добру и злу; под вторым разумею уже частные особенности, складывавшиеся в течение десятилетий и столетий под влиянием разных индивидуальных условий: религиозных, географических, социальных и личных.

То и другое передается потом по таинственным путям психологической наследственности, и образуются нации, племена, роды, семьи и отдельные индивидуумы. Потом те же условия, а также смешение крови и личные усилия вносят разнообразие в новых людей, но думается мне, что преимуществуют все же свойства, полученные нами от предков, близких и дальних.

Личный наш подвиг, особенно в христианстве, может иметь немалое значение, но тут потребуются большие усилия, напряжение духа и воли, чтобы в короткий срок одной жизни добиться каких-нибудь значительных результатов и изменить и природные, и прирожденные (наследственные) наши свойства. И то для этого требуется, помимо всего прочего, особая Божественная помощь, или сила благодати. Но и последняя не уничтожает

индивидуальности, полученной уже от рождения, а только исправляет ее, усиливая доброе и ослабляя недостатки. И лишь исключительные люди, святые, добиваются этими путями великих результатов. Но и они так или иначе, хотя бы в силу наследственной энергии, решимости, многим обязаны предкам и родителям.

Например, из житий святых мы ясно видим, что у большинства их родители были уже благочестивы или по крайней мере один из них. Исключения редки. И лишь был единственный период в жизни человечества, когда из недостойного прошлого выросло поразительное поколение миллионов обновленных людей: это христиане первых трех веков. Божия благодать влила в них новые колоссальные силы, и история была свидетельницей невероятного чуда: двенадцать рыбаков, учеников Христа Господа, перевернули весь мир! Церковь Его сделала нечто подобное и над русскими племенами в IX–XI веках и дальше. И влияние ее, или, точнее, силы Божией, глубоко отложилось на русском народе до наших дней, передаваясь и по рождению, и по общему духу традиций, по быту. Но дóлжно сознаться, влияние это давно стало слабеть.

Однако нельзя отрицать некоторой, хотя и меньшей, доли влияния и иных условий воспитания человечества. Обычно прежде придавали важнейшее значение знанию, обучению, школе. В последние времена — социальным, в особенности экономическим, условиям жизни. И лишь некоторые отводили первенствующее значение Церкви. Я признаю все эти пути, а какой из них сильнее, по моему мнению, отразился на русской душе в наше время, покажут дальнейшие мои воспоминания. Я их расположу в указанном в оглавлении порядке: школа, общество и Церковь. Среди материалов об этом будут и более важные факты и явления, но да не будет поставлено мне в вину, что я нередко буду рассказывать и о мелких случаях жизни: они, во всяком случае, будут

оживлять воспоминания, а иной раз дадут кому-нибудь толчок и к более серьезным размышлениям и выводам.

Первая школа моя была, как и у всех, в семье. Почти исключительные умственные способности, полученные нами от отца и матери, сделали пятерых из шести первыми учениками. Не будь этого, никакие усилия не могли бы вынести нас на верхи культурного класса, до которых мы поднялись без особого труда с нашей стороны. Но помогали и добрые условия.

В семье же началась, конечно, и первая грамота. Мать наша, хотя вышла из духовного сословия, научилась, не знаю уж почему, лишь читать, а письму выучилась впоследствии, самоучкой да по подражанию нашим письмам. Отец писал красиво, мягко и мелко, а мать, наоборот, крупно, сильно, не обращая внимания на внешнюю сторону.

Когда и как научился я грамоте, не помню начала, вероятно, лет с четырех. Была у нас в доме какая-то первичная азбука с картинками и побасенками. И учили нас еще по старому методу: «буки + аз — ба, веди + аз — ва», и так далее. И легко как-то выучились мы, несмотря на этот мудреный способ. К шести годам я уже читал, писал, считал, знал главные молитвы и истории. После читал, что попадало к нам случайно. Между прочим, какие-то длинные романы, приложение к газете «Свет»[33]. И очень не любил я в них так называемых описаний и рассуждений, пропускал их и читал там, где рассказывалось о событиях или велись разговоры.

К концу шестого годика меня вместе с братом Михаилом, который был старше почти на два года, отец отвел в школу, находившуюся в двух верстах от дома. Мы оба были приняты сразу во второй класс: в первом нам нечего было делать. Школьные товарищи были хорошие, обучение шло легко. Барыня Чичерина давала всем нам на обед одно блюдо, большею частью щи с мясом и вкусным хлебом с «людской» кухни. Сначала мы «хлебали»

одни щи, а потом, по стуку ложкой старшего, мы набрасывались на «куски», то есть уже на мясо... Потом убирали всё, относили. Немного играли на улице и продолжали учиться... Еще раз скажу спасибо и за это... Многие из нас лишь в школе и видели мясо.

Центральной личностью был, конечно, Илья Иванович. Обучившийся в учительской семинарии на средства той же Софьи Сергеевны, как и управляющий имением Широватов, кончивший художественное училище, оба они вышли из народа. Мать учителя была из «дворовых», как и мы, служила птичницей у господ. Эта добрая и полная старица известна была способностью «заговаривать кровь», то есть какими-то внушениями останавливать кровотечение без всяких повязок. Илья Иванович был высокий прочный мужчина, сильной воли, знающий свое дело. Мы его боялись и учились. Если все шло благополучно, он был спокоен. При шалостях же не пожалел и родной дочери своей Анюты, наказав ее в классе при всех ремнем за какую-то провинность. Ко мне он относился с лаской: как малыша и способного, он однажды взял меня на широкую свою ладонь и носил по старшему классу; за дверями был еще младший: «новички». Обучение длилось четыре года. Дело стояло отлично. В храме он управлял хором, и тоже отлично. Кажется, это вменено было ему в бесплатную обязанность воспитавшей барыней. И он трудился так до старости. Царство ему Небесное! Вспоминаю его всегда с благодарностью. Будучи еще глупышом, я, стоя около окна его дома, обратился однажды к нему с наивным вопросом, дети всегда любознательны:

— Илья Иванович! Отчего у вас такая лысина?

А лысина, как голое колено, была почти во всю голову.

Спокойно улыбнувшись, он отвечал мне серьезно:

— Летом я лежал на траве и заснул, а канки (индюшки) подошли ко мне и выклевали волоса.

Воскресенская церковь в селе Сергиевка, в котором располагалась школа Ивана Федченкова. Иконостас. *Фото 1906 г.*

Я вполне поверил и, придя домой, объяснил это матери... Потом, уже будучи студентом академии, я с любовью навестил старого и первого учителя и благодарил его; он мало изменился за прошедшие 15 лет.

При выпуске учеников был экзамен. Приезжал почему-то чудаковатый, но умный помещик Дашкевич, из католиков, была барыня и не всегда священник: школа была земская. Учитель нас хорошо подготавливал и к испытанию, так что все выходили успевающими и даже дисциплинированными.

При моем выпускном экзамене, в самый разгар дня, мы услышали набатный звон: в нашей деревне Ильиновке бушевал страшный пожар. Кажется, некоторые ребятишки, из них полублаженный, но способный Миша Савехин, убежали с экзаменов домой помогать тушить.

Эти пожары были огромным несчастьем для народа: чуть не полсела выгорало зараз! Пожарных тушительных средств не было, организации — тоже, везде солома да сухое дерево. Так, бывало, и горит, пока не догорит до конца или ветер вдруг повернет в другую сторону. Страшно, но и интересно было смотреть издали на эту стихию... А потом как-то опять отстраивались. К счастью, пожары все же бывали редки. Наша Ильинка, однако, почему-то страдала больше всех.

Через три года кончили мы школу. Брата старшего выпустили на экзамен, а меня еще оставили на год: по молодости, всего девять лет, не полагалось допускать до экзамена и выдавать свидетельство. И добрый учитель занимался со мною одним особенно: синтаксисом, чтением книг и чуть ли даже не дробями; а кроме того, иногда поручал мне, малышу, помогать ему учить других, особенно новичков. Так и это все пошло мне на пользу. Первая ступень кончена.

Что дальше делать? У матери в душе всегда жила мечта: хоть одного бы мальчика сделать батюшкой, «иметь молитвенника у престола Божия», сказалось в



Деревенская школа. *Фото конца XIX в.*

ней и сословное происхождение. Да и с человеческой точки зрения положение священника было и высокое, и доходное. Он был ниже лишь помещиков, но выше прочих; разве богатые управители почти равнялись ему, но и те были почтительны пред своим духовником. Таким образом, это служение было высшее, о чем мог мечтать член низшего сословия, включая даже и дьячков.

Но деньги? Деньги? Нужно везти в губернский город, платить десятки рублей... Это было трудно... И тогда родители решили отдать нас в так называемое «уездное училище» в г. Кирсанове, в 35-ти верстах от села Сергиевки.

Это была вторая ступень обучения, вроде средних классов гимназии, но без всяких языков. Обучение трехлетнее. Оттуда были неширокие пути: телеграфистом на почту (мне нравилась их форма с «золотыми» пуговицами!); писцом в контору; может быть, волостным писарем в селе, ну и — куда судьба загонит. Здесь мы с братом проучились два года. Без надзора уже ленились. Научили нас курить табак — почти все курили. Вообще атмосфера городских школьников была неважная, даже дурная, сельские были не в пример лучше. Лучшим учеником у нас в классе был Назаров — чудный, изящный, беспорочный (и не курил) мальчик городских родителей... Законоучителем был седой протоиерей собора отец Иоанн Кобяков, с нами обращался ласково... Я поступил в соборный хор певчим за рубль в месяц, но проспал както раннюю обедню, в 6 часов утра, и постыдился воротиться... А за курение мы пострадали: одна знакомая донесла на нас родителям. На ближайшие каникулы (мы жили тогда у няньки Арины), в масленицу, мать поставила нас на колени перед иконами, пока все другие ели блины. Потом простила. От стыда мы залезли на печь, а она, мать — всегда мать, стала подавать нам и блины, и сметану, и масло туда же. Курить перестали. Но после брат снова научился, уже в другой школе. Он еще год

V. Кирсановъ. Реальное училище.



Реальное училище в г. Кирсанове, где учился митрополит Вениамин

Кирсанов. Общий вид

проучился здесь, а меня мать все же решила «повести по духовной дороге», и, не кончив одного года в уездном, я попал в духовное училище.

Учить, учить... Но где средства? И кого учить: одного ли меня или и других пятерых детей? Почему лишать их образования? Но деньги? Это постоянный вопрос для бедноты, особенно деревенской. Читателям показалось бы, вероятно, даже бессмысленным задаваться нам, то есть, собственно, родителям, такими мечтами. Да, но ни они, ни мы, дети, не усчитали колоссальной энергии матери, а сила и горами движет.

Будучи очень умной от природы и бережливой, как и все бедняки, она с первых дней замужества начала собирать средства на дальнейшую жизнь вообще, а на воспитание детей в особенности.

Мой отец к тридцати трем годам ничего не скопил, и даже были на нем какие-то долги. А когда он женился, то все хозяйство взяла в руки мать. У нас был желтый комод, приданое мамы. В правом верхнем ящике его помещалось наше министерство финансов, туда и складывалась всякая сбереженная копейка. Получит отец свои месячные 22,5 рубля, мать — немедленно их в ящик. Вскормили свинью, теленка, уток, индюшек, продали, а деньги — туда же. Людям — мясо, нам — потроха, да разве окорок ветчины на чердак. Сливки сняли, масло сбили, — денежки в «кассу». И так каждая копеечка, а «копеечка рубль бережет». Расходы же делались самые минимальные, без чего уже нельзя обойтись. Конечно, мы дома босиком бегали, как и все деревенские ребята. В школу — обувь, а воротился домой — в «маменькиных сапожках», то есть в чем родился, бегай вволю. До самой семинарии, то есть до 17-ти лет, и я босиком гулял по родной земле дома. Но только так и можно было делать сбережения. Конечно, это доставалось иногда очень болезненно. Например, мать и в грязь, и в снег ходила дома в чем попало. Бывало, мы собьем наши сапоги, мать от-

дает сапожнику голенища, чтобы наставить на них «головки», а сама ходит в наших или собственных дырявых опорках. И это не день, не два, а годами. И к двенадцати годам моего детства у нее были непоправимо простужены на всю жизнь ноги: получилось воспаление... Итак, осталась навсегда болезнь и опухоль. Однажды мать говорит мне:

— Сынок, поди сюда!

Я подошел. Она приоткрыла снизу платье и, указывая на опухоль, сказала:

— Нажми пальчиком.

Я нажал, чувствую — туго. А когда отнял его, то на опухшем месте осталась ямочка от пальца, пока постепенно потом не заполнилась... Легко говорить, а каково терпеть? Зато мать свои хорошие ботинки (у нас звали их тогда «полсапожки») носила лет по семь-восемь: в церковь, в село, в гости, а потом опять в опорочках. Отец же был еще аккуратнее: свои «смазные» сапоги он носил буквально 21 год! Прежде он больше сидел за конторским столом, а дома тоже ходил в каких-то старых простых сапогах, но босиком я его не видел. Знаменитые же ветераны «смазные» я отлично помню: вверху они были уже порыжевшие, а низ чистился ваксой... Их бы в музей исторический нужно поставить... Зато какая бывала радость нам, когда деревенский сапожник Иван Китаич (вероятно, «Титович») приносил нам новые сапожки, да еще «со скрипом»! Несколько минут мы ходили по комнате именинниками, а потом с грустью снимали и опять гуляли в «маменькиных». Зимой у нас были валенки. Но не нужно думать, что мы жаловались на этот порядок: так все кругом ходили, кроме барских детей да сына управляющего. Конечно, не все губили ноги, как мать, но зато почти никто и не смог так обучить детей. Я не знаю буквально ни одного подобного примера на 100 верст кругом и потом во всю жизнь не слышал ничего такого!

После, когда мы уже учились «в губернии», мать пешком ходила продавать масло в город или потом везла его в Тамбов, чтобы им заплатить за наше «правообучение». 25 верст в любую погоду тащит на себе ведро, а то и два, с пудом масла!.. Да, подвижница житейская была наша мать...

И вот таким путем за каких-нибудь пять лет своего замужества она уже скопила до тысячи рублей. В это время один из родственников, Я.Н. С-в, муж ее старшей сестры, нуждался в деньгах и попросил эту тысячу взаймы под проценты: доходы наши увеличились. Еще скопились постепенно деньги. Другой ее родственник, М.Н. З-в, тоже попросил взаймы под проценты. Они были довольны полученными займами. И, зная нашу бедноту и многосемейность, с охотою и нам давали проценты... А месячное жалованье все шло и шло, масло и свиней каждый год продавали, и деньги всё увеличивались. Вот этот сберегательный мамин ящик и дал нам образование, особенно в первые трудные годы. А потом мы и сами стали помогать обучению друг друга. Например, младший брат Александр, дойдя до семинарии, начал (так очень многие семинаристы делали) набирать «духовников», то есть трех-четырех учеников духовного училища, на снимаемую им квартиру, питал их, помогал готовить уроки, следил за дисциплиной, за чистотой их. И за все это получал рублей по пять-семь в месяц, бóльшая часть которых шла на уплату хозяйке за квартиру, за стол, за мойку белья, на тетрадки, оставались ему самому гроши, зато он имел бесплатную квартиру и питание.

Я же, как лучший ученик в классе, был (совершенно неожиданно для меня и родителей) с первого же класса семинарии (после четырех лет собственного содержания в духовном училище) переведен на казенный счет в корпус, то есть в семинарское здание. Большинство же семинаристов жили в «своекоштном»[34] обще-

житии, а еще больше — по частным квартирам компаниями или «репетиторами», как брат.

Но нужно было учиться уже и сестре Надежде, и четвертому брату Сергею. Тогда я пришел на помощь: мне предложили заниматься с неуспевающим гимназистом, за что я получал шесть рублей в месяц. Из них я пять относил в женский монастырь, где помещалась сестра моя в келии одной монахини (они жили на свой счет). Но, конечно, главный фонд был мамин «комод»! Так вот мы и обучились!

Да что еще? После, к выдаче замуж моих сестер, мать за эти долгие годы скопила (собственно, эти суммы были отданы взаймы нашим родственникам) по две тысячи рублей! Невероятно?.. Но так! Только, кажется, младшая сестра, Елизавета, на свое приданое обучилась в Санкт-Петербургском женском университете; потом была преподавательницей в гимназии и вышла без приданого за директора гимназии...

Уж много после, когда я был ректором семинарии, мама говорила мне с сокрушением:

— Ради вас, детей, я так втянулась в бережливость, что сделалась скупою. И сама сознаю, что это грех, а уж ничего не могу поделать с собою!

Впоследствии мы купили для топки дров, а она жалела их и по-прежнему топила соломой... И угорела с отцом...

Но если бы она не была бережливою, мы не получили бы образования: трое — высшего, а трое — среднего. Старший брат учился в фельдшерском училище (после уездного); Надежда — в учительской школе; Александр после семинарии стал священником; я и Сергей кончили Санкт-Петербургскую духовную академию и оставлены были при ней профессорскими стипендиатами. Лиза после гимназии (с медалью) поступила на Высшие женские курсы.

Я описал все это подробно, чтобы показать, каким невероятным, совершенно исключительным путем нам,

деревенским жителям, можно было получить тогда образование! И то я думаю, что подобный случай был, вероятно, один на всю губернию... А может быть, даже и на всю Россию? Да, мы еще были в лучших условиях, чем обычные «мужики»: тем и вовсе было не под силу учить детей в средних и высших школах. Да крестьяне о том уж и во сне не помышляли! Кончил мальчонок сельскую учебу, — а то и не докончил, — и за хозяйство! К чему там учиться?! Это не мужицкое-де занятие... И я из своей округи знал лишь одного мальчика, Комарова, из села Марьянки, пошедшего вслед за нами в уездное училище. Умненький, худенький был. Отец его — высокий, богомольный, за всей службой, бывало, все читает на память, вслух шепча какие-то свои молитвы, точно не слушая ничего, что пели и читали в церкви.

А теперь?.. Да, теперь вся крестьянская Русь получила возможность учиться, да еще и как! Во всех областях — тысячи, тысячи студентов, профессоров, ученых... О средней школе уж и говорить нечего. И поднялась Русь, как сплошная высокая рожь на бескрайних полях! И она знает теперь, что защищает от врагов!

Я забежал вперед, но не случайно: мне хотелось нарисовать общие условия обучения для деревни и сравнить их с современными.

Вспомнил еще одну характерную подробность. По законам нашего времени дети «податного сословия» (и даже и доселе не понимаю этого термина: ведь какието подати и налоги платили все) не имели права учиться в средних и высших школах. И нам для этого нужно было «отписаться» от крестьянства: «народ» должен был дать на это согласие. На деле это было легкой и формальной процедурой. Отец или мать со мною сходили в волостное правление, верст за семь от дома. И, кажется, поднесли бутылку вина волостным старшине и писарю, и [те] беспрепятственно выдали какую-то бумажку, что я теперь «отписан». Но кем же я стал после этого — не понимаю

и сейчас. А крестьянское происхождение всё иногда давало немного себя знать. Еще в духовной школе товарищи обычно спрашивали: «Ты чей сын?» — «Священника!» Это очень почетно. «А ты?» — «Диакона». Уже ни то ни се. «Псаломщика» — и вовсе невысоко, но терпимо. «А ты?» — «Крестьянина!» Бывало, говоришь, а самому стыдно, что ты из крестьян: «черная кость», «низшее сословие», «мужики»...

В семинарии товарищи уже были умны и деликатны и не заводили подобных разговоров между собою, но старшие, начальство, еще раз упрекнули меня этим...

А теперь воротимся назад.

Решивши «хоть одного» попробовать учить выше, родители, больше мать, должны ехать со мною в Тамбов, за 90 верст от Кирсанова, чтобы у самого начальства справиться об условиях поступления... Бедные мы пошехонцы! Казалось бы, нужно просто написать письмо за семикопеечной маркой в канцелярию духовного училища с вопросами, и получили бы мы полный и точный ответ. Но нам, неучам деревенским, и не верилось, чтобы так легко можно было добиться справок: жизнь приучила нас к мысли, что все достается с особым трудом. Да еще сомнение будет одолевать: напишут ли ответ? Не рассердится ли там какое-нибудь начальство на такую нашу дерзость? А потом что будет? Да и точно ли напишут, чтобы мы все поняли? Нет, уж лучше самим как-нибудь добраться в этот далекий и пугающий Тамбов! Нужно тратиться на железную дорогу? Ну, что же поделаешь?! Раз решились «попробовать», уж тут «заплачут денежки». А лишь бедняки знают, как трудно расставаться с «потовыми» деньгами! Плачь, а отдавай!

Но еще нужно было добраться от села до города, двадцать пять верст. Обычно отец нанимал у кого-нибудь из села лошадку с телегою или в санях, копеек за 50–70 в день, и ехал с нами в город. А крестьянин еще за эти же деньги и овсяной соломы бросит для лошади, а то и кло-

чок «сенца» (всё ласково!); овес давался лишь на барском дворе... И все это за полтинник! — бессребренная была наша крестьянская сермяжная масса... И на этот раз отец также просил дать подводу. Но на наше горе этим летом и в июне шли беспрерывные ливни, землю «развезло», и хозяева не хотели мучить своих лошадей. К тому же всякий день они ждали прекращения дождей, чтобы скорее приняться за «пары». Как известно, в деревне была трехпольная система: первый год — озимое (рожь), второй — яровое (овес, просо, картофель, сеявшиеся весной), а третий год земля «ходила холостою», под «парами», без всяких посевов, отдыхала. О плодоповременной системе знали лишь в имениях и практиковали ее кое-где, но крестьянам с их «третьим наделом» невозможно было подражать помещикам. При освобождении их, как мне говорил отец, власть предлагала крестьянам три надела землею: первый — в 4,5 десятины, по 1,5 — на семью в каждом поле, второй, должно быть, — в 3 десятины, а вот третий — всего 1,5, по полдесятины в двух полях, третья оставалась порожней. Урожай не превышал в среднем 50, в хороший год — 70 пудов на десятину, а на полдесятину — 30. Если в семье было пять едоков, в день хоть на полтора фунта муки «на душу» (в выпечке получается два), получалось (7×30) 200 фунтов в месяц — 5 пудов. Значит, «своего» хлеба хватало на полгода. Нужно было остальное заработать у помещика «испольно», из половины: земля и семена барские, труд крестьянский, урожай пополам. А овес с ярового — в продажу на прочее житье-бытье; или опять нужно было продавать свинку, овцу, телка, возишко сена с лугов или барских займищ. И так люди «перебивались с воды на квас», по пословице. Где уж там копить на обучение детей! Наши крестьяне пошли на «третий надел», который, конечно, нужно было выкупить у господ. Первый было труднее оплачивать. И притом в народе искони, как помню, жила какая-то мечта, что «все равно земля будет когда-нибудь наша»,

зачем же платить много? Ну, и брали самый дешевый надел. А он, с умножением семьи и разделами, дробился все больше и больше. И перед крестьянами все грознее становился вопрос о безземелье. «Земли, земли!» — стонала страна...

Началась попытка переселенчества в Сибирь. Были ходоки и из нашей деревни, но вернулись почему-то совсем нищими, без лошадей и телег, оборванные. Я помню лицо одного такого главаря с острой бородкой, Артема Ивановича... И никого это не удивило: уж так все привыкли к бедам, бедноте, неудачам, несчастьям...

Так шли дожди... А время бежало. Уж июнь к концу, а мы еще не знаем ничего о таинственном духовном училище. Тогда мать предлагает мне идти, хоть в дождь, пешком. Детям и море по колено:

— Пойдем, мама!

На наше счастье, сплошные тучи начали редеть, прорезывалось кое-где небо с солнышком, а потом опять загустит и опять польет неустанный дождь. Пойдем! И после обеда, когда облака поредели, пошли. Разумеется, оба босиком: обувь на палках за спинами... Идем, идем... Вдруг опять сгустилась туча, и нас поливает как из ведра. Иной раз нагнемся под высокую волнующуюся рожь, что, разве это поможет? Опять идем, идем. Дождь перестанет — сохнем. Так добрались до реки Вороны. Осталось четыре версты до Кирсановской станции. И к этому времени небо расчистилось совершенно, ветер утих, и чудная алая вечерняя заря радужными красками обливала всю землю. Перешли мост. Дальше шла уже «шаша» (шоссе) из каменного булыжника. Летняя сырость скоро сохнет. Да и город близко. Мать предложила обуться. Сошли мы к воде и начали мыть ноги от налипшей грязи. Вижу: у матери слезы катятся.

— Бедный, бедный мой Ванюшка (меня прежде звали Иваном), с какой поры приходится тебе горе хлебать!

— Мама, — крикнул я весело на всю реку, — зато протопопом буду!

И мне совсем не было печально: как с гуся вода, скатывалось детское горе... А там впереди — учение, потом — батюшкой, богатая и почетная жизнь: из-за этого стоило и грязь месить.

В город мы вошли уже при огнях, казалось — красиво. Передохнули и подсохли у родственника матери (отцовская родня осталась в Смоленской губернии), телеграфиста Николая Васильевича, и ночью выехали в славный Тамбов. В хорошее солнечное утро представился он мне грандиозным: чистые мощеные длиннейшие улицы, «огромные» двух-трехэтажные дома, магазины, церкви, звон больших колоколов... Только солнышко совсем «не там» всходило, как у нас в селе...

Мы сначала отправились помолиться в кафедральный собор, построенный еще при епископе Питириме[35] (современнике Петра Великого). Отслужили панихиду при его раке... После, в 1914 году, я, уже в сане архимандрита и ректора семинарии, участвовал в прославлении его как святого нашей Церкви. Из храма — уже не знаю, откуда знала это мать, — направились к старцу, иерею Петру, жившему в соборном доме, в полуподвальном этаже. Его почитали за святого и прозорливого. Получили мы благословение от него. И, кажется, он сказал о какой-то неудаче. Мне показался неприветливым.

От него мы отправились во «второе» духовное училище за справками. «Первое» — было дальше и почему-то считалось «строгим»; мать для сыночка предпочла более мягкое. Были уже каникулы. Нас весьма мило принял помощник смотрителя, Виктор Иванович Казанский, немного заикавшийся и с оттенком красноты в носу. В каких-нибудь пять-десять минут он разъяснил мне и матери, что следует знать для экзамена во второй класс. А был еще приготовительный и первый.



Кафедральный собор в г. Тамбове

Тамбов. Общий вид

— Ну, Закон Божий...

— А по какому учебнику? — спрашиваю.

— Все равно! Еще грамматику, арифметику до дробей, немного славянского языка, ну, и пение... Приезжать на экзамены 16 августа. Вот и все!

— Ты запомнил? — спрашивает малограмотная мать «ученого» сына.

— Конечно, — с довольной улыбкой отвечаю я.

Ведь я уже шесть лет до этого учился, а в уездном училище «проходил» не только дроби, но и геометрию, катехизис, «гражданскую» историю.

Поблагодарили мы доброго начальника — и обратно домой. От Кирсанова тоже пешочком, но уже по успевшей высохнуть дороге.

А мать все беспокоится об экзаменах. Тут она решилась на отчаянный шаг. У фельдшера нашего села, — отлично лечил! — Павла Васильевича Родникова, это лето жил племянник, семинарист. Мама, чтобы все было уже наверняка, предложила ему двадцать пять рублей (это казалось нам богатством) за подготовку. Но он болел чахоткой и отказался. Тогда она приказала мне попросить руководить моими занятиями кирсановского протопопа, знакомого уже мне по уездному училищу, отца Иоанна. Я пешком отправился в город. Он очень охотно — спасибо ему! — согласился, чтобы я раз в неделю являлся к нему для проверки. И вот по вторникам — день базарный, можно было иногда с попутчиками подъехать — я каждую неделю отправлялся в город. Нравился он мне: огромный собор с высочайшей колокольней, рядом — Ильинская церковь. Кругом площадь в одной стороне и «ряды» — в другой. Чего там не было в этих лавках! Вот чистенькая, хорошо пахнущая воском свечная лавка: тогда еще не было епархиальной монополии на свечи. А рядом пахнет дегтем из «колониального магазина». Дальше мучная или суконная лавка. На других улицах — булочная Ульева, кондитерская немца Яхмана,

ах, какие там были воздушные пирожные за три копейки! Над собором в солнечную жару вились с визгами стаи беспокойных стрижей: без них и город не город. Внизу речушка в сажень шириной — куры бродили через нее. Город заканчивался сзади женским монастырем с высокими белокаменными стенами. 26 июня (старого стиля) праздновалась Тихвинская икона в монастыре, и в городе устраивалась ярмарка. На мосту скромно стояли две монашки около большой иконы, вероятно, копии с главной, и люди, крестясь, бросали им грошики на тарелку. Справа, на горе, солдатские кирпичные казармы. А налево кладбище, все в зелени. В центре города — деревянная каланча для наблюдения за пожарами, около нее — городской сад для гуляний. Впереди города станция железной дороги... Все это было мило, как родное, знакомое... Дом протопопа (квартира) был полутораэтажный, кирпичный, с красивой светло-бордовой окраской.

Вот сюда я и бегал по 50 верст в два конца. С улыбкой благословлял меня отец протоиерей.

— Ну, что, как? Учил?

— Учил.

— Ну, расскажи!

Расскажешь что-нибудь немного.

— Ну, вот учи теперь дальше по книжкам.

Снова благословение, и я бегу домой с книжками под мышками.

Едва ли он занимался со мною больше получаса — «делов» ведь много у всякого... Теперь уже никто не подвозил, потому что было еще утро, все были на базаре.

А я бегу по полям и никогда по дороге, которая делала крючок, а прямо полем, уже тогда скошенным; вижу далеко впереди ту самую одинокую мельницу без крыльев у кладбища и напрямик лечу к ней. И не уставал, не тяготился... Душа-то была еще ангельская, небитая, а маленькие горести забывались. И так — каждый вторник. Лето промчалось очень скоро.

После Успения (15 августа ст.ст.) мы с матерью уехали опять в Тамбов на «страшные» экзамены. Но оказалось, что сначала целую неделю держали переэкзаменовки слабые ученики, а приемный экзамен во второй класс назначен был на двадцать второе число. Матери ждать нельзя. Оставила она меня у какой-то толстой и доброй кухарки на постоялом дворе — кажется, на Знаменской улице, — и воротилась домой на неделю: хозяйство, маленькие дети, винная лавка. Через неделю снова приехала. А посещая училище, я вдруг от школьников узнал «ужасную» для меня новость: оказалось, по славянскому языку во второй класс нужно было знать не «немного», а половину грамматики. Там же мне показали какие-то неслыханные мною времена, спряжения глаголов: преходящее, прошедшее, совершенное, давно прошедшее и даже какой-то странный «аорист». Боже мой! А там еще «двойственное число». В сельской церкви я уже мог читать «часы»[36] по-славянски, но тут целый темный лес нового же языка. И я пал духом. Учиться уже было поздно: в неделю не выучишь того, что проходят за год... Но почему же не сказали мне об этом обо всем ни Казанский, ни мой протопоп? Они же знали всё это! Ответ был один: не очень-то мы привыкли интересоваться нуждами других! Но что делать? Приехавшей матери я не сказал ни слова, зачем огорчать бедную?! Все равно не поправишь дела. А может быть, думалось, как-нибудь еще и «пронесет»!..

Пришли на экзамен. За длинным столом сидят три учителя: один из них — «смотритель», по фамилии Щукин. Необыкновенно толстый. За партами несколько мальчиков с родителями. На этот раз вызывали по алфавиту с конца.

Мою фамилию записали в училище не с Ф, а с Ѳ — Ѳедченков; далее на «ижицу» уж не было фамилий.

Вышел, поклонился. Расспросили, где учился. Шесть лет было в моем резерве. Но боюсь иностранного славянского языка. Молчу. Начался экзамен.

— Перечитай царей иудейских, — говорит холодно смотритель.

— Саул, Давид, Соломон...

— Стой! Это — не иудейские цари, а общееврейские, а я тебя спрашиваю об иудейских, после разделения.

— Ровоам... Охозия... Езекия...

— Не знаешь всех?

— Не знаю, — говорю, — в моей книге этого нет, — оправдываюсь я.

— Ты по какому учебнику готовился?

— По Афинскому[37].

— А нужно по Димитрию Соколову[38], — строго возражает смотритель.

— Но я весной спрашивал у помощника смотрителя, по какому учебнику готовиться, он мне сказал, все равно.

— Что мне помощник смотрителя?! — грозно напал за мое возражение смотритель Щукин. — По уставу нужен Соколов! Не знаешь?

— Не знаю!

— Ну, и уходи!

Я повернулся. Вдруг встает мать и умоляющим робким голосом спрашивает:

— А нельзя на класс ниже?

— Сколько тебе лет?

— Двенадцать, тринадцатый.

— Устарел по законам для первого класса!

Мать громко расплакалась. Мне стало страшно обидно. Не за себя, а за нее, горемычную. И я, набрав откуда-то смелости, громко во всеуслышание сказал ей:

— Мама, пойдем отсюда! — то есть от таких нехороших людей.

Взял ее за руку и повел к двери. Вышли в коридор.

— Что же делать? — захлебываясь в слезах, спрашивает меня мать.

— Пойдем в «первое» училище.

В это время из класса вылетает другой мальчик, Сотников, и он провалился на тех же царях. После, учась уже «по Соколову», я узнал, что эти цари, числом до двадцати, действительно пропечатаны были в его книжке, но и там — лишь в подстрочном примечании... Бог с ним, этим Щукиным, проглотил он тогда меня, как карасика. Но скоро и скончался от «удара» из-за полноты своей. Наш знакомый Казанский стал смотрителем.

А мы с Сотниковым, моей мамой и его отцом быстро пошли по набережной реки Цны в «строгое» училище, куда не хотела сначала мать. Был уже последний день приема.

Мать бросилась со мною теперь уже не к помощнику, а в квартиру к самому смотрителю П.Н. Охотскому. Раздался звонок. Вышел полный человек в сюртуке. Жиденькая бородка, узкие глазки. Мать сразу ему в ноги! А мне больно за нее! И он поморщился. Спрашиваем: можно ли еще держать? Можно: ныне последний день, идите в канцелярию. Писец, серенький старичок с больными ревматическими ногами, сам написал прошение. Я подписался. Повел на экзамен. Сначала — диктант: великолепно. Преподаватель, Е.И. Орлов, вообще-то раздражительный человек, как я узнал после, на этот раз подошел к запуганной моей матери и говорит ей при мне:

— Ваш сын прекрасно написал диктант!

Спасибо ему за такое утешение бедной женщине!

Потом вызвали к столу. Ну, думаю, что как опять про царей?

— Расскажи про явление Бога Аврааму в виде трех странников.

Гора спала с плеч: кто же не знает этой истории? Потом — по русскому.

— Знаешь какие-нибудь стихотворения?

— Много знаю, — отвечаю я наивно и уже осмелевши без царей.

— Ну, например?

— «Мартышка и медведь»... Потом...

— Ну, во-первых, — поправляет меня благодушно учитель, которому понравился мой диктант, — это не стихотворение, а басня, милый мой, а во-вторых, она называется «Зеркало и обезьяна».

— Ну, все равно! — беспечно продолжаю я в веселом тоне.

— Ну, хорошо, читай!

— «Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой: "Смотри-ка, Мишенька..."», — и так далее.

— Ну, разбери: где подлежащее, сказуемое, какое время?

И прочее... Все шло отлично. По арифметике прекрасно.

— В двух закромах 56 четвертей ржи; в одном в 7 раз больше, чем в другом; сколько в каждом?

Я, даже не касаясь доски мелом, сразу сообразил:

— В одном семь, в другом — 49.

— Отлично! Ну, теперь по-славянски.

Тут и пришел опять мой конец. Прочитал Евангелие, перевел. Опять разбор времен.

— «И глагола (сказал) Иисус» — какое время?

А их четыре же!.. Вот беда! Сказал наугад одно, но не попал, другое — тоже...

— Ты что же, не знаешь?

— Я не учил этого: не знал, что и нужно учить, — упавшим голосом ответил я...

Теперь уж некуда бежать в новое училище... Один путь был: назад, домой, с провалом... Горе-то какое и мне, и матери!

— Жаль! — сказал кто-то из учителей, — а по другим предметам мы по пятерке поставили тебе.

Мать опять встает сзади, просит: нельзя ли классом ниже?

— Сколько тебе лет?

— Тринадцатый! — как подсудимый, говорю я.

— Устарел для первого класса.

Мать опять в слезах. Я стою у окна молча.

Один из них (не тот же ли Орлов? он был секретарем правления училища) вдруг говорит матери:

— Ну, хорошо, оставляйте его здесь. А мы обратимся с просьбой к архиерею принять его в виде исключения из правила: по другим предметам прошел прекрасно!

Мать поблагодарила. Я — в восторге: попал-таки в школу. Мать простилась, заплатила первый взнос за право обучения, — брали со светских учеников, а дети духовенства были свободны, — заплатила и первый взнос за общежитие. И началось мое богословское образование, продолжавшееся пятнадцать лет.

Конечно, мне очень было легко учиться в первом классе, после шести лет подготовки, и я сразу пошел первым. А порядки в этом училище действительно были строже, чем во втором. Зато первые ученики нашего училища, попадая в семинарию, где в первом классе сталкивалось семь учеников из разных училищ епархии, никогда не теряли первенства своего и в семинарии. Нет худа без добра.

Не буду дальше рассказывать про обучение в училище, семинарии, академии, это имеет специальный, а не общественный характер. В смысле знаний эти школы нам давали довольно много. О религиозном духе скажу после.

Как и везде, предметы нас не интересовали, мы просто отбывали их, как повинность, чтобы идти дальше. Классические языки не любили, да они оказались бесполезными. В семинарии часто учили «к опросу», по расчету времени, за чем следили особые любители из товарищей. Науки нас не обременяли, на экзаменах усиленно зубрили и сдавали. В академии же, куда поступали лишь «перваки», некоторые занимались уже самостоятельно любыми предметами, а многие слегка проходили

ее, напрягаясь лишь во время экзаменов. Учители жили в общем замкнуто от учеников.

Из своей школьной жизни я вспоминаю тут лишь три-четыре случая.

Когда кончился первый год духовной школы и я возвратился на каникулы, мать моя пошла зачем-то к упомянутому фельдшеру Павлу Васильевичу. А нужно сказать, что он тоже сначала вступил в нее, но, кажется, не одолел мудрости греческого и латинского языков и был уволен. Потом он поступил в фельдшерское училище, хорошо усвоил там науки и был, как я говорил, отличным и усердным лекарем на свой медицинский округ. Бывало, ходит он от шкафа к шкафу за решеткой по комнате с лекарственными банками и таково важно и успокаивающе все покашливает: пхр, пхр! Нам-де все это знакомо, и вот мы сейчас вам и поможем... И помогал. После земство за долголетнюю службу чествовало его и даже подарило ему дом. Все мы уважали его. И вот, встретив мою маму, он спрашивает ее:

— Ну, как Ваня? Перешел?

— Перешел, — скромно, но с торжеством ответила она.

— А каким? — то есть по разрядному списку.

— Да первым.

— Первым? Хм... Ну, это лишь из первого класса. А вот во втором будет греческий и латинский. Ну, там труднее будет!

Мать пришла расстроенная, в слезах.

— Ты же учись, учись там! — умоляет она меня.

А я злюсь на фельдшера: зачем даром огорчает мать? У нее и без того глаза не осыхают... А тут был один из самых трудных этапов жизни нашей — после отказа от винной лавки.

Прошел и второй год, с языками.

— Ну, как Ваня?

— Да опять первым.

— Хм! Пхр! Пхр!.. Ну, это еще разве в духовной школе, а вот как съедутся первые ученики в семинарию, ну...

И опять мать в слезах:

— Ты уж учись, ради Бога!

Так и дошел я первым до пятого класса семинарии, а там был «второй» ученик Василий С-в, способный и прилежный ученик, живший на квартире с родителями при очень удобных условиях. Он всегда хотел забрать мое первое место. Но это не удалось ему. Мне же конкуренция его стоила немало огорчений. Бывало, он отлично отвечает, а меня раздирает чувство зависти. Заткну уши и уж не слушаю, а на исповеди каюсь во грехе. И за четыре года надоела мне эта тщеславная мука. «Ну, — думаю, — пусть он первым кончит, а я вторым». И перед отъездом в пятый класс я сказал об этом маме... Боже мой! Как огорчилась! Видно, вспомнила фельдшеровы ожидания...

— Ой, нет, нет! Что ты задумал! Нет, ты уж непременно кончи мне первым. И не говори! Ну, а вот уедешь в академию, — она тогда уже знала и о ней, — ну там — как хочешь. Боже, сохрани!

И пришлось опять напрягаться. Да и Вася успокоился. Дружно с ним дожили до конца. Я был назначен в Санкт-Петербургскую, а он в Киевскую академию.

Изредка устраивали у нас в семинарии литературно-музыкально-вокальные вечера. Как они были интересны нам! Некоторые декламаторы были удивительными артистами. Солнцев потрясающе читал «Сумасшедшего» Апухтина[39]! А Кривелуцкий так читал вранье Хлестакова из «Ревизора» о его петербургском житье — «Ну, как, брат Пушкин?» и о 35 тысячах курьеров, разыскивавших его по столице, — так читал, что мы не только хохотали до болей в животах, но после стали смотреть на него с особым уважением и симпатией. И как это оживляло нас! Жизнь учебная, в общем-то, была скучная-таки. Но почему-то не баловало нас начальство такими

№ 10. Тамбовъ. Духовная семинарія.



Тамбовская духовная семинария

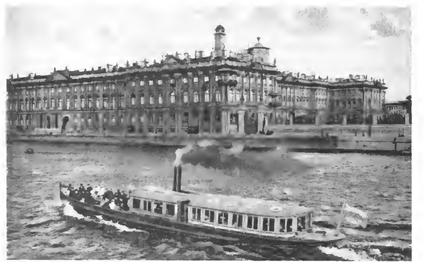
утешениями... И становится понятно, как мы ждали разных каникул: на Святки, масленицу и Пасху. Еще с 21 ноября, когда запевалась в церкви в первый раз катавасия[40] — «Христос раждается, славите», наши сердца начинали радоваться. А недели за две-три на классных досках появлялось это блаженное слово «роспуск»... И писалось оно уже везде, где можно: на тетрадках, в клозетах, вырезалось на партах, вписывалось в учебники. А когда подходил этот желанный день, мы просили учителей не спрашивать нас, а почитать что-нибудь. Помня свое время, они обычно охотно шли навстречу нам. Как это было отрадно и как мы были благодарны им!

В общем, преподаватели во всех школьных ступенях были умные и хорошие люди. Конечно, анекдотических рассказов о них в духе «Бурсы» Помяловского[41] можно было бы написать немало, но это было бы обидной неправдой. И товарищи были хорошие, за особыми редкими исключениями.

Упомяну о двух таких случаях.

В духовном училище были братья Оржевские, однофамильцы матери моей, но не родные. Старшему почему-то дали кличку Марфа Борецкая[42]... В училище почти у каждого из нас непременно были прозвища: меня называли Девочкой, или по-латыни Нуэлия[43], это казалось особо обидным для мальчика прозвищем, брата — Сарычом, кого — Иосифом прекрасным и так далее. От старшего брата [Оржевского] по наследству эта кличка передалась и младшему. А они были малоспособные. А на клички мы всегда обижались. Обижался и младший — Марфа; а когда его рассердят, то он готов бросить чем попало. Зная это, что же делали товарищи? Во время утреннего чая начинали дразнить его. И он в слезах как-то бросался в них порцией белого хлеба, оставшись голодным.

Были и еще два-три грубых «бурсацких» случая, о которых не хочу и записывать: грязные они. Но все же



Здание Санкт-Петербургской духовной академии

Санкт-Петербург, Зимний дворец. *Фото начала XX в.*

общая картина, оставшаяся в моей памяти, — приятельская, хорошая, мирная.

И лишь один случай оказался весьма резким. В моем классе, но в другом отделении, был очень крепкий юноша. Обычно он молчал. Способный, но учился средне: не любил. Сзади меня, в «занятное» время, то есть в вечера подготовки уроков, сидел товарищ Петрушка Спасский. Он любил оригинальничать: плевал через зубы с «цыканьем», придумывал прозвища или особые слова и прочее. Но учился отлично, вторым, и вообще был очень умным. Писал же просто художественно-каллиграфически, будучи двенадцатилетним ребенком. Чистописание у нас преподавалось в двух первых классах. Последний урок преподаватель, он же и духовник наш, священник училищной церкви, каллиграф, устраивал конкуренцию между лучшими учениками. Наш Петрушка был бесспорным перваком, Простосердов — вторым, я — третьим. Как-то после роспуска (он, как сирота, не ездил домой) гляжу, вынимает он пистолетик и пускает себе пулю в мякоть левого большого пальца, где она и застряла. А он — будто бы ничего не случилось — вынимает перочинный нож и начинает выковыривать пульку из кости. А в другой раз, года через два, сидит и ножом старается прорезать кожу на верхней стороне левой руки. В это время мимо него проходит тот самый мальчик И. и говорит:

— Ковыряешь? Давай я тебе расковыряю!

Петруша молча протягивает к нему нож и руку, а сам стал читать что-то. И. сильным и быстрым движением воткнул лезвие в тело и сильно так прорезал вдоль с вершок длиной. И пошел дальше, в клозет. Петрушка оторвал клочок листа той книги, которая лежала перед ним, смазал ее слюной и заклеил кровоточащую рану как ни в чем не бывало.

В другой раз И. покушался на меня. Я спал с ним рядом. Мой кошелек лежал под подушкой. Слышу, как



Библиотека Санкт-Петербургской духовной академии

Санкт-Петербург. Александро-Невская Лавра. Благовещенские ворота. *Фото начала XX в.*

он крадется рукой под ней. Я заворочался намеренно. Я боялся его. Он выдернул руку.

Еще я видел, как он дрался на новеньком льду реки с городскими мальчишками, которых мы называли почему-то «гужами», а они нас «кутьей». Их была толпа. Он вызвал «один на один» и так разбил ему лицо, что прочие испугались; а я еще раньше поторопился уйти от опасной встречи. После мальчика этого уволили за что-то. Он добился учительства. Но слышно было, зарезал заведующего винной лавкой, знакомого, и его семью... Сослали на каторгу. Но, повторяю, это было исключением. А зато какие были и милые и благочестивые юноши!

В духовном училище помню Васю Нечаева. Он не имел памяти. Он был святой души и молитвенник. Когда пришел экзамен по Закону Божию, он от беспомощности выучить все взял лишь один билет, 14-й или 15-й, и выучил его, а потом чуть не всю ночь молился. И вот осталось у меня в памяти, что этот билет Бог и послал ему. Но все же он был из второго класса уволен по неспособности.

Или вот, наоборот, Миша Крылов. Какая поразительная память! Основное богословие (учили в четвертом классе), учебник в 90 страничек, он знал наизусть. В другой раз поэму Лермонтова «Демон» выучил при нас за один присест в течение шести часов. Но был по внешности «бурсаком»; между тем душа у него была чуткая. Не докончив одного, шестого, класса семинарии, он почему-то был уволен и поступил в псаломщики. Какой талант был!

Да сколько прекрасных товарищей вспоминается мне и теперь, в старости: Вася Старокадомский, с которым я просидел все десять лет на одной скамье, примерно-скромный юноша; Ваня Волченский, кроткий, как ягненок, джентльмен Николаевский; розовый мальчик Сережа Вознесенский; нежные приятели мои — Женя Митропольский и Дионисий Казанский... Были и грубые, но мало...

Но при всем этом на моей памяти в семинарии произошло два бунта. Причиною первого был жестокий пре-

подаватель В.П. Розанов. Он своими манерами так запугивал нас, что мы забывали и то, что знали.

Я, первый ученик, и то терялся от него. И скольких учеников он представлял к увольнению своей математикой. И так было 27 лет! Но и это всё еще терпели. А однажды он за подсказку вывел из класса в коридор юношу лет двадцати, взяв его за ухо. Это было последней каплей. Депутация из всех классов обратилась к ректору с просьбой удалить его. Тот отказался. Тогда начался бунт: шиканье, свист, шум; вечером битье стекол в дверях и окнах. Вызывали полицию. Семинарию закрыли временно. Нас, делегатов и дежурных, оставили и допрашивали. Среди них был и я, как первый ученик, всегда представитель класса перед начальством. На допросе меня убеждали открыть имена зачинщиков и особых бунтарей. Я не сказал ничего, конечно. Тогда один из членов правления говорит:

— Вы из крестьян?

— Да.

— Так смотрите же, если мы и своих не пожалеем, то подавно и вас, крестьян.

Я промолчал.

Семинарское училище решило уволить до семидесяти человек (из шестисот), в том числе и меня... О, что бы это был за удар для матери! Возможно, со своим нездоровым сердцем она могла и умереть тут же от разрыва. Но тогдашний архиерей, епископ Александр, говорят, положил такую резолюцию на журнале правления семинарии: «Не хочу плодить новых нищих на белом свете. Дело представить Синоду с моим мнением».

В Синоде отнеслись разумно. Розанова удалили из семинарии, но с повышением в смотрительство. А к нам приехал товарищ обер-прокурора Синода Саблер[44] и говорил какую-то витиеватую речь, но никого не уволили, а только наказали: кого — карцером. Это была особая комната в больнице, где нас одевали в больничный

халат и давали лишь воду и хлеб, но товарищи через окно подавали пирожков мне как жертве, <пострадавшей>* за общественные интересы.

Другой бунт был без особой причины, а так уж начинала разваливаться дисциплина под влиянием революционной волны.

Третий бунт был при мне в Санкт-Петербургской семинарии, когда я был инспектором ее и хотел вывести дурную привычку курить табак в спальных ночью и ежедневное осведомление из всех десяти-двенадцати отделений: сколько кому поставили учителя баллов за ответ? Хотя мы сами выписывали им в особые тетрадочки все баллы раз в неделю... Дело это потом, после двух дней криков против меня, утихло. Мы никого не наказали, понадеялись на совесть семинаристов. И тогдашний Санкт-Петербургский митрополит Антоний[45] одобрил нашу снисходительность, а мне сказал:

— Вот вам мой совет на жизнь: никогда не обращайте внимания на мелочи!

Я еще раз не послушался его. В Крымской семинарии, где я был ректором, мною на престольный праздник не позволено было устроить традиционные танцы семинаристов с «епархиалками» в нашей семинарской зале, где прежде была домашняя церковь. Семинаристы бойкотировали акт, не придя на него демонстративно, а вечером, по семинарскому обычаю, разбили стекла... И тут было поступлено мирно. И ни в Тамбове, ни в Санкт-Петербурге, ни в Крыму не пришлось раскаяться в таком отеческом снисхождении: семинаристы это оценили, не злоупотребили.

Пятый бунт начинался в Тверской семинарии из-за... киселя. Надоел он им постом! Инспектор, прекрасный и тактичный человек, вызвал в столовую меня. И удалось потушить пожар... Но все это показывало, что

* В угловых скобках даются слова, пропущенные в авторской машинописи. — *Ред.*

в общем в семинарии не ладится. «Воз хотя и ползет, но скрипит», — как сказал мне один из ревизоров про тверских семинаристов.

Тут были и общие причины, и дух того времени — 1903–1905, а после и 1913–1914, предреволюционные годы. Но были и свои специальные школьные причины. В семинарию шли совсем не для того, чтобы потом служить Церкви, а потому, что это был более дешевый способ обучения детей духовенства. Школы стали сословными. Но ученики их, по окончании семинарии, в огромном большинстве уходили по разным мирским дорогам: в университеты, в разные институты, в учителя, в чиновники, и только 10–15 процентов шли в пастыри. И, конечно, таким семинаристам не очень нравились многие духовные порядки, а если они и терпели их, то по нужде, чтобы получить права. И нам, начальникам, становилось все труднее и труднее держать дисциплину, а еще более — религиозный дух. Приходилось мириться, смотреть сквозь пальцы... И страдать и за них, и от них. Но тут пришла революция. Открылся Московский Церковный Собор[46]. И там, между прочим, был прямо поставлен вопрос о закрытии семинарий и создании специальных пастырских училищ. Собор остановился на компромиссе: сохранять прежнее и строить новые школы. Но развитие революции закрыло и то, и другое. Таков был путь Промысла Божия. И я думаю, что это было своевременно. Требовалось изменение подготовки пастырей. Подобным образом и духовные академии давали лишь около 10 процентов в духовенство. И они были закрыты. За границей стали уже открываться училища со специальным пастырским назначением и духом. На родине же нашей за это время стали подбирать духовенство не по образовательному цензу, а по нравственно-индивидуальному. Это исконный и лучший путь. Но Церковь в свое время хотела бы воссоздать и школы, но с иным духом и строем. Этого мы ждем. Старые школы не умели воспитывать нас.

Говорить теперь о том или ином воспитательном значении окружающих, так называемых общественных, условий много не придется, потому что никакого иного общества, кроме собственного крестьянского, ни у наших родителей, ни у деревни не было в моем детстве. Никого они, кроме местных людей, не видели, книг и газет не читали, господа жили совершенно особо. И оставалось одно «общественное» влияние — той семьи, в которой рождались и жили. И эта семья — у нас ли или у других — и была, собственно, главной воспитательной силой и учительницей. Я думаю, едва ли можно возражать против такого моего утверждения.

Все, что мы знали, — знали от родителей: религиозные верования, мораль, понятие о мире, политически-социальные настроения и отношения — всё это тогда давалось семьей. И лишь много лет спустя мы стали воспринимать влияния и со стороны.

Про себя, например, думаю, что и школа, и духовное училище, и семинария не были в силе превозмочь тот дух, те воззрения, какие я получил от семьи. Дух же нашей семьи был такой же, как и у духовенства, и у деревни.

Что же дала нам она?

Специально о религии народа я буду говорить подробнее дальше. Здесь скажу суммарно: все мы воспитаны были семьей в непреложном убеждении, что существует Бог, небо, Ангелы, святые, иная будущая блаженная жизнь, рай, а также и мучения для грешников, ад, бесы; что приходил на землю Сын Божий, Который спас нас от духовного зла, но не от земного: ни от болезней, ни от смерти, ни от бед, ни от войн, ни от бедности, ни от трудов до пота; что самое главное зло — в самом человеке, в его испорченности душевной, в грехе и диаволе, который искушает нас и везде строит свои козни; что спасение от этого духовного зла — в Церкви, которая потому каждому из нас представлялась столь же необходимою, как

мать, — так ее и называли; отсюда — уважение и любовь к духовному служению: священник — непременно «батюшка», очень редко, и то не у народа, «отец такой-то», вот уже дьякон — лишь «отец дьякон»; батюшка же — один на всех.

Что касается социальных воззрений, то они тоже основывались в сущности на религии. Именно. Смиренное воспитание, которое давала нам христианская Церковь, учило нас, что власть от Бога, и ее нужно не только признавать, подчиняться ей, но и любить, и почитать. Царь — лицо особенно благословенное Богом, помазанник Божий. Над ним совершается при коронации миропомазание на служение государству. Он — владыка над всей страною, как ее хозяин, полномочный распорядитель. [По отношению] к нему и его семье мы воспитывались не только в страхе и повиновении, но и в глубокой любви и благоговейном почитании как лиц священных, неприкосновенных, действительно «высочайших», «самодержавных», «великих»; все это не подлежало никакому сомнению у наших родителей и у народа. Так было в моем детстве. Что тогда было много в умах других людей, я узнал по литературе и рассказам уже после, а сам не знал ничего отрицательного, критического. Революция — это было страшное слово и дело. Об этом не только нельзя было говорить, но даже и втайне думать. А если бы у кого-нибудь оказалось такое колоссальное преступление, то не только страшная ссылка на каторгу, но и смертная казнь считалась совершенно законным и заслуженным возмездием для таких невероятных «злодеев». И потому понятно, что все мы воспитывались на глубоко монархических принципах, верноподданности, преданности царю и всему строю того времени, считая это самым лучшим убеждением и нравственно прекрасным.

Приведу лишь два примера. Когда заболел царь Александр Третий, я был школьником духовного училища. Боже! Как мы, мальчики, принимали близко все

это к своим маленьким сердцам! После конца уроков и обеда многие из нас почти бежали к углу Большой улицы на Варваринской площади, где на особой деревянной доске вывешивались ежедневно бюллетени о состоянии больного нашего царя: температура повышается, пульс столько-то в минуту, общее состояние такое-то... И мы видели с болью, что дело плохо. Уверяю читателя, что если бы мой родной отец болел, едва ли бы я был захвачен бо́льшим интересом к нему, чем к царю... Нет, скажу больше: я менее страдал бы за родного отца, чем за царя. Что отец? Мы — маленькие люди, никому не нужные, простые, бедные, наш удел всегда таков, чтобы страдать, болеть, умирать, ничего в том удивительного нет, так и должно быть. Но он — царь! Общий отец всех нас, всей страны, его смерть — огромное дело... Конечно, я тогда ничего подобного не думал головой своей. Но, следовательно, тем характернее и значительнее, что так жило сердце мое... И не одно мое: все мальчики, в общем, чувствовали одинаково, а я разве, может быть, был лишь более чувствителен сердцем да благонравнее других, но немного. Или же я был не таков, как ныне, а с «мокрыми глазами» от природы?

И можно понять, что случилось с моим бедным сердцем, когда дошла весть о смерти царя[47]! Я горячими слезами обливался тогда... И если не приукрашивает этого теперь моя память, то я плакал едва ли не все сорок дней панихид, которые служили тогда перед уроками по распоряжению церковной власти. И эти слезы были искренними... Плакали ли другие, не помню совсем. Но что молитвы наши за царя не были лишь по указу начальства, а отвечали общему нашему настроению, не сомневаюсь. Значит, приблизительно так же должны были чувствовать и мои родители, и народ.

Другой случай. Десять лет спустя, когда я был уже профессорским стипендиатом в академии, иеромонахом, я написал одно письмо к царю. Там я подписался:



Император Всероссийский Александр III

«Вашему Величеству преданный до смерти» такой-то... Сильно сказано. Но припоминаю, что я написал это слово «до смерти» не без некоторого предварительного колебания; притом, кажется, меня толкало отчасти на это и тщеславное чувство выказать себя перед царем с особенной силой преданности. А тогда уже прошла первая революция. Что же это значило? Лицемерия у меня не было, конечно, но, кажется (помимо тщеславия отличиться), тогда говорили во мне больше ум и долг, чем непосредственное требование сердца. Увы! За десять лет что-то изменилось уже и во мне.

Как это произошло, попробую разобраться дальше... Когда убита была вся царская семья, мы служили панихиду в Симферополе. Но ни я, ни кто иной не плакали, хотя в то время у нас в Крыму были белые и бояться красных было нечего. Даже и народу в церкви было мало. Что-то порвалось... И для меня большая психологическая загадка: как же так быстро исчезло столь горячее и, казалось, глубокое благоговейное почитание царя?

В рассказах одного слушателя знаменитого профессора Московского университета В.О. Ключевского мне пришлось прочитать такое «пророчество» его о народе: народ, вступивши на революционный путь (1905 год), обманул (это слово я помню!) своего царя, которому клялся в верноподданничестве и безграничной преданности. Наступает время, когда он обманет и Церковь, и всех тех, кто его считал православным и богоносцем. Придет пора, что он умело обманет, проведет и социалистов, за которыми сначала пойдет.

Правда ли, что говорил так историк, много знавший о русском человеке? Но не имею основания сомневаться: записал эти его предсказания Нелидов, не думаю, чтобы он все это сочинил[48]. Но мне так не хочется поверить в этом профессору! Слишком уж некрасиво изображается здесь наш народ! Полагаю, что Достоевский никак не сказал бы о нем подобной характеристики. И я лично

думаю, что тут был не обман, а нечто другое, более глубокое и искренно-простое... Но о том — после, в главе о революции... Сейчас скажу, что народ чтил царя. И не только его, но и всякое начальство уважал, так мы были воспитаны семьей. Вспоминаю, например, как мать, посетив случайно город Тамбов, увидела на вокзале обер-прокурора Синода, известного Победоносцева[49]. Совершенно не зная никаких его добрых или дурных свойств души или сторон деятельности, она потом с радостью передавала нам, какого особого счастья удостоилась она, что видела министра! И это бескорыстно, непроизвольно.

Правда, к этому можно было б в другой раз примешивать и практические выводы от смиренного почитания высших: «ведите себя тише воды, ниже травы», или «ласковый теленок двух маток сосет», — всё это и нам внушали родители, но корни такого почитания властей лежали гораздо глубже. Думаю, что настроение моего отца — о чем я писал выше при описании крепостного права, — было совсем не случайным и не личным свойством его, а носило в себе необходимый отголосок общенародного мировоззрения и духовной установки. И сама мать никогда не учила нас бунтовщическим идеям. Наоборот, при всей трудности жизни нашей, она в общем не осуждала даже и господ, а мирилась со всем тем социальным неравенством, какое так больно отражалось на ней. И даже любила их, почитала, жалела... И нас всех так научила.

Когда была первая революция, местные крестьяне села Софьинки приходили толпами развязно в барский дом, где им подносили будто бы и вино. Мать это очень огорчало из-за «наших старушек» Боратынских. Вспоминаю, что, возмущаясь крепостным правом, она, однако, с нежным чувством всегда говорила о царе-освободителе Александре Втором. Смерть его от покушения приписывалась обоими родителями как месть за освобождение

народа. Характерный случай. Для усмирения революционных настроений первой революции был вызван и прислан карательный отряд из казаков, и мать любезно приглашала их иногда в гости к себе. Совершенно так же поступили бы и я, и все прочие члены семьи нашей.

К социальному порядку вообще у нас держалось прочно установившееся воззрение приятия капиталистического строя: «священная» собственность, неизбежное различие богатых и бедных, примирение с униженным политическим и социальным положением «нищих» классов — все это и принималось, и считалось непреложным законом, не подлежащим изменению или нарушению. Поэтому революционные и социальные идеи считались и у нас, и у массы крестьян — общественным злом; социалист был в глазах наших отчаянный злодей, враг общественных устоев. И сам по себе помню, каким страхом и ужасом отдавалось в сердце моем это слово — «социализм»! Как это, по-видимому, странно! Ну, будь мать и отец эксплуататоры — иное дело, но когда они и сами всю жизнь страдали от такого строя и при всем том искренно мирились с ним, то тут нужно искать более глубоких объяснений, чем «темнота» и «забитость»... Нет!

...Конечно, в данное время роста социалистических настроений и прав во всем мире и в эпоху антикапиталистического строя в России не только не принято, но даже и небезопасно отзываться непочтительно о социализме, а тем паче — примиряться с капитализмом. Однако я по совести должен сказать доброе слово в защиту примиренного отношения родителей и народа к современному им социальному строю. Примиренность эта способна иных раздражать и доводить даже до бешеной вражды. И можно думать, что вражда и к Церкви в революционно-социалистических и даже вообще демократических (у кадетов) кругах в некоторой степени вызывалась этим терпеливым отношением ее к социальному неравенству: этим как бы стирались острые зубы общества и народа

в борьбе против «ненавистных» условий капиталистического строя и их носителей; Церковь будто бы воспитывала этим чувства сервилизма[50], рабской придушенной психологии бедных в отношении к эксплуататорам. Известно, что в марксизме самое происхождение религии объясняется экономически: эксплуататоры, к которым принадлежали владельцы и власть, а отчасти и духовенство, эгоистически будто бы пользовались религией вот именно для придушения протестов и для защиты своих привилегий. Для этого-де неизбежно было учение о будущем небесном блаженстве, лишь бы рабы и бедняки не бунтовали против настоящих земных господ.

Разумеется, это хлесткое «объяснение», льстящее «низшим» классам, иногда действительно глубоко обездоленным, и вообще идущее навстречу нашим невысоким инстинктам — корысти и гордости, — такое «историческо-материалистическое» объяснение легко было принимать не капиталистам, беднякам. Но в том-то и дело, что наши родители и бедняки-мужики долго-долго, веками, не принимали такого объяснения за святую истину. Не принимала и не примет этого объяснения и христианская Церковь; не принимал и не принимаю и я.

Здесь мне приходит на память одна моя встреча с ученым социалистом, князем Святополк-Мирским[51], сыном бывшего министра в России, во время первой революции. За границей он занимал место профессора, в Лондонском, кажется, университете. А потом уехал в Советскую Россию. Он был абсолютным поклонником коммунизма. И вот мне пришлось быть с ним в Париже в квартире знакомых. Разговорились и о социализме в России. Я сказал, что наша Патриаршая Церковь так и за границей искренно лояльно относится к советской власти, насаждающей там коммунистическое хозяйство.

— Этого нам мало, — сказал он с неудовлетворенностью.

— А чего же бы вы хотели от нас?

Он, не помню слов, заявил, чтобы и Церковь с одинаковым всецелым рвением взялась за это социалистическое дело.

— Нет, в такой степени мы не можем «вгрызаться», — так я тогда выразился, — в него, как вы. Мы не только пассивно лояльны, то есть терпимы, но в сущности и действенно.

— Чем же именно?

— Уже одним тем, что мы открыто и в России, и всему миру заявили о своей лояльности, то есть о признании советской власти и ее политико-экономического строя. Это очень важная и еще мало учитываемая помощь. Другие, например, вся Католическая церковь, не говоря уже об эмигрантских группах, ведут открытую борьбу против них. А кроме того, представители Церкви и верующие принимают участие в создании этого строя как члены Союза. Наконец, многое в новом строе и одобряет наша Церковь: повышение прав и благосостояния низших классов, освобождение от эксплуатации частного капитала. Разве этого в самом деле так уж мало?

— Да, — говорил князь, — нам бы хотелось, чтобы вы впряглись в наше дело так же самозабвенно и восторженно, как и мы.

Выражаю его мысли не буквально, но верно.

— Это нам невозможно. У нас неодинаковые психологические основы: вы веруете лишь в эту земную жизнь, а мы — еще и в загробную, и последняя для человека важнее. Поэтому у нас, верующих, центральное место в душе занимает духовная сторона, а не материально-экономическая. Отказаться от этого примата ни наша Церковь и никакая другая искренняя вера, признающая иную жизнь, не могут — это было бы самоубийством для всякой религии.

Князь все это, как умный человек, понимал и не стал больше спорить со мною. А я бы теперь мог еще добавить и следующее:

— Недооцениваете вы нашу искреннюю лояльность. Если искренний верующий человек принципиально и по совести стал на лояльную позицию, то из него будет добросовестный сотрудник вам и проводник на деле вашей системы: на Церковь и на верующих вы можете положиться, что они не изменят вам, а смиренно, самоотверженно — ради Бога, власти, ближних и своей души — будут нести тяготы установки нового строя. А те, кто держится его лишь по эгоистическим побуждениям — ради выгод новой системы, по самостности или даже по увлечению, — то в критический момент могут или надорваться, или даже изменить, если что-нибудь будет не нравиться их вкусам, самолюбию. Смирение религиозное — важная сила не только в личной жизни, но и в общественно-государственной. Возьмем для примера старого солдата нашего даже времен Николая I, когда служба служивых братьев наших тянулась 25 лет! А какие были солдаты! Вспомните войну с Наполеоном: как сражались за Родину — и генералы, и солдаты! А ведь последние были крепостными рабами... Но и после побед не потребовали себе свободы от «тягла».

Религиозному человеку и жить легче, и помирать спокойнее: умирает ли он по «указу» царя за Родину, из-за государственного долга послушания власти и из любви к своей стране, или кладет жизнь, как теперь, за собственную, народу принадлежащую землю и добытые права, и также по любви к своей Родине. Если еще и верующий, то крепче будет сражаться на войне, добросовестнее исполнит и свои гражданские обязанности. Пошлют ли нас рыть Беломорский канал — пойдем; переселят ли нас, хотя бы и против воли нашей, но по государственным социалистическим соображениям из солнечной Украины в какой-нибудь новый Биробиджан — не должны отказаться от послушания. Христиане — конечно, хорошие христиане, а не формальные лицемеры, — везде и всегда полезные работники.

И сейчас, когда пишу это, припомнилась мне одна мысль социалиста, кажется, Зейполя[52].

— Люди, — сказал он, — часто не понимают, насколько даже выгодна экономически такая «простая» вещь, как **совесть**!

И совершенно верно! Недаром, несколько уже лет назад, и Сталин бросил клич: «Нам нужны инженеры душ!» Да, совестная душа стоит очень дорого... Конечно, и социалисты желают того же, то есть хорошего честного человека. Даже и вся-то система их политики и экономики построена на основной задаче: воспитать «нового человека» вообще, чтобы он не только материально жил благоденственно, но и стал братом брату. Напрасно некоторые думают, будто бы социалисты лишь мечтают о сытом желудке двуногого животного, которое называется человеком. Нет, и они — даже не больше ли других политиков, — задаются целью о хорошей, счастливой жизни человечества. Экономика же их — лишь путь к этому.

А Церковь тоже, только иными путями, проводила те же идеи братства в мире среди человечества. Удастся ли безрелигиозному мировоззрению «генерального» коммунизма с его философией материализма достигнуть братства? Это большой вопрос! А Церковь уже достигла многого, как увидим дальше.

Как-то на одной лекции моей в Нью-Йорке среди «друзей Советского Союза» мне задали вопрос, конечно, с умыслом — не поймать меня, а преподнести ожидаемый ответ слушателям:

— Какой строй предпочитаете вы: фашизм или демократию?

То было не только до войны с фашистами, но еще и раньше «союза Сталина с Гитлером», как выражались потом. Я ответил:

— С религиозной точки зрения ни тот, ни другой не являются полным спасением человека от ада мира, мы и самое коренное зло видим не там, где видят его

фашизм и демократия, эти обе в сущности материалистические системы политико-экономического построения. По-нашему, беда и счастье прежде всего в нас самих, а не вне. Но, относительно говоря, демократия лучше, конечно, фашизма.

Не возражали.

А совсем уже недавно, на выставке в Нью-Йорке, подошел ко мне с карандашом и бумажкой человек еврейского типа и очень скромно сказал:

— Я еврей и корреспондент еврейской газеты. Могу я задать вам вопрос?

— Пожалуйста.

— Скажите, какое отношение Церкви к советскому правительству в России?

— Искренне дружественное, лояльное и сотрудническое.

— А как смотрит на коммунизм христианство?

— Христианство принимает всякие формы государственного устройства.

— Но коммунизм, может быть, ближе?

— Да, я думаю так. Но только и труднее для осуществления.

Он поблагодарил и ушел, записав интервью.

А я припоминал себе, что в первоначальной стадии христианства были, наряду с собственниками, и коммунистические общины, но они недолго удержались: человеческий эгоизм оборвал их. Правда, тогда оставался соблазн параллельного существования и собственнической системы. В социализме же тот соблазн в одной стране отпадает: некому и нечему завидовать; и все же нелегко нашей себялюбивой природе отказаться в пользу другого. Эгоизм очень врос в испорченную грехом нашу душу.

Все это я вписал здесь, забежав далеко вперед для того, чтоб сказать «доброе слово» в защиту или, по крайней мере, в объяснение поведения наших отцов и дедов

в отношении к капиталистическому строю. Нет, не темнота, не забитость, не рабство души делали их терпеливыми, а, наоборот, своего рода особая просвещенность, сила и свобода. Только они были иного порядка, духовного.

Христианство, зная, где корень бед, то есть в душе, пришло и принесло новые силы лечить именно ее прежде всего, а не внешние условия. И врач излечивает корень и первоисточник болезни, а не вторичные проявления ее вовне. И вот, оставляя, по-видимому, нетронутыми внешние бедствия, христианство дало «внутрь» такое «просвещение», влило такие благодатные силы, что человек мог почувствовать себя свободным внутренне и при рабстве, богатым или хотя бы спокойным при бедности. Как? Христианство указало и действительно дало новую, мирную жизнь в душу: жизнь в благодати Божией еще здесь и надеждой на блаженную жизнь в будущем мире, несомненно существующем. И имея в себе эту внутреннюю духовную жизнь, человек мог и стал спокойным при всяких условиях. Не столько хорош врач, который лечит болезнь, сколько тот, который, впрыскивая какую-нибудь противоядовитую жидкость, делает человека неспособным к заразе (так называемый «иммунитет»). Христианство и дало эти силы нашему народу.

Конечно, это совсем не означает того, что эти внешние условия — рабство, эксплуатация, бедность — хороши сами по себе. Наоборот, самый иммунитет именно предполагает, что это — болезнь, беда, зло; именно для того-то и даются новые силы, чтобы преодолевать, побеждать то зло в себе самом. *Вера побеждает мир,* — говорит ученик Христов Иоанн и по опыту (ср.: 1 Ин. 5, 4).

И это совершалось на нашем народе многие столетия. Он воспитывался при внешней безграмотности в высокой философии, он верил в благородство и достоинство человека гораздо больше не только крепостников-

господ, но и больше всех материалистов, защитников народных. «Человек» — это высокое имя, святое, выше условий, выше земных порядков.

Один из христиан, прежде бывший упорнейшим евреем и гонителем, потом сказал по опыту:

— Я все теперь могу: могу жить (без вреда) и в довольстве, но могу жить (тоже без вреда) и в нищете (см.: Флп. 4, 12–13).

А когда его посадили в тюрьму, он и там чувствовал себя, как на свободе. Когда ему грозила казнь, что потом и случилось, он писал близким: «Я готов и жить и помереть, но сам предпочел бы умереть Христа ради» (см.: Деян. 21, 13).

Так писал бывший гонитель Савл, потом Павел[53].

Но и в наше время многие перенесли и тюрьмы, и ожидание смерти спокойно. Теперешний глава нашей Церкви, митрополит Сергий Московский, четыре раза был арестуем. Но, находясь в темницах, был благодушен и составлял молитвы.

Вот так и предки наши жили и чувствовали.

Но как же так круто изменилась эта философия народа?

Подумаем в следующей главе. Там и вскроется, как происходила перемена и во мне лично в юношеские и молодые годы.

Сейчас же воротимся к детству моему и народному: народ, в сущности, тоже был тогда дитя по душе... И посмотрим теперь, что же он получал от Церкви, этой третьей воспитательной силы.

Можно без преувеличения сказать, что собственно Церковь и воспитывала наш народ. Семья, о чем мы говорили выше, была больше проводником и нянькою при Матери-Церкви. Вдумываясь теперь, начинаешь понимать все больше, сколько дала она народу!

Попытаюсь рассказать об этом.

Начну с того, о чем лишь только что говорил.

Как-то Горький сказал: «Человек — это звучит гордо!»[54] Мне эти слова всегда были неприемлемыми и казались фальшиво измышленными, самомнительными. Церковь дала другое воззрение на человека. «Человек! Какое это высокое имя!» — писал блаженный отец Иоанн Кронштадтский в дневнике своем[55]. А он имел дела со всеми: от царя Александра до нищих... Но больше имел дел с бедными, с народом, который тысячами ежедневно стекался со всей Руси в Андреевский храм в Кронштадте. Я был счастлив своими глазами видеть все это...

«Высокое имя — человек!» Почему? И какое место и значение имеет Церковь в этой «высоте» для народа?

По христианскому учению всякий человек, без различия, есть образ Божий. А душа человека, сказал Христос, дороже всего мира (см.: Мк. 8, 36). Ради него сошел на землю Сам Сын Божий Единородный. А по нравственному состоянию и по Крещению все христиане суть *дети Божии* (ср.: 1 Ин. 3, 1, 2; Рим. 8, 16; 9, 8). Апостол Петр называл всех верующих духовными царями, священниками (см.: 1 Пет. 2, 9), хотя они были тогда больше рабами по социальному положению, человек призывался к ангелоподобной святости, от него требовалось быть выше этого мира. Какая в самом деле высота!

Но отражалось ли это учение Церкви в действительной жизни народа? По-видимому, — будто незаметно, но при глубоком наблюдении несомненно было так.

Вот возьмем храм. Почти нигде не встречались господа и подчиненные вообще, разве лишь одни как слуги другим. А в храме все были равны. Ну, пусть для помещиков были отгороженные места, но это имело значение, скорее, внешнего удобства и лишь отчасти — классового различия, а в сущности — в храме, перед Богом и друг перед другом мы были одинаковы. Рядом стояли, не стесняясь высших, и те нас не презирали, как низших, всех нас равно называли «братие» и «сестры» или «рабы Божии», все мы состояли, все были с открытыми голова-

ми, а женщины в платках, даже и барыни (те в «наколочках»), лишь после завелись шляпки у богатых, все одинаково считали себя грешниками и нуждались в милости Божией, а лучшие делали еще большее: старались в душе считать себя ниже других, через это становились в любви и у Бога, и у ближних — сразу выше. И духовному взору, проникающему внутрь сердец, ясно было, что эти «рабы» помещиков были нередко духовно выше своих господ, как истинные «рабы Божии».

В храме проявлялось «достоинство» человека. И чем больше он смирялся, тем возвышеннее он становился еще здесь, и наоборот.

А чего стоит одно сознание своей греховности в нашем народе, чему дивился Достоевский даже в каторге! Или вспоминаю сейчас пьесу Л. Толстого «Власть тьмы». Преступный молодой мужик, живший нечисто, задушивший прижитого незаконного ребенка, бросивший двух первых сожительниц и готовившийся жениться на третьей, вдруг начинает мучиться до того, что уходит с предсвадебного пирования повеситься в сарае. А здесь останавливает отчаявшегося его же работник и говорит, что ничего непоправимого на этом свете нет. И преступник решает открыто во всем покаяться перед гостями. Все приходят в ужас и стараются прервать его исповедь. Урядник хочет «вязать» его. А родной отец, по-видимому, забитый мужичок, не умевший выражать свои мысли, а больше объяснявшийся мимикой да словами «того» и «тае», останавливает их с непривычной для него силой и в радости просит дать кающемуся сыну все открыть и прибавляет с торжеством: «Вот Он, Бог-то! Вот Он Бог где!»

Покаявшийся сам отдает себя под арест.

Ведь это — потрясающая картина сознания греха!

В высших кругах толстовского времени не было уже и малой доли такого покаяния и муки от греха...

А народ, пусть и не все, радуется этому покаянному возвышению прежнего преступника... Какая красота —

покаяние! Мы, духовные, наблюдаем это больше других, сколько умилительных фактов приходилось видеть! Из моего детства и юности приведу иллюстрации.

Вот Великий пост. Медленно заунывно зовет колокол. Сначала церковь пустовата, а к концу недели — не протолкаться. Мы, школьники, после семи лет должны уже тоже исповедоваться. Маленькие грешники! Батюшка исповедует нас целой группой, человек по пятьдесят. Какие уж там грешки?! Но каждого прощает особо. И мы радостно бежим домой. Есть не полагается после исповеди. Мать тоже радуется с нами, тихо улыбаясь:

— Ну, вы уже скорее ложитесь спать, чтобы не согрешить перед Причастием.

И мы ложимся и спим счастливые, как безгрешные Ангелы.

На другой день все причащаются: и господа, и крестьяне — из одной Чаши. И все становятся такими добрыми, милыми, тихими, ласковыми, спокойно-радостными! Все поздравляют друг друга: «Со Святыми Тайнами!» Приезжаем домой, а там мама, торжественно настроенная, целует нас, ухаживает за нами и угощает чем-нибудь особым, не будничным: чай с вареньем, белый хлеб, за обедом суп с маслом (рыбы нельзя, а в первую неделю и без постного масла), жареная картошка, оладьи... Мы ныне — «причастники».

Даже и пословица была такая: «Что ты как именинник?», а иногда: «как причастник».

И как отрадно было мне смотреть на исповедников в храме, очередью тянувшихся к батюшке. Иных он отпускал скоро, а другие почему-то задерживались. Потом, получив «разрешение», клали на аналой по две или три копейки, редко-редко положит кто пятачок медный (денег-то было всегда мало), и, тихие, отходили назад слушать непонятное «правило» с акафистом, которое читает старый лысый дьякон посреди храма.

А однажды мне пришлось быть свидетелем жуткой картины публичной исповеди. Одна красивая и молодая еще женщина, лет сорока, а то и меньше, худая, опрятно одетая, вышла на амвон, обратилась к народу и вслух стала рассказывать про все грехи свои... Какой ужас охватил меня! А народ нагнул головы и молчит... Говорили после, будто она ненормальная. Может быть, и так. Но все равно, и самая ненормальная связана была с сознанием греховности. Такие публичные исповеди были в Церкви в первые века, но потом их заменили теперешней тайной практикой: тяжка была открытая исповедь, а для других — соблазнительна.

Нужно же себе представить, как мучилась эта бедная женщина, что решилась на публичный всеобщий позор!

Да, в народе было глубокое сознание греха и зрение своей души! Даже с младенческих лет наши сердечки уже чувствовали, что хорошо, что худо... Я знаю несколько таких случаев. Из них вспомню лишь об одном.

Как-то ворона кружилась над нашими цыплятками. Мать, услышавши испуганный крик наседки-курицы, говорит мне:

— Ваня, беги посмотри, что там с цыплятами!

— Мама! Пошли Мишу, — лениво отозвался я.

Кажется, мать побежала сама на помощь.

Через какой-нибудь час я стоял перед окном соседнего дома, где жила многодетная семья лакея. Его жена, Анна, увидевши внизу своего телка, гулявшего где ему не следовало, говорит мне, указывая на виновника:

— Ваня, поди вороти теленка.

И я мгновенно побежал туда. Почему? Я тогда, еще пятилетним ребенком, вспомнил, как только что отказал родной матери о цыплятах, а исполнил желание чужой женщины. Моя маленькая совесть тогда же спросила меня: почему так? И я понял: перед чужим человеком мне хотелось выхвалиться, вот-де я какой хороший! Тщеславие уже работало тогда... Воротился я опять под окно за

«наградой» и получил спасибо. А факт запомнился совестью на всю жизнь. И другие грехи детства помню ярко доселе. А значит, не я же один был такой, а и другие...

После и сам уже исповедовал. Сколько бриллиантовых слез, живительных, очистительных, видел я! Иногда ноги кающихся готов был бы целовать. А от слез маленьких кадетов-казачков в Сербии плат, лежавший на престоле для утирания после Причащения, был такой мокрый, что пришлось сушить. И как все это было отрадно и нам, и кающимся! Как прекрасно!

А еще бóльшая радость была на праздники. Вот помню самое обыкновенное летнее воскресенье. Настроение праздника начинается еще с вечера субботы. Как-то мы ловили в реке рыбу или раков. Над нами высился крутой глинистый желтый берег. Еще выше в гору стоял храм. Было к вечеру. Вдруг раздался первый удар в большой колокол и стих постепенно. У меня сразу повеселело на душе. Потом другой, еще пауза...

И уже потом пошли частые удары. Невольно вспоминаешь известные стихи:

Вечерний звон! Вечерний звон!
Как много дум наводит он...[56]

Я уже давно забыл последующие стихи и не знаю, что за думы были у поэта. Но у меня не было никаких дум, а только непонятная радость на сердце.

На другой день, часов в шесть утра, звон к утрене, потом перерыв на полчаса. Часов около девяти — Литургия. И вот помню: в перерыве люди выходили из храма на травку внутри кирпичной ограды, мужчины с мужчинами, а около них тихонько ребятишки, женщины с женщинами. Разодеты красно, в цветные платки, в шелковые и полушелковые, желтые, красные, старушки в черном. И мирно сидим, о чем-нибудь тихо говорим. Скоро заблаговестили опять: первый — долгий удар... Народ не крестится еще. Ударили второй раз: закрестились. Почему так?

Первый удар означает Первое Пришествие Христа: оно уже прошло. А второй напоминает нам о будущем Втором Пришествии и о Страшном Суде: тут и нужно креститься и в грехах каяться.

Опять все — покаяние на первом плане... Но мы еще сидим на траве: читают пока «часы». Вдруг раздается веселый трезвон, сейчас начнется Литургия. И мы встаем.

Кстати, «тре-звон» сначала, должно быть, означал удар в один колокол, по три раза с перерывом: раз-два-три (перерыв), раз-два-три (перерыв) и так далее. Я это слышал уже во время беженства в Константинополе. А в России взяли потом пример с некоторых храмов Запада. И разносился веселый трезвон пяти, семи и десяти колоколов по всей необъятной Руси. И какие были иногда звонари! Уже ректором Тверской семинарии я встретил одного такого художника. Огромного роста молодой детина, красивый лицом, с шапкой кудреватых светлых волос и курчавой небольшой бородкой, с улыбающимися чистыми детскими голубыми глазами, всегда без шапки, он ходил по Руси. Легко ему было слушать, где как трезвонят и какие колокола, а потом просил дозволить и ему самому звонить. И как звонил! Чего только не было у нас на широкой Родине!

Зато наш рыжий, лохматый, молчаливый Филипп, сторож храма в Софьино, был совершенно без слуха и способностей: пять колоколов в его руках бились, как рыбы в черпаке, наугад.

На Пасху всю неделю разрешалось весь день звонить всякому, кто хотел. И ребята упражняли свое неумелое искусство: никто уж им тогда не смел запретить...

Вот вспомнил о Пасхе. Сколько радости всему народу! Храм переполнен, еще с вечера забираются приехавшие из деревень. Крестный ход... Прежде при первом «Христос воскресе» стреляли даже из пушек, предоставляемых помещиками. Неизвестно, как они попали к нам.

Потом блестящее богослужение... Всеобщее целование в церкви в конце утрени... После Литургии освящение куличей, пасох и яиц, уставленных в белых платочках или полотенцах вокруг храма, с копеечными свечечками в них... Начинается бледная заря. Народ постепенно расходится. Свечечек в куличиках все меньше и меньше. Еще пять осталось... Две... Последняя потухла... Храм пустой... Сторож тушит свечи... Мы едем все на буланке домой. Поем «Христос воскресе» и разговляемся... И спать, спать.

Пропускаем и восход солнца, а оно в этот день «играет» от радости, как уверяет отец... Уже после я не раз взрослым взбирался на крыши и смотрел на солнышко. Утром оно всегда дрожит в колеблющемся над горизонтом воздухе, но народ на Пасху видит в этой обычной картине тайный и живой смысл воскресной радости и природы...

После — вкусный, раз в году такой, обед из курицы, жареного, яиц, душистого калача, сладкой сырной пасхи. Как ждали этого, особенно после говенья — семи недель поста!

Но однажды такое разговение едва не кончилось трагически. То было в 1918 году. Я с Московского Церковного Собора в последний раз посетил дом и родителей. Отец всегда жаловался на катар желудка. Вечно пил от изжоги соду, а она разъедает слизистые стенки. И в этом году болезнь так обострилась, что вызвали — это редкость — за пять верст знаменитого в Кирсанове врача Шелоумова... В провинции все бывает «знаменито»: голосистый дьякон в соборе, необыкновенный силач-исправник, вот был и чудодей-доктор, которому верили все, несмотря на сумасшедшую, шальную фамилию его. Приехал, осмотрел. Прописал рецепт. Велел хранить строгую диету. А тут и подошла Пасха... Все мы — кроме родителей был я, брат Сергей и сестра Лиза — готовимся разговляться. Садится и больной отец. Ему уже ничего

почти нельзя есть, особенно мясного. А он смотрит жадными глазами: всю жизнь ждал Пасхи, сытой и вкусной. Мать и мы, дети, уговариваем его воздержаться... И вдруг он горько заплакал, как малое дитя. Ему было около семидесяти лет.

— Все едите, а мне одному нельзя-а-а-а!

Мы, дети, даже немного рассердились на его такое неразумие.

— Папа, помрешь же!

А ему все равно, хоть и помереть, лишь бы раз в году вкусно наесться. Смешно это покажется иному, но нужно вспомнить, как бедные люди недоедали, недосыпали, а особенно наши родители, чтобы только дать нам обучение. Невольно заплачешь на Пасху...

Смотрела, смотрела на него мать и сама залилась слезами... Может быть, вспомнила тут долгую и горемычную жизнь его и свою — в нужде, в маете, в болезни (отца не помню болящим) — и, махнувши рукой, говорит:

— Ну, ешь, отец, — так называла она мужа, — уж все равно: двум смертям не бывать, одной не миновать!

Смахнув свои слезы, обрадовавшийся папа дал себе волю. И в тот же день открылся у него кровавый понос, чуть не умер. Зато с радостью разговелся...

После обеда, помню из детства, «на улице», то есть на открытом ровном месте, устраивалась игра «катанье яиц». На большом расстоянии, шагов за двадцать, ставили попарно яйца: пять, десять пар, смотря по количеству играющих, на аршин друг от друга. Первая двойка, по согласию, плоским круглым большим мячом, туго сшитым из тряпок, катила в пары: если попадала, то катила снова; если промахивалась, мяч брали игроки следующей двойки игроков. Другие кругом смотрели. Весело казалось нам. Женщины и дети грызли жареные подсолнечные семечки.

И все были веселы, радостны, довольны. Никаких «проклятых» вопросов и тяжелых дум тогда не было...

Жили как *птицы небесные*, да, близко к этому евангельскому учению (см.: Мф. 6, 26)... Недаром же звали нашу страну «Святой Русью»...

— Кому теперь? — спрашивают.

— Мине-е, — кричу...

Так и прозвали меня тогда:

— Эй, мине! Тебе катать.

И качу, не обижаясь.

На этот праздник уж должно быть всегда солнышко. Я не помню дождливой Пасхи. Так радостно было на сердце...

Но кончались «светлые» дни, и снова начинались будни с бедностью, с аккуратностью в питании, в трудах, в бережливости. Я и до сей поры, на седьмом десятке, не могу «бросать деньги» не только на пустяки, но даже и на дорогую пищу. Как-то недавно угощает меня знакомый, подает мне меню. Вижу, цена на какие-то мясные кушанья — доллар, доллар двадцать, доллар тридцать. Боже мой! Я в страхе, почти непроизвольно отложил карту на стол.

— Ой, как у вас все дорого!

— Что вы? Берите, что хотите, не стесняйтесь ценой, заплатим.

Это говорил бывший русский селянин, но уже давно привыкший к мирскому стандарту американской сытой жизни. Сказал я то же самое о дороговизне при другом рабочем:

— Вы здесь роскошно живете, я не привык так.

— Да, — скромно согласился он, — мы в Америке набаловались!

— А я, когда один, хожу в маленький польский ресторанчик, где меня не знают, там дешевле, но и все дорого — близко к доллару... Не вынес: стал покупать кое-что в лавочке у другого, хорошего старика, поляка. Оказалось, второе дешевле самому. Успокоился. Так приучила трудная жизнь в семье...

Но любви к деньгам не создалось. Наоборот, и теперь беспокоюсь, если есть лишние деньги: куда их девать. А больших сумм просто боюсь: они меня пугают, точно украденные... И много легче жить так — кое-как, с нуждою в деньгах, это мне кажется более нормальным и справедливым. Какой-то грех и доселе чувствую в свободных деньгах... И это не от моральных принципов, а как-то инстинктивно или уж по привычке к бедности.

По моему же примеру нужно судить еще больше о народе, который жил еще беднее, чем наша семья.

Но радость была не только на Пасху. А и в воскресенья, и двунадесятые праздники мы ощущали таинственную радость. Недаром же это слово «праздник» стало в русском языке символом радости!

Но если уж не часто была радость, то глубоко в народной душе чувство мира. Да, мирный был наш народ... Об этом уж я говорил прежде. Здесь вспоминаю, как относился он к такому страшному явлению, как смерть. Один священник, отец Димитрий Б., уговаривает умирающего своего прихожанина не бояться смерти, а тот ему и говорит:

— Да я, батюшка, и не боюсь ее, слава Богу!

И умер.

Старушка идет со мной в Твери из храма.

— Сколько тебе лет-то?

— Да уж семьдесят четыре. Вот все прошу у Бога смерти, да не дает. А что я тебе скажу? Видела я сон...

И начинается длинный, спокойный рассказ о сне. И смерть забыта. Недаром в своей «Исповеди» Л. Толстой сказал: насколько спокойная смерть среди нас (дворян) является редким исключением, настолько, наоборот, она в народе бывает обычным явлением[57].

Это верно. Вся жизнь простых людей была подготовленной к мирному концу. Жили незаметно и терпеливо и умирали тихо. По временам веселились, в общем, не печалились, а смерти не дивились, ее ждали, не думали о

ней, все и всегда. И вся жизнь, в сущности, была путем к этому неизбежному концу. Отсюда объясняется и общий нравственный уклад всей жизни.

Одна писательница выразилась, что вся прежняя Русь была, в сущности, сплошным монастырем, только в миру, с семьей. Тут много правды. Например, посты соблюдали строго, жизнь была в общем молельная, в грехах каялись, «послушание» — и крепостное, а потом и на «воле» — несли: трудились до поту, жили бедно, терпели лишения, не роптали, смирялись... Разве это не скит?

А какая иногда поразительная чуткость проявляется у них и доселе! Расскажу виденный факт.

В 1914 году объявили мобилизацию армии на войну с немцами. Послушно потянулись бородачи, оставляя семьи... А конец, известно, какой ждет.

И у меня брат умер в Японскую войну, оставив жену и дочь. Но он все же плакал, мы тоже. Я вот вижу сцену на Кирсановской станции. Стоит блондин против моего вагона (я ехал в Крым) спиной ко мне. Рядом, лицом к поезду, жена. Оба молчат. А что в сердце у каждого, можно понять. Второй звонок: нужно расставаться. Он обнимает ее, но целует слегка и коротко: стыдно людей. И уходит в вагон. А она, бедная, больше не имеет сил сдерживаться, хочет разрыдаться, но тоже неловко перед людьми. И вижу, как она отворачивается лицом от нас, и от плача вздрагивают ее плечи... Третий звонок... Она быстро смахивает концом платка бежавшие слезы, оборачивается к вагону мужа, чтобы взглянуть, наверное, — в последний раз... Поезд медленно отходит. А я думаю: «Господи, Господи! И кто научил этих “необразованных” людей такому внутреннему благородству?!»

Я и теперь часто удивляюсь им... Говорят, говорят, а потом слышу: «Извините». Жду, а этот мужик скажет что-нибудь невинное, например: «Извините, я выпимши был тогда», или: «Он (кто-нибудь) нехорошо выразился, извините меня» и тому подобное.

Эта тема о мужицком благородстве еще не вскрыта у нас, но и в литературе разбросаны уже тысячи примеров, выражений, слов и действий. Вспомнить хотя бы один тип расслабленной женщины в рассказе Тургенева «Живые мощи». Или работника в рассказе Толстого «Хозяин и работник»... Везде, везде. И думаю: воспитывала его вера, совесть, семья.

Да, великое утешение получали люди от Церкви. Даже и самое здание храма веселило их: жили в маленьких избушках, а церковь — красивая, там и служба в «золотых» ризах, и пение певчих, и иконы, и свечи, и пахучий ладан, и звон колоколов. Церковь встречает младенца, венчает его молодого, отпевает состарившегося, везде с ним — и в радости, и в горе.

Еще вспоминаю один приезд архиерея. Как ждали! Какое торжество! С ним духовенство. Чудесный хор певчих. Точно райское видение. Но это было очень редко.

Теперь нужно бы сказать о духовенстве. На моей памяти мы не можем хвалиться чем-либо особым. «Служили», так можно сказать. Бывали, правда, поразительные примеры святых людей. Почти в каждой губернии были свои маленькие «Кронштадтские»: отец Василий Светлов в Тамбовской губернии, отец Николай — в Пензенской, отец Константин — в Симферополе и так далее[58]. Но большей частью мы становились «требоисполнителями», а не горящими светильниками. Не помню, чтобы от нас загорались души... Но не было (за исключением) и дурных типов. Только дух в духовенстве начал угасать. Правда, лучшие христиане не обращали на это внимания: крестились, венчались, хоронились у духовного отца, но, пожалуй, отцами-то мы и переставали быть... Приходилось слышать уж и критику.

Как-то разговорились об одной проповеди в храме.

— Да, говорит, а сам-то...

Другие молчат. А один осиновский богомольный крестьянин возразил:

— Ну, што ж? Да рази это он говорил? Это Церква говорит.

Но едва ли все были такими вдумчивыми...

Житье духовенства морально становилось все труднее. Приближались революционные времена... Дети духовенства почти сплошь отказывались идти по дороге отцов.

Происходил тяжелый процесс и в толщах народных. А тут тяжелая война...

И разразилась революция.

ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ

С самого начала мне нужно признаться, что о революции вообще я мало знал: был еще молод, не интересовался этой стороной, да и, сверх всего, революция и даже само слово это были для меня делом запрещенным, опасным, дурным, с чем не нужно даже косвенно соприкасаться. Поэтому дальнейшие записки мои, естественно, будут поверхностными в этой стороне, но уже объяснялось, что я пишу лишь о моих личных переживаниях и наблюдениях.

Итак, буду продолжать.

...Как писал раньше, казалось, все как будто бы было мирно, спокойно. Никакой революции в окружающей мое детство и первую юность атмосфере я положительно не чувствовал. И мне кажется, она разразилась будто бы совсем неожиданно для народа. Но, разумеется, исторические события, да еще такого огромного масштаба, не делаются случайно: должны быть какие-то давние и глубокие подпочвенные условия, которые питали революцию и дали ей возможность развиваться бурей. Только и я мало видел это.

Однако некоторые угрожающие признаки постепенно начал замечать потом и я в разных областях жизни. О них и запишу.

Начну с семьи. Она была консервативна, как я говорил. Но уже и в ней ходили какие-то неясные тревожные слухи о страшных социалистах. Конечно, все знали об убийстве царя Александра Второго революционерами, у крестьян была какая-то вера, что будет «черный» (то есть земельный) передел. О земле ходила пословица, что

она «ничья», «Божья», а не частных собственников. Слышались жалобы, что земли мало: «курёнка выпустить некуда». И другие пословицы говорили о нарастании в народном сознании мысли о тяжелой жизни бедняков и несправедливости, засилии сильных и богатых: «С сильным не борись, с богатым не судись», «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Судился волк с кобылой, остался хвост да грива», — потому лучше уж «тише воды, ниже травы». Но была еще вера в правду царскую: «За Богом молитва, за царем служба не пропадет», но уже различался он от исполнителей: «Жалует царь, да не жалует псарь».

Однако все подобное было будто бы лишь на поверхности, а в массе души народной по-прежнему жили примиренность, терпение и покорность. Бродившие идеи недовольства были еще в сонном состоянии, их боялись сами говорившие: а вдруг да начальство прознает? И покатишься, «куда Макар телят не загоняет»... Лучше уж помалкивать: известно, что «хорошая речь — серебро, а молчание — золото». Конечно, народ думал больше, чем говорил.

Но уже кое-где стали вспыхивать искры. И они мне казались неожиданными и пугающими.

Как-то мне пришлось услышать от лакея Боратынских, бывшего бравого высокого солдата, такую ужасную речь против тех же самых господ, за спиною которых он стоял навытяжку во время обеда, такую озлобленную, что я подумал: этот человек может убить их... Да, не преувеличиваю... Такое лицемерие!

Но в этом же доме служили горничными две сироты: Сашенька (очень красивая, скоро по выходе замуж скончалась от чахотки) и Анюта. Они были ангельски-кротки, правда, жили без семьи, на всем готовом, а лакей каждый вечер уходил спать на село, за версту-полторы... Конечно, господа и не подозревали о такой ненависти в нём...

Вспоминаю еще умного крестьянина по имени Савелий, лицо его всегда было задумчиво и печально: ясно было, что у него таятся какие-то опасные идеи, но прихо-

дится молчать. Разве кое-когда бросит мимоходом слово о трудности бедняцкой жизни и несправедливости богатых.

Обычно у него нанимал отец лошадей, когда нужно было возить детей в город или на станцию.

И эти настроения, незаметно и неожиданно для моего неопытного и постороннего взора (все же мы жили не непосредственно с мужиками, а в дворне), постепенно, но как бы и вдруг, стали вырываться наружу. На годичной «Казанской» ярмарке, о которой я так солнечно вспоминал раньше, вдруг поднялся какой-то скандал, возросший чуть не до погрома. Лавки быстро свернулись, площадь около церкви опустела. И больше уже ярмарок не стало: начальство городское закрыло это опасное скопление народных масс. А они существовали чуть не столетия. И в день — рухнули. Знаменательно...

Однажды еще ужасное было. Батюшка, очень умный и искренний человек, говорил «слово» по поводу общественных настроений. Богомольцы смиренно слушали, нагнув головы. И вдруг один из них, сотский, кажется по имени Василий, грубоватый и даже глуповатый (умный-то сдержался бы!) человек, прерывает батюшку с места, а он стоял всегда впереди, и открыто говорит что-то против начальства... В церкви!.. Молчат другие, но видно, с ним согласны. Священник останавливает его с сердцем и, грозя пальцем, говорит в ответ:

— Василий! Смотри, как бы тебе за это не попасть, куда не следует... По головке не погладят за такие слова!

Василий нагнул голову, как бык, но, видимо, совсем не был испуган угрозами. А мне тогда стало очень неловко за нашего батюшку: вместо отеческого и доброго слова он только и нашелся, что пригрозить полицейскими карами... Не этого нужно было бы ждать от церковного служителя и евангельского проповедника.

Кстати сказать, этот священник — чуть ли не единственный пример на тысячи других братьев по служению — весьма дружил всей семьей с помещиками, они его

любили и чтили, а потом ссужали средствами на лечение его в Крыму от туберкулеза. Обычно же другие священники никогда не были приняты в «высшем» классе, и скорее они жили гораздо ближе к серому крестьянству, чем к богатым. Это потом спасло большинство их.

Семья же нашего священника была довольно большая: пять человек детей. Трудно ему было платить за них в губернском городе... Вот тут и вспомнишь: а как же трудно было нашим бедным родителям! Священники имели и доход немалый, и 16,5 десятин земли... На каждый приходской храм при учреждении его «нарезалось по закону» 33 десятины для духовенства, по расчету: три части священнику, две дьякону и одна дьячку. Конечно, при том же еще и дом, и большой огород. Обычно духовенство не само работало, а нанимало рабочих или имело постоянного работника и свой земледельческий инвентарь, а иные сдавали «и́сполу»[59] крестьянам, как и помещики.

И вот наш батюшка на один год решил нанять для всей учащейся семьи сначала учительницу, весьма красивую девушку, а на следующий год — студента Лобова. К тому времени — это уже было в 1900–1902 годах — слово «студент» было подозрительным по революционности: где-то там, в столицах, эти самые студенты все бунтуют и «идут против царя и Бога».

На этот раз такая молва оказалась правой: репетитор в доме священника не посещал храма, а где-то в роще барской — прошли слухи — собирал тайные «сходки», там он раздавал революционную литературу и агитировал среди группы крестьян... Вероятно, посещал его и наш знакомый «умный» Савелий. Так дом священника неожиданно (конечно, вопреки его намерению) сделался рассадником революции. Через год Лобов убрался, должно быть, не без требования начальства. И дети снова вынуждены были учиться в городе. Между прочим, все они учились не в духовных училищах, а в светских гимназиях. Дух времени проник уже в семьи духовенства: детям

их не хотелось идти по «духовной дорожке», а учиться на «барина»: доктора, инженера, адвоката, но не пастыря. А сюда уже шли по нужде или менее способные семинаристы, которым не было хода в университеты и институты... И этот уток кандидатов в духовенство все рос и рос...

Еще мне приходит на память «мужицкий выгон». За речкой, в изгибе ее, был длинный луг, и на нем каждый день торчало крестьянское стадо коров. Можно понять, что там было за пастбище! Сбитая кое-какая трава... И я видел, как голодные коровы вечерами возвращались домой с худыми боками, полуголодные. На барских лугах, где была и наша корова, конечно, во много раз было богаче, и то наша Пеструшка по вечерам подбирала еще кругом избы мураву.

И этот голодный выгон стоит в моей памяти как укор, как символ полуголодного существования мужиков... В великорусских деревнях я буквально не помню ни одного толстого крестьянина, на жирной Украине они еще встречались.

А когда голодает «живая скотина», невольно жалостливые хозяин и хозяйка задумаются над ней... Иной раз ее бывает более жалко, чем человека: «бессловесная» ведь она и мычит жалобно. Хорошо хоть, что солома своя всегда бывала. Вот на ночь, а зимой и день, давали ее мы скотине: нарубим «сечками» (в особом станке длинный нож), свалим в колоду, посыпем немного муки, а редко еще и соли, польем теплой водой, — и ешь «на здоровье». Сено давалось редко, и то больше лошадям. Весной гоняли стадо по «парам», после снятия хлеба (ржи) по «жнитву». Так кое-как и жили, и терпели. Но коровенка все же была почти в каждой семье, без нее, кормилицы, еще бы труднее было поднимать ребят, или, как называли их тогда, «полоднищу», от слова наплодить, народить.

Вот и все мои немногие «революционные» воспоминания детства о селе. По-видимому, я все же мало знал жизнь эту...

Гораздо больше узнал я о революции в семинарии. Ни в уездном училище, ни в духовной четырехлетней школе ничего подобного даже и слышать не доводилось. Но в семинарии я был втянут в нее очень ловко с первого же класса. Это случилось так.

Со мной, еще безусым мальчиком, почему-то неожиданно для меня познакомился воспитанник предпоследнего пятого класса Яхонтов, а из четвертого — Кудрявцев. Нам, первоклассникам, это очень льстило, что старшие здороваются с нами «за ручку». Люди они были хорошие, добрые, и мы любили друг друга. Но знакомство их, как я потом понял, было неспроста. Они оба начали «развивать» меня: беседовали на «умные» темы, гуляли по саду или коридору, потом стали давать мне книги, каких не было в семинарской ученической, довольно богатой, библиотеке, в которой я был назначен одним из помощников библиотекаря. Первой такой книгой был «Фауст» Гёте, скучнейшая вещь, как мне показалось, но я все же прочитал ее ради тщеславия, чтобы не ударить лицом в грязь перед моими добровольными учителями. На основании этой книжки начались какие-то длиннейшие беседы их со мною, какова главная «идея». Мне это слово нравилось, как и другие иностранные, вроде «психологически», «принципиально», потом французские «мерси» и «пардон», и даже русское «вообще»... Что за характер у доктора Фауста? Все это было мне и неинтересно, да, признаться, и непонятно в «Фаусте»...

После Гёте мне предложили Л. Толстого «Война и мир». Толстой у нас считался запрещенным для чтения, равно как и Достоевский и все новейшие писатели. При этом читать запрещенные книги считалось почти революционным преступлением, а потому и гораздо более важным, чем драка, выпивка и тому подобное. И можно понять мой страх, когда ректор семинарии, протоиерей С., увидал меня (уже после экзаменов) воротившимся из города в вышитой рубашке, а не в казенной черной

тужурке со светлыми пуговицами, и начал делать мне за это строгий выговор, а у меня в руках была тогда запрещенная книжка с невинными рассказами не то Ивановича, не то Станюковича[60]. Как она жгла мне пальцы! Что там рубашка! Все это мучительное время думал я: у меня вот тут преступление куда страшнее! К счастью, начальство не заинтересовалось почему-то внутренним моим «безобразием», а успокоилось на выговоре за внешнее и послало меня «доложиться» инспектору, к которому я и явился, но предварительно упрятавши преступное «вещественное доказательство». Инспектор — хорошо вспоминаю о нем — М.А. Надеждин оказался милостивее ректора, скоро отпустил.

И бывало, я читал Толстого, пряча книгу под партой или в чайном столовом ящике... И тоже мне ужасно скучными казались толстовские рассуждения о войне, о значении вождей и масс, о причинах неудачи Наполеона и прочее. Но в остальном книга понравилась, особенно Кутузов.

За Толстым, постепенно все углубляясь в революционный дух, пошли писатели-народники, показавшиеся мне «мелкими»; потом уж, конечно, Белинский, Писарев, Добролюбов (Чернышевского «Что делать?» так и не удалось прочитать!), «Биология» Тимирязева. Какие-то сборники политико-экономических статей из толстых журналов: «Русского богатства»[61], «Русской мысли»[62], конечно — Горький, Андреев и другие и, наконец, аттестат на политическую зрелость — «История цивилизации» Бокля[63] показалась мне написанной интересно. Ну, разумеется, «Происхождение видов» Дарвина... Кстати, о нем я слышал, но не читал, еще в духовном училище. Но меня ужасно раздражила его идея о родстве моем с обезьянами, в противоречие высокому библейскому учению об особом создании Богом человека *по Своему образу и подобию* (ср.: Быт. 1, 26, 27). Разойдясь, таким образом, с дарвинизмом в сердце, я решил прикончить его и умом:

на масляные каникулы оставшись в городе, я ходил в тамбовскую публичную библиотеку (очень солидную) и там читал опровержение дарвинизму какого-то ученого Данилевского[64]. Есть ли такой? Но увы! Насколько мне самому прежде была совершенно очевидна абсурдность теории Дарвина, настолько при чтении его опровергателей мне все доказательства казались мелкими и неубедительными. Отсутствие посредствующих между человеком и обезьяной видов, неандертальский череп, различие в размерах наклонения черепа у обезьян и людей — все это разочаровало меня: необстоятельно. Много после, когда я был уже профессорским стипендиатом в академии, узнал, что в мировой литературе существует целое учение, направленное против дарвинской теории. Я даже сестре своей, курсистке Лизе, которую смущали и раздражали на курсах профессора-«дарвинисты» и «нигилисты»-безбожники, дал огромный печатный список в десяток страниц антидарвинистической литературы; она взяла его, положила, как противоядие для себя, на книжную этажерку и... успокоилась.

До Маркса и Энгельса я не успел дойти, но фотографии их у товарища смотрел без особого волнения.

Что же оказалось?

Постепенно, после двухлетней обработки меня добровольцами, мне доверчивые воспитатели торжественно объявили: «У нас есть подпольная библиотека! И в нее набираются только надежные члены...» Боже, как мне захотелось удостоиться попасть туда. Странное желание: воспитанный в благочестивом консерватизме, я жаждал быть «подпольщиком»... Такова сила сладости запрещенного плода, с дополнением тщеславного желания быть чем-то «особенным», не как другие, «удостоиться».

Оказывается, эта подпольная организация школ была не в одной семинарии, а и в гимназии, и притом была поставлена довольно толково: первые ученики каж-

дого класса и отделений (в первом было их три) поступали в обработку старшим членам подпольщиков, пока и их не вводили в это «святилище». Так поступили и со мной; туда же попал потом и мой приятель, первый ученик второго отделения Борис Добротворский, образцовейший юноша, сын прекрасного духовника семинарии отца Павла.

А мы, завербованные кандидаты, должны были, помимо собственного воспитания, доказать еще верность подпольщине распространением той же самой литературы среди своего класса. Это делал и я. Так получалась уже целая сеть пропаганды... Был у меня и смешной случай. Товарищи, зная, что у меня хранятся «запрещенные книги», сами обращались ко мне. Как-то подходит Семен Покровский, способный, но ленивый семинарист, и спрашивает, называя меня «полупочтительно» по отчеству:

— Афанасич! Нет ли у тебя чего-нибудь такого?..

— Гм-м... Есть... — И я дал ему критику картины нравов при Екатерине Второй. — Только смотри, не попадись начальству, а то и тебе и мне — крышка!

— Ну-у! — и ушел на свою парту.

Через несколько дней возвращает книгу без особенного восторга.

— Читал?

— Чита-ал!

— Ну, как? Здорово прохватывается век Екатерины?

— Да-а-а! — лениво тянет Семен, как мы звали его.

— А знаешь, Семен, я тебя ведь обманул!

— Как?

— Да очень просто. Запрещенных книг тогда у меня не было, я и подсунул тебе комедию Фонвизина о Митрофанушке. А ее скоро у нас будут проходить по литературе в классе.

— Да ну?

— Правда.

— Ну, брат! И я тебя надул: я ее не читал. Начал, показалось скучно, сразу бросил.

Много мы оба хохотали.

В общем плоды этой пропаганды были невинные, завербовывали мы мало. Но зато уж попадали такие образчики, что волосы дыбом могли встать... После двухлетней подготовки мне наконец торжественно объявили: я избран в члены... Какое торжество! И я, безусый, приглашаюсь уже как равноправный на очередное заседание всей библиотеки. Оно было не где-нибудь в подполье, а просто в одном из семинарских классов, после обеда. Вероятно, был дозор на случай начальства, но, кажется, мы собирались без особых подозрений: никогда инспекция не ходила по классам в это время.

Волнуюсь... «Собрание открыто»... Председатель, очень умный, 18–19-летний юноша, первый ученик пятого класса, Шацкий (чуть не Шатов у Достоевского[65]) открывает его своей пламенной речью против правительства... О ужас!!! Куда я, скромный сынок маменькин, попал?.. А речь все поднимается, сгущается... И вдруг Шацкий предлагает ни менее, ни более, как совершать террористические акты, и в первую очередь — цареубийство...

Я замер... Сразу спало с меня все торжество... И мне захотелось убежать... Конечно, о доносе и в мысли ни у кого из нас не бывало: этот грех считался важнее отречения от Самого Бога! Но убежать, убежать бы! А бежать нельзя: не позволяет самолюбие. «Назвался груздем — полезай в кузов». И я сидел до конца, молча. Было ли какое решение, не помню. Только с той поры революционный пыл мой сразу упал до нуля. Бывали еще собрания на частных квартирах. Но там занимались более невинным делом: читали только что появившиеся рассказы Горького, разбирали его «Буревестника» и еще что-то.

Мне все хотелось уйти, душа не лежала к революции и к убийствам вообще. И однажды на подобном за-

седании у меня открылось кровохаркание. Я испугался. Заявил товарищам об этом и побежал на квартиру к семинарскому доктору. Тот велел мне прийти завтра в семинарскую больницу в обычное время. Сколько я ему ни старался доказать, что у меня «кровь течет», что я боюсь умереть, Василий Павлович остался неумолим... На следующий день, выслушав, он заподозрил у меня туберкулез (от которого после я и лечился). На это кровотечение я посмотрел как на указание перста Промысла Божия и с той поры перестал ходить на «заседания» и вообще навсегда потерял к подпольщине интерес. Правда, книжки еще иногда читал и другим давал, но скоро и это надоело. Однако вражды ко мне у товарищей не было, да и я не обратил бы на нее внимания: уже сам довольно вырос... Так кончилась моя подпольщина...

Если не ошибаюсь (так подсказывает память), то закулисным главным организатором ее называли какого-то социалиста-революционера Чернова... Не теперешнего ли?[66]

Но кое-что осталось-таки в массе. Например, тогда пошла мода на песнь Горького «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно»[67]. На переменах во всех классах распевали ее по коридорам обоих этажей голосистые дети отцов, дьяконов и дьячков. Начальство забеспокоилось не на шутку и стало «запрещать»... Но кажется, нам нравилось больше само пение, а не содержание песни. Потом мода схлынула, и забыли о ней. Но одному певцу, прекрасному солисту-тенору Херсонскому, потом припомнили ее и при чистке после второго бунта уволили его из нашей семинарии; он поступил в Астраханскую.

Наконец, еще вспоминается один случай... Уже шло предреволюционное брожение 1903–1905 годов. Готовились везде к забастовкам. К нам, и именно в мой шестой класс, пришла делегация забастовщиков из гимназистов и кого-то еще. Во главе ее была известная Маруся Спиридонова[68]. Мы, старшие семинаристы, смотрели на

гимназистов как на мальчиков. А уж учиться от барыни-гимназистки нам совершенно казалось ниже достоинства. Делегация не имела ни малейшего успеха: забастовку не приняли... После она убила вице-губернатора Богдановича за подавление восстаний[69].

Но все же и у нас дух стал уже неспокойный. Прежнее традиционное безмятежное житье кончалось... Семинария, как и все, тоже становилась на порог какой-то новой жизни.

Еще хочется сказать о вере семинаристов.

Иногда в обществе и литературе раздавались обвинения о широком безбожии среди нас. По своему опыту могу решительно утверждать, что это неверно. В нашем, например, классе, двое, М. и А., дерзнули както публично заявить об этом. Но это настолько было несерьезно, что едва не вызвало среди нас смех над ними. Говорили мне про других «атеистов», но я их не знаю. Иное дело, что у нас вообще не было горения духовного, это правда. Но не было и безбожия. В духовной академии в нашем классе считался таким один сибиряк, но товарищи и на него не обращали никакого внимания.

Осталось мне сказать об обществе. Здесь, бесспорно, революционное брожение жило уже почти столетие. Но эти группы мне были мало знакомы. В семинарии одно время мы выписывали тайно «Наш путь»[70], но он скоро был закрыт.

Пришлось мне слышать рассказы о либеральных дворянах от человека, жившего в среде их. Там довольно давно было течение и атеистическое, и революционное.

Отец одного из моих знакомых дворян давно предупреждал, что революция неизбежна, что отнимут имущество, а потому всех сыновей своих, еще в молодости их, научил ремеслам: моего знакомого — шить сапоги. И это ему пригодилось немного, он был совсем хорошим сапожником, но умер раньше времени от тифа. Припоминается одна дворянка-«народница», М.Н.О.,

отказавшаяся от веры и привилегий и ушедшая «в народ» акушеркою. А ее 12-летний мальчик Борис оказался «собственником» и верующим.

Мое наблюдение: эти отдельные типы не производили большого влияния на народные массы. Подобно тому, как и в Ясной Поляне Л. Толстого не обращали внимания на своего барина и вопреки ему ходили в церковь, так и по всей Руси безбожники и революционеры дворяне не пользовались любовью и почетом масс. Есть данные, что многие из этих либералов, отчасти еще в 1905 году, а больше во время второй революции жестоко пострадали: народ не считал их своими и пошел потом за другими вождями.

Еще два-три слова о Церкви. Положение ее было весьма сложное. По сущности своей христианская Церковь, скорее, антиреволюционная. А положение духовенства среди народа, с одной стороны, и властей и господ — с другой, заставляло ее быть более сдержанной. Кроме того, мы (особенно епископы, городское духовенство, а отчасти и все вообще) всё же были сами не бедняками, а буржуазным классом. Да если бы кто думал и иначе, он, чисто по пастырской педагогике, обязан был быть благоразумным: легко разжечь недобрые инстинкты в человеке, а как трудно потом их утишать! Даже самая чистая правда-истина может оказаться иногда провокационным средством. Диавол большею частью провокатор, клеветник, обольститель. Например, скажи об истине «неправедной мамоны» (богатства) (см.: Лк., гл. 16) — <вызовешь> ненависть сильных, еще больше обозлишь убогих. По всем этим мотивам, не так уж плохим, наша Церковь вместе с народом больше молчала.

А если что и делала, то все же утешала народ как могла: давала ему духовную силу терпения; многие священники были очень близки к народной душе, и этого народ даже в страшные часы грозы не забыл...

Пострадали многие, но большинство осталось, и потом сам народ даже защищал их от насилий.

Были и редкие исключения, как отец Гапон[71] и немногие иные, принявшие активное участие в политической борьбе за народ.

Было целое направление среди санкт-петербургского духовенства под именем «обновленчества» (группа «пятидесяти трех»)[72], которые старались вовлечь Церковь в эту борьбу.

Потом из них выродилась так называемая «Живая церковь» и «обновленцы» («синодальная» церковь). Но в массе духовенство оставалось как бы «вне политики», это была лучшая «политика» их...

Но зато должно сознаться, что влияние Церкви на народные массы все слабело и слабело, авторитет духовенства падал. Причин много. Одна из них в нас самих: мы переставали быть «соленою солью» (см.: Мф. 5, 13) и поэтому не могли осолить и других. А привычки к прежним принципам послушания, подчинения еще более делали наше духовенство элементом малоактивным. И потому можно сказать: и духовенство тоже стояло на пороге пересмотра, испытаний... И увы — это было нам не нужно!

И вот пришла первая революция 1905 года.

Первая революция 1905 года началась для меня известным выступлением рабочих в Санкт-Петербурге 9 января. Под предводительством отца Гапона тысячи рабочих с крестами и хоругвями двинулись из-за Невской заставы к царскому дворцу с просьбой, как тогда говорили. А я был в то время студентом академии. Народ шел с искренней верой в царя, защитника правды и обижаемых. Но царь не принял его, вместо этого был расстрел. Я не знаю закулисной истории этих событий и потому не вхожу в оценку их. Только одно несомненно, что тут была подстрелена (но еще не расстреляна) вера в царя. Я, человек монархических настроений, не только

Мал. Бронная у д. Романов

Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. 9 января 1905 г.

Баррикады в Москве на Малой Бронной у дома Романова. 1905 г.

не радовался этой победе правительства, но почувствовал в сердце своем рану: отец народа не мог не принять детей своих, что бы ни случилось потом... А тут еще шли с иконами и хоругвями... Нет, нет, не так мне верилось, не так хотелось. И хотя и после продолжал, конечно, быть лояльным царю и монархическому строю, но очарование царем упало. Говорят: кумир поверженный — все же кумир. Нет, если он упал, то уже не кумир. Пала вера и в силу царя, и этого строя. Напрасно тогда генерал Трепов расклеивал по столице длинные афиши с приказами: «Патронов не жалеть!»[73] Это говорило о напуганности правительства, а еще больше — о разрыве его с народными массами, что несравненно страшнее.

В противовес революционному движению было выдвинуто — я уверен, что это выросло не самостоятельно — противоположное течение: «Союз русского народа».

Какая-то богатая женщина, Полубояринова[74], давала средства на центральную организацию его; создали газету «Русское знамя». Главным вождем его был никому доселе неизвестный «доктор Дубровин»[75]. Началась обратная пропаганда. Она завербовала сотни людей по городам, но это были или наивные верующие прошлого, или же недостойные доверия темные личности. Например, в городе Симферополе закулисные вожди выставили фигуру какого-то портного, ну что он мог понимать и как руководить?! Получался лишь фанатичный крик патриотическо-монархического направления, но он скорее отталкивал людей. Газету читали лишь в городских низах. Даже я, правый человек, не прочел, как помню, ни одного номера. А между тем Дубровин, узнав от кого-то о моем настроении, прислал мне предложение стать секретарем его газеты... Секретарь — это основной столп дела. И мне представилась такая возможность действия во всероссийском масштабе. Я, ни минуты не колеблясь, решительно отказался впутываться в это темное предприятие.

Как уже и раньше писалось, я никогда не любил политики и не занимался ею, и никогда во всю жизнь не состоял ни в какой партии и не состою. Помимо чуждости этого дела моей душе, я не любил партийности и не люблю доселе еще и потому, что она своими предрешениями и программами сковывает свободу человека. Во что бы то ни стало партийцам приходится исполнять и защищать тезисы своей группы, хотя бы они были и неверны, и противны душе... Я это вижу на партийных деятелях и доселе. На одном собрании в Нью-Йорке интеллигентный председатель, после моей обоснованной речи о влиянии в жизни Польши и духовных факторов, разразился горячей марксистской репликой, что всем в жизни верховодят лишь экономические факторы. А между тем, к его конфузу, я в своем докладе обосновывался даже и на книге советского писателя. От такого рабства, левого или правого, всегда отвращалась душа моя. Отказал и Дубровину я.

Но и то еще приходит мысль: как же скудны были эти вожди в выборе сотрудников, если и меня, политически безусого юношу, хотели поставить во главе своего издания! Чего бы я им там ни натворил!.. Тоже — «политик»... Люди над этими вопросами сидят годами, изучают литературу, вырабатывают огромный опыт, учатся тактике, а я ни одной книжки по политической экономии не читал, даже газет почти никогда не смотрел, не знал ничего о партиях, и вдруг, становись на колокольню — звони!.. А бывали такие и после.

Например, один из революционеров рассказывал мне, как его поставили заведовать железнодорожным движением Северного Кавказа, а потом, или до этого, он скупал для столиц куриные яйца. Другой, в Санкт-Петербурге, был начальником какой-то связи между рабочими и правящей партией. Ну, он хоть ссылку в Сибири прошел, если уж не рабочее движение... И бывало, смотрю я на этих «героев нашего времени» и спрашиваю: да как же вы брались за такое незнакомое и ответственное дело?

Один в ответ виновато улыбался (после он ушел в монахи), а другой довольно уверенно говорил мне без улыбки:

— А знаете, это все уж не так мудрено! Управлять людьми и делами, право, всякий может!

Значит, думаю, дело лишь в храбрости?

И вспоминается мне из записок знаменитого судебного деятеля Кони[76] его ответ советскому человеку:

— Как вы смотрите на наш советский строй и работу?

— С изумлением! — сказал им опытный государственный деятель.

Ему положительно непостижимо было, как эти новоиспеченные «деятели истории» брались за всякие управления очертя голову... Правда, у них стояли опытнейшие закаленные вожди, вроде Ленина и других, и эти двигали историей и маленькими сатрапами на местах... Правда и то, что у советской партии не хватало вначале квалифицированных работников, так как интеллигенция от нее ушла или ответила саботажем. Но и при всем том, действительно, и мне «изумительно», как черноглазая 17-летняя гимназистка Спиридонова руководит забастовками в Тамбове; как «матрос Федор» ораторствует в Крыму и его еще при Керенском посылают всюду, где грозит рост большевистского движения[77], как малограмотный Коржиков, судивший потом меня в «чрезвычайке», делается следователем[78]; как мой товарищ по академии Володя Красницкий становится одним из возглавителей целого религиозного движения под именем «Живой церкви»[79], как фельдшеры соглашаются управлять дредноутами... Когда я впервые лично познакомился в Париже с А.Ф. Керенским[80], первое мое тайное впечатление было тоже «изумление». Как, сразу подумалось мне, этот небольшой человек дерзнул встать во главе огромнейшего государства, да еще в такой сложнейший момент?! А он был все же адвокатом, членом Думы, давним партийным работником. Скажу:



Глава Временного правительства России А.Ф. Керенский

он как человек показался мне и симпатичным, и нерядовым интеллигентом, и чутким собеседником. Такое доброе отношение к нему осталось у меня и доселе. При всем том он не смутился открыто заявить мне и другим о своей религиозности. К нему, между прочим, зашел впоследствии тот самый кавказский заведующий и скупатель яиц, тогда уже иеромонах, с разговорами о религии. Желая «ободрить» «неверующего интеллигента», каким мы считали их всех огулом, сей инок покровительственно говорит Александру Федоровичу:

— А вы не смущайтесь своим маловерием или даже неверием! Вот я и сам тоже был одно время неверующим...

— Батюшка! — скромно прервал его Керенский, — а я ведь никогда не был неверующим!

— Как?! — изумился непрошеный советник.

— Да, я всегда был верующим человеком.

— Не ожидал... Ну, слава Богу. Простите меня...

И разговор у них продолжался. Я слышал все это от батюшки. А когда я сам посетил Керенского, он и мне рассказал, что и в гимназии был верующим и даже прислуживал батюшке в алтаре, и после оставался им. Одним из оснований его веры был даже политическо-моральный пункт.

— Я, как социал-революционер, не могу принять милюковского позитивизма или ленинского материалистического коллективизма. В нашей программе основным пунктом является живая личность как абсолютная ценность. А личность может признаваться действительно ценной только при абсолютной основе ее: бессмертии и богоподобии. Без религии личность — ничто.

Чтобы кончить это случайно всплывшее воспоминание о нем, припомню еще и другую мысль:

— Оказалось, Церковь имела гораздо большее значение и силу в народе и государстве, чем это предполагали мы, эсеры, и вообще интеллигенция. Конечно, моя роль в истории кончена. Но если нашей партии (значит, он в пар-

тию продолжал еще верить: то было около 1930–1931 г.) суждено будет когда-нибудь стоять у кормила управления, то мы должны предоставить Церкви соответственное положение в государстве.

Больше не помню ничего из бесед того времени.

Подарил я ему живописную икону Державной Божией Матери[81]. Он просто и благоговейно принял ее и повесил в углу редакции своего журнала (позабыл его название)[82]. Все это приятно и хорошо. Однако то первое впечатление, что этот хороший человек надел на себя «тяжелую шапку Мономаха», взялся управлять государством, остается у меня и теперь, и я имею основание держаться его и по сей день...

Заодно припомню и впечатление от главного вождя социал-революционеров, В.М. Чернова. Я его видел в Нью-Йорке на собрании в «Горизонте». Крепкий еще старик, с совершенно белыми, высоко зачесанными волосами и острой бородкой (какой же он был бы «знаменитый Чернов» без его исконной этой бородки!), он после других спросил слова. Председательствовал Авксентьев[83]. А к этому времени срок речей уже был ограничен пятью минутами: охотников говорить было довольно. И запел Чернов... Свободно, с подъемом, с несокрушимой верой в абсолютную истинность своих слов, с попытками на остроумие, с уверенностью в свое превосходство, он пел и пел, как птичка... Уже прошли пять его минут. Авксентьев неловко виновато улыбается, не дерзая призвать к порядку «самого»! А он все поет, довольный собою... Прошли еще и другие, и, вероятно, третьи, четвертые пять минут. Чернов все пел... Авксентьев осмелился-таки напомнить о сроке. Но для Чернова сроки? И он допел все, что хотел... Конечно, аплодисменты бывшему все же «кумиру». Он сел вполне удовлетворенный. «Сказал — и душеньку облегчил», — так и говорило все его розовое еще личико... А я думал: «Какой он наивный душенька!» А потом: «И этот певец тоже вознесся в Учредительном собрании

на самую верхушку! И он мечтал и еще, вероятно, мечтает и теперь о себе как о возможном вожде и правителе целой страны, а может быть, и... всего мира?!»

Право, и мне захотелось тогда сказать с Кони: «Если уж не "изумляюсь", то в недоумении удивляюсь!» Но я не выступил: пусть допевают... их огни на сцене уже догорают. Кажется, занятие их довольно теперь безвредное, хотя они свысока критикуют своих бывших противников, современное советское правительство и порядки.

Я отступил от своего рассказа о революции, но эти картиночки не помешают: и эти деятели были как раз тогда закулисными двигателями ее.

А после, в «Белом дивизионе», и я встал на подобную же позицию, вообразив себя историческим лицом. Какие мы мечтатели... И неужели мы, такие, строим историю? Или и в самом деле «немудрено управлять» миром? Или мы лишь маленькие щепочки, увлекаемые великим потоком других глубоких процессов? Или история слагается из разных элементов?

Тут встает важный и спорный давний вопрос: кто ведет историю — выдающиеся личности или массы? Никто не будет отрицать огромного значения вождей и гениев, но позволяю себе думать, что еще большее значение принадлежит все же массам: они — почва и фундамент для творческой потом деятельности отдельных личностей. Без этой массовой психологии и подготовки и самый гениальный человек не в силах осуществить свои идеи в полной мере. А если это так, тогда есть место в истории и нам, маленьким щепкам: все мы, в разной, конечно, степени, создаем силу масс. Пример тому — в этих двух моментах одной, в сущности, революции: 1905 и 1917 годы. То, что невозможно было сделать в первую, осуществилось потом во второй: в первой почва в массах была еще не готова. А когда она созреет, тогда вожди организуют ее и дадут еще более сильный толчок к дальнейшему развитию движения масс.

Так и в 1905 году оказалось, революция была уже у порога русской истории. И удержать ее от взрыва было уже невозможно ни репрессиями, ни уступками. Стихийные исторические явления, как весенние потоки, обычно докатываются до своего конца. Начались забастовки, демонстрации... Неверующие студенты устраивают в Санкт-Петербурге перед Казанским собором какую-то «гражданскую панихиду» по жертвам революции. Бастуют почти все учебные заведения. Не отстают и курсистки. Мы, «академики», запоздали немного: народ больше тихий, благочестивый. Потом «одумались» и решили наверстать упущенное: студенты вынесли на «сходке» постановление — забастовать... Кто-то острил: и богословы «позавидовали курсисткам». Но у нас образовалось меньшинство — около четверти товарищей — против забастовки. В этой группе был и я. Сорвать лекции профессоров не удавалось, так как мы назначали по паре дежурных слушателей на все лекции (у нас вообще посещали лекции по три-пять человек, а учили их уже на экзаменах): хочешь — не хочешь, а читай, профессор! Большинство встречало нас по своим убеждениям и по совести, не сдавались. Тогда нам бросили угрозу: будут обливать нас кислотой! И это бы ничего. Но меня начало мучить чувство товарищества: как я иду против большинства? А тут наше начальство во главе с ректором академии епископом Сергием (ныне Патриаршим Местоблюстителем) объявило, что если демонстрации не прекратятся, то забастовщиков уволят из академии и удалят по домам, а меньшинство будет заниматься. Тут мое чувство товарищества обострилось до последней степени, и я склонен был вместе со всеми «страдать». И начал уже подыскивать себе платное дело: отправился к известному церковному композитору и организатору нескольких хоров А.А. Архангельскому[84] с предложением своего тенора и даже помощи в регентстве. Регентом я был и в духовном училище, и в семинарии, и в академии. Попробовал меня маэстро и нашел мой голос

неважным, отказал. Оставалось увольняться со всеми... И что? Не знал... Кажется, возвращаться к папеньке на хлеба? Теперь их не удивило бы мое возвращение: забастовки были везде. Но я мучился в совести и обратной мыслью: нравственно ли поддаваться непременно и всегда давлению большинства, если я с чем не согласен?.. А тут один из студентов, небольшой и некрасивый товарищ Ефимов, подходит ко мне с вопросом:

— Что же, будете учиться на костях товарищей?

Больно задел меня этот упрек... И я уже склонен был уступить большинству. Как-то прознал про это епископ-ректор и, увидев меня в коридоре, шутливо пригрозил кулаком, с улыбкой сказав:

— Я тебе дам увольняться!

Тогда я направился к духовному руководителю своему, инспектору академии архиепископу Феофану[85], за советом. Он сказал мне целую лекцию о «коллизиях нравственных убеждений и чувств», посоветовал мне не смущаться. И я у него же в кабинете решил «учиться и на костях».

Заколебались и другие, никому не улыбалось возвращаться по домам. Наступил какой-то неопределенный момент. Епископ Сергий решил испробовать последнее средство: велел созвать общестуденческую сходку. На кафедру вышел избранный председателем студент-эсер Иван Петрович Смирнов (после убили во второй революции). Входит уверенный, спокойный и внушительный ректор: высокий, плечистый, с длинной черной бородой, в клобуке. Подходит к кафедре, а там — Смирнов.

— Я избран председателем сходки, — заявил он уверенно ректору.

Но случилось совершенно неожиданное дело. Всегда необыкновенно ровный, любезный епископ Сергий на этот раз легко отстранил Смирнова с кафедры, тот сходит, а ректор, ударив по кафедре своим мощным кулаком, с гневом и властью закричал:



Епископ Феофан (Быстров)

— Я, я здесь председатель!

Все мы мгновенно притихли. Власть проявила свою силу. Затем епископ Сергий сказал нам спокойную деловую речь, предлагал прекратить забастовку. Он ушел, и студенты почти единогласно постановили восстановить занятия. Никто не пострадал. Курсистки были посрамлены нашей несолидарностью с ними, хотя едва ли они и знали о таком нашем мужестве перед ними.

Но не так мирно улаживалась жизнь кругом.

В Москве было целое восстание на Пресне с баррикадами. Губернатор Дубасов[86] подавил его войсками. По селам начались поджоги крестьянами и пожары помещичьих имений и усадеб. С легкой руки члена Думы Герценштейна[87], их называли «иллюминациями». Сожгли одну, самую заднюю, скирду ржи и у «наших» помещиков, но этим и ограничились. К милым нашим старушкам Боратынским народ относился все же мирно и, видно, пожалел их. Но по окрестностям эти «иллюминации» продолжались.

Однажды летом после будничной вечерни вместе с самим отцом Николаем вышел из храма за ограду. Перед нами раскрывалась полукругом панорама на десяток верст. Вечер был прекрасный, тихий, ясный. И видим мы, как в разных местах за горизонтом поднимаются до неба зловещие темно-багровые столбы дыма от пожарищ: это горели имения. Остановились мы на взгорье у храма молча. Смутно было на душе: надвигалось с этим страшным дымом на нашу страну что-то грозное... И не знал, что ответить себе на свои невеселые думы. И вдруг пронеслись в голове слова Христовы: *надлежит всему этому быть* (ср.: Мф. 24, 6)!

Надлежит... Неизбежно в путях истории человечества и Промысла Божия. И никто этого мирового процесса остановить не в силах, ибо — «надлежит». А если ранее предсказано «надлежит», то не нужно чрезмерно удивляться и страшиться. И стало спокойно на душе.



Ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Сергий (Страгородский), будущий Патриарх

Сейчас же затем пришли другие мысли, как бы произнесенные кем-то в сердце и уме:

— И что ты особенно этим терзаешься? Разве же ты управляешь миром? Есть Бог, Который всем правит, на Него и положись. И всякий делает свое дело. Довольно этого с тебя!

Я совсем умирился. И часто потом приходили мне эти мысли, открывшиеся на горе у церкви.

...Осенью царь дал конституцию и Думу. Полились революционные речи, народ понемногу стал уже читать газеты, разговоры велись везде.

Однако эксцессы революции были подавлены правительством: войска, казаки и полиция были еще на стороне «общественного порядка». А народные массы еще не выросли из своего прежнего мирного и примирительного настроения. Старое пока оказалось сильнее.

Но эта победа была непрочна, так чувствовали многие из нас. Вместо обычного смирения начинали расти в народной душе раздражение и молчаливый протест. Дума тоже ничего особенного не дала. Первые два состава ее были распущены. Революционные элементы ее уехали в Финляндию и там выпустили «Выборгское воззвание»[88]. Но, признаюсь, я даже его, кажется, и не читал. Не оставило оно следа и в массах.

Поднимался в Думе вопрос и о земле, но тоже бесплодно. И как-то скоро образовалось неверие в эту «говорильню». Мне думается, что в народе существовало неясное чувство, что и Дума — барское дело, а не народное, компромиссно-буржуазное, а не радикально-рабочее. Я думаю, тут было много правды, поэтому и к «разгонам» ее массы относились совершенно равнодушно, выбирали лениво новых «думцев» и успокаивались. Не видно было ярких перемен в жизни.

Не было и сильных вождей ни с какой стороны.

Только один раз явился у трона многообещающий яркий человек, П.А. Столыпин[89]. Он бросил дерзновенно



Председатель Совета министров России П.А. Столыпин выступает в Государственной думе (в левой части снимка за трибуной)

П.А. Столыпин в своем кабинете

крылатое слово революционной Думе: «Не запугаете!» Но это было сказано более смело, чем исторически прозорливо. Сам же он был убит в киевском театре, где был и царь, провокатором Богровым[90], а революция продолжала тихо расти... Кстати, позволю высказать свое мнение неопытного «тоже политика». Ему приписывалась некоторыми будто бы гениальная спасительная идея земледельческой системы, так называемого «хуторского» хозяйства; это, по его мнению, должно бы было укрепить собственнические чувства у крестьян-хуторян и пресечь таким образом революционное брожение... Не знаю, верно ли сформулировал его идею. Тогда я жил в селе и отчетливо видел, что народ — против нее. И причина была простая. Из существующей площади — даже если бы отнять все другие земли: удельные, помещичьи, церковные и монастырские, — нельзя было наделить все миллионы крестьян восьмидесятинными хуторами, да и за них нужно было бы выплачивать. Значит, из более зажиточных мужиков выделилась бы маленькая группочка новых «владельцев», а массы остались бы по-прежнему малоземельными. В душах же народа лишь увеличилось бы чувство вражды к привилегиям новых «богачей». Да и вообще, спасать русский народ лишь буржуазным соблазном личной корысти было совсем неглубоко, ни духовно, ни государственно. Православный великорусский народ привык к общинному укладу жизни. Правда, на Украине больше было «хуторской» психологии, однако и там постепенно восгосподствовали общие, а не частные единоличнические интересы. И хутора в народе «провалились». В нашей округе едва ли нашлось тричетыре семьи, выселившиеся на хутора. Дело замерло: оно было искусственное и неморальное. А народ наш разумен и нравственно солидарен: если уж устраиваться, то всем, а если уж страдать — то тоже всем.

Поднимался, как я говорил раньше, вопрос о выкупе крестьянами вообще всей прочей земли, но его не

приняли ни Дума, ни владельцы... Воз, таким образом, по-прежнему вяз в трясине. Нужно было ждать иных путей и других реформ. Когда они придут, никто не знал ясно, но спокойная, ровная жизнь была уже утеряна целой страной. Революция была будто бы подавлена, все казалось тихо-мирно. Но это было лишь на поверхности. В массовых низах незаметно нарастало чувство неудовлетворенности.

Вот несколько характерных примеров из моей памяти.

Был 1913 год. Трехсотлетие династии Романовых. Всюду были отданы приказы устраивать торжества. Заготовлены особые романовские кругленькие медали на Георгиевской треугольной ленточке. Но воодушевления у народа не было. А уж про интеллигентный класс и говорить нечего. Церковь тоже лишь официально принимала обычное участие в некоторых торжествах. По-видимому, торжество предназначалось к поднятию монархических чувств против будто бы убитой революции. Но это не удалось. И вся эта затея была тоже искусственной. Ведь не праздновал первого столетия династии такой могучий представитель ее, как Петр Великий, он был занят устройством и мощью страны, а не династией.

И через второе столетие, в 1813 году, Александр I тоже не устраивал торжества, потому что занят был устройством своей страны и всей Европы после победы над Наполеоном. А уж, кажется, не было для него и для династии лучшего времени для славы, как после только что прошедшего 1813 года.

Ясно, что идея 1913 года в подпочве своей имела робкое сознание ослабления царской идеологии не только среди интеллигенции, но и в массах. И понятно, что торжества были мало торжественны: отбывалась временная повинность. Это я особенно ярко увидел на губернаторском подобном торжестве в городе Симферополе, где я тогда был ректором семинарии.

В зале красивого Дворянского собрания под председательством культурного и доброжелательного губернатора, графа Апраксина[91], было заседание (жена его, урожденная княжна Барятинская[92], была женщина замечательной духовной красоты; она, в пример мужу, не поносила потом большевиков, хотя ее некоторые ближайшие родные были даже убиты). Нас из «общества» было человек 100–150... Граф говорил горячую (больше внешне) соответственную речь. В заключение громко предложил крикнуть за династию «ура».

Но что же вышло? Кроме его голоса да нескольких нас, собравшиеся почти не поддержали. Стало очень конфузно... А у меня опять промелькнула мысль: идея царя тут мертва... А народ и вовсе не праздновал никак.

Не знаю, как проходили торжества в других местах. Но если бы я был в то время на месте царя, то меня охватил бы страх: это было не торжество, а поминки... И следовательно, нужно было делать из них соответствующие государственные выводы. Но отпраздновали, раздали медали и опять «успокоились».

А вот факты из народной психологии. При моем ректорстве (1913–1917 гг.) перестраивалась и расширялась в Тверской семинарии домашняя церковь на 1000, а с прилежащими классами и на 1200 человек, вместо прежних 100–200. Сколько труда я положил туда! И с увлечением... После чудесно расписали ее в васнецовско-нестеровском стиле. И... говорили, что будто потом в подвалах здания был «чека». А теперь, после немцев, остались ли даже стены от этого желтого красивого огромного четырехэтажного здания, с прекрасным храмом внутри?[93]

Подрядчиком, взявшим кирпичные и плотничьи работы, был крестьянин Жуков. А уж началась первая война с немцами. Я часто вертелся на любимой постройке. И вот однажды, нимало не стесняясь ни меня,

ни своих каменщиков, земляков из его же деревни, [Жуков] с пренебрежением говорит:

— А нам, мужикам, что? Не все ли равно: Николай ли или Вильгельм? И теперь мы голытьба, и при Вильгельме не будет хуже.

Я удивился и промолчал. Молчали, видимо, соглашаясь, и его рабочие. Правда, он был человек несимпатичный, даже грубый, но способный и смелый. И нужно полагать, что так думал уж не один он.

Но далеко продвинулись новые веяния новых времен... И мы уж не пугались, не дивились этому... Так реагировал «простой народ».

А вот как откликалось среднее общество. После постройки храма мне захотелось украсить его святыней. В XVIII столетии ректором этой семинарии был святой Тихон (Соколов), впоследствии епископ Воронежский и Задонский[94]. Мне и пришло желание привезти частицу от его святых мощей в Тверскую семинарию. За ней пришлось мне проезжать маленькой дорогой по нескольким центральным губерниям: Тверской, Московской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской. И чего только я не наслышался в вагонах второго класса, то есть среди «общества»... Критика царя среди «публики» шла совершенно открыто. В частности, это ставилось и в связи с именем Распутина[95]. Я поражался подобной вольностью. А когда воротился с мощами и их встречали на станции с крестным ходом, я сказал речь на тему: «Братья! Страна наша стоит на пороховом погребе!» — и расплакался. После передавали мне, что один из преподавателей Священного Писания, острослов-толстячок, говорил иронически другим:

— Наш ректор-то расчувствовался как!

Он не верил в грядущую революцию, а я уже узрел ее лик своими глазами.

Во время другой поездки, уже близко перед второй революцией, я слышал еще более страшные вещи: уже

о гибели династии... Возвратившись в Тверь, я даже поделился подобными разговорами с губернатором фон Бюнтингом[96] и вице-губернатором Г-м. Они не удивились.

Как бы пошла история дальше, не знаю. Но в это время разразилась война 1914 года.

Тут я могу сказать кое-что из моих личных воспоминаний о прогремевшем печальной известностью Григории Ефимовиче Распутине. Мне пришлось знать его лично года три-четыре. Через это знакомство мне немного приоткрылась придворная и аристократическая жизнь. Ему приписывается большое влияние на назначение государственных деятелей. Его появление характерно и с точки зрения церковно-религиозной. Его имя, несомненно, дало материал и для революции... Но, конечно, я запишу лишь немногое.

Тяжело это воспоминание. И обычно я не люблю рассказывать о нем. Просил меня один писатель дать ему материал о Распутине, я тоже отказался. И теперь пишу лишь для целости исторического материала, и то далеко не все.

Мне о нем довольно достаточно известно, потому что я знал его с первых дней появления в Санкт-Петербурге в течение нескольких лет. Кроме того, в моих руках оказалась его краткая автобиография, записанная с его слов для государыни; а так как там было много просторечивых выражений и вульгаризма, то, по поручению царицы, я должен был в той же желтой сафьяновой тетради изложить все литературно. Но до конца не довелось мне довести этой работы: времена переменились...

Григорий Ефимович Распутин (другая, добавочная, фамилия его была — Новых[97]) пришел из сибирского села Покровского Тюменского уезда Тобольской губернии.

Если верить его рассказам и записям в сафьяновой тетради, то он сначала вел жизнь греховную. Но потом пришел в раскаяние и решил перемениться. Для этого



Г.Е. Распутин. *Фото 1900 г.*

он, между прочим, выкопал где-то там пещеру и стал молиться, поститься, бить поклоны, спасаться. В таких подвигах он дошел будто бы до того, что получил дар даже чудотворения. Его жена, которую я тоже видел в Санкт-Петербурге вместе с ним, простая, но умная женщина, не верила в святость мужа. Тогда он предложил ей доказательство: сели в лодку на местной реке, и она будто бы поплыла сама вверх без весел. После этого Григорий Ефимович (так обычно звали его) решил «ходить по святым местам», как это широко практиковалось обычно среди богомольных крестьян, паломников, странников. Между другими святынями он особенно часто посещал Верхотурский монастырь Пермской губернии[98], как ближайший к Сибири. А там, в скиту, жил подвижник — монах отец Макарий[99]. Я его лично видел в Санкт-Петербурге вместе с настоятелем монастыря архимандритом Н.[100], их привозил Распутин, чтобы показать, какие у него есть хорошие благочестивые друзья. Тогда уже пошла борьба против него. Действительно, оба эти инока были очень хорошие люди, а отец Макарий и доселе остался у меня в памяти как святой человек, только очень уж доверчивый, как дитя. Святые люди нередко бывали такими: живя сами свято, они и на других смотрели так же, по изречению Григория Богослова: «Кто сам верен, тот всех доверчивее»[101].

А может быть, святые ради спасения грешников намеренно обращались с ними ласково, я такие примеры видел в жизни святого старца Гефсиманского скита, около Сергиевой Лавры, отца Исидора[102].

Так в своих паломничествах Григорий Ефимович добрался и до Казани. Там он познакомился с монахами-профессорами и студентами духовной академии и произвел на них сильное впечатление. Они порекомендовали ему отправиться в Санкт-Петербургскую духовную академию, где тогда ректором был епископ Сергий, а инспектором — известный

по своей подвижнической жизни и учености архимандрит Феофан. Оба эти человека были безукоризненно чистые люди, глубоко религиозные монахи, пользовавшиеся заслуженным авторитетом в церковных кругах, а отец Феофан — уже и в некоторых великосветских как духовник и богослов. К ним в Казанской академии дали сопроводительное письмо Распутину. На первом знакомстве в квартире ректора академии, кроме отца Феофана и трех-четырех приглашенных студентов, был и я. Распутин сразу произвел на меня сильное впечатление, как необычайной напряженностью своей личности (он был точно натянутый лук или пружина), так и острым пониманием души: например, мне он тут же строго задал вопрос: «Что же? Чиновник или монах будешь?» Об этом моем тайном намерении знал только один отец Феофан, никто другой. При таком «прозорливом» вопросе гостя он так и засиял. Отец Феофан всегда искал «Божиих людей» в натуре; были и другие примеры в его жизни и до и после Распутина. Другим студентам Распутин не сказал ничего особого... Знаю я другие факты его глубокого зрения. И, конечно, он этим производил большое впечатление на людей. Епископ Сергий, однако, не сделался его почитателем. И, кажется, Распутин никогда больше не посещал его. Будущий Патриарший Местоблюститель был человеком трезвого духа, ровного настроения и спокойно-критического ума. Но зато отец Феофан всецело увлекся пришельцем, увидев в нем конкретный образ «раба Божия», «святого человека». И Распутин расположился к нему особенно. Начались частые свидания их. Я, как один из близких почитателей отца Феофана, тоже уверовал в святость «старца» и был постоянным слушателем бесед его с моим инспектором. А говорил он всегда очень остроумно. Вообще, Распутин был человек совершенно незаурядный и по острому уму, и по религиозной направленности. Нужно было видеть его,

как он молился в храме: стоит точно натянутая струна, лицом обращен к высоте; потом начнет быстро-быстро креститься и кланяться.

И думаю, что именно в этой исключительной энергии его религиозности и заключалось главное условие влияния на верующих людей. Как я уже говорил не раз раньше, духовная жизнь и религиозное горение к тому времени начали падать и слабеть. Вера становилась лишь долгом и традицией, молитва — холодным обрядом по привычке. Огня не было в нас и в окружающих. Пример отца Иоанна Кронштадтского был исключением, но он увлекал преимущественно простой народ. А высшие круги — придворные, аристократы, архиереи, духовенство, богословы, интеллигенты — не знали и не видели религиозного воодушевления. Как-то все у нас «опреснилось», или, по выражению Спасителя, соль в нас потеряла свою силу, мы перестали быть *солью земли* и *светом мира* (Мф. 5, 13, 14). Нисколько не удивляло меня ни тогда, ни теперь, что мы никого не увлекали за собою: как мы могли зажигать души, когда не горели сами?! Один святой архиерей, епископ Иннокентий, бывший Благовещенский[103], живший потом на покое в монастыре возле Севастополя, говорил мне:

— Вот жалуются, что народ не слушает наших проповедей и уходит из храма, не дожидаясь конца службы. Да ведь чего слушать-то? Мы питаем его манной кашей, а люди хотят уже взрослой твердой пищи.

Верно! Было общее охлаждение в нас. И приходится еще дивиться, как верующие держались в храмах и с нами? Но они были просты душою, не требовательны к нам, а еще важнее, они сами носили в себе живой дух веры и религиозной жизни и им жили, хотя вокруг все уже стыло, деревенело. А интеллигентных людей и высшие круги мы уже не могли не только увлечь, но и удержать в храмах, в вере, в духовном интересе.

И вдруг появляется горящий факел...

Какого он духа, качества, мы не хотели, да и не умели разбираться, не имея для этого собственного опыта. А блеск новой кометы, естественно, привлек внимание.

Из духовной академии этот пламень перебросился дальше. Благочестивые люди, особенно женщины, стали восхищаться необыкновенным человеком, круг знакомства стал расширяться все больше... «Светов, святой» — распространялась о нем слава. И, голодный духовно, высший круг потянулся на «свет». Оказывалось, вера совсем уж не такое скучное дело, не все же там мертвецы, а есть ведь и горящие...

Такова, по моему мнению, первая причина шумной рекламы Распутина, люди всегда жаждали сильных ощущений, в чем бы они ни проявлялись. А это, в основе, правильно: человеческая душа создана не для будничного прозябания, а для высокой, мощной жизни. Человек всегда искал захватывающих переживаний, даже хотя бы и нездоровых. «А ты, мятежный, ищешь бури, как будто в бурях есть покой!»[104] Да, в них нет покоя, но не хочет и не может человек, это «высокое имя», найти покой в безжизненности, во внешней будничной теплохладности.

Однако в этой совершенно законной, по существу, и идеальной заданности, в стремлении человека всегда лежал соблазн подмеси и преждевременности.

Адам и Ева поторопились быть *яко бози* (Быт. 3, 5) и лишились того, что имели. Человечество во все века хотело слишком скоро и слишком механически овладеть высотами, «украсть» и совлечь — как Прометей — огонь с неба на землю: получилась ошибка, самообман, «прелесть». Вместо огня оказывался призрачный мираж, вместо горения — коптение, вместо света — мрак. Таково происхождение всех лжеучений, ересей, сект. Еще не созревшие до совершенства, эти люди хватались за верхушки его и падали.

Особенным соблазном у человечества всегда было желание соединить небесное с земным, духовное с телесным. И этот соблазн сильнее был в высших кругах; богатство давало там возможность удовлетворять все пожелания, а они были по преимуществу плотские: духовное давно исслабело, изжилось. Есть немало оснований думать, что в этих высших кругах столицы и больших центров жизнь давно спустилась весьма низко... Литература Толстого, Тургенева, Достоевского, Гончарова говорила нам давно, что общество там становилось, по предпотопному выражению Библии, — «плотью». В нигилистических кругах интеллигенции возобладал другой, но в сущности подобный, дух безбожного материализма: жить только этой земной жизнью — вот ясная цель. В некоторых случаях оба эти течения выражались в вульгарных формах: мы помнили еще кружки интеллигентной молодежи — орловские «огарки». Припомню одну картину и из своей памяти.

В одном селе, в интеллигентной семье, было две сестры. Они были всегда точно ангельчики: чистенькие, красиво одетые, безукоризненно скромные, глазки их всегда опущенные; конечно, — чистые, верующие. Я, как юноша, не смел бы и подумать о них что-нибудь вольное. Мне казалось, им место на возвышенном пьедестале и непременно под стеклянным колпаком, чтобы на них и пылинка сесть не могла. А мы, простые смертные, могли бы лишь ходить вокруг них и радостно любоваться. Никто никогда за ними не ухаживал. Но вот пришли новые времена. Они обе — курсистки в Санкт-Петербурге. Их мать, прекрасная, очаровательная, нежная женщина, послала со мною на Святках гостинцы дочкам. Нашел я их адрес на Сенной, взобрался на пятый этаж, отворяю дверь. И что же вижу? До мрака накуренная комната полна студентов и курсисток, шум, хохот, крики... И вдруг я слышу: наших «ангелов» зовут по-уличному: «Анютка!», «Клавдюшка!»... Боже мой! Какое кощунство! Отдал

я гостинцы и в большом горе, разочарованный, сбежал вниз... Больше я потом нигде не видел их...

Но дело не в простом лишь грехе, а в общечеловеческом стремлении соединить дух и плоть. Всегда существовали не только философии, но и религии, в которых люди хотели сочетать это. В сущности, все языческие религии, включая потом и магометанство, а также — в глубине — и еврейская религия, были двойственными в своей мистике и морали. И этот соблазн лежит в каждом человеке, потерявшем святую цельность после грехопадения. А в России в предреволюционное время создалось даже целое религиозно-философское направление, так называемое «неохристианство». Новость этого учения заключалась именно в стремлении объединить «святость» с «плотью» (в целом и широком смысле последнего слова). «Святая плоть» — вот их мечтательный идеал...

Конечно, грех знаком каждому человеку. Но так и нужно называть его грехом. А этого мало человеку, хочется, чтобы все было «свято». И в случае с Распутиным не нужно думать, чтобы окружающие его люди были сплошь дурные. Разные были и там. Были — я знал их лично — и прекрасные души. Были и дельцы, которые искали через него выгод. Но были и такие, которых прельщало в нем сочетание «святости» с «плотью», и они сами увлекались этим.

Как же сам он встал на эту линию? Очень просто. В каждом человеке есть эта двойственность, была и оставалась она и в Распутине, как в общей его природе, так и после прежней греховной жизни. Если допустить (а я допускаю) и факт прошедшего перелома в его сибирской жизни, нельзя все же забывать того, что изжить греховность свою — дело наитруднейшее. Самое трудное из всего в мире! И будь он в силе, находись он под хорошим руководством опытного духовника, так в молитвах и покаянии он достиг бы не только спасения, а возможно, и особых Божиих даров. Но он подвизался без

руководства, самостоятельно и преждевременно вышел в мир руководить другими. А тут еще он попал в такое общество, где не очень любили подлинную святость, где грех господствовал широко и глубоко. Ко всему этому, невероятная слава могла увлечь и подлинно святого человека. И соблазны прельстили Григория Ефимовича: грех оказался силен.

Впоследствии, когда государю стали известны соблазнительные факты его жизни, он будто бы ответил:

— С вами тут и Ангел упадет! — но тут же добавил: — И царь Давид пал, да покаялся.

Я думаю, что можно без погрешности сказать: не случайно в высшем обществе увлекались Распутиным, там была соответствующая почва для этого. А потому не в нем одном, даже скажу, не столько в нем, сколько в общей той атмосфере лежали причины увлечения им. И это характерно для предреволюционного безвременья.

Трагедия в самом Распутине была гораздо более глубокая, чем простой грех. В нем боролись два начала, и низшее возобладало над высшим. Начавшийся процесс его обращения надломился и кончился трагически. Здесь была большая душевная трагедия личная. А вторая трагедия была в обществе, в разных слоях его, начиная от оскудения силы в духовных кругах до распущенности в богатых.

Придворные же и чиновничьи круги большей частью искали через него самых простых и житейских выгод: лучших мест, высших назначений, денежных афер. Но и там были искренно увлекающиеся им как «рабом Божиим». Я это подлинно знаю. Не буду называть имен, — о многих я и доселе вспоминаю с любовью, — но укажу лишь на саму царицу: она чтила его именно как святого. Над этим можно улыбаться, иной скептик не поверит, но я утверждаю, что было так! Здесь произошла тоже трагедия... К ней я возвращусь после моих пространных отвлечений...

В некоторых кругах думали, будто архимандрит Феофан сам провел Распутина в царский дворец. Это неверно. Он познакомил его, разумеется, как человека Божия, с одной великокняжеской семьей[105], ему близко знакомой духовно. А оттуда его уже познакомили со дворцом царя. Чем объясняется непомерное увлечение им там, особенно у царицы? Нет ни малейшего сомнения, что там были высокие мотивы, а никак не низменно-греховные! Духовная история знает аналогичные примеры подобных увлечений, но не буду пускаться сейчас в эти экскурсы, лучше пойду проще и конкретнее прямо к царской семье.

Люди ошибочно привыкли считать, что в царских домах живет счастье. Думаю, едва ли не самая тяжелая жизнь в чертогах! А особенно в предреволюционное время, когда дворцам отовсюду грозили беды, покушения, взрывы, бунты, вражда, ненависть. Нет, «тяжела шапка Мономаха». И как легко понять, что этим людям в такую трудную годину хотелось иметь в ком-нибудь опору, помощь, утешение.

Мы, духовные — причин немало, и не в одних нас были они — не сумели дать этого требуемого утешения: не горели мы. А кто и горел, как отец Иоанн Кронштадтский, то не был в фаворе, потому что давно, уже второе столетие, с Петра Великого, духовенство там вообще было не в почете. Церковь вообще была сдвинута тем государем с ее места учительницы и утешительницы. Государство совсем не при большевиках стало безрелигиозным внутренне, а с того же Петра, секуляризация, отделение их — и юридическое, а еще больше психологически жизненное — произошло больше двухсот лет тому назад. И хотя цари не были безбожниками, а иные были даже и весьма религиозными, но связь с духовенством у них была надорвана. Например, нельзя было представить себе, чтобы царь или царица запросто, с любовью и сердечным почтением могли пригласить даже Санкт-

Петербургского митрополита к себе в гости, для задушевной беседы или даже и для государственного совета. Никому и в голову не могло прийти такое дружественное отношение! А как бы были рады духовные! Или уж нас и в самом деле не стоило звать туда, как бесплодных?.. Нет, думаю, тут сказался двухвековой отрыв государственной власти от Церкви. Встречи были лишь официальные: на коронациях, на царских молебнах (и то не сами цари на них бывали в приходовых соборах), на погребении усопших, на святочных и пасхальных поздравлениях. Вот и все почти. Даже в прямых церковно-государственных делах Церковь не могла сноситься с царем-правителем непосредственно, а было поставлено средостение в виде «ока государева», светского министра царева, обер-прокурора Синода.

«Господство» государства над Церковью в психологии царских и высших кругов действительно было, к общему горю. А царь Павел даже провозгласил себя «главою Церкви»[106]. Конечно, никто и никогда из верующих, начиная с митрополитов и кончая простым селяком, не только не признавал на деле, но даже и в уме не верил этому «главенству», как веруют, например, католики, в своего папу. А мы в селах даже никогда не слыхали об этой дикой вещи; если же бы и услышали, то нам она показалась нелепой и пустой: мирянин, без рясы, хоть бы и сам царь, да какой же он «глава» в Христовой Церкви?! Смешно! И напрасно католики обвиняют нашу Церковь в цезарепапизме, будто главой ее был цезарь, царь, и что без царя Церковь и жить не сможет! Никогда мы, Церковь, этому не верили! Я в детстве и юности даже не слышал об этом. А когда узнал из книжек, то не обратил ни малейшего внимания, как на негодную и мертвую попытку вмешаться не в свое дело, а мужики и совсем не слыхали. Пришла революция, ушли цари, а Церковь живет по-прежнему — к недоумению обвинителей-католиков.



Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Но в высших кругах действительно была утеряна связь с духовенством; там крепко жила идея, что государство выше всего, а в частности и Церкви. А за придворными кругами шли аристократические, по подражанию и ради выгод.

Вместо же влияния духовенства в придворную сферу проникало увлечение какими-нибудь светскими авантюристами, «спиритами» или имел силу обер-прокурор. А душа все же искала религиозной пищи и утешения. Приходилось читать, что до Распутина был при дворе какой-то проходимец, француз «Филипп» (или «Филипе» — все равно).

И вот является теперь не привычный и далекий архиерей, не незначительный и скромный батюшка, а особенный, мирской, «святой человек». Можно было заинтересоваться таким! А Григорий Ефимович мог производить впечатление своей силой утешения.

Он не был никаким гипнотизером или шарлатаном, а просто своей силой действовал на людей. Нельзя же забывать, что ученый монах и богослов отец Феофан чтил его как святого и всегда (вначале) был в радости от общения с ним. Чему же удивляться, если и в царском доме, и у великих князей увлекались им? А царица, несомненно, была религиозною женщиной. И вдруг такой наставник и утешитель! Да еще в труднейшую эпоху: после неудачной войны с Японией, во время первой революции, а потом и во время первой войны с немцами.

Всякому верующему человеку при таких условиях захотелось бы услышать голос «человека Божия»... Легко сказать: святому Бог открыл то и то... А царица считала его за святого.

А что он происходил из мужиков, так это придавало ему особенную привлекательность: «сам народ» в лице Григория Ефимовича говорит непосредственно с царем народа!

Немалое, но никак уж не главное, не первостепенное значение в увлечении им была болезнь наследника (слабость кровеносных сосудов). Этому обычно придают чуть не важнейшую роль в вере царицы Распутину, который будто бы облегчил эту болезнь. Если это и верно — нужно думать, что-то было тут истинного, — то вера матери в исцеление ее сына лишь увеличивала почитание ею старца-чудотворца.

Как относился к нему сам государь, я не имею окончательного мнения. Некоторые думают, что он терпел все лишь ради царицы и сына и не мог поступать против более сильной волей царицы. А есть основания предполагать, что и он любил Григория. Ведь и он был человек, нуждавшийся в утешениях и советах, и он был искренне верующим в Бога и Божиих людей. Вероятнее всего, у него сочетались обе причины: и личная нужда в советнике, и влияние царицы.

А когда Распутин получил силу «у царей», как он тогда выражался, тогда очень многие люди среди придворных и высших кругов начали искать с ним знакомства, чтобы через него добиться чего-либо у «царей». И добивались: при вере их, они, конечно, шли навстречу рекомендациям его. Несомненно, и сами они советовались с ним при назначениях разных лиц на государственные должности. Тут уж начала разыгрываться такая вакханалия вокруг Распутина, что иногда кажется почти сказкой: кого только не бывало в приемной у этого сибирского крестьянина, друга царей! И понятно, такая роль его постепенно начала еще больше подрывать и расшатывать трон, который и без того уже шатался.

А дальше пошли слухи о его личной жизни... Доходили они и до нас с отцом Феофаном, но он долго не верил им, а я уже начал сомневаться. Прежнее очарование от Григория стало слабеть и у нас. В это время мне пришлось увидеться с царицей. Дело было так. Я давно мечтал об этом. Еще бы! Увидеть царя и царицу!

И говорить даже с ними! При моем воспитании — какое это счастье, и я через Григория Ефимовича попросил царицу назначить мне свидание. Оно должно было состояться у преданной царскому дому фрейлины В. Но с нашим поездом в Царское Село случилось маленькое крушение, и я опоздал на час или два. Поэтому был принят уже во дворце. Царица вышла в серо-сиреневом платье. После приветствия она начала разговор, поразивший меня крайним пессимизмом ее.

— Ах, как трудно, как трудно жить! Так трудно, что и умереть хочется!

Боже мой! А я-то ждал солнечного очарования от царицы... Вместо же этого она еще сама жалуется мне на невыносимое горе... Конечно, это только делало честь ее скромности и доверию ко мне, маленькому человеку... Но больно отозвалось жалостью в сердце моем.

— Как, умереть? Вы же царица, вы — супруга царя, мать наследника, как же умереть?

— Ах, я знаю, я все это знаю! Но так трудно, так трудно, что умереть легче!

Не знаю до сих пор, как я в тот момент не бросился от жалости в ноги ее? Почему я не плакал? Ведь мне и обычное горе людское перенести трудно, а тут — царица, и почти в отчаянии?! Слишком неожиданно было все это.

Потом она начала сразу говорить о Григории Ефимовиче: какой он замечательный, какой святой, какой благодатный! Вот тут я собственными ушами услышал и с очевидностью убедился, как возвышенно смотрела на него царица. Меня удивило только то, что она выше меры отзывалась о нем! Я попытался было несколько смягчить и ослабить такой восторг ее, но это было совершенно бесполезно.

Потом от Григория Ефимовича она перешла к русскому народу вообще и стала отзываться о нем с любовью, какой он хороший в душе и верующий.

— На Западе уж нет ничего такого подобного!

Уезжал от нее я с непонятной мне тоской...

Потом постепенно начали вскрываться некоторые стороны против Распутина. Епископ Феофан (он тогда уже был ректором академии) и я увещевали его изменить образ жизни, но это было уже поздно: он шел по своему пути. Епископ Феофан был у царя и царицы, убеждал уже их быть осторожными в отношении Г.Е., но ответом было раздражение царицы, очень чувствительно отразившееся на здоровье ее. Потом выявились уже и совершенно точные, документальные факты, уже и епископ Феофан порвал с Распутиным. По его поручению я дал сведения для двора через князя О., ездил к другим, но нас мало слушали: он был сильнее.

Тогда царь затребовал документы; часть их была передана епископом Феофаном мне на хранение. И я, сняв с них копии, отвез их в Санкт-Петербург, митрополиту Антонию[107] для передачи царю. Ничто не изменило дела. Пытался воздействовать Санкт-Петербургский митрополит Владимир[108], но без успеха, и был за то (как говорили) переведен в Киев, где его в 1918 году убили большевики. На место его был назначен митрополит Питирим[109], удаленный при революции. Обращались к царю члены Государственного совета — напрасно. Впал в немилость за это же и новый обер-прокурор Синода А.Д. Самарин[110], очень чистый человек. Отстранен был и Л.А. Тихомиров[111], бывший революционер-народоволец, а потом защитник идеи самодержавия и друг царя. Собралась однажды группа интеллигентов написать «открытое письмо» царю, но Тихомиров убедил их не делать этого: «Все бесполезно! Господь закрыл очи царя, и никто не может изменить этого. Революция все равно неизбежно придет, но я, — говорил он, — дал клятву Богу не принимать больше никакого участия в ней. Революция — от дьявола. А вы своим письмом не остановите, а лишь ускорите ее. Моей подписи не будет под письмом».

Группа согласилась с ним, и письмо не было выпущено.

Возмущение против влияния Распутина все росло, а вместе с тем росли и нападки на Царский дом. Тогда решено было устранить его. Произошло известное событие в доме князя Ю.[112]. Но царица осталась верной себе: она и по смерти Р[аспутина] ездила на его могилу.

После революции могила и прах его были уничтожены.

Так трагически кончилась эта печальная страница.

Один из выдающихся архиереев на интимный вопрос верующего дворянина из выдающейся старой родовитой семьи Б. ответил ему в том смысле, что так-де и нужно. Но Б. еще более смутился от такого письма, потому что подобное убийство казалось ему очень грозным признаком, который этим не останавливал революцию, а несравненно сильнее толкал ее вперед. Скоро разразилась и она...

Писали, что Распутин был против войны с немцами. Возможно. Я после 1908 года был уже совершенно в стороне от всего этого.

Когда была объявлена война, то по всей России пронеслось патриотическое движение. Народ в Санкт-Петербурге коленопреклоненно (так мне помнится) стоял на площади перед Зимним дворцом, когда царь вышел на крыльцо. Но мое впечатление сейчас осталось такое, что в мирских сельских крестьянских массах (рабочих я мало знал) воодушевления не было, а просто шли на смерть исполнять долг по защите Родины.

Ничего особенного за эти три года войны, что я мог бы внести в свои записки, не помню. Разве лишь могу вспомнить известную дурную речь члена Думы Милюкова[113], брошенную им в лицо царице с разными обвинениями: «Глупость это или измена?!» Что угодно, но я решительно отвергаю в душе своей мысль об измене царицы в пользу немцев! Этого не было и быть не могло!



Государь Николай II прибывает на фронт

Солдаты Первой мировой войны

Фактов таких и доселе не знает история, хотя она и стала против царей. И самый характер царицы не допускает такого лицемерия.

А подобные речи думцев лишь разжигали революцию и ослабляли энергию сопротивления немцам. Впоследствии таким ораторам самим пришлось испить чашу изгнания, а некоторым — отдать и жизнь.

Помню лазареты с тысячами раненых. Были они и в здании нашей Тверской семинарии. Солдаты были мирные, терпеливые, тихие люди, ничего революционного я не видел тогда в них... Правда, не замечал я и геройского желания скорее возвращаться на фронт, но не было и протестов: воевать нужно! Размышлять не о чем. Посещали более крепкие раненые богослужения в семинарском храме; не слышно было о безбожниках из них, но не было и особенного усердия к молитвам. Духовенство и интеллигенты устраивали им всякие «чтения»; нас слушали спокойно. Не помню ни одного случая какого-нибудь выпада со стороны солдат.

Царь до своего командования армией объезжал один или с царицей лазареты. Приезжал и в Тверь. Не было ни воодушевления, ни протестов, все прошло както очень просто. Запомнился мне лишь один комический случай. На одной из площадей Твери, перед «присутственными» губернскими учреждениями, царь вышел из лазарета и сел в свой автомобиль, за ним усаживались другие — свита. Вижу, один генерал-адъютант, князь Н., необыкновенной толщины человек, с трудом втиснулся в автомобиль и один занял все место. Стоявший возле меня мужичок, увидев эту картину, беззлобно, с улыбкой произнес медленно:

— Э-эх, дя-я-инька!

Никакой революции в этом я не заметил. Семинаристы ждали царскую семью в наших лазаретах, но не дождались. Тогда они (не все) отправились на вокзал видеть царя. По просьбе архиепископа нашего

Серафима[114] он вышел на площадку вагона с улыбкой. Мы прокричали ему «Ура!» и этим утолили огорчение наше.

Казалось, будто все мирно внутри страны. Война стала затяжной, позиционной: армии «окопались» и не могли уничтожать одна другую. Сила наших союзников нарастала. Можно было ждать победы.

И вдруг разразилась катастрофа.

Хотя многие из нас и ожидали ее прихода, но все же самый этот момент оказался неожиданным. Мне на всю жизнь врезался в память тогда доклад о пчелах. Кажется, в Петрограде уже началась революция в конце февраля, а мы в Твери еще ничего не знали о том. И в одном интеллигентском кружке преподаватель гимназии Н.Ф. Платонов, родом из духовной семьи, читал мирнейший доклад на симпатичную тему: жизнь пчел. С той поры я узнал и запомнил, что шестигранные ячейки с острым срезом их концов являются единственной наилучшей математической формой, в которую удобнее всего и больше всего можно было поместить меда, а ячейки сделать наиболее сопротивляемыми для давления со стороны. Действительно, поразительный, математический, непостижимый инстинкт у мудрых пчел!

Но когда мы тихо и мирно слушали этот доклад симпатичного и умного преподавателя, не думая ни о какой революции, в Петрограде шли уже разгромы.

На другой день слухи дошли и до нас: началась революция! Сразу образовался какой-то «комитет общественной безопасности», преимущественно из членов кадетской партии и из земцев. Из этого комитета запомнился мне адвокат Червен-Водали[115] и тот самый милый автор доклада о пчелах, Н.Ф. Платонов, — на его обязанность возложено было попечение о церковно-государственных делах в губернии.

Этот комитет взял власть в свои руки и предложил губернатору Н.Г. фон Бюнтингу сдать им дела, а самому

куда-нибудь с семьей заблаговременно скрыться от смертной опасности. Все это потом рассказывал нам правитель дел канцелярии губернатора, Казанский, бывший наш семинарист; на его ответственность и возлагается достоверность сообщений...

Губернатор действительно отправил своих детей и жену (урожденную баронессу Мандген, я после видел ее во Франции) куда-то за город, а сам остался в городе, отказался признать комитет, но уж ничего не в силах был сделать против него, и послал царю телеграмму: он исполнил свой долг до конца, лишь бы жила Россия и благоденствовал царь! Но эта телеграмма не дошла куда нужно, так как его самого не впустили уже в Петроград, а задержали на какой-то неизвестной никому псковской станции «Дно»... Какое странное совпадение исторических событий и имен: придумать нельзя!.. «Всю ночь, — рассказывал спокойно правитель дел, — губернатор не спал, а приводил в порядок какие-то дела».

Вспоминаю карикатуру в американской печати: генерал сдает офицеру или солдату пачку бумаг и говорит важно: «Приведите все в алфавитный порядок и... сожгите!..» Во всем должна быть дисциплина! Вероятно, Казанский не так ясно передал нам?.. Но дальше...

А потом, отрываясь от дел, губернатор (хотя его фамилия была явно немецкая, но он был хорошим православным) часто подходил к иконе Божией Матери, стоявшей в его кабинете, и на коленях молился. Несомненно, он ожидал смерти, готовился исполнить свой долг присяги царю до конца... Что и говорить, а это достойно уважения и симпатии во все времена и при всяких образах правления!

Вице-губернатор Г. уехал заблаговременно на фронт и поступил в действующую армию.

Вечером того же дня, вероятно, первого марта, во всяком случае накануне взрыва в Твери, прибежал ко мне отец дьякон. Его сын, чудный юноша Миша Покров-



Дни февральской революции 1917 г. Невский проспект

ский, первый ученик четвертого класса, ушел добровольцем на войну и в это время был уже офицером резервных войск, стоявших за Тверью. Упавши мне в ноги, этот смиренный раб Божий в слезах обратился ко мне, очевидно, по поручению сына, с мольбою:

— Завтра будет здесь революция! Что же делать Мише?

Очевидно, совесть и отца, и сына мучилась над этим вопросом... Я ему ответил:

— Ничего уже невозможно сделать! Революция неизбежна. Мише не остановить ее. Лишь сам погибнет. Пусть предоставит все ходу событий.

Отец ушел. Что было с Мишей, не знаю. Вероятно, принял мой совет...

Неспокойно спал и я. Что-то будет завтра? И я решил встать рано и пойти в кафедральный собор к ранней обедне, в шесть часов утра, помолиться. Уже было светло. Зима еще стояла, и по земле вилась мелкая вьюга, неся сухой и злой снежок... Было пусто... Город точно вымер, или еще не началась дневная жизнь? Или же люди прятались от грозных событий?

В соборе, кажется, никого не было, кроме священника и рядового дьякона да сторожа. Звонко отдавались в высоком пятиглавом храме молитвы... Было жутко и тут... Отстояв службу, я решил пойти к своему духовнику, хорошему иеромонаху архиерейского дома: на всякий случай нужно исповедаться, думал я, мало ли что может случиться ныне и со мною?! Духовник принял меня ласково, после исповеди угощал чаем с вареньем, и мы озабоченно разговаривали о событиях дня.

А в эти часы вот что происходило в городе и за городом. Запасные войска, их было, как говорят, до 20 тысяч, пошли в город беспорядочной массой. К ним пристали рабочие с загородной фабрики Морозовской мануфактуры. И эти тысячи направились, конечно, к центру власти — губернаторскому дому. А некоторые из солдат,

г. ТВЕРЬ. Соборъ



Спасо-Преображенский собор г. Твери

Тверь до революционных событий 1917 года

заночевавшие в городе, успели уже учинить убийство... Пишу по циркулировавшим тогда слухам. Один из них не отдал чести встретившемуся молодому офицеру. Тот сделал ему выговор. Этого было довольно... Офицера оскорбили как-то еще. А он тоже не сдержался, и толпа хотела учинить над ним насилие. Он побежал, толпа за ним. Он спрятался на чердаке церковного дома. Но его там нашли и выбросили через слуховое окно с третьего этажа на землю... Очень дурное предзнаменование...

А губернатору полиция по телефону сообщила обо всем. Видя неизбежный конец, он захотел тоже исповедаться перед смертью, но было уже поздно. Его личный духовник, прекрасный старец протоиерей Лесоклинский не мог быть осведомлен: времени осталось мало. Тогда губернатор звонит викарному епископу Арсению[116] и просит его исповедать по телефону... Это был, вероятно, единственный в истории случай такой исповеди и разрешения грехов... Епархиальный архиерей Серафим был тогда в Петрограде.

В это время толпа ворвалась уже в губернаторский дворец (кажется, он был построен еще во времена Александра I для его сестры княжны, бывшей тогда замужем за губернатором). Учинила, конечно, разгром. Губернатора схватили, но не убили. По чьему-то совету, не знаю, повели его в тот самый «комитет», который уговаривал его уехать из города.

И вот я, грешный, с духовником был свидетелем следующей картины.

Я ее опишу подробнее: ведь так начиналась «бескровная» революция... Сначала по улице шли мимо архиерейского дома еще редкие солдаты, рабочие и женщины. Потом толпа все сгущалась. Наконец, видим, идет губернатор в черной форменной шинели с красными отворотами и подкладкой. Высокий, плотный, прямой, уже с проседью в волосах и небольшой бороде. Впереди него было еще свободное пространство, но сзади и с боков



Вид на город Тверь с реки Волги

Губернатор Твери Н.Г. фон Бюнтинг

была многотысячная сплошная масса взбунтовавшегося народа. Он шел точно жертва, не смотря ни на кого. А на него — как сейчас помню — заглядывали с боков солдаты и рабочие с недобрыми взорами. Один солдат нес в правой руке (а не на плече) винтовку и тоже враждебно смотрел на губернатора... Комитет находился в городской думе, квартала за два-три от собора и дворца.

Я предложил духовнику подняться на второй этаж, где жила часть соборного духовенства: старый, умный, образованный кафедральный протоиерей отец Соколов и другие. Что может статься и с духовенством теперь? Лучше уж встретить смерть всем вместе... И мы были свидетелями дальнейших событий. Толпа, вероятно, требовала от комитета убийства губернатора, но он не соглашался и предложил посадить его под арест на гауптвахту. Это одноэтажное небольшое помещение было между собором и дворцом. Рядом стояла традиционная часовая будка, расписанная черными и белыми полосами. Толпа повела губернатора по той же улице обратно. Но кольцо ее уже зловеще замкнулось вокруг него. Сверху мы молча смотрели на все это. Толпа повернула направо за угол реального училища к гауптвахте. Губернатор скрылся из нашего наблюдения. Рассказывали, что масса не позволяла его арестовать, а требовала убить тут же. Напрасны были уговоры. Вышел на угол — это уже в нашем поле зрения — Червен-Водали, влез на какой-то столбик и начал говорить речь, очевидно, против насилия. Но один солдат прикладом ружья разбил ему в кровь лицо, и того повели в комитет. На его место встал полковник Полковников[117], уже революционно избранный начальник, и тоже говорил. Но прикладом ружья и он был сбит на землю.

А мы, духовные?.. Я думал: вот бы теперь пойти и тоже сказать — не убивайте! Может быть, бесполезно? А может быть, и нет? Но если и мне пришлось бы получить приклад, все же я исполнил бы свой нравственный долг...

Увы, ни я, ни кто другой не сделали этого. И с той поры я всегда чувствовал, что мы, духовенство, оказались не на высоте своей... Несущественно было, к какой политической группировке относился человек. Спаситель похвалил и самарянина, милосердно перевязавшего израненного разбойниками иудея, врага по вере... Думаю, в этот момент мы, представители благостного Евангелия, экзамена не выдержали, ни старые протоиереи, ни молодые монахи... И потому должны были потом отстрадывать.

Толпа требовала смерти. Губернатор, говорили, спросил:

— Я что сделал вам дурного?

— А что ты нам сделал хорошего? — передразнила его женщина.

Рассказывали еще и о некоторых жестокостях над ним, но, кажется, это неверно. И тут кто-то, будто бы желая даже прекратить эти мучения, выстрелил из револьвера губернатору в голову. Однако толпа — как всегда бывает в революции, — не удовлетворилась этим. Кровь — заразная вещь. Его труп извлекли на главную улицу, около памятника прежде убитому губернатору Слепцову[118]. Это мы опять видели. Шинель сняли с него и бросили на круглую верхушку небольшого деревца около дороги, красной подкладкой вверх. А бывшего губернатора толпа стала топтать ногами... Мы смотрели сверху и опять молчали... Наконец, это было уже, верно, к полудню или позже, все опустело. Лишь на середине улицы лежало растерзанное тело. Никто не смел подойти к нему. Оставив соборный дом, я прошел мимо него в свою семинарию, удрученный всем виденным... Не пойди я на раннюю службу и исповедь, — ничего бы того не видел. В чем тут Промысл Божий?..

Темным вечером тайно прибыл викарий епископ Арсений, исповедовавший убитого утром, и вместе с духовником отцом Лесоклинским взяли на возок тело и где-то тайно похоронили[119]...

Червен-Водали после был министром юстиции при адмирале Колчаке в Сибири и был тоже убит. Полковник же Полковников был (если не ошибаюсь) потом комендантом или начальником революционного гарнизона в Санкт-Петербурге*, Где Платонов — не знаю. Епископ Арсений при советской власти был в Ростове-на-Дону.

Так открылся первый день революции в нашей Твери... Семинаристов мы распустили лишь за два-три дня перед этим за недостатком средств на содержание.

Дальше припоминаю два собрания — педагогов и духовенства.

Не помню, дня через три или четыре после полного переворота, в зале мужской гимназии собрались педагоги всех учебных заведений, включая низшие, чего прежде никогда не бывало. Было около двухсот–трехсот человек. Какой-то комитет, не известно мне, кем избранный, предложил резолюцию: приветствовать новое революционное правительство, возглавлявшееся тогда князем Львовым[120]. Заранее была заготовлена и резолюция. Прочитали ее нам. Должно быть, там употребили и слово «бескровный»... А у нас только убили и истоптали губернатора... Но если в Твери это слово и опустили, то повторяли его по всей России: суть одна. Председательствовавший преподаватель гимназии Андреев, тоже из семьи духовенства, спрашивает:

— Все ли согласны?

Несколько человек отвечают, что согласны.

— Несогласных нет?

— Я не согласен, — говорю с места.

Молчание и замешательство. Рядом со мной сидел директор коммерческого училища, он же соборный староста, из давнего рода тверских купцов Коняевых. Изящный, тонкий, благовоспитанный, деликатный, он, вставши, нежно и почтительно обращается ко мне с вопросом:

— Ваше высокопреподобие, отец архимандрит! В такой исключительный час вы разошлись с большин-

* Здесь и далее название города дается в авторском варианте. — *Ред.*

ством. Не соблаговолите ли поделиться с нами мотивами, какие побудили вас к такому решению?

— Я не только ректор семинарии, но еще и представитель Церкви. Вы теперь торжествуете. Но неизвестно еще, что будет дальше. Церковь же в такие моменты должна быть особенно осторожна.

Я сел. Никто, конечно, ко мне не присоединился... Через несколько дней я был в Петрограде: нужно мне было посоветоваться с митрополитом теперешним Сергием. В здании Синода меня встречает бывший мой слушатель по духовной академии протоиерей О-кий и, улыбаясь дружественно, спрашивает меня:

— Вы отказались послать с педагогами приветствие Временному правительству?

— Да, а вы почему знаете?

— Известно уже Синоду. В телеграмме педагогов так и сказано: «Все, кроме ректора семинарии, архимандрита Вениамина» и прочее.

Очевидно, правительство послало тверскую телеграмму на распоряжение Синода. Но богомудрые отцы Синода сдали ее, вероятно, в архив. Мне же не сделали и замечания. История после показала, что я был прав. А интеллигенты впоследствии встали на путь саботажа и пострадали. Церковь же устояла.

Другое собрание сделано было духовенством Твери, потому что рабочие будто подозрительно смотрели на молчание Церкви.

Отцы собрались в женском епархиальном училище. Председательствовал викарий епископ Арсений. Один из протоиереев, член Государственной думы, Т., произнес горячую речь, что вот-де теперь они стали свободны, что не нужно лицемерить, называя царя «благочестивейшим», и прочее, и прочее.

Попросил слова и я. В противовес отцу Т. я сказал, что лучше нам молчать. Если мы «лицемерили» до сих пор (но я, говорю, нелицемерно признавал царя и

молился за него), то кто нам поверит, что мы не лицемерим теперь, приветствуя правительство? И так далее. В заключение предложил воздержаться от приветствия: это будет достойнее. К моей радости, собрание согласилось со мной, а не с отцом Т.

В тот же день я уехал в Москву повидаться с друзьями. Через два дня возвращаюсь обратно. И еще на вокзале встречают меня друзья тверские и говорят, что духовенство вторично собралось там же для нового обсуждения телеграммы. Я с вокзала — прямо в женское училище; увы, опоздал! Уже приняли решение о посылке приветствия, и теперь комиссия вырабатывает текст его. Я встречаю епископа Арсения с недоумением. Он отводит меня в сторону и просительно говорит:

— Отец ректор, оставьте их! Мы с вами монахи, а у них же жены, дети. Поймите их!

Но я, неразумный, все же упросил включить и меня в комиссию по выработке телеграммы и постарался смягчить ее настолько, что наше тверское духовенство (как припоминаю) не получило даже благодарственного ответа.

Так реагировал на вторую революцию народ, общество и духовенство в городе, а что было в селе, я узнал на Пасху уже в последующий год, когда мужики собрались делить господские и купеческие земли. Пригласили и наших родителей, чего раньше не делали с нами, как людьми из другой деревни. На этот раз им было интересно залучить и отца с матерью, у которых дети «ученые». Хотелось робким людям, еще не привыкшим к революции (и «кабы еще чего там не случилось далее»), заручиться и косвенным согласием «ученых». Я на сходку не пошел. Воротилась мать с отцом. Вижу — в недоумении. Спрашиваю: «Что?» — «Да делили землю, луга». Молчу. Обращаются ко мне, но нерешительно:

— А что? Не взять ли и нам десятинку? А?

— Нет, мама, не нужно.

И не взяли. А после у них отобрали и последнее: ее лисью шубу, данную ей в приданое сорок лет тому назад, мебель из домика нашего, четыре меры запасенного пшена и тому подобное. Тяжело было, но вытерпели.

Известно, как разбирали поместья крестьяне, но я сам не видел этого, жил в городах, и потому описать не могу.

Когда воротился из Санкт-Петербурга Тверской архиепископ Серафим, человек ярких правых убеждений, епархиальный съезд проголосовал об удалении его и избрал викарного архиерея Арсения. Архиепископ Серафим долго боролся против такого неканонического самочинства, однако вынужден был все же уйти. Впоследствии он был митрополитом в Петрограде. Советская власть не тронула его[121]. Я выразил открытое сочувствие архиепископу Серафиму.

Как я сказал, после февральской революции я уехал в Москву. На вокзале нет извозчиков. Пошел до Кремля пешком. Иду между соборами: пусто, безлюдно. Лишь встречается случайная монашенка и, лукаво-насмешливо смотря на меня в клобуке, язвительно спрашивает:

— Что?! Присягнули, товарищ, правительству-то новому?

Я ничего не ответил. А нужно сказать, я действительно никому после революции не присягал: как-то прошло мимо.

Среди знакомых я посетил Л.А. Тихомирова. Он был хмур. Между прочим, я спрашивал его:

— Как вы думаете, долго ли продержится эта бескровная революция? Некоторые (один, например, бывший министр К., говорил: ну, две недели) думают, скоро все придет в порядок!

— Еще никогда в мире не было ни одной бескровной революции. А о двух неделях... Хм! — он саркастически улыбнулся. — Дай Бог, если бы через десять лет кончилась она!

Посетил нескольких духовных лиц. Митрополит Московский бывший архиерей Тобольский Макарий[122], старец благочестивейшей жизни и миссионер Сибири, должен был уйти со своего поста как человек, которому ставили в вину сопротивление Распутину. На его место потом избрали Тихона, впоследствии Патриарха[123].

В Петрограде был немедленно удален (и кажется, его везли по Невскому на троне, с позором) митрополит Питирим[124]. При избрании на его место было три кандидата: теперешний митрополит Сергий, тогда Финляндский[125], Андрей, епископ бывший Уфимский, из рода князей Ухтомских (считавшийся либеральным)[126] и викарный епископ Вениамин[127]. К удивлению, Собор остановился на последнем. Встретив своего товарища по академии Володю Красницкого, я спросил: «Почему так получилось?»

— Да видишь, времена трудные, политика сложная. Мы и решили, чтобы не впутывать нашу епархию в темные дела, лучше выберем молитвенника Вениамина.

Это был истинный святитель Божий. О нем после упомяну еще.

Бывший обер-прокурор после Победоносцева, Саблер, переменивший свою фамилию на Десятовского, жил беспрепятственно в Твери. С ним встречалась старушка княгиня Гейден[128]. Когда ослабел от старости, она водила его под руки в собор на службы. А когда ее выпустили за границу, она вывезла его дневник в Париж. Я читал его и даже докладывал в Богословском институте студентам: Саблер смиренно принял новую советскую власть и подкреплял это ссылками на Писание и своими размышлениями.

Потом я заболел кровохарканием и на Страстной неделе уехал для лечения в Крым. Возвращался после подавления июльского восстания большевиков. Чувствовалось, что снова надвигается буря: второй революции грозит опасность, но уже не справа, а слева, от социал-



Священномученик Серафим (Чичагов)

демократов, «большевиков». Эту революцию я считаю третьей по счету (1905 год; 1917-й, февраль; 1917-й, октябрь). И две первые отнесу к общему определению как революции буржуазно-либеральные, интеллигентские, не народные еще, потому и поместил их в одну главу как сродные. А о третьей буду говорить особо.

В заключение же этой части вспомню, как отразилась эта революция на мне и на одном мужике.

Когда получили известие об отречении царя от власти, о передаче власти Михаилу Александровичу[129], я обязан был сказать по этому случаю соответствующее поучение. Но у меня тогда не было никаких сил торжествовать.

— Это не восшествие на престол, а поминки, — высказал свое впечатление о моем слове личный секретарь архиерея, хороший и честный человек, Преображенский.

Верно! Скажу больше. С удалением царя и у меня получилось такое впечатление, будто бы из-под ног моих вынули пол и мне не на что было опереться. И еще я ясно узрел, что дальше грозят ужасные последствия. И наконец, я почувствовал, что теперь поражение нашей армии неизбежно. И не стоит даже напрасно молиться о победе. Да и о ком, о чем молиться, если уж нет царя? Теперь все погибло...

Но постепенно эти острые переживания сгладились.

А в Москве я услышал иной голос народа. Еще в пути из Твери, в вагоне второго класса, я ночью слышу, как надо мною на полке для вещей ворочается солдат с фронта, зевает и, по-видимому, рот крестя, шепчет:

— О-о! Господи, помилуй!

Проходя мимо храма Христа Спасителя, я увидел толпу народа. Статуя Александра III была уже разбита на части, которые валялись тут же[130]. Впереди толпы — стол с председателем. Митинг. Я, в клобуке, вмешался



Памятник Александру III около храма Христа Спасителя в Москве

в толпу солдат и рабочего люда. Слушаю. Взбирается какой-то студент в прекрасной шинели темно-зеленого сукна. Темой его речи была мысль, что революция совершилась, но ее нужно углублять и углублять. А опасностей много. Одной из них является возвращение с фронта солдат по домам. А там семьи, жены — и пропадет революция.

Слушаю я и думаю: не знаешь ты народа, если так говоришь. Да ведь это и неверно и обидно русскому мужику, чтобы он подчинялся своей бабе. Думаю: провалился оратор. И в самом деле, в ответ на его речь раздалось два-три хлопка... Огорчились мужики...

Поднимается какой-то крестьянин без шапки. На голове копна темных волос, борода — лопата. Начинает раскланиваться на три стороны. Ему кричат:

— Довольно, говори!

— Нет, ты таперича погоди! — и снова кланяется.

— Ну, в чем дело?

Он медленно, с трудом ворочая слова, как камни, начинает говорить:

— Кто я такой?

— Да почем тебя знать?! Говори!

— Нет, а кто я такой?!

У людей теряется терпение.

— Ну, кто?! Говори, кто?

— Я второй кучер у купцов...

(Фамилию я позабыл.)

— Ну, так что, что ты кучер? К чему ведешь?

— Так как же? Гляди-кась: вот я кучер, а таперича говорю! Вот оно что значит — свобода-то!

Народ понял и одобрил этого «оратора», впервые дерзнувшего заговорить, дружными хлопками.

А мне припоминается случай из истории французской революции 1789 года. В дом какой-то графини пришел знакомый маляр оклеивать комнаты. Между делом завел разговор:

— А что, графиня, пожалуй, теперь из моего сынишки Пьера может и генерал выйти?

Графиня промолчала, а потом со смешком рассказала знакомой подруге о такой наивности маляра.

— Напрасно ты смеешься, — ответила та. — Вот из-за того, что из Пьера может выйти генерал, они доведут революцию до конца!

К концу речи кучера я спрашиваю соседа:

— А мне можно сказать?

— Отчего же нет? Теперь всем можно. Спросись у председателя.

Я подошел и получил разрешение. Взбираюсь на стол, в рясе, в клобуке, и начинаю приблизительно так:

— Углублять-то теперь уж будете несомненно. За это не приходится опасаться. Только вот и Бога не забывайте: без Бога ни до порога!

И так далее. Вспомнил и солдата ночного, крестившего рот с молитвой, и прошлую историю земли русской, и народный дух православный... Вижу, внимательно слушают.

А когда я кончил, мне раздались оглушительные аплодисменты и возгласы:

— Правильно, отец!.. Верно, товарищ.

Я ушел с митинга довольным: не погибнет вера в народе! Он и революцию хочет делать, но и от веры не желает отрекаться... И стало мне легче.

Вспоминаются мне еще два по-видимому смешных, но на самом деле загадочных случая. Над обоими я тогда задумался, и сейчас еще они стоят передо мною неразгаданными.

Один из них касался вопроса о социализме и собственности, а другой — о сочетании революции и религии.

Сначала расскажу о втором случае: он был раньше.

Когда я проезжал Харьков и задержался там, то был очевидцем следующей сцены. На центральной городской

площади, где помещались и кафедральный собор, и против него «присутственные места», а справа — университет, собралась огромная толпа народа, которая стояла к собору задом, а к губернскому управлению лицом и смотрела вверх, на крышу этого здания. Я обратился туда же. Вижу, что по железной крыше карабкается солдат в шинели. Куда он?.. Потом взбирается осторожно на самую вершину треугольного карниза, лицом к собору. Смотрю: у него в руках дубина. Под карнизом же был вылеплен огромный двуглавый орел с коронами и четырехсаженными распростертыми крыльями. Это — символ собственно России, смотрящей на два континента — Европу и Азию, где ее владения. Но обычно его считали символом царя и его самодержавной власти. Разумеется, революционному сердцу данного горячего момента было непереносимо видеть «остатки царизма». И решено их было уничтожить, насколько возможно. Кто же будет препятствовать? Теперь — свобода и угар... Но дело было опасное: вояке легко было слететь с трехэтажного здания и разбиться насмерть. Однако дело серьезное, государственное — революция, есть за что рисковать и жизнью...

Приловчившись, солдатик встает во весь рост и на виду у всего честного народа, не спеша, снимает военную фуражку, истово кладет на себя три креста, покрывает голову, берет обеими руками дубину и двумя-тремя ловкими ударами сбивает и корону, и головы орла. Внизу же над входными дверьми был плоский стеклянный навес, куски разбитого гипса упали на него и со звоном вдребезги разбили стекло... Были ли аплодисменты и «ура», не помню... Как не быть?! Солдат с торжеством исполненной большой задачи сполз в слуховое окно крыши и дальше.

А я смотрел и думал: что же за загадка — этот русский и украинский человек? И царя свергает, и Богу молится... Не по-старому это. А у него как-то мирится. Видно, он революцию инстинктивно считает тоже хорошим и нужным делом. Или здесь было лишь угарное озорство

революционного момента? Или простая традиция? Что ответить? И казалось мне, как и в Москве на митинге у храма Христа Спасителя, русский народ как-то объединит и то, и другое... Отчаиваться нам, верующим, еще не нужно за него.

При этом размышлении вспоминаются мне подобные же слова главы Церкви, митрополита Сергия, сказанные им много лет спустя американским корреспондентам, задавшим ему вопрос о пропаганде безбожия и атеизме народа:

— Мы еще не теряем надежды на возвращение нашего народа к отеческой вере.

И я, делая эти записи, все еще жду, что будет с теми многими миллионами, которые за эти двадцать пять лет растеряли или разбили веру отцов? И как это будет? Воля Божия... Не я же управляю миром!

А другой разговор был в вагоне, после Харькова.

В поезде были украинцы. Народ они — «себе на уме»! Не сразу поймешь, что думают эти «хохлаки». Молчаливая публика. Посасывают себе трубочки с тютюном, и всё думают, думают... Около одной группы вертится юный солдат, хорошо одетый. Как помню, великоросс по языку. Едет с фронта или на фронт куда-то «по делам». Оказывается, он военный фельдшер, стало быть, вроде уж как ученый. И вот он на моих глазах горячо и долго разъясняет дядькам-украинцам, что такое социализм. Как теперь все будет замечательно! Работать придется совсем мало, а всего будет вдоволь. А главное всё и всем — даром: денег никаких не платить, да и вообще деньги не нужны будут при социализме...

Слушают мужики и не спорят. Только что вот както загадочно молчат, будто бы глупые. Но оратор, довольный собой и своим умом, не замечает этого...

И неожиданно один из слушателей, выколачивая пепел из трубки своей, сказал медленно (он говорил поукраински, конечно), смотря вниз на трубку:

— Да, оно... конечно, без денег-то лучше... зачем тогда деньги?.. Вот разве маленько на табачишко?!

В самом ли деле он думал, что уж табака, как вещи несерьезной и не необходимой, серьезное начальство давать не будет? Или он этой шутливой иронией выразил свое сомнение, что при социализме будет все даровое? Не знаю. Только, по-видимому, этот украинец хотел сказать, что даже при коммунизме должна остаться какая-то сторона жизни, пусть и второстепенная, на индивидуальную свободу. А где граница этого? В табачишке ли только?

Не поверили лишь они одному, что мало придется работать. Это вековечному труженику и непонятно, и даже неприятно...

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Настоящая революция пришла лишь в октябре. Две первые были лишь подготовками к ней, полдорогой. Как я уже говорил, по моему мнению, те были, так сказать, «панскими» — народ не считал их своими в полном смысле этого слова, хотя и принимал активное участие в них, особенно во второй. И кадеты, и эсеры для него были теми же «барами», как и прежние, лишь посвободнее. У власти стояли те же дворяне-земцы, ученые, адвокаты, купцы, а не народные массы.

И это — глубоко верно. Народ же хотел решительно устранить их и взять землю и волю в свои собственные руки. С этой точки зрения социал-демократы максималисты (группа Ленина), несомненно, были правы, что не приняли власти не только иных партий, но и собственных социал-демократов-меньшевиков. Все эти были группами компромиссными и либерально-интеллигентными, и лишь большевики сделали ставку на рабочих и крестьян (тогда и солдат), то есть на народ, и притом решили осуществить социальную революцию возможно максимально.

Кстати, среди рабочих, даже и здесь, в Америке, мне часто приходится слышать объяснение слова «большевики» не от максимальной их программы, а от предположения, что их с народом больше количественно. Конечно, это кажется наивным невежеством, но тут есть одна верная идея: с большевиками пошел весь народ; революция большевистская есть народная, массовая революция. И партия, и народ встретились и приняли друг друга: в этом сила этой революции.

Народ наш, как близкий к природе, здоровый умом и сильный духом, радикален, решителен. Он или уж терпит смиренно, и терпит долго и глубоко, или уж если взялся за дело, то доведет его до конца. Интеллигенты, как элемент, уже ослабленный «культурой» и городской жизнью, склонны мириться с компромиссами, уступками, половинчатостью. Не то — народ: он, как и всякая стихия, стремителен и последователен. Эту сторону русского народа понимали и Толстой, и Достоевский. Русский солдат в «Войне и мире» стоит перед французскими пушками как гранит. Недаром же сказал Наполеон (кажется, в записках бывшего его посла в России — Коленкура), что русского мало убить, его еще надо повалить на землю[131].

А у Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть такой разговор между Иваном и лакеем Смердяковым, сыном их общего отца Федора, убитого им, и Лизы Смердящей:

— Ты, Иван, говоришь, что Бога нет? Ежели нет, так все можно!

Вывод точный, неопровержимый: без Бога нет и греха. Ученый Иван понимал, конечно, это, но осуществить до конца не мог. А лакей Григорий Смердяков — делом доказал это: Бога нет — и отца убить можно; и нечего тут мучиться, как если бы клопа раздавить...

Кроме этого, безусловно, дóлжно признать за русским народом и настоящий здравый ум. «Мужик, хоть и сер, да ум-то у него не волк съел», — научил нас дедушка Крылов[132]. И до революции, почти всю вторую половину XIX столетия, интеллигенция России, одинаково как западники, так и славянофилы, верила в народ — в его ум, в то, что народ скажет свое слово, у него надо учиться. Так же, и даже особенно, Достоевский настаивал. Но он же и предупреждал, что эти почитатели народа, готовые идти к нему на поклон, легко могут изменить ему. Пока народ во всем согласен со своими почитателями и вторит им, он — и хорош, и умен. Но попробуй тот же умница-народ



Никольская башня Кремля после обстрела. 1917 г.

что-нибудь подумать и сделать по своему собственному уму-разуму, тотчас же те не только отвернутся от него, но даже и проклянут. И это, говорил в «Дневнике» Достоевский, и не только одни западники, но и правые славянофилы, они-то даже пуще всего!

Это предсказание буквально исполнилось на народе: от него ушли почти все интеллигенты-революционеры, а правые и доселе злобно ненавидят его... Не угодил народ ни тем, ни другим.

Я лично всегда верил в «мужиков», в их здравый смысл, который в конце концов поправит дело. И особенно верил в сметку великодержавного великорусского племени. Не буду вдаваться в подробности и причины этой особенности народа, но скажу: помимо иных естественных причин и его целины, здесь немалое значение имело и здоровое Православие, — в отличие от искусственного католицизма, и от сентиментального протестантизма, и ублюдочного однобокого сектантского рационализма...

Я утверждаю, что народ принял большевиков не потому лишь, что они больше ему обещали, и, конечно, совсем не потому, что эта группочка людей и партийцев задушила весь народ (170 миллионов!), а потому, что народ «собственным умом дошел» до убеждения, что большевистская партия — народная партия. А им было время убедиться: восемь месяцев управления кадетов и эсеров дали достаточно материала для этого. Но я лично думаю, что тут в народе действовал больше здоровый государственно-народный инстинкт, разумное здоровое чутьё: они сразу почувствовали, где народная сторона.

А после, когда началась междоусобная борьба почти по всей стране, народ мог много раз проверить себя: куда идти, за кем? То красные, то белые, то петлюровцы, то анархисты-махновцы, то чехи, греки, французы, то эсеры, то кадеты, то монархисты; то опять красные, опять белые, и еще раз красные — все это народ пережил...

В Екатеринославе[133], например, власть переменялась последовательно восемнадцать раз! И народ все же остановился на большевистской партии, как своей. В России говорили тогда: плоха власть, да наша.

А власть эта не только гладила народ по головке всякими обещаниями и посулами, а вскоре взяла его в ежовые рукавицы на переработку. Часто обвиняют большевиков в терроризме. Но в этом не только их сила, но и государственная правда[134]. Только настоящая власть без страха употребляет, где нужно, силу, до смертной казни включительно. И народ, несмотря на это, — а я скажу наоборот: именно поэтому! — еще решительнее прислонился к советской власти. И прислонился государственно, сознательно, по причине своего того же здравого мужицкого смысла.

Хочу немного разъяснить эту странную русскую психологию, в которой сам-то я не сомневаюсь. Возьму два примера.

В наш Севастополь прибыли первые отряды, кубанские казаки, как вестники генерала Деникина. Тотчас же были расклеены повсюду аршинные афиши. Подхожу и читаю... Мелким шрифтом напечатано: ну кто же будет тут читать, да еще целую простынь?! И мне, образованному, и то скучно стало, не дочитал до конца. Однако и в начале воззвания я понял, что правительство Деникина «убеждает». Доказывает, что и почему хорошо, что и почему плохо...

Ну, думаю, слабо дело у них и неумно. В революционную-то бурю «убеждать»?! Да люди тут — в пламенной горячке, а они убеждают их? Тут нужно действовать, а не лекции с кафедры читать... Красные и решили не разговаривать, а действовать. Например, приходят белые и «просят» собрать обувь для армии и деньги на это... Собрали сколько-то там. Мало. Пришли красные. Приказ: немедленно собрать деньги, столько-то! И явились деньги... А тут «убеждать» — не выдержат!

Другой случай — из монастырской жизни. В монастыре, мною управлявшемся в Сербии, был монах отец С-а, из пехотинцев-солдат... После меня был другой настоятель, добрый человек. Отцу С-е жилось не худо и при нем. Но его стал переманивать архиерей из Польши. Пришел С-а советоваться ко мне: ехать ли? Говорю ему:

—Тот епископ резкий, властный, а разве ты не доволен теперешним отцом настоятелем?

— Не-ет, ничего-о! Да только он очень добрый.

И ушел в Польшу.

И народ наш, знающий слабость человеческой природы и необходимость твердой власти, не побоялся посадить на свои плечи крутых большевиков, потому что здравым умом понял: «эти» наведут порядок! Значит, государственная власть. Да еще и «наша», народная...

И после, когда происходили по временам «чистки», народ тоже принимал их по государственному инстинкту и уму: так лучше! Иначе было бы хуже!

Ну, разумеется, приемлема была им земельная и заводская программа большевиков: всё народу! Приемлема была и система власти: Советы из того же народа, и в центре, и по местам! На такой радикализм в решениях (максимализм) не было сил не только у белых, но и у розовых партийных интеллигентов.

Так объясняю я себе победу большевиков: их принял (или, что одно и то же, выбрал среди других) народ сознательно, по своей воле.

Что касается социализма, коммунистической системы хозяйства государства, то мне казалось еще в России, что народ тут сначала пошел не столько по мотивам самоотвержения и любви к человечеству, сколько по естественному всем людям исканию выгоды. «Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». Чего тут особого?

Однажды в Крыму мне пришлось быть в гостях у купчихи с одним комиссаром из евреев... Он, конечно, проповедовал коммунизм, а вместе с тем из магазинов,

тогда еще не национализированных, посылал своей жене в Мелитополь то сукно, то на белье. И я ему сказал тогда:

— Вы думаете, что мужики борются за социализм сейчас? Нет — это маленькие собственники борются против больших.

Он промолчал.

Конечно, было бы неожиданно, если бы тысячелетние обычаи жизни легко изменялись. Но, передавая свою волю большевикам, даже хотя бы и не вполне еще принимая социалистическую систему, народ все же верил одному: эта власть — народная, и потому народу не повредит! А там, дальше, — увидится...

Конечно, были и просто разбойнические группы, которые в эту неразбериху и разруху делали свои злые дела, но о них не стоит много говорить. Это была естественная революционная накипь. Но не эти элементы правили жизнью, а партия и народ.

Еще можно признать факты страшных жестокостей, которые прорывались то тут, то там... И плохое есть плохое... Но в объяснение, а не в оправдание, всегда при этом нужно помнить две вещи: первое — шла колоссальная революция; второе — вина была и на прошлом, на многих и многих. Об этом говорилось раньше.

Да, никакая революция не бывала и не бывает бескровной, нужно согласиться с Л.А. Тихомировым.

Эти размышления, давно уже у меня сложившиеся, я написал потому, чтобы многое дальше было яснее, понятнее. Но мне, как верующему человеку, еще хочется подойти к вопросу советской власти не только с точки зрения «народной», но и религиозной, помимо естественных причин — поискать и Божьих путей.

Большевики — безбожники, материалисты-марксисты. Православные цари ушли, на их место стала атеистическая власть.

Конечно, нам, верующим, это казалось и ужасным, и неприемлемым. И не нужно удивляться, что Церковь

стала сначала против советской власти... Дальнейшие притеснения и преследования духовенства, и даже веры, еще сильней восстановили нас против нее.

Много после, уже в Нью-Йорке, на одной из лекций «друзей Советского Союза» один пожилой рабочий задал мне вопрос:

— Как же это вы, владыка, пошли против народа?

Я был участником Белого движения.

— Не в народе дело, а во власти; она была против веры, как сами знаете, и нам было поэтому трудно пойти за ней.

Однако же сейчас скажу я то же самое, что думал на горе у сельской церкви: «Бог правит миром, чего же через меру ужасаться?» И в самом деле. Если мы веруем, что над всем есть Промысл Божий, если мы повторяем евангельское слово: *И волос с головы* не падет *без воли* Божией (ср.: Мф. 10, 29, 30; Лк. 21, 18; Деян. 27, 34), так неужели такое колоссальное событие, как революция, случилось без этой воли? Недопустима даже самая мысль об этом. В чем эти причины и знамения Промысла, я подробно скажу дальше в главе о Церкви и Соборах. А сейчас лишь утверждаю (я много раз говорил об этом на лекциях):

— По Промыслу Божию произошла и революция, и пришла большевистская безбожная власть!

И потому я никак не могу согласиться с однобокой формулой Тихомирова: «Всякая революция от дьявола». Ведь и сам дьявол ничего не может сделать без попущения или воли Божией. А вот и свидетельство от слова Божия.

В Ветхом Завете, при царе Ровоаме, десять из двенадцати колен еврейских отделились революционным путем и образовали с Иеровоамом царство Израильское. Царь иудейский Ровоам собрал войско, чтобы подавить революцию силой. Но пришел к нему пророк Божий и сказал от имени Бога:

— Не ходи и не воюй! Это — от Меня все было! (См.: 3 Цар. 12, 1–24.)[135]

Вот пример революции — от Бога. И в нашей революции есть Промысл Божий — отчасти уже понятный, а еще больше пока не вскрывшийся... И уже поэтому мы тоже должны принять эту власть, а не только потому, что она принята и народом.

Именно точно так впоследствии писал и Святейший Патриарх Тихон, хотя сначала он и осуждал ее (авторитет Патриарха Тихона был и остается великим).

А теперь перейду к своим воспоминаниям о ней.

Эту революцию я встретил в Москве, будучи членом Всероссийского Церковного Собора, о котором речь в следующей части. Тут уж я могу говорить не о своих лишь впечатлениях, а и об общем отношении к ней Церкви, представленной всеми архиереями, духовенством, мирянами — учеными и простецами, в количестве трехсот человек. Можно бы сказать, что тут слышался отзвук всей верующей Руси, в ее не худших, а пожалуй, и лучших представителях. Как же он звучал?

Насколько тревожно была принята нами вторая, февральская, революция, настолько, наоборот, уже почти равнодушно отнеслись мы к третьей — большевистской. Уже привыкли к ней: человек ко всему привыкает. И притом нам казалось, что никакой особой разницы не будет между уже пережитым и только начинающимся. Один архиерей, митрополит Антоний Киевский[136], бросил даже тогда крылатую фразу из Ветхого Завета: «Не хватай за головы псов дерущихся» (см.: Притч. 26, 17), — чтобы и самому не пострадать от злобы их. Такое пренебрежительное и постороннее отношение к боровшимся политическим партиям не было, впрочем, общим нашим настроением. Большинство членов Собора были благоразумнее, осторожны и даже уже пассивно-лояльны к тому, что делалось вокруг нас: государство имеет свои задачи, а Церковь — свои. И пока нам лучше быть

в стороне, ожидая конца событий. И по всему мы уже видели, куда склонялась история. Нужно подождать.

А развязки ждать было недолго: в Петрограде революционный переворот уже завершился, значит, через несколько дней он закончится и в Москве, и по всей стране. И мы спокойно, совершенно спокойно, продолжали свои занятия на Соборе. Войска, бывшие на стороне большевиков, осадили Москву и откуда-то с Ходынки — опять с Ходынки, на которой во время коронации Николая II подавили немало народу, — посылали снаряды в Белокаменную. А тут еще были у власти члены кадетской, эсеровской и, вероятно, меньшевистской партии. Мы о них ничего не знали и даже не интересовались: кто они, что делают там, в городской думе? Военную поддержку они нашли в юнкерах московских военных училищ, поэтому борьба шла между большевиками и юнкерами.

И тогда, и теперь мне кажется непонятным: как эти горсточки людей отважились встать против движущейся лавины народных масс? Ведь очевидно было, что не устоять юнкерам. Почему же, однако, они пошли на жертву? Здесь, как солнце в одной из капель, отразилось наметившееся уже движение междоусобной борьбы белых против красных. Доселе — и при кадетском возглавлении, и при социал-революционере Керенском, — интеллигенция, военные, имущественные классы не поднимали голоса против Временного правительства, наоборот, сочувствовали ему или, во всяком случае, приняли его, хотя бы не все ра́вно сочувственно. Это и является несомненным доказательством сродности первых двух революций (хотя их можно и лучше бы назвать — одною) с прошлым строем жизни: консервативно- или либерально-буржуазным, аристократическим и интеллигентски-классовым... А когда пришла настоящая, социальная, народная революция, все те классы и партии встали против нее вместе, обнаружив общую природу: социалисты ухватились за офицеров-юнкеров,

а эти вместе с ними пошли против большевиков. Старое решило начать борьбу против нового. Белое движение встало на защиту прошлого.

На чьей стороне был я и вообще мы, члены Собора?

Разумеется, юнкера были нам более своими по духу. Не были мы и против народа. Но благоразумие говорило нам, что уже придется мириться с пришедшей новой жизнью и властью; и мы заняли позицию посередине, и, пожалуй, это было верно исторически: Церковь тогда стала на линию нейтральности, не отрекаясь от одной стороны, но признавая уже другую, новую. То, что мне пришлось сказать в Твери педагогам, осуществилось на деле: Церковь должна была и стала «осторожною».

Борьба продолжалась недолго. Я тогда жил в Кремле, в одном крыле царского дворца, где были помещения для служивших царской фамилии. Почему-то немногим из нас, духовных, отвели там по комнате. И я был свидетелем последних часов борьбы.

Снаряды с Ходынки направлялись главным образом в Кремль, как центр власти. Поэтому были разбиты купола храмов, разрушена церковь Двенадцати апостолов с патриаршей ризницей, здания Чудова монастыря, подбиты кремлевские башни[137]. И на какое-то время большевистские солдаты, вероятно, из войск внутри Москвы, захватили Кремль. Нас они не тронули и по проверке документов пропускали на соборные заседания, проходившие в епархиальном доме около Садовой улицы, недалеко от духовной семинарии и Самотеки[138]. И мы относились к этим солдатам тоже мирно и приятельски: никакой вражды абсолютно не чувствовал я к ним, наоборот, вспоминаю, что они воспринимались моим сердцем как «свои», родные. О политике я тогда не думал: никто ничего не знал, какая она будет. Не больше моего думали и эти солдаты-мужики. Однако они своим чутьем понимали, что тут борются «народ» и «господа».

Недолго сидели на этот раз большевики в Кремле — юнкера осадили его. Хорошо помню, как ночью мимо моего дворцового окна, тяжело громыхая, проходили туда и сюда грузные броневики, сторожа Кремль от нападения. Переулок этот был узкий, и броневики ползли буквально в трех шагах от моего взора. Утром ожидали штурма. Ворота Кремля все были заперты. Передавали, что около пяти часов утра юнкера прислали ультиматум сдаваться. Большевики отказались: их было здесь около шестисот человек. Раздался пушечный удар в Троицкие (так ли? — возле артиллерийского дворца) ворота, еще и еще. Юнкера ворвались, и после небольшой, по-видимому, схватки большевики сдались. А юнкера рассыпались по дворцу и другим помещениям с поисками. Зашел и в мою комнату один из них. Высокий, красивый, стройный, в прекрасной шинели, он почтительно откозырнул мне, и мы оба улыбнулись, будто свои. Но странно: в то же мгновение я почувствовал в нем «барина»... А там серые мужики-солдаты стояли обезоруженные, нестройными рядами. Нам с архиепископом Кириллом, тогда Тамбовским[139], нужно было идти на заседание Собора. И мы вышли, направившись к тем же Троицким воротам, около которых собраны были и пленные большевики. Мы были почти уже возле них, шагов за сто. Владыка говорит сопровождавшему его келейнику:

— Иван! Спроси-ка по телефону, а есть ли ныне заседание Собора?

Тот воротился. Мы остановились ждать его.

Кажется, день или два осады мы не могли выходить на Собор. И тут разразилась катастрофа. Наверху, вероятно, на этой самой башне, были еще большевистские пулеметы. Около пленных ходили группы юнкеров-победителей. И вдруг на всех них, без разбора, сверху полился огненный поток пуль. Мы от страха отодвинулись в ближайшую подворотню. Не остановись ждать телефона, мы все трое как раз попали бы под этот неожиданный

огонь. Юнкера и солдаты стали падать как подкошенная трава. Скоро пулеметчика «сняли» выстрелами снизу, и опять наступила тишина. Только я сам видел, как наросла за эти несколько минут гора трупов: и господа, и мужики кончили свою жизнь и теперь лежали мирно вместе. Раненых носили на перевязки.

Иван воротился: заседание есть. Мы подошли к братским трупам... Ведь вот только-только они еще были живыми...

Через Троицкие ворота нас, кажется, не пропустили юнкера, и мы направились через Боровицкие... Идем мы по городу: пустота, точно вымерла Белокаменная. А из домов и с чердаков то тут, то там раздаются какие-то бесцельные выстрелы, наводящие, однако, жуть. С большим трудом мы встретили извозчика, и он какими-то окольными тихими улочками и переулками доставил нас на Собор. Там все интересовались, что́ в Кремле? Архиепископ Кирилл рассказал.

Говорили также и о чудом спасшемся митрополите Петроградском Вениамине. Он жил в том же Кремле, в митрополичьих покоях Чудова монастыря. Однажды, занимаясь в кабинете, он ясно услышал в сердце голос: «Уйди отсюда». Послушался — вышел. Тотчас же ворвалась из-за Москвы-реки граната, разбила угол и разорвалась в его кабинете...

В этот день происходил окончательный выбор кандидатов на патриаршество: два — митрополиты Антоний и Арсений[140] — уже были выбраны, а третьим, после нескольких голосований разных кандидатов, был избран <митрополит> Московский Тихон[141].

Юнкера, конечно, не могли удержаться. Большевики снова заняли Кремль и взяли власть. Социальная революция в ее первом моменте кончилась. Мы из Кремля ушли. Его заняла новая власть.

Теперь юнкера оказались пленными, ожидая суда. Опасаясь поголовного истребления их, Собор — уже

после — снарядил депутацию к советской власти с просьбой о помиловании: как-то это и устроили мирным путем, слава Богу! [142] Юнкера расползлись потом кто куда... Новая власть принялась тотчас же за восстановление жизни. Все успокоилось. Собор беспрепятственно продолжал жизнь... А революция покатилась дальше по провинциям: по городам и селам. Прокатился по стране и я, точно для того, чтобы посмотреть для памяти: где что творилось тогда?.. Москва, Тверь, Владимир, Тамбов, Смоленск, Орша, Могилев, Киев, Полтава, Кременчуг, Херсон, Севастополь, Симферополь прошли перед моим взором за эти полгода.

Расскажу кое-что из подмеченного.

По революционным новым порядкам теперь и в духовных школах заведено было выборное начало. По доброй памяти таврическая корпорация педагогов избрала ректором опять меня.

До этого моя служба проходила в такой последовательности. По окончании Санкт-Петербургской духовной академии в 1907 году я был оставлен при ней для подготовки к профессуре. Потом года два был личным секретарем при бывшем моем ректоре, тогда архиепископе Финляндском Сергии. Он всегда бывал членом Синода, и большею частью мне приходилось жить с ним в Санкт-Петербурге. Тут я имел возможность видеть многих архиереев и других духовных лиц, посещавших моего патрона, ближе познакомился с жизнью монастырей, особенно Валаамского на Ладожском озере[143]. Живя в Финляндии, я увидел этот чуждый нам народ, не скрывавший вражды против России, какая бы она ни была.

Наш архиепископ, человек исключительных дарований и опыта, гармоничная уравновешенная натура, был не очень разговорчив на «проклятые вопросы». Но сам он постоянно думал о них. Насколько я мог догадываться, он многое принимал в новой жизни. Но главное: он твердо верил в руководство Промысла Божия

над миром. Бывало, ходим мы с ним после обеда по залу, а он, о чем-то размышляя, тихо говорит в ответ на свои думы:

— А Божий мир по-прежнему стоит... А Божий мир по-прежнему стоит...

Меняются правительства, а он стоит... Меняются политические системы, он опять стоит. Будут войны, революции, а он все стоит...

Посещал его иногда Финляндский губернатор З.[144], и они серьезно и дружественно о чем-то беседовали. Посещал я с ним и Гельсингфорс[145], и там — чуждая нам атмосфера... В Финляндии была везде чистота и порядок, и будто бы не употребляли даже и замков у дверей, но дух был нерадостный... Совсем иное впечатление выносилось от карелов, живших в Финляндии. Хотя они по племени — финны, но духом были — нашими же русскими мужиками, лишь еще более смиренными и бедными. Очевидно, Православие, исповедуемое ими веками, воспитало в них ту же духовную культуру, что и в России, и на Украине... Прекрасный народ... А финны (их почему-то звали в России «чухонцами», слово это мне совсем непонятно и сейчас) всегда были нам врагами, а друзьями Западу. И совершенно мне не удивительно, что они воевали против России в 1939 году [146]; еще менее неожиданно, что и после они стали на сторону Гитлера, немцев, Запада: это люди одной западной культуры — католической или протестантской, неважно. Там нередко даже духовенство теряло «русскость» и «офиннивалось», хотя и не все, были и крепкие «русаки».

Из Финляндии я был приглашен в Санкт-Петербургскую академию на кафедры гомилетики и пастырского богословия. Здесь я узнал ближе профессуру. Нехудые они люди, но многие были ненадежны для Церкви, зато другие (меньшинство) оказались потом на Соборе основательными защитниками ее. Безбожников среди них не было, конечно.

Из академии, по желанию Санкт-Петербургского митрополита Антония, я назначен был на место инспектора в духовную семинарию. Преподавательский состав не оставил во мне светлых воспоминаний, это тоже подтвердилось потом на Соборе. О семинарском тут бунте из-за курения табака в спальнях я уже говорил. Преподаватели были не на моей стороне, а... на ученической. Ректор, протоиерей Р., был разумный, хороший человек, вспоминаю его с уважением и благодарностью. После нескольких месяцев инспектирования меня назначили ректором семинарии в Крым. Это было на святках. Воспитанники разъехались по домам, оставалась небольшая группа сирот и бедных. Они сердечно провожали меня общим чаем. Было мило: прошлое забылось и стерлось.

— Отец инспектор! Неужели вы уходите от нас оттого, что мы учинили дебош против вас? — мягко спросил один.

— Нет! У меня осталось теплое впечатление от вас. А переводят нас, монахов, не спрашивая: куда пошлют, туда и иди.

Из Крыма года через два с лишним меня перевели почему-то в Тверь ректором. Может быть, потому, что эта семинария в шесть раз была многочисленней (300 человек), чем Таврическая. Но ходили и какие-то неясные, не проверенные мною слухи, что тут замешано было и имя Распутина: неудобно было держать в Крыму, близко к царской даче в Ливадии, противника его, слишком много знавшего. Еще раньше меня, вопреки своему желанию, переведен был из Крыма в Астрахань и известный епископ Феофан — по той же самой причине. По крайней мере, так думали и педагоги.

Поэтому они, помимо всего прочего, и избрали меня снова ректором, когда ушел мой преемник. Но, сверх всего, в нашей жизни действует и Промысл Божий. Он этими путями направлял меня, грешного, на оба Церковных Собора: всероссийский и украинский.

К святкам я и прибыл с Московского Собора в Крым. Здесь поразили всех нас слухи об ужасных злодеяниях матросов над офицерами. Их, говорят, живыми топили в бухтах, привязывали камни к ногам... Я обязан в этих записках говорить все, что осталось в моей памяти, хотя бы это кому-нибудь и не нравилось...

Сам я не видел, конечно, этого, но в Константинополе, уже после эвакуации белых, ко мне привели полусумасшедшую женщину, жену одного так утопленного офицера, чтобы я утешил ее. Видел ее и в Нью-Йорке, где она, несколько оправившаяся, умерла не так давно.

Вообще, гонение на офицеров действительно было жестокое, и потому отчасти нужно понять и их, когда они ушли в Белое движение. Расскажу несколько фактов, мне достоверно известных.

Среди воспитанников семинарии, еще в первое мое ректорство в Крыму, первым учеником в последнем классе был Митя Мокиенко — высокий, застенчивый, мягкий. Отец его служил маленьким чиновником на винокуренном заводе в Симферополе. Мать была исключительно благочестивой и богомольной женщиной. Так воспитывала она и двух сыновей. Оба они были чистые, как дети. Митя был уже офицером на Румынском фронте. После известного революционного развала армии он, как и другие, возвратился домой. А тут начались расправы с ними. Арестовали и его, а уж заодно взяли и брата, семинариста. Мать чуть не обезумела. Но что она могла сделать? Привели их в местный исполком, помещавшийся в гостинице на Пушкинской улице. Народу всякого — множество: солдаты, рабочие, матросы... Гвалт... Был поставлен вопрос: что делать с арестованными? Кто кричит: расстрелять, другие — в тюрьму до суда. Поставили на голосование, большинство оказалось за второе предложение. Написали братьям какую-то бумажку и в сопровождении двух-трех солдат с ружьями отправили в местную тюрьму, недалеко от вокзала. Но через два-три квартала им повстречалась

группа матросов, вооруженных обычно до зубов (их называли тогда «краса и гордость революции»)[147].

— Кого ведете? — спрашивают они конвойных.

— Офицеров.

— Куда?

— В тюрьму.

— Какая тут тюрьма им? Расстрелять немедля!

Солдаты показывают записку от исполкома...

— Никаких исполкомов... Расстрелять, и кончено...

Не могли осилить солдаты. Матросы велели стать братьям у «стенки» (тогда это слово было в большом ходу). Сзади их случайно оказалась католическая церковь во имя святой Екатерины-мученицы, перед храмом был небольшой садик, обнесенный оградой с железными же воротами. К ним и приставили обреченных. В это время сбежалась отовсюду толпа любопытных: женщины, дети... Всегда в революции разгоралась жажда кровавых зрелищ. Матросы приказали солдатам отойти на несколько шагов и расстрелять... Но в это время где-то за углом затрещала подозрительная пулеметная перестрелка. Матросы мгновенно бросились туда, уверенные, что солдаты прикончат братьев и без них. Но только те скрылись за углом, солдаты (сохрани их Бог, если они еще живы!) схватили братьев и быстро побежали с ними в тюрьму, куда их сдали.

— Митя, что ты чувствовал тогда? — спросил я его лично после рассказа, — страшно было?

— Ничего не чувствовал, весь одеревенел.

После над ним и братом было расследование, и их освободили. Но ненадолго успокоились они. Нахлынула новая волна преследований, и опять Митя оказался под угрозой. И вот однажды, когда я вечером сидел у архиепископа Димитрия[148] (преемника епископа Феофана), вбегает к нам Митя, так его все звали.

— Что ж это такое? — в ужасе, растерянно повторял он не раз. — Как зайцев, вылавливают нас, офицеров,

и расстреливают. Что же делать? Что делать? Помогите, владыка, помогите!

Жутко и невыразимо жалостно нам было смотреть на этого беззащитного высокого гвардейца — нашего друга... Но что мы могли сделать, когда и сами были под угрозой?!

— Что же мы можем? Как помочь тебе?

— Ну, сделайте меня каким-нибудь, что ли, дьяконом... Дайте мне свидетельство, и, может быть, удастся мне выскочить из этой петли?! Хотя и в вагонах ловят нас, но все же духовных еще не трогают. Помогите... помогите...

И он, бедный, метался, не садясь.

Архиерей выдал ему какую-то бумагу, что он будто есть дьякон, расплакался, благословил и отпустил с Богом. Мите удалось с этим фальшивым документом прошмыгнуть контроль. И потом он уехал в Киевскую духовную академию, где был до офицерства студентом. Весною в Киеве был политический переворот, возглавленный атаманом Скоропадским[149], за которым сзади стояли, конечно, немцы, занимавшие тогда Украину. Митя поступил офицером в конвой его. Но в Германии, после ее поражения, произошла своя революция. Немецкие войска ушли домой; Скоропадский скоро пал после них; пришел на его место Петлюра (из полтавских семинаристов)[150] с национальными украинскими войсками. Скоропадский бежал в Германию к своим бывшим союзникам. Митя же бросился в Одессу, надеясь пробраться домой. Но в это время он уже заболел сыпным тифом, который косил тогда сотни тысяч людей по России. С высокой температурой, потерявши сознание (так кто-то рассказывал после его матери, а она — нам), он метался на пути в вагоне как безумный. Ему все казалось, что его ловят, хотят расстрелять. Он бросался в окна вагона и жалостливо кричал невидимым преследователям:

— Не трогайте меня, не трогайте!.. Я хороший, я хороший... Спросите маму, я хороший!

Довезли до Одессы. Какой-то сердобольный сосед, догадавшись по его безумным речам, что он имеет отношение к духовенству, привез его с вокзала в архиерейский дом... Тогда там был митрополит Платон[151] ... Но (передаю со слов матери) не нашлось ли ему места в архиерейских «покоях» или швейцар не осмелился, да еще ночью, доложить владыке, но только Митю укрыл в своей (как нередко, под лестницей) комнатушке сей самый швейцар. А наутро его свезли в госпиталь: там было такое переполнение, что на одной койке клали по двое... Тут Митя и скончался. Много раз она его искала и нашла, где никто не ожидал...

После, когда на юге были белые, мать не вытерпела, поехала в Одессу, нашла тело своего старшего любимца, откопала, положила в цинковый гроб и привезла в Крым. Я хоронил его... На память о нем у меня осталась большая фотография его в офицерской одежде, и она еще раз сыграет тяжелую свою роль... Да, трудно тогда было офицерам, их всех подряд считали защитниками царя (что и верно, и похвально) и представителями старого строя, потому они первыми и пострадали; за ними пойдет имущественный класс, дальше — духовенство, а потом трудно будет и народу. А пока закончу эту печальную историю словами: Царство Небесное рабу Божию Димитрию! Святая, чистая была душа, каких немного на свете!

О другом случае мне пришлось услышать от общего знакомого моего и одной дворянской семьи.

Фамилия их была необычная: Эммануэль, что значит «с нами Бог». Где-то в Крыму они владели имением в 500 десятин. В семье было четыре сына, все — офицеры действующей против немцев армии. Старые отец и мать жили в том же Симферополе.

Во время революции дети, не знаю, все ли, воротились к родителям. Со старшим из них, Левушкой, была особенная история еще на немецком фронте.

Однажды мать, проснувшись ночью, или не успела еще заснуть, увидела у своей постели светлое пятно. Постепенно вырисовывалось лицо старшего сына в крови. Видение исчезло. Старушка разбудила мужа, рассказала все. На другой день было послано письмо в часть, где он служил. Пришел ответ. Оказалось, в ту ночь было наступление наших на немцев. Осколками разорвавшейся гранаты Левушку ранили в голову, и он упал замертво.

На другой день мимо проезжал офицер и опознал друга. Слез с лошади и убедился, что тот еще жив. Поднял на седло и доставил в медицинский участок. Левушку выходили. Позднейшая история его мне неизвестна. Но достойно удивления, что спасший друга офицер был сыном прислуги этих помещиков, и они помогли матери его воспитать сына в военном же училище. Теперь он отблагодарил их спасением сына благотворителей.

С другим сыном история случилась в Севастополе. Когда началось преследование офицеров, он хотел тоже скрыться, уехав с пароходом. Достал как-то требуемое на выезд разрешение местного ревкома, отправился на пристань. Спрашивает в кассе билет.

— А разрешение?

Офицер, конечно, в светской форме, лезет за ним в боковой карман, но не находит. Обыскал все: нет разрешения. Ехать нельзя. Неужели забыл на квартире?.. Бежит обратно, ищет — нет! Опять лезет в боковой карман. И что же? От пота бумажка взмокла и прилипла к кожаной тужурке. Выхватив ее, он помчался на пристань, но уже было поздно: пароход отошел... И к его счастью: там в пути был обыск, и многие офицеры погибли. Он остался живым.

Третий случай, уже совсем почти сказочный.

Звали этого брата Владимиром Александровичем. Он скрывался в Симферополе где-то. От одного офицера я слышал, как он на чердаке был заложен кирпичами. Дома не жил из-за опасности ареста. Контроль посетил и родителей его.

— Где сыновья?

— Не знаем, — отвечает мать. — Вы их ло́вите, разве они будут сидеть дома?

Пошли с отцом обыскивать все. А около матери оставили для караула одного матроса. Посмотрев на него, она почувствовала какое-то доверие к нему и спросила:

— Откуда вы родом?

— Из Самарской губернии.

— А у вас есть мать?

— Есть.

— Как вы думаете, каково бы было ей, если б вас ловили так, как вы теперь ловите детей наших?

Матрос промолчал.

— Послушайте, Бог знает, может быть, вы встретите кого-нибудь из моих сыновей? Прошу вас именем вашей матери: помогите ему!

Опять ничего не сказал матрос.

Обыск кончился ничем. Но вскоре Владимир был арестован. Сначала его посадили в тюрьму, а потом — расправа короткая — его и еще шестерых офицеров ночью увели на расстрел. За железной дорогой, недалеко от епархиального свечного завода, была вырыта большая канава, на краю которой и происходили расстрелы. На этот раз назначили для совершения казни девять солдат. Раздался залп, другой. Все попадали. Владимир, видя, что он лишь ранен, падая, прикрыл голову рукой в надежде, что если будут еще и добивать, то не в голову, не так опасно. Так человек инстинктивно хватается за соломинку, желая жить... Должно быть, на сей раз этого не случилось. Солдаты ушли. Это было под новый, 1918 год. В Крыму иногда и зимой тепло. Когда все стихло, он поднимает голову и к удивлению своему видит, что поднимается и другой, тоже не убитый. Что делать? Решили ползти в разные стороны: вдвоем заметнее. Было темно. Вдруг Владимир видит впереди себя человека с ружьем. Ох! Дозор! Бросился на землю,

но тот уже заметил его и потребовал встать... Ну, значит, вторая смерть.

— Кто вы?

— Офицер.

И он открыто сознался про себя — все равно конец. Но вдруг слышит успокоительные слова:

— Я рабочий. Ищу своего брата, тоже из офицеров. Не убит ли он ныне?

— Как фамилия?

— Такая-то...

— Нет, его не было с нами.

Что делать дальше? Рабочий жил далеко, в Татарской слободке, совершенно противоположной от станции: туда не донести и не довести тяжелораненого, и опасно. Вспомнил, что тут неподалеку живет знакомый мастеровой. К нему ночью и привел он нового знакомца. Там обмыли, перевязали его, как могли.

Но беда не приходит одна — по пословице. Где-то рядом или шли, или пировали матросы. Заметив ночью огонь, заподозрили и зашли. Расспросили: кто, что? И опять смерть на пороге. Матросы, может быть, добродушные от вина, затеяли еще спор с раненым, что вот, ученые прежде нуждались в народе, а теперь бросили его. Однако нужно было опасаться недоброго конца. Тогда хозяин дома идет на станцию к коменданту и просит оградить от дебоша матросов его знакомого. Тот, может быть, спросонья, не разобрав дела, дает какую-то записку об удалении буянов, хлопает по ней красной печатью, а для верности посылает с мастеровым еще и дежурного солдата. Матросы подчинились, ушли. Пришедший провожатый спрашивает: «Как фамилия?» — «Эммануэль». — «Что? Как?» — «Эммануэль!»

Оказалось, что был тот самый самарский матрос, которого умоляла мать спасти ее детей. Он настолько был поражен этим совпадением, что (вероятно, рассказав о своей встрече с ней) сам нашел извозчика и

отвез раненого в больницу, помещавшуюся в так называемом Новом городе, на другой стороне потока Салгир[152].

Дальнейшей истории его я долго не знал. Прошло лет десять. Я <был> в Сербии настоятелем храма и законоучителем в русском кадетском корпусе в городе Бела Црква, недалеко от румынской границы... Как-то на уроке рассказываю кадетам предпоследней «роты» (там не «классы») эту историю, вдруг поднимается взрослый кадет, лет 18–20, и говорит:

— Владыка, я лично знаю Владимира Александровича.

— Ка-а-к? — удивляюсь я.

— Он живет сейчас в местечке Ясеница, в Словении, где и мои родители.

— Да что вы? Дайте мне адрес.

— Я послал Эммануэлю подробнейшее описание всей этой истории и просил его ответить, так ли все это было? Слишком уж все сказочно!

Он подтвердил историю, сделавши незначительные изменения и дополнения. Одно из них помню и сейчас: «Когда нас солдаты расстреляли, я слышу, как один из них говорит: “Чевой-то, ребята, страшно!” И быстро пошли назад».

Больше не помню. Вместе с моим рассказом я отправил <письмо> друзьям в Париж. И может быть, эти документы еще хранятся у кого-нибудь? Если они когда-нибудь появятся на свет, то, вероятно, окажется и разница в деталях, но прочее я хорошо запомнил.

В эти же святки у меня гостил один из московских инженеров, тоже подвизавшийся против большевиков в октябре, В.З. Курганов, сын священника Пензенской губернии, семинарист, но с университетским образованием. Это был дорогой человек по простоте души, по глубине ума, глубоко религиозный, народник. Как он любил рассказывать про своих земляков!

При своей образованности и сознательной вере он все же принял с детства все поверья. Вдовец-отец не имел времени заниматься сиротою, и Володя проходил воспитание большей частью на кухне под руководством малограмотного церковного сторожа и посещавших его крестьян. Оттуда он и взял все народное, а говорил совершенно как мужик.

Как-то выходили мы с ним из ректорской квартиры ночью.

— Эх, — говорит, — неладно!

— Что такое?!

— Да вишь, месяц с левой стороны от нас.

— Что ты, чудак!

— Не-ет, неладно! Уж это... как пить дать!

— Да почему?

— Вишь, народ так верит, значит, правда!

Я тоже знал об этом, но не верил. А с той поры, вот уже 25 лет, как увижу вечером месяц, так и спрашиваю себя: а с какой стороны? Разумеется, не придав этому значения, но Володя вбил это в мою память на всю жизнь.

Так вот, его нужно было тоже вывезти куда-нибудь из страшного Крыма: неровен час, а вдруг да прознают, что он юнкер? Несдобровать теперь ему, да и я горя нахлебаюсь. Правда, он ходил в каком-то овчинном «спинжаке» (вероятно, исковерканное английское слово «пиджак», пинжак, спинжак — уже совсем будто русское слово, от «спины»; русский народ любил такие перевороты: нейтралитет — нетроньитет, режим — прижим, из имени Агафопод у него вышел «хлопан» и так далее).

На голове у Володи шапка, на ногах грубые сапоги. Только вот очки выдавали его, а без них он ничего не видел. Очки же — бессомненный признак буржуя! Тогда даже и пословица такая была: «Бей очки да воротнички!»

И потому, возвращаясь из Крыма на Московский Собор, я захватил и его с собой, чтобы он отправился

потом в Оптину пустынь Калужской губернии[153], куда он и поступил действительно в монахи... Дальше я еще, вероятно, встречусь с ним в записках.

Купил я для себя и для него двухместное купе, закрыли его на запор и думали уже благодушествовать: все обошлось без проверки и контроля. Но не тут-то было! Только что отошел поезд, в наше купе сильно стучатся.

— Занято, — говорю.

— Отваря-а-а-ай! — раздается властный голос.

— Ну, брат Володя, плохо! — шепчу ему. — Кто там?

— Матросы-ы!

Это слово и не такие замки отпирало тогда... Открываю. Входят двое, увешанные револьверами.

— Сколько вас тут? Ну, вот мы еще двое!

И без всяких дальнейших слов оба снимают с себя одежду, оружие и располагаются. Высокий сразу полез на верхнюю полку, а другой — пониже — остался вместе с нами. Разговорились. Вижу, ребята хорошие, простые.

— Куда едете? — спрашиваю, соображая, далеко ли с нами поедут попутчики?

— Через Лозовую на Дон, добивать белых бандитов, — отвечает маленький с совершенно искренним убеждением, что он делает самое рассвятое дело.

Покушали, угостились взаимно. Владимир мой успокоился: «Свои ребята, крестьянский народ!»

Доехали часа через четыре до Мелитополя. Наши вояки вышли выпить, и вдруг маленький возвращается и спрашивает меня:

— Не можешь ли ты написать мне письмо?

— Кому?

— Да вот тут, на станции, значит, встретил я знакомого из своего села, так что хочу написать домашним письмецо. А?

— Это можно, — говорю.

Сейчас же достал из чемодана открыточку.

— Кому писать-то? Как называть?

— Ну-у, дорогие, мол, мои родители и все родные!.. Ты и сам знаешь, как писать-то, там о здоровье и все такое...

Написал.

— А дальше что?

— Ну, дальше пиши: едем героями бить бандитов.

Написал и это, делать нечего, по пословице: «С волками жить — по-волчьи выть».

— А еще что?

— И довольно!

— Да тут еще место осталось!

— Ну, напиши там, что хочешь сам.

— А что, если я напишу: храни вас всех Господь Бог! Можно?

Смотрю на него выжидательно, с интересом: что ответит на это?

— Пиши-и! — немало не колеблясь и не возражая, ответил герой.

И я написал. Он кое-как накарябал свое имя и фамилию и побежал передавать письмо...

А я снова подумал: удивительное сочетание в русской душе!.. А ведь, право, хороший человек он...

На ночь маленький залег по-братски на мягкий диван внизу с Володей. А я полез наверх — к высокому, головами врозь. В сетке, около моей головы, лежал огромный револьвер, четверти в две, в деревянной кобуре. С непривычки мне даже неприятно было сначала. А скоро все мы дружно заснули. Никто уж нас больше не беспокоил: где матросы, там было уже надежно на этот счет, в обиду своих не дадут.

Кстати, уж припомню в последний раз о симферопольской станции. Здесь продолжал управлять ею прежний «царский» начальник: замечательной деликатности, с красивой бородой, чудный человек! И никто его и пальцем не тронул. Только и он, при необыкновенном

собственном изяществе и красоте, не мог навести чистоты на вокзале. Тогда по всей колоссальной России, на всех станциях и во всех вагонах, почему-то щелкали подсолнечные семечки. Тут была какая-то особая психология момента, это никак не случайно. Только я не мог все же понять ее. Хотелось ли народу этим развлечь и отвлечь себя от разных дум? Или он хотел показать теперь свою вольность, что он везде хозяин и на все ему «наплевать»?! Или нужно было занять себя во время долгих, иногда по дням, ожиданий поездов. Но только, действительно, заплевали уж станции до невероятной степени! И уж убирать было бесполезно. И откуда брались эти семечки?! Право, съедены были сотни тысяч пудов! Вся Русь «щелкала» тогда[154]... Что такое? И когда потом пришли немцы на Украину, они прежде всего требовали очищения станций и запрещали семечки. Я записал этот факт не для забавы читателя, а потому, что он как-то был связан тогда с революционной психологией.

Еще припоминается картинка, как огромный матрос с медвежьей фигурой открыто приставал в зале к молоденькой черноволосой девушке еврейского или восточного вообще типа. Она старалась слегка отводить его рукою, но это мало действовало.

Утром наши герои на Лозовой пересели на другой поезд. Потом Харьков... Почему-то пришлось пересаживаться в другой поезд... И тут была такая давка, что едва можно было влезть в вагон третьего класса. А выйти для нужды уже было положительно невозможно, и люди справляли мочевые обязанности прямо через окна.

Прямо против меня оказался молодой раввин-блондин. Мы завязали с ним спор о вере. Он был, разумеется, против христианства.

— А вы хоть раз читали Евангелие? — спрашиваю я.

— Нет!

— Ну, как же вы можете спорить, не зная самого важного?

В это время ввязывается в нашу беседу другой еврей, черный и пожилой, машет презрительно на нас обоих рукой.

— Э-э! — говорит, — и ваша (моя) вера неверная, и твоя (раввина) тоже! Теперь наша вера настала! Ваши больше не нужны!

— Какая же ваша вера? — спрашиваю.

— Вот какая! — и он торжественно ударил себя по карману.

В Орле Володя пересел, чтобы скрыться в пустынь.

В Москве начинался голод: подвозу хлеба было мало, а в хлебородной Украине господствовали или украинцы, или потом — немцы. Дон обособился во «Всевеликое войско Донское», на Кубани власть забирали белые, общая народная разруха дополнялась расстройством транспорта, а деревня не хотела идти навстречу городу, так как почти ничего не получала от него. Насколько был велик голод, видно из таких фактов. Мы всего получали по 1,8 фунта хлеба, да еще иногда плохого. Помню, например, такой хлеб, что в нем была масса «кострики» — колосьев, даже есть было трудно. И бывало, я ходил по «Сухаревской толкучке» купить себе что-нибудь вроде морковки, соленых огурцов и прочего. Видел, как околевали от голода собаки. Смотрю, одна стоит около стены дома и шатается. Она уже не смотрит на вас вопросительно, не визжит жалобно, а безнадежно и бесцельно еще двигается. Потом, вижу, упала тут же на тротуар и начала околевать... Нам, прохожим, жалостно, точно мы виноваты в этом ее конце, но и самим есть нечего.

В Петербурге было не лучше. Одна старушка из придворной аристократической фамилии Б. после, в Сербии, рассказывала мне, что они в Царском Селе или Петергофе несколько месяцев питались травой снитью, чем питался в Саровской пустыньке и преподобный Серафим-подвижник.

Советская власть принимала меры, но было крайне трудно наладить транспорт. Тогда образовались отряды «мешочников». Горожане ехали с мешками в деревни, где, конечно, хлеба было больше, особенно в дальних областях, и оттуда привозили пуд-два муки на «хлеб насущный», а иногда сами крестьяне привозили его в город, выменивая на что-нибудь им нужное. Но правительство почему-то боролось с этим явлением. Помню, как перед самой Москвой, на предпоследней остановке, из всего поёзда начали выскакивать, чуть не на ходу, мужики и бабы — все с мешками. Выяснилось, что впереди ожидал их заградительный отряд солдат, которые должны были отнять привезенное, но кто-то из своей братии же предупредил этих паломников за хлебом. Они предпочли лучше лишний десяток верст протащить тяжесть на себе, лишь бы не сидеть опять голодными. Вероятно, были и спекулянты, но их было мало по сравнению с армией мешочников, голодавших в городе. Милиция, впрочем, смотрела на этих голодных людей сквозь пальцы... Голод был на севере и в городах. А на юге — на Украине, на Дону, на Кубани — нужды в хлебе не было. И когда, бывало, из Москвы переедешь в эти области, поражаешься, что тут всего много, и даже — подумайте! — есть настоящий белый хлеб! Один раз, увлеченный мыслью о дешевке лука, я купил у молодой розовой торговки из села целую связку лука, головок в пятьдесят, а в вагоне — я тогда ехал в товарном — посередине топилась железная печка, я пек лук, он делался сладковатым, и его ел. Но все же связки не одолел ни я, ни мои соседи.

Наступил, кажется, февраль 1918 года (я снова предупреждаю, что года, цифры, соотношение времени я теперь иногда могу путать — уже 26 лет прошло, но это не имеет никакого значения в моих записках, так как я занят характеристикой событий, а не хронологией фактов). Мне нужно было съездить в Тверь для сдачи ли дел по семинарии, или для чего иного. В пути произошел

случай. Кстати, чтобы не забыть. Еще после февральской революции ехать в вагонах было неинтересно. Сельские ребята, помню, кричали на всех едущих столь шикарно и по старому богатому способу: «Буржуи, буржуи!» А это слово было тогда самое позорное! Не было худшего греха, как попасть в разряд этих «врагов народа», или, как выражались еще, «недорезанных буржуев». А после «буржуйками» стали называть местные печечки, в которых отапливали горожане свои холодные квартиры и кое-как готовили себе пищу — из картофельной шелухи, «мучицы», куска селедочки и так далее.

Вспомню еще и о дровах. Профессор университета Ф. получил ордер на получку порции отопления. Сторож отмерил ему полагающуюся часть и благоразумно скрылся. Профессор философии положил ее на салазочки и потом тихонько стал прибавлять от «казенных» дров.

— Папочка! — говорит ему шести-семилетний сын Виктор, прибывший с отцом за живительным теплом, — ведь там не наши дрова!

— Знаешь, Витенька, теперь все национализировано, все общее!

А самому стыдно. Так он мне рассказывал в Берлине в 1923 году.

Ворочусь к поездке в Тверь.

Еду трамваем по Москве к Николаевскому вокзалу[155]. Мимо мелькают церкви. И, по обычаю, крещусь. Никто не издевается надо мной, но сами не крестятся, как то было прежде: теперь революция, крестятся лишь буржуи. Понятно... К удивлению замечаю, как один хорошо одетый, интеллигентного вида человек тоже снимает шапку и крестится. И его никто не осудил. А я подумал: «До революции “ученые” люди не крестились, а теперь вот один из них закрестился, зато рабочий люд перестал креститься, но придет также время, когда и они еще закрестятся опять».

Купив билет и газету, я вошел в вагон. Он был не зимний, с отдельными перегородками и в три класса, а летний, сплошной открытый. Вагонов тоже уже не хватало. Места все были заняты. И я, в монашеском клобуке и рясе, остановился около двери и стал читать газету. Никто не предложил мне места. Во время революции не полагается оказывать внимания служителям Церкви: это признак буржуазности. А люди боятся идти против моды времени. И вот тогда разыгрался случай с богохульством матроса и последствием тут же, в нескольких шагах от станции, — крушением нашего вагона. И вспомнил я еврея, который тоже, как и матрос, хлопал себя по карману, говоря: «Вот где наша вера», а русский матрос немного переиначил: «Вот где мой бог»[156].

После мне захотелось навестить родственников (замужнюю сестру Надежду) в городе Владимире. С большим трудом я протискался в товарный вагон. Обычно на них прежде писали: «8 лошадей или 40 человек». Но тут было, вероятно, 100 или 150. Мы не только не могли сидеть, но и стояли-то как сельди в бочке торчком. А тут еще, на мое горе, сзади меня какой-то всероссийский гражданин поставил ведро. И мои колени поневоле выгнулись, а спиной я упирался во владельца его, что делало путешествие еще затруднительнее. Так пришлось выстоять, кажется, часов восемь — хороший рабочий день.

Но изумительное дело: никто почти не жаловался на все эти невероятнейшие неудобства. Привычный русский народ! Да и все мы знали, что иначе невозможно: нечего и плакаться. На то и революция.

Еще хуже было с путешествием к родителям в Тамбовскую губернию на праздник Пасхи. Из Москвы нужно было ехать по Рязано-Уральской железной дороге[157]. В вагон войти оказалось совершенно невозможным. Но я увидел, как смекалистый и неприхотливый русский мужичок приспосабливается: положили между вагонами на буфера досок, шпал и уселись. Мне не оставалось

ничего иного, как попросить милости включить и меня в одну такую компанию: их было два мужика и две бабы. Пустили и меня, пятого... Поезд двинулся. За границей, я уверен, не поверили бы такому пути сообщения. Но хорошо, что хоть едем, а как? Разве уж это так важно? Ну, кто в «пульмане», а кто и на буферах, все равно доедешь. Только неудобнее и опаснее: бежит поезд под гору, его тормозят, наши доски становятся боком, едва держимся на них; поднимаемся в горку, пружины раздвигаются, раздвигаются и доски, — можно провалиться. А тут еще спать же хочется: ночь. Хорошо, что хоть дождя не было. А небо звездное, но нам не до красоты, где уж тут!.. Не до жиру, лишь бы быть живу! А все же нет-нет да и задремлешь. В ногах у меня стоял эмалированный кувшин, только что купленный бабочкой в столице. Спросонья-то я его и столкни с наших «диванов»... Лишь зазвенел мой кувшинчик... Владетельница огорчилась, понятно. Я виноват.

— Сколько заплатила?

— Двадцать пять рублей! — говорит.

Тогда деньги были дешевы. Вынул я денежки и уплатил. Успокоилась хозяйка его.

Но скоро наступила худшая беда. К утру такой морозец пришел, что я сил не имею дальше терпеть в своей легкой рясе. Что делать? Наступало уже утро. На одной из станций была долгая остановка. Я решил попроситься у добрых людей пустить меня внутрь; а среди товарных было три-четыре вагона с окнами. Я и стал просить, как нищий подаяния. Мотают головой: нет места! Тогда мне пришла отчаянная мысль... Не смейся только, читатель, над ней, когда мерзнешь — не до смеху... Я сообразил, что клозетное место, вероятно же, не занято. Попробовал втиснуться в одно такое: свободно. Я закрыл сиденье, сел, пригрелся и тут же заснул... Вдруг стук: за нуждой. Я выхожу. «Справился» человек, вышел, я опять сажусь и сплю. Снова стук:

— Извини, отец, — говорит какой-то особо вежливый посетитель, — сам знаешь, нужда.

— Хорошо, хорошо! Извините меня.

И я опять выхожу.

Сжалобились мужички, кто-то протискивается ко мне и кричит: «Отец, пробирайся как-нибудь сюда!» Потеснились, прижались, пропустили — спасибо. Прежде говорилась пословица: «В церкви яблоку упасть негде, а попу место найдется». Ну, лишь не во времена революции. Но скажу: все это было не намеренно, не издевательски, не со злобой, а просто по нужде. Нам же, духовенству, нужно было нести тяготы вместе с народом, через это общее несчастье мы ближе становились, из класса буржуев повышались в сословие пролетариев. А это было очень важно для веры и Церкви: лишь в общих страданиях люди становятся своими. Скорби и спасли Церковь в это опасное время.

Доехал я до Кирсанова... «Мой» город... Крестный отец, бывший управляющий имением, из которого был удален мой отец лет уже тридцать тому назад, М.А. Заверячев, был в то время уже в городе. Имения все были заняты крестьянами; он должен был скрыться в городе со своей женой А.И. А незадолго перед этим он откупил у помещика прекрасный участок земли возле храма и речки, но не удалось долго владеть им. Революция, как весеннее половодье, все снесла... Если он был виноват в горе нашей семьи, то и ему теперь пришлось лишиться многого. Однако он купил домик и как-то жил укромно. С вокзала я и зашел к ним. Был вечер. Мне и себе они сварили уху из большущей рыбы и подали вкусного свежего ржаного хлеба. Боже, какая сладость после Москвы-то! Съел я один ломоть и стыжусь спросить: а можно ли другой? Все же осмелился, спросил. Конечно, можно! Ну, уж я и наелся! Утром я был дома в селе Чутановка. Там тоже хлеба вдоволь.

Прочее я рассказывал раньше: и о «десятине луга», и о разговенье отца, и о проводах меня отцом и матерью. В эту Пасху видел я их в последний раз. Года через три умер отец от воспаления легких и похоронен почему-то с особым почтением: в ограде церковной, если не изменяет мне память. Несколько лет спустя скончалась и мать. Она ужасно страдала болезнью сердца (астмой). Сначала, еще в детстве моем, эти приступы были короткие, по 2–5 минут. А к концу жизни, как она сама писала мне уже за границу, под именем «дочки» (писать мне как «белому» архиерею было небезопасно), эти приступы продолжались у нее по 12 часов подряд... Мученицей была всю жизнь, мученицей и скончалась, за одно это помилует ее Господь и простит все грехи и ропот ее. Апостол Павел говорит, что *жена спасается чадородия ради, если пребудет в вере, любви и* чистоте (ср.: Тим. 2, 14–15). Она же нас шестерых возрастила. Царство ей Небесное. Брат Александр тоже умер в начале революции от тифа. Осталось теперь два брата и две сестры.

Соседних помещиков наших — Белосельских-Белозерских и купцов Дубовицкого и Москалева — уже не было и в помине. Старый батюшка был все тот же. Скромный был человек, его не тронули. Больше на родину я не возвращался. Лишь перед самым отъездом мы с мамой сходили за 25 верст на могилу святой бабушки, Надежды Васильевны. Ее могилка была совершенно рядом с кладбищенской часовней. Мы ее уже не нашли: земля заровняла все. Уже тридцать лет прошло после ее смерти. Часовенка, прежде всегда такая чистенькая, была в запустении. Из знакомых еще оставались, вероятно, отец Владимир С-кий да фельдшер П.В. Родников, изводивший мамочку. Но не помню, видели ли мы их с матерью... Хотелось бы хоть еще разок взглянуть на родные места, где промелькнуло светлое детство... Как оно мило!..

Опять назад в Москву... Собор уже кончал свою девятимесячную работу, да и средств не было, и члены

разъезжались. Времена становились все труднее и сложнее. Мне нужно было возвращаться в Крым, на службу в семинарию. Кроме того, я был еще и членом Украинского Собора.

До Пасхи Украина отделилась под гетманом Скоропадским. Собственно, помогли этому немцы. Они это делали из своих выгод, <желая> присвоить так или иначе ее себе, за что они и теперь воюют. Но мы тогда этого не понимали. А если кто и понимал, то думал: жизнь под большевиками не лучше. Жуков[158] прежде говорил нам: что Вильгельм, что Николай, а теперь немного изменили: что немцы, что большевики... Трудно, очень трудно жилось в то время. Но еще понятнее и приятнее казался нам в Москве этот далекий переворот в Киеве потому, что снова зажглись там дорогие слова: родина, национализм... Я должен сказать: эта весть показалась мне точно радостным звоном колокола, который я так любил в детстве. Но переворот совершили не рядовые селяки, а немцы и богатые «хлеборобы», то есть имущественные классы и зажиточные крестьяне. Однако, нужно сознаться, и рядовое сельское население сначала было довольно этим переворотом. Украинцам-индивидуалистам вообще не нравилась коллективная система, а тут еще и пресс большевиков — «москалей», «кацапов» — давил их. И они приняли реакционный переворот спокойно. Нигде не было взрывов и протестов.

Крым тогда считался одной из десяти губерний Украины. Одним словом, почти все, чем теперь временно завладели немцы на юге, было и тогда под их контролем. После Крым преобразовали в Татарскую не то республику, не то область со своим парламентом — «курултаем» — во главе с премьер-министром Соломоном.

В Украине же восстановился почти царский порядок: царь-гетман, министры, министерства. И так же мы пели на Соборе: «Спаси, Господи... победы благоверному гетману Павлу на сопротивныя даруя...» и прочее.



Гетман Украины П.П. Скоропадский

Советская власть вынуждена была пойти на такой разрыв единого тела, потому что воевать против немцев была не в силах. С ними она заключила Брестский мир: нужно было быть лояльными. И первая задача была у нее — справиться с внутренней разрухой и начавшимся Белым движением. Потому советская власть установила отношения с Украиной как совершенно самостоятельным государством: определены были границы, назначены послы и так далее. По-видимому, Украина готова была зажить по-прежнему тихо, безмятежно и светло, хотя бы и не привольно под давлением немцев.

Но не так судила история. Искусственное насаждение не жило долго. Сорвались немцы. Пришли петлюровцы. Немного пришлось Скоропадскому вместе с русскими белыми защищать Киев — петлюровцы взяли верх. И понятно, здесь против белых восстал опять тот же народ, массы. И когда я 4 декабря увидел в Киеве на Софийской площади этих сытых «хохлов» в дубленых полушубках, в теплых шапках, сидевших на крепких лохматых конях так ловко и прочно, будто они составляли одно целое, я подумал: куда же нам, интеллигентам, бороться с этой земной силищей, Микулой Селяниновичем?!

Эти петлюровцы были, в сущности, теми же большевиками, лишь на украинской земле: та же борьба против капиталистов руководила и ими, только тут было больше племенного шовинизма, чем в Великороссии. Но это временно: рабочие классы между собой сговорятся скорее... И скоро Украина тоже стала советской. Но весной 1918 года она еще была гетманской. Туда мне и следовало теперь направляться из Москвы.

Путь был один: через Смоленск на пограничную Оршу. Доехал я туда благополучно. Разделом была железная дорога, которая находилась в руках немцев. По обе стороны лес. На русской стороне тысячи народа: мужики, женщины, дети. Живут прямо в лесу, как дикие звери. И нужно пробраться на немецкую сторону: там



Киев. Смена караула у здания городской думы. 1918 г.

у них имущество, дома, родные. Им уже все равно, русские или немцы, большевики или монархисты, только бы домой, домой! Но немцы их не пускают... Вот отчаянное горе! Вдруг вижу: под проволоку на русской стороне пролезает какая-то баба. Разгуливающий единственный немецкий часовой шел в это время в противоположном направлении от бабы, и она думала воспользоваться этим моментом — перебежать узкую полосу дороги, шагов пятьдесят. Но немец оборотился и, увидев женщину, взял тотчас ружье наперевес и дико крикнул: «Цюр-рюк-к!» Бедная со страхом воротилась, иначе пуля бы кончила ее жизнь... И тут я увидел всю холодную жестокость немцев! Абсолютно никакой жалости! Наоборот, часовому (да и другим) доставило бы садистскую радость такое убийство из-за дисциплины. Окаянные души!.. И то, что они теперь проделывают на нашей родине, не новость: это их характер, это знак «лучшей расы в мире». И какое презрение к русскому народу!

Бесполезно было и нам, то есть мне и каким-то моим спутникам по поезду, украинцам, просить разрешение на пропуск. Тут выручил извозчик-еврей. Он знал, что где-то у берега реки (Днепра или, должно быть, притока его?) есть тайная дорожка, за которой немцы почему-то не догадались еще смотреть: там можно пробраться. Даем ему денег и едем. Действительно, тут стоят два-три других извозчика с «зайцами»-пассажирами. Их багаж осматривают большевики-военные. Мы стащили свои чемоданы. Наш еврей посоветовал дать взятку небольшому осмотрщику. Мы это сделали, кажется, рублей по 25. Солдатики наши мило взяли, наскоро, для виду, осмотрели и махнули: айда! За немецкую сторону они уже не отвечали. Однако нам все же пришлось почему-то направиться в штаб-квартиру пограничной стражи, которая помещалась в деревянном сарае против скопления русских. Тут нас приняли с приличным видом: один — духовный, другие были интеллигенты, а немецкому офицеру, вероятно,

хотелось проявить свою воспитанность перед нами. Мы получили разрешение на дальнейшее движение. Скоро на реке остановился пароход, советский, кажется, а не украинский. Во всяком случае, тут был и большевистский контроль. Мы купили билеты и успокоились. Хорошо помню, что и большевики, и ехавшие с нами пассажиры-украинцы отнеслись к нам дружелюбно. Это были свои, друзья, родные, а не враги немцы... Не дай, Боже, никакой стране попасть к ним в зубы: разорвут, раздавят! И все это с дьявольским сознанием своего превосходства как наилучшей расы! Ужасные душители! Ведь они уже и в Америке готовились взять в руки власть. Один поляк говорил мне в Чикаго:

— Немцы открыто хвастались, что скоро будут править Америкой, везде введут тотчас единый немецкий язык и, конечно, уж не будут церемониться с другими!

Но не допустил их до этого Господь! «Теперь, — говорил поляк, — они замолчали уже!» Но когда Гитлер будет разбит, а он, по уверенному мнению его, конечно, будет разбит, то уж как по всей Европе все народы будут мстить немцам!

Да, кто видел жестокость и холодность обездушенного ума, тот знает, чего можно ждать от них везде.

«А в США немцев, — говорил тот же поляк, — будто бы больше всех: 20 миллионов». Слава Богу, что и Россия, и Англия, и Америка встали против них войной! Этот «цур-рюк-к» запомнился мне навсегда... А что же в России?!

В Киеве все казалось благополучно, мирно и сытно... Я привез с собой какие-то письма от Патриарха Тихона и передал их по назначению духовным лицам. Опускаю другие города...

Из Херсона пароходом по Черному морю сначала в Одессу, потом уже в Крым. Где-то тут повстречался со мной случайный американец. Хотя был лишь май, он уже ел яблоки прошлогодние, платя за них огромную цену, но

у него долларов было много. «Я, — говорит, — имею привычку всегда утром есть натощак яблоки. Это полезно».

Ну, еще бы не полезно?! А нам не до яблок, а хоть бы хлеба да... жизнь сохранить. Он с улыбочками из простого любопытства расспрашивал меня о революции. Конечно, не любил большевиков и был, в общем, совершенно равнодушен к тому, что делается в чужой ему России. Она ему нужна была, вероятно, лишь с точки зрения его делячеких предприятий. «А там ему хоть трава не расти!» — говорит умная пословица, то есть пусть хоть одни обожженные корни останутся без признаков жизни!.. Да и одни ли американцы? А мы? Разве интересовались, что делается у соседей? Разве мы в те же самые дни много думали о Белой армии и вообще о междоусобной братской борьбе? Где-то там кто-то дерется, далеко, нас это не задевает, ну и ладно... «Моя хата с краю, ничего не знаю...» Да, в нашей общей человеческой натуре, у всех лежит эта равнодушная холодность к «братьям-людям». Оттого и войны... Нет, далеко еще нам до братской жизни! Слишком глубоко грех гордости и себялюбия вкоренился в сердце падшего человека. И увы! Не исправить никакими такими путями, как политико-социальные реформы да умственное просвещение. Немного подлечить и подправить еще можно и должно, но корни греха останутся и опять будут давать новые ростки, приспособительно к новым условиям жизни. И лишь одно будет преображение человечества, но оно не в порядке естественных форм и условий...

Однако, безусловно, необходимо искать способов улучшения в этой жизни, насколько возможно для человеческих сил. Искать энергично, добросовестно. Это и является постоянной задачей государства и государственной власти. И христианство не только не относится к земному строительству равнодушно, а, наоборот, чтит власть и благословляет ее за это строительство. Оно возвело власть до Божественного основания: *сущыя власти от Бога учинены суть, мною царие царствуют, и владе-*

тели владеют (Рим. 13, 1; ср.: Притч. 8, 15–16). Государство и власть благословенны Богом, так как они своими путями тоже борются против разрушительного зла.

Занялась с поразительной энергией этим строительством и советская власть. Пусть было много ошибок, жестокостей, несправедливости, гонений, но все же и она по-своему стала созидать Россию.

Я от весны 1918 года уже не был там и потому, к сожалению, не могу писать своих собственных воспоминаний о России и советской власти. Да и моя задача более скромная: говорить лишь о рубеже двух эпох. Однако кое-что мне пришлось еще слышать, узнать от других и о дальнейшем движении социалистического строительства. Запишу для памяти.

Вопрос о Брестском мире советского правительства с великими уступками немцам еще начался при мне. Его некоторые называли очень гадким именем: «похабный». Это слово в просторечии означает «прелюбодейный». Этот мир казался недругам Советов изменой России, Родине, национализму. Насколько помню, и Патриарх Тихон осуждал этот мир, и даже было выпущено особое послание по поводу его[159]. Но мое личное мнение и тогда, а особенно теперь было иное. Случайно — сколько бывает таких случайностей и совпадений! — мне пришлось от Москвы ехать в одном купе с генералом, отправлявшимся в качестве военного эксперта для заключения этого самого мира. Видно было, что ему нелегко далось такое поручение, и он беседовал со мной точно виноватый, с неловкой улыбкой... Понять его легко: отдавать немцам куски собственной Родины своими руками! Но я внутренне не смутился ничуть, наоборот, мне приятно было одобрить его в такой миссии и успокоить его совесть. Он делал необходимое тогда дело. И подобный совет и обрадовал его, но и удивил. Он думал, что я сейчас буду поносить его как предателя, я же, в сущности, благословил его. И не раскаиваюсь в этом.

Как легко писать всякие обличения! Но нужно быть самому у кормила правления да еще обстоятельно знать положение вещей, чтобы предпринимать то или иное решение. И особенно осторожными в этих вопросах нужно быть нам, духовным. Конечно, как гражданам страны и нам важны и близки интересы Родины, но все же мы специалисты в других областях, а не в гражданской и военной. И потому брать на себя ответственность за эти вопросы, да еще когда нас не спрашивают о них, весьма рискованно. Преподобный Сергий благословил Димитрия Донского, но уже тогда, когда тот решил вопрос о войне против Мамая, преподобный же лишь укрепил его, и то по прямой просьбе князя дать ему свой совет. Нельзя нам забывать и то, что Сергий был исключительный избранник Божий, святой человек. Нам же в подобных случаях лучше стоять в стороне. И, во всяком случае, не выступать публично, потому что такими выступлениями можно внести немалое расстройство в дела гражданские и военные. Ведь не выступали же мы при княжеском и царском правительстве, а лишь послушно объявляли по церквам манифесты властей, никогда не входя в критику их. Советская власть делает, она же берет на себя ответственность перед Богом, историей и народом. Правда, были примеры активного вмешательства некоторых иерархов в жизнь государства: Патриарха Гермогена, келаря Авраамия Палицына, а особенно впоследствии Патриарха Никона, сделавшегося вторым царем при Алексее Михайловиче[160]. Но первые случаи были в Смутное время, когда царило почти безначалие, а второй принес немало осложнений в жизнь. И Православная Церковь осудила этого Патриарха. Наше Православие, в противоположность католицизму, не принимает клерикализма или папоцезаризма, то есть управления лицами духовными делами мирскими. И эта линия правильная, евангельская, апостольская. Уже не говоря о Господе, а кто из апостолов вмешивался в светские дела? Ни один!

А в церковных наших канонах есть прямое запрещение духовенству занимать мирские должности. У нас есть свое, особое религиозное дело, дай Бог с ним справиться как следует! Этим мы больше принесем пользы гражданским условиям жизни.

Иное дело — помогать правительству. Это наш долг и как рядовых граждан, и как церковного общества.

Однако почему же Патриарх Тихон выступил с подобным осуждением? И почему он потом написал и другое, еще более важное по своим последствиям, известное послание с «анафемой» большевикам?![161] Конечно, я лично тут был уже совсем ни при чем, но теперь приходится высказывать в этих записках свое мнение по вопросам прошлого, которые происходили именно на рубеже двух эпох.

Я думаю, да простит мне Бог, что Патриарх тогда ошибался, и не однажды, а дважды, в обоих указанных случаях. Мы, православные, не признаем папской непогрешимости ни в догматических, ни тем более в общественных выступлениях (хотя бы и ex cathedra[162], как говорят католики) кого бы то ни было... И сам Патриарх осознал свои ошибки, потому что после заявил о своей лояльности советской власти, и даже прямо сознался в них. И даже объяснил причину своих ошибок: привычка и воспитание в прошлых, неизжитых еще воззрениях.

Кроме того, мне пришлось слышать от некоторых осведомленных лиц, что Патриарх тогда находился еще под влиянием некоторого окружения из лиц чисто политических. Если это верно, то мне называли между другими имя князя Е.Н. Трубецкого[163], бывшего члена Государственного совета, а потом и одного из товарищей председателя Собора, того же владыки Тихона. Ему приписывается (за эти слухи не ручаюсь) и составление самого текста посланий.

Конечно, это не освобождает от ответственности лицо, подкрепившее документы своей подписью, но

отчасти извиняет и объясняет... На подобные вопросы мог бы дать проливающие свет сведения митрополит Сергий.

Можно еще указать в извинение на одно обстоятельство, подсказанное мне советским человеком:

— Еще можно было Церкви держаться уклончивой нейтральности и даже бороться против новой власти, пока шел еще процесс ее установления, но когда она была уже принята и признана народом и укрепилась, тогда борьба против нее Церкви была делом незаконным.

Мне нравится такая широкая и правильная точка зрения. Но в рассматриваемое нами время советская власть уже установилась и была принята всей Россией.

Что касается меня лично, то я даже и сейчас, двадцать пять лет спустя, никак не мог бы взять на себя открытой, публичной ответственности по вопросу о том: нужен ли был Брестский мир с немцами?! Не знаю! Простое обывательское мнение подсказало мне простой ответ: раз у немцев оказалась сила, то выбора не было, следовательно, нужно было принимать то, что навязывали, хотя бы это было и болезненно, и печально. Последствия, впрочем, подтвердили справедливость советской линии: немцы были разбиты союзниками, и все их мирные трактаты лопнули как мыльный пузырь (так будет и теперь).

...Я здесь, в этой части записей, заговорил об этих вопросах потому, что считаю их не церковными, а политическими, относящимися к советской власти.

Патриаршее послание об «анафеме» немало причинило вреда и потом: во всех Белых армиях и в эмиграции его печатали, перепечатывали и распространяли как средство политической пропаганды против советской власти.

Второй вопрос — об изъятии правительством церковных ценностей в пользу голодающих. Золотые и серебряные кресты, сосуды, украшения, оклады икон и прочее должны были поступить в государственную



Судебный процесс по делу об изъятии церковных ценностей. Подсудимые в зале суда. В центре первого ряда – сщмч. Вениамин (Казанский). Петроград. Июнь 1922 г.

Митрополит Вениамин выступает на заседании суда

собственность. Но начались протесты и мирян, и духовенства.

Я и сам понимаю, как болезненно религиозному человеку отдавать святой крест или Чашу в руки неверующих людей. Еще более прискорбно думать, что эти ценности пойдут так или иначе не на голодающих, а на поддержку той же безбожной власти, как и говорили тогда протестующие. Ссылались и на каноны Церкви, которые действительно воспрещают подобную отдачу церковных вещей[164].

Но бывают в истории моменты такие, когда приходится не слушать сантиментов сердца, а действовать по разуму. Колоссальный голод — событие чрезмерное. Тут следовало не только не слушать своего голоса, но и мнения верующих мирян. Возьму сравнение: если бы Минин с церковной паперти нижегородского собора попросил бы храмы и духовенство отдать эти ценности на спасение отчизны от поляков, разве архиерей, отцы и верующие отказались бы тогда? Не думаю.

Если же советская власть захотела бы употребить или действительно употребила бы церковные ценности на иные цели, а не на голодающих, в том ее ответственность, а не Церкви, не наша. Церковь же исполнила бы лишь свой долг любви к народу.

Каноны? Да. Но каноны, как нормы, вообще-то приурочены к нормальным, мирным временам и условиям жизни, а не к исключительным. В исключительных же случаях и законы изменяются. Есть такой пример. На V Вселенском Соборе обсуждался вопрос об Иве, епископе Эдесском[165]. И между многими иными обвинениями ему ставилось в вину то, что взяты были церковные сосуды на выкуп пленных (этот обычай тогда был не редкостью и никого не смущал, наоборот, считался добром, и Собор его не осудил), но и пленных не выкупили, и сосуды исчезли... Тогда многое неподобное творил племянник Ивы, тоже епископ, Даниил.

Из этого мы видим, что Церковь, как организм свободный духовно, может в разное время различно поступать, руководствуясь совестью и Божиим Духом.

А сколько было тогда жертв? Нужны ли они были? Не думаю. А объясню их не столько ревностью по религии, сколько политическим протестом против нелюбимой власти. Эти мысли мне не сейчас лишь пришли. Я в то время был в Сербии. И на пути в Хоповский монастырь[166] все время думал и беседовал с сопутствующим лицом о том, что я бы отдал тогда сосуды и кресты.

А теперь припоминаю случай аналогичный. Керенский в свое время тоже призывал к жертвенности на борьбу с немцами. У меня тогда был такой подъем, что хотел я отдать и панагию, и крест с груди, и митру. А один батюшка, отец Ш., отдал так единственный свой нагрудный крест.

Между тем, в связи именно с изъятием церковных ценностей погиб безвременно тот самый митрополит Петроградский Вениамин, о котором я, с высоким уважением, упоминал раньше. Мне пришлось в Париже слушать изложение судебного процесса над ним из уст самого адвоката его, еврея Гуревича (или Гурвича?)[167]. И тогда мне не показались убедительными мотивы отказа в отдаче ценностей, кроме одного, что таково было распоряжение Патриарха. Конечно, через 25 лет, да еще заглазно, да еще и без исторической перспективы, судить людей опасно. И может быть, я не прав. Но я пишу свои воспоминания и мои думы, а они таковы, какими я их изложил. Нужно помнить, что митрополит Вениамин был искренно лояльным пред советской властью, как мне достоверно утверждал и другой свидетель, его сотрудник по Санкт-Петербургскому Богословскому институту профессор Б-в (потом монах К.)[168]. И, однако же, его осудили, по-видимому, за то, что такими действиями подрывался авторитет власти. Митрополит Вениамин вместе с некоторыми другими, например, с бывшим секретарем

Церковного Собора и членом Государственной думы Шеиным, был расстрелян вне Санкт-Петербурга, и, кажется, неизвестна и могила его[169].

Говорили и писали, но я сомневался в подлинности этого предания, будто в последней речи своей на суде он сказал такую крылатую фразу:

— Душа моя принадлежит Богу, сердце — русскому народу, а тело — вам.

Если бы он действительно сказал это, то я почел бы такие слова более красивыми, чем религиозно правильными. Сердце архиерея и всякого верующего должно принадлежать не только народу, но и власти. А если последней остается одно тело, то тут кроется сомнение в искренности лояльности: одного тела мало для государственной власти. Она — и правильно! — ищет и сердца подданных. Я где-то читал или слышал, что такие слова принадлежат не митрополиту Вениамину, а преданию окружающих лиц, притом внутренне нелояльных к советской власти (известен целый ряд проверенных фактов, что исторические лица не говорили тех громких фраз, которые потом приписывали им современники или потомки). Это вернее. Митрополит Вениамин был человеком вообще искренним, нелицемерным и простым духовно, никогда не любил играть роль, красоваться. А если он был еще и искренне лояльным, тогда и вовсе недопустимы такие неясные и подозрительные слова. Или же можно допустить самое крайнее объяснение (если они были сказаны): тут была некоторая погрешность, которая мыслима в людях и высоких. Один Бог без греха.

Но даже и при такой временной небольшой погрешности все же митрополит Вениамин остается в моей памяти лицом цельным, чистым, благочестивым, простым.

Еще рассказывается про него случай об обмене приветствиями с Патриархом Тихоном в первое, кажется, единственное, посещение им столицы Петра[170]. Па-

триарху, говорят, железнодорожники устроили отдельный вагон, чуть не цветами украшенный. По прибытии в Санкт-Петербург на Знаменской площади возле Николаевского вокзала[171] разрешено было митрополиту Вениамину с духовенством встретить открыто Патриарха с крестным ходом. Фотографии этого и других моментов посещения Патриарха я видел перепечатанными и в известном американском географическом журнале[172]. А вот дальше опять предание. Митрополит Вениамин выразил приветствие Патриарху и радость по случаю его прибытия, закончил речь уверением его, что и сам он, и духовенство, и верующие готовы за веру и Церковь принести всяческие жертвы и даже умереть.

— Умереть ныне немудрено, — ответил не без остроумия Патриарх Тихон. Он вообще был человек с приветливыми и остроумными словами, — а вот надо теперь учиться, как жить. То есть при новых и сложных условиях истории.

Думаю, что такие слова свойственны им обоим. И пророчества их сбылись: один умер жертвою, а другой приспособился жить и сам, и Церковь всю поставил на этот новый путь. Умер же Патриарх Тихон естественно, от разрыва сердца, в больнице Бакуниной[173], а совсем не отравлен большевиками, как это распространяли противники советской власти и про Патриарха, и про генерала Врангеля. Похороны в Москве были грандиозными по количеству народа. Говорят, будто бы Ленин смотрел на эти тысячи людей и не был доволен[174]. Может быть, опять лишь слух? Но естественно, если взять воззрения его как откровенного и ярого безбожника, этого-то факта уже не выбросить из личности Ленина, его писаний и истории.

Раз уж начали говорить о смертях, то упомяну и об обер-прокуроре А.Д. Самарине. В бытность Крыленко[175] комиссаром юстиции он был судим. Держался он (его близкие родственники выехали потом во Францию,

и они, вероятно, это и говорили мне в Париже) на суде искренно, смиренно, со скромным достоинством. Крыленко требовал смертной казни для обвиняемого:

— Иначе, если бы эти люди взяли власть, то они бы нас казнили!

Но суд не нашел за ним преступления и освободил, лишь не дозволил ему проживать в столицах. Насколько помню, он мирно скончался в Ярославле. А Крыленко — пострадал после.

Еще осталось сказать о смерти царской фамилии.

Тяжкая драма русской истории! Что бы ни говорили, это убийство лежит виной и на тех, кто это сделал, и на тех, кто вел к тому десятилетиями, и на тех, кто молчаливо-хладнокровно принял самое событие. Я принял холодно даже и у нас в Крыму, при господстве белых. (На панихиде в Симферополе присутствовал командующий частями войск генерал Шиллинг[176]. По-видимому, больше по обязанности. На обратном пути в монастырь я спрашиваю кучера: «Дмитрий, а что говорят про нового командующего?» — «Не знаю! А так что фамилия-то русская, — он думал: Шилин, от шила. — Должен быть хорошим! Это — факт».)

После (1920 года) в особом послании среди других грехов мы каялись и в этом убийстве, но и тогда не было глубокой печали. И кажется, кровь этой семьи уже откликнулась на множестве других лиц.

Однако очень греховно пользоваться этим трагическим концом для политической пропаганды и для разжигания злобы в сердцах эмигрантов. Между тем так делалось многими и в Европе, и в Америке. Отлично помню, как писали заметку в годовщину смерти его [царя] в Нью-Йорке в «Новом русском слове».

«Была панихида... Пел казачий хор... Священник сказал прочувствованное слово... И не знаешь, что сильнее жило в сердцах: любовь ли к мученику-царю и его семье или же ненависть к большевикам?!»

Плохая молитва с ненавистью. В Евангелии сказано, что лучше тогда и не молиться, а сначала следует примириться с врагом и потом принести молитву и жертву Богу! Иначе и *молитва будет во грех*, как сказал Давид в псалмах (Пс. 108, 7).

А если убиенные — мученики, то угодна ли и им такая «любовь» с ненавистью? Наоборот. Если они сподобились Царства Божия (а этому нужно верить), то они там молятся апостолу Стефану[177], который при побиении его камнями молился об иудеях подобно Христу:

— Господи! Остави им грех сей!

«И лицо его было в тот момент *как лицо Ангела*», — повествует врач Лука[178] со слов свидетеля Савла, после — апостола Павла. Вот истинно христианская молитва.

К этому я могу добавить даже, что я знал лично нескольких людей, которые верили в другую версию, что царская фамилия была будто спасена и осталась жива. Один просто верил в это, другой не мог привести доказательств, третий, наоборот, всячески обосновывал и доказывал это и даже утверждал, что сам видел царя. Но все это было неубедительно.

Однако я сам написал запрос некоему человеку, которого знал как святого и который тоже видел сего — предполагаемого царя. В ответ получил письмо: «Этого человека многие считали за Великого (то есть царя), но он сам утверждал, что он лишь полковник».

А от одного, тоже «очевидца», я слышал совершенно обратное, что будто он видел... Но не хочу даже и писать об этом.

Приходилось за границей встречать некоторых великих князей и княгинь, но никогда никто из них не говорил ничего подобного о жизни царя. Наша Церковь в России не принимает такой версии, это мне известно доподлинно и документально. Так, помимо всего прочего, должны думать и мы, верующие дети Церкви. И я поминаю их всегда на проскомидиях как усопших... Да и тот,

предполагаемый «великий» уже скончался несколько лет назад схимником с именем Кассиан...

В заключение этой главы мне хочется сказать очень коротко вообще об отношении моем к коммунизму как политическо-экономической системе. Не с церковной точки зрения буду говорить сейчас (об этом будет речь дальше), а с точки зрения тоже общечеловеческой.

Суммарно я мог бы высказать теперь такие положения.

1. Искренно сознаюсь, что я не специалист в экономических вопросах, а они чрезвычайно важны. И если разные ученые, и весьма добросовестные, спорят о них, то я не смею добросовестно решать что-нибудь серьезно и окончательно.

2. Защищать капитализм во что бы то ни стало, особенно в его резких формах, нет оснований; наоборот, многое в нем труднопереносимо и рабочему люду, и даже мне, то есть эксплуатация человека.

3. Социалистический элемент присущ решительно всякой общественной системе, где личность всегда ограничивается в пользу общества, а общество обслуживает личность. Всякое государство по природе социалистично. Различие лишь в степенях.

4. Коммунизм есть форма социализма лишь в высшем его направлении.

5. Но при осуществлении разных ступеней его приходится считаться с наличностью реальных условий: места, времени, исторического развития, психологии общества и тому подобного (и Ленин, и Сталин — как я читал у них — устанавливают эту точку зрения контроля теории жизнью).

6. Психологически, считаясь с греховной природой человека, любящего «я» и все «свое», коммунизм трудно проводим в жизни, особенно где общество и массы привыкли к довольной индивидуальной жизни; а в странах бедных, но духовно моральных, скорее осуществим.

7. Материалистическая философия экономического коммунизма совершенно не связана по существу с той или иной хозяйственной системой, но на практике идеологические течения действительно бывали нередко агрессивны к вопросу об улучшении положения рабочего класса.

8. Предполагаю, что провести коммунизм во всемирном масштабе сейчас невозможно, да и вообще едва ли возможно; в отдельных странах он относительно осуществим. Однако всякое существование этой идеи возвышает и улучшает рабочий вопрос во всем мире.

9. Никакие формы экономики и политики не искоренят мирового зла, так как оно имеет более глубокие корни в человеке.

10. Счастье человечества не в благоустроенности земной, хотя и можно, а государству и должно, стремиться к этому.

Намеченные пункты не являются для меня окончательными, потому что я мало наблюдал над этой стороною жизни вообще, а над социалистическим опытом Советского Союза в частности.

Но иногда мне приходилось испытывать глубокое чувство горечи при виде людей угнетаемых, обижаемых. И тогда сильнее желается улучшение их положения.

И обратно, наблюдения над жизнью большинства капиталистов и богатых привели к убеждению в моральной опасности этого строя и для них самих, и для масс.

Например, помню одну фотографию в Париже.

Собрались представители так называемой Торгово-промышленной группы на какой-то юбилей или празднование. Длиннейший стол. На нем горы бутылок вина и прочего. По сторонам стоят люди, более чем наполовину упитанные, толстые, удовлетворенные. И я подумал: неужели я обязан защищать этих?.. Никак!

Другая картина здесь, в Америке.

Рабочие выходят из шахт. Грязные, усталые, невеселые. И среди них я не увидел ни одного толстяка.

Неслучайно же это? Так неужели я не должен пожелать им улучшения положения? Обязан и хочется.

Или прочитать книгу американского писателя Стейнбека «Гроздья гнева»... Не верится, чтобы это было в наше время в богатой Америке!

Вопрос о социализме есть рабочий вопрос всего мира: так я его прежде всего и принимаю. И желаю им лучшего.

В России положение трудящегося класса стало гораздо лучше теперь, чем было прежде. Война нарушила жизнь, но она будет восстановлена. Социализм будет расти. Но и Церковь не будет унижаема... А вера — на свободу человека.

Но нужно всякому знать, что революция — страшное дело! И потому мудрые государственные люди, а также имущественные классы должны идти навстречу действительным нуждам бедных рабочих людей. Это они обязаны делать и ради Бога, и ради государства своего, и ради ближнего, и даже хотя бы ради самих себя. Лучше исправлять недостатки мирными путями и законами.

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ

«Красные»... Красный цвет всегда служил символом подъема, возбуждения. Бывает радостный подъем: любовь, яркая жизнь, красная зорька, солнце красное, Пасха красная, яичко красное, рай прекрасный, красивый человек, красный кумач, красный сарафан. Или бывает подъем от возбуждения, воспаленности, раздражения, гнева. Красное знамя — символ борьбы, революции, войны; красная кровь, красная рубаха палача, красное лицо в гневе, красный цвет при бое быков, краснуха — болезнь, красное пламя, «красный петух», то есть пожар, «красное дело» — убийство. Во время этой войны у женщин в Америке появилась мода на красное — от шапочек до туфель. Спрашиваю одну: почему они носят этот цвет? «Знак любви и борьбы», — ответила она поукраински.

В России красными назывались, конечно, от революции. Но этого имени в 1905 году и даже в февральской революции еще не было. Оно укрепилось после большевистского переворота.

Но почему назывались «белыми» противники их? Иного цвета не оставалось для них, как этот. Черный? Но это знак смерти и отчаяния. К тому же в истории первой революции «черная сотня» означала крайне правое направление, неприемлемое огромнейшему большинству граждан.

Желтый цвет — знак солнечности, золотого хлеба, например, на Украине «жовто-блакитный (желтоголубой) прапор», знак солнца и полей и голубого неба. Слишком мирный или торжествующий, счастливый

цвет. Иногда желтое означает сумасшествие и дурные притоны: «желтый дом», «желтый билет».

Зеленый цвет означает спокойную жизнь среди лугов, зеленых лесов; цвет надежды, а иногда и тоски — «тоска зеленая». Были во время революции и «зеленые» отряды: они не были ни с большевиками, ни с белыми, скрывались в зеленых лесах.

Синий? Маложизненный цвет, не бодрящий, а успокаивающий, небесный цвет, глубоко-синий, охлаждает душу, умиряет как сам, так и отраженный в воде холодной: море синее, синица — осенняя птица, синева небесная.

Оранжевый, фиолетовый цвета — промежуточные, первый из красного с желтым, второй — из красного с синим, знак сочетания чистого неба и горячей крови.

Оставался белый. Знак чистоты принципов, невинности, мира, правды, истины. Белый голубь — с оливковой ветвью мира; белая одежда кандидатов и чиновников Рима; белковые вещества — питание живущих; белье чистое; белые <снега> холодные, но они охраняют от морозов прикрытую ими на время жизнь растений; «царь белый»[179]; военные белые кители на офицерах, рубахи на солдатах и штаны на матросах: они защитники мирной жизни своей страны и чистоты своего дела и кораблей; «белый генерал» (Скобелев)[180] — не только для выделения среди «серой массы» солдат и офицеров, но и как символ правого дела русских среди хищников, как носитель культуры среди диких племен, света среди тьмы; свет Божий, свет мира; белая чистая свеча Богу; белая рубашечка на новокрещенных и причастниках; белое подвенечное платье; белая горностаевая мантия; белые нежные ландыши, розы, цветы; Москва белокаменная; белый саван...

Какой милый, чистый, мирный цвет!

И его взяли белые... Главное основание: противоположность красным революционерам-разрушителям.

Но вот меня заинтересовал вопрос: были ли белые в первую революцию 1905 года? Нет. Вместо них тогда явились «черные». А в феврале 1917 года? Тоже не было еще. Почему? Потому что в те революции эти люди, которые потом влились в Белое движение, сами были явно или тайно в рядах революционеров, более или менее мирных. Революция была их, и протестовать тогда еще не было против кого; с черными же сливаться невозможно, красными быть опасно, да и мирны они еще были для красного цвета. А вот когда пришла настоящая революция, радикальный переворот, тогда мирные элементы и отобрались для борьбы против него. Туда пошли и правые (но не «крайне-правые», черные), и кадетская партия, и октябристы, и имущественные люди, и вольные зажиточные казаки, и военные-офицеры, и духовные, и интеллигенты. Революционные промежуточные партии остались в середине между большевиками и белыми; боролись с красными, но не пристали к белым, за исключением отдельных единиц (Бурцев[181], Аладьин[182], Алексинские[183] и другие. Однако их нужно считать ближе к белым, чем к красным. И думаю, не случайно отбились они от большевиков и боролись с ними.

Белые справедливо обособили себя от красных. Но действительно ли мы были такими белыми, чистыми и светоносными? Об этом скажет еще история. А я запишу, что мне известно как одному из участников Белого движения...

В народе называли их еще «кадетами» по имени конституционно-демократической партии («к-д»), которая имела силу в Белом лагере. А мне приходилось от простых людей слышать и другое объяснение: эта армия состоит-де из мальчиков-кадетов, учеников кадетского корпуса (была там горсточка и их), то есть несерьезная армия, а детская, несильная. Но вскоре после этого слово «кадетская» исчезло.

Пытались — и при Деникине[184], и при генерале Врангеле[185], — вводить слово «русский»: Южнорусское правительство, Русская армия, Русская гвардия. Но и это не привилось в массах народа. А что же там, у красных, разве не Россия?

Да, тогда красное правительство не хотело называть страну Россией, потому что помимо русских там были и украинцы, и грузины, и татары, и армяне, и калмыки, и таджики, и все они образовали единый Советский Союз народностей. Кроме того, слово «Россия» напоминало великодержавную власть, которая старалась русифицировать меньшинства. Наконец, коммунистический интернационал имел целью сливать все народы во единое целое, все нации — в интернационал. А Россия — лишь одна нация среди других, пусть самая большая, но не всецелая «Россия» — отзывалась больше национализмом, чем интернациональный «Советский Союз». Правда, вначале все же это слово употреблялось в заголовке: РСФСР — Российская Советская Федерация Социалистических Республик. Но потом первое слово опустили, осталось СССР — Союз Советских Социалистических Республик, или, короче, Советский Союз. И только много после, приблизительно к 1935–1936 году, мы в Америке стали опять в картах и литературе встречать кое-где и слово «Россия». Нас это удивляло и радовало. Постепенно это слово стало учащаться все больше.

А когда мне пришлось в прошлом году повстречаться с советским студентом Красавченко (спутником Людмилы Павличенко)[186], он в разговоре объяснил мне, что теперь и на Родине иногда употребляют уже это слово вместо или параллельно с «Советским Союзом», потому что «все понимают, что фундаментом других народов и всего Союза является, конечно, Россия». А иногда говорят «Советская Россия». И сам он при мне иногда употреблял одно слово «Россия».

А язык человеческий, как и язык цветов, вещь не случайная, а связана с духом и сущностью обозначаемых предметов. И обращаясь к имени «Белое движение», я полагаю, что в нем уже предопределялась и предрекалась не победа над красными, а поражение. Почему?

История народных стомиллионных масс тогда была красная, революционная, а идти против стихии таких колоссальных исторических штормов всегда было бесполезно и гибельно для меньшинства, по крайней мере в начале бури, пока она бушует. Затем «красное» обозначает психологический напор, фанатическую веру, пламенную энергию, революционную страсть, стремительную силу, безумный пафос, против которых трудно стоять иной психологии. Далее. Жизнь никогда почти не возвращается назад в полной мере, а если когда и возвращается, то ненадолго. Консервативные старые начала не могут устоять перед веянием новых. И прав был Патриарх Тихон, когда говорил митрополиту Вениамину: «Надо учиться жить при новых условиях, иначе придется умирать».

Белое же движение, как и всякие контрреволюционные движения, было не народно-классовое, а интеллигентско-буржуазных небольших классов. Психология его была не стремительно-напористая, а защитно-мирная. Цели были — восстановление, в общем, прошлого, а не создание нового. Можно сказать, Белое движение было остатком петербургского периода истории XVIII–XIX веков. И даже самое имя «белый» было слишком мирно для момента. Это была бо́льше идея, чем страсть; больше долг, чем сердце; больше теория, чем жизнь; больше принцип, чем сила; больше мир, чем война.

Потому я и говорю: в самом имени предсказан был наш конец.

Какими же принципами руководилось Белое движение?

Хотя я потом принимал весьма близкое участие в нем и занимал высокое положение как епископ армии и флота и член совета министров от имени Церкви, и даже был лично близок к вождю генералу Врангелю, но и тогда, и теперь сознаюсь: у нас не было не только подробной политико-социальной программы, но даже самые основные принципы были не ясны с положительной стороны. Я и сейчас не помню каких-нибудь ярких лозунгов: а как бы я мог их забыть, если бы они были?! А что помню, то было не сильно, не увлекало.

И можно сказать, что наше движение руководилось скорее негативными, протестующими мотивами, чем ясными положительными своими задачами... Мы боролись против большевиков — вот общая наша цель и психология. Предполагалось, будто всем ясно это. Но на деле было не так.

Например, при генерале Деникине была в большом ходу формула: «За великую единую неделимую Россию». Хорошо. Это означало, что Белое движение против отделения от России Украины, Дона, Кубани, Кавказа, Бессарабии и Прибалтийских стран. Мотив, как видно, внешний — территориальный, количественный, империалистический, а не внутренний, не политико-социальный, не качественный. Ведь и большевики могли бороться, и боролись, и успели за «единую великую неделимую» страну. Но какую? Разве ту, за которую боролась и Белая армия? Конечно, нет.

Дальше. Мы говорили: «За Россию». Тут уж больше смысла. Этим говорилось, что мы против интернационализма (который тогда неверно смешивался с масонством, против коего боролась и сама советская власть, как видно из судебных процессов во время «чистки»), за национализм. Но большевики с бóльшим правом могли отвечать, что и они за нации, но без угнетения, а за свободное развитие их в едином, но свободном союзе. И нужно теперь признаться, что культура отдельных

наций и меньшинств развилась теперь там так, как и не мечталось при прежнем режиме и Белом движении. Я, например сам лично из уст генерала Деникина на банкете в Симферополе слышал подлинные слова: «Карты Украины биты!»

Этого никакой ответственный советский деятель никак не говорил и не скажет. Это противоречило бы самой сущности и задаче интернационализма, который признает любовь каждого и уважение всех к нациям, но не господство, не шовинизм, не угнетение над ними одной. Следовательно, в Белом движении был национализм, но великодержавный, великорусский. Это не могло уже удовлетворять меньшинства во время революции. Кое-как еще потом мирились с атаманами донскими, кубанскими, терскими, но и то неискренно и вынужденно, а про гетманство украинское даже и не упоминалось. Там восстанавливались прежние губернии.

Что касается политического строя, то он был неясный, «непредрешенческий»: вот покончить бы лишь с большевиками, а там «все устроится»... Как? Опять Учредительное собрание, прежде разогнанное Железняком?[187] Нет! Об Учредительном собрании и не упоминалось. Что же? Монархия с династией Романовых? И об этом не говорилось, скорее, этого опасались, потому что едва ли народные массы воротились бы к старому. Конституция? Да, это скорее всего. Но какая, кто, как — было неизвестно. В общем же можно было лишь догадываться, что идет движение за реставрацию какихто форм старого строя. Это, разумеется, многим из нас нравилось, как привычное, свое, известное.

Каковы социально-экономические задачи? Тут было ясно: восстановление собственников и собственности. Ничего нового при генерале Деникине не было слышно. А народ всегда думал о земле. При генерале Врангеле будет нечто новенькое...

Осталась религия. Конечно, белые были или считались религиозными. В действительности в общем так и было. Но у многих эта вера была прохладная, как проявление традиции, старого быта, ушедшего строя и, конечно, как противоположение безбожным большевикам. Это была, так сказать, одна из официально-государственных форм Белого движения. А попадались и открытые атеисты, после расскажу. Однако не в них дело, а в целях движения вообще: оно не ставило себе задачей защиту веры.

Генерал Кутепов[188] в присутствии генерала Врангеля в вагоне рассказывал ему и мне следующий очень характерный случай.

Когда был обсужден вопрос о целях войны, дошли и до веры. По старому обычаю говорилось: «За Веру, Царя и Отечество». Хотели включить первую формулу и теперь, но, рассказывает очевидец Кутепов, генерал Деникин как честный солдат запротестовал, заявив, что это было бы ложью, фальшивою пропагандой, на самом деле этого нет в движении. С ним согласились, и пункт о вере был выброшен из проекта. Такая откровенность делает честь прямоте генерала, но она показывает, что в Белом движении этого религиозного пункта не было, а если пользовались им после, то лишь в качестве антибольшевистской пропаганды. При генерале Врангеле и здесь было внесено в формулу нечто новое, как увидим... Повторяю, это не значит, что белые были нерелигиозными. Сам генерал Деникин потом в Париже был даже членом приходского совета на Сергиевском подворье. Но не религия двигала белых. Это факт.

Итак, чем же воодушевлялись мы в борьбе? Старыми традициями: великой Россией, национализмом, собственностью. А еще? Ненавистью к большевикам, которые шли в этих линиях по новым социальным путям или понимали старые иначе. Все это наше и слилось около одного главного имени «Россия» — в общем прежняя.



Генерал А.П. Кутепов

А нас, верующих, гнала в это движение и борьба большевиков против религии — тайная или явная.

Но при всем этом, безусловно, должно отметить, что в Белой армии и большой дух жертвенности: не за корысть, не за собственность даже, а за Родину, за Русь вообще. Кто не примет этого объяснения, тот не может понять Белого движения! Большевики казались губителями России. И честному русскому нужно было бороться против них! История знает, с какой готовностью люди отдавали себя на раны и смерть. Вот три-четыре факта.

Подполковник И., командир танковой части Корниловской дивизии, говорит при мне: завтра выступление, он ранен уже 14 раз, пойдет и завтра на смерть за Россию... Был убит. Генерал В., ранен был чуть не 21 раз... Убит. Или обхожу я как-то ночью Перекопский вал, отделявший Крым от материка. Костры были запрещены, но кое-где коптились две-три щепки. Вижу — молодежь. Подсел к ним. Они не знают, что я архиерей. Знаков отличия не имел тогда. Грустно разговаривают... Еще безусые... Дети аристократов.

— Батюшка, — спрашивает один, — неужели мы проиграем? Ведь мы за Родину и за Бога!

Я утешал... И как было жалко этих юнцов! И какие они были милые и еще наивные. Где они, рано вылетевшие из теплых гнезд птенцы?

Но нельзя умолчать и того, что Белая армия не была народной, потому что вожди и значительный состав ее были не из народа, а из высших классов, из привилегированных сословий.

Осуждать теперь легко. Но ведь все делалось постепенно, и мы не могли измениться так быстро!

Если же сравнить участников Белой армии с теми, которые остались у большевиков в тылу, притаились или приспособились к ним, то, несомненно, белых можно считать героями, которые все же отдавали жизнь свою. Пусть мы ошибались, пусть не понимали еще многого,



Генерал А.И. Деникин

но субъективно белые заслуживают исторического признания как люди, любившие Родину и павшие за нее жертвою. Но какой объективный смысл был в этой борьбе? Ответить нелегко. Вот и сейчас, описывая эти события, затрудняюсь сказать. И пока не стану придумывать смыслов, а лучше перейду к фактам. Может быть, к концу их яснее будет и смысл...

По обычаю своему, стану рассказывать случаи, они ярче показывают лицо истории, чем отвлеченные суждения.

Еще при Керенском началось Белое движение в виде так называемого Корниловского похода[189]. Про самого Корнилова[190] говорили, что он ничуть не был реставратором. Происходя из казацкого сибирского сословия, он был демократом, но революция развалила армию, открыла немцам путь на страну. Революционные вожди не могли остановить разрухи, пламя все сильнее бушевало. И смелый, способный Корнилов попробовал прервать стихию... Нам это было по душе, конечно, хотя мы и помалкивали. Власть была у революционеров, у Керенского, а за ним сзади сидели уже «Советы» большевиков... Шли какие-то слухи, будто Керенский сговорился тайно с Корниловым, лишь бы избавиться от Советов. Но кажется, это неверно. Корнилов потерпел неудачу, был арестован, но потом бежал. И кажется, с ним бежал и генерал Деникин. Они скрылись в кубанских плодородных степях. И там начали организацию Белой армии. К ним прибыл и пожилой уже начальник Главного штаба, генерал Алексеев[191], который и стал, как старший, во главе.

Теперь читатель и представить не может, как началось это движение буквально из нескольких человек. Без оружия, без финансов, без провианта — горсточка людей отважилась на борьбу почти с Голиафом... И эта армия — Деникин — занимает потом почти весь юг России, до Орла. Восток, от океана до Волги, будет в руках адмирала Колчака[192] и чехов; на западе двигается какой-



Генерал Л.Г. Корнилов

то генерал Бермут[193] и поляки, руководимые французским генералом Вейганом[194]. Около Петрограда захватил власть генерал Юденич[195]. У Архангельска правит с англичанами и американцами (я недавно лишь был на банкете у последних, теперь они — за советскую власть) генерал Миллер[196]. Когда видишь, что у большевиков осталась лишь самая сердцевина страны и Москва и будто бы они (такие ходили слухи) готовили уже аэропланы для отлета (куда — не знаю), то я удивляюсь двум вещам: первой — тому, как могли белые пробраться так далеко и глубоко; а второй еще больше — как красные могли все же потом нанести сокрушительный удар по всем этим фронтам?!

Не моей неопытности разобраться в этом... Если же осмелиться сказать, что главная причина была все же в том, что наша армия была не народная... Хотя народ и пропустил белых через себя, как сито, но сзади и с боков, и спереди были не друзья их, а или враги, или чужие. И потому это окружение большевиков было, по-моему, призрачное. По географическим картам было забрано много, но все это держалось на небольших вооруженных отрядах тоненькими ниточками. У советской же власти хоть и небольшой был кулак, но народный, рабочий и отчаянный. А во главе их стоял человек небывалого авторитета и даровитый Ленин, фигура исторического масштаба, какой у белых не было.

И движение наше покатилось обратно по всем линиям довольно быстро. Но я забежал опять... Пишу, как пишется, как встают воспоминания сами собой...

Хорошо помню, будучи членом Собора в Москве, как там тайно формировались дружины офицеров и маленькими группами просачивались на Юг... Об этом говорилось между нами шепотом, но сочувственно, что понятно.

Однако это движение было так далеко, так ничтожно, что мы и не придавали ему значения: «где-то»



Слева направо: генерал Н.Н. Юденич, адмирал А.В. Колчак, генерал Е.К. Миллер, генерал Я.А. Слащев

«кто-то» дерется «там». Какие-то горячие головы, благородные жертвенные смельчаки, да что тут может быть серьезного?!

Это вроде истории с московскими юнкерами. Ну, что же! Еще погибнут тысячи их и только? Бедные запоздавшие, оторвавшиеся от тучи облачка? «Вечерние жертвы» — как красиво назвал их писатель из казаков И.А. Родионов... Так, так!

Но тогда многие думали не об успехе, а о долге, о зове совѐсти и сердца, а они всегда требуют жертв, иногда смертельных. И не нужно, пожалуй, бросать камнем во все движение, а признать моральную ценность его как такового, независимо от разных принципов и результатов. Это будет правильная историческая оценка, а не партийно-пропагандная. И большевикам нужно уважать врагов своих. Это честно и благородно будет для первых и правильно, заслуженно для вторых. Нельзя забывать, что и белые, и красные желали добра одной и той же стране, своей России! Только пути были разные. Ибо время и люди еще были разные... История делается не по щучьему велению, а складывается кирпич за кирпичом...

Однако это не заставит меня замалчивать и темные стороны и факты, о которых я потом буду рассказывать. Боюсь лишь, как бы эти случаи не создали у читателя отрицательного впечатления. Если это так выйдет, то прошу его запомнить вышесказанные строки об основном жертвенном патриотическом настроении Белого движения! Потом я расскажу о советской Марусе, которая поняла белых и даже пожалела их...

Не буду описывать истории движения: это и не очень важно, да и мало знаю о том, что делалось за пределами Крыма. Лучше расскажу мои впечатления о виденных мною вождях и главных героях, и о которых довелось кое-что слышать.

Генерал Алексеев. Скромный, деловой, честный труженик своего дела. Отдал свои силы на немецком



Генерал М.В. Алексеев. *Фото 1918 г.*

фронте, а старость — неродной земле. Недолго прослужил, скоро умер. Я видел в Софии дочь его: такая же скромная, чистая, умная, религиозная девушка. Яблочко от яблоньки.

Генерал Корнилов. О нем ходили легенды о побегах из немецкого плена, а потом и советского. Я видел лишь почерк его: довольно мелкий, но красивый и ясный. А в конце фамилии — росчерк резкой стрелой вниз, показывающий силу, решимость и быстроту действий. Убит он, как рассказывал мне один из его адъютантов, случайно. Где-то под Екатеринодаром на Кубани сидел он со штабом далеко от поля действий, в халупе (хате). Случайно взорвавшаяся граната кончила его жизнь. Может быть, и не так? Знающие поправят меня, а я так слышал в Софии, в монастыре «Петроница». В Крыму ходила легенда, что он не убит, а намеренно скрылся в народе и подготовляет его, а потом встанет опять во главе и прочее... Ходили другие слухи, будто потом красные нашли его труп и издевались... Тоже пусть поправят другие, если не так. Пишу и о легендах, они характерны иногда, как отклик дум...

Генерал Слащев[197]. Он командовал при Деникине в Крыму. Это интересный человек, полусказочного калибра. Его я видел сам, живя в том же Крыму. Высокого роста, красивый блондин, с соколиным смелым взором. Он обладал удивительной способностью внушать доверие и преданную любовь войскам. Обращался он к ним не постарому: «Здорово, молодцы», а «Здорово, братья». Это была новость, и очень отрадная и современная. В ней уже слышалось новое уважительное и дружественное отношение к «серому солдату». И я видел, как отвечали войска. Они готовы были тут же броситься по его слову в огонь и воду.

Но когда требовалось принять строгие меры, например, против грабителей, спекулянтов, тот же Слащев не останавливался и перед смертной казнью. Это тоже все знали. И его любили и боялись, но и надеялись. Слащев

не выдаст. И действительно, говорят, однажды большевики прорвались-таки в одном месте. Курьер донес ему.

— Как прорвались? Почему вы к ним не прорвались, мерзавцы? На коней!

И с маленьким штабным конвоем летит в опасное место, воодушевляет свои войска, гонит противников обратно за перевал. Дело ликвидировано... Вероятно, не так все это было сказочно и просто, но такая легенда ходила между нами, и ей мы верили. Значит, верили в Слащева.

Однажды я посетил его в штабе около станции Джанкой. Отдельный вагон. Встречает меня его часовой, изящный, красивый, в солдатской форме. Оказывается, это бывшая сестра милосердия, теперь охрана и жена генерала. Вошел Слащев: на плече у него черный ворон. Одна нога в сапоге, другая в валенке: ранен... Бодрящее и милое впечатление произвел он на меня. Что-что лучистое изливалось от всей его фигуры и розового веселого лица... «Часовой», конечно, не был при нас... Говорили про него, что он пьет, и не вино лишь, а даже возбуждающие наркотики... Возможно!

Когда вступил в командование генерал Врангель вместо Деникина, ему отвели часть фронта. Но будто бы там у него были чисто военные промахи. А другие говорили, что «цветные» войска — корниловская, марковская и дроздовская дивизии, отличавшиеся разными цветами погонов, кантов и прочего, — не любили его потому, что он был не «ихний». Третьи предполагали, что он держался вообще иного духа и тактики, чем «кутеповские» войска (возглавляемые генералом Кутеповым). Ставили ему в вину и нетрезвость, и чудачества. Начались трения, и Слащев должен был уйти в отставку, на какое-то неважное дело. Генерал Врангель, человек справедливый в общем, в разговоре со мной тоже винил его. Я, конечно, не разбирался, не мое дело. Но мы жалели нашего героя, который лето, осень и целую зиму продержал с какими-то слабыми силами Крым.

Когда произошла эвакуация, он вместе со всеми уехал в Константинополь и начал печатно оправдываться перед «судом общества» в своей правоте, а потом и вовсе порвал с белыми и уехал на пароходе к красным, с которыми боролся столько лет. В Москве его убили с улицы через окно. Ходили слухи, что это сделали внутренние белые, мстя за «предательство», другие винили красных. Мне кажется, первая версия правдоподобнее. Мне жаль его...

Ходила про него в Крыму легенда, что он совсем не Слащев, а великий князь Михаил Александрович. Разумеется, это фантазия, но и она говорит о той легендарности, какой окружено было его имя.

Еще вспоминаю, как раз мне пришлось встретиться с ним в его штабе на обеде и вести беседу о необычайном «молебне». Это был печальный, но характерный случай, запротоколированный официально.

Таврический архиепископ Димитрий, как член Южно-Русского Синода, жил в Новочеркасске Донской области. Я, как его викарный, заменял его по управлению в Симферополе. Однажды приезжает ко мне священник из села Малой Белозерки, отец Новоселов, с докладом. Когда красные занимали Тавриду, то штаб их находился, естественно, в священническом доме как самом удобном. Никакого вреда они ему не сделали. Пришли белые и тоже остановились у него, все это в порядке. Но вот в чем новость. В этом селе остановилась так называемая «Дикая дивизия», состоявшая из горцев и других частей, под командованием гвардейского генерала Петровского. Сей командир приказал священнику отслужить «благодарственный Господу Богу молебен» о даровании победы над «красной нечистью». И это все еще мыслимо. Созвали на площади народ. Отслужили. К концу молебна войско окружило толпу. Села в Тавриде огромные, по 5–10 тысяч человек, иногда тянутся лентой на 10 верст... После многолетствования «Дер-

жаве Российстей», правительству и «всему христолюбивому победоносному воинству» начали вызывать по заготовленному кем-то списку более активных в селе «большевиков».

— Такой-то здесь?

— Здесь!

— Иди сюда!

И ему давалась порция шомполов.

— Такой-то здесь?

— Нет!

— А отец его?

— Здесь!

И ему шомполов, что не мог воспитать сына в уме-разуме. Потом отпустили духовенство и всех зрителей...

Так перепороли многих... Всякий может понять, какое уродливое впечатление произвели эти белые на народ! Священник бросился с жалобой к архиерею, а через него к главнокомандующему Деникину. Ему было горько и за паству свою, и за Церковь Божию. Я спросил его, отвечает ли он за подлинность показания. Ведь неправда грозит ему страшной карой!

— Да, отвечаю!

Тогда я написал генералу Деникину официальный доклад, начав его так приблизительно:

«Церковь доселе знала молебны простые и молебны с акафистами. А теперь явился новый вид молебна — "с шомполами"...» Описал все точно. Но ни малейшего ответа не получил, а я архиерей!.. Что же говорить о маленьких людях?!

Прошло месяца два. Я по какому-то другому делу посетил село Н., где стоял штаб генерала Слащева. Длинное чистое село немцев-колонистов. В одном доме — ставка. Генерал приглашает меня на обед. Сам в конце стола. Я направо. Против — другой генерал.

— Прошу познакомиться... Епископ Вениамин... Генерал Петровский...

Здороваемся... Генерал Петровский?! Петровский?! Позвольте!

— Вы не командир «Дикой дивизии»?

— Я!

Начинаю рассказывать историю жалобы.

— Это правда?

— Правда! — совершенно спокойно, с сознанием своей правоты отвечает он мне...

Я замолчал от горя... Но и Слащев тогда ничего не возразил. Темные времена были и при белых... А этот случай не одинокий. Уж заодно расскажу и о других.

Отняли у красных Харьков, Сумы и другие смежные города... Рассказывали, что в «чрезвычайке» (Чрезвычайная комиссия революционной полиции) ужасно терзали арестованных, били, будто «снимали перчатки», то есть опускали руки в кипяток, кожа слезала и так далее. Может быть, и неправда, но говорили[198]... Во время революции многое оказывается возможным... Мучают же теперь немцы даже стариков и детей! Америка не верит, а факты налицо... И понятно, когда приходили белые, то горожане встречали их с восторгом. Говорили, будто бы даже целовали стремена и сапоги у кавалеристов. Но потом? А потом скоро разочаровывались в них. Например, командовавший частью генерал Май-Маевский[199] будто бы отдал город своим войскам на «поток и разграбление» в течение трех дней. И сам упивался. Я совершенно верю этому, потому что генерал Врангель, приняв командование после Деникина, отдал даже особый приказ, чтобы «святое дело спасения Родины делали чистыми руками». И мне он жаловался, как разложились многие среди белых... При нем я даже и не слышал об этом знаменитом Май-Маевском.

Другой факт. Только что красные ушли из Крыма, как по Черному морю точно летел белый миноносец, первая ласточка. Боже, как мы, молча, смотрели на него с радостью и чуть не благоговейно: спасители... Даже

рабочие, образовавшие временную милицию, с надеждой ожидали их и передали власть. И что же? Через два часа пронеслась по городу зловещая молва: прибывшие успели уже избить какого-то редактора местной севастопольской газеты. Температура доверия почти мгновенно упала... Не то, не то, не то!

Прошло еще несколько времени. Командующим войсками в Крыму или комендантом в Симферополе назначается генерал с какой-то двойной фамилией. Не помню ее точно. Очень милый человек, интеллигентный, вежливый, любезный. А в это время, дело было уже зимой, с северных фронтов привезли тысячи раненых и тифозных. Многие замерзли в холодных вагонах. Я сам видел засохшие трупы, как деревянные бревна... О, о! Лютое было время! Не дай Бог никому таких ужасов!

Живых еще разместили по большим зданиям. Часть была в женском епархиальном училище. Военное начальство просит дать училищное постельное белье. Разрешаю, конечно. Приезжаю сам. Длинные спальные помещения не топлены еще. На полу настлана свежая чистая золотистая солома. Тифозные падают на нее почти полумертвые. Добровольцы-женщины стригут их вшивые волосы сначала, потом моют. Отчаянные картины.

Через день-два инспектор училища протоиерей отец А. Зверев приезжает ко мне взволнованный:

— Ваше Преосвященство! Наши одеяла уже гуляют на рынке в продаже. Что же это такое?

Еду к Драй-Драевскому (назову его так). С возмущением докладываю, прошу принять меры. И что же? Он с любезной, но беспомощной улыбкой отвечает:

— Что же я могу сделать? Девяносто процентов воров!

Невольно опустились руки. Так и гуляли одеяла... Но это не единичный случай. Приехал как-то генерал Кутепов, навел немного страху. На нескольких телеграфных столбах между городом и вокзалом повесил пять-шесть

воров с соответствующей надписью для устрашения. Но он уехал, и опять пошло все по-старому.

Тогда пришла (вероятно, кому-то из гражданских начальников) мысль о вызове в Крым генерала Врангеля. О нем давно ходила легенда как о человеке железной воли и даровитом. Но он был не в ладах с генералом Деникиным и даже получил отставку, проживая со своим другом, генералом Шатиловым[200], почему-то в Севастополе на корабле торгового флота «Александр Михайлович», в ожидании окончательного решения дальнейшей судьбы своей.

В это время он, естественно, познакомился и со мною, как с Севастопольским архиереем, приехав в Херсонский монастырь, в трех верстах от города. На этом месте крестился 960 лет тому назад святой князь Владимир[201], и предполагают, что от того времени сохранились нижние остатки стен храма, в коем его крестили. А над ними был воздвигнут огромный чудесный храм в два этажа на средства, собранные по всей России... Какая красота и величие!

В одной комнате архиерейского моего дома, в углу, стояла большая икона Божией Матери древнего происхождения и прекрасного старинного письма. Она ему [генералу Врангелю] весьма понравилась. Я и говорю:

— Вот, когда воротитесь в Крым (а уже вышел приказ генерала Деникина выехать ему за границу в Константинополь) командующим, то я поднесу вам эту икону.

Генерал Врангель произвел на меня тогда сильное и прекрасное впечатление.

И вот стоустая молва и наметила его главой тыла в Крыму. Один человек, служивший прежде при Государственном совете, обратился (значит, по чьему-то организованному поручению) ко мне и другим главам главных религий с просьбой составить делегацию и отправиться к командующему английским флотом в Севастополе ад-

миралу с оригинальным предложением. И вот я и представители Католической церкви, еврейской религии и магометанства, в сопровождении того же чиновника, знавшего английский язык, поехали к главному дредноуту. Адмирал, заранее предупрежденный, принял нас любезно в своем кабинете на корме парохода. Боже! Какая роскошь убранства и чистота! В России — все разрушено, оплевано, оборвано... Даже не верилось: неужели еще на свете существуют спокойно и с властью адмиралы и генералы? Неужели их никто не преследует, не топит? Неужели еще и честь отдают? Странно все это... И я изложил адмиралу как беспристрастному и авторитетному посреднику дружественной белым державы наше желание: передать генералу Деникину просьбу назначить нам в Крым генерала Врангеля.

Адмирал спросил меня:

— Генерал Деникин есть глава правительства. Лояльно ли мы поступаем, прося его назначить сюда лицо, которое даже не пользуется симпатией главнокомандующего?

Я ответил:

— Мы лишь просим. Просить все можно, — а кроме того спрашиваю: — Как бы поступил сам адмирал, если бы интересы его Англии казались ему требующими подобного акта?

Он молчаливо согласился. Вероятно, наше желание было передано им. Но ответа от генерала Деникина опять и на этот раз не последовало никакого. А генералу Врангелю предложено было оставить пределы Юга России. И он выехал в Константинополь.

Я и эту историю рассказал лишь для того, чтобы показать, какой неудержимый развал шел в тылу и как мы, простые обыватели, тоже искали безуспешно каких-нибудь путей остановить его. Видимо, Белое движение, несмотря на внешний рост его, внутренне слабело. Нужно было ждать конца. И он приближался.

А пока я расскажу о себе самом и о моем аресте.

На Киевском украинском Церковном Соборе среди архиереев возникла мысль возвести меня в сан епископа Севастопольского. По постановлению Украинского Синода, возглавлявшегося митрополитом Платоном, с полученного как-то согласия Патриарха Тихона, решено было совершить надо мною хиротонию в Крыму же пятью архиереями во главе с Таврическим архиереем Димитрием.

Сначала это было мне радостно. Но накануне «наречения» (кажется, оно было 18 февраля 1919 года в Севастополе) на меня ночью напал такой страх, что я готов был бы бежать, отказаться, скрыться: таким недостойным увидел я себя. И лишь утром исповедь у молодого духовника отца Леонида несколько облегчила меня... Вечером нам дали специальный поезд (тогда была власть белых, а в Крыму возглавлял татарское правительство караим Соломен). И мы служили походную всенощную в вагоне. По этому случаю один из епископов, Гавриил Челябинский[202], известный остроумец, сказал мне с улыбкой:

— Ну, новонареченный святитель! Если ты начинаешь свое архиерейство с путешествия, то, видно, ходить тебе — не переходить, ездить — не переездить!

Пока это пророческое его слово сбывается. Сам он давно скончался в Софии, разбитый и согнутый в виде буквы «г» параличом... Царство ему Небесное.

На другой день, в воскресенье 19 февраля, была совершена и хиротония. Я все продолжал считать себя недостойным и даже плакал, почитая это добрым знаком смирения. Но после Литургии, часов около трех дня, приехал из Бахчисарайского монастыря мой постоянный духовник архимандрит Дионисий[203], человек исключительный и праведный, впоследствии получивший дар прозорливости. Когда я рассказал ему о мучивших меня чувствах недостоинства, он спокойно ответил мне:

— Это — от диавола, владыка святой.

Меня поразило такое объяснение, а он даром слов не бросал. После хиротонии был большой банкет для духовенства, представителей власти и друзей, человек на сто. Это было редкое торжество в моей жизни.

Между прочим, на Литургии, во время самого момента хиротонии (после «Святый Боже»), в моей мысли пронеслись слова: «Отныне ты должен отдать, если потребуется, и жизнь за Меня», — как бы был голос Господа Иисуса Христа.

В то время я был вторично ректором Крымской семинарии; семинаристы встретили меня как епископа, с сердечною любовью. Тогда мне шел 39-й год. Так исполнилось предсказание валаамского старца отца Никиты. Выше всяких ожиданий, я не только выше «протопопа», но уже сам теперь могу ставить священников. 25 лет прошло уже с тех пор, как мы с матерью шли босиком справляться об экзаменах. Как скоро пролетело это время учения! В целом я учился 21 год! Сколько небывалых штормов пронеслось за эту четверть века... Не верится! И куда унеслась та патриархальная пора детства?! Точно то был счастливый детский золотой сон! А уж не воротиться ему никогда: минувшее минуло. Грядет что-то новое... Что-то будет... Неясно впереди...

По чину архиерейской хиротонии старший рукополагавший архиерей владыка Димитрий вручил мне архипастырский жезл. При этом, по долгу, он сказал приблизительно следующее поучение:

— Ныне среди небесных звезд засияла новая звезда. Среди Ангелов, хранителей церквей, родился новый Ангел. Среди сонма святителей явился новый святитель. Так знай же: отныне ты ничем по существу не меньше нас, и архиепископов, и митрополитов, и патриархов, ибо и они все, по благодати сана, тоже епископы. Ты ныне причислен к лику вселенских святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста[204].

Ты принял апостольское служение. И вот тебе завещание: не бойся говорить правду, пред кем бы то ни было, хотя бы то был и сам Патриарх или другие высокие в мире люди.

Я считаю наставления новопоставленным архиереям голосом от Самого Бога и запомнил святительское слово моего архиепископа (которого любил и люблю) на всю жизнь. По мере сил я выполнял эти слова. Были уже случаи, когда я, не смущаясь, говорил правду в глаза митрополиту Антонию Киевскому, и митрополиту Евлогию, и митрополиту Платону[205]. Говорил ее и генералу Врангелю, и иным высоким лицам. Дай, Господи, сил до конца жизни донести это пророчество.

В том же году постигло меня большое испытание.

Белая армия начала отступать от Орла. В Крыму тоже появилась опять советская власть. В июне, вероятно, меня арестовали. Случилось это так.

Еще и прежде группа сыскной полиции посещала наш монастырь. Пришли и ко мне: «Руки вверх!» Поднимаю. А собственно, зачем? Оружием мы, священнослужители, никогда не действуем и не имеем его... Поднял... Поискали, ничего не нашли... И ушли.

Потом приходила комиссия для набора лошадей. Прежде, еще до меня, в монастыре было несколько отличных лошадей, но давно они были ликвидированы. А стойла остались. В них стояла пара худых старых вороных и еще не объезженный карий двухгодичный жеребенок.

— Где же лошади? Стойл десять? — думали, что мы спрятали.

— Вот все тут.

Кляч не взяли, жеребчика увели.

Но в общем худого мы пока не видели.

А однажды в городе меня посетили две женщины, лет по 40–45. Я людей принимал в предоставленной мне купчихой Пономаревой квартире. Принял одну. Она

плачется, что ее сын служит в Белой армии, может погибнуть.

— Не бойтесь, скоро большевики уйдут!

— Уйдут?

— Да, уйдут.

И она, утешенная, уходит.

Принимаю другую, с золотыми вставленными зубами, что я никогда не любил, особенно в женщинах. У этой муж в Белой армии.

— Скоро уйдут большевики...

Утешил, ушла...

Вдруг мне блеснула мысль: что за странность?! Обе с одной жалобой... Не провокаторши ли? Отворяю аккуратно окно и вижу, как они обе отходят от моего дома и хохочут:

— Какой-то наивный архиерей!

Да, это были из сыскной полиции. Нужно ждать ареста! О, как затосковало мое сердце тогда! Кто этого не переживал, и не поймет. Вот приедут, вот приедут... А бывало, несется какой-нибудь автомобиль мимо, а у меня сердце замирает — за мной! Проехал — ну слава Богу... Особенно страшно было по ночам: большею частью аресты производились ночью, чтобы меньше было огласки от всяких столкновений. Такая была тоска, точно у загнанного борзыми зайца. И чего только не думал: куда-нибудь уйти, спрятаться? Куда? В лес... А дальше? Да я ведь не иголка, найдут. И еще больше подозрения: куда скрылся архиерей?! Нет, это не выход. А что же? И опять ночей не спишь... Тоска, тоска предсмертная... Так прошло несколько дней.

Однажды утром, часа в четыре, только что разыгралась заря, слышу в дверь: стук, стук, стук!

Нечего делать! Встаю, отворяю окно. Вижу, стоят два высоких солдата с ружьями. Значит, за мной.

— Вам кого? — спрашиваю.

— Архиерея арестовать пришли.

— Я архиерей, подождите, отворю.

В это время проснулся и мой келейник, монах Онисим. Хороший, прямой человек. Сам из бедных гродненских крестьян, он не любил помещиков и богатых и поэтому в глубине души сочувствовал большевикам: они за народ!

Пока я одевался, он утешал меня и все повторял:

— Не бойтесь, не бойтесь, владыка! Худого не будет. Не бойтесь! — и по телефону передал в монастырь, чтобы выслали лошадь за мною.

И странно: когда уж меня пришли арестовывать, пропали всякий страх и тоска. Я спокойно вышел с конвойными. Отец Онисим остался, кажется, в городе.

В это время встало яркое июньское солнышко, веселое, жизнетворное, золотое, смеющееся... Какой прекрасный Божий мир! По улицам уже идут из хуторов и деревень торговки с продуктами на базар. Встали хозяйки и прислуга.

— Архиерея повели арестованного!

Меня, конечно, знал весь Севастополь. Весть скоро облетела весь город...

— Куда повели?

— На Артиллерийскую!

А меня повели в монастырь, где в то время происходил всю ночь обыск. Дошли мы до конца города, где была тюрьма. Я увидел, что от монастыря уже едет Димитрий. Обращаюсь к солдатам, они были симпатичные люди, и говорю:

— Давайте посидим на скамеечке у тюрьмы, вон едет лошадь за нами.

И мы мирно сели. А мне подумалось: «Как хорошо бы было теперь сесть сейчас сюда в тюрьму, а не в "чрезвычайку"!» Из тюрьмы начальник выдавал людей по суду или по особому приказу, в «чрезвычайке» же могли убить без всякого разбора. И вспомнилась мне еще русская мудрая пословица, которую повторяли нам и родители: «От сумы и от тюрьмы не отрекайся».

Подъехал Димитрий, и мы покатили к монастырю. Там ходили в военных формах солдаты. Ничего они не нашли. Муки в запасе было что-то около 80 пудов на 30 монашествующих — пустяки... А еще? Еще в моем кабинетном столе нашли несколько сот воззваний какого-то белого комитета о помощи сиротам — детям убитых в немецкую войну офицеров. И? И... фотографическую карточку моего милого Мити Мокиенко. Ее поставили мне в главную улику.

Как только мы слезли с коляски, я направился в свою архиерейскую, большую и красивую, квартиру. Солдаты спокойно предоставили меня самому себе, будто бы они привезли не государственного преступника, а доставили друга в собственный его дом... Но они еще пригодятся нам, читатель.

Конечно, эти записки не представляют из себя ничего чрезвычайного, глубокомудрого. Пусть другие усмотрят за этими картинами что-либо сокровенное, философское. А я просто описываю жизнь, как она уложилась в моей памяти. Так было... Так казалось мне... Все было просто... И пусть читатель, такой же обыкновенный, как и я, не ждет здесь каких-нибудь исторических откровений, политико-социальных ответов мирового масштаба. Может быть, кому-нибудь все это покажется слишком упрощенным, обыденщиною, хотя и в революционное время, но я даю, что могу. А более глубокие люди пусть углубляются уже сами...

Так же просто опишу и «чрезвычайку». Какое это было грозное слово! У меня, как вижу, и она выйдет просто... Пусть не дивится и этому читатель. Жизнь иногда бывает в действительности значительно проще, чем мы ожидаем. И наоборот. Опишу же «чрезвычайку», каковою она предстала мне в реальности. Заранее предупрежу, что мне приходилось слышать о других местах заключения гораздо более страшные вещи, чем я наблюдал тут.

Как уже я говорил, с момента ареста меня добрыми солдатами я стал почему-то спокоен. И это спокойствие не покидало меня потом почти все время заключения, в течение 8–9 дней. Спокойно я приехал, спокойно пошел. Я уже ожидал, что у меня будет обыск. Так и было. Я знал, что у меня не было и нет ничего подозрительного с точки зрения сыска, не потому, чтобы я припрятал что-нибудь, а просто потому, что такого ничего не было. Единственно, что меня беспокоило, это домовая книга, куда вписывались гости при въезде в монастырь и выезде. Среди адресатов был какой-то член кадетской партии, и только. Эта книга небрежно валялась на подоконнике в коридоре перед моей квартирой. И никто не обратил на нее внимания уже потому, что она так открыто была оставлена. Да и чего бы там нашли? Голые фамилии.

Нетрудно было перерыть письменный стол, и тут вот нашли офицерскую карточку Мити. Ну, ясно, архиерей белый, если дружит с белыми офицерами. И потом мне на это указали как на знак «контрреволюции». Спорить было невозможно! Мои разъяснения, что это мой личный умерший друг, не помогли бы, а еще больше отяготили: ага-а, друзья!

А в это время было чудное утро: небо без облачка, тишина, яркое летнее солнышко, зелень деревьев, пахучая трава, рядом — шелест волн мертвой зыби Черного моря! Какая красота! И только человек беспокоен...

Отряд «чрезвычайки» состоял из 10–15 человек во главе с предводителем по фамилии Давыдов, но настоящая его фамилия была Вульфсон, еврей, как он сам сообщил. Я сошел со второго этажа дома вниз. Здесь около дерева собрались все монахи, числом 20–30 человек, и отряд обыска. Давыдов сказал мне, чтобы приготовить им завтрак. Я дал распоряжение соответствующему монаху. А пока между нами неожиданно завязался богословский спор. Я его помню почти буквально.

— Посмотреть на ваше лицо, — обращается ко мне начальник отряда, — кажется, вы интеллигентный человек.

— А в чем же дело? — спрашиваю.

— А в том, что вы все-таки занимаетесь глупостями.

— Например?

— Вот учите, что Христос воскрес!

— А вы думаете, что Он не воскрес?

— Конечно! Просто Он был в летаргическом сне временно.

— Откуда же вы это знаете?

— Я читал одну книжку... гм, гм...

— Какую?

— Не помню уж!

— Может быть, помните автора ее?

— И этого не помню. Я ведь не собирался вести с вами богословский диспут, чтоб запоминать их.

— Я знаю и книжку эту, и автора... Это простая, недавно выдуманная повесть, а совсем не исторический документ. А о подобных вещах нужно говорить серьезно, научно, а не на основании романов.

Он обеспокоился. Но не желая так легко сдаваться, бросился на другой вопрос:

— А вот вы еще учите нелепости, что Бог Троичен!

— Вы думаете, это невозможно?

— Это противоречие: один не может быть три!

Конечно, тут не место было пускаться в гносеологические рассуждения об инородности двух миров, об относительном значении — и то лишь для этого мира — так называемых «законов мышления», которые суть не что иное, как лишь сведенные к общим формам свойства этого бытия. Что эти «законы» абсолютно не могут простирать своего значения на «иной» мир, у которого потому и свои, иные, законы-формы; что всякое бытие, а в особенности Божественное, непостижимо для ума, а открывается непосредственно, и так далее. И потому мне пришлось

обратиться к другому методу защиты — к аналогии, подобию. Конечно, всякий умный человек тоже знает, что никакая аналогия ничего не доказывает и не объясняет по существу, так как все вещи в мире «абсолютны», единственны, неповторимы. Но обычно к ним прибегают, чтобы сбить легкомысленных противников, поставить их в тупик.

— Вы образованный человек? — спрашиваю.

— Да, я кончил реальное училище.

— Тогда я вам могу сказать, что не только из трех, но даже из семи может быть одно.

— Как так?

И он, и члены отряда, и монахи наши слушали меня и наш спор напряженно.

— Очень просто. Вы из физики знаете, что так называемый белый цвет, который нам кажется самым простым, невыкрашенным, в самом деле является самым сложным. Он состоит из семи основных лучей: фиолетового, красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого и синего цветов. Но когда они соединяются вместе, получается белый. Это мы с вами сами видели в школе на опытах физики. Семь и один. И если пропустить этот белый луч солнца через треугольную призму, то один цвет снова разлагается на семь! Отсюда и радуга, как результат преломления лучей в капельках воды. Все это вы знаете. Правда?

Мой оппонент был так озадачен, что ничего не нашелся ответить, а монахи, должно быть, были довольны. В это время отец «трапезный» доложил мне: «Завтрак готов». И отряд за мною пошел в трапезную, шагах в тридцати пониже. Я уже не сел на хозяйское место во главе стола, а занял место справа. Против меня сидел начальник, дальше — члены отряда. Подали молочную кашу (в монастыре были свои коровы на особом скотном дворе), молоко, яйца, масло, белый хлеб.

Чуть не в самом начале завтрака сидевший напротив меня начальник отряда обращается ко мне и говорит,

сжимая кулак (стол был шириною четвертей в 5–6, не больше):

— Я сам бы всех попов перерезал!

Что я мог сказать на это? Если бы он в этот момент и застрелил меня, все равно был бы безответен. Белый архиерей, а разве белые в то время что-нибудь стоили? Для них был один ответ: «К стенке» или «Вывести в расход», а иногда еще говорили: «Отправить в штаб Духонина». Генерал Духонин был при Керенском начальником главного штаба на фронте, потом был убит большевиками-солдатами. «Отправить в его штаб» значило — убить. Мне ничего не оставалось, как промолчать. А что я тогда почувствовал, не помню. Если не ошибаюсь, то мне было «все равно». Странное спокойствие не покинуло меня и тут. А Давыдов еще добавил:

— Вон и того, предателя вашего, тоже нужно бы повесить!

И он указал мне на офицера, сидевшего последним в ряду завтракавших на стороне начальника. Я взглянул на него. Прежде я как-то не заметил его: или он скрывался от меня из-за своего предательства, или я не успел обратить на него внимания среди кучи чужих людей. Между тем он выделялся уже тем, что один из всех был одет в светло-серую шинель, какие носили наши щеголеватые офицеры. Другие были одеты или в коричневые военные рубахи, или френчи. Указанный офицер (так хочется мне назвать его) был среднего роста, но тощий, беловолосый; про таких людей говорят иногда: «Так, ничего себе!» Серое впечатление, но неплохое, обыкновенное. Посмотрев на «предателя» своего, я совершенно не испытал к нему никакого чувства, ни дурного, ни хорошего, а скорей безразличное, немного жалкое: «бедный, несчастный». И могу уверить, ничуть не осудил его. А разве он был хуже сидевшего напротив меня — готового «перерезать всех попов»? Но и к этому я отнесся тоже равнодушно: будто никто ничего не сказал мне. Тогда все

подобное было в порядке вещей, и даже более страшное, то есть реальная смерть стояла перед каждым из нас, белых, всякий час.

Оказалось, что этот белый офицер как-то попался в руки красных, но его не убили сразу, а предложили быть шпионом. Он избрал эту тяжкую долю. Всякий может понять, какое несчастье быть подневольным сыщиком! Недаром иные предпочитают расстрел сразу. И вот он по указанию нового своего начальника направился к духовным лицам, к архиерею и монахам. Священников тогда еще не трогали. А я редко жил в монастыре: дела требовали присутствия архиерея в городе.

Офицер не знал этого, пришел (вероятно, в светской одежде, не знаю) в «Херсонию», так называли наш монастырь, и обратился с просьбой укрыть его от большевиков, как белого. Кто-то из иноков ответил ему, что у нас опасно обеим сторонам: близко город. И посоветовал отправиться в более отдаленный монастырь, Георгиевский[206], стоявший на высоком чудном берегу Черного моря, в 12-ти верстах от Севастополя. Там настоятелем был архимандрит Мелхиседек, ученик знаменитого святого старца отца Ионы Киевского[207]. Отец настоятель был мягкосердечный человек, очень полный, с необыкновенно длинными и густыми волосами с проседью. По доброте и почти детской доверчивости своей он сразу принял «преследуемого», а чтобы его не увидел кто-либо случайно в монастыре, то отец Мелхиседек отправил его на хуторок «караулить рожь». Наблюдателю же только и нужно было, чтобы иметь основание для обвинения... Кажется, из «ржи» он отправился и в третий монастырь — Инкерманский[208] — над бухтой того же имени, потому что, как увидим, в «чрезвычайке» оказались главные монахи из всех трех монастырей.

Завтрак прошел мирно... Кстати, наблюдатель, хотя и офицер, сидел после всех солдат отряда, как низший.

Севастополь Херсонесскій монастырь видъ съ раскопокъ.



Херсонский монастырь во имя святого равноапостольного князя Владимира

Затем начальник объявил мне, что я и другие 4–6 начальствующих монахов арестованы и должны отправиться в «контрольный пункт», так называли еще «чеку» или «чрезвычайную комиссию». Это приказание тоже не удивило никого из нас как ожидаемое. У отряда было несколько автомобилей. Один из них предназначался для увоза архиерея, и потому кому-то не хватало бы тогда места. Все мы — и хозяева, и подчиненные — направились из трапезной к стоянке автомобилей. Но перед тем как уже садиться мне, члены отряда, составленные для охраны меня, видя наше смирение и покорность, говорят:

— Ну, вы и так пешком дойдете, а мы поедем. Садись, товарищи!

И все они сели и умчались. С нами (если не изменила память) остались опять те же два добрых солдата, которые сюда меня и привели. И мы, 7–8 человек, спокойно двинулись обратно в Севастополь.

Ничего, кроме того, что на нас тогда было, нам не позволили взять. Да и зачем? Если смерть, ничего не нужно, если живы будем — вернемся к своим вещам. Но в тот момент никто из нас о них и не думал.

...А между тем утро все было такое же прекрасное, лишь солнышко южное начало сильнее припекать. Когда мы приближались к городу, я увидел на Артиллерийской возвышенной стороне его странное зрелище: над ровным обрывом (или спуском) горы стояли стеною люди... «Как свечи», — подумалось мне... Весь город уже узнал о моем аресте от тех случайных прохожих, которые видели меня еще рано утром: «Архиерея арестовали!» Это вызвало в массе народа сильное чувство неожиданного и большого события. А, слава Богу, простой народ везде (и доселе благодарю Бога!) относился ко мне с любовью, тем более сочувствовал он мне теперь в аресте, за которым часто стояла другая опасность...

Миновали мы опять знакомую тюрьму. В ней мне придется-таки потом побывать, но позднее и при других условиях...

Довели нас до «чрезвычайки». В Севастополе стояли почти рядом два дворца: большой и малый, оба принадлежали морскому ведомству. В малом помещалась «чрезвычайка».

Нас провели в полуподвальный этаж (тот, что в Америке называется «безмент»). И вдруг вижу: тут уже наша монашеская братия! С улыбками расплакались. Те тоже мирны будто бы. Помимо монахов в этой же комнате были два офицера, один купец-домовладелец из Санкт-Петербурга, еще кто-то... Всего в ней нас было, если не ошибаюсь, 27 человек. Почему-то эта цифра всегда в моей памяти об аресте. А пространством комната была невелика: примерно две на две сажени, то есть четыре квадратных сажени[209]. По опыту постройки Тверской семинарии я помнил, что по архитектурным законам постройки церквей на квадратную сажень полагалось по 15 человек стоять. Следовательно, тут можно было бы поместить стоя 60 человек, но мы же должны были еще и спать. Однако скажу, не в тесноте места был вопрос, а в недостатке воздуха. Если б мы не держали окно (было лишь одно) день и ночь открытым, мы могли бы задохнуться. Мебели было — всего одна мягкая кушетка. Сидели и спали мы на полу. Вши ползали по нам, как и везде в подобных местах. Кушетку арестованные предоставили мне, как знак почитания старшего по чину. Но я спал и на голом полу: мне казалось, там чище и меньше насекомых, чем на кушетке. Но и ее один из товарищей по заключению потом пожелает.

Не успели мы как следует осмотреться, как слышу через дыру лестницы характерные звуки зарядов ружейных: так-ти-так. Закладывали патроны... Расстреливать?

«Неужели, — думаю, — уж и конец сейчас? Так скоро?!»

На душе — все то же равнодушие... И невольно вспоминаешь опять Митю около железных ворот церкви святой Екатерины, ожидавшего еще более «деревянно» расстрела.

Слышу, как по ступенькам слезает человек... Высокий военный. Это был главный комендант «чрезвычайки», матрос Булатников, вооруженный револьвером большого размера. В самом ли деле такая звучная была его фамилия, или он, как и многие тогда, выбрал себе грозный булат для имени. Не знаю. Но тогда (и всегда в истории) любили в революционные моменты выбирать псевдонимы или что-нибудь особо выразительное. Например, прежний сыскной отряд в Севастополе назывался «храповцы», по имени начальника Храпова. У белых была «дикая» дивизия; корниловцы носили, кажется, нарукавные нашивки — череп с костями; Ленин, Сталин, Троцкий, Ярославский, Демьян Бедный и прочие — все это псевдонимы, отчасти старые, предреволюционные, когда нужно было скрываться под чужим именем, а отчасти новые, когда не всякому хотелось показывать настоящее имя свое, как, например, глава безбожников[210], и прочие.

Но Булатников не производил грозного и жестокого впечатления. Скорее, он был человеком умеренного характера, но, разумеется, решительный.

Остановившись на предпоследних ступеньках, он резко сказал, обращаясь ко мне:

— Отец! Идите наверх. Народ желает видеть вас.

Значит, еще не конец. А заряжали ружья потому, что грозила опасность.

Меня вывели на крыльцо малого дворца; оно было низкое и огороженое чугунной решеткой. Тут нас стояло человек пять, а может быть, и десять, с Булатниковым и Давыдовым во главе. А перед нами колыхалось, как говорят, «море голов». Все пустое пространство было забито народом. Не знаю, сколько сбежалось сюда: одна тысяча или пять тысяч. Множество. Больше все женщины.

Тогда женщины как-то смелее выступали. Объяснялось это тем, что с женщинами обращались снисходительнее и деликатнее, чем с мужчинами, а кроме того, мужчине в революционное-то время точно стыдно было показывать свои мягкие чувства: тогда все пылало, гремело грозою.

Когда я показался на крыльце, в толпе поднялся невероятный шум, крик, плач. Давыдов, стоящий справа от меня, говорит тихо:

— Попросите всех разойтись по домам.

Я стал махать рукой... Толпа стихла.

— Братья и сестры! Вот этот господин (тогда это слово было запрещенным, а товарищем я не привык называть кого-либо, да это было и небезопасно: какой же ты, скажут, нам товарищ?! Много после стали называть «гражданин») предлагает мне просить вас разойтись по домам. Прошу вас искренно: разойдитесь, все под Промыслом Божиим. Предоставьте меня Ему и разойдитесь...

Снова поднялся крик:

— Не уйдем! Освободить его! За что арестовали?

Перед самым моим лицом, лишь немного налево и чуть пониже, стояла какая-то молодая женщина лет тридцати, здоровая, цветущая, черноглазая. Она тоже кричала что-то. А солдат, стоявший с ружьем возле меня, говорит ей:

— Э-эх! Немцев бы на вас. Они показали бы, как орать тут!

Мгновенно она продернула правую руку через решетку и прямо — в глаза солдату, точно кошка, чтобы выцарапать их, и завизжала:

— Ах ты, окаянный! Он на нас, русских, да немцев кличет! Ах, ты-ы!

Солдат, опешивший от неожиданного нападения такой горячей души, отвел быстро свое лицо и ничего ей не ответил. А мне уж не до того было. Все сильнее раздавались крики: «За что? За что?»

Я опять дал знак рукой, люди замолчали. Кто-то выкрикнул:

— За что арестовали?

— За контрреволюцию, — ответил вместо меня Давыдов.

И опять вспомнился мне Митя и его фотография. А потом он дотронулся до моего правого плеча и будто совершенно вопреки всякой логике сказал народу с улыбкой:

— Этот товарищ еще будет работать с нами.

Записываю эти слова потому, что они были в моей истории... Разумеется, я промолчал, а думал совсем обратное. Откуда и почему пришла ему такая мысль, я и доселе понять не могу. Но слова его сбылись; я после действительно стал ближе работать с народом, хотя и тогда был с ним и никогда не уходил от него душою.

Но как и Патриарху Тихону, и многим другим из нас трудно было еще становиться на новые социальные пути. Да и народу, как видно из этой картины, нелегко было сходить со старых путей.

Народ опять начал кричать. Тогда я обращаюсь к Булатникову и говорю:

— Отведите меня лучше обратно, бесполезно просить их.

Он согласился, и я воротился в арестную комнату. Что было потом, я сам не видел. Только слышал невероятный гвалт... И с ужасом начал думать: «Неужели сейчас начнут расстреливать этот милый народ?!»

После передавали, что вызвали роту матросов разгонять толпу. Но матросы будто бы, может быть, это легенда, отказались заниматься этим негеройским делом. Тогда затребовали пожарную команду, чтоб поливать народ, но (это уже, наверное, легенда) бабы распрягли лошадей и потащили со скамей своих мужей и братьев. Пожарные были из того народа, что и защитницы мои.

Тогда объявили город на военном положении. Расставили пулеметы и грозили расстрелом. Народ вынужден был расходиться.

После, на допросе, Булатников сообщил мне следующее:

— Когда мы вас вывели к народу и вы обратились к нему, я держал уже револьвер на взводе и решил: если бы вы сказали хоть одно слово против нас, то я убил бы вас. Пусть и мы погибли бы, но и вам не жить. Но вы вели себя прилично.

Так именно — «прилично» — и было сказано.

После прихожане под председательством старшей сестры Владимирского собора, жены генерала П-ва, собрались в нижней церкви Покровского собора для выработки мер защиты. Но отряд «чрезвычайки» явился туда с саблями наголо (так это все потом рассказывали в городе) и разогнал их. А генеральше будто бы порезали даже руку. Порядок водворили. Однако этот протест народа не прошел напрасно. Начальство разрешило четырем представительницам прихода являться по утрам в «чрезвычайку» и осведомляться о моем состоянии.

Один из защитников вообразил, что мне уже переломали ноги и руки и увезли в Одессу на казнь. На этой идее он сошел с ума и был отправлен в лечебницу... Боюсь сказать сейчас, но, кажется, меня после возили к нему, чтобы он убедился в фантастичности своего воображения. И он оправился. Зато одна из четырех прихожанок-делегаток, посещавших меня в «чрезвычайке», скончалась от разрыва сердца. Так сохранилось в моей памяти.

Генеральшу большевики после не трогали, и она скончалась мирно. Одна женщина, выехавшая из Крыма в Сербию, передавала мне следующий рассказ об этом. Чуть не в полночь пришел к ней духовник, архимандрит Дионисий, человек замечательный — раб Божий. Домработница (прислуга, по старому выражению) встречает его в испуге:

— Батюшка, барыня помирает!

— Я знаю об этом, — сказал он смиренно, — потому и пришел причастить ее.

И она тут же скоро скончалась.

Потом начались нудные бесцельные дни сидения, точнее, лежания на полу. Припомню более интересные случаи из нашей жизни.

Наши монахи были хорошими певцами. И мы устроили ежедневные утренние и вечерние богослужения на память. Остальные заключенные не протестовали. Тюрьма тоже помогает думать о Боге. Наше громкое пение через окно неслось на улицу, от которой нас отделяла высокая каменная стена, так что мы никого не могли видеть. Но пение привлекало людей. Говорили, что прохожие останавливались и со слезами крестились. Начальство наше дня два дозволяло нам эти службы, но потом, вероятно, из-за внимания с улицы, разрешило молиться лишь тихо, без пения. Мы смирились.

Вечером, когда уже было совсем темно, я был невольным свидетелем характерной сцены. Между нашим окном и стеною ходил дежурный часовой, солдат лет 20–23. Когда он услышал наше пение, вдруг, не дойдя еще до окна, остановился в благоговении, снял солдатскую фуражку, вынул изо рта папироску и застыл. Но потом, точно вспомнив, что он уже не старорежимный солдат, а большевик-революционер, а мы — преступники, часовой как-то особенно резко нахлобучил набекрень картуз, вставил снова папироску в зубы и важно зашагал по узкому промежутку...

«Боже, Боже, — подумал я, увидев всю эту картину, — ну какой же он безбожник? Просто — дитя революционной моды... И что еще будет из него?»

Конечно, нам давали какую-нибудь пищу, но я решительно не помню теперь, что именно. Дозволялась передача пищи с воли. И этого не помню. Лишь один случай запечатлелся навсегда. Приходит начальник

стражи, молодой еще человек — лет 27–28, красивый и милый брюнет. Подносит мне огромное блюдо (на юге называют его «макотра» или «макитра», от слов: мак трут в них) пирожков с вишнями, только начался их сезон.

— Владыка! Это вам от моей мамаши.

Я поблагодарил. Беру. А он в это время тихо шепчет мне:

— В углу в шляпе шпион...

Удивительна душа человеческая: тут же служит, и, конечно, искренно, а не провокаторски, и тут же предупреждает поднадзорного.

Я после его ухода передал монахам предупреждение. Но и без этого мы ничего не говорили подозрительного. Всякий понимал, что тут не место для откровенностей. А он лежит себе и в потолок смотрит, будто равнодушно. Через дня два его убрали. Очевидно, не было смысла надзирать за нами, мирными людьми. Да и часовые были бесполезны: никто и не думал удирать из заключения, ни монахи, ни светские.

А макитру с пирожками я передал ризничему нашего монастыря отцу Амвросию, тому самому, которому пришлось поклоны отбивать за ночевку в городе. Теперь он тут же, в городе, ночует, но уже покаянных поклонов не бьет. Отец Амвросий, по нраву ласковый, был «единогласно» избран нами за «хлебодара», как рассказывается в истории Иосифа Прекрасного (см.: Быт. 39, 22–23). Что приносилось нам с воли, то все передавалось ему, а он уже делил это между всеми арестованными, не исключая и мирян. Известно, что в общем несчастье люди делаются дружнее и милосерднее. Да и стыдно было бы нам есть, а другим не давать. Между нами было два офицера. Их выпустили, и нам почему-то подумалось: недаром! Вероятно, и от них потребовали компенсации в виде слежки. Что-то очень спокойно и молчаливо они ушли из заключения.

Однажды прошелся по нашей камере Коржиков, служивший здесь. Я с ним познакомился как-то за чаем у той же купчихи Пономаревой, где я имел до ареста квартиру. Но тут он сделал вид, что я неизвестен ему... Мы скоро с ним еще встретимся, но в другой обстановке. «Заглянул» как-то один матрос, не из служащих, а посетитель. Почему-то ему разрешено было спуститься и к нам.

Представьте себе красавца-блондина футов в шесть. Точно статуя Аполлона! Шагая по камере, он начал кричать с невероятной злобой и буквально со скрежетом зубов:

— Где тут вениамины?! — и страшное бранное ругательство. — Мы вам покажем контрреволюцию! — и опять невероятная матерщина...

Мы все молчали. Так он и не узнал, кто из монахов Вениамин... Наругался, натешился и ушел.

Но это был единственный случай за восемь дней ареста. Остальные все были сдержанны с нами.

Только однажды мы слышали отчаянный крик этажом ниже... Почему? Непонятно. Но на другой день оттуда перевели в нашу камеру моего (второго) келейника Ивана. И он сообщил, будто бы били бутылкой по голове какого-то рабочего-меньшевика, за что — не знаю.

Дней через пять к нам впустили нового товарища по заключению. Это был молодой офицер, красивый, миловидный блондин, с розовыми, как у девушки, щеками, с голубыми глазами, лет двадцати пяти. Веселое смеющееся лицо, пощелкивание пальцами, вертение на ногах, иногда с приплясыванием — все это нас поразило. Как ни были мы спокойны, но все же мы не улыбались и не танцевали, а он точно на товарищескую пирушку пришел.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Зовите Сережей. А фамилия моя — Солнцев.

Так Сережей и звала его вся камера. Он нам рассказал, что арестовали его за дело — фальшивое употребле-

ние каких-то печатей. Но не унывал, надеясь, что вина его не столь большая. Сообщил, что до революции его стихи печатывались уже в «толстом» журнале, кажется, в «Русской мысли». На нем была длинная кавказская бурка.

Мы все сразу полюбили нашего тюремного соловья.

Прошло два дня. Вдруг видим, что наш Сережа неожиданно замолк и стал печальным. Надел бурку и обратился ко мне с просьбой:

— Владыка! Разрешите мне прилечь на вашей кушетке.

— Она не моя. Ныне вся собственность национализирована! — сшутил я. — Пожалуйста!

Он завернулся в бурку и лег.

— Сережа, что с вами? — спрашиваем его, — заболели?

— Нет, — ответил он протяжно и уныло, — здоров. Но только чует душа моя, что не выйти мне отсюда живым...

— Почему? А вот двух офицеров же выпустили отсюда!

— Да-а! Но мне не выйти...

И сколько мы ему ни доказывали, он не убеждался. Так и пролежал в бурке день и ночь. На другое утро он обратился ко мне с неожиданной просьбой:

— Владыка! Скажите мне что-нибудь о Христе, и именно как о Боге, Сыне Божием. Вы знаете, что мы, интеллигенты, в сущности, неверующие. Ничего как следует не знаем.

И что-то еще говорил об интеллигенции и себе.

Я подсел к нему на «мою» кушетку и стал говорить о Божестве Иисуса Христа... Вероятно, я в жизни никогда не говорил так горячо и убедительно, как в этой страшной тюрьме! Все заключенные, не только монахи, но и светские, слушали с молчаливым вниманием... Может быть, я говорил час, время промелькнуло незаметно.

Когда кончил, Сережа схватил мои руки и с каким-то радостным непонятным смехом стал благодарно целовать их.

— Еще у меня есть один вопрос: как вы христианское учение о личном спасении души примиряете с нашей интеллигентской верой о преимуществе общественного служения?

— Это завтра, а ныне довольно о Христе Господе.

Действительно, на другой день я говорил ему и на эту тему. А он снова задал мне третий вопрос, не помню уж какой именно.

— Ну знаете, Сережа, ныне меня будут допрашивать, а завтра, вероятно, выпустят. Из-за ваших же вопросов, — говорю шутливо, — мне придется добровольно оставаться здесь.

Конец будет дальше... А пока я вспомню один из вызовов меня «наверх», в комендантскую канцелярию. Как я писал, четыре прихожанки приходили осведомляться обо мне и посмотреть. В комнате сидело два человека: помощник коменданта Булатникова — еврей, в военном френче и увешанный оружием, лет тридцати, и еще юноша — мальчик, русский, лет семнадцати, писец.

Женщины что-то рассказывали мне о народе. Я не удержался, и слезы покатились по щекам моим. Помощник коменданта, увидев это, сказал довольно мягко:

— Не плачьте, не плачьте, отец! Может быть, мы вас еще и не расстреляем.

— Я не об этом плачу... А народ хороший! Это радостно. От радости плачу.

Тут вмешался мальчик:

— Владыка! Скажите своим верующим, чтобы они вели себя прилично на улицах!

— А в чем дело?

— Да вот я иду по улице, а кто знает, что я здесь служу, кричат мне: «Жид, жид». Я им говорю: «Я не жид,

а русский». А они говорят: «Кажи (покажи) крест!» Ну, а я ж креста не ношу. Передайте им, чтобы вели прилично.

И все это он говорил с веселой улыбкой...

Странная вещь жизнь: тут и трагедия с возможным расстрелом, тут и комедия с обвинением в жидовстве...

Нужно сказать, что на Севере говорят «еврей,» а не «жид», а на Юге, от Крыма до Галиции и Карпатской Руси и Польши употребляют слово «жид» без всякой обиды, как французы говорят le juif, американцы — jew, немцы — jude; и в Евангелии — «жид», «жидове», от племени Иуды. Кстати сказать, скажу несколько слов о евреях.

Существует среди некоторой части русского общества мнение, будто всю революцию они сделали. Я не знаю состава подпольных организаций, но то, что я видел, не позволяет мне соглашаться с таким огульным обвинением. Наоборот, я полагаю, что революцию делали и сделали свои русские люди, подготовляя ее сто лет, начиная от русских декабристов до князей Рюриковичей в Государственной думе. Разумеется, прилипло к ней очень много и евреев, недовольных своим тяжелым положением, в каковом я лично виню не только лишь правительство, но и самих евреев... Этот вопрос трудный и неизживный до конца истории человечества... В момент революции евреи дали огромное количество служащих на всех поприщах: послов, консулов, комиссаров, политиков, комендантов, чекистов, чекисток, изредка военных. Все это было на виду у всех. А евреи даже подчеркивали свои права и власть. Как сейчас помню двух евреев студентов в Москве в первые дни революции. Они шли с высоко поднятыми головами, и притом не по тротуару, а посередине улицы. Известны всем имена таких видных вождей революции, как Винавер, Троцкий, Литвинов, Свердлов, Сокольников, Каганович[211] и прочие. Но я снова повторяю, что революция в России была общим делом народных масс. И лично я больше слышал, чем видел их.

Но, конечно, их было много, много тогда на верхах и в канцеляриях.

Однажды в Крыму я даже задал вопрос бывшему фельдфебелю, одному из «храповского» отряда, приехавшего делать обыск:

— Почему у вас так много евреев?

— А как же?! Вы, интеллигенты, пошли против нас, саботажем занялись. Мы же люди малограмотные, а нам нужны везде люди образованные, и с иностранцами сноситься надо, а они знают языки. Вот мы пока их и взяли на службу.

Это «пока» мне врезалось в память. И постепенно оправдалось. Чем шло дальше время, тем все больше воспитывалось собственное молодое поколение, которое начало занимать все места. И теперь мы видим, что евреев становится везде все меньше и меньше.

Не говоря уже о том, что по советским законам правами гражданства пользуются все, без различия рас. К. Маркс, сам еврей, верил и говорил, что лишь в социалистическом трудовом строе евреи, вынужденные и имеющие право трудиться как и все, изживут темные стороны своей материалистической натуры.

Не знаю, сбудется ли это? Ведь среди евреев тоже существует глубокое деление на бедных и имущих. И теперь история знает не только защитников советского строя, но и весьма значительный процент буржуазно настроенных евреев, и печатных органов, противников его. Советский строй требует труда и уничтожения эксплуатации.

Однако должно сознаться, что недружелюбное отношение к евреям было довольно широко распространено среди общества во время революции. Я даже думаю, что и в народных массах не было любви к ним, а просто они были «нужны» пока. Несомненно, что и новый строй внес в массы лояльное отношение ко всем народам и племенам Советского Союза. И там расовая нетерпимость преследуется законами и карается.

Расскажу в заключение еще два-три отрывочных воспоминания о них.

В селе Р. Таврической губернии был аптекарь-еврей. Он дружил с местным священником отцом М. Как-то при встрече со мною батюшка рассказал такой разговор между ними:

— Вот теперь нам, духовенству и офицерам, стало очень плохо, а вам хорошо.

— Ну, так всегда бывает: вами начинают, а нами закусывают.

В другой раз я ехал на пароходе из Новороссийска в Крым и познакомился с одним студентом-евреем... Он оставил во мне прекрасное впечатление человека духовно чуткого, справедливого, умного, сердечного.

По поводу чрезмерного еврейского участия в революции он искренно огорчался и с грустью тоже ждал для своего народа весьма печальных результатов от неумеренного усердия.

Еще вспоминаю, как один редактор газеты говорил, чтобы евреи из первых рядов передвинулись бы назад, в тень: им же лучше.

Есть такой еврейский писатель Я. Бромберг, написавший исключительно сильную книгу под заглавием «Европа, Россия и еврейство»[212]. Там он жестоко нападает на свой народ за участие в большевистской революции.

Сильнее этой книги я не читал о евреях...

Вышел интересный ежегодник во Франции «Еврейский мир»[213]. Там много интересного материала, написанного исключительно евреями, русскими выходцами.

Но я не буду углубляться в этот больной вопрос, я расскажу о трех случаях, касающихся религии и революции. Еще при генерале Деникине, когда пала белая Одесса, приходит ко мне в Симферополе, как заместителю епархиального архиерея, плотный щеголеватый господин «по делу». Оказалось, он адвокат из евреев.

Просит разрешения крестить его. Я спрашиваю, как он понимает христианство? Как верует во Христа? Читал ли Евангелие?

Он отвечает, что Христос — моральный учитель, проповедник между людьми... Евангелия не читал. Я ему объясняю, что это не христианское учение о Христе, а в лучшем смысле — толстовское. Он не спорил.

— А как вы пришли к этому желанию? — спрашиваю я его.

— Видите, я был адвокатом в Санкт-Петербурге. Началась революция. А у нее, хотя туловище-то русское, руки и ноги латышские (тогда много было латышей в ЧК), а голова-то еврейская. Я против революции. И мне хочется совсем слиться с русскими. По культуре я давно русский, но теперь хочу сделаться им и по религии.

— Ну, это, знаете, совсем неглубоко. Впрочем, допустимо, если бы вы знали и принимали основы христианства. А вы даже Евангелия не читали. Но почему вы избрали именно этот момент, такой запутанный для решения столь важного вопроса?

— Из Петербурга я бежал от большевиков на юг и тут занялся торговлей. Приобрел пароход и торгую углем. Теперь я ехал с Кавказа в Одессу, а ее уже заняли большевики. Я застрял в Севастополе, жду уже две недели. Вот и решил использовать свободное время для осуществления давнейшего своего желания.

Я отказал в Крещении и посоветовал узнать сначала христианство хотя бы по Евангелию.

Но зато другой случай — поучительный даже для русских интеллигентов и духовенства нашего.

Приходит ко мне в Севастополе, около того же времени, молодой еврей, студент-технолог, и тоже просит разрешения креститься. Никаких выгод, даже и брачных, у него не было. На все мои вопросы о вере он отвечал четко и правильно. Тогда я задал ему вопрос:

— А вас, интеллигентного человека, не смущает то, что в нашей религии все основное таинство и надрационально?!

— Например? — спрашивает он.

— Да все: и Бог, и Троица, и Воплощение, и Воскресение, и Святой Дух, и Таинства Крещения, Причащения, чудеса — все это же тайны, тайны для нашего ума. И интеллигентному человеку все это кажется неприемлемым, потому что «противоречит» законам мышления, как говорят обычно.

— Нет, меня все это не смущает. Наоборот, так и должно быть!

— Как так? — с удивлением спрашиваю его уже я.

— Да ведь законы нашего мышления касаются лишь этого мира. И, следовательно, там, где начинается область иного, сверхъестественного мира, на этой грани кончается действие естественных законов и нашего мышления.

Я-то знал это прежде, еще со времен лекций в Санкт-Петербургской академии, но услышать такой вдумчивый и глубокий ответ от интеллигентного молодого человека было для меня отрадой и почти невероятной неожиданностью! Могу сказать, что только один из тысячи (да и то едва ли еще?) интеллигентов способен так верно и вдумчиво ответить...

Как это далеко от спора со мною Вульфсона-Давыдова!

Разумеется, Крещение я разрешил с радостью.

Наконец, еще случай. В Ялте жил один еврей — выдающийся политический деятель кадетской партии и писатель П. Когда пришли большевики, он не успел скрыться и ему грозила казнь. Ища убежища, он бросился к священнику, отцу Сергию Щукину, прося укрыть его. Отец Сергий сказал: весь дом к его услугам! И предложил ему зайти в кабинет. Помолился тут же за него, затворил дверь и ушел в другую комнату... Неизвестно почему,

обыск налетел и на квартиру отца Щукина. Обошли все комнаты, а кабинета не отворили, точно не видели этой двери. Человек спасся. Я слышал сам об этой истории. Но возможно, что подробности позабылись. После этот еврей ушел с белыми за границу и умер.

Но пора уже воротиться и покончить с моей «чрезвычайкой».

Настал день суда над нами. В какой-то полуподвальной просторной низкой комнате сидело за длинными столами пять человек следователей. Лишь один из них, с бородою, имел вид интеллигента. Прочие были из солдат, матросов. Мне попался бывший учитель (как говорили) сельской школы, тот самый Коржиков, о котором я упоминал как об одном из посетителей нашего подземелья. А с краю сидел и тот помощник коменданта, еврей, который утешал меня, что, может быть, я еще и не буду расстрелян. Председатель суда, известный Булатников, сидел в середине. Перед допросом он неожиданно обращается к этому еврею и предлагает ему удалиться. Неужели потому, что он не желал присутствия еврея, когда русского архиерея будут судить русские матросы? — Не знаю. Но так было. Тот спокойно вышел. Не было и Вульфсона. Нас было здесь пять монахов у пяти следователей. Мой Коржиков очень быстро и деликатно спросил меня и стал записывать мои показания. Они заняли всего лишь пятнадцать – двадцать строчек. Вижу, что пишет учитель, хоть и красиво, но не везде грамотно. Я ему подсказываю: вот тут запятую поставьте, а тут вот букву пропустили. Он, нисколько не обижаясь, исполнял мои советы. И почти все время не смотрел на меня. Потом я подписался. А других еще продолжали допрашивать. Я стою, жду.

«Интеллигент» с бородою, увидев, что мой допрос уже кончился, обратился очень резко к Коржикову:

— Что вы его так скоро кончили?

— Все допросил, — спокойно ответил мой судья.

...По поводу ошибок мне вспоминается из прочитанной книги один комический случай, бывший с артисткой Московского Художественного театра. Нужно было в какой-то из канцелярий заполнить анкету. Писарь записывает ее как вдову и ставит твердый знак после первой буквы «в» (въдова). Она поправляет его с осторожностью:

— Вы, кажется, ошиблись? Вдова пишется без твердого знака и в одно слово!

Тот посмотрел на написанное и, откинувшись назад, объяснил важно:

— Ничего! Это я по старому правописанию.

Известно, что в новом правописании твердый знак был выброшен.

Когда кончили допрос и прочих монахов, то их отпустили в прежнюю комнату, а меня оставили одного. И начался мирный разговор.

— Скажите, как с вами обращались у нас?

— Хорошо! — сказал я искренно. — Только вот однажды нас посетил красивый матрос и ужасно бранился с зубным скрежетом.

— Ну, знаете, иногда и мы сами не можем справиться с ними, — скромно объяснил Булатников. — Но о прочем вы расскажете народу, что мы хорошо обращались?

— Расскажу непременно.

— Ну, все-таки скажите откровенно, к какой партии вы принадлежите?

— Да я же отвечал вам недавно письменно, когда заполнял присланную анкету.

— Что написали?

— В параграфе семнадцать и восемнадцать был этот вопрос. Я записал: ни к какой.

Я действительно никогда не записывался ни в какую партию.

— А дальше стоял вопрос другой: если не состоите, то какой партии вы сочувствуете? Что же вы написали?

— Написал: разным.

Они улыбнулись ловкому выходу.

— А как же вы сами думали обо мне? — спрашиваю их уже я.

— Мы считали, что вы — партии Керенского.

— О, нет! Я у вас вижу больше добра, чем у него.

— Как так? — спросил Булатников, заинтересованный и, видимо, довольный неожиданным ответом.

— Видите ли, ваша партия заставит всех трудиться, а не жить на чужом труде паразитом.

— А-а! — удовлетворенно поддакнул он.

Разговор подходил к концу. А так как он был в совершенно мирном тоне, я с простотою сердца сделал им упрек:

— Вот смотрите, как вы поступили со мною несправедливо, без всяких обвинительных доказательств арестовали меня.

— А разве вы, — перебил меня Булатников, — на нашем положении поступили бы иначе с нами?

Они чувствовали, что я не их духа, имели основание подозревать меня в контрреволюции.

На его вопрос я, подумавши, ответил:

— Да, я, пожалуй, иначе поступил бы с вами...

— Как же? Неужели скрыли бы нас или помогли?

— Да!

Скоро эти слова мои пророчески сбудутся на деле...

Формально меня выпускали все же на поруки одного совершенно незаметного священника отца Бензина.

Вот и все мое сидение в «чрезвычайке».

В последние два дня мы заметили новость у себя: вместо солдат сторожить нас прислали каких-то 15–16-летних гимназистов. Кажется, они были в составе добровольной революционной милиции. Эти дети были совсем наивные мальчики. Они принесли с собой «шашки», и мы приятельски проиграли в них весь вечер.

На следующую же ночь прислали для охраны рабочих. Среди них выделялся особенно один огромный портовый грузчик. Про него рассказывали легенды, будто он поднимал и носил по 25 пудов. Добродушный силач утешал нас то разговорами, то показывал опытно, как трещат у него суставы костей при напряжении тела. Нам объяснили, что рабочие в это время приняли уже власть от собравшихся уходить большевиков под натиском белых. Но так как при всяком уходе обычно бывали бессудные расправы, то рабочие и прислали нам надежных силачей.

Вечером на восьмой день ареста меня и других монахов выпустили. Народ уже ждал этого и до моей квартиры у купчихи Пономаревой меня проводили с пением «Достойно». В это время из монастыря прислали за мною лошадь, и я направился в монастырь.

Боже, Боже! Какое счастье быть свободным! Лишь тот, кто опытно познал тюрьму и ожидание смерти, может почувствовать сладость жизни и свободы! И небо, и земля, и солнце, и уже высохшая трава, и камни дороги, и темно-зеленое море! Боже, как все это прекрасно! А в монастыре уже завидели нас и начали звонить и трезвонить. Главный колокол был в тысячу пудов. Могучие и красивые звуки лились навстречу мне. А я все боюсь: зачем они звонят?! Зачем раздражают большевиков?!

Дня через два советская власть оставила Крым. Наши монахи тотчас же бросились в «чрезвычайку». И, увы! Сережа Солнцев был расстрелян: в середине лба зияла одна лишь дырочка... Сбылось его предчувствие.

На следующий день мы из монастыря увидели мчащийся по пенистым волнам миноносец с «белыми властями»... Как на Ангела смотрели и мы, и многие. Но недолго: разочарование наступило быстро. И белые стали жестоко расправляться с противниками.

Вероятно, в тот же день в монастырь ко мне пришла какая-то женщина с грязным ребенком на руках, и сама

она была бедно и грязно одетая, слезы текли по щекам. Подает письмо. Оказалось, она была женою или сожительницей матроса Бовкуна. А он вместе с моим судьей Коржиковым попал в тюрьму. При отходе большевиков они задержались в городе для грабежа. Но тут в домике какой-то старушки-польки, у которой они нашли 40 тысяч рублей, их схватила рабочая милиция и засадила в тюрьму до суда. Из тюрьмы Коржиков написал мне письмо и послал его с женою соучастника по грабежу. Я довольно точно помню содержание его.

«Глубокоуважаемый отец владыка!

Когда вы были у нас в контрольном пункте (так назвал он «чеку»), то я много помогал вам, хотя вы и не знали этого. А теперь я и мой товарищ Бовкун оказались в тюрьме, и нам грозит смертная казнь. Вы же на суде обещали нам помочь, если попадем в опасность».

И они оба теперь просят хлопотать за них. Я ответил женщине, что сейчас же пойду в тюрьму и постараюсь помочь. Она ушла обратно в тюрьму на свидание. Скоро приехал и я. Через решетку повидался с моим симпатичным Коржиковым. Бовкун был огромного роста и с крупными чертами лица. Из тюрьмы я немедленно поехал в военно-полевой суд, заседавший в каком-то скромном домике. Председателем был генерал Макаренко: очень интеллигентный и добрый на вид человек. С ним было еще 3–4 военных человека. Я был принят весьма любезно. Рассказал дело. Говорю: может, я обязан Коржикову даже жизнью своею. Но генерал ответил: суд уже над ними совершен и помилование невозможно, так как за Коржиковым в «чрезвычайке» числится несколько убийств белых офицеров, документально установленных. Когда же я продолжал настаивать, то генерал сказал:

— Самое большее, что мы можем сделать, заменить повешение, к которому они присуждены, расстрелом.

Конечно, эта смерть более короткая, чем пятиминутное удушение, но не того желали мои подзащитные.

Я, опечаленный, удалился из суда. Было уже к вечеру. Завтра воскресенье. В церкви святого Архангела Михаила, где настоятелем был отец М.П., весьма хороший военный священник, был какой-то особый праздник. Я служил там. После торжественный обед. Слева от меня за столом сидел комендант города Севастополя генерал Субботин. Весьма милый, даже интеллигентный, мягкий человек. Справа отец Михаил.

Я обратился к генералу с просьбой исполнить одно мое желание.

— С удовольствием, если только это в моих силах, — ответил он.

В военное время в руках коменданта сосредотачивается огромная власть, почти царская, включая амнистии после суда. Я рассказал ему историю.

— Я ныне же вытребую дело их и, если хоть как-нибудь найду возможным помиловать их, сделаю ради вас!

На другой день я получил сведения, что обоим смертная казнь заменена пожизненным заключением. Мы все были рады. После, при генерале Врангеле, они подали через меня прошение дозволить им поступить на фронт и сражаться против красных. Генерал отказал, положив резолюцию «опасно».

Когда мы эвакуировались из Севастополя, я не знал, что сделано с заключенными в тюрьме. Но годов через пять из Крыма в Париж пробрался офицер А-в, и он сообщил, что перед приходом красных все большевики были расстреляны белыми... Это вероятно.

Так различно кончилась судьба моя и моего судьи...

Вспомню еще один очень интересный факт из истории другой «чрезвычайки», в городе Муроме Владимирской губернии. Арестовали там двух протоиереев: отца Ан-ва и отца Ц-ва, и одного настоятеля монастыря, 75-летнего архимандрита Макария. На допросе первым

был приглашен к столу архимандрит; оба протоиерея ждали очереди здесь же. Комиссар роется в ворохе разных бумаг, не может сразу найти дело отца Макария и начинает нервничать. А монах спокойно стоит, дожидается. Вдруг у него вырывается вздох: «О-ох, Господи!»

— Что вздыхаешь? — нервно спрашивает комиссар, не глядя на него и продолжая искать бумагу.

— Я вот гляжу, гляжу на вас и думаю: сколько муки-то вам из-за нас, грешных!

Пожалел старец комиссара. Тот ничего не сказал: видно, растопили его сердце ласковые слова монаха. Наскоро допросив всех трех, судья отпустил их без всякого взыскания.

Так рассказывал мне во Франции один из трех арестованных, отец И. Ц-в.

Теперь мне осталось уже совсем немного досказать из эпохи Белого движения при генерале Деникине. Я немного был свидетелем тяжелого отступления Белых армий.

По церковным обязанностям мне нужно было выехать из Крыма в Новороссийск для дополнения епископского суда над архиереем Екатеринославским Агапитом, который, вопреки собственной клятве и постановлению собора епископов, стал действовать на стороне «щирых» украинцев, «самостийников»[214]. Путь лежал через Харьков, Лозовую и дальше. Из Крыма выехали вечером. Подъезжая к Екатеринославской губернии, поезд наш неожиданно замедлил ход. В чем дело? Оказалось, этот район находится под контролем Нестора Махно[215] и его многочисленных банд. Не помню ясно, что это было за движение. Сам Махно то имел сношения с Лениным, то потом с генералом Врангелем. Личность темная. Родом из местечка Гуляй-Поле, где он был будто бы народным учителем, а по другой версии — рабочим. За убийство родного брата с корыстной целью в 1902 году он был присужден к 15 годам каторжных работ. В 1917 году он

появился на родине и стал председателем местного совета рабочих депутатов. Но его программа была не большевистская, а анархическая. Конечно, у него не было философско-политической системы анархизма, просто разнузданный сброд мятежных людей. В то время разбойное настроение широко гуляло по лицу земли Русской. Однако можно усмотреть некую общую линию его дружины.

Сначала махновцы борются против немцев-оккупантов, занявших Украину. Потом и против украинцев, как гетмана Скоропадского, так — еще сильнее — против петлюровцев, потому что в них Махно видел шовинистические стремления. Одно время он готов был соединиться с советскими коммунистами, но потом порвал с ними и вступил в борьбу. Соединился с другим советским генералом, Григорьевым[216], отделившимся от Красной армии, но потом пристрелил его своею рукою. Коммунистические части из Харькова разбили его... Но потом белые войска выгнали большевиков и овладели Екатеринославом. Махно же принимал везде какое-нибудь участие. Как он, так и другие не гнушались лозунгами: «Бей жидов и комиссаров» (из них много было евреев, как я говорил) и устраивали еврейские погромы[217]. При занятии Екатеринослава Махно убил судью, пославшего его на каторгу. Потом где-то сложил свою буйную головушку и «батько» Махно.

Из этой краткой справки можно видеть, что Махно был просто разбойничьим атаманом, но в украинско-демократическом стиле: за народ, против попов, против «жидов», против оккупантов. Таким образом, это было низовое народное движение, но с украинским национализмом (не шовинистическим привкусом). Оно было ближе к советскому строю, но было более национальным.

На одной из дальнейших станций мы были остановлены: пропускали поезд генерала Врангеля, которому

генерал Деникин поручил восстановить положение. Бронированные паровозы и вагоны грозно смотрели на катившуюся волну, но остановить ее не могли. Как я говорил раньше, белые захватили много пространства, но ниточка их была тонка для него. И мнимые победы быстро превратились в бегство.

Между прочим, на этой станции поймали какого-то мальчишку лет семнадцати, большевистского шпиона. Суд был короткий: решено было немедленно расстрелять его. И уже приказано было немедленно ему раздеться, оставшись лишь в нижнем белье. Потом не захотели казнить его на виду у всех. И какому-то жандарму приказано было довести его до ближайшего лесочка, в ста саженях от станции, и там прикончить... И жутко мне было смотреть, как человек ведет человека на смерть! А мальчишка в белой рубахе и белых исподниках идет спешным шагом впереди, точно не на смерть, а на игру. Не знаю, что он чувствовал? Может быть, тоже «одеревенел», как Митя?.. Но эта трагедия убивания одних другими, не где-то там в подвалах, а на виду — глубоко врезалась в душу... Что-то дикое, кошмарное... Какая-то дьявольская свистопляска безумия и ожесточения...

Едем дальше. Снова тормозят поезд... Оказывается, один офицер в отчаянии бросился с площадки вагона под колеса поезда. Его вытащили. Колесо успело перерезать лишь одну ногу, кажется, ниже колена. Он в забытьи красивый, но бледный лежал на траве. Мгновенно нашлись врачи. И при мне быстро совсем отрезали ему ногу вместе с сапогом и бросили ее под откос, точно падаль, а его забинтовали и перенесли в вагон. Был ли он без сознания или же ему стало уже все равно на свете, но он не проронил ни одного слова...

Потом Новочеркасск... Столица «Всевеликого Войска Донского»... «Всевеликое»... Тогда у всех была мания к величию и обособлению. Обособилось и казацкое «Войско Донское», назвав себя странным именем «Все-

великое». В то время во главе его стоял атаман генерал Краснов[218]. У него были все министерства, как и в великих державах. И вдруг меня по телефону зовет «министр народного просвещения». Шутка сказать! Что такое? Кто? «Я — Светозаров. Приезжайте ко мне на обед!» Еду. Боже! Володя! Ты! Оказалось, мой одноклассник по Тамбовской семинарии Владимир Светозаров. Из поповичей — в донские казацкие министры!

— Какими путями?

— Да был преподавателем гимназии тут. Революция, съезд. Выбрали меня председателем общества педагогов, а генерал Краснов назначил министром.

Он всегда был веселым хохотуном и насмешником, а тут — министр!.. Революционные капризы карьеристических взлетов. Но я чувствовал, что и «Всевеликому» войску недолго осталось жить. Чувствовал это и Володя с женой...

Вместе с Белыми армиями покатились и казаки. Большая часть их осталась на местах, другие потянутся потом в Крым, оттуда в Турцию, Европу, Америку. И ходят еще и теперь красные «лампасы» по белу свету, точно отбившиеся овцы... А народ сильный! Привыкли жить казаки собственниками, широко, богато, вольно, без помещиков. И нелегко им было принять советский принудительный коллективный строй. Но всё же, будучи народом, от крестьянской крови, они остались с народами Советского Союза. И потом мало-помалу обжились и с новыми порядками. А Ленин мудро обходился с ними, постепенно приучая вольницу к коллективному хозяйству.

После суда над епископом Агапитом мне нужно было возвращаться в Крым. Харьков был уже у большевиков, и мне пришлось направиться через Кавказ к Новороссийску, а оттуда пароходом по Черному морю домой... Здесь мне пришлось разговаривать с одним белым офицером. От качки мы не могли ничего есть, а этот

офицер закусывал и пил как ни в чем не бывало. Это меня заинтересовало, и мы познакомились. Высокий, властный, породистый, он происходил из богатой аристократической семьи. Большевиков ненавидел всеми силами души. Между прочим, поделился со мной тайной:

— Я дал обещание (уж не знаю кому) убить собственными руками тысячу большевиков. Буду мстить им, пока не достукаю до тысячи!

— Сколько же до сих пор перебили? — спрашиваю.

— Сто девятнадцать!

Я пошел спать на палубе. Небо было звездное. Но дул холодный ветер, и нас сильно качало. На душе было тоже холодно. И казалось, как морю, так и разрухе страны не будет конца...

...Белые армии все катились и катились вниз. Авторитет генерала Деникина пал: в его «звезду» перестали верить. И к весне он решил уйти. Написал манифест, что порвалось доверие между ним и армией. Велел старшим генералам избрать нового главнокомандующего, а сам уехал за границу. Наступил второй период Белого движения — при генерале Врангеле, где и я принимал участие.

ГЕНЕРАЛ ВРАНГЕЛЬ

Я озаглавливаю эту главу именем одного человека потому, что он был действительно центральною личностью, воодушевлявшей Белое движение под его управлением. Был до него генерал Деникин, но то время, гораздо более продолжительное, не было окрашено его именем. Говорили: «деникинцы», «белые», «кадеты», но редко «генерал Деникин». А здесь про все движение обычно говорилось кратко: «генерал Врангель» или еще проще: «Врангель».

Как помнит читатель, мы оставили его отправившимся в изгнание в Константинополь, где он и жил до отречения от власти генерала Деникина. В приказе об избрании ему преемника бывший главнокомандующий Вооруженными силами Юга России сам указал и имя генерала Врангеля, который должен был возвратиться на выборы из ссылки. Англичане дали миноносец, но была такая качка, что сердцу Врангеля грозила опасность, и миноносец вернули обратно, а повезли его в Крым на крейсере или дредноуте. То был конец Великого поста, за неделю до Пасхи 1920 года.

К этому времени Белая армия потерпела полное крушение, и остатки ее, в несколько десятков тысяч человек, кое-как перебрались на Крымский полуостров. Невольно приходит на ум известная сказка о старике Мазае, который спасал на лодке зайчиков с затопленного весенним половодьем островка. От огромнейших пространств, занятых белыми, остался теперь только маленький квадрат Крыма, по двести верст в длину и ширину. Недаром у нас ходил анекдот, будто Троцкий пренебрежительно так отозвался о нем:

— И что такое Крым?! Это — маленький брелок от цепочки часов на моем животе! Не больше!

Но не так думали мы, белые, то есть многие из нас. Казалось бессмыслицей продолжать проигранную борьбу, а ее решили опять возобновить. И мало того, еще надеялись на победу. Мечтали, и среди таких наивных был и я, о Кремле, о златоглавой Москве, о пасхальном трезвоне колоколов Первопрестольной. Смешно сейчас и детски наивно. Но так было. На что же надеялись?

Оглядываясь теперь, двадцать три года спустя, назад, я должен сказать — непонятно! Это было не только неразумно, а почти безумно. Но люди тогда не рассуждали, а жили порывами сердца. Сердце же требовало борьбы за Русь, буквально «до последней пяди земли». И еще надеялись на какое-то чудо: а вдруг да все повернется в нашу сторону?! Иные же жили в блаженном неведении — у нас еще нет большевиков, а где-то там они далеко. Ну, поживем — увидим. Небось?.. Были и благоразумные. Но история их еще не слушала: не изжит был до конца пафос борьбы. Да и уж очень не хотелось уходить с родной земли... И куда уходить? Сзади — Черное море, за ним — чужая Турция, чужая незнакомая Европа... Итак, попробуем еще раз! А может быть, что и выйдет?.. Ведь начиналось же Белое движение с пятидесяти человек, без своей земли, без денег, без оружия, а расползлось потом почти на всю русскую землю. Да уж очень не хотелось уступать Родину «космополитам-интернационалистам», «евреям» (так было принято думать и говорить про всех комиссаров), социалистам, безбожникам, богоборцам, цареубийцам, чекистам, черни. Ну, пусть и погибнем, а все же — за родную землю, за «единую, великую, неделимую Россию». За нее и смерть красна! Вспомнилось и крылатое слово героя Лавра Корнилова, когда ему задали вопрос:

— А если не удастся?

— Если нужно, — ответил он, — мы покажем, как должна умереть Русская армия!

Исторические события, как большого, так и малого размера, двигаются, по моему мнению, не столько умом, сколько сердцем, стихийно. А когда этот дух испарится, движения умирают. Так бывает в жизни каждого человека, так же совершается и в жизни народа. А разве малая пташечка не бросается безумно на сильную кошку, защищая своих птенчиков? У нас еще есть клочок земли, есть осколки армии, и мы должны бороться! Мы хотим бороться! Мы будем бороться! И притом ясно, что наше дело хорошее, правое, святое, белое дело! Как не бороться за него до последней капли крови?!

И снова вспоминается мне та кучечка безусых юнцов-аристократов у костра возле Перекопского вала, которая с грустью и явным уже маловерием спрашивала меня во тьме ночной:

— Батюшка, неужели мы не победим? Ведь мы же за Бога и за Родину!

— Победим, победим, милые! — утешаю их я, и сам не вполне уже веря в нашу победу.

Одно было ясно: победим или не победим, но белую борьбу нужно довести до конца, а он еще не наступил. И только после потери этого последнего клочка родной земли один корреспондент при армии И. Раковский напишет книжку «Конец белых»[219].

И пусть этот конец оказался печальным, пусть белые даже не правы исторически, политически, социально. Но я почти не знаю таких белых, которые осуждали бы себя за участие в этом движении. Наоборот, они всегда считали, что так нужно было, что этого требовал долг перед Родиной, что сюда звало русское сердце, что это было геройским подвигом, о котором отрадно вспомнить. Нашлись же люди, которые и жизнь отдали за «единую, великую, неделимую»... Не раскаивался и я, как увидим дальше.

Много было недостатков и даже пороков у нас, но все же движение было патриотическим и геройским.

И не случайно оно получило имя «белое». Пусть мы были и сероваты, и нечисты, но идея движения, особенно в начале, была бела. Христиане мы плохие, христианство — прекрасно.

Для конкретного примера расскажу сейчас, как и почему оказался в рядах Белого движения лично я. Тогда читателю яснее будет психология всего движения.

...Еще в Москве, во время Церковного Собора, многие (большинство членов и я) радовались так называемому корниловскому движению, когда он с армией шел, при Керенском, на Петроград. И мы молча печалились, когда дело кончилось провалом, а генерал Корнилов заключен был в Быховскую тюрьму, откуда и бежал под видом текинца на Дон к генералу Алексееву.

Потом я втайне сочувствовал и подпольному набору добровольцев, пробиравшихся туда же. И в глубине сердца я уже беспокоился, что стою в стороне от этих героев. Но никто меня не принуждал принимать участие в начавшемся движении, и по человеческой немощи я, как и очень многие военные, интеллигенты, духовные, — укрывался за словом «нейтралитет». Кроме того, слишком уж несравнимы были силы: вся Советская Русь и... горсточка храбрецов. «Безумству храбрых поем мы славу!» — писал Максим Горький в «Буревестнике» о погибших революционерах. Но «нет» несравненно легче, чем принимать участие в безумии, хотя бы и славном. Однако пусть «красный» читатель отнесет эти слова Горького и к белым безумцам, тогда лишь он может понять и врагов.

Про себя же лично скажу еще, что меня всегда тянуло к народу, простому народу. Среди моих приятелей на Московском Духовном Соборе были почти все крестьяне, которые иногда избирали меня выразителем своих проектов (например, против умножения поводов к разводу); сочувствовали мне два-три матроса и солдаты, представители фронта, настоящие большевики. Они

скоро поняли несродный им дух Собора, отказались от участия в нем и уехали к пылающим красным пламенем делам. И потому моя душа радовалась. А некоторые крайние правые члены Собора, как отец В-в, отец Н-в, граф Г-е (их было, в общем, мало), отталкивали меня крайностью своих убеждений и ложным пафосом своих старомодных речей.

Понятно, что и я пошел по более легкой дороге — пассивной и даже не совсем искренней — вынужденной лояльности к новой власти. Так прошли 1917, 1918 и 1919 годы. Совесть все больше и больше начинала беспокоить меня:

— Что же я сижу мирно в тылу? Братья мои, русские, сражаются, борются, жертвуют жизнью, а я отмалчиваюсь? Пусть не правы те или другие, или все, но не хуже ли мне отсиживаться в тылу, по пословице: «Моя хата с краю, ничего не знаю». Конечно, хуже, бессовестнее. Да, я как-то должен принять участие.

В это время большевики ушли из Крыма, после моего ареста и освобождения. Но я совершенно искренно могу сказать, что и тогда, и после «чрезвычайка» не имела ни малейшего влияния на мое решение. Не только не было мысли о мести красным, но я даже считал, что они были правы, подозревая в контрреволюции и посадив меня в «чеку», как противника своего. И только совесть все тревожила и толкала душу: ты должен что-нибудь делать!

И тут подвернулось, по пословице «на ловца и зверь бежит», небольшое событие, подтолкнувшее меня на решение. В Ялте, во время одного моего посещения, пришел ко мне содержатель кинематографа и автор одной картины под заглавием «Жизнь Родине, честь никому». Он попросил меня посетить его театр и посмотреть эту картину, которую он поставит специально для меня одного. Взяв с собой протоиерея Александро-Невского собора (чудной архитектуры и росписи!) отца Н. Владимирского,

я пошел. Потушили огни, началось представление. Там изображалась борьба белых против красных. Разумеется, красные изображались бандитами (а красные всегда называли противников белобандитами, как известно): пьянство, разврат, дебош, жестокости, кощунства — вот облик красных. Наоборот, белые изображались благородными героями, бескорыстными патриотами, жертвенными мучениками, религиозными борцами. Вот, помню, представляется красивый барский особняк в цветущем саду. Нежная мать, кажется, вдова. У нее оправляется от ран после немецкого фронта молодой, красивый, нежный, милый сын. Никто их еще не трогает, но душа его рвется на борьбу за Родину. И старушка-мать соглашается. Они молятся перед иконами. Она со слезами благословляет единственного сына на крестный путь. Он тайно пробирается на Белый фронт. Переплывает под пулями красных большую реку с каким-то важным докладом к генералу Алексееву. Потом сражается с беззаветной храбростью. Не помню уж, убивают ли его или он продолжает борьбу, но только я в темноте почти все время плакал. Слезы лились дождем. Сладкие слезы... И тогда у меня остро встало решение: грешно и стыдно сидеть мне в тылу! Я должен принять участие! Я приму его!

Через несколько дней я был в Симферополе на каком-то банкете военных. И там, вместо речи, рассказал про кинематограф, закончив заявлением, что и я решил работать с ними активно. Только еще не вижу — как.

Всякому понятно, что я встал на сторону белых, а не красных. Все белое было мне знакомым, своим, прошлым, а главное — религиозным. Прошло еще с полгода; пришел к власти генерал Врангель, и он сам просил меня возглавить духовенство армии и флота Русской армии[220]. Мое желание сбылось: я вошел активным членом в белую семью героев. Я тоже не думал о конце или победах, как и другие, а шел на голос совести и долга. И в этом душевном решении не раскаиваюсь и теперь. Пусть это

было даже практической ошибкой, но нравственно я поступил по совести. И мне тут не в чем каяться.

Подобным образом, вероятно, и даже много лучше чувствовали и рассуждали вожди и прочие добровольцы. Потом в армию влились уже и политические противники коммунистов, и насильно мобилизованные крестьяне, и обозленные корыстные защитники старых привилегий, и просто охотники, каких немало бывает во время революций. Но первоначальники белые были люди долга и чести... Ну, конечно, не святые. А разве на другой стороне были святые? А разве третьи, нейтральные, были лучше этих грешников, но жертвовавших собой?

Мы все это еще увидим скоро на деле.

Итак, Врангель на английском дредноуте спешит к берегам невольно покинутой земли, а Деникин через тот же Константинополь отправляется, кажется, сначала в Англию, а потом и во Францию, где и сейчас еще живет под немецкой пятой. Остатки Белой армии перебрались в Крым. Первая моя встреча с ними была, к сожалению, очень болезненная. Опишу ее как было. Тут все характерно!

Это было под Вербное воскресенье, кажется, 21 марта по старому стилю. По заведенному старым и опытным благочинным отцом протоиереем Баженовым обычаю, вербы раздавались не на самой всенощной, после чтения Евангелия, а перед службою. Это делалось для того, чтобы избежать беспорядка, шума и толкотни при раздаче освященных верб. В Симферополе в соборе, наоборот, намеренно устраивали шумное торжество: священники священные вербы пучками бросали в толпы народа на все четыре стороны, и там поднимался радостный шум, все бросались получать святую свежую веточку. Не знаю, откуда такой обычай на юге? Не от греков ли?! Но размеренный, аккуратный, спокойный отец Баженов не выносил никакого, даже и святого, беспорядка и установил совершенно произвольно крестный ход вокруг храма, когда тихо и мирно раздавались всем вербочки, а потом начиналась

также спокойно служба. Так было и на сей раз. Я, как архиерей, прибыл уже после этой раздачи, и началась всенощная. Вдруг в храме раздались невероятные крики, вопли, точно произошло землетрясение или иная какая катастрофа. Женщины и дети от западной стороны храма бросились в диком смятении вперед, иные вскочили в безумном состоянии даже в алтарь, через Царские врата. Никто ничего не понимал, только все дико кричали. Я вышел на архиерейское возвышение посередине храма и из всех сил голоса потребовал замолчать. Раз, два, три: стало тише. «Совсем перестать!» — грозно потребовал я и запел «Царю Небесный». Народ подхватил и успокоился. Службу продолжали. Я зазвал в алтарь церковного старосту: в чем дело?

Оказалось, там, при входе, разыгрался следующий скандал. Два офицера-добровольца тоже пришли в храм, но они были совершенно пьяны. При входе они увидели, что все стоят с вербами, а на ступеньках сидел нищий без вербы. Спьяна они обиделись за него: почему не дали ему вербы? Что им объяснил нищий, не знаю, но защитникам чести и правды показалось, что тут виноваты старшие — духовенство и староста. Не смея потребовать отчета от священнослужителей, офицеры направились к свечному ящику, где стоял староста и помощник его:

— Почему нищему не дали вербы?

Что уж староста им ответил, не знаю. Может быть, он, видя их пьяными, сказал им что-нибудь горькое или даже замечание? Но только они вынимают из кобур свои револьверы и угрожающе направляют их на старосту и других лиц у ящика, будто с намерением тут же расстрелять их. Эту картину увидели ближайшие богомольцы и пришли в неописуемую панику, которая передалась немедленно всем. А офицеры уже ушли.

Я написал официальную жалобу на такой дебош и послал ее старшему генералу Драгомирову[221]. Ответа не последовало.

Но после и я подумал, что не нужно было мне поднимать эту историю. Тут не было злого умысла или сознательного кощунства, а просто все случилось «по пьяному делу». В басне Крылова про повара-грамотея тоже было сказано: «...он набожных был правил, а в этот день по куме тризну правил», а по сему случаю напился пьяным. Но он делал выговор коту совершенно приятельски, не пугая кота, так что тот продолжал и при поваре «убирать» курчонка. А тут устроили целый скандал. Разве что одно можно было поставить в извинение добровольцам — они потеряли почти все! Армия, вооружение, конница, завоеванные области — все, все было утеряно. Поневоле можно прийти в отчаяние, а отсюда очень близко и до безобразий: «Э-э! Все равно теперь!» Но и тут они, однако, не забыли Бога, а пришли-таки в храм: завтра большой праздник!

Какая путаница в душах! Но нельзя не сознаться при сем извинении этих офицеров: в их дебоше проявилось, несомненно, и моральное разложение, и дерзкое своеволие, и неуважение к святыне, и пренебрежение к «простонародью». Даже сама защита будто бы обиженного нищего является ни чем иным, как озорством. Пословица говорит недаром: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

И невольно вспоминаются другие подобные случаи, о которых говорилось раньше: и пьянство Май-Маевского в Харькове, и избиение редактора «Прибоя» в Севастополе, и курящие штабные барышни в кожаных тужурках, и кража одеял женского училища, и сто девятнадцать убитых! Нет, в описанном церковном скандале отразилась какая-то внутренняя гнилость добровольцев — «белое» оказывалось не везде и не у всех чистым, на это движение легло уже много пятен. Можно ли еще их отмыть? Генерал Врангель попытается это сделать... Он уже прибыл в Севастополь.

Не помню, в то же Вербное воскресенье или в понедельник было собрание высших военачальников под председательством, кажется, генерала А.М. Драгомирова.

Всего было, помнится, 18 человек. Просился даже и я, чтоб мне позволили принять участие для поддержки генерала Врангеля, но мне правильно отказали. Они не хотели давать повода к идее о всяких «выборных началах», о «демократических» новшествах. Им был ближе и понятнее старый порядок назначения, особенно в военных делах. Говорили, будто некоторые из состава собрания протестовали даже вообще против всякой выборности, и только указ генерала Деникина вынуждал их принять этот путь. Такая психология характерна, она показывает, как крепки еще были старые порядки в душах Белой армии. Разразившаяся революция не сломила их.

На собрании генералов присутствовал, конечно, и генерал Врангель. И я, на всякий случай, привез из монастыря ту самую икону Божией Матери, которую обещал дать ему, когда он возвратится в Севастополь. В это время у меня в севастопольском доме присутствовал архиепископ Полтавский Феофан, о котором не раз упоминалось выше. В Крым съехалось тогда несколько архиереев-беженцев. Все они разместились по монастырям: Херсонскому, Георгиевскому, Инкерманскому.

Вдруг слышу, к архиерейскому моему дому (теперь я уже жил не у Пономаревой, а в приходском доме при Петропавловском соборе) подъезжает автомобиль. Звонок. Открываю. И предо мной вырастает фигура генерала Врангеля с его адъютантом И.М. Покровским.

Кто не видал его, тот не может представить себе исключительной силы впечатления, производимого всей его фигурой и внутренним духом. Необычайно высокий и необыкновенно тонкий, в кубанско-казацкой черкеске, перетянутой поясом, с рукой, покоящейся на кинжале, в мягких длинных сапогах — он сразу приковывал к себе внимание. Умные глаза, спокойное открытое уверенное лицо (совсем бритое), естественность поведения дополняли доброе и сильное впечатление. Но

самое главное, что особенно важно было нам потом, — это его способность воодушевлять и подбадривать своих сотрудников. Не раз, бывало, пред лицом неудач мы опускали голову. Помню, на заседании Совета министров, в котором принимал участие и я от имени Церкви, мы все были чем-то подавлены. Но вот приезжает с фронта Врангель, и прямо на то же заседание. Мгновенно у всех поднимается дух, мы снова начинаем верить в успехи, уже улыбаемся: «Все идет отлично».

Но на этот раз генерал приехал без улыбки.

Поздоровавшись с нами обоими по установленному обычаю, то есть приняв благословение, он повел такой разговор (припоминаю мысли, а отчасти и слова, по возможности, точно):

— Владыки! Я приехал к вам как к архиереям. Прошу вас высказать ваше церковное мнение. Сейчас во дворце идет заседание генералов по вопросу о выборе главнокомандующего. Назвали мое имя. Я соглашаюсь, но при условии представления мне широких полномочий ради пользы дела. Они же хотят каких-то ограничений, совещаний. Я заявил, что не согласен на это, встал и вышел с заседания, предоставив им одним договариваться. И вот решил использовать этот промежуток времени для визита к вам. Но сначала узнайте положение вещей. По человеческим соображениям почти нет никаких надежд на дальнейший успех Добровольческого движения. Армия разбита. Дух пал. Оружия почти нет. Конница погибла. Финансов никаких. Территория ничтожна. Союзники ненадежны. Большевики неизмеримо сильнее нас и человеческими резервами, и военным снаряжением. Что вы скажете?

Несмотря на такую безотрадную картину, мы оба без колебания ответили ему, что нужно брать командование, делать что можно, а в остальном положиться на волю Божию.

— Ну, хорошо! — подкрепил он наш ответ.

Тогда я напомнил ему, что обещал преподнести икону: она здесь. Он стал на одно колено, по военному обычаю, а архиепископ Феофан, как старший, благословил его. Генерал поцеловал икону, передал ее на руки впущенному теперь адъютанту Покровскому и стал прощаться с нами. Но перед самым выходом в коридор он неожиданно снова остановился, обратился к углу, в котором висел образ Спасителя, и, подняв к Нему лицо свое и устремив взор, начал молча молиться: перекрестился раз, помолчал, перекрестился другой, тоже задержался, третий так же. А потом сказал вслух:

— Ну, Господи, благослови!

И, провожаемый нами, вышел к автомобилю. На меня эти три креста его произвели большое впечатление. Благословение иконою было обычным приемом, а эта его собственная молитва была «сверх программы», она говорила о его личной вере, просьбе о помощи Божией и предании себя и всего дела в руки Промысла. Спустя два-три месяца я говорил в Мелитополе речь на площади и рассказал об этом случае. Стоявший рядом пожилой бородач-крестьянин перекрестился и сказал:

— Ну, слава Богу!

Тем временем собрание генералов согласилось на условия Врангеля, и он стал главнокомандующим.

25 марта (если не путаю дней), в день Благовещения, был парад войскам. Отдохнули, подчистились, они производили бодрящее и прекрасное впечатление. Генерал, стоя у подножия памятника адмиралу Нахимову, произнес воодушевленную речь, начав ее словами: «Орлы!»

Говорил и я о вере в победу и об избранности генерала Петра Николаевича Врангеля. Настроение у всех было приподнятое. Снова загорелась надежда.

Главнокомандующий пожелал, чтобы на место возглавителя духовенства армии и флота вступил я. До меня эту должность исполнял еще бывший при царе военный протопресвитер отец Г.И. Шавельский[222]. Он к этому



Генерал П.Н. Врангель

времени успел уже разочароваться в успехах движения и высоком уровне добровольцев, и его необходимо было заменить иным лицом, с верою в лучшее будущее.

Наш архиерейский Синод согласился на желание генерала и назначил меня епископом армии и флота. Это был первый случай за 220 лет (со времени Петра I), что во главе духовенства стал архиерей. Государственная военная власть прежде не хотела этого потому, что с протоиереем легче было обходиться, чем с архиереем. Тут сказался и дух господства государства над Церковью. Но избрание меня архиереем армии и флота тоже не означало улучшения церковных воззрений теперешнего правительства. Это было личным делом главнокомандующего, по личной симпатии ко мне. Важно отчасти было и то, что я пользовался любовью севастопольцев, а это весьма нужно было и для военного дела. Так судьба меня поставила очень близко к самому центру Белого движения в последний период его.

Потом, как я уже отметил, я был избран представителем от Церкви и в Совет министров. Мое положение там было особое: я, когда это было нужно, высказывал мнение Церкви, не будучи обязан даже голосовать с прочими министрами. Председателем Совета министров был потом Кривошеин[223], бывший министр земледелия при царском правительстве.

После Пасхи войска сразу стали готовиться к наступлению. А я перед этим поспешил познакомиться с ними на фронте. И в первый раз попал в гущу военной среды. И глубоко разочаровался... Даже был потрясен вскрывшейся передо мной действительной картиной.

Впрочем, немного я был предупрежден об этом еще раньше одним из добровольцев. В день парада 25 марта ко мне приезжал с визитом генерал Богаевский[224], редкой духовной красоты человек: скромный, умный, деликатный, выдержанный, но и храбрый в деле. Светлое впечатление оставил он после себя, и таким был в



Генерал А.П.Богаевский

эмиграции до самой смерти. Он был одним из первоначальников Белого движения и сначала командовал партизанским отрядом, состоявшим из адвокатов, инженеров, журналистов, а главным образом, из учащейся молодежи, студентов, гимназистов и кадетов различных военных корпусов, отчего и пошло название Добровольческой армии — «кадеты».

А вскоре после него ко мне заявился совершенно необычный визитер в офицерской форме и с большой растрепанной темно-русой бородой, что теперь почти не встречалось у военных, не в пример эпохи царя Александра III, вводившего русский стиль и в бороду.

Пришедший сначала обратился в угол, где висела икона, и наложил три размашистых, до самых плечей, креста... Наши офицеры никогда этого не делали, как известно. Но не успел я удивиться, как гость бухнулся мне в ноги... Что такое? Офицер, существо обычно щепетильное, — и вдруг кланяется в ноги духовному лицу, которое никогда не пользовалось особым почетом и любовью у военных или аристократов! Тут опять невольно сказывался принцип господства государства над Церковью: первое — выше второй; военные и дворяне — представители государства, и потому им не пристало выражать свое уважение «низшему» классу, «попам», а уж «унизиться» до крестов при входе и земных поклонов — дело почти неслыханное в истории за сотни лет! Говорю без преувеличения. Со времени Димитрия Донского, просившего коленопреклоненно (думаю, так часто рисовали его) благословения у святого Сергия на рать с Мамаем, я решительно не помню ни одного подобного факта. Ни одного...

Обычно в военной среде офицеры называли полковых священников фамильярным именем «бати»: «Ну как, батя, дела?» Или во время игры в карты: «Эй, батя, ходи». В лучшем случае, если священник держал себя независимо, относились к нему корректно, но холодно.

И таких не любили. Я совсем не думаю осуждать офицерство за такую вольность. Осуждать людей — самое неумное занятие: будто бы на их месте мы были бы лучше. Всему в истории есть свои глубокие длительные причины. И офицерские привычки не со вчерашнего дня появились, нужны были два столетия со времен Петра Великого, чтобы они воспитались и укрепились. Но к чести офицеров нужно сказать, что они очень редко были безбожниками, хотя это, скорее, было доброй традицией и законом военного достоинства, атеисты — это революционеры, социалисты.

Я, удивленный, в замешательстве, поднимаю гостя, и он рекомендуется умело:

— Владыка! Я не принадлежу к господствующей Церкви! Я старообрядец. Но я почитаю и православную иерархию. Благословите! Моя фамилия — Рябушинский.

Известные московские богачи, ученые купцы.

Тут я понял все: он не православный офицер. Старообрядцы же твердо хранят религиозные устои, пусть даже внешне, но держат их, а этим держат и свое старообрядчество, не сливаясь ни с православными, ни тем более с безбожной интеллигенцией. В последние десятилетия и у них пошло разложение, но не так, как у наших интеллигентов. Я совсем не хочу ставить старообрядчество выше Православия по существу, наоборот, я на опытном знакомстве с ними убедился, что у них мало благодатного духа любви, смирения и много самомнения, осуждения и даже озлобления. И вообще их благочестие — внешняя скорлупа. Например, помню такой случай. После объявления свободы вероисповедания в 1905 году, теперь, после долгого времени запрещения, были открыты в Москве старинные храмы Рогожского и Преображенского кладбищ староверов[225], как обычно и неверно называли их в народе. Я зашел посмотреть одну из этих церквей. Высокие ступени вели в него. Многоглавый, ярко-красного цвета храм со старинными

темными иконами понравился мне. Но внутри я, странно, ощутил какую-то духовную мертвенность и потому недолго задержался там. Выхожу обратно и вижу на паперти древнюю-древнюю, маленькую, сгорбленную, худенькую старушечку лет 75–80. Мы все любим детей и старепьких. Я невольно улыбнулся ей ласково и, помню, сказал: «Здравствуй, бабушка». Я был одет в рясу и клобук православного покроя. Для нее я был «никонианин», по имени Патриарха Никона, преследовавшего старообрядцев. «Никонианин» же — это почти слуга антихриста. И понятно, что вся моя ласка была для нее хуже пули: это — искушение. И она, взглянув на меня с неприкровенной злобой, не ответив ни слова, повернулась задом и пошла внутрь храма...

«Боже, какая она жалкая и бесплодная!» — подумал я. Да, всякий раскол оставляет в душе страшные следы отчуждения, злобы и вражды. Раскол по природе своей есть дело нелюбви и плод гордости! Так было всегда, так это же самое мы видим и на современных раскольниках-эмигрантах, отделившихся от Русской Матери-Церкви из-за большевиков! И все расколы, как коренящиеся в глубине души, изживаются весьма трудно и долго. Через 28 лет будет 300 лет, как отделились старообрядцы, и пока мы не видим признаков примирения. Правда, и наши отцы 300 лет тому назад поступили круто и недостаточно любовно и осторожно, что не были снисходительны к обрядам, вещи второстепенной. Легко разрушить, разбить единство, а как трудно восстановить его!

После революции 1917 года одно время наметилось (по слухам) сближение старообрядцев с православными, потому что и те и другие оказались гонимыми и страдающими; по учению старообрядцев, «антихристова» церковь, то есть православная, должна быть не гонимой, а господствующей, как и было при царях. Это перепутало все понятия у старообрядцев: раз обе гонимые, так,

значит, обе истинные, следовательно, нужно бы соединиться теперь. И будто бы были какие-то попытки или сдвиги в душах, но ничем не кончилось. Я давно спрашивал митрополита Сергия, справедливы ли эти добрые слухи? И он ответил, что пока все остается по-прежнему: мира нет, живут братья по вере чужими друг другу. И я думаю, что главнейшая причина этой отчужденности лежит в духовной области, безблагодатности отклонившихся раскольников от истинной Церкви! Как бы ни были мы, православные, плохи сами по себе, но Церковь наша — истинна, и в ней живет Святой Дух. Когда же раскольники отходят от нее, то они лишаются и той малой благодати, того оздоровляющего действия, какое есть в истинной Церкви, а потому болезнь раскольников не излечивается, а все больше углубляется. Поэтому та древняя старушка не может прямо посмотреть на истину, как не может уже выпрямиться ее старенькая сгорбленная спина. Она легко может отвернуться даже от искренней улыбки вашей, но не в состоянии даже улыбнуться в ответ; какая грусть!

Может быть, Мать-Церковь что-то должна еще сделать, чтобы растопить этот леденящий холод их. Не знаю... А давать легкомысленные рецепты лечить долголетние болезни могут лишь «всезнайки», сельские фельдшеры. Остается, кажется, лишь молиться о соединении всех да кротко переносить и будущие страдания: это скорее сблизит нас. А если и это не поможет — буди воля Божия! «Не я управляю миром», — еще и еще раз вспоминаются слова на горе около сельского храма при виде «иллюминации» помещичьих усадеб...

В заключение этих дум о старообрядчестве вспомню интересные наблюдения над ними Алексея Ухтомского. Я еще был студентом Санкт-Петербургской духовной академии и познакомился с ним в квартире ректора, епископа Сергия (ныне митрополита Московского). У него, как и у брата его, тогда уже епископа,

Андрея (епископ Андрей и после революции все путался в этом увлечении людьми старой веры и кончил чуть ли не отрывом от Церкви) была странная симпатия к старообрядцам. Есть, говорят, люди, которые любят будто бы есть приготовленную дичь, уже немного начавшую гнить. И в нашем высшем обществе давно наблюдалось такое тяготение к чему-нибудь оригинальному, новому «с душком». Например, в начале XIX века явилось там стремление к мистицизму. Он — в здоровом виде — был и есть в Православии, даже является сущностью нашей веры: «Стяжание благодати Святого Духа», как говорил современник тех движений преподобный Серафим Саровский[226]. Но высшим классам подай что-нибудь иностранное, заманчивое, обольстительное, особое, не наше! Отсюда увлечение мистиками западными: Сведенборгом, Эккартсгаузеном[227] и другими. Отсюда полухлыстовские кружки Татариновой[228] времен Александра I. После, при Александре II, увлечение английским сектантством лорда Редстока[229], после — Фесслера[230] и так далее. Сюда же относится и Распутин. От этого же и увлечение Бонч-Бруевича[231] (при Ленине) сектантами вообще.

Вот подобным образом у некоторых аристократов-народников была тяга и к старообрядцам. И Алексей Ухтомский, он был ассистентом на кафедре (кажется) физики в Санкт-Петербургском университете, чувствовал к ним сентиментальную нежность, не видя их. Митрополит Сергий, как человек духовно здоровый, угощая его чаем, благодушно при нас, студентах, вышучивал его. Ухтомский мило улыбался и повторял свое. Но однажды он решил проверить свое увлечение. Отправился в Керженские леса и начал обходить раскольничьи скиты и беседовать со старцами.

Когда он возвратился в Санкт-Петербург, посетил митрополита Сергия и сообщил ему свои выводы о них. Первое: при всей строгости и внешней уставности он не

нашел там внутреннего благодатного духа благочестия. А второе: если же он встречал подобных благочестивых старцев, то они оказывались более или менее кроткими и уже теряли всякую вражду и нетерпимость к «господствующей» Церкви, даже наоборот, относились к ней с любовью и почитанием. Алеша, так называли мы его, отрезвел от увлечения.

Вот такой же отчасти был и Владимир Павлович Рябушинский, посетивший меня в день парада, 25 марта. После благословения он сел и сразу, без всяких предисловий, каким-то срывающимся голосом сказал:

— Владыка! Мы погибаем! Мы погибаем!

И мгновенно разрыдался громко, с надрывом. Слезы вообще трудно выносить. А когда здоровенный бородатый мужчина рыдает неудержимо, становится даже жутко. Будто бы дикий буйвол плачет...

— Что с вами? Что с вами? — утешаю я его.

А он рыдает и рыдает. Слезы обильным градом катятся по его щекам и бороде, но ему не до них. Он лишь повторяет безутешно:

— Мы погибаем! Мы погибаем!

— Расскажите, в чем дело? — недоумевающе спрашиваю я.

— Владыка святой! Мы такие же большевики, как и они! Только они — красные большевики, а мы — белые большевики!

И он опять рыдает. Я тогда еще верил в Белое движение и что-то утешительное стал говорить ему, но мои слова не запали ему в душу. Я ведь не знал еще белых, а он проделал с ними все кампании и видел все в натуре. Немного успокоившись, Владимир Павлович начал мне вскрывать темные стороны белых. Что я мог возразить ему?! Сейчас я не помню ни одного слова моего, так они были пусты и бесцветны.

Но он и сам все же искал утешения или оправдания и потому в заключение беседы сказал, но не твердо,

а вопросительно, будто не веря самому себе, а лишь желая верить:

— А как вы думаете? Может быть, мы еще можем покаяться? Вот у меня есть друг, тоже офицер, профессор университета Даватц. Он все говорит: «Да, мы тоже разбойники, как и те, но только мы висим на правом кресте от Христа и можем раскаяться, а они — левые хульники, непокаянные!» Вы думаете, мы раскаемся?

Я совершенно не помню, что ответил ему. Что-нибудь пустое, бледное. Мы распрощались. После я встречался с ним в Париже. Он оказался прав — Белое движение погибло. Занимался он там выставкой икон и прочего, но уже был оторванным листком, как и другие эмигранты. Одет был в красивый светский костюм, бородка была расчесана (а может быть, и подбрил он этот «образ Божий», как иногда выражаются старообрядцы про брадобреев?), весь он был чистенький и даже улыбался любезно. Но мне был дороже тот мужиковатый русский растрепанный человек, который рыдал как вол, опечаленный и уязвленный в сердце. А сердце его было русское, народное.

Но странно, его признание Белой армии гибнущей не вошло в мою душу. Человек всему учится опытно.

После Пасхи я выехал на фронт. Мне для этого был дан специальный вагон маленького размера, которым я мог пользоваться в любое время, — стоило лишь сказать по телефону начальнику станции Севастополь, и его прицепляли к нужному поезду. И это радовало меня и моего секретаря: «отдельный вагон». Боже, какие мы дети и в сорок лет! А еще думали сломать ход истории.

Приехал я, с пересадкой на лошадях, к Перекопскому валу. Был вечер. Я посетил штаб Корниловской дивизии, командиром которой был высокий отчаянный молодой генерал Туркул (теперь, кажется, ушедший к Гитлеру)[232]. Походил по избам близлежащей деревушки (имя ее позабыл), разговаривал с солдатами, а особенно

с офицерами. И сразу я был поражен духом добровольцев. Да, это были действительно отчаянные герои! Да, они любили Россию и безумно складывали за нее свои буйные головы! Да, я могу представить их в так называемой «психологической атаке», когда они шли церемониальным маршем, без единого выстрела, против вдесятеро сильнейшего неприятеля, который терял мужество перед бесстрашием офицеров и иногда бежал в панике от них!

И на этот раз они говорили о своей бесстрашной решимости. Один полковник, командир танка, совершенно спокойно рассказывал, что он был ранен уже четырнадцать раз, а завтра выйдет на сражение первым. И улыбался, куря. Он был почти уверен, что будет убит... Действительно, после я узнал, что в его танк попал снаряд, и он с другим сгорел в нем. И такие герои были почти везде!

Но он в этот же вечер, накануне смерти, совершенно открыто, почти цинично, насмешливо заявил мне, что ничуть не верит в Бога. Бывшие тут с ним другие офицеры нимало не смутились его заявлению, будто и они так же думали!

Я, по новости, пришел в ужас. Тогда чем же они отличаются от безбожников-большевиков? Выхожу на улицу. Встречается в военной форме солдат-мальчик лет 13–14. Были и такие... С кем-то отчаянно грубо разговаривает. И я слышу, как он самой площадной матерной бранью ругает и Бога, и Божию Матерь, и всех святых! Я ушам своим не верю... Добровольцы, белые — и такое богохульство! Боже! Неужели прав Рябушинский? «Мы — белые большевики, мы погибнем?!»

Хожу дальше. Слышу почти анекдот, но так запомнилось. Одна женщина потеряла корову и пожаловалась начальству. Искали ее и не нашли. Оказалось, ее спрятали не то в чулан, не то даже в ванную комнату, а потом зарезали. Я и сам сейчас не верю этой басне, но вот рассказывали же такое...

После, когда наша армия заняла северную часть Таврической губернии, я невдалеке от фронта, под прекрасным зеленым бугорком, сидел с одним весьма благочестивым офицером, с чистой бородкой золотистого цвета. Мы, конечно, говорили о том, что же будет?

И вдруг он сказал такую фразу, я запомнил ее точно:

— Где нам, маленьким бесенятам, победить больших бесов — большевиков?

И это сказано было не для красного словца, а спокойно, с глазу на глаз.

Сам Врангель в приказах твердил, что «святое дело нужно делать чистыми руками». Значит, была же нечисть!

Везде матерная брань «висела в воздухе». Несколько позже я обратился к главнокомандующему с настойчивой просьбой принять решительные меры против этой разлагающей гнусности.

— Хорошо! Заготовьте об этом приказ по армии от моего имени.

Я поручил написать проект моему помощнику по флоту, протоиерею отцу Г. Спасскому, человеку талантливому и давно знавшему военную среду[233]. Приказ был написан сильно и коротко. Последние две строчки приблизительно говорили: «И пусть старшие показывают добрый пример младшим в решительном искоренении этого ужасного обычая!»

Понес его генералу. Прочитал, согласился.

— Только вот, — говорит, — не лучше ли выпустить последние строчки?

— Почему? — возражаю, — ведь это же правда, что и они ругаются похабно?

— Да! Но неудобно в приказе говорить это о командирах, подорвется дисциплина.

— Хорошо, выпустите.

Он зачеркнул эти строки. Осталось ему отдать в печать и распространить по армии. Жду неделю, другую.



Генерал П.Н. Врангель прибывает на линию фронта

Генерал П.Н. Врангель принимает парад Кавказской добровольческой армии в Царицыне. 1919 г.

Нет моего приказа. Иду к председателю Совета министров А.В. Кривошеину:

— В чем дело? Почему нет приказа против матерщины?

— Провалили наш проект.

— Как провалили? Кто?

— Генералы! — был короткий ответ его.

У меня даже захолодело в душе. Генералы говорили, будто бы без этой приправы не так хорошо слушают солдаты их приказания. Да и привычка въелась глубоко в сердце и в речь. Одним словом — провалили... И быть же тому, что вскорости после этого, не знаю как, по радио что ли, дошли до нас слухи, будто Троцкий издал строжайший приказ по Советской армии — вывести беспощадно матерщину!

Такое тяжелое впечатление получил я от первого знакомства с нашей армией... И только одно светлое воспоминание унес я от Перекопа — ту группочку безусых розовых мальчиков, которые у тлеющего костра спрашивали меня ночью:

— А что? Мы победим? Ведь мы за Бога и Родину.

Когда я воротился с фронта, то доложил нашему Синоду, а потом и генералу Врангелю буквально так:

— Наша армия героична, но она некрещеная!

Вывод, в сущности, — ужасный.

Что делать? Синод, архиереи — мы были бессильны и совершенно неавторитетны в глазах военных.

— Э-эх! Ну, что там говорят попы! — сказали бы нам в ответ. — Одной бесплодной проповедью больше, и только!

Авторитет, и он действительно был тогда, имел лишь Врангель, его любили, ему верили, его боялись. Но вот результат: и он почти ничего не мог сделать. Разложение духа было уже глубокое. Так мой наивный вопль замер в воздухе и после этого первого доклада, а потом — и в случае с бранью. Через несколько месяцев я подведу

итог и письменно доложу о нем Совету министров. Но будет уже поздно... А точнее сказать, было еще слишком рано.

Что это? Отдельные ли незначительные случаи? Или тут вырисовывалась уже общая картина? Мне бы хотелось верить первому, хотелось верить в чистоту белых риз. А иначе на что мне надеяться? Сил военных горсточка — всего 15–20 тысяч! Что это такое перед миллионами советской страны? Да еще после страшных поражений и бегства добровольцев со всех фронтов, когда авторитет и страх перед белыми пропал? И невольно начинало закрадываться в душу сомнение: не конец ли приходит? Не последняя ли страница пишется белыми?

Этот итог и пришлось мне, уже в июле, выслушать в откровенной форме от писателя Ивана Александровича Родионова. Имя этого человека не всем известно, а между тем от него осталась поразительно сильная книга, изданная около 1907–1908 годов, «Наше преступление»[234]. Казак родом, он имел поместье в Псковской губернии и описал нравы местных крестьян. Там есть такие потрясающие картины морального разложения и совершенно невероятных форм богохульства крестьян, что я, читая лекции в Санкт-Петербургской академии, для характеристики современной нашей паствы не мог — пред взрослыми студентами — цитировать некоторые страницы с кощунствами. А то была фотография с подлинных фактов.

И Родионов говорил, что это наше интеллигентское преступление, мы внушали народу безбожие и прочее!

После он написал еще книгу «Жертвы вечерние», как дети-кадеты в Белой армии отвечали своими поздними жертвами за ранние грехи своих отцов. И еще написал стихи про Москву Белокаменную.

Вот его генерал Врангель вызвал из Турции, предложил ему стать во главе печатного дела. Он отказался. По прежнему еще знакомству с 1906–1907 годов по делу

Распутина, он зашел ко мне с визитом. Я угостил его обедом. С жалостью спрашиваю: почему отказался.

— Видите, — ответил он, — чтобы победить большевиков, нужно одно из двух: или вы должны задавить их числом, или же духовно покорить своей святостью. Еще лучше бы и то, и другое. Вы здесь хоть и благочестивы, но не святы. Ну, а о количестве и говорить не приходится. Поэтому дело наше конченое, обреченное. И я отказался от напрасного подвига.

Я ему что-то говорил об успехах армии. Тогда белые разбили Жлобу[235] с его частью Красной армии. Но Родионов не придавал этому эпизоду никакого значения.

Сам он был человеком крутого нрава, железной воли и даже физической силы. Вероятно, подковы легко мог гнуть и ломать. При этом был глубоко религиозным и церковным христианином, даже приучился к непрестанной Молитве Иисусовой.

После разгрома белых, когда я тоже приехал в Константинополь, его уже не было там, он перебрался в Берлин. Я написал туда ему письмо: «Вы-де оказались пророком о Крыме, а что же теперь думаете о дальнейшем?» Он ответил: «Много дум в голове, но писать не буду, потому что люди учатся лишь опытом, и притом — собственным!»

После он приезжал в Париж, там исповедовался и причащался. Все больше молился... И скончался, кажется, в Германии, оставив одного или двух сыновей, не знаю — от первой или второй жены. С первой он разошелся из-за своего тяжелого характера.

Но мы еще верили в успех. Еще не изжит был дух борьбы белых... И нужно было довести дело до последнего конца. Начались военные операции.

Говорить много о военных действиях нет нужды. История Добровольческой (со времен генерала Врангеля ее стали называть Русской) армии в этот последний период Белого движения отнюдь не определялась сраже-

ниями. Правда, в Сербии мне пришлось слышать доклад одного из добровольцев-офицеров, Туган-Барановского, который объяснял неудачи наши именно какими-то неверными военными действиями: вот если бы не так, а так... да если бы не то, а не это... тогда бы... Скучно все это было. И Родионов был прав, когда говорил о массивных фундаментах движения: или колоссальной армии, или каких-либо духовных причинах, способных воздействовать на массовую психологию миллионов земли Русской. Потому и я лишь для красочности моих записок вспомню о нескольких моментах, оставшихся в моей памяти.

Впервые мне пришлось «отведать огня» при посещении мною штаба одной из дивизий. Только что я вошел в сельский домик, где был штаб, как через каких-нибудь пять минут раздался страшный взрыв на том дворе. Мы выскочили. Оказалось, снаряд влетел сюда, и несколько лошадей, стоявших тут, были разорваны. Моя лошадь стояла на улице и осталась цела. Немедленно, признаюсь, со страху, мы с секретарем вскочили в нашу телегу и рысью обратно, подальше от фронта! Но снаряды ложились то слева, то справа, поднимая десятисаженные взрывы земли. Было жутковато. Однако уцелели... Две-три сажени левее — и весь штаб дивизии со мною был бы убит. Случайность?..

В другой раз генерал Врангель поехал на Джанкойский фронт, ближе к Азовскому морю. Красные наступали тремя цепями. С левого боку от них и значительно впереди шел бронепоезд. Все это было нам видно. И наши наступали тремя цепями, и тоже с бронепоездом, шедшим впереди. Друг друга угощали гранатами. Генерал Врангель и мне предложил «прогуляться». Сказали мы краткие речи и пошли. Прошли третью цепь, потом вторую. То слева, то справа рвались гранаты. Еще издалека слышался визжащий лет: «Гу-у!» И не знаешь, куда она угодит? Вдруг справа: «Ба-ах!» Между рядами. Идем дальше, еще: «Гу-у-у! Ба-а-ах!» Я никак не могу

удержаться: от страха непроизвольно вскрикиваю и непременно пригибаюсь к земле.

— Ну, как вам, владыка, не стыдно кланяться всякой гранате? — шутит Врангель, быстро шагая на своих длинных ногах, так что мы едва успеваем скоренько следовать за ним.

Сам он шел совершенно спокойно. Так же спокойно, по видимости, вели себя офицеры и ряды солдат. Привыкли, что ли, они? Или скрывали свое чувство страха? Вероятнее — привыкли. Прошли мы и первую цепь. Впереди, довольно далеко, был наш бронепоезд, а навстречу ему двигался красный. Точно два быка впереди своих стад сходились они в бой. Генерал Врангель хотел пройти и туда. Но генерал Слащев очень ласково, но твердо отрапортовал, что Врангель у нас один главнокомандующий и рисковать собою не имеет права. Врангель послушался. Вот в этот раз я и видел Слащева в валенке на одной ноге и в сапоге на другой. Но все же он был красив и привлекателен!

Мы воротились. Не знаю, чем кончилось это сражение войск. Потом белые прорвали фронт красных и отогнали их за Днепр на западе, за Александровск (после) на севере и до Азовского моря на востоке. Чем объясняется такое отступление Красной армии, не могу понять. Кажется, в то время советские войска были заняты войной с поляками и не могли выделить больших сил на юге.

Один раз в поле белые войска очень искусными маневрами разбили наголову кавалерийскую армию, тысяч 18 шашек, предводимую Жлобою, едва ли не простым матросом. И об этом говорили как о большой победе.

Была одна высадка на Кубань, возле Таманского полуострова. Разведчики обещали, что казаки поддержат теперь: они-де увидели, что такое большевики. Но это оказалось почти провокацией — никакой поддержки не было, лишь погибли тысячи добровольцев и отступили обратно. Но об этом молчали у нас...

Взяли к осени и город Александровск. Но я не чувствовал в народе веры в нас. Например, в этом городе я служил в соборе Литургию. В конце я предложил комулибо из местного духовенства прочитать воззвание нашего Синода. Но батюшки, смиренно и робко улыбаясь, просили меня самого прочитать. Я понял, что они боялись остаться без нас, когда мы снова откатимся назад. Они, ясно, не верили в нашу победу... После Литургии устроили крестный ход. Народу с нами шло немного. А по бокам стояли рабочие: явные враги наши. Они не снимали шапок перед крестным ходом и открыто злобно улыбались по нашему адресу: «Подождите-де, и вам скоро придет конец!» Я это читал на их лицах совершенно отчетливо. Да, народ тут не с нами опять!..

А в это время из-за Днепра, или с Запорожской Сечи, изредка летели снаряды, разрываясь очень высоко в воздухе и оставляя после себя беленькие облачка. Враг был рядом. И притом он мог постоянно грозить нашему левому флангу, отрезав его от основной базы в Крыму.

Еще помню службу в одном большом селе Мелитопольского уезда. Только что мы начали служить молебен о победе нашей армии, как вдруг поползли слухи: красные окружают село. Наспех кончили молитвы. И я — на повозку! А Дроздовская дивизия совершенно спокойно стала готовиться к сражению. Генерал Витковский, весьма симпатичный и, казалось мне, мягкий, с женственным лицом человек, давал нужные приказания своей части для отражения врага. Я тогда удивился его непостижимому для меня спокойствию, точно на парад он шел.

Вот и все, что я помню о военных действиях за пять месяцев. В сущности — почти ничего. Победа над Жлобою была случайным успехом. Меня больше интересовали общие настроения народа. Я не в территориальные успехи верил, а в народ: если бы он повернулся стихийно, тогда иное дело! Как же он чувствовал? И что мы давали ему?

Всего легче и прямее это можно и нужно было бы видеть из трех деклараций, которые обыкновенно пускались в обращение среди народа пришедшею властью. Как Деникин, так и Врангель выпустили такое обращение: «За что мы воюем?»[236] Оно было краткое, строчек в двадцать. Не помню сейчас, что там говорилось вообще. Лишь два пункта запомнились. Первый о вере, второй о Хозяине.

Как помнит читатель, генерал Деникин отклонил пункт «за веру», чтобы быть искренним. Генерал Врангель снова вставил его. Не потому, чтобы он был более религиозен, чем тот, а потому, что этот пункт теперь казался и более патриотическим, и отличал белых от красных безбожников, и более привлекал народ. А еще была и одна случайная причина. Какими-то путями к генералу Врангелю прошел один крестьянин Костромской губернии, и ему был показан проект обращения. Крестьянин сей удивился, что ни слова не сказано о вере, и дал совет непременно внести этот пункт. После этот крестьянин посетил и меня лично. И не он ли сам рассказал мне об этой подробности? Как сейчас помню его скромное лицо с русой бородой, серыми спокойными глазами, в коричнево-сером пиджаке и русском картузе. Симпатичный...

Но в декларации не сказано было о православной вере, потому что в Крыму было много татар-магометан и других. Отразилось ли это обращение на массах? Не думаю. К этому пункту привыкли еще в дореволюционное время и не обращали на него особого внимания.

Гораздо более тревожно встречен был другой пункт — о «Хозяине». Декларация по вопросу о будущем политическом строе стояла на «непредрешенческой» позиции. И генерал Врангель заявил, что этот вопрос решит «Хозяин земли Русской». Но кто он такой? Сразу всякому бросалось в глаза, что тут разумеется царь! Да и слово «Хозяин» печаталось с большой буквы. Откровен-

но сказать, я и сам думал так же точно. Дело в том, что тогда была у многих вера в царя. Нам казалось: стоило лишь ему стать во главе — и все как-то устроится волшебно. Будто вся беда лишь оттого, что царя нет. Таково уж было обаяние его за 300 лет. Но и вообще люди истосковались по единой сильной власти.

Что думал сам Врангель, не знаю и сейчас. Может быть, и он мечтал о возвращении его? Не знаю, но почему-то думаю, это было у него. Некоторые (например, митрополит Антоний Киевский) открыто после высказывали мне враждебные подозрения, будто Петр Врангель, с моей помощью, стремился в бонапарты под именем Петра IV. А мне и в голову это не приходило. Не верю, чтобы генерал мечтал о такой карьере. Кажется, митрополита Антония разжигали и тогда, и после крайне правые, Марков-второй[237] и другие, которые очень не любили генерала Врангеля за его широкую позицию. После, в Сремских Карловцах в Сербии, на лекции К., выбывшей недавно из России, когда зашла речь о династии Романовых, генерал Врангель в последовавшем обмене мнениями бросил горячую фразу, которая страшно поразила даже его сотрудников-генералов:

— Россия — не романовская вотчина!

Нужно, впрочем, сказать, что Врангель всегда был шире и свободнее многих из сотрудников своих, но разумел ли он в 1920 году под «Хозяином» царя, не могу сказать. Когда же неопределенное слово вызвало разнотолкования в обществе и армии, то он вынужден был дополнительно разъяснить в печати, что под «Хозяином» разумеется сам народ земли Русской. На этом и успокоились.

Что касается прочих пунктов воззвания, то они не остались в моей памяти. Думаю, потому, что не были яркими и оригинальными. Кажется, был и нравственный пункт, что святое дело освобождения Родины нужно делать чистыми руками.

Одно лишь могу сказать, что в этом документе не много было сказано о самом народе. Не чувствовалось нового веяния эпохи. И народ как-то скоро понял, что «белые» — это «старорежимники», что Добровольческое движение есть в глубине панское, владельческое, интеллигентское дело, а не мужицкое, не рабочее. И трудно было их разубедить в этом, потому что они, в сущности, были правы. «Мы» — народ, а «они» — белые. Это разделение быстро проникло в сердца рабочего класса еще прежде. Вот два очень характерных факта.

Доселе я, как епископ Севастопольский, считался «народным» архиереем. Но как только я выступил сотрудником Белого движения, тотчас же на меня посыпались с разных сторон обвинения: он ушел от «нас» к «ним»! И я должен был говорить по этому поводу специальную проповедь с крыльца Александро-Невского храма на Корабельной стороне: «Для Церкви, — разъяснял я, — и белые, и красные, если только они верующие, одинаково приемлемы, а, следовательно, я, и работая с белыми, не ухожу от народа». Но, по-видимому, мое толкование не успокоило сомнений.

Другой случай. Я сам с печалью видел, что вокруг генерала Врангеля собрались бывшие высшие классы: министры, губернаторы, генералы, сенаторы, аристократы, немного промышленников и членов Думы и... никто из крестьян и рабочих. И я прямо высказал свою печаль и опасение генералу Врангелю, а потом и Кривошеину. И быть же тому, что как раз после этого моего доклада премьер-министру входит его секретарь Котляревский, ничего не знавший о содержании нашей беседы, и сообщает, что сейчас по радио передавалась агитационная речь Троцкого по этому же вопросу: «Всем, всем, всем! Кто собрался вокруг Врангеля? Графы, князья, помещики, генералы, нет народа» и так далее.

Нас всех поразило такое совпадение: белый архиерей и красный комиссар говорили одно и то же. Да, безу-

словно, нужно сознаться нам, что Белое движение было в конце концов движением классовым, а не всенародным, не рабоче-крестьянским. Я это говорю не для того, чтобы винить кого-нибудь, — историю винить легко, но не всегда это умно и справедливо, — а лишь чтобы объяснить процесс Белого движения и отношение к нему со стороны народных масс.

Для этого я сейчас расскажу об одном характерном случае обращения с этим самым народом.

Однажды в мой дом в Севастополе пришла группа селяков, человек пятнадцать. Это были простые землеробы. Но во главе их были какие-то интеллигентные братья Акацатовы. Кто они такие, я и по сие время не знаю. Слухи об одном из них ходили разные: человек — на многое способен, говорили потом о нем. Но мне это совершенно неважно. Такая большая группа не вмещалась в мою приемную комнату, и я попросил их в столовую, где было больше места и стульев. Сели. Характерно при этом, что каждый из них хотел занять место как можно более укромное, в уголку, а сесть — на краешке стула. Увы! Так приучены мы были все в бедности и бесправии. И я сам, когда уже был ректором семинарии, все опасался ходить в парадный подъезд по зеленому ковру лестницы. Тем более — мужички. Этот «хозяин земли» своей...

— Чем могу служить? — спрашиваю.

Акацатовы могли бы, конечно, говорить. Вероятно, они были наняты селяками как их адвокаты. Но они предпочитали, чтобы народ сам заговорил первым. Известно, что они чрезвычайно стеснялись «выступать». Наконец кто-то начал. Оказывается, они ходоки по общему делу землеробов. И все добиваются дойти до «самого» Врангеля, но им это никак не удавалось до сих пор. Вот кто-то и направил их к архиерею как к приятелю генерала.

— А в чем дело ваше?

Они туманно мне начали объяснять что-то о хлебе, о мануфактуре, о валюте... Я — невежда в этих делах,

а они — неважные ораторы. Так я почти ничего и не понял.

— Чего же вы желаете от меня?

— Так что нам бы повидать генерала Врангеля.

— Хорошо, я попрошу его.

У меня был «правительственный» телефон, как у епископа армии. Звоню. Отвечает главнокомандующий. Объясняю ему, что группа делегатов от крестьян хочет иметь у него прием. Генерал отвечает, что очень рад, но у него все время расписано по часам. Вот только завтра, в воскресенье, он может видеть их во время обедни. Благодарю и вешаю трубку. Объявляю просителям решение. Но они еще не собираются уходить, точно чего-то дожидаются. Видно, во время телефонного разговора они о чем-то еще уговаривались.

— Ну, вот и все. Завтра в Малом дворце в 10 часов утра будьте там.

Сидят. Смотрю на них недоуменно.

— А еще мы желали бы просить вас...

— О чем?

— Не можете ли вы завтра вместе с нами быть у генерала Врангеля?

— Зачем?

Улыбаются стеснительно. Потом объясняют, что со мною они были бы как-то спокойнее и смелее у главнокомандующего... Милый, милый и смиренный народ! Ах ты, «хозяин земли»! У себя на родине всех боишься, как заяц!

— Но ведь я ничего не понимаю в ваших делах!

— Нам это и не нужно. Вы только с нами там постойте. Нам с вами легче.

— Хорошо, да только у меня завтра в этот самый час Литургия в соборе. Я служу.

Они заминаются. Понимают трудность моего положения, а у Врангеля им бы со мной было «способнее». Я быстро соображаю, что должен помочь народу: «Вме-

сто поздней Литургии отслужу раннюю, в 6 часов утра, и к 10 часам утра буду свободен», — подумал я про себя.

— Но я должен опять попросить разрешения у главнокомандующего быть с вами.

— Уж попросите.

Звоню. Генерал отвечает мне:

— Владыка, вы знаете, я всегда рад видеть вас.

Это верно, он всегда бывал любезен со мною, кроме одного раза, о котором расскажу после, как знаменательном и поучительном случае. А однажды при своей жене, прекрасной умной женщине, Ольге Михайловне, родившей ему троих детей, генерал с улыбкой говорит:

— Владыка, что вы так редко захаживаете ко мне?

— Знаете, премудрый Соломон давно сказал: «*Не учащай* и к другу» (ср.: Притч. 25, 17).

Я воротился в столовую и порадовал своих гостей.

На другое утро, без пяти минут десять часов, мы встретились около Малого дворца и через крыльцо все вместе вошли в небольшую приемную. Год тому назад с этого же самого крыльца меня выводили из «чрезвычайки» напоказ народу. Но странно: я в тот раз даже не вспомнил о ней, и лишь теперь она пришла мне на ум. Народ тогда поддержал меня, а я теперь хлопочу за него. Прежде я боялся, а теперь селяки боятся. Как меняются времена в жизни!

Небольшая приемная помещалась налево от входного коридора. Как только мы вошли в нее, селяки в своих кожухах и свитках устремились в задний угол. Всё, бедные, стесняются везде и чувствуют себя неловко, будто всем мешают... Да, да, читатель, это все было, было! Нечего нам, «господам», возразить против факта...

Я тоже пошел с ними в угол. Но на полдороге остановился. В зале, в правой стороне, уже ждали приема несколько военных, может быть, полковники, а то и генералы. Вообще «начальство», «господа». Я сделал им общий поклон. И вдруг мне стыдно сделалось, что я иду к мужикам,

а не к этим чистым панам. И я задержался в середине приемной с намерением подойти к военным, заговорить с ними или хоть сесть среди них. Но, к счастью, заговорила совесть: «Если же и мы, духовные, оставим народ свой, то к кому же ему кинуться? Начальства он боится, неужели бросить его и нам?» И усилием воли, да не сразу, я решительно повернул себя к селянам, вошел в их группу и стал о чем-то говорить с ними. Им сделалось легче.

Через пару минут из двери направо, где был кабинет главнокомандующего, стремительно вышел к нам генерал. В своей обычной казачьей черкеске и на этот раз с белой папахой в руках, высокий, он стал перед народом. Без всякого преувеличения можно сказать, что он тогда для своих гостей был то же, что и царь. Не в имени же дело. А они — подданные. И подданные лояльные. Никакого революционного запаха не было в этих свитках. Старая, смиренная, покорная Русь стояла опять с мятыми шапками в руках и просила. Только просила... Только просила... Не грозила, не ставила ультиматумов, а только кротко просила. А ведь уже был четвертый год революции! И все же они были мирны. Эти «хозяева земли»...

Генерал, по обычаю, подошел ко мне, как к архиерею, под благословение, щелкнул громко верхушкой правой руки о левую ладонь, а после моего благословения он не донес даже до уст своих благословляющей моей руки. Опять не в осуждение говорю, а жизнь была такой: все одна форма, внешность, и внутреннее сознание превосходства светской власти над Церковью.

Затем он стал обходить всех селяков и энергично здороваться с ними за руку. А я думал: «Это совсем не необходимо». Народ наш разумный, он знает цену начальству и потому не огорчился бы ничуть, если бы обошлось и без рукопожатия. Даже наоборот: эта вольность неполезна начальству, не нужна и народу.

Вспоминается анекдот про А.Ф. Керенского. Входя в царский московский дворец, он будто бы тоже подал

руку швейцару в знак равенства, но тот не знал потом, что же ему теперь делать с ней? И, кажется, сразу же потерял уважение к всероссийскому правителю — нет, это не настоящий!

В это время в коридоре мимо входной двери проходил секретарь по гражданским делам Котляревский, о коем я уже упоминал при рассказе о радио Троцкого. На одну или две секунды он задержался против приемной, увидел эту картину «здорованья», как говорили в залах, и улыбнулся... А я случайно поймал эту улыбку и понял ее так: «Гляди-кась! Залетели и вороны в барские хоромы! И зипуны — тут же, где и паны!»

Грустно стало мне... Боже, Боже! Мы еще до сих пор не понимаем, что ведь вся сила в народе: будет он с нами, и мы спасемся, не будет, мы без него — нули. А ты улыбаешься!

А Котляревский промелькнул и исчез. И не нужно думать, что он был какой-нибудь дурной человек. Наоборот, и тогда и сейчас я вспоминаю о нем как о симпатичном и порядочном чиновнике, знающем свое дело. Но такое уж было время: господствовали господа. А «хозяин земли Русской» не знал, куда руки свои девать! Не случайно произошла революция. Это не «бунт презренной черни», как любят иногда ссылаться правые деятели на Пушкина, а кончилось терпение народное. Всему мера, и она переполнилась, вероятно. И вспоминаются слова другого писателя, Тургенева: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись»[238].

А Россия — это по преимуществу «простой» полуторастамиллионный народ. Мы — господа, интеллигенты, духовенство — лишь тоненькая корочка на этом огромном пространстве, занимающем шестую часть земли. Но странно, эта корочка считала себя хозяином. Мне даже и прежде не очень нравилось, когда царь говорил: «мой народ», «мои подданные», «моя армия». Будто бы

действительно все это принадлежало ему. А уж теперь, после революции, и вовсе не место было старым воззрениям на народ. Но не скоро выдыхается прежний дух, складывавшийся веками. Не будем винить, а лишь поймем все...

Поздоровавшись со всеми, генерал Врангель, точно извиняясь, обратился ко мне со словами:

— Вот, владыка, собирался в церковь пойти, а тут все дела.

— Эти дела — сейчас ваша служба, а в церкви мы молимся за вас.

Тогда он обратился к селякам с обычным вопросом, просто, но энергично и с властностью, ему свойственною:

— Чем могу служить?

Они совершенно растерялись. Повторяю: пред ними стоял такой же царь... Да если и не царь, а генерал, — все равно высокое лицо. Бо́льшая же часть просителей прошли солдатскую школу, а для них генерал — это недосягаемая величина. И буквально не могли начать ни слова, точно онемели.

Он спрашивает их снова. И опять тягостное молчание.

— Владыко! — обращается он ко мне. — В чем дело?

— Я хорошо не знаю. Они сами объяснят. А я лишь привел их к вам.

— Так объясните же, что вам от меня нужно?

Тогда уж один из них, помоложе, розовый блондин, с великим трудом стал объяснять суть их просьбы. Она заключалась в следующем. Армия, как это и понятно, брала от крестьян продукты принудительно, но на все были установлены твердые цены. Народ понимал неизбежность такого порядка вещей и не возражал. Но установленная такса была слишком низка, по их мнению. Я уже не помню цифр, но что-то за воз пшеницы они могли купить лишь пять аршин ситца (тогда уже был недостаток в мануфактуре), вместо 50–100 по прежней

расценке. Но не в цифрах дело. Я пишу о настроениях, и мне не важны точные данные.

Главнокомандующий понял, что дело идет о «валюте», и обратился к селякам с вопросом:

— А вы были у моего министра по финансовым делам, Колбанцева?

— Были-и! — грустно ответили они.

— Что же он вам сказал?

— Говорит, так что иначе нельзя.

— Ну, если он сказал вам это, что же я могу сделать?

Эти слова окончательно подбили крылья селянам: как нельзя? Ты же — глава! Ты — царь сейчас, а говоришь — не можешь? Это не вмещало сердце верноподданных, всегда веривших в силу и правду царя-батюшки. И я также подумал: никак нельзя было подрывать главнокомандующему собственный авторитет подобным «не могу». Но слово было уже сказано.

Однако чуткий генерал понял, что он обескуражил селяков, и решил поправить ошибку:

— Ну, хорошо, я узнаю, в чем дело, и если что можно будет, то прикажу!

Но было уже поздно, и притом опять с «если». А им? Им теперь оставалось уходить домой без «валюты» и без надежды. Генерал снова начал жать им крепко руки. Последним оказался я. Как сейчас помню, мне хотелось выйти с огорченными селяками, точно и от меня отбирали задешево пшеницу. Но генерал остановил меня:

— Владыка, зайдите ко мне!

И я, не простившись с моими друзьями, повернул за ним в кабинет. Там за столом сидел генерал П.Н. Шатилов, друг и наперсник главнокомандующего. Это — тоже хороший человек, честный, способный, преданный России и Врангелю. Он курил папиросу. Главнокомандующий был некурящий. Мы поздоровались (кажется, через рукопожатие).

— Садитесь.

Я сел против них.

— Ваше высокопревосходительство, разрешите мне сказать!

— Пожалуйста!

— Вы знаете, кто у вас ныне был?

Он вопросительно посмотрел на меня.

— У вас ныне было все ваше мужицкое царство. Вы думаете, было лишь пятнадцать человек? Нет! Крестьяне думают в общем, как один, так и все. И эти пятнадцать разнесут по всей занятой вами Тавриде о нынешнем приеме. Что же они скажут своим землякам? То, что вы пожали им руки? Поверьте, это совсем было необязательно. И не это ценят практичные мужички, а дело. Что же вы им обещали? Сказали сначала, что ничего не можете, а потом пообещали рассмотреть вопрос и, может быть, что-нибудь сделать. Но вы сами видели, как ваши подданные пошли понуро: они шли с надеждой к вам, а ушли разочарованные. Прежде они боялись вас.

— Чего бояться?

— Боялись начальства. И не только они, а вот и я боюсь. Не вас, правда, боюсь, а вот и Павла Николаевича боюсь, и других ваших генералов боюсь.

— Да что вы, владыка? Пашу боитесь? А, Паша!

Тот, покуривая, улыбался неопределенно.

— Да, и его боюсь. Боюсь потому, что не знаю, что именно думает он не только обо мне лично, но и вообще о всем духовенстве, о всей Церкви. Ведь высшие классы привыкли свысока смотреть на духовенство, это мы всегда чувствуем. Мы лишь внешне признаемся. Вы лично — иное дело. Но прочие — не знаю, как смотрят на нас. А уж если я, архиерей, боюсь вас, то что же говорить о мужиках? Потому ведь они и попросили меня сопровождать их к вам. И вот печальный результат — и генерал не помог! Простите, ваше высокопревосходи-

тельство! Но я много раз говорил вам: вас знает и любит армия, вас немного видели горожане, но вас совершенно не знает народ, и вы ни разу еще не встречались с ним с глазу на глаз. А что мы без народа?

Он выслушал без всякой обиды и сказал:

— Хорошо, владыка! Вот как-нибудь поедемте с вами по селам. Подождите, посмотрим на расписание дел: понедельник — занят, вторник — занят, среда — тоже... Вот четверг свободен сравнительно. Поедем!

— Слушаюсь!

Увы, прошел один четверг, второй, пятый, десятый — так он и не собрался повидаться с народом, «хозяином земли Русской». Такое было время, таково было Белое движение. История сразу не меняется...

Еще могу припомнить о смертной казни. По временам арестовывали большевиков и после суда иногда расстреливали их. Было несколько случаев, когда обращались к моему посредничеству. Однажды, буквально в полночь, прибежали две молоденькие женщины, жены схваченных большевиков, и с рыданием просили моего заступничества. В другой раз днем пришел высокий корявый рабочий, старик лет 65-ти, и, ломая над головой свои мозолистые руки, с каким-то отчаянным воплем молил меня за арестованного сына и все повторял:

— Да что это такое? Что это такое? О-ой! Что такое делается?! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!

Обычно я утешал их, обещал хлопотать, на другой день шел к генералу. И были случаи помилования. Но однажды он в присутствии своей жены Ольги Михайловны сказал нам в полушутку:

— У меня два главных врага: это жена и владыка. Вечно просят за каких-нибудь мерзавцев. Да поймите же сами, что не для удовольствия же я утверждаю смертные приговоры. Необходимость заставляет! Если не казнить сейчас одного, потом придется казнить десять. Или они нас будут казнить в случае их успеха.

И скоро был издан специальный общий указ: впредь не обращаться к главнокомандующему с просьбами о помилованиях. Там, конечно, не упомянуто было ни обо мне, ни о жене. Но, кажется, указ был направлен больше всего против меня.

Думаю, едва ли этот указ можно считать народным актом. Разумеется, без этого никогда не обходилось ни одно правительство, в частности, а может быть, в особенности, и советское. Но казнимы были преимущественно рабочие и, следовательно, они могли и эту тяжелую долю власти ставить в вину белым. Впрочем, рабочие хорошо знали, что и красные были не более снисходительны и нежны. Лично я думаю, что не было бы большой беды, если милость к виновным была бы щедрой, особенно по просьбе архиерея.

Таково было отношение к народу.

Возьму теперь политико-экономическую сторону. О монархизме я уже говорил. В некоторых кругах была вера в царя. И я сам считал это признаком хорошего нравственного тона. Иногда даже и в проповедях упрекал «благочестивых» братьев и сестер, что они настолько еще слабы, что даже не смеют и думать о восстановлении монархии, а не только говорить. А у меня был свой печатный орган — «Святая Русь», правительство оплачивало его издание, а редактором я назначил ученого священника отца Нила Малькова, годом моложе меня по Санкт-Петербургской академии, а потом бывшего там профессором по апологетике. В этой газете мы с ним и начали пропускать иной раз статейки за царя и монархизм. Как-то я описал однажды встречу мою в Крыму с бывшим министром юстиции, кажется, Добровольским, и высоким чиновником при Св. Синоде, Остроумовым. Оба уже беленькие старички. Сидели у меня тихо, мирно, деликатно. А я смотрел на них и умилялся — отмирающие осенние листья. Хорошие были люди. Жалко их было... Умирающие могикане — смиренные, послушные,

почтительные, идейные, кроткие. И я о них поделился своими впечатлениями в газете.

Через несколько дней меня вызывает по телефону главнокомандующий и довольно сурово приказывает, чтобы впредь не писать о монархии. Оказалось, когда наша газета попала на фронт, то среди белых инородцев поднялся сразу протест: «Опять назад? Опять старый режим?» А красные тотчас же воспользовались нашим монархизмом и повели пропаганду против нас. Пришлось свои умиления сократить, а монархические статьи и совсем прекратить. Пробный шар показал, что на монархизме играть положительно невозможно и даже опасно.

Какова же была наша политическая программа? Неизвестная! Вот сначала победить большевиков, а там сама страна решит этот вопрос... Значит, предполагалось нечто вроде «Земского Собора» времен воцарения Михаила Федоровича Романова. Об Учредительном собрании говорить было нельзя. Это — революционный термин, а мы в общем — правые, антиреволюционеры. И говорить за Марусю Спиридонову или Чернова с Керенским было дурным тоном и опасным делом — это все очень сродни большевикам, против которых боролись белые.

В этом отношении времена Врангеля были значительно правее деникинских. Там имели силу некоторые кадеты, а у нас октябристы были на подозрении. И единственным человеком из левых кругов был шумевший прежде член Думы от Саратовской губернии Аладьин. Сам генерал Врангель настолько был широк, что искренно допускал всякое сотрудничество с попутчиками, невзирая на их прошлую революционную деятельность. Но, кажется, сей знаменитый Аладьин, с которым встретился однажды я (он понравился мне), был среди нас как белая ворона. Разумеется, и он ничего не сделал, как и все мы. Потом как-то сплыл с горизонта, без особенной нашей печали о потере его.

Близким сотрудником главнокомандующего по иностранным делам был действительно известный человек, Петр Бернардович Струве, бывший марксист и пропагандист социализма, а теперь противник Ленина и коммунизма...[239] Вот и все «либералы». За границей мы нашли неожиданную поддержку в лице революционера и разоблачителя провокаторов (Азефа и других) Бурцева. В своем парижском органе «Общее дело» он горячо ратовал за поддержку генерала Врангеля в борьбе против большевиков, пока мы сами не пожаловали к нему в тот же Париж.

Итак, в политике мы хотели сделать последнюю ставку на царя. Думали, что народ теперь захочет восстановления монархии. И жестоко ошиблись в нем. Лично мне самому пришлось это услышать от одного, притом бывшего, богатого землероба. Как-то мне нужно было ехать на фронт. Крестьяне поставляли нужные подводы. Трясемся мы с одним этаким рабом Божиим, лет пятидесяти, на телеге. Лошадкам все режимы одинаковы: трусит не спеша.

«Дай, — думаю, — заговорю с ним о царе». Мы одни в поле. Он, наверное, не побоится сказать слово за монархию. Мужичок, по всему видно, богобоязненный и смирный. Спрашиваю:

— Что думаешь про царя? Не лучше ли было при нем?

Он немного помолчал. Ясно было, что я подсказываю ему ответ — за царя. Но, к моему удивлению, «хозяин» после раздумья сказал, что у него нет охоты на это. Я увидел какое-то полное равнодушие к вопросу. Не только он не защищал монархию и царя, но и не спорил против них, точно это был прошлогодний снег... Было и прошло, и быльем поросло! Куда же делось мнимое царелюбие нашего народа? И было ли оно?..

Мне показалось, что народ наш смотрит на дело совсем просто, не с точки зрения идеалов политической

философии славянофилов и не по рецептам революционеров, а также и не с религиозной высоты догмата Церкви о царе-помазаннике, а с разумной практической идеи — пользы. Была бы польза от царя, исполать[240] ему! Не стало — или мало — пусть уйдет! Так и с другими властями — кадетскими, советскими. Здоровый простой взгляд.

Мой возница, видимо, не ожидал теперь этой пользы от царя и без борьбы и сомнений очень легко выбросил сей пункт из своего сердца и ума. Пришлось мне спросить в другой раз у рабочего: «А что ты думаешь о царе?» Он тоже совершенно хладнокровно ответил:

— А что мне царь? Вот я остался после родителей сиротой, и никто не подумал обо мне. И ни школы никакой мне не дал он, ни мастерству не научил. С малолетства пришлось идти на работу к еврею, девятнадцать лет у него прожил. Хороший был человек.

А рабочий был и остался хорошим прихожанином Церкви, даже долгое время был председателем одного церковного общества. Вот поди и пойми «царелюбца», как мы представляли себе обычно крестьянина. Совершенно так же, думаю, практически расценивает он и всякую другую власть, в частности и советскую: полезна — поддержим, нет — и от нее отойдет в удобный момент. После Смутного времени нужны были Романовы — призвал их, и даже на «вечные времена», в письменной грамоте клялся в верности им за себя и за потомков. Наступили другие условия — он отказался от них, а о клятве 1613 года даже и не слыхал. Знал присягу, но и ее порвал. А царь Николай II добровольным отречением за себя и наследника, а потом и Михаил Александрович своим отказом от короны сняли с народа и эту последнюю присягу.

И сего возницу интересовал несравненно больше совсем другой вопрос. Какой же? Забыв сразу о бывших царях, он стал мне с добродушным юмором рассказывать

по-украински о современных трудностях. Я запомнил доселе такие слова его:

— Вот сначала помещиков-богатеев обобрали, духовенству трудно стало, потом дошло и до нас, зажиточных селяков. У меня было десять пар волов (пять или десять, не помню уж), лошадей, всякой ху́добы (скотины) там. И тоже отняли. Вот осталась лошаденка да пара волов. Ну, а теперь и до бедняков добрались.

И он благодушно, совсем без злобы на обобравших его, улыбнулся. Потом, подумавши немного, добавил:

— И гляжу я, гляжу на все теперь и думаю: *вся премудростию, Господи, сотворил еси* (Пс. 103, 24)!

Мы уже подъехали к фронту, он ссадил меня с телеги и так же спокойно поехал обратно. Это вот — философ-украинец, попавшийся мне в разгаре боев между белыми и красными. Кажется, после отнятия у него волов и коней, когда он уравнялся с бедняками, ему нетрудно будет потом принять и советскую колхозную систему... И примет, хотя и не без труда; собственнические навыки будут еще беспокоить его иногда, но в конце концов этот хозяйственный работник земли сообразит и расчетливо подведет итог: что лучше? То и примет.

А пока генерал Врангель предложит ему свою крестьянскую реформу. Напишу об этом.

Земельная реформа всегда была заветной мечтою крестьян. Во время революции, а особенно при советской власти, она была разрешена весьма радикально: земля поступала во владение обрабатывающих ее, в виде ли местных «колхозов», принадлежащих земледельцам, или в виде «совхозов», то есть государственных хозяйственных имений, обрабатываемых теми же земледельцами на известных условиях. Были и «частники». Но чем шло дальше, тем их становилось все меньше, так как коллективная обработка земли оказывалась выгоднее при широком масштабе пользования машинной силой: тракторами, комбайнами, сеялками, молотилками, зер-

новыми складами и прочим. Помещики и иные большие собственники исчезли. Народ стал в общем хозяином своей земли, хотя много еще было не организовано.

Но там, где восстанавливалась власть белых, тотчас же механически восстанавливалась и частная собственность, как старая хозяйственная система, противоположная большевистской. Такое сравнение было не в пользу добровольцам. Но при генерале Деникине еще не ясно было, в какую сторону склонится борьба? И потому народ держался осторожной позиции: при красных пользовался землей, при белых возвращал ее собственникам. Но когда Добровольческая армия была разбита на всех фронтах и у белых остался лишь крымский клочок, когда ясно наметилась победа Советов, то волей-неволей пришлось думать о земельной реформе в радикальном смысле, чтобы соблазну большевистских даров противопоставить выгодные обещания со стороны белых. Генерал Врангель созвал для этого специальное совещание в Малом дворце. Кроме него были и другие военные. Между ними выделялся смелыми суждениями начальник штаба генерал Махров. После, во Франции, он открыто печатно защищал Советскую армию и говорил о силе, технической оборудованности и дисциплине ее[241]. Главным докладчиком был Глинка, бывший товарищ министра земледелия при А.В. Кривошеине. Был и я, и еще один адвокат, представитель Крестьянского союза.

Начались длинные и нудные обсуждения вопроса. Генералы Врангель и Махров настаивали на радикальной форме разрешения его, к ним присоединились и мы с адвокатом. Но милый и благочестивый старец Глинка упорно и методично восставал против этого. Его мотивы были такие: во-первых, «собственность священна», и Добровольческая армия, как стоящая на моральной основе, не может вступить на путь принудительной экспроприации и «черного передела»; во-вторых, насильное снятие собственности есть большевистский способ, а белые —

противники их; в-третьих, будто и сам народ считает такой путь и греховным, и государственно беззаконным, и просто непрочным. Иное дело — приобретение этих земель в собственность за установленную цену при легких условиях выплаты ее. Говорилось даже, будто мужику нужна «бумага» на владение землею за «печатью».

В результате остановились на последнем проекте как компромиссном. Заявлялось, что земля переходит во владение народа на правах частной собственности, само государство выплачивает владельцам ее стоимость, а народ имеет дело уже не с частными собственниками, а с правительством; владение закрепляется государственными актами.

Так мне вспоминается суть этой реформы. Закон о ней был быстро отпечатан и оповещен по всей Тавриде.

Я немедленно поехал по северным хлеборобным уездам, чтобы узнать, как принял народ эту реформу. И, воротившись, доложил Врангелю, что народ отнесся почти равнодушно. Никакого подъема и движения я не увидел. И понятно: реформа была компромиссной и запоздалой. Будь она дана царем в 1903–1905 годах, когда в Думе, как я писал, обсуждался кутлеровский проект о принудительной передаче земли крестьянам, народ ухватился бы за нее обеими руками. А теперь, когда крестьяне фактически уже владели ею, когда помещики разбежались, когда советская власть утвердила землю за обрабатывающими ее, — теперь подобная реформа по существу своему не могла, конечно, вызвать восторга. А ко всему этому нужно еще прибавить великое сомнение народа в успехах последних остатков Белых армий. А если так, то много ли стоили все наши обещания в глазах тех, кому мы дарили то, чем сами еще не владели крепко?! Всякому было понятно, что наши реформы больше отзываются пропагандой, чем государственным актом.

А это уже было к осени. Наш фронт начинал снова гнуться и трещать под натиском красных. В тех же

северных уездах в эту самую поездку я узнал, что в некоторых пунктах казачьи части отступали пред противником. Я сам видел на железнодорожных станциях нервность и растерянность молодых военных комендантов, грозивших жестокими мерами за непослушание им. При этом они хватались уже за револьверы, висевшие на их поясах.

— Ну-у! Опять началось! — подслушал я нечаянно разговор между двумя машинистами. И тон этих ни в чем не повинных людей был недружелюбный к белым.

И какой мог быть подъем от нашей реформы? Когда же я прямо ставил этот вопрос селякам, то они сначала хмуро отмалчивались, а потом отделывались какими-нибудь неопределенными отзывами. Ясно, что земельная реформа наша провалилась. А скоро развалится и военный фронт.

Ни о каких других реформах я не помню, потому что их и не было: возвращались к старым привычным формам жизни — это было гораздо легче, но бесплоднее.

Дальше я могу сказать несколько слов об иностранной политике нашей. Конечно, я не специалист, и тайн закулисных не знал, но кое-что доходило и до меня.

Поездка нашего министра Струве в Париж, к президенту Мильерану[242], противнику Советов, кажется, увенчалась успехом: нам была обещана помощь.

Англичане продолжали понемногу снабжать армию вооружением, как и при генерале Деникине.

Были возобновлены официальные сношения с поляками, чтобы вместе бороться против красных, которые тогда угрожали Польше разгромом. Представителем Врангеля туда был назначен генерал Махров, которого, кажется, не очень-то долюбливали высшие круги белых за его демократичность и самостоятельность, хотя он был одним из способнейших военных людей и свежим, живым человеком вообще. И когда генералу Врангелю некоторые говорили, что союз с поляками есть

измена России, он отвечал известной формулой Кавура[243], с изменением конца: «Хоть с дьяволом, только бы против большевиков!» Но как только поляки, с помощью Франции и под предводительством начальника ее штаба генерала Вейгана, разделались с большевиками, то немедленно бросили и своего союзника Врангеля, которого прежде хотели использовать лишь в собственных видах. Это очень разозлило Врангеля, как припоминаю. А освободившаяся от войны с поляками Советская армия, после Рижского мира с Польшей[244], направилась теперь на Юг, чтобы добивать белых. И это предрешило военный исход: силы были тут неравны.

Были еще какие-то заигрывания с Врангелем и немцев, приславших в Крым своих тайных посредников. Я только слышал об этом. Но или их условия были неприемлемыми, или главнокомандующий не верил им и не хотел продавать им Россию, но успеха они не имели. А между тем вражда против большевиков была у многих из белых такая, что они действительно были готовы дружить теперь и с немцами, забыв все прошлое, всю войну, Брестский мир и прочее. Лично я тоже не чувствовал злобы против немцев и, право, готов был опереться и на них, если бы это от меня зависело. Нужно сознаваться в этом: что было, то было. Такова была тогда жизнь.

Потом, уже в Америке, мне пришлось от одного образованного русского человека, бывшего офицера американской армии, слышать, что соглашение Врангеля с Польшей было прямым предательством и, может быть, содействовало даже разгрому Красной армии. Но нужно было жить в России, а не смотреть на нее из далекой Америки, чтобы понять психологию нас, белых! Как в данный исторический момент (1941–1943 годы) всем союзникам хочется уничтожить Гитлера, так и тогда некоторые люди горели одним желанием: разбить большевиков!

Припоминаю несколько фактов еще из эпохи генерала Деникина. Как известно, болгары и тогда были с

немцами. Однажды и я в магазине встретил болгарина офицера и говорю ему с откровенным упреком:

— Как же это вы, братушки-славяне, которых Россия освободила своею кровию от турецкого ига, теперь воюете против нас?

— Мы, — совершенно бесстыдно ответил мне по-болгарски упитанный офицер, — реальные политики!

То есть, где выгодно, там и служим.

Противно стало на душе от такого бессердечия и огрубелости!

При Врангеле, впрочем, была попытка организовать в Болгарии добровольческий отряд на помощь нам. Приезжали даже какие-то два ходока — военный и священник. Посетили они и меня. Но так из этого ничего и не вышло... Да были ли за ними какие-нибудь массовые силы?

Немало тогда присасывалось авантюристов или просто увлекающихся людей. Однако пусть история знает, что какие-то единицы из болгарского народа стыдились братоубийственного предательства. Известно, что митрополит Софийский Стефан[245] протестовал против участия болгар в Первой войне на стороне немцев и вынужден был удалиться за границу, в Швейцарию, до окончания борьбы. Есть слухи, что и сейчас он против соглашения с Гитлером.

Была еще горсточка галицийских добровольцев, но во главе их стоял офицер авантюристического склада, как мне показалось при знакомстве с ним в Крыму, а после и в Европе.

Не очень-то легко было Врангелю устанавливать дружественные соглашения и с домашними «иностранными» державами: с Всевеликим Войском Донским, с кубанскими и терскими казаками. Революционный центробежный откол частей бывшей единой империи изживался весьма трудно. Даже и потеряв свои территории, атаманы — кроме прекрасного донского генерала

Богаевского — все еще дышали ревностью по самостоятельности. И не сразу сговорились с ними. Наконец генерал Врангель попросил меня по телефону прибыть в Большой дворец и отслужить благодарственный молебен — столковались-таки! Где-то доселе хранится у меня фотография объединенных вождей. Точно где-нибудь среди индийских диких племен Америки!..

Вот что значит революция! Легко разбить посуду, и как трудно потом склеивать... И поймешь теперь, почему националисты-добровольцы боролись за «единую, великую, неделимую Россию». Это было здоровое течение в данном пункте. Потом и большевики пойдут по тому же пути объединения ослабевших и разболтавшихся частей одного организма.

Еще мне нужно бы говорить об Украине, но тогда она была уже снова под советской властью, а не с Врангелем. А о временах Директории, Скоропадского и Петлюры я буду говорить в дальнейшем отделе об Украинском Церковном Соборе 1918–1919 годов.

А здесь пока этим заканчиваю «иностранное» обозрение.

Теперь мне нужно сказать еще о моральном и религиозном фронте врангелевского движения. Отчасти я уже говорил об этом. Невысока была у нас мораль: не белыми мы были, а с серостью. Генерал старался по возможности подтягивать всех, и отчасти это ему удалось. Никаких оргий в тылу, о коих я писал прежде про деникинское время, уже не было. А если бы они занялись, то, несомненно, были бы подавлены Врангелем беспощадно. Здесь не может быть двух мнений, к чести главнокомандующего! История должна сказать ему слово благодарности за это, как еще и за другое, о чем скоро будет речь.

Что касается самой Церкви, то и мы не могли сделать ничего особенного в пользу победы над красными, хотя мы и желали этого.

Авторитет Церкви вообще был слабый. Необходимо сознаться и в этом. Голос наш дальше храмовых проповедей не слышался. Да и все движение добровольцев было, как говорилось, патриотическим, а не религиозным. Церковь, архиереи, попы, службы, молебны — все это было для белых лишь частью прошлой истории России, прошлого, старого быта, неизжитой традиции и знаком антибольшевизма, протестом против безбожного интернационализма. А горения не было ни в мирянах, ни даже в нас, духовных. Мы не вели историю, а плелись за ней, как и многие иные. Потому не имеем никаких оснований жаловаться на паству, по пословице: «Каков поп, таков и приход», и наоборот.

Желая придать больший авторитет Церкви и нашему Синоду, генерал Врангель «выписал» с Афона митрополита Киевского, известного Антония (Храповицкого). Был с нами и митрополит Платон (Одесский, потом уехавший в Болгарию, а оттуда вторично в Америку), и архиепископ Полтавский Феофан, и Таврический архиерей Димитрий, и другие. Среди членов Синода от духовенства и мирян были члены Московского Собора 1917–1918 годов, известный профессор С.Н. Булгаков (бывший марксист, а теперь протоиерей)[246], граф Н.Н. Апраксин, о коем я упоминал раньше. Все люди ученые, будто бы умные. Но почти бессильные. Ни Гермогенов, ни Палицыных среди нас не оказалось. И выписка митрополита Антония ничуть не помогла делу. Да, мы оказались бряцающим кимвалом (см.: 1 Кор. 13, 1), которого никто почти не слышал. И нечего нам сваливать вину лишь на других.

Впрочем, за шесть месяцев правления Врангеля можно отметить несколько отдельных эпизодов или попыток Церкви тоже делать что-нибудь внушительное, особое для поднятия духа.

Прежде всего из Сербии выписали Курскую чудотворную икону Божией Матери[247]. С ней приехал

епископ Курский Феофан[248] в сопровождении монахов, прекрасных певцов. Когда пароход прибыл в Севастополь, то навстречу иконе вышел чуть ли не весь город, человек около семидесяти тысяч, преимущественно рабочие люди. Подъем был необычайный! За эти три года революции люди намучились и хотели чуда. Вышел навстречу и генерал Врангель с Кривошеиным. Что у них было на душе, не знаю... Вероятно, не горели... И не знали, собственно, что полагается в подобных случаях делать. Я тихо подсказываю генералу:

— А вы бы взяли и понесли тоже икону!

Он смиренно повиновался и с Кривошеиным взял ее, и несли в необыкновенной толчее народной массы. Сначала ее принесли к нему в Большой дворец: он же был у нас почти как царь. Тут встретил икону генерал Шатилов и другие. Почти все поклонились иконе. Многие до земли, а «Паша» не смирился, лишь сделал несколько спешных крестов. А он был ближайший друг генерала.

Потом начались службы по всем храмам. Это были дни торжества и религиозного подъема. Затем икону повезли в Ялту и другие города. Народ массами встречал ее везде. Была — старая Русь!.. Затем я один повез ее на фронт в отдельном вагоне. Первым встретил меня генерал Туркул с конвоем. Был парад и молебен, стояли шпалерами войска в какой-то деревне на площади. Что было на душе у военных вождей, опять не знаю. Признаюсь: не очень я верил в их ревность по вере. Помню, как в Александровске при крестном ходе (о чем я говорил раньше) в штабе стояли офицеры за окном и небрежно курили, смотря на процессию с абсолютным равнодушием, думая, что их никто снаружи не замечает. А я отлично видел. Так и здесь: не знаю, не знаю... Кажется, всё это больше делалось для того, чтобы поднять дух в солдатах, среди которых теперь были уже и мобилизованные селяки, и даже пленные красноармейцы. Дай Бог, чтобы я ошибался, но, кажется, было именно так. После падения



Молебен в Крыму. 1920 г.

белых икону возвратили снова в Сербию, где она пребывает и доселе. Иногда возили ее по русским колониям Европы. Репин нарисовал известную картину — встречу этой иконы народом возле Курска: впереди полицейские, потом какая-то толстая купчиха, горбун на костылях, вонзившийся верующим пронзительным взором в Пречистую, несомую в раззолоченном балдахине, и народ, народ, народ. Сотни, тысячи, десятки тысяч народа. Пыль над бесчисленной толпою...

Между прочим, среди прибывших с ней монахов был казначей курского монастыря архимандрит Аристарх. Он после жил в сербском монастыре Петковице при моем правлении. И спокойно рассказывал, что большевики, захватив Курск, требовали от него денег. Это было в храме на клиросе. Он действительно не имел денег, о чем и заявил им. Те не верили и хотели тут же расстрелять его. Но архимандрит спокойно стоял на своем, ожидая смерти. Те отступили.

Эта Курская икона ознаменовалась уже в недавнее время тем, что когда злоумышленники под ее балдахин в монастыре подложили взрывчатую бомбу, то весь он был разрушен, а святая икона осталась невредимою.

Вторым важным событием были так называемые «дни покаяния». По постановлению нашего Синода на 12–14 сентября (старого стиля) было назначено всеобщее покаяние в грехах[249]. Было поручено отцу протоиерею С. Булгакову составить особое послание. Там среди разных наших грехов упоминалось и об убийстве царской семьи и с невинными детьми. Эти три дня в городе Севастополе денно и нощно (например, во Владимирском соборе на горе) шли богослужения и исповеди. А на праздник Воздвижения Креста Господня причащались. Настроение было молитвенно-покаянное. Но к концу этих дней я получаю от какого-то ревнителя благочестия, подполковника или полковника Оболванинова, жалобное письмо: «Владыка, где же наше начальство? Почему



Слева направо: глава Правительства Юга России А. В. Кривошеин, Главнокомандующий Русской армией П. Н. Врангель, начальник его штаба П. Н. Шатилов. Севастополь. 1920 г.

никого из них не видно в храмах? Неужели лишь рабочим нужно каяться, а и не им?»

И дальше в том же роде.

Я потом передал содержание письма Врангелю, да еще, кажется, и при жене. Он ответил так:

— Владыка! Мы тоже верующие. Но у нас иное было воспитание в семьях и школах, мы не афишировали нашей религиозности, даже стеснялись показывать ее. Нас тоже нужно понять, да и дел масса.

Тут есть правда. Сам генерал — я это знаю, — и исповедовался, и причащался. Не могу забыть и тех трех крестов его, какими он молился перед принятием главного командования.

Вот чтения этого самого послания нашего Синода и боялись духовные отцы в Александровске. Как же не бояться, если мы так каялись и в вине цареубийства?! Большевики им этого не простили бы. Впрочем, известно, что Патриарх Тихон отслужил панихиду по убиенной семье в самой Москве[250]. По крайней мере, так писал о нем за границей протоиерей Рождественский в воспоминаниях о нем[251]. Я не знаю этого доподлинно.

Наконец, можно было для любопытства вспомнить об одном оригинальном проекте, который молва приписывала мне. Не видя конца междоусобной резне, предложено было устроить грандиозный крестный ход, чуть не в миллион человек, и пойти с молитвами на север. И вот тогда-де проснется же совесть, и люди примирятся.

Такого детского проекта я ни тогда, ни теперь не мог бы предложить здравым людям. Но он действительно был и даже рассматривался на заседании Синода. Автором его был небезызвестный протоиерей отец Востоков[252], экзальтированный и самомнительный проповедник. Но, разумеется, Синод благоразумно отверг этот фантастично-сентиментальный проект. Большевики расстреляли бы этих мечтателей, и только. Да и наша

власть не согласилась бы на осуществление его, будучи ответственной за народ. Однако слух об этом крестовом походе какими-то путями распространился по селам, и когда я приехал в Малую Белозерку, то селяки меня спрашивали: будет ли этот крестный ход? Видимо, намучившись, они хотели какими угодно путями добыть мир. Или хоть помечтать о нем...

В заключение характеристики «врангелевской эпопеи», как выражались некоторые о его времени, я хочу пожаловаться на общую духовную бедность нашу. У **нас почти не было руководящих идей,** как не было их, конечно, и при Деникине.

Можно не соглашаться с большевиками и бороться против них, но нельзя отказать им в колоссальном размере идей политико-экономическо-социального характера. Правда, они готовились к этому десятилетиями. А что же мы все (и я, конечно, в том числе) могли противопоставить им со своей стороны? Старые привычки? Реставрацию изжитого петербургского периода русской истории и восстановление «священной собственности», «Учредительное собрание» или «Земский собор», который каким-то чудом все-все разъяснит и устроит? Нет, мы были глубоко бедны идейно. И как же при такой серости мы могли надеяться на какой-то подвиг масс, который мог бы увлечь их за нами? Чем? И я думаю, что здесь лежала одна из главнейших причин провала всего Белого движения — в его безыдейности! В нашей бездумности! Если бы мы глубоко всмотрелись в исторический процесс, изучили его, поняли — тогда?.. Тогда, вероятно, мы просто отказались бы от этого антиисторического движения на него... Но мы не хотели думать, не могли думать: шли по инстинкту, по привычке, ощупью.

Я уже упоминал, что среди интеллигентов в Севастополе образовалась какая-то группа мыслителей, которая задалась прямой целью именно осмысливать

исторические процессы момента. Они даже составили подробный устав о «Думной думе» и через меня представили его главнокомандующему. И тогда, и теперь мне кажется, что нужно было бы приветствовать подобное явление, поддержать этих людей, воспользоваться ими для общей пользы! И что же? Генерал, прочитав, положил краткую, но сильную резолюцию: «Не подходит». Почему «не подходит», я и доселе не понимаю. Военные тогда, и всегда, думали, что история на них стоит, на силе войск, на стратегии вождей. Глубочайшая ошибка! Историю двигают идеи и страсти, а пушки уже потом стреляют...

И вот теперь, когда идет Вторая мировая война, много ли задумываемся мы о коренных причинах ее? Что делается идейного для преодоления противников? Старая история... Я в Нью-Йорке несколько раз поднимал вопрос о создании кружка любителей философии истории и всегда встречал упорную лень и нежелание задумываться над основными вопросами. А после уж бывает поздно...

Между тем и среди общества времен Врангеля были не одни эти «думные думцы», а и другие. Например, через одного меня к нему прошло несколько проектов о спасении России. У меня даже была особая папка с ироническим (и я был подобен своей среде) названием: «Спасители». Помню, например, один инженер или агроном доказывал в огромном докладе (смешно даже писать), что весь секрет в постройке множества элеваторов. Или мы уж тогда начинали с ума сходить? Другой спасатель, простой рабочий с Корабельной стороны, написал (с грамматическими ошибками) большущий устав о социалистическом переустройстве общества и верноподданнически преподнес его через меня вождю антисоциалистического движения Врангелю. Между прочим, хорошо помню, что в этом проекте предполагалось даже особое расписание пищи, и непременно с

бутылкой хорошего кваса на человека. Я не шучу. И над этим рабочим не нужно смеяться: он думал широко, шире нас, ученых умников. Конечно, и на его проекте была наложена резолюция вроде: «Наивно» или что-либо подобное... Третий убеждал надеяться на чудо! Сказано же в Евангелии, что если будешь иметь веру с зерно, то и гору можешь сдвинуть. Но в общем все мы очень мало думали про глубины исторического движения. Не думал лично и Врангель. И потому один из офицеров сказал мне про него однажды:

— Нет, и Врангель не сокол и не жених России! А мы не были даже дру́жками его... Беднота!

Хотя я и сам не знал несомненного выхода, но все это беспокоило меня и побудило написать доклад премьер-министру Кривошеину. В нем я охарактеризовал общее положение наше с точки зрения религиозной, моральной и народной. И пришел к выводам, что по всем и этим пунктам мы не стоим на должной высоте. Народ не считает нас своими. Далее я спрашивал: можем ли мы измениться? Опыт трех лет борьбы показывает — нет! А если так, то мы должны сознаться, что спасителями Родины быть не можем.

— Как вы думаете, — спрашиваю я, — можем ли мы еще измениться? Я не надеюсь.

— Я тоже не надеюсь, — холодно и спокойно согласился Кривошеин.

— А если так, — закончил я чтение своего доклада, — то нам нужно готовиться к отплытию. А Бог будет спасать Родину какими-то другими путями!

Через полтора-два месяца мы с ним действительно плыли от родных берегов в Константинополь.

События конца развернулись таким образом. Освобожденная от борьбы с Польшей Красная армия надвинулась на нас с северо-запада, около днепропетровского села Каховка, и с севера. Белые вынуждены были отступать, несмотря на всю храбрость свою.

В тыл прошли слухи, что на фронте неладно. Архиереи, члены Синода, полушутя, но со страхом, говорят мне:

— Поди узнай у своего Врангеля: каково военное положение?

Я пошел. Генерал ходил по кабинету Большого дворца. Спрашиваю.

— Отлично! Только чудо может помочь большевикам. Перекоп и Джанкой неприступны!

Возвращаюсь к архиереям, утешаю их: все прекрасно! И они благодушно разъезжаются опять по монастырям, где жили.

Проходит еще месяц. Слухи все ухудшаются. А тут вдруг в октябре наступили небывалые на юге морозы. Наша армия не была подготовлена к ним. И пришли известия, что мы отступаем под натиском красных, которыми командовал Фрунзе.

Синод снова собирается.

— Поди спроси у Врангеля!

Иду... Ходит нервно, но сдержанно.

— Каково положение?

— Конец! Только чудо может помочь нам! — кратко отвечает генерал.

— Как же вы недавно говорили, что чудо может помочь большевикам?

— Ну, что же? Разве я буду открывать всем карты? Положение безнадежное: силы неравны. Я ожидал этого с самого начала, как помните. Теперь остается надеяться лишь на чудо. Ну, а достойны ли мы чуда, это, владыка, вам, как архиерею, лучше полагается знать, чем мне, — с ласковой шуткой сказал он. — Нужно укладываться для немедленной эвакуации, мною уже все заранее подготовлено. Так и скажите владыкам.

Я сказал. Переполох... Недовольство Врангелем! А в сущности, чем он виноват? Ничем. Лишь один архиепископ Феофан Полтавский улыбался загадочно. Он

чтил одну больную старицу в Ялте, О., вдову священника, как прозорливую. А она предсказывала ему и другим, что бежать из Крыма не придется. А двум молодым юношам, сыновьям князя Т. и С.Н.Б., предсказывала, что они даже увидят златоглавый Кремль. И они бесстрашно лезли на врагов. Но князь Т. был убит в первом же сражении за Перекоп. Искали мы среди трупов и сына С.Н.Б., но не нашли. Оказалось, он был взят в плен и после возвратился к родителям в Кореиз, недалеко от Ялты. Архиепископ Феофан еще верил в предсказания.

Скептически настроенный к разным ясновидящим, митрополит Антоний сказал:

— Ну, если пророчица окажется права, пойду пешком (30 верст от Севастополя) в Ялту и поклонюсь в ноги ей!

Увы! Идти не пришлось. А архиепископу Феофану я все же посоветовал тоже готовиться к отъезду. И он чуть не в последний час сложился и уехал на пароход с другими архиереями.

Перед концом генерал Врангель созвал высших своих сотрудников: министров, генералов, — а также и митрополита Антония со мной. Спокойным твердым тоном он сказал коротенькую речь, которую начал словами:

— И для героев есть предел!

Объявил, что все кончено. Пароходы для армии и граждан, желающих эвакуироваться, готовы, о чем он еще с июля благоразумно дал соответствующие приказания.

Нужно было мобилизовать все суда, способные плыть через Черное море. Обеспечить их топливом, водой, пропитанием и надежным составом обслуживающих лиц. Распределить суда по разным портам — от Керчи до Евпатории, заранее дать расписания военным частям, где кому садиться, и самому уехать последним. Этим заведовал, кажется, скромный генерал Шатилов.

— А теперь слово за морским министром, адмиралом Кедровым!

Он был еще молод, но умен, энергичен и знал свое дело. Тот сообщил нам еще некоторые подробности. Оставался вопрос лишь о погоде.

— По морской науке в ноябре полагается лишь два-три-четыре дня спокойных, остальные — бурны. И я за это уж не ручаюсь, не от меня зависит.

К счастью, все пять-шесть дней пути по Черному морю была неожиданно спокойная погода. И то говорили после, будто бы (не ручаюсь) два каких-то малых судна, перегруженные людьми, утонули. Дай Бог, чтобы то было неправдой!

— Куда же мы едем? — спрашивают Врангеля.

— Пока в Константинополь, а дальше — совершенно неизвестно! И я ничего не могу обещать. Просил я и французское правительство, и славян, но пока согласия на прием нас не получено.

Заседание было коротким. В тот же день началась посадка на суда. Эвакуация была проведена очень хорошо, за исключением лишь Феодосии, и то по вине воинских частей. Одна из них, которая должна была по расписанию идти к своим транспортам на Керчь, боялась быть отрезанной большевиками и потому тоже бросилась кратчайшим путем на Феодосию, где таким образом столкнулась двойная группа войск. Все не могли попасть. Часть, и большая, говорили, чуть не до десяти тысяч, осталась будто бы на берегу и ушла в горы, а потом была перебита... Во главе «чрезвычайки» тогда стоял известный жестокий Бела Кун, венгерский еврей. После он участвовал в организации революции в Будапеште.

У нас в Севастополе эвакуация прошла безукоризненно. Рассказывали, что, отходя на свой небольшой пароход «Лукулл», генерал Врангель, прощаясь на пустой Графской пристани с остававшимися, спросил, нет ли еще желающих?.. Ответом ему были слезы и молчание. В последние часы, уже к вечеру, ко мне стали заявляться какие-то подозрительные лица: один татарин про-



П.Н. Врангель приветствует с мостика корабля покинувшие Крым войска

Эвакуация из Крыма

сил простить его, другой незнакомец просил принять по «очень важному делу» и так далее. Я чувствовал неладное и отказывал. А когда уже стемнело, я, надевши вместо клобука простую священническую шляпу, ушел на пристань. Меня провожал прекрасный мой духовник, отец архимандрит Дионисий, спокойно оставшийся по воле Промысла Божия.

Незадолго перед отплытием прибежал ко мне мой помощник, протоиерей Г. Спасский, за советом: не остаться ли ему в России?

— Как вы думаете и чего хотите? — спрашиваю его.

— Я-то желал бы остаться, что бы ни случилось. Но моя матушка истерически протестует.

— Послушайтесь матушки и смиренно уезжайте.

После я назначил его заведующим духовенством флота, который ушел в африканско-французскую Бизерту, имя это теперь стало известно всему миру. Потом он переберется в Париж, и мы еще встретимся с ним. И разделимся...

Когда я садился на катер, присланный за мною с броненосца «Алексеев», справа пылал огромный четырех-пятиэтажный дом со складами американской помощи, подожженный хозяином, чтобы не оставлять добра большевикам. А налево, в открытом море, высился и играл огнями броненосец, к которому прыгал по волнам мой катер.

Дул свежий ветер. Но небо было, помнится, чистое. Меня подняли на судно, а потом на блоках втащили и катер. Я уходил с родины невесть куда. Вот уже скоро двадцать три года, как я не видел ее. Была ночь...

Перед снятием с якоря меня вызвали на палубу. Мои близкие знакомые, жена вице-губернатора О.В.О. и семья Р. с нянькой-старушкой, побоялись остаться у большевиков[253]. Наняли за бешеные деньги (сначала были в России «керенки», потом на Юге России выпустили «колокольчики») лодку и подплыли к борту бро-

неносца, ссылаясь на мое имя. Я немедленно дал распоряжение поднять их и водворил всех в мою каюту. Судно тихо отплывало.

На другое утро было лишь серо-зеленое безбрежное море и серое облачное небо. Было серо и на душе...

На палубе мне бросилась в глаза следующая картина. Какая-то красивая полная дама водила прогуливать свою собачку. Прошедший мимо матрос злобно посмотрел на эту прихоть и хотел отшвырнуть болонку ногой. Но дама подняла скандал. А я подумал: неужели и ради таких вот добровольцы проливали свою кровь?.. Не стоила она этого! Не любит она ни народа, никого и ничего, кроме себя самой и своих прихотей...

Еще я заметил, как увязавшаяся за нами сова то садилась сослепу на палубу, то опять с испугу поднималась и летала над волнами, потом от усталости падала в воду, с усилием вспархивала снова, снова падала. И так и пропала в волнах... И зачем она улетела из Крыма? А мы потихоньку плыли и плыли от родных потерянных берегов...

Позже, в Европе, мне пришлось услышать о некоторых подробностях вступления Советской армии в Крым.

Белые в порядке отступили в назначенные места, кроме Керчи, как я говорил. Красные нигде не наседали на них, опасаясь засад. И оружие, и кони, и все прочее брошено было на произвол судьбы. И жалко было, говорят, видеть бродивших лошадей, тоскливо ржавших по своим уплывшим временным хозяевам. Скоро найдутся иные.

Мой духовник, отец Дионисий, недолго пожил в архиерейском доме. Его, как заведующего моим подворьем, арестовали и посадили в тюрьму. Привели на допрос.

— Признаешь нашу власть?

— Всякую власть велено признавать.

— Как ты смотришь на нас?

— Как на наказание Божие за грехи наши.

— Ага-а! Наказание?! Ну, вот и посиди тут. А в наказание — чисть клозеты.

— Слушаю. Только дайте побольше тряпочек. Это все можно потом отмыть.

Прошло еще несколько недель.

— А теперь как смотришь на нас?

— Не иначе, как на наказание Божие за грехи наши!

— Ну, еще посиди в наказание.

И сидел смиренно старец, чистя клозеты. Увидели красные его кротость и лояльность, выпустили. А он в шестой версте от Севастополя снял в аренду дачку с землей, собрал несколько послушников монастыря и опять занялся с ними молитвой и работами на огороде. Большевики его не трогали. Может быть, все это было несколько иначе, но такие рассказы привезла одна женщина, прибывшая в Софию.

Таврический архиерей Димитрий, родом грузин, из фамилии князей Абашидзе, тоже остался, хотя ему, несомненно, грозила смерть. Большевики пришли к нему в Симферополе в дом. Он встретил их с повышенной храбростью. Кто-то из них угрожал ему револьвером, а архиерей, будто бы ухватившись за оружие, сказал вызывающе:

— Ну, стреляйте, стреляйте!

Не тронули и его. После он ушел на покой в Киево-Печерскую Лавру и принял схиму, а управление епархией передал епископу Никодиму, беженцу из Киева. Остался в Крыму и автор покаянного послания, протоиерей отец С. Булгаков. Но через два года он вместе с несколькими другими десятками интеллигентов был выслан советской властью в Европу за границу как вредный для Советского Союза человек. Так наступил конец белых...



Большевики в Крыму

ЦЕРКОВНЫЕ СОБОРЫ В МОСКВЕ И КИЕВЕ

Что бы ни говорили, но Церковь во все времена имела то или иное значение не только в смысле чисто религиозном, но и общественном. Уже по одному этому мне нужно коснуться в своих записках Церковных Соборов, они считаются в православном мировоззрении высшим органом церковной жизни и власти. А тем более это интересно, что данные Соборы были связаны с революцией, как в смысле их происхождения, так и по отражению в них революционной эпохи. Наконец, как увидим, в них отразились и национальные, и социальные вопросы времени, и потому читателю стоит со вниманием отнестись к ним. В них много было предуказано из того, что потом будет осуществляться в жизни государства.

Конечно, многие мелочи у меня забылись, ведь уже прошло 26 лет со времени созыва Всероссийского Московского Собора и 25 с половиной — Украинского. На первом мне пришлось увидеть всю страну нашу в ее религиозных представителях, а на Украинском — украинцев. И весьма интересно, между прочим, как они будут относиться и к вопросу об отделении частей бывшей единой империи? Как отнесутся к социальным переворотам, февральскому и ноябрьскому? Как к ним отнесутся власти — эпохи Керенского, советская, Украинская директория, Скоропадский, Петлюра, большевики, интеллигенты, народные массы? Как будут вести себя представители духовенства и мирян на Соборе, в частности, крестьяне? Какие важные постановления

будут вынесены на этих Соборах? Какая борьба была на них и почему? Каковы результаты их деятельности?

Начну с того, когда и как возникли идеи созыва Соборов вообще.

В прежнее время, в допетровской Руси, Соборы Церкви были довольно частым и обычным явлением в церковно-общественной жизни. Таково было каноническое требование Церкви, таков был церковно-государственный строй старой Руси. Петр I оборвал эту традицию. Стремясь все централизовать в своем лице, поставив на первое место устроение государства и опасаясь влияния (особенно реакционного, но не только этого, а вообще всякого влияния) со стороны, он закрыл Соборы с 1700 года. Таким образом, их не было во все время «императорского» периода в течение 217 лет!

Уничтожил он силою и патриаршество, потому что в его лице видел себе конкурента по влиянию на жизнь и народ. Особенно был памятен период царствования отца его, Алексея Михайловича, над которым незаконно (даже с церковной точки зрения) взял огромную власть известный Патриарх Никон. И патриаршество заменено было коллективным, безличным Синодом.

Царь Петр повернул жизнь страны на западный протестантский лад. И, конечно, Церковь была в этом случае не на его стороне. Но это — длинный вопрос...

Так или иначе, но и Соборы, и Патриархи на Руси перевелись с 1700 года.

Иногда эмигранты, противники советской власти, ставят ей в упрек и вину, что она после смерти Патриарха Тихона (7 апреля 1926 года) не позволяет созвать Собора и выбрать нового Патриарха. Теперь вместо него существует «местоблюстительство», хотя права местоблюстителей, в сущности, совершенно почти те же, что и патриаршии. Но на это я часто говорил обвинителям:

— Да, советская власть еще не разрешает созвать Церковный Собор и избрать Патриарха. Но скажите: а сколько лет не дозволяла Соборов царская власть?

Молчат. Не знают.

— 217 лет, — говорю, — значит, советской власти еще далеко до этого: 25 и 217! А ведь противники советской власти не жалуются на царскую за господство ее над Церковью.

Когда же началась эпоха всяких «освободительных» веяний, особенно после первой революции 1905 года, движение это коснулось и Церкви. Заговорили о соборности, о восстановлении патриаршества. Причем одни видели в этом этап освобождения Церкви из-под опеки государства, а другие надеялись церковно-соборным путем подкрепить расшатывающийся русский организм. По указу царя Николая была организована Предсоборная комиссия из способных архиереев, выдающихся религиозных мирян. Всем епархиальным архиереям приказано было на местах разработать проекты о нужных реформах Церкви. В результате накопилась огромная масса солидного материала. Но его напечатали и замолчали...

Был одно время даже слух в Санкт-Петербурге, будто сам царь Николай, уставший от государственного управления, готов постричься в монахи, разойтись с семьей, передать царство наследнику, а самому стать Патриархом. Откуда шли такие слухи — Бог весть. Теперь о них, вероятно, никто даже и не помнит, кроме <автора> этих записок. Но у меня остался в памяти даже один из мотивов такой идеи. Патриарх (Николай) должен не быть конкурентом заместителю царя, а помощником, кроме того, личность царя Николая поднимет значение Патриарха в глазах народа, и его слово будет авторитетным. Одним словом, повторилась бы история с молодым царем Михаилом и его отцом Патриархом Филаретом[254]. А кажется, что еще более важным мотивом у защитников патриаршества было тайное желание привлечь царя та-



Святые царственные страстотерпцы Николай II, Александра Феодоровна, Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Алексий

Государь Николай II с семьей выходит из храма после богослужения

кой комбинацией: пусть хоть сам он будет Патриархом, лишь бы согласился на восстановление каноническо-патриаршего строя. Но потом замолкли и эти легенды.

Прошел десяток лет, и разразилась революция. Все стали требовать свободы. И Церковь тоже. В правительство Керенского был назначен в Москве Всероссийский Поместный Церковный Собор.

Интересно читателю, из кого он будет состоять. Состав всякого собрания определяет род работ и дух их.

Говоря вообще, Собор должен был состоять из архиереев, клириков и мирян. Епархиальный архиерей или заместитель его — викарный (должен быть по положению — он глава епархии). Затем два члена должны быть от духовенства: один — от священства, другой (это уже дух революционного времени) — от «низшего клира», то есть дьяконов и псаломщиков. И два члена из мирян. Всего пять. Кроме того, еще несколько членов было от церковных, государственных и общественных учреждений (Министерства исповеданий, духовно-учебных заведений, Сената, Думы, университета, Московской городской думы и прочих). Были представители военного духовенства во главе с протопресвитером и выборные от солдат и матросов (очень немного). Были представители от монастырей, представители от других православных Церквей. Наконец, были назначенные специалисты: чиновники Синода, профессора и так далее. Всего в Москве собралось больше 300 человек[255] со всей страны, начиная с Владивостока до польских губерний, не занятых немцами.

Способ выборов по епархии был трехстепенным: по селам, городам и, наконец, в губернии. Благодаря этому прошло сравнительно очень немного мирян из крестьян, так как на трех выборах их побеждали конкуренты из интеллигентных лиц (профессора, преподаватели духовных школ и так далее). Насколько помню, из 300 членов Собора было не более 40 крестьян, то есть

около 7 или 8 частей. Весьма много прошло преподавателей духовных семинарий, профессоров. Однако мирян и духовенства было приблизительно поровну, с перевесом в сторону последнего. Но это было не к худшему, а к лучшему, потому что «духовные» преподаватели дали значительный элемент классово-либерального (кадетского) настроения. Духовенство же было представлено людьми положительными и церковно-ответственными, за исключением нескольких демагогов правого и левого крыла. Архиереи в массе были люди серьезные, осторожные, хотя не много из них было активных. Крестьянский состав был духовно прекрасный (за исключением единиц).

Расскажу, как попал на Собор лично я. Это характерно для того времени. Как сказано, из епархии выбиралось по два клирика и мирянина. Будучи тогда ректором Тверской духовной семинарии, в монашеском сане архимандрита, я по курии от мирян не мог пройти по закону. По курии от духовенства тоже не было надежды, потому что невозможно было и думать, чтобы «белое», то есть женатое, духовенство избрало представителем монаха. Это и естественно. Что касается «революционных дьяконов и псаломщиков», как тогда говорили про них, менее всего можно бы думать, чтобы они отреклись от своих «пролетарских» представителей в пользу монаха-ректора. Ведь им нужно было «бороться» против привилегий (материальных, главным образом) священников. Ну какой защитник им был бы ректор, второе после архиерея лицо в епархии, как говорилось про нас. И потому я по выборам семинарской корпорации преподавателей прошел лишь как выборщик, с одним или двумя другими педагогами. И один день я участвовал в собрании, где было несколько сот человек. Но на следующий, когда должны были выбирать от низшего клира, я был приглашен служить на престольный праздник в Симеоновском храме. После торжества я даже не поехал на

выборы: не все ли равно, какой из псаломщиков попадет на Собор? Отправился домой в ректорскую квартиру и хотел отдохнуть. Вдруг стучится один из псаломщиков города Кашина, бывший мой ученик по этой семинарии, очень милый молодой человек, и вдруг предлагает неожиданную комбинацию: поставить свою кандидатуру — от дьячков!

— Что вы?! — говорю.

— Да вы уж только согласитесь, а мы вас проведем!

И усердно меня просит. Оказалось, выставленный низшим клиром кандидат отец дьякон Соболев, хороший человек, не собрал и половины голосов. Кто-то выставил меня, но я не был тогда и на собрании, что запрещалось законом. А по наказу голосует все собрание в целом. По тому же наказу (чем уж руководствовались составители?) об этой курии говорилось, что представителем своим низшие клирики могут выбирать духовное лицо в любом сане, кажется, от архиерея (викарного) до псаломщика в пиджаке.

На настойчивые и ласковые просьбы своего бывшего семинариста, приехавшего делегатом от какой-то группы моих приятелей, я дал согласие, скорее, чтобы отвязаться от милого друга.

— Когда возобновится собрание?

— В четыре часа вечера.

Но, не веря в свои выборы, я намеренно запоздал и приехал в пять. Вошел в залу. Как раз шли речи о моей кандидатуре. Огромное большинство батюшек и псаломщиков, а тем более крестьян-выборщиков, видели меня впервые. Председательствовал, насколько помню, викарный епископ Арсений (Смоленец). Мне предложили выступить. Я сказал, в существенном, следующее:

— Вы же должны знать, кого выбираете? Что я за человек? Заранее говорю и псаломщикам, и отцам дьяконам, и всем вам, что я не могу быть и не буду защитником чьих бы то ни было сословных интересов (священников

или псаломщиков). Нужно защищать веру, Церковь, Родину. Вот если хотите при этих моих взглядах выбирать, то выбирайте.

— Нам только и нужно! — раздались голоса преимущественно из крестьянских рядов.

И огромным большинством собрания я прошел «от дьячков».

На всем Московском Соборе, кажется, еще одно духовное лицо прошло подобным образом — архимандрит, настоятель монастыря Костромской епархии. Прекрасная душа! Другие члены из низшего клира были, в общем, хорошие люди, совсем не социал-дьячки.

Так неожиданно я попал в выборную четверку и очутился на Поместном Соборе в Москве 1917–1918 годов.

На Украинский Киевский Собор 1918–1919 годов я попал иначе...

О Московском Соборе остались замечательно верные и подробные протоколы. Со временем по ним будет составляться история Церкви этой эпохи. Я не буду говорить о разных комиссиях и многочисленных деяниях его. Отмечу лишь наиболее важное и то, что было более связано с тем историческим моментом и с государственно-общественными вопросами.

Вот первое богослужение в Успенском кафедральном московском соборе в Кремле. Я стоял на левом клиросе среди других духовных. Рядом с нами было царское место — красивый резной золоченый балдахин. А в другой стороне, около правого клироса, было патриаршее место, более простое, даже архитектурно аскетическое, старинное, древнее. И оно было пустым 217 лет. Но все же стояло, дожидаясь своего времени.

Стоит обратить внимание на это расположение мест. Патриаршее — на правой, более важной стороне, а царское — на левой, второстепенной. Это так не мирилось с воззрениями пережитого «императорского петербургско-

го» периода, преимущественного господства государства и государей: они — везде выше всего! И даже в ектениях на службах их то ставили на второе место, после Синода (на великой), то на первое, как на «сугубой», а после (!) — Синод. Непосредственно же за Синодом — «еще молимся о всем их христолюбивом воинстве». Чьем «их»? Ясно — государя и его фамилии, которые поминались перед Синодом. Но поставили незаконно Синод после царя, и «воинство» оказалось и царским, и синодским. Бессмыслица! А все оттого, что господствовало государство над Церковью и всюду представители его становились на первое место. Но вот этот патриарший трон на правой стороне самым фактом свидетельствовал, что в Церкви первое место принадлежит главе Церкви, а не государству. И нужно было бы хоть в храме дать представителю Церкви свое место. Увы! Петр I место оставил, а Патриарха уничтожил. Но и сам не стал на его место, хотя говорил иногда с самоуправством: «Я вам царь и патриарх»... Цари прекратились, а «пустое» место пережило их... Это я еще прежде пережил в том же Успенском соборе. Как я рассказывал прежде, в главе о двух революциях, шли уже речи о гибели династии. Под праздник Рождества я ночевал в кремлевском Чудовом монастыре, бок о бок с Успенским собором и колокольней Ивана Великого.

Около часу ночи вдруг раздался визжащий гул главного колокола «Параскевы» (если не изменяет мне память) в 4 тысячи пудов. Упавший Царь-колокол, доселе стоящий на земле, весил 12 тысяч! Было же такое время, что лили такие колокола! Когда я в Сербии говорил о нем, не верили селяки: у них все на килограммы. Следовательно, 12 тысяч пудов — 192 тысячи килограммов. Астрономическая цифра. Но и «Параскева» — ужасный зычный звон. Все звенело кругом... Я проснулся — и сразу в Успенский собор. Народ лишь собирался: входили шубы, полушубки, валенки, платки, мало интеллигентных пальто. Горят свечи. Блестит всюду золото и позо-

лота. Протопоп — «царь-поп», называли одного из них, огромной величины, был и «царь-дьякон», архидиакон Розов[256], колоссального объема и большущего голоса, — с очередным протодиаконом ходят по церкви, со звоном цепочек кадя иконы и людей (они тоже иконы, то есть «образ Божий» в них). А в это время на левом клиросе высокий и худой, белобрысый дьякон, кажется, по фамилии Ризположенский, громким и сухим басом «бубнил» псалмы великого повечерия. Не думает он о выразительном чтении, о том, чтобы все эти чуйки и платки понимали читаемое, это не требуется! А требуется все выполнять так, как было и двести лет назад, и пятьсот, и тысячу... С Ольги и Владимира. И при греческих, и русских Патриархах, и при Грозном, и при Петре. Читали громко, без «чувства», а серьезно, строго, по заведенному веками речитативу. В храме и говорится все поиному, чем в миру — никаких вольностей, ничего своего, «отсебятины». Как в армии: воины отвечают начальству на одной ноте.

Я слушал этот исконный речитатив и думал: «Вот меняются эпохи, а Церковь стоит две тысячи лет! Уходят цари, а она все остается! Меняются режимы и социальные формы, а здесь тысяча лет, две тысячи лет ведется одинаковый способ служения! Да, Церковь прочнее государственных форм правления!

Вот-вот начнется революция (она началась через два месяца после этих дум). Все зашатается, развалится, разобьется вдребезги (на время), а Церковь устоит... И по-прежнему дьячки будут “бубнить по-дьячковски”, точно и не случилось ничего особого за толстыми столбами этого храма. Переменились декорации, а суть все та же. И Церковь всегда будет делать свое вековечное дело до конца мира, у нее есть свое собственное дело — душа человеческая...»

Ворочусь назад. За царским троном, возле левого клироса, стояла группа властей. Керенский, выбритый,

в военном френче, с измученным лицом, на котором я ничего не мог прочесть, кроме беспокойных и непрекращающихся дум, мыслей и мирских чувств. Незаметно было сердечного молитвенного настроения, хотя он, как мне лично известно от него самого, верующий христианин. Рядом с ним — министр исповеданий, вместо царских обер-прокуроров Синода, бывший профессор Санкт-Петербургской духовной академии А.В. Карташев[257]. Других не помню.

Для заседания Собора приспособили епархиальный дом возле Каретной-Садовой, недалеко от Самотеки и Сухаревки. Впереди были возвышенные места для президиума и архиереев, сидевших лицом к Собору, <состоящему> из духовенства и мирян. Сзади епископов — алтарь. Все мы находились как бы перед лицом Самого Бога.

Процесс заседаний взят был с распорядков Государственной думы. Все шло гладко. Ответственным секретарем Собора был избран член Думы Шеин, после расстрелянный в Санкт-Петербурге при процессе митрополита Вениамина об изъятии церковных ценностей. В его распоряжении был целый штат чиновников синодальных канцелярий.

Председателем Собора был избран Московский митрополит Тихон, товарищами его — митрополиты Антоний (бывший Харьковский, потом Киевский) и Арсений Новгородский и по два члена от духовенства и мирян. В число последних был избран профессор Московского университета и член Государственного совета Е.И. Трубецкой и обер-прокурор Синода А.Д. Самарин. Оба эти имени встречались уже раньше.

Соборяне расписались на разные комиссии: административную, епархиальную, приходскую, учебную, богослужебную, экономическую и так далее. Самой многолюдной и живой оказалась первая — о высшем управлении Церкви.

Вот это я считаю важным и характерным для момента прежде всего. Как-никак, но собрались представители со всей России, из разных сословий, и большей частью выбранные народом. Притом это были не мальчики — революционные головорезы, а народ солидный, опытный, осторожный. И потому стоит прислушаться, чем же они занялись в первую очередь? Что их интересовало горячее всего?

— Патриаршества! Восстановить Патриарха!

Сколько речей было сказано за и против этого! Все они напечатаны в протокольных Деяниях Собора. То было уже давно. Мне, спустя 26 лет, хочется теперь спокойно, как бы со стороны, кратко разобраться: в чем была соль вопроса? И как это связано с историческим революционным моментом?

На Соборе были два течения вообще, и особенно они обострились почему-то около вопроса о патриаршестве. Огромное большинство, почти $^{9}/_{10}$ были за него, а $^{1}/_{10}$ — против. Я был в первой части. Мы различали эти течения по старому политическому признаку — либерализму. Большинство было, в общем, консервативно, но в хорошем смысле этого слова: было по сердцу добрым, желало помочь устроению жизни, готово было к жертвенности, не гордилось собою, считалось с братским мнением других, было достаточно свободно в своем понимании окружающих обстоятельств. Обычно слово «консерватор» считалось в русском интеллигентском воззрении синонимом тупости, злости. По совести сказать, на Соборе было как раз обратное. Вот либералы (они почти все вышли из преподавательской, а отчасти и профессорской среды духовных школ) были действительно раздражены, злобны, упорны в своем либерализме, партийно нетерпимы и просто злостно тупы. Конечно, они не согласятся с такой моей характеристикой, но пишу не для самооправдания, а для истины (как я ее и тогда воспринимал, и теперь вспоминаю). Одно,

во всяком случае, было очевидно, и тут либералы согласятся, вероятно, — они очень не любили повиновения, послушания, признания авторитетов, любви и уважения к начальству. Наоборот, всячески унижать все, что выше их, лишать прав, ограничивать, отвоевывать привилегии самим себе, командовать над другими — вот их свойства. И чего бы ни коснулось, они готовы тотчас же в злобный бой против иномыслящих. И сколько тяжелых дней мы пережили в этой борьбе с ними! Как они отравляли наш общий созидательный дух своими разрушительными речами и ядовитой слюной. Но, к счастью, либералы оказались в меньшинстве. Однако, как люди с самоуверенным духом, большими знаниями и способными развязными языками, они производили большой шум: и по количеству подобных ораторов (они всегда выступали!), и по горячим речам их — иногда казалось, будто чуть не весь Собор мыслит так, как они звонят. Но когда дело доходило до решения, то мы, к нашей радости, видели, что эта десятая частичка Церковного Собора оставалась в меньшинстве.

Что же заставило нас, большинство, стоять за патриаршество?

Думаю и вспоминаю теперь, что не речи, не доводы умных ораторов побудили нас отстаивать его, а **дух**. Речи же были только выражением наших сердечных настроений и желаний. А наоборот, у либералов тоже был свой разрушительный дух, который толкал их на оппозицию.

Что же нам «нравилось» в патриаршестве? Не сразу отвечаю я себе даже и сейчас. А хорошо помню, да и теперь вот переживаю это чувство, что нам хотелось Патриарха. Некий духовный инстинкт требовал, чтобы этот начальник был, существовал, действовал. В Патриархе мы предчувствовали организующий творческий принцип власти, без него — слабость, или еще хуже, борьба анархий. Мы, как разумные пчелы, искали матку, чтобы спокойно делать каждому свое дело. Притом Патриарх

мыслился нами не учителем, а непременно отцом, заботливо носящим нас в сердце своем.

Дальше. Эту нашу «матку» мы выбираем сами же, всей Церковью, на специальном Соборе, никто не навязывает его нам. Но, добавлю, этого эгоистического мотива «мы сами» — у нас не было.

А еще нам хотелось, чтобы он был не пустой пешкой, а обладал бы, был наделен полнотой власти. Пусть выше его — общий Собор духовенства и мирян, но во время управления (между Соборами) Патриарх есть сила, иначе незачем было бы иметь его, и подотчетность Собору лишь вносила бы контроль в единство со всеми, но не ослабляла организующего творческого его права и отеческого руководства.

...Так или иначе, но Собор «изволил» быть патриаршеству, восстановить уничтоженное Петром возглавление Церкви каноническим Патриархом.

Причем же тут революция?

Не следует думать, что революция есть только разрушение. Наоборот, двигающим ее мотивом является идея созидания, улучшения, творчества; если же иногда в жизни бывает иначе, то это есть ошибка ума и неопытности, но не цели. Революция есть лишь путь, средство, и разрушительная сторона ее есть лишь необходимость, печальная нужда; чтоб построить новый дом на том же месте, неизбежно сначала разрушить старый. Революция тоже хочет порядка, строя, благоустроенности — как блага; а разрушение, анархия — есть зло, лишь временно терпимое.

Восстановление патриаршества было тоже своего рода переворотом, который уничтожал прежний синодальный двухвековой период и возвращал жизнь Церкви к ее многовековым устоям: быть главе над церковным обществом! И этому содействовала революция тем, что развязала руки Церкви сделать нужное ей дело без помехи царской власти. Вот странный исторический пара-

докс: безрелигиозное революционное движение помогает лучше организоваться церковному обществу, дав ему свободу самостоятельности, чего не хотели давать цари.

Такова первая существенная связь патриаршества и революции. Вторая же вызывалась временным разрушительным свойством всякой революции — анархией. Мы настолько ясно чувствовали все опасности и зло этой стороны революции, что у нас еще сильнее обострилось желание твердой организации, упорядоченности. Это понятно. Нам хотелось власти!

Тем более, что в царский период над Церковью был административно-полицейский контроль, опека и поддержка государственной власти, а теперь новая власть (еще при Керенском, а потом и Советах) своим законом об отделении Церкви от государства поставила Церковь в новое положение, когда она должна надеяться лишь на саму себя, а не внешнюю защиту. А для этого необходимо ей самой сильнее организоваться и напрячь энергию.

Интересен еще один вопрос. А как отразится концентрация церковных сил и организация их на той революции, которая волей или неволей содействовала этому? Ответом будет все поведение Церкви, о котором речь впереди. Сейчас же можно сказать, что Церковь оказалась лояльной по отношению к власти, и это имело некоторое (а впоследствии даже и немалое) значение для социальных реформ страны; впрочем, власть — даже и при Керенском — не придавала значения церковному поведению, будучи уверена, что Церковь не захочет и не сможет остановить судеб революции.

После двух месяцев речей «за» и «против» патриаршество было восстановлено огромным большинством Собора. Противники? Сразу утихли... Да и что же им оставалось делать?

И безотлагательно занялись выбором кандидатов. Порядок избрания, как известно, был таков. Собор об-

щим голосованием именует кандидатов. Трое из получивших больше половины голосов являются кандидатами. Это все — человеческое действие. А последний и главный момент вручается воле Божией: решается вопрос о Патриархе жребием. Поэтому никто заранее не может знать, кто будет им.

При первой же голосовке сразу был избран митрополит Антоний (бывший Харьковский, впоследствии Киевский). Он был всегда самым горячим идейным защитником патриаршества. Вторым кандидатом был избран митрополит Арсений Новгородский, фактический руководитель соборных заседаний (вместо председателя митрополита Тихона Московского). А потом получился затор: названные кандидаты никак не могли получить больше половины голосов Собора.

А в этот момент как раз шла последняя фаза борьбы в Москве между большевиками и последними защитниками Керенского («юнкерское» восстание). Как я уже писал, я эти один-два дня как раз был в Кремле. После временной победы юнкеров мы с архиепископом Тамбовским Кириллом с трудом добрались до Собора, и при нас состоялся последний акт выборов. Третьим кандидатом оказался митрополит Московский Тихон. И именно он был поименован жребием в Патриархи. Митрополит Антоний после уехал за границу и все время до своей смерти вел враждебную борьбу против советской власти. А митрополит Арсений был сослан в Туркестан и там умер. Так исполнилось слово Евангелия: *Последние будут первыми, и первые последними* (Мф. 20, 16)... Советская власть взяла верх.

Избрание Патриарха совершилось под гром выстрелов. Какой тут смысл и Промысл Божий!.. И почему именно этот момент совпал с победой большевиков? Что это значит? Не судил ли это Господь, чтобы Церковь сотрудничала именно с советской властью, а не какой иной?

Взяв власть, большевики ни единым жестом не проявили враждебного отношения к Собору, хотя довольно было простого слова их для его роспуска. И, конечно, никто бы и пальцем не шевельнул в защиту его.

Сделала ли это советская власть по простому благоразумию, чтобы не умножить врагов своих, особенно в начале своего правления, или она этим осуществила свой же принцип — взаимного невмешательства Церкви и государства во внутренние их дела? Но несомненно, что отношения власти были не только корректны, но даже доброжелательны. Это проявилось особенно в день «интронизации» (по старинно-славянскому: «настолования») Патриарха 21 ноября (старого стиля). По просьбе Собора было дано нам совершенно исключительное разрешение совершать службу в кремлевском Успенском соборе, хотя во все прочие дни для всех других Кремль был закрыт.

После интронизации Патриарх Тихон, по старинному русскому обычаю, объезжал вокруг Кремля, где приветствовал его народ. То же самое разрешила советская власть и теперь...

В этот момент ко мне, за стенами Кремля, подошел крестьянин, кажется ярославец, и с хитроватой улыбкой говорит тихо:

— Ну, слава Богу! Патриарх теперь у нас есть... Вот бы теперь еще... хозяина!

То есть царя. Это мне показалось совершенно неожиданным, так как ни у кого из нас, соборян, и мысли о царе не было... Но записываю то, что было. Многие ли так думали? Едва ли!

Вторым, весьма важным моментом деятельности Собора было установление взгляда и поведения Церкви по отношению к советской власти.

При борьбе Советов против предшествующей власти Керенского Церковь не проявила ни малейшего движения в пользу последнего. И не было к тому оснований.



Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси

Когда Советы взяли верх, то Церковь совершенно легко признала и их власть. Не был исключением и митрополит Антоний, который после так ожесточенно и долго боролся против нее вопреки своему же прежнему воззрению.

Но еще значительнее другой факт. При появлении новой власти всегда ставился вопрос о молитве за нее на общественных богослужениях. Так было при царях, так, по обычаю, перешло к правлению Керенского, когда Церковь вместо бывшего царя поминала «благоверное Временное правительство», так нужно было поминать и новую власть. По этому вопросу Собором была выработана специальная формула, кажется, в таком виде: «О стране нашей Российской и о предержащих властях ее».

Следовательно, все те раскольники, которые за границей через Церковь продолжают бороться против советской власти, идут против прямой воли высшего церковного органа — Собора. И сам митрополит Антоний, и теперешний его заместитель митрополит Анастасий (в Сербии)[258], и американские отщепенцы.

На следующем месте, по важности дела, нужно поставить участие мирян в церковном управлении, начиная с Высшего Церковного Совета при Патриархе и кончая епархиальными собраниями, епархиальным советом, а также приходскими организациями. Это было великой новостью в церковной жизни. Особенно сильно это отразилось в простых приходах, где большинство членов в советах было из мирян. И это имело чрезвычайно благотворное значение: во время продолжающейся революции эти миряне не только спасали веру и Церковь, но и беззащитное духовенство. И можно сказать, эти церковные миряне, вслед за лучшими духовными руководителями, вынесли веру и Церковь на своих плечах. Правительство с народом считалось больше, чем с официальными служителями Церкви, духовными людьми, которые к тому же были потом переведены в



Митрополит Антоний (Храповицкий)

класс «лишенцев», то есть лишенных государством многих гражданских прав.

О преобразовании наших семинарий в специальные пастырские школы я уже говорил ранее. Была принята компромиссная формула: оставить и старые школы, но насаждать по возможности и новые. Однако советская власть прикрыла все. Таков был Промысл Божий об отжившем типе классовых семинарий, которые не столько приготавливали пастырей, сколько давали дешевое образование детям духовного сословия, которые потом уходили на все стороны, и лишь 10–15 процентов из них решали «идти по духовной дороге» отцов своих.

Достойно внимания решение Собора об облегчении и умножении поводов к брачным разводам, что защищали интеллигенты, но против чего протестовали письменно члены Собора — крестьяне. Это очень характерно! Здесь сказывалась крепость брака среди народа, и можно предвидеть, что простые люди ненадолго увлекутся «свободной любовью», а возвратятся к прочим здоровым формам единобрачия. Так и случилось... Между прочим, эта группа (почти всех) крестьян при подаче письменного заявления-протеста выбрала меня своим лидером. Вспоминать об этом мне отрадно и теперь: народ всегда чувствовал доверие ко мне... Но Собор не послушал селяков, остался при принятом решении о более легких разводах. А политическая власть дала полную свободу в брачных делах. Но после и она стала вводить ограничения в безмерную распущенность «новых веяний». И здесь есть основания утверждать, что мораль семейная в России стоит выше, чем в других странах, даже тех, где существуют ограничительные законы.

На этом я кончу воспоминания о Московском Церковном Соборе. Вне всякого сомнения, он имел чрезвычайно важное значение для Русской Церкви, поставив ее на собственные ноги во внутренней жизни и дав ей чёткую организацию, начиная Патриархом и кончая



Митрополит Арсений (Стадницкий)

простыми женщинами, членами приходских советов. Живым силам Церкви теперь дана была возможность проявлять энергию на созидание веры, Церкви и охрану духовенства.

А времена приходили страшные...

Прекратился Собор после девятимесячной работы сам собою: за исчерпанием главных вопросов, а также по недостатку церковных средств.

Я после Пасхи вынужден был уезжать к себе в семинарию, в Крым, и последних дней Собора не видел. Кажется, они были бледны: членов было уже немного. Революционная междоусобная борьба разгоралась все сильнее, лучше было разъезжаться по домам и там ждать развития сложных политических событий.

На Юге России удалось нам получить два важных акта от Патриарха, имеющих не только церковное, но и общегосударственное значение.

В 1919 году он издал указ, чтобы служители Церкви не вмешивались в политическую борьбу, а занимались бы своим прямым делом: богослужением, проповедью Евангелия, спасением души[259]. До Крыма этот акт дошел уже во времена Врангеля, когда Церковь принимала довольно деятельное участие в политической борьбе против советской власти и в поддержании Белого движения. Прочитали мы его на заседании Синода и постановили положить, как говорилось в старые времена, «под зеленое сукно», не объявляя народу, чтобы не вызвать смущения. В оправдание свое мы решили, что этот указ касается тех областей, где существует советская власть, и не может распространяться на местности, где господствуют белые. Почему? Потому что наше отстранение от участия в Белом движении было бы истолковано как несогласие с ним и даже как сочувствие красным, и вообще могло повредить добровольцам. Говоря кратко, мы были бы нелояльными к нашей местной власти. А это было бы очевидным противоречием: к красным — лояльны,

а к белым — оппозиционны. Да и не могли мы исполнить такого указа, так как это Белое движение отвечало и собственным нашим симпатиям, и интересам Церкви.

Меня, однако, немного обеспокоило подобное наше непослушание Патриарху: все же это был указ главы Церкви, посему мы обязаны были прежде всего повиноваться, тем более, что в нем не указано было ничего о границах действий. Но иначе поступить, как скрыть этот акт, мы не могли в то время. Теперь я думаю, что и сам Патриарх не мог иметь в виду белых территорий: он был человек в высокой степени реальный, благоразумный и практичный, и потому не мог не понимать, что подобного указа мы не в силах были бы исполнить. И даже советская власть не могла претендовать на исполнение нами этого указа и никогда не ссылалась на него в борьбе с белыми. Впрочем, она никогда не опиралась (в то время) на религиозные акты, держалась основной своей позиции — отделения Церкви от государства.

Есть у меня и косвенное подтверждение такому моему мнению. Одна женщина, княгиня Б-ва, пробралась, одевшись простой бабой, через границу и добралась до Патриарха под предлогом разрешения какого-то вопроса о браке. На самом же деле ее целью, вероятно, с согласия генерала Врангеля, было исхлопотать от него благословение нашему главнокомандующему на дело борьбы с красными и иконочку. Разумеется, все это должно было быть в строжайшем секрете, лишь для духовного ободрения вождя, а не для публичного оглашения. Последнее было бы нелояльным по отношению к советской власти и грозило бы Патриарху расстрелом. Б-ва воротилась и сообщила, что Патриарх Тихон отказался исполнить просьбу, сославшись на простую опасность. И даже привел ей аналогичный случай, что его о том же просил и адмирал Колчак. Сочувствовал ли он когда в душе своей Колчаку, Деникину и Врангелю? Не знаю. Вероятно, сочувствовал. Мы все тогда были

на стороне белой, «верующей» власти, а не на стороне безбожников.

Знал он, что и я тесно сотрудничаю с Врангелем, и сказал княгине: «Жаль, жаль». Но чего? Не того, что я принимаю участие, и не того, что я и другие архиереи не исполняем его указ 1919 года (об этом не было сказано ни одного намека ей), а практической опасности: «Подавал надежды, — сказал Патриарх, помня о моей активности на Московском Соборе, — а теперь может погибнуть». То есть он не верил уже в победу белых, а видел силу красных и ожидал конца нашего движения. Жалел, что и я могу быть убит, расстрелян... Слава Богу, опасения его оказались неверными.

Но вспоминается и другой случай, противоположный.

Когда белые в своем походе дошли уже до Орла, то предложили епископу Орловскому Серафиму (Остроумову) отслужить публичный благодарственный молебен. Он отказался. Вероятно, потому, что не верил в прочность белых. Через некоторое время они покатятся назад, а ему (если останется) придется отвечать перед красными за такой молебен. К чести белых нужно сказать, что они были недовольны таким поведением архиерея, но не проявили к нему никаких репрессий. А скоро они действительно стали отступать, бросив и Орел, и архиерея на произвол судьбы. А отслужил бы он молебен, пришлось бы и ему испить всю длинную чашу беженства по чужим странам, которую вот мы пьем уже двадцать четыре года... Ссылался ли епископ Серафим в своем отказе служить молебен на указ Патриарха 1919 года, не знаю, едва ли. Просто он был благоразумным политиком[260].

А второй акт, изданный им [Патриархом] вместе с Синодом, касался внутреннего управления Церкви в отделившихся областях. Всякая организация нуждается в высшем органе. Таким после Собора 1917–1918 годов был Патриарх со Священным Синодом из архиереев

и Высшим Церковным Советом с участием духовенства и мирян. А в важнейших случаях все они собирались на объединенное заседание и решали дела совместно.

В областях, занятых белыми, такого центра не было, и Патриарх издал указ, чтобы тут соседние епархии организовались в церковные округа под председательством старейшего архиерея и создавали временный церковный центр. Но при этом было точно сказано, что этот указ распространяется только на те области, где по военным причинам была прервана территориальная связь с Патриархом и патриаршим центром, Москвой. А потому, как только эта связь восстановится — территориально или почтой, — данные временные организации должны немедленно связаться с Патриархией и представить ей отчет о делах временного перерыва.

Указ разумный и ясный. Но чего только не натворили из-за него эмигранты-отцы и политики-миряне, враги большевиков! Например, по окончании гражданской войны заграница могла уже сноситься с Патриархом Тихоном по почте, а иногда и через посредников. И когда это было выгодно эмиграции, то такие сношения признавались законными и Патриарха слушали. Но если что-либо не нравилось эмигрантам, тотчас же пускался в ход этот второй патриарший указ, что-де при невозможности сношения заграница должна управляться самостоятельно.

Когда же им указывалось, что указ имеет в виду чисто физическую (территориальную) невозможность сношений, то антисоветчики, как бессовестные иезуитские или еврейско-талмудические толковники, «разъясняли»: хотя и есть сношения, но Патриарх не свободен духовно в своей воле, а потому нужно считать, что это все равно, как если бы не было и физического общения с центром!

Ах, лицемеры, лицемеры! Меня всегда такая перетасовка истины с ложью страшно раздражала и раздража-

ет. Я понимаю, что всякий может не соглашаться и с Патриархом: мы, православные, не признаем католической «непогрешимости пап». Но так тогда и следует говорить открыто: не принимаем! А между тем в одном случае эти лицемеры прикрываются тем же законом, который они нарушают... Как же тут не возмущаться?! Они вводят в заблуждение не только несведующие массы, но даже целые суды. В Америке на основании именно этого указа «карловацкие» архиереи — Аполлинарий, Тихон, Виталий[261] — выигрывали даже судебные процессы кое-где. А в других хотя и проигрывали, но упорно заявляли, что они исполняют патриаршую волю. И оказывалось, что Патриарх издал указ против самого себя. Вместо пользы получался вред от разделений, расколов, вражды! Ах, лицемеры, лицемеры! Как фарисеи искажали Закон Божий, так и они играют указами, как им хочется! Когда же будет им конец?!

А ведь такое фарисейское перетолкование не только разлагало и разделяло единую Церковь, но и поддерживало политическую неприязнь и борьбу даже среди иностранных держав против Советского Союза. Но это-то именно и нужно было им...

Да, тысячу раз правы те, кто говорит: «Человек не так хочет, как думает, а наоборот: думает так, как ему хочется!» Язык и слова наши нередко являются прикрасою лжи.

И Сам Христос сказал: *от сердца исходят помышления* (Мф. 15, 19). «Законы-то святы, да исполнители их — супостаты», — говорит пословица.

А еще страшнее то, что такие люди, искажая истину, сами начинают «искренно» верить в «правду» своей лжи. Тут уж начинается грех против Бога, Истины, *хула на Духа Святого* (ср.: Мф. 12, 31–32).

Подобная же история, только в большем масштабе, разыграется потом, в 1921 году, за границей по поводу третьего Собора в Карловцах (в Югославии) и по поводу

указов о лояльности к советской власти. Об этом расскажу в следующих главах.

Но как бы ни искажали лицемеры постановления и законы Собора и Патриарха, все равно должно заявить, что они имели, имеют и будут иметь огромное значение в церковной жизни нашей страны. Церковь вступила на собственный канонический путь, она сама организовалась прочно, будучи возглавляемой отцом и главою, Патриархом; к участию в церковной жизни привлечены и священники, и миряне, давшие ей большую мощь. И можно сказать: Сам Дух Божий изъявил Свою волю на этом Московском Соборе к благоустроению Церкви и на пользу Родине. Это теперь, в 1932–1941 годах, стало особенно очевидным, как объяснится дальше.

Перейду к описанию Украинского Церковного Собора в Киеве, на котором я тоже был активным участником.

Организация Украинского Собора была делом не церковной нужды, а политической игрой.

Постановления Всероссийского Московского Собора были настолько широки, что они отвечали и нуждам Украины. Кроме того, тут могла быть создана специальная украинско-церковная комиссия (или секция), которая могла бы вносить самые разнообразные, специально украинские вопросы. И общий Собор, несомненно, отнесся бы к таким предложениям и с серьезностью, и без великороссийского шовинизма. Наконец, украинские епархии были широко представлены в Москве и епископами, и духовенством, и мирянами. Они могли достойно защищать законные и полезные нужды Украины.

Но, как это всегда бывает, новые государственные образования, новая власть стараются создавать и новую церковную организацию в своем специальном духе, чтобы использовать в своих политических <целях> и духовные учреждения.

Вот часто поносили советскую власть за ее давление на веру. Но историческая правда обязывает нас заявить, что большевики, отделив Церковь от государства, не вмешивались в ее внутренние дела, не создавали своей специальной «церкви». Если и появились потом «живоцерковники», то они зародились самопроизвольно, а не под влиянием большевиков и их требований. Между тем украинцы-националисты пошли по старым протоптанным дорожкам империалистических властей, начиная от царя Дáвида и Соломона до пана Скоропадского. Эта история давнишняя и весьма поучительная...

Но одного хотели «щирые» шовинисты на Украине, а другое устроил Премудрый Господь!..

Еще при Керенском все наши окраины стали стремиться к обособлению. Явилось это движение «к самостийности» и на многомиллионной Украине. А когда пришла советская власть, то по ее основным законам прямо дозволялось отдельным областям или нациям не только вступать в Советскую Социалистическую Федерацию, но и добровольно выходить из нее. Украинские вожди пожелали последнего.

На Украине образовалась Центральная Рада, которая выбрала Директорию из трех человек: известного галицийского профессора шовиниста Грушевского, способного украинского писателя Винниченко и какого-то (я не знаю) Макаренко[262]. Вокруг них собрались разные другие политические деятели всяких масштабов, но особенно много поналетело галичан, давно распропагандированных в Австрии против «москалей». Нашлись и русские помощники, присоединившиеся на теплой Украине. Между ними были и профессора Киевской духовной академии, люди, авторитетные в науках.

И в параллель политической Раде сорганизовалась из всех этих элементов «инициативно-церковная рада». Я ее видел своими очами и потому могу сказать, кто и что такое она была!



Киево-Печерская Лавра

Всего там было до пятидесяти человек. Сошлись они от разных организаций и разными путями, иногда «самотеком», иногда от ничего не значащей группы. Было около трех частей священников. Среди них выдающееся место по своему фанатизму, возрасту и даже огромной, с проседью бороде занимал протоиерей Василий Липковский («Василь Липкивский»)[263]. Не менее фанатичным был какой-то член Кирилло-Мефодиевского братства, священник, бывший «галичник» М-й. Рядом с ними был протопоп «кацап» (так звали украинцы-хохлы великороссов: «як цап» — как козел, то есть с бородой, вопреки бритым лицам украинцев) из Рязанской великорусской губернии, такой же «украинец», как мы китайцы... Был какой-то истерик, отчаянный шовинист, крикун из Галиции. Было довольно военных — от «сечевых кошей»[264]. Между ними горячился особенно какой-то красивый блондин-солдат. Про него говорили, что он выбран «в церковную раду» «от акушерок». Были и профессора, не помню кто. Вообще же необычная смесь всего. Эту раду можно было назвать «агиткой», но никак не церковным органом.

Да у них и цель-то была не церковная, а исключительно политическо-национальная, притом шовинистская, крайняя. «Прочь от Москвы!» И как можно дальше! Для них не существовало истории, не было кровного братства. Не говорю уже о вере, о Церкви. Была только шумная, бешеная вражда против великороссов, «москалив». А какова была она, приведу несколько фактов, лично мне известных. Как-то я спустился в кухню епархиального женского училища, на Липках, где помещался собор. Слышу горячий разговор. Один священник с красным упитанным лицом кричит что-то. Я подошел.

— Нехай я пип, — говорит он. — Зла ж перший взяв бы ниж и начав ризати кацапив! — выпалил он, бесстыдно глядя мне в глаза. (Пусть и священник, но я первый взял бы нож и стал резать великороссов!) Он был из Подольской епархии.

И невольно вспоминается мне еврей Давыдов, который на монастырской трапезе говорил мне: «Сам бы перерезал всех попов». Но и еврей был лучше этого «попа»: тот одних попов хотел уничтожить, а сей, с позволения сказать, «священник» готов был «ризати» все сто миллионов «кацапив». Притом тот был еврей, а сей «христианский» клирик... Конечно, и в погромах евреев он рад был принимать участие...

Другой факт. Я спал в одной комнате с епископом Черниговским Пахомием[265]. Около трех часов ночи под нашим окном первого этажа раздался выстрел. Мы вскочили и встали в простенок между окнами. И тут, стоя, прождали до рассвета.

Каждый раз с соборных заседаний некоторые из членов, противники бешеных шовинистов, ходили в сопровождении военных друзей-соборян. Как сейчас помню милое лицо одного из наших охранителей — Кравченко.

Еще факт. Пришло время проверки выборных мандатов и для сей самой рады. Наша группа (о ней после) предварительно обсуждала в своем частном собрании вопрос: что делать с ней? Выбираем оратора против нее: профессора Киевской духовной академии протоиерея Титова. Солидный, тяжелый, несокрушимый молот! Вдруг он заявляет, что уже получил от этой самой рады письменное предупреждение: если он выступит завтра против нее (а мы выпускали его в особо важных случаях), то будет убит! И дал нам для прочтения этот разбойничий документ... Да, убить обещаются! Наш групповой совет спрашивает:

— Что же вы думаете?

— Конечно, если будете настаивать на моем выступлении, я буду говорить!

Мы пожалели его и семью и сначала наметили было холостяка, одесского миссионера Кальнева, но для такого боевого выступления он показался совету мягким.

Тогда остановились на мне — монахе. Конец будет виден дальше. Ни одного архиерея «в церковной раде» не оказалось — не нашли еще такого озорника. Вот что это была за «церковная рада».

Она-то и вызвала к бытию Киевский Собор. Начали по закону: спросили разрешения у Патриарха. Он вместе с другими высшими церковными учреждениями разрешил его созыв. А для выработки «наказа» Собору и в качестве своего личного представителя командировал митрополита Одесского Платона (бывшего Американского). Вместе с сей радой и специалистами «наказ» разработали. В состав его [Собора] входили все епископы десяти украинских епархий, включая туда и Таврическую с Крымом. Затем назначены были двухстепенные выборы: по селам и потом лишь по уездным городкам. Благодаря этому не смогли процедить «селяков» и заменить их интеллигентами (как это случилось с Московским Собором при трехстепенных выборах). И Киев наполнился делегатами от земли, «дядьками», как обычно называли приятельски украинцев крестьян. Это придало удивительно народный, «мужицкий» характер Украинскому Собору и, можно сказать, спасло все дело...

Как и в Москве, от духовенства было два представителя и два от мирян. Были представители от академии, семинарий, университетов, монастырей и прочего. Но все же основной характер Собора был духовно-селянский.

Когда при обсуждении наказа дошла речь до рады — почему и в каком количестве ей быть на Соборе, — вышло деликатное замешательство. Оказывается, многие из них не были выбраны совсем, а приглашены другие. Иные же (как от «акушерок») и совсем были неподходящие уполномоченные. Да и слишком уже было много охотников на Собор: 50 человек на 250–270! Пятая часть! Но эти агитаторы знали силу пропаганды, особенно среди неискушенных селяков, и хотели пролезть на Собор в полном своем составе. Тут пригодилась хитрость

Одесского митрополита, экзарха Патриаршего, Платона. Сохранился в моей памяти такой рассказ об этом.

— Бра-а-тие! — с умелой ласковой манерой обратился он к ним, — конечно, всякому ясно, какое значение вы имели как инициаторы и устроители этого Собора! Но удобно ли нам самим назначать себя в члены его? Не лучше ли, друзья мои, положиться нам на волю его? Ведь, без сомнения, он оценит все то высокое достоинство рады, которое она несет в себе, вызвав к бытию самый Собор и их, как членов его. Этим вы лишь более выиграете в глазах Собора, если предоставите ему решать вопрос о вас!

Искренно ли так думал остроумный митрополит или же он льстивыми речами хотел лишь убаюкать горячие головы рады (а он это умел), а потом подвести их под удар, не знаю... Допускаю и то, и другое. Или еще лучше: то и другое вместе. Он, как умный человек, не мог же не видеть, какой взрывчатый материал представляет рада?! (Имя «рада» сходно по смыслу со словами: «уряд», «подряд», «согласие», «единство» или же с «радеть», «заботиться», «работать».) Идти против нее прямо ему было решительно невозможно, и он предоставил это ходу событий. Во всяком случае история должна сказать спасибо митрополиту Платону, если действительно он придумал такой выход. Улещенная его сладкими словами, как крыловская ворона, рада постановила, что Собор состоит из тех-то и таких-то выбранных и, кроме того, в него входит и «инициативная рада» со знаменитым дополнением: «в количестве, какое будет угодно признать Собору». «Ворона каркнула, сыр выпал»...

А мог бы и не выпасть. Вся рада могла бы быть признанной Собором целиком, если бы... Если бы она не была бунтовщической неистовой рабой! Своим дальнейшим поведением она замучила Собор и подорвала всякое уважение к себе. Но до этого она успела еще натворить немало горьких вещей, а может быть, именно ими-то и

отравляла потом украинцев-дядьков! Но рада не могла переродиться: рожденная для политической крайней борьбы, она не могла стать «церковной овцою» Христова стада. И Церковь украинская выбросила ее, мертворожденное дело родившую. Как это случилось — увидим вскоре.

Я лично попал на Киевский Собор от Крыма по целым трем куриям. Во-первых, меня избрали преподаватели всех духовно-учебных заведений, затем монастыри епархии избрали своим представителем, а кроме всего, епархиальный архиерей Димитрий (Абашидзе, о нем была выше речь) назначил меня своим заместителем на случай его отсутствия. И, следовательно, врагам моим невозможно было подкопаться под мои полномочия, когда они захотят этого. А они очень захотят этого со временем!

Напомню из главы о детстве, что в моих жилах, несомненно, течет кровь украинская, и доселе живет любовь и к украинцам, и к самому языку. И фамилия «Федченко(в)» свидетельствует о моем происхождении. Недаром же крикун-галичанин со слюною вопил мне: «Цей билоруський малорос, с Тамбовщини». Он издевался, а народ меня послушает, когда зайдет речь о нем и всей его раде...

Собор Киевский открылся на третий или четвертый день после праздника Рождества Христова 1917 года. Когда я прибыл в прекрасный, чистый и уютный Киев, был чудный солнечный зимний день. Нанял я парного извозчика, юношу лет 16–17. Красивый розовый мальчик в остроконечной шапке и желтом кожухе. Милый, чистый, ласковый, как Ангел.

— Как тебя зовут? — спрашиваю.

— Володько! — отвечает с улыбкой.

«Володько» в великорусском употреблении звучит вульгарно, грубо-улично, как и Ванька, Степка, Мишка, Машка. Но в украинской речи окончание «ко» дает

ласковый, нежный, дружеский оттенок, вроде русского окончания «енька». Например, «Грицко» — это Гриша, Гришенька, Ганко — Агаша, Агафьюшка, «ненько» — няня, нянюшка, мама-кормилица и так далее. «Володько» — Володя, Володенька. Такой ласковый стиль украинского языка не случайная редкость, а общее широкое явление, говорящее о какой-то коренной психологии племени. Я и после множество раз убеждался в таком удивительном свойстве украинцев, которое очень отличает их от суровых великороссов. Конечно, эта черта имеет свои географические, исторические, культурные и духовные причины, не буду углубляться в них. Но эта особенность очень важна для определения исторической ценности и силы даже и в наши дни сложных политических столкновений.

В это время наша пара, не управляемая Володей, который, беспечно обратившись задом к коням, ласково разговаривал со мною, чуть не наткнулась на рога вола, лениво пересекавшего нам путь.

— Володя, Володя, наедем, смотри!

Он, неторопливо оборотившись вперед, вовремя повернул своих лошадей, а мне ответил:

— Ни-и! Не найиду!

И потом объяснил мне, что за 6–7 лет своего извозничества он лишь на двух людей наехал и одного из них чуть не насмерть раздавил.

— Что тебе за это было?

— Два тыждя (недели) отсидыв.

Когда мы стали подниматься в гору на «Липки», где было женское епархиальное училище и где останавливались члены Собора, Володя все же сумел наехать на санки еврея, стоявшего последним в очереди извозчиков. Что бы было среди великороссов?! Матерная брань, а может быть, и удар кнутом, если не брань, но у украинцев все обошлось парой ласковых упреков, и только. Я даже удивился.

Потом, когда начались соборные заседания, я удивлялся их беспечным песням. После сытного обеда они расходятся по спальням и, отдыхая на кроватях, запевают — кто «Зозулю», а кто «Ще не вмэрла Украина». И даже когда большевики громили Киев и наше здание гранатами, они не переставали петь: «Ще не вмэрла».

И пришли мне тогда мысли: украинцы уже не великодержавное племя! Не могут они стоять не только во главе всей Руси, но не в силах уже удержать обеспеченно от врагов и собственный край. Ослабело, осентименталилось это братское племя. И соседи-враги всегда будут душить и эксплуатировать их: поляки, немцы будут пановать над ними. И только при помощи здорового трезвого брата-великоросса они сохранят и свободу, и самостоятельность. Подобным образом и хорваты могут быть сильны лишь с братьями-сербами. Еще я заметил в них ленивость мысли, медленность чувств: долго им нужно думать, чтобы решить вопрос. Но зато, решив, они могут быть упорны, терпеливы десятилетиями — в этом их великая сила. «Дядьки» туго, но основательно приходят к здравым мыслям.

Нелегко мне только примирить эту их ласковость с озверелыми речами «щирых» шовинистов, а иногда с еврейскими погромами, которыми прославились и Нестор Махно, и петлюровцы. Точно осталось в них что-то от Запорожской удалой Сечи, точно наряду с тихими степями в их душе гуляет буря, которой иногда удержу нет. А пройдет она — и опять все стихает, и опять мирные волы, лениво раскачиваясь, везут своих ленивых хозяев, мурлыкающих нежные песни.

Но я не ученый-народоведец. Отметил лишь то, что видел и что остановило мое внимание.

Начался Собор. Первая борьба партий всегда бывает около вопроса о председателе. Тогда им был митрополит Киевский Владимир, переведенный сюда царем из-за Распутина, против которого он что-то осмелился

говорить[266]. И все знали его «русскость» и простой здоровый, нелицемерный дух. И тогда рада решила провести в председатели Подольского епископа Пимена[267]. Родом из Уфы, он ни в какой степени не был «украинцем», но практическая сметка подсказала ему, что сейчас можно выиграть, и он пошел на компромисс с «щирой» радой. Перед выборами члены ее азартно бегали между рядами и кратко агитировали:

— Селяки и вояки! Пишите за митрополита Пымэна.

И селяки, впервые за свою жизнь попавшие в такой водоворот, писали за «украинского уфимца» и возвели его на чело Собора. Но это не повредит особенно Собору: те же селяки в трудную минуту вытащат свой воз из трясины.

Затем началась свистопляска «щирых»: как сорвавшиеся с цепей, они метались между соборянами, агитируя, возбуждая, навязывая решения. Конечно, против Москвы, «москалей», «кацапов», этих «ворогив» «ридной нэньки — Украины».

И не известно, во что бы все это вылилось потом, если бы не большевики... Да, опять чудо: безбожники разгоняют разлагателей единства Церкви, националистов-шовинистов. Почти одновременно с открытием Украинского Собора с севера и востока двигались на Киев большевики под предводительством какого-то генерала Григорьева. Целую неделю шла перестрелка между войсками Центральной рады и «григорьевцами». Снарядами уже были пробиты стены лаврского собора. В нашем здании гранаты рвались и в домовой церкви, и в конюшне, и над парадным входом. А украинцы после обеда по-прежнему распевали на кроватях «Ще не вмэрла», и «щирые» агитаторы агитировали, точно ничего не слышали. Но вот, говорят, что уже Директория убежала из Киева на Казатин, поближе к австрийско-немецким друзьям своим, что «сечевики» тоже отступают пред подавляющими силами большевиков. Наши «щирые» сразу исчезли, как крысы

с тонущего корабля. Собор закрыли до лучшего времени, ничего не успев решить за те две-три недели, какие мы провели под опекой наших «радистов». Опустели и здания: «дядьки» и отцы сочли за лучшее не встречаться с большевиками. А мы, временно оставшиеся, пихали по всем щелям украинские значки: трезубец с Архангелом Михаилом на «жовто-блакитном» фоне... Смешно сейчас и писать об этом, но в истории трагическое нередко переплетается с комическим.

И вдруг вижу: по улицам идут, хотя и не очень стройно, но смело и весело, большевики.

И страшно, и отрадно!.. После неистовства «щирых» они нам показались избавителями. Недаром даже враг их, митрополит Антоний, за чаем среди архиереев и архимандритов при мне обмолвился крылатой фразой:

— Совсем была бы беда, да вот, слава Богу, большевички выручили!

Так и сказал: «большевички», а не большевики.

Несколько лет спустя мне пришлось читать документы, которые совершенно наглядно показывали, что за спиной «щирых» и Директории стояли австрийцы и немцы, выговаривавшие себе фактическое управление, лишь под прикрытием «свободной Украины»... И все эти грушевские и иные пошли на соглашение с врагами славянства, как идут еще и сейчас многие галичане и украинцы в Америке, давно и неисцельно[268] возненавидевшие Москву и «москалей».

Но как думал украинский народ в своей массе, это еще никому не было ясно, хотя всякий говорил от его имени.

Когда большевики взяли власть в Киеве, их приход омрачился кровавым злодейством. Человека три в военной форме пришли в Киево-Печерскую Лавру и потребовали митрополита Владимира будто бы в главный военный штаб. Митрополит понял, что пришел последний час его. Спокойно надел свою меховую рясу и клобук,



Священномученик Владимир, митрополит Киевский

вышел на монастырский двор, перекрестился на собор и тихо зашагал за арестовавшими его. Келейнику не велел провожать его... И — увы всем нам! Ни мы, ни монахи, а их, может быть, было больше тысячи там — и пальцем не двинули, чтобы помочь архипастырю.

...И опять скажу (как и в истории с фон Бюнтингом в Твери): мы заслужили скорби, которые потом обрушились и на нас!

Так он и не воротился... На другое утро его нашли расстрелянным в версте от Лавры и брошенным в канаву. После этого обратились в штаб с протестом, но там заявили, что это убийство есть дело каких-то негодяев, не имевших ни от кого распоряжения. Так мы тогда и не узнали, кто убийца. Большевики ли? А может быть, украинцы неистовые? Ходили и такие слухи... Отпели мы святителя с честью, при множестве народа, и похоронили рядом с митрополитом Флавианом[269]. Мне назначено было говорить слово около гроба усопшего. Доселе я храню любовь к этому простому душой святителю и русскому патриоту. И ко мне он отнесся с отеческой дружбою. Царство ему Небесное! Умер на своем посту.

После убийства митрополита Владимира временную власть над Киевской епархией взял митрополит Платон. Однажды при мне он пригласил наместника Лавры, архимандрита Неофита (если не ошибаюсь), и спросил его:

— Нет ли среди мощей какой-нибудь подделки?

— Нет, святый владыко! Ничего нет. Единственное, что сделано, это — деревянная подставка святого Иоанна Многострадального.

Как говорит подлинная история, почти современников его, монах Иоанн страдал плотской страстью. И однажды он закопал всего себя до груди в землю. Испытывая жестокие муки, он провел так несколько недель. После кончины его прославили как святого, и оставшиеся кости закопали в землю в стоячем положении на память

о его подвиге. А чтобы голова не падала набок, из дерева была сделана коробка в виде грудной клетки. Это лишь и показалось сомнительным отцу наместнику. Митрополит Платон приказал немедленно устранить все подставки, иначе большевики могут придраться и устроить скандал и разгром.

Действительно, некоторые из них потом приходили и осматривали мощи, раскрывая пелены и ощупывая все руками. Все оказалось настоящим, а ведь им внушалось, что вместо мощей — чучела из тряпок. Посмотрев, один из них говорит:

— Да-а! Только вот темные!

А хранитель мощей, монах, с сердцем ответил ему:

— Ты полежи тыщу лет, посмотрим, останется ли от тебя хоть что-нибудь?

Солдат промолчал на это.

Разъехавшись из Киева, мы, члены Московского Собора, возвратились потом в Москву и доложили обо всем Патриарху и Собору. Вот после этого Собор постановил совершать ежегодную память о всех православных, замученных за веру.

Наступил Великий пост, Пасха... И до нас долетели вести, что Украина «освобождена»: большевиков выгнали немцы вместе с «хлеборобами», помещиками и крупными хозяевами. Во главу ее поставили гетманом Скоропадского. Я уже писал об этом раньше. Пробравшись окольными путями, через Оршу, Киев, Херсон в Крым, я скоро получил повестку о прибытии на вторую сессию Киевского Собора.

Немцы, желая явно или тайно владеть Украиной, с помощью крупных собственников организовали борьбу против большевиков и отделили Украину от Советского Союза. Думаю, что этому перевороту отчасти помогали и украинские народные массы. Именно. На этой плодородной земле, при теплом солнышке вообще жилось неплохо всем украинцам. И они не могли особенно

жаловаться на плохую жизнь и бедность, как великороссы северных и перенаселенных губерний. Поэтому коммунизм не сулил им чрезмерных и неожиданных богатств. Кроме того, по многим причинам украинцы были всегда более склонны к индивидуальной психологии, к личному хозяйству. Между тем великороссы любили жить более общинно, отчего коммунистическое хозяйство представлялось украинцу тяжелым принудительным трудом! «Для других, а не для себя». Тут сплёлся целый ряд причин: экономических, религиозных, географических, исторических. Но этот индивидуализм украинский — несомненный факт, с которым придется еще считаться много лет. Этим в значительной степени объясняется противодействие украинцев «советчине» в Америке даже до сего дня.

Наконец, анархическая революционная разруха целого года, с переменой властей и режимов, сильно надоела мирному и сытому населению: захотелось хоть какого-нибудь покоя.

И его принесли немцы силою оружия... Я знаю немало и русских людей, которые замучились разрухой и неожиданным развалом и голодовкой, хотя прежде они были революционерами, а некоторые даже и анархистами. Не хватало «нервов» терпеть на деле то, что они проповедовали языком. Между прочим, один из юристов — профессор Московского университета, по партии кадет, сказал на Церковном Соборе графу А.:

— Мы не думали, чтобы перемена царского режима была так болезненна и опасна!

Граф ответил ему:

— Не только царский, но и вообще всякий строй нельзя менять безнаказанно и безболезненно.

И нужны очень крепкие нервы, чтобы довести начатый переворот до конца. Наша интеллигенция оказалась, безусловно, слабой для этого, и потому она почти целиком отказалась от радикального стиля советской



Гетман П.П. Скоропадский (слева) и кайзер Вильгельм II

системы. Что касается народов, то сентиментальным и нежным украинцам тоже было трудно везти этот коллективный воз, где тебя толкало отовсюду, с каждой кочки. А более крепкий и выносливый великоросс выдержал эту пробу легче. И без всякого сомнения можно утверждать, что социальное хозяйство вынесет на своих плечах именно «москаль», бородач, казак, и уже потом за ним пошел и украинец, но не сразу.

В указанный момент, лето 1918 года, украинцы были еще неподвижными собственниками. Так как у рабочих людей вопрос о власти решался более практически (что выгоднее?), то не один подрядчик Жуков думал: «Нам что Николай, что Вильгельм!» А украинец еще меньше думал о качественности власти — лишь бы настал порядок! Немцы всегда представлялись носителями дисциплины: тяжелыми, сухими, жесткими, но полезными. А теперь, во время разрухи, многие начали вздыхать по ним, забыв все ужасы войны с ними.

И этот тайный нейтралитет украинской массы помог водвориться власти «землеробов», то есть, просто говоря, крупных землевладельцев с генералом Скоропадским во главе. Но фактически это начальство было лишь ширмой, за которой стояли в селах войска и пушки немцев. Стоило только заворошиться где-нибудь в селах действительным землеробам-селякам, как это село сметалось с лица земли. Но интеллигентским фантазерам льстило то, что Украина стала «самостоятельной» державой; везде практикуется «украинская мова» галицийского стиля; свои «синежупанники» — войска; везде украинские вывески; своя украинская монета — «карбованьци» и даже богослужение можно совершать не на старославянском наречии, а на ходячем украинском языке. Там сзади где-то стоят немцы, но их не видно на лицевой стороне, и... ладно! И массе казалось, будто она в самом деле стала самостоятельна и независима от «москалей», да еще и большевиков...

И нужно сказать правду, на Украине наступил относительный покой и порядок. Я сам это видел собственными глазами. Даже, можно сказать, «пострадал» от новых властей, то есть немцев. Квартира ректора семинарии была большая, в 10–11 комнат, строилась при женатом протоиерее Зн. и рассчитывалась на многодетную семью. Но вот однажды приходят ко мне два военных телеграфиста-немца и просят дать им комнату. Я дал самую заднюю, с «черным ходом». Через месяц они ушли. Тут же пришел офицер-квартирьер и заявил, что моя квартира очень удобна для командующего войсками. Я говорил, что могу уступить ему три-четыре комнаты, потому что вот это — мой кабинет, это — спальня, это — зал для собрания педагогов, это — комната для друга полковника и так далее. Он не стал разговаривать со мной. Через пять минут привел двух рядовых с винтовками и повелительно заявил: «Беру эту, беру эту». Одним словом, все комнаты, кроме одной, в которой я мог, при желании, поселить и друга. Я послал в штаб парламентера и едва выпросил для него особую комнатку. Таковы немцы...

Видел я и полную подчиненность украинских властей немцам. Это всякому понятно. Кратко: Украина сделалась их колонией, а крупные «землеробы» были лишь выставкой и скрывали наше рабство перед немцами. Но делать было нечего, сила была на стороне их.

...Итак, я выехал на вторую сессию Собора в Киев. Был чудный зеленый июнь. Солнце... Голубое небо... Все буйно росло на черноземе. И только выбитые стекла наших вагонов свидетельствовали, что пронеслась страшная гроза... Да не хватало угля на топку паровозов. И иногда мы среди чудных полей вдруг останавливались: машинист заявлял, что пассажиры должны добывать дрова. Мы выходили и ломали, что было ближе. В одну из таких остановок, пока разгорались сырые бревна в печи паровоза, я с другими пошел прогуляться по траве вдоль поезда. Вдруг видим, что в конце состава его прицеплен

прекрасный вагон второго или первого класса и (удивительно) все стекла целы и чисты. Что такое? Оказалось, в нем ехал некий комиссар советского правительства для окончательного выяснения границ между двумя самостоятельными «державами»: РСФСР и Украиной. Вижу, что в одном из открытых окон этого вагона стоит прилично одетый человек и с любопытством глядит на нашу гулящую публику. Оказалось, это был сам комиссар. Я подошел поближе к окну.

— Вы комиссар?

— Да, — спокойно ответил он.

— Социалист?

— Да!

— Как же вы едете в таком роскошном по нынешнему времени вагоне, когда мы не имеем даже стекол? Будто бы для социалистов, которые заботятся об общем благе, это нехорошо!

Толпа начала увеличиваться и с любопытством прислушивалась к разговору. Но комиссар счел за лучшее отойти от окна и больше не показываться нам. Дрова разгорелись, машинист свистком пригласил нас входить в бесстекольные вагоны, и поезд тронулся дальше. Такие остановки не были часты. Но мы тогда ко всему уже привыкли и удивлялись не тому, что все было разбито, а как это еще есть вагоны со стеклами?

На второй сессии было немало интересного и важного. Начать с того, что наш Собор посетил сам гетман Скоропадский. Высокий, красивый, бритый, с сединой генерал в казацкой черкеске. Встречали мы его, как в бывалое время царя. Так же пели «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Победы благоверному гетману Павлу на сопротивныя даруя» и прочее. Только не было прежнего страха и почитания. Нам казалось, будто идет игра в царя. Впечатление от него было в общем симпатичное, но не могучее. Даже и генерал Врангель был куда сильнее и величественнее! Теперь особенно ясно, что он был подставной

фигурой, за которой были настоящие хозяева — немцы. В особо дружных с ним отношениях был новый Киевский митрополит Антоний, выбранный киевлянами вместо убитого митрополита Владимира. Насколько помню, не без его участия произошел и самый «переворот» землеробов. Я хорошо помню из печати: он говорил им приветственное слово.

Также хорошо знаю, что митрополит Антоний поддерживал приятельские отношения и с главным немецким генералом, который являлся фактическим повелителем Украины. Имени его не помню, да и не хочу помнить... Таким образом, можно сказать, что митрополит Антоний был «германофилом». Вышедший из дворянской семьи (Храповицких), он владел немецким языком. Какие были разговоры между этой тройкой — германцем, Скоропадским и митрополитом — я не знаю, но могу с уверенностью сказать: приятельские для немцев. Но это не отражалось на деятельности Собора, а говорилось в четырех стенах. Может быть, когда-нибудь и выйдет коечто на свет...

Начались заседания. «Церковная рада» была тут же и снова хотела захватить террором власть над Собором. Но мы, наученные горьким опытом, решили тоже сорганизоваться. От каждой из десяти украинских епархий было выбрано по одному духовному и одному светскому лицу, а кроме того, еще десять человек из наиболее влиятельных членов Собора, всего тридцать. Мы назвали его «тайным советом», хотя это было совершенно открыто и законно. Тут мы и обсуждали предварительно все вопросы, которые нужно было рассматривать назавтра.

Дошла очередь и до мандатов рады. В каждой из разных комиссий был кто-либо из «тайного совета», в мандатную пошел я намеренно, чтобы «приятели» не пропускали незаконных «соборян». Я доложил друзьям: завтра бой с радой. Нужно избрать тяжеловесное орудие, отца протоиерея Титова... Но, как уже писалось, ему грозились

убийством. И выбор пал на меня. Собрав материал и хорошо подготовившись, я на другой день произнес сильную речь против разрушительной работы рады на Соборе и предложил выход: их около пятидесяти человек, то есть приблизительно столько же, сколько профессоров и служащих в Киевской духовной академии, откуда «наказом» разрешено выбрать лишь трех. Так как рада образовалась не выборным путем, а самопроизвольным собранием, то из нее следует им самим выбрать тоже трех членов. А остальным? Остальным удалиться с миром и предоставить выборному Собору спокойно кончить свое дело.

Можно представить, какой дикий вой подняли «щирые»!

Председатель, ими же избранный епископ «Пымэн», хотел исправить положение и поставил на голосование хитроватую формулу:

— Кто за трех членов из рады, а кто — больше?

Если бы решили «больше», то опять началась бы длинная волокита с вопросом. Я заявил:

— Согласно параграфу 12 (кажется, верно помню эту цифру) «наказа», председатель обязан ставить вопрос собранию в той формуле, которая предложена оратором.

— Верно! — согласился епископ Пимен, проверив мою ссылку по печатному тексту, — итак, кто за три и кто против трех? Поднимите руки!

И вдруг огромным большинством Собор принял мою формулу: предложил раде выбрать лишь трех членов!

Не помню цифры, но не менее двух третей, или даже трех четвертей, было за меня. Конечно, наш «тайный совет», на котором вчера предложена была заранее не только формула, но и сама эта цифра «3», постарался через тридцать своих участников провести пропаганду по всем десяти епархиям, оттого и получилось такое дружное и быстрое решение Собора.

Председатель как ни в чем не бывало, совершенно спокойно предложил всей раде (тогда их было, насколько помню, 47 человек) выйти в соседнюю комнату и исполнить волю Собора.

С дикими воплями они вышли, и через несколько минут кто-то заявил, что рада отказывается выбирать трех членов и демонстративно уходит. И тотчас же наступил мир на Соборе. Бешеная нервозность и злоба испарились, как туман при солнышке. Слава Богу! Мы все вздохнули свободно, и началась конструктивная работа по всем комиссиям.

Как же не сказать спасибо митрополиту Платону по поводу формулы: принять членов рады в составе, какой угодно будет признать Собору!

Но в этом решении для меня более важным представляется воля самих украинцев-соборян. Как я уже объяснял, состав его [Собора] был на три четверти украинским и народным, селянским. Казалось бы, они особенно должны были поддерживать в революционное время «своих щирых»... И вдруг выгоняют! Да еще с каким треском! Я думаю, читатель никак не ожидал такого смелого предложения, как из сорока семи человек инициаторов Собора вытолкнуть за двери сорок четыре. И еще более неожиданно для него, что те же самые соборяне, которые в январской сессии шли слепо на поводу шовинистов, теперь мужественно выгнали прежних своих вождей!

Для меня же тут — великая радость за украинский народ! Значит, он имеет здоровый разум! Значит, он, когда нужно, может быть и решительным! Значит, он (и это главное!) не согласен с той разделяющей и враждебной пропагандой, какую от его имени вели эти не избранные им самовольники против единства со всем русским народом. Тут дело касалось не сорока семи озорников и фанатиков, а исторического, добровольного, мудрого решения украинских братьев не враждовать против русских, белорусов и прочих братьев общей родной страны! Здесь

моему внимательному взору пророчески приоткрылась вся будущая историческая линия единства, по которой пойдет Украина и дальше!

Вот в чем смысл выгона рады! Поэтому я и остановился на ней так подробно. По этому факту можно было уже заранее предвидеть, что и в политико-социальном отношении Украина в конце концов пойдет вместе с более сильным великороссом, что не будет никакой «самостийной» державы, что в критический исторический час украинцы, как братья, пойдут вместе с другими защищать общую Мать-Родину; тогда можно было уже предсказать, что будущий Гитлер встретит на Украине не хлеб-соль, а вилы и ружья партизан и пушки украинских войск! Так и сбылось, как видим сейчас!

Если же он принял теперь временно немецко-гетманскую «державу», то лишь по благоразумному подчинению военной силе немцев и по свойственной украинцам мудрой хитрости: под молчанием скрывать свои мысли.

Из этого же разгона «щирых» ясно уже было видно, что не примет народ и церковного разделения от Москвы.

Действительно, нами скоро был разработан проект об «автономии» церковного управления на Украине со своим Синодом, со своими Соборами, но при одном всероссийском Патриархе. Когда голосовался этот вопрос: принять ли решение о «самостийной» (автокефальной, совершенно независимой) Украинской Церкви или же сохранить связь с Патриархом, а через него и со всей Православной Русской Церковью, то чрезвычайное большинство постановило: быть под общим Патриархом, а не отделяться!

Если мне не изменяет память, то при решении этого важного вопроса «за» Патриарха и единство голосовало около 220 человек, а «против» — кажется, лишь 71. Нечто поразительно неожиданное!

И этому можно было радоваться не только с церковной стороны, но и с политико-социальной.

Так дело, начатое шесть месяцев тому назад с явной разрушительно-разделительной целью, кончается блестящим единством! Какое чудо истории!

Так «селяки» сами вытянули воз из трясины, в которую его завели было предатели, шовинисты-фанатики, а может быть, и австрийско-немецкие наймиты... Это разберет еще история.

Вероятно, не понравилось это немецкому генералу. Как отнесся Скоропадский, не знаю. Ходили слухи, коим я весьма верю, что он не был предателем, а взял на себя этот нелегкий крест сотрудничества с врагами-немцами лишь потому, чтобы удержать от окончательной разрухи хотя бы Украину. А потом, когда восстановится порядок во всей стране (подразумевалось тогда, что будет снова царь), то он, Скоропадский, поднесет Всероссийскому хозяину и «свою» Украину, а немцев лишь поблагодарят.

Мне хочется верить в добрые настроения людей... Но жизнь пошла иными путями.

Кончилась вторая сессия, а мы снова разъехались по зеленой Украине и Крыму. Вдруг в ноябре нас зовут на третью сессию. Я теперь уже не помню, какой именно был исключительный повод, чтобы собирать нас в третий раз в такое трудное время. Неужели мы не все кончили в июне—июле? Или тут были снова политические мотивы?

У немцев этой осенью произошли трагические события: они проиграли войну, и у них началась своя внутренняя революция. Войска, занимавшие Украину, тоже разложились и потянулись домой, опасаясь ненависти, которую они вызвали в украинском народе за полгода своего жестокого и корыстного владычества.

Вместе с немцами должен был «скоро пасть» и Скоропадский, как острили тогда по поводу его фамилии.

Народ, понятно, не будет поддерживать крупных землевладельцев, особенно когда под боком живет страна без капиталистов.

Да и красные не оставят в покое богатую Украину, угольный район и буржуазную соседку. Раз ушли немцы, придут большевики, народники.

Но пока Украина переживет еще промежуточный период петлюровщины, анархической махновщины, белых добровольческих завоеваний, чтобы постепенно определилось наконец новое общее историческое русло — единство в Советском Союзе.

Не знаю, не надеялись ли гетман и землеробы найти после ухода немцев опору себе в Церковном Соборе? Не помню сейчас. Собрались мы опять в Киеве. Но уже ясно было: не удержаться Скоропадскому. Опять началось отступление правительства. Пригласили и белых русских офицеров помогать гетманцам. Вспоминаются тут имена генерала Долгорукова и известного генерала Келлера, убитого потом при аресте: в этом можно было увидеть патриотические задние планы Скоропадского. Но уже было поздно.

Утром 4 декабря, в день мученицы Варвары, на Софийской площади, около памятника Богдану Хмельницкому появилась петлюровская кавалерия. «Какие они крепкие!» — пронеслись в моем мозгу эти слова при взгляде на седоков. Лошади сытые, прочные. Солдаты в теплых полушубках, крепко, точно слитые, сидят на конях свободно. «Ну, куда же офицерам, господам, интеллигентам устоять перед этой народной силищей?» — продолжали бежать у меня мысли.

...Все это я помню сейчас, как будто вчера видел. Так кончилась буржуазно-владельческая эпоха гетманщины. Но и Петлюра не был концом событий. Полтавский семинарист, с юности революционер-интеллигент, он, подобно всей интеллигентской собратии, мечтал о «демократическо-партийной» революции; только тут еще

примешался и украинский шовинизм. Однако украинский народ почувствовал, что в лице Петлюры пришла на смену панской власти народная, и потому поддержал его. Но это была революционно-националистическая власть, а не советско-братская. Поэтому в дальнейшем процессе революции не устоял и Петлюра. Он бежал за границу, в Германию, и был убит там[270]. Его заменили большевики и белые: на знамени и тех, и других была идея единства страны, включая в нее и украинцев. И опять украинский народ пошел не за Петлюрой, а скорее стал заодно с добровольцами.

Тут снова и снова сказалась здоровая мудрость народа: не увлекаться фантазиями о «самостийщине», потому что это несправедливо и непрочно, неумно. Что бы ни случилось, нужно жить всем вместе. А так как добровольцы боролись еще и против неприятных собственникам-украинцам коммунистов, то они приняли и белых. Но скоро красные стали брать верх над ними, и с концом белых кончилось и «самостийничество» украинцев. Вся земля стала советской. Народ стал везде хозяином у себя.

Так завершился круг исторических событий революции. Украинцы не сразу вошли душою в новую систему, но они, во-первых, тоже увидали, что советская власть — власть народная, своя, а во-вторых, среди разных властей: австрийско-директорской, немецко-гетманской, классово-белой — советская власть все же оказалась самой практичной, полезной для народов единой их страны. Потому можно сказать, что и украинцы, хотя и не очень радостно и добровольно и не сразу, приняли советский строй и власть всем народом и сознательно.

Церковный голос Украинского Киевского Собора все это предрешил голосованием за разгон рады и единство с Московской Патриархией. Что прошло через головы соборян, то пережила и вся Украина.

А советская власть, оказывается, предоставляет своим республикам широкую автономию: и собственный

язык, и развитие своей национальной культуры, и свое местное управление, и университеты, и Академии наук, и прочее.

«Все это не так уж плохо», — думает молчаливую думку украинец, посасывая трубочку и неопределенно-загадочно посматривая кругом: на Советы, на коллективные хозяйства, на тракторы и бескрайние пшеничные поля... «Ну, а там дальше уж посмотрим-де, как быть с этим самым коммунизмом, — думали, вероятно, "дядьки". — Поживем — увидим. Времени еще довольно. А пока иначе нельзя».

Но некоторые последствия от «щирых» все же остались даже и до сих пор.

Прежде всего, петлюровцы, «друзья щирых», арестовали Киевского митрополита Антония. Одни считали его слишком большим русофилом, противником украинской «самостийности», а другие видели в нем сотрудника свергнутой гетманщины и немцев. Последнее, по моему мнению, верно. А первое — совершенно неправильно.

Когда пришли его арестовывать офицеры из австрийских галичан, в митрополичьей зале собралась толпа богомольцев, преимущественно женщин, этих вечных заступниц, — человек 100–150. Был и я.

— Владыка, — громко просил я его через головы толпы, — скажите нам что-нибудь на прощание!

Наступило молчание. Он сказал следующее:

— Меня будут винить в том, что я был против Украинской Церкви и ее автокефальности («самостийности»), но это совершенно неверно!

Эти слова его не произвели никакого впечатления на толпу. А я разочарованно подумал: «В такой момент у митрополита не нашлось чистого религиозного слова, а только о политической борьбе за "самостийность", хотя бы и через Церковь!»

Его увели... Две-три бабы, по положению, всхлипнули, но остальные провожали довольно холодно.

Арестовали еще и архиепископа Евлогия (ныне в Париже)[271] за его «провинности» против униатов-галичан при занятии русскими Галиции. И обоих увезли в какой-то католический монастырь близ Львова[272]. После выпустили. Митрополит Антоний уехал на Афон, а оттуда генерал Врангель вызывал его в Крым, но тоже бесплодно... Скончается он в Югословии, но до того много повредит еще Церкви и Родине.

Вторым печальным наследием от «щирой» рады остались так называемые «самосвяты», имеющие прямую связь с Собором.

Когда мы выгнали раду, она решила продолжать свое бешеное неистовство. Отказавшись от делегирования «трех», члены рады решили создать собственную «незалежну» (независимую) церковь. Для этого обычно в истории подыскивались два-три, а в крайнем случае один архиерей-предатель, который «рукополагал» отщепенцам нового «епископа». И так называлась новая церковь. Без архиерея не может быть церкви, таков церковный закон. Без архиерея нельзя ставить и новых священников.

Члены рады обратились к одному-другому из православных архиереев с подобной целью — возглавить «незалежну» Украинскую церковь. И были архиереи, украинцы родом: Дмитрий Уманский, Парфений Тульский, Агапит Екатеринославский[273]. Но они не согласились ни сами стать, ни другого поставить им в архиереи. Что же тогда делают эти отчаянные головорезы, у которых нет ни страха Божия, ни стыда перед людьми? Они собирают своих священников в Софийском соборе, делают из них живую цепь руками. Около престола ставят на колени того самого «Василя Липкивского», о котором говорилось выше при описании состава рады. Последний из длинной цепи дерзко берет за руку святого митрополита Макария, мощи которого лежали в правом приделе собора с XV века[274], а священник, рядом стоявший

с «Василем», возлагает на него свою руку, как это делают архиереи при рукоположении нового епископа. И провозгласили «аксиос» (достоин).

Так мертвый «рукоположил» живого.

Подобного кощунства еще не знала церковная история, чтобы попы произвели архиерея, да еще использовав беззащитное тело мертвого! Потому их и прозвали «самосвяты», то есть сами себя посвятившие в архиереи.

Ну, а потом Василий «посвятил» уже новых архиереев. Среди них в Америке теперь действует Иоанн Теодорович, проживающий в Филадельфии. Он «накропил» массу «иереев», особенно в Канаде, где живет много галичан, буковинцев, украинцев. Так злое дело давало все новые и новые плоды: от *репейника* не растут *смоквы,* сказал Господь в Евангелии (ср.: Мф. 7, 16). Уже из того, как начинала свое дело рада в Киеве, можно было ждать от нее всего! Им ведь прежде всего нужна политическая идея об украинской «незалежности», ради нее они готовы и родного отца продать, а не только веру и Церковь[275].

Советская власть сначала отнеслась к этой «щирой» церкви равнодушно, думая, что тут лишь поповская ссора. Но скоро она поняла, что дело не так невинно. Эти самостийники продолжали вести свою национально-шовинистическую подрывную работу на Украине и при Советах. Их деятельность грозила (в случае успеха) разжигать идею обособления Украины от Советского Союза, ради какового отделения и явилась вся эта безбожная затея. Поэтому большевики арестовали Липковского и куда-то посадили под арест. Были слухи, что он умер. Но плоды его существуют еще не только в Америке, но и на Украине. Впрочем, это движение и там слабое. Народ в массе остался в единстве со всей Церковью, как и решил он сам в Киеве в 1918 году. Но что озорникам-революционерам Собор? Что им и «народ»? Ведь они признают народ лишь тогда, когда он исполняет их пар-

тийную волю! А «до Бога высоко»! Есть среди них и прямые безбожники. Я это знаю по Америке.

Еще мне остается рассказать тут о Патриархе Тихоне. Когда на Украине воцарился Скоропадский и жизнь здесь была более обеспеченной и спокойной, то (кому уж — не знаю) пришла мысль в голову: увезти сюда тайком Патриарха, чтобы сохранить, по крайней мере, жизнь его. Но он, так шли слухи, ответил: «Пусть плохи большевики, но ведь и они — мои духовные дети. Как же я могу бросить их?» И остался.

А епископ Пимен, уфимский «украинец», тоже не смирился. Слышно было, что он создал православную (а не «самосвятскую») самостийную иерархию в Подоле, которая не подчиняется Московскому Патриаршему центру. Если это верно, то он является клятвопреступником против того же самого уставного Собора, на котором он был председателем и который постановил (220 против 70) не отделяться от Патриарха Московского... Но я не ручаюсь за достоверность этих слухов. Епископ Пимен не дурной был человек.

Одно время соблазнился самостийничеством и епископ Агапит. За это он был судим судом архиереев в Новочеркасске, куда был вызван и я из Крыма для канонической полноты (13) суда над архиереем. И его осудили... После он, говорили, скончался, путешествуя будто бы в архиерейской карете.

Присоединился к ним одно время архиепископ Алексий (Дородницын)[276], бывший одно время ректором Казанской духовной академии. Человек необъятной толщины, пудов на десять. Я видел его однажды в Киеве. Он во время беженства раскаялся и, исповедавшись у митрополита Антония, скончался (кажется, в Новороссийске, на монастырском Драндском подворье).

Митрополичья кафедра одно время перенесена была в Харьков, как новый политическо-украинский центр при советской власти, а потом она снова была воз-

вращена в Киев. Митрополитом и экзархом (Патриарха) Украины был сначала Константин (Дьяков), а потом Михаил, <на> двадцать лет устраненный поляками от управления Гродненской епархией. Его заменил нынешний митрополит Киевский и экзарх Украины Николай (Ярушевич)[277]. При движении немцев он удалился в Москву и теперь помогает управлять Русской Церковью митрополиту Сергию, Патриаршему Местоблюстителю. Имя этого нового светильника Церкви и патриота известно не только в России, но и по всему свету. Он был назначен советским правительством одним из членов комиссии по расследованию зверств немцев над мирным населением оккупированных областей нашей Родины.

Скоро придет время, когда этот талантливый светильник возвратится в свой митрополичий светлый град Киев. А может быть, со временем... и выше! Дай Бог!

ЗА ГРАНИЦЕЙ. БЛИЖНИЙ ВОСТОК

После эвакуации из России мне в течение 23 лет пришлось посетить довольно много стран: Турция, Греция, Болгария, Сербия, Македония, Хорватия, Австрия, Карпатская Русь, Чехословакия, Германия, Франция, Англия, проездом — Швейцария, Северная Америка и Канада прошли мимо моего взора. Кое-что было интересно и в общественном смысле, а также и в церковном.

...После пяти дней спокойного путешествия по Черному морю мы приплыли в знаменитый Константинополь — Царьград, как красиво называли его наши предки. Проехав Босфорский пролив, мы остановились в Мраморном море. Справа, на европейской стороне, на взгорье, высился мировой город, предмет домогательства многих держав в течение более полутора тысяч лет. А налево, на более отлогом азиатском берегу, был провинциальный город. Турки, как известно, звали свою прежнюю столицу Истамбул. Кажется, это имя является исковерканным словом греческого языка: «ис-тин-полис», то есть «в город», все дороги вели «ис-тин-полис», турки исковеркали в «Истамбул». А на азиатской стороне был город Кадикей, некоторые говорили мне, что почему-то он назван был когда-то «город Судьи», но мне думается, что и это слово есть исковерканное имя древнего города Халкидон, где происходил Четвертый Вселенский Собор[278].

На рейде Мраморного моря остановилось 125 наших больших и малых кораблей со 135 тысячами беженцев. История еще не видела такого нашествия «русов». Но нынешние хозяева турки и прежние владельцы

греки ничему не удивлялись, теперь война перемешала все. В Царьграде было столпотворение народов. Фактическими господами положения были англичане, могущественный флот которых в виде нескольких военных судов спокойно и самоуверенно стоял на якорях, поблескивая по ночам сотнями огней из окон кораблей. За англичанами стояли французы, потом итальянцы, союзники-победители немцев. А русские, которые больше всех сделали для этой победы, прибыли теперь сюда бесправными просителями. Позади же нас, там, в далекой Скифии, Советской России, шел шторм революции.

Нас морская полиция не спускала с кораблей, потому что ни одна держава не хотела нас принять к себе, как и предупреждал перед прощанием с Родиной генерал Врангель. Начались хлопоты перед англичанами и французами.

А тем временем вековечная человеческая корысть решила использовать наше бедствие. Со всех сторон, как мухи на падаль, окружили нас пароходики, шаланды, лодки, предлагая пищу, фрукты и даже пресную воду. Да... На многих судах уже не хватало ее, и люди готовы были за золото напиться. И, насколько помню, этой водой торговали преимущественно греки. Православные христиане, они — увы! — показали себя нисколько не менее корыстными, чем турки. Даже, говоря откровенно, более... Печально это писать, но такова была правда истории. А вообще, они оказались более холодными, чем турки. Турки, несмотря на пережитую войну с нами на стороне немцев, были совершенно беззлобны к нам и даже дружественны, ласковы. «Кардаш» — приятель — вот что мы постоянно слышали от них. «Кардаш» — приятель. «Карош», то есть хорош, вот другое слово вспоминается мне от них. И вспоминая сейчас давнее прошлое, перебирая воспоминания, я решительно не помню ни одного случая, огорчившего нас со стороны турок. Спасибо им! Они — приятели наши, и, несомненно, мы ближе и



Константинопольский порт

приятнее им, чем хитрые, плотоядные немцы, протягивавшие через них свои государственные и экономические щупальца к Багдаду, нефти, к Востоку... Движение на Восток.

И нужно радоваться, что советская власть с первого момента и доселе держится искренних дружественных отношений с Турцией. Таков исторический путь для этих стран, и его нужно укреплять и дальше.

Что касается греков, то они совершенно потеряли сознание владетелей этого города и превратились в торговый мещанский класс. По крайней мере, рядовые греки, но даже и от выдающихся лиц мне не пришлось слышать иного. Казалось, греки — народ прошлого, а не будущего. Одно лишь нужно сказать о них, что они крепко держат Православие. Ни католическое коварство, ни сектантское движение, ни даже европейское безбожие точно не коснулось их. Конечно, тут большое значение имела их печальная история, покорение турками. И вера сплелась у них с национализмом, взаимно поддерживая друг друга, так что представители Церкви сделались одновременно защитниками народа своего (этнархами), а миряне активно вошли в жизнь приходов, епископий и высшего церковного управления. Но факт остается фактом: греки и доселе тверды в Православии. Удивительным образом «благочестие» (так всегда называли свою веру греки) <...> — поэтому и у нас называли царей благочестивейшими <...> — сплелось у греков с буржуазно-материальным бытом.

Впрочем, христианство, будучи мироотреченным, аскетическим учением, в глубине своей дает для рядовых людей широкий простор «среднего христианина», где сочетаются обычно и вера, и благоустройство быта. В России мы знали целый такой класс — купечество. Известно, что и в Америке греки хорошо устроились экономически: рестораны, кафе, а иногда и банки — дела им знакомые. И в то же время у них и большие храмы, и организованные приходы, с участием мирян-попечителей.



На базаре в Константинополе

И не нужно очень строго порицать их за такое сочетание. Все же это несравненно лучше европейского безбожия и социалистического материализма.

Правда, греки чувствуют себя в храмах довольно развязно, вульгарно. Вы можете увидеть, как они иногда входят туда в головных уборах и не сразу снимают их. Бывали примеры, что еще в притворе церковном они начинали уже курить табак, и вообще они чувствуют себя хозяевами в храме. Но это не касается самой глубины сердца их. Во время службы они смиренны, сдержанны, внимательны, молитвенны. Мужчины стоят в одном месте, женщины — особо. Во время проповеди, когда им что-либо понравится, они шумно кричат: «Хито!» — французское «виват» («да живет»), славянское «слава!» Это у них издавна. Еще святой Иоанн Златоуст пытался останавливать их восторженные возгласы и рукоплескания за свои чудные проповеди, но безуспешно... Греки — народ в общем горячий, южный, экспансивный, были и есть. Только теперь стали смирные, тихие. Но все же материализм внедрился в них глубоко, как увидим это из некоторых фактов.

К России у них глубокое уважение как к могучей силе и покровительнице Православия, защитнице греков и славян от иноверных. Но они хотят получать, а не давать. Наиболее большим вопросом для них является потеря Константинополя, даже в случае победы и могущества России, и в частности — храма «Айя София» (то есть «Святая София», Премудрость Божия, Сын Божий — от греческого слова «Агия София»). И лично я думал и думаю: ни в коем случае не нужно никому, и нам, русским, отнимать у них этот дорогой Царьград и чудный собор, построенный Юстинианом Великим в VI веке[279]. Впрочем, все это я говорю по наблюдению над городскими греками, а сельские, как и везде, гораздо смиреннее и духовнее, чем горожане. Я это после наблюдал, когда посещал священников на островах.

Припомню сейчас одну группу картин (если только я не писал о ней уже раньше), которую мне пришлось видеть в американском журнале.

На одной из них сфотографирован внутренний вид передней части алтаря. На красивых, солидных мраморных креслах сидят католические епископы. Они в богатом облачении, высоких митрах, держат себя важно, даже напыщенно. Это — «церковная власть». Такова Католическая церковь, Церковь непогрешимого папизма, Церковь, «правящая» бесправными пасомыми. Из-за этих правителей не видно даже священного алтаря, где совершается богослужение: Церковь как правящий класс заслонила даже веру. Нечего уже говорить, что тут не видно народа, паствы, управляемого стада: оно не имеет силы в католичестве.

На другой картине не изображено ни храма, ни алтаря, ни даже народа, а только проповедническая кафедра. Ухватившись за боковые края ее, оратор, в мирском костюме, только с белым круглым воротничком — знак протестантских пасторов, — что-то говорит, говорит, говорит. Это — Протестантская церковь, где Таинства не имеют значения, где даже храм является скорее залой для публичных выступлений, где «священник» — тот же непосвященный мирянин, где главным делом его является учительство, проповедничество, где даже самая молитва (легонькие «стишки») сведена больше на мораль да еще разве на веру в искупление «дорогим Иисусом» — вот это протестантизм. Эта картина — тоже фотография, а не рисунок.

Но вот третья фотография. Сзади — горы, голубое небо, благословенная природа Божия. На переднем плане — сельский храм из белого камня, крытый красной черепицей, двери затворены: кончилась служба или еще не начиналась, над ними — икона святого Георгия Победоносца. А ближе всего к зрителю — два человека: сельский старенький священник в рясе и греческой

камилавке (с расширением наверху) с бородой и длинными волосами, а справа от него — старушка в темном платке и черном платье, подперши щеку правой рукой, которую поддерживает левая. Она сидит на остатке ограды, священник же стоит. Оба смиренно молчат и задумчиво о чем-то помышляют. Тут нет и тени власти, тут никто не стремится учить, да к чему учить? Разве же совесть христианская, просвещенная двухтысячелетним опытом и церковным преданием, не знает, что нужно делать и чего не нужно? Единственная дума — о будущем Небесном Царстве. Но и тут нет католического «паспорта» на бесспорный вход туда, нет и самообольщенной уверенности в свою собственную «спасенность» заслугами Христа; здесь лишь — сокрушение о грехах со смиренной надеждою на возможное милосердие Спасителя да на заступление Богородицы и святых мучеников, ходатаев пред Богом. Да и об этом они не думают, а лишь смиренно, кротко глядят внутрь своих душ, но без уныния, без отчаяния.

Вот это — православные. Вот это — действительная религия в душе. Вот это — святой народ. Вот это — действительно истинная Церковь Христова. И пусть немало торгашей среди греков, но не они составляют церковную массу, а эти смиренники сельские около убогого храма. И я увидел потом это истинное благочестие в Константинополе. Но все по порядку.

Через несколько дней нас начали «спускать» с пароходов, но и то не всех, иначе бы мы наводнили город. А сначала разрешили въезд высшим начальникам, архиереям и тому подобным. Масса же войск должна была потом отправиться в лагеря на полуостров Галлиполи и на остров Лемнос, а флот был отправлен в Африку, в город Бизерта, который стал теперь известен всему миру по войне. Но часть военных не захотела идти в лагеря. Кажется, что милостивее всех оказались французы, а потом уже англичане, после и сербы с болгарами пошли

нам навстречу и взяли несколько тысяч беженцев. А еще дальше французская власть стала принимать их рабочими на заводы и на земледельческие фермы. Этим трем народам и нужно отдать историческую благодарность за нас, несчастных бездомников, и особенно милым сербам. Да сохранит их Господь от бед и напастей! Много профессоров и студентов пристроила в университеты Чехословакия, возглавляемая тогда президентом Масариком[280]. Совершенно отказали в приеме итальянцы и вообще католические страны. Они, наоборот, воспользовались нашей нищетой и горячо принялись вылавливать детей русских беженцев, устраивая их в приюты и окатоличивая их там. Уловили, вероятно, несколько десятков взрослых. Но в общем их пропаганда не имела успеха. Однако наш Синод уполномочил меня войти в переговоры с папским представителем в Константинополе, архиепископом Дольче, чтобы католики не ловили наших детей. Старый любезный итальянец обещал мне это на словах, но едва ли это исполнялось на деле.

Не оказали гостеприимства и союзники румыны, и бывшие враги немцы, и даже православные греки Эллады. В Турции долгое время ютились кое-где тысячи беженцев, но и оттуда их потом переселили в Европу; тогда турки уже вели дружбу с Советами.

А те, которые не захотели отправляться в лагерь, заселились по трущобам Царьграда. Но чем жить?

И вот началась погоня за хлебом насущным. Припоминаю незабываемую картину. Где-то на горном участке города стояли ряды русских генералов, полковников, офицеров и что-то предлагали на продажу или на мену. Даже продавали за ничто романовские деньги, кажется, по копейке, по две за рубль. Тут были и знатные аристократы, и простые казаки. Жалкое это было зрелище: бывшие богачи — теперь нищие просители. Женщины многие пошли на службу в рестораны, кафе, кабаре — лишь бы достать пропитание.

И более! Каким малым довольствовались люди тогда!

Например, прибыли семейные военные в полуразрушенный город Галлиполи. Квартир нет, и вот иные устраивались между двумя, тремя стенами развалины. И то уже считалось хорошо. Но со всех сторон ветер дует! А ведь уже был декабрь.

Для войск французы дали палатки, и там жизнь наладилась лучше. Но зато генерал Кутепов ввел там суровую дисциплину, за что его прозвали «Кутеп-пашою».

Тогда еще думали, что Белая армия пригодится для спасения Родины. Жизнь в течение ближайших двух-трех лет разочаровала нас. У беженцев явилось мрачное предчувствие, что уже не видать им больше родной земли, а следовательно, что уже нужно так или иначе устраиваться где попало. И куда только не занесло нас, горемычных. Кажется, буквально нет в мире страны, где теперь не оказалось бы русских. Один из моих знакомых шутил: «Теперь русский язык мировой, и можно нам путешествовать без всяких проводников». Приедешь, например, на пароходе в Индию, крикнешь по-русски с корабля: «Эй, кто тут Иван или Степан из России?» И непременно с пристани кто-нибудь откликнется. Не говорю уже о Европе и Северной Америке, но и в Азии, и в Южной Америке, и в Австралии, и даже на некоторых тихоокеанских островах осели целые группы или отдельные лица из беженцев.

Невольно напрашивается вопрос: какой исторический смысл в этом рассеянии нас по миру? Ведь это — повторение еврейского переселения. Там был смысл: подготовка мира к принятию Мессии Христа. А у нас? Если сказать лишь, что мы несем Божие наказание за отпадение от веры, но ведь не такие же мы безбожники? Если, как многие белые думали про себя, будто мы — соль национальной России и обязаны теперь вести борьбу против большевистского безбожного интерна-

ционализма через словесную и печатную пропаганду, то это действовало еще лишь до критического исторического момента — этой войны. Когда же она началась, то вся пропаганда белых разлетелась как дым. Следовательно, и не в этом смысл беженства. В чем же он? Откровенно сказать: не ясно еще это мне.

И разумеется, он не в том, что русский балет при Мечето-Карло[281] славится по миру танцорами и танцовщицами. И не в том, что два-три казацких хора ездят по миру и поют церковные песнопения и светские песни. И уж, конечно, не в том, что мы принесли «безбожной Европе» и «материальной Америке» свет Православия и святой жизни. Где уж там! Кто будет судить по нас о «Святой Руси», тот быстро разочаруется и в нас, и в России. Так в чем же смысл? А он должен быть и с точки зрения Божественного провидения, и даже с рационально-исторической причинности. Сейчас я воздержусь от ответа.

Может быть, после посещения мною разных стран станут яснее результаты нашей заграничной жизни и наблюдений, и тогда можно попытаться наметить некоторый смысл. Как-никак, а говорят, что всех русских беженцев разных национальностей за границей насчитывается будто бы до двух миллионов. Я не согласен с этой цифрой, но считать нас возможно до миллиона или хотя бы до полумиллиона. Не случайная же мы щепка в мировом океане?! Но подождем выводов...

Воротимся к описанию беженской жизни.... Вот выпустили меня с моей канцелярией военного архиерея. Нас, епископов, устраивали на русских Афонских монастырских подворьях, ютившихся в нижней части города, в так называемой «Галате»[282]. Я получил малюсенькую комнатенку в три шага длины и два ширины на Троицком подворье. И тут нас помещалось пять человек. На единственной койке спал я. Два других на полу между мною и стеною, четвертый у нас в ногах, а пятый уже за дверью в коридорчике. Но и так мы были рады! О, как

рады! Подумайте, живем без страха: не нападут большевики, не повезут ночью на расстрел, не посадят в «чрезвычайку».

Разве это не счастье для беженца? А тут еще и роскошное питание. В Крыму даже я, архиерей, не мог достаточно получать хлеба, чтобы наесться им. Сахар был заменен противным химическим сахарином, который я отказался употреблять. А тут еще и вообще вся жизнь начала замирать: не хватало электрической тяги для городских трамваев, угля для отопления и тому подобного. И вдруг вижу, что в «дикой» Турции, в огромном Константинополе исправно плавают пароходы, горит ярко электричество и... трамваи ходят. Я так от этого отвык, что мне искренне казалось: ну, вероятно, это уже последний день. Или — сижу в трамвае и боюсь: вот-вот он сейчас остановится среди улицы и не сможет дальше везти... Когда же он двигался спокойно дальше и не думал останавливаться, я удивлялся: как же так? Тут все в порядке. Разве еще может быть во всем мире строй и довольство, если в России ничего нет и все в хаосе?

То же и о пище. Купили мы белейшего хлеба, сколько хотели, селедку, чаю, сахару и еще ореховой халвы. И такими блаженными считали мы себя! Истинно, и цари не ели с таким наслаждением, как теперь мы. Мало-помалу рассосались куда-то и другие беженцы. Ушли в Бизерту моряки, уплыли на Лемнос казаки, а в Галлиполи — «цветные» дивизии, как называли добровольцев по различию цвета погонов и околышей[283]. И снова началась мирная жизнь. Человек, как ласточка после разорения старого гнезда, начинает опять лепить свою жизнь. Общую картину я нарисовал. Теперь мне о Турции нужно рассказать несколько отдельных эпизодов, запечатлевшихся в моей памяти и характерных для исторического момента.

Для общей организации беженской жизни, а также и для продолжения политической работы за границей

генерал Врангель создал вместо прежнего Совета министров «Русский совет» из представителей разных общественных кругов. Заместителем его самого был известный профессор Московского университета хирург Иван Павлович Алексинский. Он и потом долго еще верил в поражение и разложение большевиков в России, выпуская даже какой-то журнал или газету в этом смысле, а при встрече в Ницце в 1926 году, когда я уже отошел от армии и политики, он пытался убедить меня в своей правоте: вот-вот еще несколько месяцев, и «они» падут... С тех пор прошло 17 лет, и надежды его не сбылись. Блестящий хирург, сделавший на своей жизни до тридцати тысяч операций, из коих до шести тысяч аппендицитных, он был самым обыкновенным обывателем в политике и, думаю, не своим делом занялся тут. Да и вообще, как и на юге России, не оказалось за границей мудрых и прозорливых политиков, по-прежнему мы шли в хвосте истории, а не провидели ее будущего.

Эмиграции, как почти всякой эмиграции, пришлось доживать свою жизнь за границей, умирать на чужбине. Правда, бывали исключения, как, например, возвращение Бурбонов во Францию после двадцати пяти лет изгнания или победоносное движение большевиков, живших в Швейцарии. Но там были особые причины общенародного или общеполитического характера, а нам, беженцам, не на что было надеяться. За нами сзади не было народных масс, наоборот, они были враждебны нам, а впереди, у иностранцев, мы даже не имели друзей, оставалось ждать «случая», но это — плохая политика. Поэтому в эмиграции начала расти сразу «тяга домой». И некоторым группам казаков постепенно удалось кое-как пробраться назад, но большинству суждено было работать за границей да утешаться несбыточными мечтами.

Наш «Русский совет», в сущности, был мертворожденным детищем. От всех наших заседаний мне запомнилось лишь одно: протест против помощи голодавшей

России на Генуэзской конференции. Там, конечно, писалось, что поддержка питанием нашей Родины есть лишь помощь большевистскому хаосу и тому подобное. Но, разумеется, на нас в Генуе не обратили ни малейшего внимания, а комиссар Чичерин был там почетной персоной[284]. Белое движение для заграницы умерло. А скоро уничтожился и бесполезный «Русский совет». Вместо него образовался какой-то иной «центр», уже позабыл его имя, и туда уже не был приглашен представитель от Церкви.

По этому поводу у меня с Врангелем произошло резкое столкновение. Запишу его, потому что был затронут общий вопрос об отношениях гражданской и церковной властей.

Посетив его по какому-то делу в здании посольства, где он принимал посетителей, я открыто сказал ему по поводу неприглашения представителя Церкви следующее:

— Эх, ваше превосходительство! Когда Церковь нужна была вам в Крыму, вы звали нас. А теперь, когда мы стали ненадобны, вы обошлись без нас.

Он мгновенно вспылил, поднялся во весь свой рост и с раздражением ответил:

— Кто вам позволил так разговаривать со мной?!

И ушел, не простившись, в соседнюю комнату, сильно хлопнув дверью. Я почувствовал себя очень скверно и через полминуты ушел из посольства, размышляя над инцидентом. Винил я не его, а себя.

В самом деле, разве генерал о себе думал, когда принимал командование в Крыму? Не о нас ли всех? Не о Родине ли? Не ему ли мы обязаны были и самой эвакуацией, а может быть, и жизнью? Не ему ли мы, я и другой архиерей, советовали принимать тяжелый крест в день выборов его в вожди остатков Белого движения? Какое же тут могло быть место для упреков? Не должен ли был я постоянно хранить чувство благодарности, если б даже и случилась какая-нибудь неприятность? Конеч-

но. А кроме того, отношение Церкви ко всякой государственной власти должно всегда покоиться на почитании ее и на весьма осторожном отношении к ней.

Православие, в противоположность мирскому католицизму, не должно господствовать над государством. Наоборот, оно должно бережно хранить права светской власти. Этого требует и суть христианства, и учение Слова Божия о самобытности и Божественном происхождении светской власти. И простая мудрая деликатность: всякая власть ревнива к своим правам, и с этим нужно серьезно считаться, иначе легко можно порвать нити добрых взаимоотношений, в которых должны жить для общей пользы государство и Церковь.

В общем, Православная Церковь вела такую правильную линию. Если же когда-нибудь она соскальзывала с нее, то в первую очередь было худо для самой же Церкви — для веры, а потом — и для государства, которое тогда начинало опасаться вмешательства непрошеного гостя.

И вспоминалась мне печальнейшая история столкновения между царем Алексеем Михайловичем и Патриархом Никоном в XVII веке. Патриарх забрал слишком большую государственную власть и влияние над царем. Алексей Михайлович был, по давнему моему убеждению, совершенно прав, начав борьбу против бывшего «собинного друга» своего. История кончилась печально: низложением на Церковном Соборе Патриарха и подозрением к церковной власти вообще. А у сына Алексея Михайловича, Петра Великого, вылилось это недоверие в закрытие патриаршества, в учреждение коллегиального Синода, подчиненного царю. И на двести лет ослабли сердечные узы между государством и Церковью, поэтому даже революционное «отделение Церкви от государства» является не новостью, а продолжением и углублением давней надорванности этих взаимных отношений.

Я понял, что в случае с генералом Врангелем был неправ и по существу, и тактически. Дня через два я намеренно пошел к нему, прося содействия в отправке части духовенства в Болгарию и Сербию. Он вышел ко мне обычно любезным.

— Вы на меня не сердитесь? — спросил я. — Простите меня!

— Ну, что вы! — спокойно, но холодновато-сдержанно ответил он, приглашая меня жестом садиться.

Просьба моя была исполнена быстро. После у нас отношения совершенно восстановились. Но я, наученный горьким опытом, стал осторожней, и до самой его смерти у нас никогда уже не было ни малейших столкновений.

Да и вообще к человеку нужно быть деликатнее и осторожнее. Как легко иногда надломить самые дружеские отношения и как трудно (а иногда уже и невозможно) бывает восстановить их!

Обращаясь теперь к взаимоотношению нашей Церкви, а особенно митрополита Сергия, к советской безрелигиозной власти в России, приходишь в удивление и умиление от той деликатности, не говоря уже об официальной лояльности, с какой там относятся к ней. А этого за границей не понимают. Между тем, какая мудрость, любовь и даже красота таится и в этой деликатности, искренней лояльности и служении государству и ее власти!

А я с генералом Врангелем — поскользнулся. Теперь за границей... etc. Теперь за границей, вспоминая этот случай, стараюсь держаться правильной позиции, а то бывали прорехи не один раз. А виновен опять я.

Подобным образом в обращении к безрелигиозным отдельным людям или целым общественным группам и организациям нужно быть тоже очень терпимым, тактичным и кротким. И если еще что-нибудь можно сделать, то лишь этим путем, иначе повредишь и им, и себе,



Русская эмиграция в Сербии. Генерал П.Н. Врангель в кадетском корпусе

Палаточный лагерь у г. Мудрос (о. Лемнос)

и вере. Недавно мне пришлось услышать один хороший совет, чтобы я не допускал — даже по отношению к церковным отделившимся кругам — огорчительных слов.

Верно! Верно! Всегда помни не только о себе, но и о других. И лучше будет... А огорчения покрой своей любовью и попроси даже прощения. И будет чудо возобновления единства и взаимной любви.

Еще из жизни генерала Врангеля нужно вспомнить гибель его, специально им занимаемого, маленького парохода «Лукулл», где он жил по приезде в Константинополь. Эта «территория» в Босфорском заливе была как бы «независимой» и давала мираж «державности». Но вот однажды итальянский океанский пароходище, маневрируя в этом проливе, раздавил в скорлупу «Лукулл». Все спаслись, но будто помнится, что капитан корабля, по морской традиции, пошел с ним ко дну. Между спасенными вещами была и та святая старинная икона, которой был нами благословлен генерал Врангель на командование в Крыму. После я видел ее в здании посольства, куда вынужден был переехать на постоянное житье.

Еще вспоминается присутствие генералов на открытии русского Церковного собрания в Константинополе[285], но об этом событии, имевшем потом большие последствия, надо говорить сейчас особо.

Когда мы прибыли в Турцию, тотчас же поднялся вопрос о дальнейшей самостоятельной организации церковной жизни. Одним из главных защитников этого вопроса был я, еще не изживший своей энергии. Так же думали и другие архиереи. Лишь один митрополит Киевский Антоний, махнув рукой, сказал небрежно:

— Ну, какая тут самостоятельная организация? Раз мы оказались на территории другой Православной Церкви, то, по законам, должны ей и повиноваться.

Но все прочие думали иначе. Митрополит Антоний уступил, и притом довольно легко: очевидно, каноны не

очень удерживали его. И после я видел не раз, что хотя он хорошо знал их, но, когда ему хотелось, он руководился не ими, а собственным рассуждением.

Так воссоздался наш Крымский Синод. В нем были следующие члены: митрополит Антоний, митрополит Платон, архиепископ Феофан, <архиепископ Анастасий> и я. Все мы не только кончили академии, но и служили в них: первые трое были даже ректорами, Анастасий — помощником инспектора Московской академии, а я — преподавателем в Санкт-Петербургской академии.

Из нашей деятельности теперь я могу отметить три наиболее значительных факта.

Прежде всего, установление взаимоотношений с Греческой Патриархией, в область которой мы попали. Строго по канонам, греки могли бы потребовать от нас подчинения им и не разрешать самостоятельного управления. Но имя России, русских, так было велико и сильно, даже в лице нас, эмигрантов, что Патриархия пошла нам навстречу и написала довольно растяжный «томос» (указ), которым мы признавались как часть Русской Церкви и могли самоуправляться во внутренней своей жизни. Но вот тут опять сказалась их греческая психология: они не дали нам права производить разводы браков. Причина тому была совершенно простая: процедура разводов приносила довольно значительный доход, и греки не хотели передавать его нам, а потому оставили их за своей Патриархией.

Конечно, это было мелким шагом с их стороны. Уж если бы они хотели быть канонически принципиальными, так тогда нужно было им ограничить наши общие административные права как более важные, а не интересоваться какими-то жалкими сотнями или даже тысячами турецких лир за такую невозвышенную материю, как расторжение браков.

Тут уж я упомяну и об общем, довольно холодном отношении их даже к нам, архиереям. Мы учим и пропо-

ведуем, что вся Православная Церковь есть единое тело, единый духовный организм. Но когда мы оказались в пределах нашей «Матери» — Церкви Греческой, то с ее стороны нам не было оказано буквально никакого привета. Никто из их архиереев не посетил нас на кораблях; не дали нам после никакого приюта; не поинтересовались, чем мы живем и даже как питаемся; никто не спросил нас, что делается у «русской сестры» — Церкви на родине. И только лишь когда мы сами обратились к ним в Патриархию (в так называемый «Фанар»), они увидели нас, а потом ограничились официальными «отношениями» на бумаге.

Все огорчало нас. И однажды я в беседе с заместителем усопшего Патриарха, митрополитом Николаем, высказал ему горечь нашу:

— Вот мы повторяем в Символе веры: «Во едину Святую... Церковь», а где же это единение?

— А как же? — спокойно возразил мне митрополит Николай. — В вере, в Таинствах, в молитве.

Мне это понравилось. Значит, человек верует в духовное, сверхъестественное, благодатное общение и считает его первейшим делом.

— Да, это суть, — ответил я. — Но апостол Павел говорил еще: *общения и благотворения не забывайте, страннолюбия* держитесь (ср.: Евр. 13, 16, 2).

— А в чем же оно могло бы выразиться? — спросил он в недоумении.

— Да хотя бы пригласили нас, архиереев, в Патриархию посидеть, потом вместе напиться чаю. Мало ли чего можно придумать при желании и при любви.

Он смиренно промолчал.

А я подумал и сейчас думаю: действительно ослабела любовь между нами, Православными Церквами, настоящего сердечного единства не чувствуется. Живем — точно чужие. Это ненормально. И нужно всем Церквам серьезно задуматься над такой болезнью нашей. Кажет-

ся, проще всего нужно было бы устраивать нам Соборы, с приглашением других Церквей, потом иметь своих представителей при Патриархиях. Устраивать беседы по разным вопросам (богословским, школьным, инославным, общественным). Издавать бы единый печатный орган. Поминать друг друга в молитвах на открытых богослужениях при архиереях и даже во всех церквах приходских. Конечно, это все второстепенные внешние средства, а главное — в благодати Единого Святого Духа, обитающего в сердцах наших. Но все же не нужно пренебрегать другими путями. А потом нужно созвать следующий Вселенский Собор. Некоторые думают, будто их было семь, а больше не может. Но ясно, что это мертвая идея, Церковью же руководит Животворящий Дух Святой. Была такая недавно попытка — созвать Вселенский Собор на Афоне. Но она рушилась, потому что Русская Патриархия отказалась послать своих канонических представителей вместе с незаконными «живоцерковниками», которых тоже признает Греческая Патриархия и коих она приглашала на предполагавшийся Афонский Собор. За Русской Церковью отказался и покойный Сербский Патриарх Варнава. Так дело и расстроилось. Не на единстве и любви созданное, разъединением и кончилось. А одним из условий сохранения единства и любви является соблюдение церковных канонов, как запечатленных форм этого единства, как пути сохранения любви и истины. Но увы! После и архиереи, и патриархи перестали дорожить этими «узами любви», этими опорами пребывания в единстве. И потому стали разваливаться и последние остатки любовного общения.

Греческая Патриархия за эти годы революции в России сделала много таких фальшивых шагов, которые едва не привели к разрыву между ней и Русской Патриархией: признание «Живой церкви», наряду с истинной Церковью (Патриаршей), не отменено и доселе; оправдание откола православных епархий в Польше, Латвии,

Эстонии, Финляндии и даже в эмиграции (митрополита Евлогия Парижского) и участие в этих расколах и тому подобное. Совершенно справедливо писал митрополит Сергий, что Русская Церковь и русский народ начали терять веру в Греческую Патриархию как представительницу канонической правды.

Нередко мне приходили мысли, что история Константинопольской Патриархии, как первой среди других, подходила к концу. И совсем не оттого, что греков мало числом, а потому, что они ослабели в хранении канонической истины, стали приспособляться к ложным путям. И кто знает, не перейдет ли эта первенствующая роль от Царьграда к русской Москве, согласно древнему преданию нашему. Москва — третий Рим (Константинополь — второй, так он официально и именуется в церковных актах: «Нео Роми», «Новый Рим»). Во всяком случае, вне всякого сомнения, что у нас на Руси, особенно со времен управления митрополита Сергия, церковная жизнь поставлена хотя и на благоразумные, но строгие пути канонов. И это возвышает ее значение в глазах всего мира.

Если же прибавить к этому глубокое недоверие к грекам не только болгар, находящихся в расколе с ними, но и сербов (это я отлично знаю), а теперь и русских — то положение Греческой Церкви станет еще более слабым.

А если предположить, что эта мировая война кончится победой русских и изгнанием немцев с Балкан, славяне и греки будут обязаны им и союзникам нашим, тогда нетрудно будет понять огромное политическое значение Москвы, а обычно, как показывала вся история Церкви, с ростом государства растет и сила Церкви. Известно ведь, что и Константинопольская Церковь возвысилась лишь после и оттого, что Константин Великий перевел туда из Рима политический и государственный центр, а совсем не по каким-либо догматическим соображениям.

А если славяне с Россией остынут к Греции, то кто же с ней останется? Несколько миллионов греков, несколько сот тысяч сирийцев, сомнительные румыны — и всё? Нужно учитывать жизнь и ее историю. Но пока греки только и делали за последние 25 лет, что старались ухватить где-нибудь, что «плохо лежало»... Горько писать это, но такова правда, и ее не забыть России!..

Но воротимся к работам нашего Синода.

Вторым запечатлевшимся в моей памяти вопросом была попытка установления отношений уже не с православными, а инославными Церквами: католиками, в первую очередь, а также англиканами и прочими.

Нужно сказать, что католики оказались внешне гораздо более любезными, чем греки. Не говоря уже о том, что они оказывали приют детям. Их представитель, архиерей Дольче, папский легат на Ближнем Востоке, в сопровождении свиты сделал визиты русским архиереям. Я тогда был опасно болен (воспалением кишок), и они навестили меня в болгарской больнице. При этом привезли мне около пяти фунтов шоколада и бутылок 15–20 разных прекрасных вин. И вообще, жизнь поставила нас в более близкие отношения.

А так как в России мы жили обособленно друг от друга, и законы охраняли эту ограду между нами, то нам тут пришлось впервые жизненно, а не в теории, столкнуться с вопросом, как относиться к инославным.

Тем более что греки, без сношений с другими Церквами, вошли в довольно тесное общение с англичанами, чуть не признавая их вполне православными. Эта дружба началась давно-давно. Она нужна была обеим сторонам: греки нуждались в англичанах для освобождения от турецкого ига, а англичанам нужен был Константинополь и признание их иерархии, оторвавшейся от папы законного. И увы! Опять нужно сказать, что греки и тут встали не столько на догматико-каноническую позицию, сколько на политическо-практическую. Русская же Церковь

держалась очень осторожного отношения к английской Церкви. Было несколько попыток к выяснению вопроса об объединении, но все они кончались бесплодно. И вот в Синоде поднялся этот вопрос: как нам быть дальше? А наши беженцы стали разъезжаться из Турции и во Францию, и в Германию, и в Сербию. Митрополиту Платону, как уже знавшему инославную Америку в течение семилетнего его архиерейства там, предложено было изготовить доклад к следующему заседанию.

Он приготовил. Митрополит Антоний, как председатель по старшинству, сначала пропустил на рассмотрение какие-то другие вопросы. Потом на повестке был доклад митрополита Платона.

— Что там дальше? — спросил митрополит Антоний секретаря Синода Т.А. Аметистова.

— Вопрос об отношении к инославным.

— Ну, чего же тут рассуждать? — пренебрежительно, с видом знатока сказал он. — А что там дальше?

Секретарь хотел докладывать дальше, но мы все были ошеломлены таким оборотом дела. Ведь он же сам в прошлом заседании согласился на рассмотрение этого вопроса! Иначе он не был бы и поставлен на повестку. Сконфуженный митрополит Платон мучительно молчал, Анастасий и Феофан — тоже.

— Владыка, — обратился я к митрополиту Антонию, — прошу слова.

— О чем?

— Да уж я знаю о чем: о повестке нынешнего заседания!

— Ну, что? — раздраженно спрашивал он.

— Скажите, пожалуйста, зачем вы как председатель созываете нас, членов Синода, на собрания?

— Как зачем? Что за вопрос? — все больше волновался он.

— Если вы хотите проводить лишь свои воззрения, тогда уж проще поступать так, как иногда, говорят, дела-

ли обер-прокуроры с прежним Синодом: они рассылали для подписи членам его заготовленные решения.

— Как вы смеете так говорить! — потеряв терпение, закричал митрополит Антоний.

Но я давно перестал бояться в душе своей.

— Да, смею, осмелился! Я почти двадцать лет собирался сказать вам об этом, да все боялся...

— Вы-то боялись?

— Да, боялся!

— Да вы хоть Патриарха не побоитесь!

— Может быть, и не побоюсь. Но сейчас идет дело о Синоде. Мы все на прошлом собрании постановили обсудить этот вопрос. Поручили митрополиту заготовить доклад. Он это сделал. Мы все, кроме вас, ждем с интересом заслушания его. Если вам все ясно, то не ясно нам. Вы же не удостаиваете даже сказать митрополиту...

Я хотел продолжать свою речь дальше. Но митрополит Антоний с гневом закрыл собрание Синода. А меня взял под руку, отвел в сторону и почти с шипеньем сказал мне вполголоса:

— Вы знаете, что сделали бы вам за такой скандал старые архиереи?

— Не знаю. Но только тогда позвольте и мне сказать вам. Вы, как никто другой, являетесь противником католицизма и папизма. Но я еще не знаю иного архиерея, который бы был в душе таким самоуверенным папистом, как вы!

И мы разошлись. Но заседание не закончилось, и поставленный вопрос так и не обсуждался после. Сам митрополит Антоний иногда говорил, что и язычники, и магометане благочестивее католических и протестантских христиан, потому что у тех будто бы воззрения более аскетичны, чем у этих сект, желающих оправдаться без подвигов.

Увы! После, всего через шесть лет, тот же митрополит Антоний принимал участие в торжественных за-

седаниях и стоял за службами в англиканских храмах в Лондоне по случаю 1600-летия Первого Вселенского Собора[286], участвовал в торжественном банкете у Сербского Патриарха Димитрия по случаю чествования католического архиерея, приехавшего с визитом в Карловцы. Но, правда, в душе оставался непримиримым противником католицизма.

Так этот вопрос и остался невыясненным, и каждый из нас решал его потом на свой риск. Третье дело, уже одобренное Синодом, был вопрос о подготовке Всезаграничного Церковного Собора. Эта идея больше всех принадлежала мне. Я же был назначен и председателем подготовительной комиссии. С несколькими сотрудниками мы разработали обширный план и напечатали его в особой брошюре, которую разослали по всем местам русского беженства. А Синод распорядился, чтобы в главных центрах рассеяния нашего были устроены предварительные собрания с выработкой предложений. В Константинополе такое собрание было под моим председательством в течение почти двух недель и прошло прекрасно: одушевленно, единодушно, мирно.

Это было и остается одним из лучших моих воспоминаний о церковной жизни за границей. Между прочим, сначала устроено было торжественное богослужение, а потом и собрание, где присутствовал наш главнокомандующий. Ему было устроено блестящее торжество с речами и рукоплесканиями.

— Вот если бы все так поддерживали! — сказал он мне после наедине.

Увы! Это было для него последним торжеством.

Не буду описывать подробности нашего собрания, о нем осталась где-нибудь изданная нами брошюра.

От греков был назначен представителем викарный епископ Фотий. Нам показалось это обидным, и мы (это было неделикатно и с нашей стороны) попросили прислать более высокое лицо. Патриархия заменила его

митрополитом. Какая же судьба! После сего викарный епископ Фотий был избран в Патриарха Константинопольского (под именем Фотия II). Сначала, еще молодым, его место занял теперешний Патриарх Вениамин, глубокий старец. Между прочим, некоторые политические, правые, члены нашего собрания, хотели воспользоваться им для проведения политических резолюций о монархии и тому подобным. Но мною эти попытки были оборваны сразу, и тогда все пошло мирно и церковно. Не то произойдет дальше, на общем Соборе.

Митрополит Антоний в это время уже переехал в Югославию, в город Карловцы, к Патриарху Сербскому Димитрию. А архиепископ Анастасий был отправлен с ревизионной целью в Палестину. Митрополит Платон, вероятно, уехал в Болгарию. По славянским странам, особенно в Сербию, разъехались и другие архиереи. Нас за границей было около 15–17 человек.

Продолжение этого дела будет в ноябре 1921 года в Сремских Карловцах; там Синод, с разрешения Сербской Церкви, назначил быть заграничному Собору, который и прозван был «Карловацким». Но это уж вопрос жизни эмиграции в Сербии, до коей скоро дойдет речь.

А пока прошу читателя проехать со мною в Галлиполи, на остров Лемнос и в греческие Салоники. Как епископ армии, я мог и хотел посетить места скопления наших войск.

Главная масса их, добровольцев, была в Галлиполи довольно хорошо устроена в палатках с воинской дисциплиной. Как водится, устроен был парад. Я говорил ободряющие какие-то речи. Ну о чем я мог тогда говорить? Теперь и сам стыжусь вспоминать... Да и не помню... Мы все еще во что-то верили... А тут случилось Кронштадтское восстание против большевиков. И у нас уже поспешили напечатать в газетах: «Лед тронулся»... Не слишком ли рано мы увидели весну? Это была запоздалая зима старого... Беженцев между тремя голыми стенами я

уже не видел: как-то устроились. Французы доставляли необходимое. Кажется, за все это они потом присвоили себе флот, ушедший в Бизерту. Вспоминается одна комическая подробность. Нашим войскам предоставили для пользования большие котлы с двойными днищами. Наши повара-солдаты никак не могли варить в них пищу, сколько ни разжигали дров. Оказалось, нужно было между двумя днами налить не то воды, не то масла, а они не знали этого. Ну потом кто-то научил их. Греки, кроме архиерея, и тут относились холодновато.

На острове Лемносе поселили казаков. Чтобы они не скучали, французский генерал дал им работу: устраивать шоссе. Вероятно, и доселе пользуются казачьими трудами. На этом вот острове мне пришлось посетить дом и семью сельского священника. Какие были смиренные и батюшка, и матушка. На редкость! Посетил и епископа, но он оказался малогостеприимным.

С Лемноса отправился в Грецию, в город Салоники. Город нес еще следы разрушения от недавнего землетрясения. Поклонился я останкам мученика святого Димитрия (под спудом)[287], а потом пошел к архиерею. Кажется, собор, очень красивый, был посвящен имени знаменитого богослова и Солунского святителя Григория Паламы[288]. Теперешний архиерей, видимо образованный, отнесся тоже сухо. Что было, то было...

От него я поехал в лагерь военнопленных. Ими были наши белые... За проволочными решетками, в военных бараках, оставшихся от союзников, уныло стояли наши бывшие герои. Меня внутрь даже не пропустили, а некоторые из них, помню скромного генерала Писарева, подошли к решетке. И я через нее им опять о чем-то говорил... Утешал ли? Обличал ли? Не помню...

Нигде я не видел такого обращения с нашими войсками, как в этих греческих Салониках — за проволокой. Кажется, после эти войска были перевезены в Сербию, где уже жили без решеток.



Граф А.И. Воронцов-Дашков с супругой, генерал П.Н. Врангель, его секретарь Н.М. Котляровский и подъесаул Н.Д. Ляхов. Константинополь. Июль 1921 г.

Генерал П.Н. Врангель в Панчевском госпитале (Сербия). Март 1922 г.

Оттуда я снова воротился в Константинополь. Тут осталось мне вспомнить еще раз о католиках. Я заболел. Русские доктора лечили меня от малярии, не помогло. Перевезли в болгарскую больницу, там тоже лечили от малярии, напрасно. Перевезли во французский госпиталь имени генерала д'Эспере. И тут лечили от малярии. Доктор нашел особый тип ее.

Оказалось же в конце концов у меня воспаление кишок. Едва не залечили. Но организм вынес. Между прочим, католики предлагали повозить меня по Европе и показать мне свои монастыри. Там навестил меня митрополит Антоний. Он, по-видимому, забыл обиду и просил не ехать к католикам.

— Не дай Бог, вы там где-нибудь умрете, а они соврут и раззвонят, что православный архиерей соединился с Римом.

Я не стал спорить и отказался от готовившейся поездки. Сказать правду, католики — большие любители обращать чужих в свою веру. И тот же архиерей Дольче во время моих визитов иногда в полушутку говорил мне, указывая на портрет папы, висевший за его креслом:

— Пойдем!

— Никогда! — отвечал я ему.

А однажды он сказал мне любезно:

— Я вас люблю.

— Почему? — спрашиваю его.

— Потому, что вы имеете веру!

Меня это не удивило. Конечно, это не значит, что католический архиерей не имел веры или был безбожником. Но, вероятно, наша русская непосредственность веры и сердечность ее показались западному уму, источенному сомнениями и рационализмом, неожиданным и отрадным явлением.

— Я познакомился с вашими архиереями, — продолжал он, — и написал папе, что все русские архиереи очень благочестивы!

С французского языка выходил смешной каламбур: «очень благочестиво» по-французски tres pieux — «тре пье», а мы, по бедности своей и выброшенности за границу, теперь были действительно как бы «тряпьем».

Должен сказать, что этот монсеньор Дольче относился ко мне очень дружественно и мило. По годам он годился мне в отцы. Понюхивая табачок и без особой чистоплотности смахивая остатки его на грудь своего подрясника, он почти все время улыбался мне. Конечно, ни в какой переход мой в католичество [он] не верил, а просто был по натуре своей симпатичным итальянцем. Его помощник архимандрит, очень красивый брюнет, с выхоленной бородкой, тоже был любезен, но более из-за дипломатического такта, а не по сердцу. Однако и ему нужно отдать благодарность. Еще я познакомился с двумя монахами иезуитского ордена: один происходил из известного русского польского рода графов Т., другой, француз с седой бородой, отец Б.

Первый занимался со мною по французскому языку, без которого на Востоке невозможно обходиться иностранцу: и греки, и турки более или менее владеют им. Граф Т. был искренним убежденным католикомпапистом. Он без колебаний верил, что спасти душу без веры в папу решительно невозможно. И когда я на французском уроке выразился критически по этому вопросу (в чем я уверен и сейчас), то он крайне расстроился и простился со мною раздражительно. Нам, православным, очень трудно понять абсолютную приверженность католиков к догмату о папе. А другой иезуит, француз, был ровен, симпатичен вообще. Французы-католики много легче других исповедников папизма: поляков, баварцев, даже австрийцев и бельгийцев.

А после моей болезни мне пришлось познакомиться с целым католическим монастырем. По просьбе одного знакомого мне лица, через того же графа Т., католики предоставили мне в Кадике (Халкидоне) «епископскую

комнату». Но в ней не было ничего особенного, кроме спальной кровати. Она была под балдахином, и на ней лежало, вероятно, три огромных перины, в которых можно было утонуть. И зачем это? Не думаю, чтобы так спали святые апостолы рыбаки... Впрочем, и мы, русские архиереи, жили до революции в покоях не хуже губернаторских. Но, как беженцу, мне эта гора перин и подушек показалась неприличной для епископа.

В этом монастыре жили монахи ордена ассумпционистов (в честь Успения Божией Матери) — отделения общего ордена августинцев в память блаженного Августина Карфагенского[289]. Их делом было обучение в школах, потому другое их название — «братья христианских школ». Их жило тут до 25 человек. Все они где-то учили, а рядом была школа, и еще куда-то ходили они. Личная жизнь их проходила в келиях, куда не допускался посторонний глаз. А общая, показная сторона была вся подчинена правилам дисциплины: в ночное время они вставали, молились, учили, кушали, уходили в свои келии, спали. Даже получасовой отдых после обеда и ужина был для каждого обязателен. Для этого они уходили в читальню, где могли разговаривать между собою дважды в день, а потом (кажется, даже по звонку) быстро исчезали по келиям. За обедом один читал какие-то религиозные рассуждения на французском языке. Большинство из них были французы, другие понимали этот язык; в русских монастырях читали «Жития святых», это проще и легче для обеда. В большие праздники, например, в честь Фомы Аквинского[290], подавалось больше кушаний, и даже в заключение раздавались папиросы для курения и все должны были дымить. Было смешно. Питание у них было прекрасное, разнообразное, но не обильное. На столе стояло кислое вино. Во всем монастыре не было ни одного толстого инока. И вообще, я обязан сказать, что, прожив у них больше месяца, не увидел ничего дурного или смущающего. Это были церковные работники.

В огромной двухсветной зале у них была большая библиотека до десяти тысяч томов. Все это было неплохо. Но вот что всегда удивляло меня: от них и вообще от всего монастырского уклада их жизни веяло холодом. Говорили ли мы — не было интересно: все — от ума, а сердца не слышно. Стоял ли я у них на богослужении в огромном храме — все казалось мертвым. Слушал ли я проповедь — она была похожа на школьный урок. Скучно... Скучно...

Ко мне они были любезны, но мне казалось это простой благовоспитанностью и расчетом. Но на русских они сами смотрели, по-видимому, иначе. Однажды кто-то из них сказал мне:

— Нам совершенно не интересны ни сербы, ни болгары (а у них было человек пять послушников из болгар), нам важны вы, русские.

— Почему? — спрашиваю.

— Потому, что у вас сердечная вера.

Опять повторились слова Дольче о вере. Да, у них больше дисциплины, а у нас — сердца. Припоминаю, например, такой случай. В храме нужно было совершить выход из алтаря. Служитель должен был идти впереди со свечой. Но он забыл вовремя зажечь ее, а между тем священнослужитель уже торжественно шествовал за ним. Ну, что бы было у нас, русских, в подобном случае? Разумеется, церковник бросился бы исправить свою оплошность и зажечь свечу, а батюшка подождал бы эти десять-пятнадцать секунд. Но у них иначе: остановиться было уже нельзя, так как это нарушило бы дисциплину и чин, и потому служитель пронес свечу незажженной. Маленький случай, но характерен для католицизма.

Совсем другое впечатление производила на меня служба у православных греков. В том же Халкидоне у них был огромный собор в честь Святой Троицы. Языка греческого я почти не понимал (так, как и латинского у католиков, хотя учили мы их по десяти лет в духовных школах), но совершенно иной дух ощущался в храме.

Это не оттого, что я был заранее не расположен к католикам, наоборот, я даже старался искать у них тепло веры и жизни и не находил, к моему сожалению. А тут, у греков, помимо моей воли и рассуждениям, от всего шла именно радующая теплота, я скажу — благодать Божия.

Познакомился я и с настоятелем собора архимандритом Алексием. Это был старец очень высокого роста, с длинной седой бородой, строгим серьезным лицом, но при этом совершенно простой и искренний. Тип святого Василия Великого. Он сразу высказал удивление и огорчение от имени греков, видевших, что православный архиерей живет у врагов Православия — католиков. Я объяснил ему, что мне, после опасной перенесенной болезни кишок, нужна особенно нежная диета, и католики предоставили ее мне. А вот греки не проявили ни к одному из архиереев внимания и никого бы не устроили.

Он не мог спорить, но все же оставался при своем убеждении, что я совершаю измену Православию.

— А как же вы, греки, дружите с англиканами, хотя они — протестанты, и дальше по вере от нас, православных?

— О-о! — с радостным лицом возразил он, — англикане совсем иное дело, они наши крепкие друзья.

Напрасно было спорить о различии во многих пунктах веры и духовной жизни между англичанами и нами: у греков давно утвердилась взаимная симпатия с ними. Я и не спорил. Но от этого высокого архимандрита я вынес, несмотря на его строгость, прекрасное впечатление как от столпа Православия, молитвенника и духовного подвижника. Отрадное впечатление вынес я от веры и молитвы мирян: сердечно молятся (дай Бог и нам всем так молиться). И уезжая из Константинополя, я увез несомненное впечатление: греки, как народ, твердо хранят святую православную веру, но от высших их представителей мне хотелось бы видеть больше любви и сердечности, однако и они держатся за Православие без



Греция. *Фото начала XX в.*

колебания. У них почти нет переходов в католицизм или в секты. Слава Богу! А это — самое главное.

Из русских, как я уже говорил, католики уловили очень немного жертв. Между прочим, в этом монастыре я нашел двух молодых людей, соблазненных ими: один, М-в, был сыном правого члена Думы от Саратова; другой, Л-в, был увлекающимся сентиментальным юношей. Оба они старались оправдать себя передо мною, но это им не удавалось, а я не настаивал. После М-в ушел от католиков в масоны, но, кажется, разочаровался и ими, а Л-в вел переписку со мной из Бельгии, тоже разочарованный. Конца их не знаю.

Еще нужно вспомнить мысли самих католиков о прозелитизме у русских (среди других народов). Для упражнения во французском языке граф-иезуит, между прочим, принес мне календарь-ежегодник, страниц до 700, издаваемый в Париже под редакцией ученого архиерея Бодрийяра. Там, среди огромного материала, я встретил много интересного: что католики смотрели на нас, православных, как на раскольников, что на всех отступников от католицизма наложена соборами анафема. Кто не признает, что апостол Петр был князь апостолов, а не первый среди равных, тому анафема! Кто не верит, что папа — наместник Христа на земле — анафема! Кто не признает непогрешимости его — анафема! И так далее.

Когда я показал эти определения отцу иезуиту Т., он даже смутился. Видимо, и сам не знал всех деталей календаря или забыл о них.

— Ну, скажите: какое же тут может быть единение, если мы все под вашей анафемой!

Ему трудно было оправдаться.

Но зато в том же календаре признавалось, что по строгости аскетической жизни православные выше католиков. Но тут же бросается нам упрек, что хвалиться этим — фарисейство.

Сами же они, действительно, большие виртуозы в изобретении всякого рода компромиссов. Например, путешествующие перед затруднением: можно ли есть мясо, когда на пароходах не подают иной пищи? По-православному, не обратили [бы] особого внимания на эту мелочь. Ну, уж если согрешил этим, то покайся на исповеди: не хранил-де постов. Но у католиков все должно быть дисциплинировано, аргументированно, разрешено официально, чтобы совесть уже не мучила. И вот вопрос отправляется на обсуждение в какой-то отдел папской консистории в Риме. Оттуда дается ответ, приблизительно такой: «Хотя посты надлежало бы хранить, по крайней мере монахам и монахиням, но принимая во внимание то и то... дозволяется при путешествии есть и мясо». И совесть католиков уже теперь спокойна...

Интересны сведения о пропаганде католицизма. Всего католиков по миру официально что-то около 350 миллионов, больше, чем иных исповеданий. Но их беспокоит более прогрессивный рост протестантов, которых теперь уже тоже около 300 миллионов. Что же касается православных славян, в частности русских, то они не отличаются усердием в деле обращения других в свою веру. Но зато, говорится в календаре, у русских есть два опасных свойства: первое то, что они умеют обращать в свою веру народы там, где ступала их нога, без особой миссионерской пропаганды, а влиянием духа своего; второе же то, что их бабы роятся как пчелы, и Православие множится быстро через естественный прирост.

Понятно поэтому, что католики ревниво борются против всякого расширения русских территорий: будь это при царях или при советской власти. Об этом мы еще раз услышим из книги одного бывшего итальянского министра, напечатанной в Америке.

Вспоминая все это, я могу сказать, что католики суть христиане, верные папизму, но довольно холодные,

тепла от них я не видел. После, во Франции, история подтвердит это мое впечатление еще больше.

В заключение поделюсь впечатлением от посещения «Айя-Софии», этого чудного памятника византийского церковного творчества, теперь мусульманской мечети. Не буду говорить о величии, роскоши, красоте, свете этого храма. Но вот что остановило мое внимание при входе в самый храм. У задней стены его, на циновке, по мусульманскому обычаю, без обуви, сидел на корточках какой-то турок и, медленно раскачиваясь телом, молился, закрыв очи и не обращая внимания ни малейшего на любопытствующих посетителей храма. И вдруг мне пришла мысль: почему Господь позволил отнять такую святыню от православных и отдать ее «нехристям»?

Неужели греки духовно ослабели за пятнадцать веков христианства настолько, что им нужна была катастрофа для дальнейшего сохранения Православия? Вот этот турок сидит, качается и молится по-своему, а ведь, пожалуй, сейчас во всем великом городе не найдешь грека, так смиренно молящегося где-нибудь в храме. Все они заняты «делами», а о Боге вспоминают лишь по праздникам... А о русских беженцах и говорить не стоит! Даже немыслимо представить кого-либо из нас, архиереев ли, генералов ли, солдат, казаков, интеллигентов, вот так публично и сосредоточенно молящихся. Не терпим ли мы, и греки, и русские, наказания Божия за то, что продаем свое первородство христианской истины за чечевичную похлебку материальной привязанности, как и прочие, неверующие? Христианство прекрасно и высоко, но не плохими ли мы стали христианами в мире?

И вспоминается мне, как и в России свои родные братья — большевики — оскверняли наши православные святыни: закрывали храмы, обращали их в клубы, иногда разрушали, как великолепный московский собор Христа Спасителя, вскрывали мощи, свозили их в музеи, ставили наряду с ними мумии и окаменевших крыс.

За что? Для чего? Заслужили, видно, это мы. А может быть, через эти катастрофы и кощунства Господь хочет возвратить и нас, и самих безбожников к вере? Ведь допустил же Отец, чтобы евреи распяли Его Сына, а потом поклонились Ему.

Не знаю судеб Божиих. Но перед глазами налицо очевидный факт: государство греческое пало, «Айя-София» в плену у иноверных, но вера у греков тверда. И это вот уже без десяти годов 500 лет, а если считать с первых нашествий магометан, то будет уже почти втрое больше. Но греки живут, а туречество разваливается. Что-то будет и с нашей Русью дальше... Еще не ясно, не ясно...

Но поедем с читателем дальше по Ближнему Востоку — в Болгарию.

Для «делания белой политики» мы, бывшие члены Русского совета, должны были разъехаться по разным странам. Мне и одному инженеру, симпатичному интеллигентному семьянину, назначена была Болгария. Туда я и отправился. А перед этим посетил Греческого Патриарха Мелетия (до этого жившего в Афинах) и спросил его: «Что я мог бы передать болгарскому Синоду от Греческой Патриархии по поводу шестидесятилетней распри между ними?» С шестидесятых годов эти две нации разорвали церковное общение, а причины к тому были национально-политические. В частности, болгары посягали на владение Константинополем и имели своего болгарского экзарха там. В настоящее время это место было вакантным. Греки осудили болгар и порвали с ними. Но Русская Церковь не признала этого акта и продолжала иметь общение и с болгарами, и с греками. Патриарх Мелетий в мирном тоне сообщил мне, что и Греческая Церковь желает мира, при этом он указал минимум своих условий.

Приехав в столицу Болгарии, в город Софию, я на заседании их Синода сообщил о своей беседе с Патриархом. Архиереи выслушали меня, поблагодарили, и тем все кончилось.

Что сказать вообще об этой стране? Внешне будто все близко и похоже на Россию, включительно до военной формы. Но массы народные оставили во мне впечатление довольно диких племен. Достаточно, например, послушать их ожесточенные споры в вагонах на политические темы: Боже, какой это кошмарный кавардак! Тогда у них было целых 18 партий на 7 миллионов народа. И каждый болгарин непременно орал, доказывая свое преимущество перед другими семнадцатью.

В вагоне стоял шум, как в пьяном кабаке.

Европейская конституция туго переваривалась в болгарской, недавно еще рабской, голове, но они не хотели отставать от культурных стран в своей политической кухне. Главной партией тогда была земледельческая, социалистическая. Не знаю уж, в каком именно виде социализма. Во главе ее стоял бывший сельский учитель Стамболийский[291]. Он отрицательно смотрел на белых, живших в Болгарии, и одно время грозило даже военное столкновение между ними. Но потом Стамболийский был убит, и совершился один из многочисленных партийных переворотов. Мне казалось, что болгарам это даже нравилось, как особый вид политической игры: подпольные организации, заговоры, покушения, убийства, уличные демонстрации, вооруженная борьба, уличная стрельба, свержение министерств, победа партии № 2, потом опять сначала.

Неспокойный и ненадежный народ. Нерадостно было жить у них. Царь Борис — загадочный и хитрый человек[292]. Как немец по происхождению, он, конечно, тянулся к Германии и был противником Советской России, но едва ли он был и другом царского режима. Дворец его был в центре города, но обнесен высокой стеной, точно это был не отец своего народа (да и какой же он был родственник славянам?), а завоеватель, постоянно боявшийся своих подданных.



София. 1920-е гг.

Была ли любовь к России у народных масс? Откровенно скажу: не чувствовал я ее ни в чем. Буквально не могу припомнить ни одного отрадного факта в этом смысле. Единственным исключением, пожалуй, можно назвать митрополита Софийского Стефана. В первую войну с немцами, когда болгары оказались на стороне их, он убежал в Швейцарию, не желая участвовать в борьбе против России, освободительницы от турок. Есть основания предполагать, что и в эту войну он не на стороне оккупантов немцев, почему и подвергается каким-то притеснениям.

Но вообще болгарский народ неуравновешенный и не неожиданно, что он уже дважды стоял против России на стороне немцев. Пусть это делается не вполне добровольно, под угрозой насилия, но ведь и сербы были в подобном же положении, однако же сохранили верность «Майке-Руссии».

Однажды, в 1942 году, в городе Монреале, в Канаде, мне пришлось встретиться с видным и опытным болгарским политическим деятелем Костой (Константином) Тодоровым. Он старался оправдывать болгарский народ, противопоставляя ему царя Бориса и прогитлеровскую клику его. Будто бы десятки тысяч верных России болгар томятся в концентрационных лагерях, многие за это даже убиты и так далее. Но я не особенно доверял этому, что и высказал. Бывший тут собеседник, болгарский евангелический проповедник К., скорее, согласился со мной, чем со своим соотечественником. Кажется мне, что болгарский народ нуждается не столько в раздельной конституции, сколько еще в сильном контроле над ним.

Впрочем, не забудем и того, что Болгария, вопреки фактическому господству в ней всесильных там немцев, доселе не объявила войны России, как это сделали католические страны Венгрия и Словакия и православная Румыния. Очевидно, царь Борис боится восстания свое-

го народа, если не может сделать того, что, несомненно, хотел бы, как немец. А может быть, и болгарское правительство не верило в победу Гитлера в борьбе против России, Англии, Америки и других союзников? Вероятно, обе причины сливаются воедино. Недаром же в Крыму хвалился мне болгарский офицер: «Мы — реальные политики»... Больше мне и сказать нечего о Болгарии.

Несравненно лучшее впечатление произвела на меня Югославия, точнее, часть ее — Сербия и сербы, потому что словенцев и хорватов я мало наблюдал.

Сербы — народ геройский и прямой. После родной России и Карпатской Руси я любил и люблю больше всех других народов Сербию. Народ честный, трудолюбивый, терпеливый, выносливый, мужественный. Россию они любили искренно и сердечно. Я говорю это прежде всего о народных массах. Но и духовенство — особенно сельское, не тронутое Европой и политическим своим величием, прекрасно относилось к нам.

Потому и в пору беженства нигде не оказали нам столько приюта, как в Сербии. Главная масса Белой армии перекочевала сначала туда. Устроены были разные школы для молодежи и детей. Архиереям предоставлены роскошные, по беженскому масштабу, условия жизни в богатых монастырях. Многим знатным выходцам и, в частности, архиереям, выдавалась ежемесячная субсидия (архиереям — по 500 динар), поддерживали наших писателей. Дали и заработать военным. Профессоров приняли в высшие учебные заведения. Молодежь со средним образованием принимали в университеты. Дали права торговли желающим. Для руководства русскими организациями создана была особая «Державная комиссия» с русскими чиновниками в ней.

Патриархия в Сремских Карловцах приютила митрополита Антония с Синодом и канцелярией. Разрешила управлять русскими церквами по всей стране, сама не вмешивалась в наши дела. И, наконец, содействовала

устройству нашего «Всезаграничного Церковного Собора» в Карловцах осенью 1921 года.

И все это делалось не потому, что мы были белые, а просто потому, что мы русские. Правда, главные руководители русской эмиграции оказались там из крайне правого лагеря, но это уже свойство антисоветской политической и военной психологии белых, а не давление сербов и даже их правительства. Конечно, король Александр[293] не сочувствовал коммунизму, но и не боролся с Советским Союзом, а лишь долго воздерживался от признания его. Почему? Слишком многим обязана была Сербия царскому правительству в прошлом, в освобождении от турок, а особенно защитой ее от немцев после известного убийства в Сараеве австрийского престолонаследника Фердинанда.

В сущности, Россия положила себя на жертвенник почти прежде всего ради сербов. И царь Николай II искренне был готов всецело защищать их. Поэтому не случайно, что в одном из храмов Южной Сербии бывший русский император изображен в виде мученика, со святым ореолом во главе его.

Конечно, связывала оба правительственных режима и одна форма правления — монархическая. Только в Сербии она была несравненно более демократическая. Тут всякий серб мог смело протягивать руку своему королю, любовно называя его на «ты». Связывало даже и родство правящих домов. Сестра короля Елена была замужем за одним из сыновей великого князя Константина Константиновича. Сам Александр получил воспитание в русской школе.

Многие сербы учились в наших академиях. Будущий Патриарх Варнава (уже умерший) был лишь курсом старше меня в Санкт-Петербургской духовной академии. Все это связывало оба народа.

Но особенно близкими считали нас, русских, в народных массах. Оба народа — глубоко демократичны.

В храм сербы ходили редко: на Пасху («Ускрс»), на Рождество («Божие») да на свою «славу» (это — ежегодное воспоминание дня, когда их предки принимали христианство тысячу лет назад). Но они дорожат своим Православием крепче, чем болгары, и не слабее греков, своеобразно. Вот такова общая характеристика этого славного народа.

А теперь мне нужно рассказать о главном событии эмигрантской жизни, случившемся в Сербии, на Карловацком Церковном Соборе 1921 года; он имел большое значение не только для судеб эмиграции за границей, но даже и для жизни Церкви в Советском Союзе. И доселе влияние этого акта все еще продолжается как в Европе, так и в других странах: Америке, Азии — по всей эмиграции.

Я напишу здесь о его общественно-церковном значении, а о чисто церковной стороне можно узнать из протоколов этого Собора, неугодное большинству скрывалось от общественного взора и будущей истории. Цель Собора была церковная. Но политические деятели эмиграции превратили его в партийный съезд. Случилось это так.

Правые группы по всей Европе, руководимые центром из Германии, где работали такие крайние люди, как члены Думы Марков-второй, Крупенский[294] и другие, привели на Собор своих партийцев. Впрочем, это и не трудно было, так как эмиграция вообще была правая. А левые или даже умеренные группы, как кадеты, не интересовались церковными делами вообще или же не надеялись провести своих кандидатов. И таким образом большинство из мирян оказались из лагеря правых или так называемых «черносотенцев». Кроме названных лиц, можно упомянуть следующие имена: Трепов, бывший премьер-министр[295]; граф Апраксин, бывший Таврический губернатор, а потом член Московского Собора; профессор Локоть[296]; генерал Батюшин (из жандармов) и другие.

Архиереи сначала были умеренными, но под давлением большинства повернули потом в их сторону. А такой вождь, как митрополит Антоний, и сам был единодушен с ними.

Духовенство среднее было в большинстве весьма благоразумно. Учитывая это, я еще на константинопольском собрании провел интересное, по моему мнению, предложение: выделить духовенство в особую группу. По наказу Московского Церковного Собора, Собор распадался в своей деятельности на два момента: сначала вопросы решались общим голосованием епископов, духовенства и мирян. А потом всякое решение проходило еще через «Совещание епископов» и, в случае согласия их, вступало уже в силу.

Таким образом, среднее духовенство выбрасывалось в среду мирян, между тем, по догматическому и каноническому смыслу оно, наоборот, является сотрудниками и руками архиереев и потому ему надлежало бы быть, скорее, с ними вместе. Но, помимо этого, история собрания в Константинополе показала, что священники в общем были более церковны и благоразумны, чем мирские люди, нередко запутанные в политические страсти. То же самое оказалось и в Карловцах.

Ввиду всего этого, чтобы смягчить удар правых политиканов на Соборе, мы в Константинополе и провели такой порядок дела: сначала голосуют все вместе, но потом всякое решение поступает на обсуждение духовенства и уже с его мнением представляется на окончательное решение «Совещания епископов». Такой проект на заседании Архиерейского Синода в Карловцах был вполне одобрен всеми епископами, включая и митрополита Антония, и передан на Собор.

Но когда он был предложен там, то против него поднялись правые делегаты. Начал критику граф Апраксин. Он стал в позицию защитника Московского Собора, как ни в чем не подлежащего дополнениям или изменениям.



Участники Всезаграничного Карловацкого Собора в Сербии. 1921 г.

Председатель Государственной думы М.В. Родзянко

Между тем, самим Собором этим было постановлено, что епархиальные собрания могут вносить новые предложения на обсуждение будущего Собора, да и по самому существу дела могли всегда возникать новые вопросы и дополнения.

И, конечно, правые понимали это, и один из их партии, Н.Т., даже дерзнул заикнуться о резонности такого проекта. Но на него свои зацыкали так, что он, не успев еще разогнуть своей спины по окончании речи, трусливо сел. Тут я уже ясно увидел, какое организованное насилие творят правые не только над своими членами, но и над своим Собором.

Но, конечно, не по каноническим соображениям Апраксин был адвокатом московского наказа, а по простым политическим мотивам: правые большинством подавили бы духовенство, но если ему [духовенству] дать возможность выражать особое мнение, то его голос мог бы стать опорой для «Совещания епископов» в случае, если бы политиканы слишком зарвались. И вопрос провалился. Увы! Архиереи, прежде единодушно одобрившие этот проект, быстро изменили свое решение и пошли на поводу у правых.

Другой факт. В числе членов Собора оказался бывший председатель Государственной думы Родзянко[297]. Он вел себя очень скромно и сдержанно. Но те же правые делегаты подняли против него неистовую агитацию, как будто против главного виновника всей революции. Я выступил с речью в его защиту, но это не помогло. И митрополит Антоний, после личной беседы с Родзянко, заявил Собору, что тот добровольно, ради мира, слагает свои полномочия и уходит. Так предал председатель Собора члена, ничем не опороченного церковно. И опять в этом проявилось засилие и насилие правых.

Такое же засилие проявилось еще и перед заседаниями Собора. Правые сразу подняли вопрос: служить ли панихиду по убитом царе и его семье. Это совершенно

не входило в обязанности церковного собрания, не было предусмотрено наказом наших епископов, не требовалось самими архиереями и духовенством и было исключительно политической демонстрацией правых. И увы! Опять архиереи пошли на уступки и отправились в патриарший собор на служение. Я возмутился (и сейчас возмущаюсь, когда пишу это) таким насилием и даже, в сущности, кощунственным использованием святой молитвы для политических целей и отказался идти на панихиду.

Да, думаю, и сейчас эмигранты винят большевиков в давлении на Церковь, но если бы правые политики получили в свои руки власть, то они командовали бы ею без зазрения совести.

На дальнейших заседаниях Собора они систематически и диктаторски проводили свои монархические идеи. Правда, и большинство соборян были еще монархистами, но мы не хотели из Собора делать политическое собрание. Однако правые продолжали давить и в первую очередь поставили вопрос о монархии и непременно о династии Романовых. На этот последний пункт они особенно напирали. Напрасно более умеренные члены старались отвести вопрос, который мог бы расколоть наш Собор, те большинством задавили и провели все свои заранее ими предрешенные на частных собраниях пункты.

Напрасно некоторые из нашей умеренной стороны объясняли, что такое поведение наше за границей может угрожать Церкви в России. Правые были неумолимы: мы-де за них здесь должны говорить правду.

Так, под знаком политического насилия правых, и прошел весь Собор. Меньшинство, а из среднего духовенства большинство, подчинялось.

И только один из нас, русский профессор физики во Франкфуртском университете Февицкий, прекрасный христианин и настоящий ученый (после, в 1925–1926 го-

дах, испанское правительство вызывало его в Барселону организовать физический факультет в университете, оттуда проездом он посетил меня в Париже и говорил на тему о необычайной сжимаемости материи), не вынес этого насилия и подал просьбу о сложении своих полномочий. Но, конечно, председатель, митрополит Антоний, провел этот скандальный факт незаметно. Однако о нем потом узнали даже в Москве. Да будет помянуто добром имя этого человека, честного и достойного! Иногда и я жалел: почему не ушел сразу с этого обманного собрания...

Написали также обращение к генералу Врангелю и Белой армии; это было, естественно, поручено мне. Но правые не любили Врангеля, зная широту его воззрений, и потому провели этот вопрос с еле скрываемым недоброжелательством. А представитель генерала Врангеля, генерал Никольский (кажется, из жандармов), вопреки умеренному направлению своего начальника, всецело подчинился захватнической воле правых. За это, как я слышал после, он получил выговор от Врангеля.

Видя во мне противника, вождь правых — Марков-второй, — Локоть и кто-то третий посетили меня специально, пытаясь привлечь на свою сторону. Разговор вели о монархии. Я что-то возражал им спокойно. А потом спросил их:

— Но ведь наследственный государь может оказаться и малоспособным?

— Да разве он будет править? Мы за ним будем стоять!

Я удивился такой их политической развязности, а лучше сказать — наглости.

— Как?! Монархисты вы! И можете такие вещи говорить про монархов?

Но им ничуть не было стыдно. И я еще больше оттолкнулся от них: какое лицемерие! Конечно, во всех постановлениях Собора сквозила идея борьбы против большевиков.

Из политических вопросов затронули и социализм. На этом особенно настаивал я, наученный горьким опытом малопринципности Белого движения. Но, к моему удивлению, эти политики совершенно не интересовались таким общим и важнейшим идеологическим вопросом исторического момента. Я даже доселе не могу понять этого их равнодушия, хотя тот же профессор Локоть — раньше или после — выпустил брошюру (составленную на основе большого труда) под заглавием «Завоевание революции». Наскоро состряпали все же маленькую комиссию, и я предложил на собрании семь или восемь пунктов, конечно, против социализма. Они без интереса и обсуждения были приняты Собором и напечатаны в протоколах. Насколько помню сейчас (все пишу по памяти, без документов), наши возражения против социализма покоились не на социально-экономической несостоятельности его, а на психологической трудности для эгоистического человечества провести его в жизнь, так как этим отнимается собственнический интерес, этот двигатель человеческой энергии. Ну, разумеется, говорилось и о материалистической базе, и антирелигиозности его, и, кажется, об уничтожении семьи. Уж не помню всего теперь.

Что касается чисто церковных наставлений, то в первую очередь было торжественно определено, что Собор всецело подчиняется Патриарху Тихону и ему будут направлены на утверждение постановления нашего Собора. Но это потом оказалось великою ложью! Карловчане (так стали звать последователей этого Собора и приверженцев митрополита Антония и Карловацкого Синода) в следующем же году пошли открыто против Патриарха, о чем будет написано дальше.

Устроили Высшее Церковное Управление за границей, с участием никогда не приезжавшего на собрания из далеких Афин протоиерея Крахмалева и генерала Батюшина — человека с жестким и диктаторским нравом.

Постановлено было написать несколько посланий общеморального характера, между прочим — против свободной жизни эмигрантских женщин (а разве мужчины были чище?), но особенно важно, хотя и без конкретных последствий, было то, что от имени Собора митрополит Антоний разослал послания правительствам разных стран о советском правительстве, прося бороться против него.

Перед концом, по предложению члена Собора Н-ва, мне, как главному инициатору и организатору Собора, пропели многолетие. Но я глубоко раскаивался, что создавал его... Конечно, самая идея была совершенно правильна и необходима, но ее испортили политические страсти людей. Государственное засилие, которым грешила власть в России, перебросилось теперь на политиков и за границу. Нелегко выветривается историческое наследие... И невольно задумываешься: не было ли благим делом Промысла, что все эти «бывшие люди» удалились за границу и оставили Церковь на ее свободу и самостоятельность. Думаю, так! И есть одно конкретное основание к этому. Одному архиерею, архиепископу Т-у Г-му, удалось говорить с Патриархом Тихоном, и в беседе с ним Патриарх высказал такую мысль:

— Еще следует думать да думать: нужно ли восстановление монархии?!

А может быть, он в другой формуле выразился: полезна ли для Церкви была монархия? Теперь уж не помню точно — прошло 22 года. Но суть одна и та же. Эти слова дошли до заграницы, и я их повторил в своей проповеди в церкви русской колонии в городе Земуне, против Белграда. Присутствовавший тогда на службе генерал Батюшин тотчас же донес на меня митрополиту Антонию, и мне предложено было «впредь не касаться политических вопросов в проповедях». А целый Собор был политическим, это было можно... Но факт остается фактом: если уж Патриарх, да при таком режиме, как

советская безрелигиозная власть, нашел возможным выразиться так о монархии, то значит, не особенно он жалел об уходе прошлого. А он ли не знал тогда настоящего?

Политические отзвуки этого Собора загремели далеко: в России советская власть усмотрела, и совершенно верно, в таком поведении Карловацкого Собора борьбу против нее, и начались притеснения. И Патриарх, и другие архиереи возмущались действиями этого Собора. Об этом основательно написано в книге профессора русской истории Казанского университета Стратонова «Церковная смута» на основании его собственных впечатлений, наблюдений и бесед с архиереями о России в это время.

Но гораздо большее значение этот Собор имел за границей. Интересная подробность. Когда мы, архиереи, обсуждали на заседании Карловацкого Синода наше константинопольское предложение об именовании «Собор», то митрополит Антоний не хотел принимать этого, а рекомендовал назвать лишь «собранием». Но когда дело, благодаря правым делегатам, повернулось в пользу монархических идей, тот же митрополит Антоний желал, чтобы этому собранию присвоить имя «Собор» (да еще «заграничный»), а своему имени прибавить значительности. Он оказал влияние на все центры русского рассеяния: на Европу, на Азию (Китай, Япония), на обе Америки. Везде взяли верх в конце концов «карловчане», то есть группа митрополита Антония. Сначала еще боролись против него митрополит Платон в Америке, митрополит Сергий (Тихомиров) в Японии[298], отчасти Евлогий в Европе, но мало-помалу возобладали карловчане.

Митрополит Сергий, несмотря на то что являлся японским гражданином, был японским правительством удален со своего поста главы Японской Церкви и заменен японцем, рукоположенным русскими архиереями карловацкого толка.

Преемник отколовшегося американского митрополита Платона, митрополит Феофил, добровольно подчинился митрополиту Антонию, а теперь митрополиту Анастасию, преемнику его. Кажется, и в Европе сдался (не вполне) и митрополит Евлогий.

Причиною этого являются не церковные каноны, а политическая ситуация. Та правая, ярко антисоветская, монархическая политика, какую взял Карловацкий Собор с 1921 года, отвечала и японской, и немецкой (в Европе), а отчасти и американской (а особенно в Южной Америке) ориентации правительств, которые были тоже настроены против Советской России. Отсюда станет понятным, почему Карловацкий центр стал и стоит на прогитлеровской позиции: это союзники по общим убеждениям вражды к Союзу нашей Родины. К ним теперь (уже года четыре назад) присоединились и американско-русские архиереи («феофиловцы»).

Вот в этом и заключается немалое и зловредное последствие Карловацкого Собора 1921 года и доселе.

Разумеется, Патриарх Тихон не мог оставить без внимания такого вмешательства заграничного Собора в жизнь Русской Церкви. Да и советское правительство (насколько помню) само указало ему на антисоветскую деятельность карловчан. И Патриарх Тихон в августе следующего 1922 года прислал за границу указ, осуждающий политическую деятельность заграничной части Русской Церкви. А так как он знал, что во главе этого движения стоит митрополит Антоний, то он приказывал ему устраниться от дел, а управление европейскими приходами передавал митрополиту Евлогию, который прежде жил в Берлине, а теперь переехал в Париж. Этот архиерей по свойству личного характера всегда отличался способностью к компромиссным мерам, стараясь занимать серединное, «умеренное» положение. Будучи членом Государственной думы, он был правым, но не очень, а где-то между октябристами и националистами.

В частных отношениях всегда старался быть любезным, чтобы всем угодить, и так далее. Разумеется, он старался угождать и своей пастве, состоявшей преимущественно из антибольшевистских эмигрантов, но и тут он не становился на сторону крайних партий, а занимал центр «большинства». В беседах со мной он не раз повторял любимую им сентенцию из Ветхого Завета, данную ему каким-то старцем: *Не будь вельми правдив* (Еккл. 7, 17), то есть не будь очень прям в действиях своих. И это отвечало его характеру. Но нужно знать, что он отнюдь не был слабым по природе. Наоборот, при случае он мог быть и властным, и настойчивым, и даже мог давить на других, но только скрывал это, когда то казалось ему выгодным и практичным. Зная это его свойство умеренности, Патриарх Тихон и поручил ему управление за границей. Митрополит Антоний, наоборот, отличался резкостью и торопливостью суждений и очень верил в себя как умнейшего человека, не нуждающегося в советах. Но в действительности иногда поддавался влияниям.

Когда получили этот указ Патриарха, то первым движением митрополита Антония было желание исполнить его в точности. И он дал в Париж телеграмму на французском языке: «Волю Патриарха нужно исполнить».

Но потом пошли визиты политиков, письма от партий, и он изменил своему естественному и правильному решению. В Карловцах был созван съезд епископов, большинство его стояло на антониевской позиции. И только сам митрополит Евлогий и я оставались на дисциплинарном каноническом повиновении ясному указу Патриарха. Но так как мы были в ничтожном меньшинстве (двое против восьми или девяти), то ушли с заседания Собора, оставаясь при своем мнении. Тогда большинство прислало делегацию с каким-то компромиссным предложением, но с оставлением митрополита Антония и Карловацкого Синода на прежнем

месте, только с непременным участием в важных делах и митрополита Евлогия. И последний согласился на это, добавив еще что-то. Я же один остался верным патриаршей воле. Когда делегация ушла, то митрополит Евлогий рассказал мне об отрадном случае, как он, единственный из членов Санкт-Петербургского Синода, запротестовал против незаконного брака великих князей (два брата женились на двух сестрах). И добавил:

— И вы (я) всю жизнь будете с удовлетворением вспоминать нынешнюю вашу твердость. А вот я не смог так, — и он виновато, но без всякого мучения совести улыбнулся.

Я же подал митрополиту Антонию письменное заявление с протестом и обещал признавать митрополита Евлогия. Но сей последний написал мне, что он-де просит меня не нарушать мира и тому подобное.

И с этих пор началась борьба двух заграничных течений: правого и умеренного. Но в сущности, последнее отличалось от первого лишь степенью, а не в корне: оба были противосоветские и личносамочинные. Та верность Патриарху, о которой сделано было торжественное заявление на Карловацком Соборе, испарилась мгновенно при первом же столкновении двух воль — эмигрантской и российской.

При определении по поводу названного указа изобретена была, однако, иезуитская лицемерная формула: указ Патриарха принять-де, но, учитывая его неосведомленность в заграничных делах (какая дисциплина повиновения!) и невозможность остаться всей Заграничной Церкви без центрального высшего органа, а также несвободу волеизъявления Церкви в России, и так далее и так далее... Результат — не послушались Патриарха.

Стали архиереи выбирать новый состав Синода. Я, доселе непременный член, как епископ армии, которая составляла основную массу заграничных приходов, разумеется, был обойден. За меня подано было лишь два

голоса (митрополита Евлогия и архиепископа Анастасия). Утешая меня, они оба выражали сожаление, что нет теперь «оппозиции в Синоде», но я ответил им:

— Сейчас за границей — время Антония. Потом будет — ваше. А после вас наступит мое!

То есть направление жизни за границей сначала было крайне правым, потом будет более умеренным, а кончится моим единством с Матерью-Церковью. Жизнь это оправдала. Пока еще у власти Анастасий, Евлогий и Феофил, но история их закатывается. Современная война быстро подвигает к концу это направление «умеренной борьбы», и мы — уже накануне повиновения заграницы общей Патриархии.

Но для изживания карловацкого наследия потребовалось 22 года и плюс жесточайшая война Родины с немцами.

Через некоторое время митрополит Антоний при встрече со мной в карловацком патриаршем саду обратился осторожно с предложением:

— Мы, архиереи, сделали секретное постановление: впредь не принимать приказов Патриарха, если они нам покажутся несвободными. Вы согласны с этим?

Я ужасно, в сердце, возмутился такой развязностью митрополита Антония и других архиереев:

— Боже меня сохрани от этого! — ответил я ему.

И такие бунтарские, антиканонические предложения делал митрополит Антоний, постоянно ссылавшийся на каноны! Недаром я часто говорил и говорю: эти архиереи — в сущности революционеры, только справа. Как монархисты заявили мне, что они будут править монархом, так тут же ужасную самочинность предлагает мне и митрополит Антоний. Не каноны, а своя воля правила ими. И от этого, как учит история, происходили все ереси и расколы в Церкви.

Еще те же архиереи сделали другое секретное решение: поддерживать главенство за границей великого

князя Николая Николаевича[299]. Я и от этого отказался. Кажется, они боялись «бонапартизма» Врангеля.

После такого поворота церковных дел я решил уйти от центральных учреждений, оставив за собой обязанности епископа армии, и ушел в сербский монастырь, собрав там до тридцати русских монахов и послушников. Между ними оказался и тот брат Владимир Курганов, с которым мы ехали вместе с большевиками в одном купе из Крыма. После он был настоятелем монастыря в Пожаревецкой епархии и скончался еще молодым от туберкулеза: в груди его была неизвлеченная пуля, и она привела к этой болезни.

Еще из значительных событий во время моего пребывания в Сербии нужно отметить совершенно неожиданную смерть генерала Врангеля. Из Сербии (он одно время тоже жил в Карловцах) он переехал в Бельгию. Там у него открылась какая-то быстротечная («миллионная») чахотка легких. В несколько дней он сгорел от нее. Разнеслись слухи, будто его отравили большевики через близких людей — денщика или кого-то еще. Но это совершенная фантазия. Когда тело его привезли на погребение (почему — не знаю) в Белград, я виделся с женой его, Ольгой Михайловной, и она лично заявила мне, что муж ее умер от болезни.

Смерть его произвела на меня очень сильное впечатление, точно что-то рухнуло за границей. А бывший ближайший сотрудник и друг, генерал «Паша» Шатилов, по этому поводу произнес глубокую по смыслу и верную фразу: «Умерла душа Белой армии».

Да, можно сказать, что с Врангелем умерло «белое дело». Генерал Деникин, хотя жил во Франции, но был точно забыт. А при жизни Врангеля возглавление всего дела борьбы было по настоянию все тех же правых передано Николаю Николаевичу. Но это не принесло ни малейшей пользы, несмотря на титул и династию Романовых. И когда он скончался (после Врангеля),



П.Н. Врангель в Париже. Октябрь 1927 г.

то это было принято эмиграцией тоже прохладно. Тело его похоронено было в подвальном этаже русского храма в городе Канны, на берегу Ривьеры. Также не произвела впечатления и смерть старицы матери-царицы Марии Федоровны.

Мне приходилось слышать, что мать все еще не верила в смерть царя и его семьи, хотя и не имела особых оснований к тому, кроме слухов и легенд. Конечно, всякой матери болезненна смерть сына или внуков... Жила она в стороне от политической борьбы, в родном датском королевском доме. У нее была домовая православная церковь и духовник-священник (последний — отец протоиерей Л. Колчев). Тихо закончила она в глубокой старости свои дни. Много горя видела. Царство ей Небесное!

Кстати, упомяну уже и о других членах династии Романовых, которых пришлось видеть или от других слышать.

Сестра государя, Ксения Александровна[300], однажды посетила годичный акт нашего Парижского Богословского института. Еще не старая, с очень приятным, мягким выражением лица и даже с застенчивостью, она слушала отчеты и философский скучнейший доклад (все о его «Софии») профессора С.Н. Булгакова. И ей ужасно хотелось дремать, так что она с необыкновенным усилием сдерживала свои веки, чтобы не закрылись, а иногда прикрывала рот от зевоты. Хорошее, скромное впечатление осталось от нее. И, вероятно, со всем она примирилась, не верила и в жизнь брата своего. Говорят, что и личный, и семейный крест свой она несла смиренно.

Простое же и скромное впечатление производил князь Гавриил Константинович[301]. Очень высокий ростом, как все Константиновичи, некрасивый, но с добрым лицом, он пользовался симпатиями и ничем не проявлял своего династического происхождения. Был очень прост. Усердный богомолец, он посещал храм, где

был митрополит Евлогий. Но сестра его жены, бывшей балерины, весьма симпатичная женщина (тоже, кажется, бывшая балерина, по мужу Ч.), посещала нашу патриаршую церковь в Париже. Отсюда можно сделать предположение, что и родственник ее — князь — не был против лояльного направления Матери-Церкви.

Еще мне пришлось познакомиться с князем Андреем Владимировичем[302] и с его женой, бывшей балериной Кшесинской, а потом и с сыном их. И они были просты и тоже не величались династией. Она занималась балетным преподаванием и выглядела значительно моложе своих пожилых лет.

Был однажды с архиепископом Владимиром[303] у княгини Милицы Николаевны, жены Петра Николаевича, дочери князя Николая Черногорского[304]. Она очень пополнела и угощала нас чаем, была весьма тактична и сдержанна. Я неумело напомнил о ее бывшем духовнике, архимандрите Феофане, имя которого было связано с Григорием Распутиным и первым его знакомством с династией именно через Милицу Николаевну. Но она дала мне понять, что ей нежелательно трогать старые больные раны.

Слышал и знал о переписке княгини Ольги Александровны[305] с Н.Н. Эта будто верила в жизнь бывшего царя. Была талантливой акварельной художницей.

Еще слышал о княгине Татьяне Константиновне, сестре Гавриила[306]. Она жила с детьми в Швейцарии и занималась фермой: доила коров, разводила огород, вела свое хозяйство одна, без прислуги. Однажды посетил ее митрополит Евлогий. Он рассказывал, что после обеда маленькие дети ее начали чисто вылизывать тарелки. Удивленный, он спросил: зачем они делают это?

— Мамочке будет легче потом мыть посуду, — просто объяснили они.

Доходили слухи и о князе Кирилле Владимировиче[307], который сначала объявил себя как старшего в

роде Романовых, блюстителем императорского дома и кандидатом на русский престол, а впоследствии заявил и о своем императорстве. Но это произвело среди массы эмиграции впечатление пустого выстрела. Не только в России, но даже и среди заграницы никто этим не загорелся. Даже Карловацкий Синод не осмелился стать открыто на его сторону, продолжая считать его лишь великим князем. Но защитникам его императорства не запрещалось служить молебны о нем как императоре. За него целиком стала младоросская партия. Но Церковью головка ее признавала потом Патриаршую Церковь. О них скажу еще после. Правые не очень любили князя Кирилла, вспоминая тот факт, когда он во главе морского экипажа, с красным знаменем и бантом приветствовал революционную Думу.

Вся эта история с императорством более походила на пробную попытку бросить идею в Россию, в надежде на ненависть в народе к советской власти. И попытка эта потерпела жестокое крушение. Ясно было, что в России не думают о восстановлении монархии вообще и династии Романовых в частности.

Пришлось еще видеть дочь Кирилла, Киру Кирилловну, в Париже, где она была крестной матерью, а я крестил ребенка. Впечатление осталось не в ее пользу: было жалко ее. После она вышла замуж за одного из Гогенцоллернов, внука императора Вильгельма II. Говорят, будто перед этим их родные запросили Гитлера: хорошо ли, что состоится этот брак. Он одобрил. Слухи шли о том, что ему нужна была немецкая фигура, женатая на русской принцессе, как кандидат на русский престол после покорения России немцами. Все это более занятно, чем серьезно.

История теперь так не делается. Нужно заработать свое положение, а не ждать его на золотом блюдце. К сожалению, за это время революции не выдвинулось ни одного сильного имени из династии Романовых: будто

бы иссякла в них трехсотлетняя сила. И напрасно надеялись некоторые эмигранты даже на имена: есть Всеволод — ему владеть; есть Тихон — названный в честь святого Тихона — на нем покоятся надежды. Но сами Романовы, кажется, гораздо скромнее о себе думают, чем другие о них. Это — честь им!

И теперешний хранитель династии Романовых, сын Кирилла, Владимир Кириллович, смотрит на будущее без фантазии и нашел лучшим пойти рабочим на английский завод, чем играть в императорство не принадлежащей ему короны и империи. Писали в газетах, будто Гитлер предлагал ему примкнуть к нему в борьбе против большевиков, но Владимир, к чести и уму его, решительно отказался, как и огромное большинство русской, прежде антисоветской, эмиграции. Родители его оба умерли.

Заканчивая обозрение сербского периода, я упомяну об одном общественном наблюдении. Как сказано выше, после бунта архиереев против Патриарха Тихона я ушел в монастырь. В наше распоряжение было дано огромное имение: около 800 гектаров леса, 150 — полевой земли, 10 десятин садов, виноградник, скотина, птица и прочее. Всего около 1000 десятин. Я неожиданно сделался «богатым человеком», хотя и не собственником. О, сколько я намучился с этим имуществом и с людьми! Скажу, что более тяжелого периода жизни я не имел ни до, ни после. Самую последнюю бедность мне приходилось переносить легче, чем владение этим богатством. Сколько забот, хлопот, столкновений, мук. То околевают свиньи, то заболел породистый телок, то бесчисленные крысы уничтожили цыплят и гусят, то сгнивает зерно, то крадут яблоки, но главное — воруют и воруют лес. Два лесных сторожа из русских интеллигентов охраняли его с ружьями. Но где же укараулить 800 десятин! А если поймают воров, еще хуже мне. Я знаю, что у бедных селяков своего леса нет, а как жить без него? Правда, мы им сдавали его на льготных условиях, но все же как

удержишься от соблазна? И я делаю им выговоры, кричу на них, подаю (это была моя невольная обязанность как настоятеля) в суд, а сам тайком прошу судью не строго наказывать. И зарекся я с той поры быть богатым (хотя и не был им). Богатство, его заботы мне показались духовно мучительнее нищеты! И доселе с тяжестью вспоминаю о том времени и не желаю себе богатства: оно отягощает, привязывает к себе, портит души и взаимоотношения людей. И... раздражает бедняков. И в этот раз, и после я видел, что в сердцах селяков-сербов назревает революционный дух отнять и у монастырей, и у других владельцев богатые имения. И сейчас не отказываюсь от этого впечатления. Вероятно, после этой войны будут перемены. А к тому же монастыри там безлюдные: один-два монаха, работники, лесники, кухарка — и все... И сотни десятин. Ненормально даже и с христианской точки зрения. Об этих монастырях у меня осталась особая рукописная книга: что представляют они из себя. К счастью, я недолго «владел» этим богатством, в 1923 году мне пришлось уехать епископом в Карпатскую Русь. Но это я отнесу уже к <разделу> «Европа».

Еще вспоминаю, как после возвращения из Карпатской Руси опять в Сербию мне пришлось быть законоучителем в двух военных кадетских корпусах: в Донском в городе Билеча, около Черногории, и в «Русском» в городе Бела Церква, в Банате. В Донском, имени генерала Каледина (который застрелился в начале большевизации Дона), было много лучше. Кадеты-казаки и их преподаватели были проще, демократичнее, цельнее. И не так играли в реставрацию. Но в «Русском» корпусе эта сторона была гораздо сильнее, и это было труднее переносить. Вечная игра под царский режим... И здесь были люди хорошие, и корпорация учителей хорошая. Но дух «старого режима» тяготел над всеми нами. Однако я уживался со всеми. Храню хорошую память о юношах и детях, особенно много милого осталось в душе от Донского

корпуса. И я не ушел бы оттуда, но меня митрополит Евлогий вызвал инспектором в Парижский Богословский институт. Помню, когда автомобиль увозил меня от этих милых юношей, один из них бежал за мною шагов триста, точно ему хотелось удержать меня. А сколько я видел чудных душ на исповеди! Счастливое воспоминание! Но это — уже духовного свойства, а не общественного...

Вспоминаю еще, как мой отказ служить Литургию за самоубийцу генерала Каледина (в училище его имени) спас одного полковника, преподавателя корпуса. Он пришел ко мне и спросил: «Почему не служили?» Я объяснил ему церковную точку зрения на страшный грех самоубийства и прямое запрещение канонов молиться за самоубийц, за исключением лишь случая удостоверенного ненормального состояния. Он внимательно выслушал и сказал: «Спасибо. А я хотел ныне покончить с собой самоубийством».

И после мы продолжали работать вместе. Начальник корпуса хотел даже жаловаться на меня митрополиту Антонию за отказ служить по Каледину, но потом, когда я сказал ему: «Жалуйтесь», — раздумал.

Провожали меня в Парижский институт очень дружно и учителя, и кадеты. Иначе, через два года, провожали меня из «Русского корпуса» в Белой Церкви, после того как я заявил о своей лояльности советской власти. Но об этом расскажу в главе о лояльности.

На этом кончаю повесть о «Ближнем Востоке». К сожалению, мне не удалось побывать ни в Румынии, ни в Палестине, ни на Афоне. На последний не пускали греки по стародавней боязни конкуренции русских монахов. Турки оказались любезнее к русским, чем свои православные. Некоторых беженцев-послушников они даже выселили потом.

Но святые подвижники и вообще хорошие монахи не прекращались и в наше время. С двумя из них я буду переписываться по вопросу о лояльности, а третьего,

истинно святого, я чтил и чту глубоко. От него у меня остались замечательные письма (которые я переслал потом для напечатания К. Шевичу, в монашестве — отцу Сергию, человеку из аристократической семьи, весьма прекрасному[308]).

Был в Македонии. Там еще в мое время жили разбойники, почти официально признаваемые как своего рода герои. Был и в Хорватии, и в Словении. Там те же самые сербы по крови и языку. Но за 100 лет католической культуры они значительно стали отличаться по духу от сербов: католицизм превратил их в послушных и мягкотелых рабов и врагов сербов-братьев. Эта рознь не уничтожилась даже и тогда, когда все эти три ветви соединились в одно государство «Югославия». Теперь, во время нашествия Гитлера на Балканы, это проявилось открыто: словены, а особенно хорваты, оказались в немецком лагере против сербов.

ЕВРОПА

Еще давно, когда я был семинаристом, в Париже открылась всемирная выставка. И какой-то русский комитет предлагал принять участие в поездке за границу всего лишь за 150 рублей, включая дорогу и содержание. И как мне хотелось посмотреть эту таинственную Европу! Но... Не было денег.

А теперь наступили такие времена, что сотни тысяч русских, в большинстве выехавшие за границу без денег или с ничего уже не стоящими романовскими бумажками и «керенками», или «колокольчиками», разъезжают буквально по всему свету. И откуда-то находятся на это средства. Диво!

Впечатления мои от европейских государств будут, конечно, поверхностными и краткими. Иностранцу нелегко проникнуть в психологию других народов, нужно родиться и жить с младенчества среди них, тогда поймешь. Поэтому и читателю нужно смотреть на мои дальнейшие заметки этой главы как на личные мои восприятия.

Чехословакия

Первый мой выезд в Европу был в Чехословакию. Чех, архиепископ Савватий[309], организовал группу православных чехов, а кроме того, он возглавил большинство приходов Карпатской Руси, ушедших после войны из католической унии в Православие. Другая часть этих приходов подчинялась Сербской Церкви в лице епископа Нишского Досифея, жившего в своем епархи-

альном городе Нише. Помимо этого, в Чехию, собственно в Прагу, наехало довольно много русских профессоров, студентов, политических деятелей. Для них чехи выделили один обширный прекрасный храм, где служил викарием архиепископ Сергий[310], подчинявшийся митрополиту Евлогию.

Архиепископ Савватий получил духовное образование в Киевской духовной академии; мне пришлось познакомиться с ним еще в России. Это был человек скромный и чистый. Ему нужно было найти русского помощника — архиерея для управления русскими приходами на Угорщине, или, что то же, в Карпатской Руси. Угры — это те же венгры. И он пригласил на это дело меня. Передав сербский монастырь преемнику, я поехал проститься с митрополитом Антонием в Карловцы и взять от него рекомендацию, так как он, по давней традиции, как Киевский митрополит, считается каноническим экзархом (представителем) Константинопольского Патриарха в Галицкой Руси. А Галиция и Угорщина, в сущности, одно и то же: лишь один край — по восточной стороне Карпатских гор, а другой — по западной и южной. Племя же одно и то же — украинское. Мы в России так мало знали о своих братьях-русских за границей, что и не представляли себе их как родных нам. А католики, чтобы сильнее обособить своих невольных униатов от русских, называли их латинским словом «ружоны». На самом деле это были те же русские, та же Русь, что и в Киевщине, Полтавщине, Подолии; или, точнее, украинцы, по-старому — малороссы. Вот помочь им в Православии и в возвращении в прежнюю Матерь-Церковь было задачей архиепископа Савватия и моей. Встретив меня, митрополит Антоний удивился, узнав, что я отказался от дальнейшей работы в Белой армии и сотрудничества с генералом Врангелем.

— Значит, вы с Врангелем не думали о бонапартизме? — спросил он неожиданно.

— Никогда и не думали! — ответил я.

Лишь теперь он успокоился от своих подозрений.

Простился я особым посланием с духовенством армии. Они равнодушно отнеслись к моему отъезду. Лишь один батюшка написал сочувственное письмо, где, между прочим, спрашивал: «Вы уезжаете от нас. Так неужели вы, значит, решили, что наше Белое движение кончено?»

Разумеется, оно было кончено, и не теперь, а еще в октябре 1920 года, в Крыму...

И вот утром я в Праге. Хмурое облачное небо. Закопченные от дыма фабрик дома, старинные здания. Направо, на высоких горах, древний дворец. И больше ничего особенного. Лишь в центре города памятник Яну Гусу. Народ? Что сказать? Я мало его видел. Двойственное впечатление о нем осталось у меня. Будто тихие, скромные, но себе на уме, не откровенные. Потом я рассмотрел, что они и малорелигиозные, а очень многие и совсем безрелигиозные. Многовековая их борьба против немцев и католицизма постепенно делала их врагами обоих, увела в протестантизм, а у других вытравила веру совсем. Так что на вопрос, какой вы религии, они отвечали «без низнанья», без исповедания. Но в рабочих массах оставалось еще много католиков, так что католицизм там еще довольно силен. А в Словакии он и вовсе является господствующей силой.

Заметил я еще какое-то мещанство духа у чехов: забота о маленьком материальном устройстве, кропотливая и систематическая работа везде — в полях, на заводах, в торговле. Не почувствовал я героического духа сербов или русского размаха. А поля их были разделаны удивительно: везде порядок, чистота, удобрение, отделка берегов у рек — все это точно на картинке. После я сравнил эту обработку с немецкой, и мне показалось, что чешская значительно выше.

Еще я не увидел особенной любви чехов к России и русским. Объясняется ли это их общим замкнутым характером, выработанным тяжкой исторической жизнью,

или они считали себя выше России по культуре? Не знаю. Но не видел я этой любви. А после увидел и хуже.

Скоро мы с архиепископом Савватием поехали в свою Карпатскую Русь. Стоило только увидеть первые лица, встретившие нас в храме в селе Л., как тотчас же стало ясно: это — наши родные русские! Будто я не в Европе, а где-либо на Волыни или в Полтавщине. Язык их даже ближе к великорусскому, чем теперешний украинский. И объясняется это, по-моему, несколькими причинами. Прежде всего — географическими. Когда венгры, или, как их на Карпатской Руси зовут обычно, «мадьяры», завоевали эти края, то они овладели, конечно, лучшими равнинными землями, а покоренных славян загнали в леса и горы. И эти горы спасли их. Спрятанные в их складках, удаленные от культурных разлагающих центров и путей сообщения, наши братья сохранились в удивительной чистоте расы и здоровья и в любви к своему русскому народу. Вторая причина была религиозная. Сохранив славянский язык в богослужении, даже и после насильной унии (XVI в.), они через него удержали связь и с русским языком, и православной Русью. Католики обманывали этот детский народ даже до моих дней. В униатских (в сущности, католических) храмах священники называли своих пасомых «православными». И действительно, у них сохранилась еще любовь к Православию, потом, после поражения немцев, карпаторуссы массами начали возвращаться в стародавнее Православие.

Какой же это был прекрасный народ! Я думаю, что карпатоуссы лучше всех народов, включая и нас, российских, русских, какие только я видел! И лишь католицизм испортил кое-что в душе их. Какая девственная нетронутость! Какая простота! Какая физическая красота и чистота! Какое смирение! Какое терпение! Какое трудолюбие! И все это при бедности. И видел места, где (около Хологова) люди месяцами не ели ржаного хлеба, заменяя его овсяным, даже с соломой. Я видел, какими загнанны-



Прага. *Фото начала XX в.*

ми они чувствовали себя не только среди мадьяр, но даже среди чехов. Об этом стоит написать особо. Вот примеры.

Решительно почти все места чиновников, вероятно, на 99 процентов, начиная от высших до низших, были заняты чехами. Жандармерия и полиция — чешские. Доктора (фискально-административная часть в селах) — чехи. Железнодорожные служащие — чехи... Чехи... чехи... чехи... А «русины» (чехи не хотели называть их «русскими») несли рабочее и земледельческое тягло, как низшее, дикое племя. Это — вообще. Вот и частные факты.

Еду я однажды по узкоколейной международной железной дороге. Сидят братья русские, а одежда у них еще старинная: кожухи шерстью наружу. Так они появляются и в европейской Праге. Им хочется поговорить со мной. Но тут же едет случайно подозрительный чех. И они уже боятся его, бедные. Вызывают меня на площадку вагона и там рассказывают о своих горестях. Загнанные пленники.

Другой случай. Я жил в городе, где единственным православным был хозяин домика — Иван Гавый, здоровенный мужчина, вроде тех, что нарисованы у Репина в «Запорожцах», лет шестьдесят. За свою «русскость», так принято было выражаться там о любви к русским, он был (и многие другие) посажен в тюрьму, где просидел год. Все время он не сменял белья, и рубаха сгнила на плечах. Не видя человеческого лица, он поймал мушку, оборвал одно крылышко, чтобы она не могла от него улететь, и рад был, что все-таки около него живое существо. После тюрьмы он стал нищим, остался лишь домик в одну комнатку, да в прихожей стояла печка и узенькая кровать. На ней спали два молодых здоровых сына Ивана. Оба они были безработными. И жутко было видеть, как этим двум сильным людям нечем жить! И не день, и не два, а месяцы. Придут голодные вечером, и на одну узкую железную койку вдвоем. А утром опять на поиски хлеба и работы. «Вот и готовые коммунисты», — подумал я. Иван же пригласил

меня жить у него потому, что у меня почти уже вышли все мои деньги, о чем он знал, посещая меня. После Гавый рассказал мне, что, прежде чем предложить свою нищенскую комнатушку для совместной жизни, он решил еще испытать: хватит ли на это сил у меня? Для этого зазвал он меня к себе и сварил один картофель. Хлеба не имел. И этот картофель с солью и предложил мне. Я, не подозревая экзамена, ел вместе с ним. О, в Москве я еще не то видел, я искал бы там картофель в 1918 году. Тогда Иван решил: я выдержу, и пригласил к себе. Пока еще у меня оставались кое-какие гроши, я кормил и его, но на сыновей уже не хватало. И мне было и стыдно, и больно, что голодные его сыновья ложатся спать без ужина. Конечно, чешским агентам тайной полиции никак нельзя было понять: как это архиерей живет без средств, да еще у нищего? Католические епископы и протестантское духовенство жили сыто и даже роскошно. И у них зародилась мысль, что я — коммунист, иначе кто же будет иметь общение с бедняками, да еще безработными. А нужно сказать, что среди крестьян и рабочих-карпаторуссов я замечал действительное сочувствие коммунизму как к выходу рабочих из бедственного положения. И об этом я даже написал через губернатора (немца родом) доклад в совет министров, указывая, что политика преимущества чехов и загнанное положение русских невольно толкает последних к коммунизму. Губернатор потом прислал мне ответ, что мой доклад был заслушан министрами. А тут еще случилось, что у нас заночевали два селянина-карпаторусса, пришедшие просить меня прислать к ним <священника> и наладить православный приход; да еще какой-то безработный одинокий человек-писец. Все они разлеглись спать на полу, а мы с Иваном спали на двух кроватях — вторая жена от него ушла после ареста. Все было мирно. Вдруг часа в три ночи стук. Нагрянула тайная полиция, обыск. Кто такие? Но документы у всех оказались в исправности, и агенты не могли найти ничего сомнительного. Но уже самый факт,

что у архиерея спали мужчины, да еще в доме нищего, не давал им покоя и после. Когда уже я выехал потом обратно в Сербию, в Синоде спрашивали у меня: почему ходят слухи, что меня удалили за коммунизм?

Впрочем, это распространял один мой враг церковный, Горовский, личность весьма неясная. Но не хочу и писать о нем. Он такую распространял обо мне клевету, что и оправдываться не хочется: будто я куплен чехами, а я за восемь месяцев пребывания в Карпатской Руси не взял от них ни кроны, живя кое-как на привезенные еще из Сербии деньги (между прочим, мне прислал значительную сумму, около двухсот долларов, митрополит Платон из Америки). Да и странно: если бы я действительно продался чехам, то зачем же они так легко удаляли меня потом из Чехии? Какой подкуп, когда я скоро дошел до полного нищенства! И деньги, и продукты кончились.

— Ну, Иван, — говорю я хозяину вечером, — завтра у нас с тобой ни хлеба, ни сахара, лишь чай остался. И купить не на что.

Может быть, читателю это покажется сказкой, но это было. И вдруг мне стало вместе и смешно, и отрадно.

Смешно потому, что архиерей дожил до такого положения, что есть нечего, а отрадно — от веры в непреложную Божию помощь. Ведь же Сам Христос сказал в Евангелии: «Живите как *птицы небесные. Отец питает* и греет *их*» (ср.: Мф. 6, 26; Лк. 12, 24).

И что же?! Через часа два к нам заходит молодая, полная, розовая, улыбающаяся, но застенчивая карпаторусска, жена нашего священника из села Черленева, и приносит всего: и хлеба, и сахару, и масла, и картофеля, и молока, и прочего. Это было истинным чудом. Прежде она никогда не делала ничего такого. А в этот вторник был базарный день в Мукачеве. Я отлично запомнил и день, потому что в родном городе Кирсанове базарным днем тоже был вторник, и меня подвозили крестьяне к

отцу протопопу Кобякову для подготовки в духовную школу. Матушка за восемнадцать верст пришла пешком в город и принесла нам всего. С той поры, до самого выезда из Чехии, она каждый вторник носила нам пищу.

Тайная полиция потом стала даже запрещать мне появляться в селах, карауля их со стороны железной дороги. Но крестьяне меня иногда провозили на конях с противоположной стороны. Такое поведение правительства мне очень не нравилось, и совсем не потому, что это обижало меня или даже затрудняло мою деятельность, а потому, что я видел пренебрежение чехов к моим русским братьям-беднякам. Снова повторяю и утверждаю, и в этом меня поддержит весь карпаторусский народ, — чехи не только не любили его, но эксплуатировали и презирали, хотя и хвалились своим мнимым «демократизмом». Они были хорошими демократами только лишь для себя, и, признаюсь, я сначала не очень жалел их, когда они сами попали под ярмо немцев. Но и сейчас, когда пишу это, я подозреваю, что чехи и впредь хотят эксплуатировать карпаторуссов. Доказательством этому служит пропаганда чешского правительства, живущего ныне в Лондоне, чтобы Карпатская Русь и впредь непременно принадлежала им. Масарик, сын бывшего президента, посетив Америку, открыто об этом говорил, я читал его речь в чешском бюллетене. Он и другие единомышленники его заранее протестуют против самой идеи отделения к Русской державе Карпатской Руси, чего горячо желают сами угорщане. В Америке мне многие из них говорили об этом и даже просили сказать Сталину, что они ждут не дождутся воссоединения с родным русским народом. И если будет дана свобода плебисцита, то карпаторуссы со вздохом великого облегчения отрясут пыль от ног своих, когда освободятся от нелюбезных братьев-чехов и друзей их — католиков. А всего их около 600–700 тысяч.

Но еще сильнее желают этого воссоединения русские братья-«лемки», прозванные так от слова «лем»

(лишь,только, подобно тому, как американцы часто говорят «бат»)[311]. Известно, что они уже обращались к Сталину с просьбой, если уже не присоединить их к России, то просто вывезти эти сотни тысяч к родным русским. Они открыто сочувствуют тому политическому строю, который водворился на нашей родине. В Нью-Йорке издают в этом смысле газету, и очень щедро, как и карпаторуссы, помогают сборами на русскую армию и медицинскую помощь.

Гораздо хуже настроены галичане. Это те же украинцы, что и карпаторуссы и лемки. Но за несколько веков австрийско-политической и католическо-униатской пропаганды они были испорчены и сделались врагами «москалей», фанатиками «незалежной Украины». Именно их за это не любят карпаторуссы и лемки, расположенные к русским вообще, впрочем, и среди галичан есть группа «русофилов», но она прежде была гонима австрийцами, а теперь притаилась от немецкого давления. Зато вскрыли себя и их галичане, и в Америке пронемецкие галичане, прогитлеровцы, почти открыто агитирующие за немцев, будто те дадут им свободу. Жалкие фантазеры-шовинисты...

Расскажу еще один характерный эпизод. Меня пригласили приехать в село Нижний Синевир, в северозападном углу Угорщины, верст за 60 от Хуста, центрального города ее. Была зима, и в низких розвальнях я добрался к вечеру до цели путешествия. В селе было до двух тысяч прихожан. Все они, за исключением 30–40 человек, решили принять Православие. Но храм, фара (священнический дом) и приходовая земля по законам оставались во владении униатского священника. Помню, в этом селе у священника была больная психически матушка, жалко было его, но дело важнее... За неимением храмов я не раз устраивал богослужения прямо на открытом воздухе: зимою на снегу, а летом в лесу. Так было и теперь. После службы, уже при закате солнца, ко мне

подошел молодой офицер, начальник окружной полиции (вроде прежних русских урядников), и предложил свою квартиру для ночлега, как более удобную и чистую для архиерея. Но мне захотелось быть с родными простыми братьями, и я поблагодарил, отказался и остался ночевать в большой хате. До полуночи проговорили мы дружно и спали счастливо на широких деревянных лавках. На другой день тоже служили на снегу. А офицер пригласил меня и более важных селяков на богатый обед. Было и вина много. После обеда приходили все новые и новые гости, и офицер, и милая его жена-чешка усердно угощали их вином. Между прочим, пришли, вероятно, по приглашению офицера, и представители меньшинства униатов. Один из них был старик огромного роста с лохматой бородой. Угощая их, офицер спрашивал лукаво:

— Ну скажите: бывал ли в ваших этих лесистых краях когда-нибудь католический архиерей?

— Ни-и! — ответил старик.

— А вот, видите: православный приехал, не погнушался вами.

Старик смотрел на меня с испугом, точно на пугало: так их научили католические священники.

Когда гости уже ушли, я спрашиваю хозяина:

— Послушайте, ведь такое угощение очень дорого стоит для вас? Или вы так любите Православие?

Он чуть не расхохотался.

— Деньги мне дало правительство на это.

— Почему? Разве оно заинтересовано в Православии?

— Я сам просил об этом. Кругом меня, в моем служебном округе, идет движение в сторону Православия. Нижний Синевир — самое большое место. Но тут еще держится несколько десятков темных фанатиков унии, и я решил вызвать вас, чтобы и они уже присоединились к большинству, а тогда за Синевиром скорее решатся и другие села моего участка. И уже не будет больше хлопот мне с этим.

— Тогда вы это все делаете не ради религии? — удивленно спросил я.

— Ну, конечно, нет. Да я же атеист.

— Вот что, — совсем разочарованно ответил я.

— А вы, — обращается он недоумевающе и серьезно ко мне, — разве верующий?

Теперь мне пришла очередь изумляться: у архиерея спрашивают, верит ли он?.. В первый раз в жизни пришлось слышать такой вопрос.

— Конечно, верующий.

— Вот что! А я не верил вам. Думал, что вы только все это разыгрываете.

Я после такого бесцеремонного отзыва замолчал. Пора было уже ехать обратно. Пара наших лошадок уже дожидалась у дома. Мы оба сели и проехали по селу. Отъехав на полверсты в снежное поле, он заявил мне:

— Не знаете, почему я поехал с вами?

— Не знаю.

— Я хотел показать селякам, что правительственная власть тут на вашей православной стороне. Ну, а теперь никто уже не видит, и я оставляю вас.

Официально-холодно простившись со мною, он вскинул на плечо ружье, позвал свою собаку и пошел охотиться за зайцами. А я ехал и печально думал. Право, не знаю, что лучше: такое государственное лицемерие, издевательское покровительство Православию или прямое гонение? Мне первое было противно... Не знаю, что после случилось с синевирцами. Они и не подозревали, какую лицемерную игру провел их безбожный чех-жандарм...

Вспоминая теперь лесного старика и этого чистенького офицера, я, конечно, понимаю, что чехи несравненно выше угорских русских по внешней культуре. Но право, я, не колеблясь, предпочел бы любого из этих простецов на каком угодно посту, а не презрительных чехов. Культурны они умом, но не сердцем. Кстати,

по всем большим городам Чехословакии были торговые магазины «легионеров», прошедших с адмиралом Колчаком по Сибири до Волги и откатившихся к Тихому океану назад. Но воротились они домой не пустыми, а с русским золотом. Упорные слухи ходили об этом открыто: чехи захватили в Сибири вагоны с золотом и на него теперь торговали. История лучше меня выяснит все это.

Еще мне осталось сказать об угорских евреях. По всей этой области их очень много. Большей частью они заняты ремеслами и, конечно, торговлей. Портные, кузнецы, слесари — все это евреи. Сохранившись вместе с карпаторусскими в складках гор и среди лесов, они носили все признаки старого еврейства: и бороды, и пейсы, и длинную одежду, и особые шляпы. В вагонах не стеснялись, когда полагается, молиться. А в какие-то часы, когда требовался обряд омовения, они пальцами собирали с оконных стекол капельки пота и мазали им себя.

С населением жили взаимно мирно. В одном прекрасном селе Лисичеве, среди чудной зелени и гор, евреи устроили мне как архиерею особую встречу с хлебом-солью и речью. Впечатление от них осталось доброе. Откровенно скажу, лучше, чем от культурных чехов...

Когда у меня были еще деньги, я снимал комнатку у старой, лет 60-ти, еврейки по имени Хайка. Она всегда была любезна со мной и даже утешала меня в горькие минуты.

— Ты сейчас, — говорила она раз, — поднимаешься на гору, и теперь тебе трудно. Но вот когда ты взойдешь на «ровно», то есть вершину и плоскогорье, тебе будет легко...

Спасибо ей за эти милые слова.

Еще хвалилась она часто своим отцом:

— Он такой был умный, такой умный! Как никто!

Занимался он в России, правда, контрабандой, но это ничуть не казалось ей предосудительным делом.

— Один раз он нанял русского везти товар. Нужно было ехать два дня. Проехали один, а на другой день утром мой отец говорит ему: «Иван! Вот тебе деньги за два дня, но ты возвращайся домой», — и нанял другого извозчика. «Почему?» — спрашивает тот. «А вот что, Иван: целый день мы с тобой ехали, и сколько “церковь” проехали, а ты ни разу не перекрестился. Нехороший ты человек, Иван!»

Но когда она рассчитывалась со мною (перед уходом к Ивану), то просила заплатить за целый месяц, хотя я не дожил еще три дня до конца его. Но все же храню благодарную память о ней.

Через месяц после визита к нам матушки с продуктами я получил от чиновника, губернатора города Мукачева, приглашение зайти к нему. И он, стесняясь, прочитал мне приказ чешского правительства, который начинался словами: вследствие едненя (соглашения) между сербским и чешским правительствами мне предлагается оставить пределы Чехословакии.

Причина была такая: сербы выговорили себе какие-то права для сербов у чехов, а чехи — для чехов у сербов, одним из условий сербов было удаление меня из Чехии, потому что моя церковная работа там сразу затормозила расширение сербского церковного влияния. У меня с 21 прихода скоро стало 42, а сербские 14 так и замерли на этой цифре. Сербы, не имея сил бороться со мной церковным путем, вступили на более легкий — политический. И тут, думаю, приложил свои руки Горовский.

— Сколько времени я могу пробыть в Мукачеве? — спросил я губернатора.

— 24 часа.

— Я могу выехать и через 2 часа.

Пришел к своему нищему Гавыю, и он сначала страшно поразился решению правительства, но потом уныло махнул рукой: прежде мадьяры гнали русских,

а теперь — чехи. Разница ему не показалась большою и удивительною. Я быстро написал послание своим священникам и просил их отнестись к моему удалению смиренно. А раньше они, узнав стороною об этих намерениях правительства, послали коллективную телеграмму президенту Бенешу[312] (Масарик уже умер) с тревогой по поводу слухов обо мне. Но, конечно, не получили ответа. Наоборот, Бенеш, может быть, даже сильнее настроился против меня, увидев симпатии ко мне и селяков, и рядового духовенства.

Через два часа на вокзале меня провожали друг Иван и еще один милый священник, отец К., из русских семинаристов, бывший потом белым офицером. Прекрасная активная личность, большой русский патриот.

В память своего пребывания я оставил в храме села Русского большую древнюю икону Знамения Божией Матери (около аршина высоты). На ней два изображения: верхнее — новое, живописное, нарисованное русской художницей в Сербии, а под ним — древнее, старинной рукописной работы. Если кому-нибудь придется прочитать со временем эти строки, то прошу реставрировать древнее изображение. Эту икону, в особом полотняном мешке, я возил и носил с собою (весом она была 15–20 фунтов) по всей Карпатской Руси в благословение ею. А кроме того, католики клеветали на православных, что будто мы не чтим Божию Матерь... Вот бессовестные провокаторы! А когда я привозил эту икону, то верующие сразу видели униатский обман.

У меня осталось на память архиерейское облачение, сотканное, сшитое и расшитое карпаторусскими женщинами, по образцам, нарисованным тем же отцом К., он был и художником. Прочное самотканое полотно цело и доселе, после 20-летнего употребления его. И мне хотелось бы быть похороненным в этом простом, без золота и серебра, облачении, когда придет конец.

В Праге архиепископ Савватий ничего не знал о моем выдворении. Но помочь уже не мог. Я желал бы попасть теперь на Родину, но чехи тогда были против Советского Союза и не могли хлопотать об этом. И потому, по просьбе и соглашению их, меня воротили в Сербию... Так политика давила на Церковь в «демократических странах».

Нерадостное осталось у меня впечатление о чехах. Но добро их русским студентам и профессорам не нужно забывать. А теперь, когда их освободят от Гитлера русские с союзниками, они, быть может, больше оценят Россию, но в любовь их я опасался бы верить.

Австрия, Венгрия, Германия

Австрию я видел проездом по железной дороге в вагоне и в Вене. В общем австрийцы, включая и немцев, произвели на меня впечатление мягкое и культурное. Очевидно, долгое сожительство с другими народами — венграми и славянами — в одной общей державе выработало деликатность или тактичность в обхождении.

Вена послевоенная произвела на меня впечатление брошенной невесты: огромные, широкие и красивые улицы были поразительно пусты. Изредка промелькнет автомобиль, и опять скучно-пусто. Прежняя веселящаяся Вена умерла. Побыл я в семье одних немцев, друзей моих знакомых, — и там грустно. Но вражды у них к России не заметил, то есть в этой семье, конечно, хотя и мы, и они пережили французскую трагедию. Австрия тогда (1923 год) была маленьким государством, что-то около 7–8 миллионов жителей. Венгрию я видел лишь в Буда-пеште, лучше писать: Буда-Пеште, потому что это два города. Огромные здания и грузные мосты особой, красиво-тяжелой архитектуры произвели на меня сильное впечатление чего-то давящего, но прочного и красивого. Таких



Вена. 1920-е гг.

фундаментальных построек я не заметил нигде, даже в центральной части Лондона. Там есть гораздо более высокие и колоссальные здания, как, например, австралийский «бильдинг», но то коробки по сравнению с прекрасной солидарностью Буда-Пешта. Какая связь такой архитектуры с духом и историей Венгрии — не понимаю. Великодержавной она никогда не была. Значит, есть какая-то связь с психологией этого народа. По моему наблюдению, венгры люди действительно «тяжкие». Постараюсь это разъяснить. Когда встречался с ними в Карпатской Руси, где они так недавно, до войны, были панами над простодушными нашими русскими братьями, то я видел их больше молчащими и нахмуренными, что называется, «с тяжелым взглядом». Но под этим видимым молчанием лежала грузная сила, страсть и даже жестокость. Видно, прежняя многовековая монгольская кровь (они пришельцы из Азии) не сломалась и от европейской культуры: Европа лишь придала красоту и внешнее обличие, а внутри еще жил дикий монгол, двигатель, разрушитель, Чингисхан. И католичество, как это заметно на хорватах, словенцах, словаках и даже на послушных поляках, а из него венгры взяли тоже силу, волю, господство, соответственно своему природному характеру. А насколько они жестки и жестоки, я видел на их тяжело-презрительном (у чехов гораздо мягче) взгляде на карпаторуссов. Казалось, вот суровый и грузный мадьяр развернется и без причины ударит славянина, а то и убить его ничего бы не стоило... Мне всегда венгры были страшны.

Говорят, что даже и в танцах их будто сразу чувствуется срыв, резкость, сила и горячая страсть. Народ они опасный и положительно ненадежный. Всякая прописная мораль им не к лицу, их закон — своя давящая воля... И притом монгольски-хитрая. Но, к счастью, их немного. Однако с ними нужно быть и дальше весьма осторожными и в политике, и в жизни. Малый, но горячий и властный народ.



Венгерские крестьяне в национальных одеждах. *Фото 1920-х гг.*

В Германии я был не раз, хотя и ненадолго, останавливаясь в разных городах. Мюнхен произвел на меня прекрасное впечатление своим красивым видом домов и улиц. Обычно думают, что у немцев все дома однообразны и скучны. Но только про Мюнхен нужно сказать, по-моему, совсем наоборот: разнообразие архитектуры и украшений такое богатое, что мне кажется, я такого красивого города не видел нигде — ни в Европе, ни в Америке. И хотя я не специалист, но я подметил, что масса домов, или, лучше сказать, дворцов, построена в смешанном стиле Возрождения и рококо. А какие парки, сады, мосты... Ходишь — не налюбуешься! Не знаешь, на что больше смотреть! Проходя мимо католической церкви, я услышал пение. Бавария — католическая область. Зашел. Служили нечто вроде нашего молебна с акафистом. Стояли со свечами. Помолился и я несколько минут. Служба кончилась. Я вышел и пошел дальше, по обычаю я был одет в рясу и клобук. Вдруг вижу, почти бегут за мной с десяток хорошо одетых женщин и детей, приятно улыбаясь. Я остановился: в чем дело? Они бросились ко мне и смиренно просят благословения. Я объясняю, что я православный, русский, но это не изменило их ласкового взора и желания получить мое благословение, что я и сделал с любовью и удивлением.

В первый раз за все встречи с католиками, за исключением миссионера Дольче, я увидел такое мирное, приятное и религиозно-почтительное отношение. В Америке, например, я несколько раз пробовал первым кланяться их монахиням, но они даже не отвечали ни мне, ни русской монахине. И я перестал кланяться. С неохотой кланялись, а иногда тоже не отвечали и католические священники. Но я при встречах и теперь продолжаю приветствовать всякого, кто носит священнический крахмальный воротничок. Все же и они христиане, и по-своему служат Христу.

Получивши благословение, радостные мюнхенки и дети пошли по улице обратно. Значит, они не были по-



Германия. *Фото начала XX в.*

путчиками мне, а специально догнали меня за благословением. Умилительное и отрадное воспоминание. Еще отраднее будет в Англии, но там не от католиков.

Кажется, в том же Мюнхене (если не в Дрездене) пришлось видеть колоссальный вокзал с крытым ангаром для поездов. Говорят, будто это величайший в Европе вокзал, но красотой не отличался, зато чуть не на версту растянулся.

В Дрездене не остановился и не видел знаменитую галерею с картиной Рафаэля «Мадонна». Копию с нее я привык видеть с детства в нашем сельском храме Чичериных. Художник из крестьян, получивший образование за счет барыни Чичериной, хорошо нарисовал ее. Но все же это не святая молитвенная иконопись, а лишь роскошная натуральная живопись. Самый город со стороны показался мне почему-то большой деревней, которая окружена дальше зеленой долиной, а за нею виднелись горы.

Но вот и знаменитый Берлин. Широкие улицы, большие, но не огромные дома, чистота и порядок, но не исключительные. Довольно однообразный, хотя и не одинаковый стиль построек. Кое-где наземные железные дороги страшно портят вид улицы; все это произвело на меня бесцветное, скучноватое впечатление. Другой раз я не пожелал бы видеть Берлина.

Был проездом и в Кельне. Серый старый город. Издали виднелся знаменитый собор с двумя высокими остроконечными башнями, точно искусственно и насильно тянущимися к небу руками. Снаружи он не понравился мне, как и вообще все подобные церкви готического средневекового холодного стиля рационального схоластического «ума и воли», но не живого сердца, исполненного радостью спасения Христом Господом. Этот радостный стиль знает лишь православная Византия, в закругленных куполообразных храмах, который начинался со Святой Софии и до многих сельских, с розоватыми че-

репичными крышами церковок, везде чувствуется совершившееся уже сошествие Неба (куполов, круглых окон, закругленных стен и крыш и даже коротких крестов) на землю. Спасение уже вот тут, у нас: приходи, бери, радуйся, благодари Спасителя, славослови Его, торжествуй!

Нам, русским, такое торжество и радость даже не под силу. Потому наши русские зодчие потом стали строить полутемные, смиренно-покаянные, с уютными уголками, тесными продолговатыми окошечками храмы псковско-новгородского стиля; но отчасти соединяли с ним и греческую кругообразную форму стен и куполов. Таким образом получился весьма своеобразный «русский» стиль: сочетание покаяния с надеждой на спасение.

Лично мне трудно было бы ежедневно стоять на молитве в таких торжественных, светоносных, роскошных, куполообразных храмах, как Святая София. Это можно было бы испытать разве несколько раз в году, а иначе для грешного сердца было бы чрезмерно «сладко». Потому мне нравились скромные сельские церковки, особенно старого стиля. В Валаамском, например, монастыре на Ладожском озере, где новый соборный храм был выстроен в общем по византийскому стилю, мне нравилось молиться в нижнем полутемном низком храме с низкими и широкими колоннами больше, чем в огромном высоком разукрашенном верхнем этаже. И обычно у монахов будничная служба совершалась внизу, а наверху они радовались лишь по праздникам.

Готические храмы холодны, пусты, даже нет почти и «икон», и росписи, голые стены. А у нас — сверху донизу — Спаситель, Божия Матерь, святые, святые или изображения праздников: Бог, Небо — опять тут, с нами. Все живет кругом. А святые — смиренные, со склоненными головами, но полны мира и блаженной любви к Богу.

Новая русская живопись, включая даже и самого В.М. Васнецова, все же была в некоторой степени реалистична, хотя основные идеи, формы и образы он

брал с древних икон, как он сам говорил моему другу, художнику-академику П-ву. Кстати, мне пришлось лично знать Виктора Михайловича: иконописное тонкое лицо с продолговатым носом, чистой бледно-розовой кожей, раздвоенной узкой седой бородой, с небольшими скромными и внимательными глазами, тихим и спокойным голосом. Все это сразу делало его благообразным, почтенным, знакомым вам простым человеком, будто бы он и не был гением живописи, а только рядовым мастеровым ее. Живопись его была, как и все христианство, сильной в красках, тогда как светские художники, работавшие в храме Христа Спасителя, снесенном, увы!, большевиками, расписали его бледными полутонами, от которых серело в глазах и не радовалось сердце. А на Западе и этого нет.

Стоит обратить внимание на то, что протестанты, вопреки католикам, учат, как известно, о своей спасенности лишь за «веру» во Христа, а не за дела, но в архитектуре их храмов остался этот же готический холодный нерадостный католический стиль. Недаром наш митрополит Сергий в своей книге «Православное учение о спасении»[313] считает протестантизм внутренне не противоположением католицизма (не «протестом»), а продолжением его. Я же смею добавить, что протестантизм является дальнейшим оскудением и охлаждением католицизма и постепенным вырождением из веры в рационализм, а он -- в безбожную общественную мораль.

Но главное в людях. Опуская мюнхенское отрадное воспоминание, я от немцев, особенно в протестантском Берлине и других местах, вынес еще тогда тяжелое впечатление. Передо мной ясно зарисовался их «идеал»: материальное мещанское благополучие. Это и чувствовал я везде: вот бы иметь дом и доход, а еще бы лучше — красивую дачку в лесу за городом, и этого довольно. Ни о каком «Царстве Небесном» они не хотят помышлять, все «тут» для них, в царстве земном.

Другое впечатление, связанное с первым, то — их самодовольство и самоуверенность. Несмотря на поражение в первой войне, они продолжали чувствовать себя почти надменно, только прикрывая эту черту свою видимой воспитанностью. Но и ее они хотели показать как знак своего культурного немецкого — теперь сказали бы «арийского» — превосходства.

Замечательный характерный разговор с одним немцем произошел у меня в берлинском наземном поезде. Он, оказалось, отлично, без акцента, говорит порусски, так как пятнадцать лет прожил консулом в Киеве. Меня он сразу признал за русского по рясе. После короткого знакомства он откровенно заявил мне:

— Напрасно мы с вами затеяли войну. Нам бы следовало соединиться вместе и разделить весь мир пополам!

Так бесстыдно и сказал. Я же подумал: были вы хищниками-материалистами и теперь остались такими же. Печальная история войны ничему вас не научила! Опять все те же захваты, те же материальные «идеалы», та же самоуверенность. Европейские мещане!

Но я не сказал ему этого: бесполезно, не понял бы этого немец. Следовательно, в их душе продолжает тлеть тот же империалистический захватнический дух, который потом воплотился в Гитлере и вылился во Вторую мировую войну. И потому с несомненностью нужно утверждать, что виноват в ней совсем не один Гитлер, а весь немецкий народ — народ материальный, гордый и жестокий, холодный, как все пираты и разбойники. И человечество не может примириться с такими ненасытными аппетитами их, потому и восстал против них весь мир. А помогают им лишь японцы, народ тоже узко материалистический, злой и эгоистичный. Итальянцы — иной народ, и они вовлечены были в войну не по своей воле, а самомнительным и тщеславным Муссолини.

На этой почве материализма произошло и страшное столкновение немцев с еврейством. Будь они сами более духовны и кротки, мирились бы с еврейским материализмом, но тут столкнулись два материализма, и ужиться они не могли. Началось гонение на евреев в этой стране, которая продолжала гордиться «идеализмом» прежних философов, но и идеализм их, например, гегелевский, в сущности был лишь оправданием этого материального мира, который якобы «развился из абсолюта». Не говорю уже о безбожной материалистической философии Фейербаха, Маркса, Ницше, Шопенгауэра, Штирнера и других. Недаром же многие немцы к концу XIX и в начале XX века стали пугаться за будущее своего народа и взывали о возврате к духовным ценностям. Напрасно: народ так легко не изменяется. Изменит ли их эта вторая война — не знаю. Американские мыслители, как вице-президент Воллэс[314] и иные, думают и пишут, что для перерождения его потребуется длительное время. Но удастся ли это? Да и кто будет «перерождать»? Не страдаем ли и мы все практическим материализмом, только в меньшей степени?

Еще мне осталось сказать об их земле. Чем дальше вы едете к северу, тем несчастнее становится почва, и, понятно, она не может пропитать массу народа. Отсюда и эмиграция немцев в Америку, где их насчитывается будто бы до пятнадцати и более миллионов. Много их в Бразилии и в Аргентине.

Но зато у них была очень развита индустрия, и они могли обмениваться на всякое сырье. Однако горделивые германцы не хотели смириться: жить в других землях, а не у себя. И потому решили воевать, чтобы захватить новые огромные земельные пространства в черноземной русской Украине, нефть — на Кавказе, колонии — во всем мире и господство над всеми нациями. Смирить их может лишь такая же сила, какою они хвалятся сами, и такая же «культурная» война, какую начали они со всем

светом. Иных резонов они не признают. Это очень ясно поняли на горчайшем опыте русские, раньше них поляки и англичане, потом французы, а теперь и американцы. Но немцы будут сражаться до последней крайности: гордыня не любит останавливаться на полпути. Не верю я и в слухи о желании ими «сепаратного мира» с русскими: не такие они люди. И русские теперь их узнали! И русские честны на своем слове союзникам.

Что касается их <культурности>, то я видел ее еще и в Орше, и на Украине, когда они господствовали там. Об этом я писал прежде. И мне не удивительно было читать о зверствах их в России... Но, признаюсь, я все же думал о них менее худо. Теперь объявилось их подлинное лицо — «культурных зверей». Они не остановятся ни перед газами, ни перед химической войной. Им все равно...

Конечно, я видел и хороших немцев. Одну такую семью мне пришлось встретить в Нью-Йорке. Приехавший из Германии почтенный старец был искренне религиозным и противником безбожного гитлеризма. Но это не весь народ. Что касается церковной стороны, то немцы всегда поддерживали правых карловчан, видя в них единомышленников против Советского Союза. Даже митрополит Евлогий казался им ненадежным. Поэтому при Гитлере карловчане заключили с немцами нечто вроде политического конкордата[315]. Поэтому Гитлер отвел им в Берлине участок земли и дал средства даже на постройку храма. А карловчане в лице митрополита Анастасия и Карловацкого Синода превозносили Гитлера как «спасителя» мира и обещали молиться за него. При взятии немцами Белграда Анастасий и другие карловчане остались в безопасности, о чем от них пришло письмо и в Америку: свой своему поневоле брат. Об этом документально напишу в главе «О войне»[316]. А когда Гитлер заключил обманчивый союз со Сталиным[317], то карловчане сначала растерялись, но

догадались, что это хитрость немецкая, чтобы удобнее разделаться сначала с другими врагами.

К нашей Патриаршей Церкви они сначала отнеслись враждебно. В Берлине арестовали старца нашего протоиерея Г. Прозорова, но после шести часов допроса отпустили. Когда взяли Париж, то заявили о своем лояльном отношении к митрополиту Евлогию через русского офицера-изменника. К нашей Патриаршей Церкви там отнеслись подозрительно как к «большевистской», но ввиду соглашения с Советами не тронули нашего духовенства. Однако из документальных сведений, полученных мною окружным путем, я понял, что немцы с нами лукавят. И потому написал в Россию митрополиту Сергию письмо с предупреждением. Но он настолько верил в искренность их союза со Сталиным, что написал мне в ответ: лучше-де держаться «континентального» союза, чем надеяться «на заморье». И скоро ему пришлось раскаяться. В послании от 22 июня 1941 года, в день <начала> войны немцев против России, он с того и начал: «В то время, когда весь мир был объят пламенем войны, а мы надеялись жить в мире, вероломные немцы...» и так далее. Теперь уже он не верит в их искренность. И никто им не верит уже. А верил митрополит Сергий по простому психологическому закону, выраженному святым Григорием Богословом после его ошибки «в дружбе» Максима Циника[318]: «Кто сам верен, тот всех доверчивее». Митрополит Сергий сам совершенно честный человек и добросовестный христианин. А немцы — эгоистичные материалисты. Поэтому и при Вильгельме всякие союзы были лишь «клочком бумаги». Такими же немцы остались и при Гитлере, только еще более наглыми. И прежняя хваленая немецкая «честность» теперь забудется на многие столетия. Они знали лишь закон силы: всякий судит о других по самому себе.

Франция

В 1925 году я был приглашен митрополитом Евлогием в качестве инспектора и преподавателя Богословского института, в сущности — возглавлять его, хотя официально считался ректором его сам митрополит Евлогий.

Париж — красивый город, но ничего чрезвычайного я в нем не нашел, потому и не буду писать об этом. Но народ французский мне весьма понравился. Перебирая в памяти виденные мною страны, я нередко говаривал, что после своей Родины и Карпатской Руси мне больше всего нравились сербы, а тотчас же за ними стояли в сердце моем французы. С этими впечатлениями остаюсь и теперь. Что же нравилось мне в них?

Французы — мирный и очень дружелюбный народ. А их деликатное обхождение, вошедшее давно в плоть и кровь, невольно располагает вас к ним. И всегда они веселые, неунывающие. По природе своей и за долгую свою историю они стали народом интернациональным. Поэтому у них одинаково дружно живется всем эмигрантам — полякам, итальянцам, а потом и русским. Вы, живя среди них, совершенно не чувствуете себя чужими. Не случайно один из студентов нашего института нарисовал карикатуру на товарища такого рода: едет трамвай, наш студент снимает сапоги, грязные чулки и развешивает на петли вагона, за которые принято держаться стоящим, разваливается на скамейке заснуть. А внизу надписал: «Чего же стесняться в своем отечестве».

Да, Франция была для нас почти отечеством. С искренней любовью и благодарностью вспоминаем ее. И когда на нее напали немцы, мне было горячо жалко ее. Народ живой, жизнерадостный, свободолюбивый. В день взятия Бастилии (14 июля) по всему городу танцы. Так же в день святой мученицы Екатерины (7 декабря по новому стилю): портнихи-модистки «катеринки» выходят на улицу, и с ними танцуют и любезничают французы. Святую Ека-

терину они считают покровительницей своего класса. Ничего подобного нет во всем мире.

Правда, они народ «свободных» нравов. Я однажды сам видел картину, как в вагонах женщину специально сажают мужчины на колени, целуются. Рассказывают и о более вольных сторонах жизни: в кабаре, ресторанах, кинематографах, веселых домах. Но я не заметил чрезмерных фактов. В Америке теперь я видел гораздо больше, чем во Франции. Один из русских писателей напечатал этюд под заглавием «Душа Парижа». Там он излагает свое наблюдение, будто душою этой является женщина. Не знаю, по-моему, весь французский народ такой, а не одни женщины. Некоторые думают иначе, чем я. Нужно, однако, согласиться, что прирост населения во Франции все больше уменьшается, потому страна нуждается в притоке эмигрантов. Указывалось также и на упадок земледельческих ферм: тяжелый сельский труд стал неприятен французам — легкая (будто бы) и веселая жизнь в шумных городах с массой театров, кинематографов и забав тянет их из деревень в центры; фермы иногда забрасывались.

Все это носило признаки начавшегося ослабления и вырождения народа. Не напрасно же французов в театрах выводят нередко лысыми. Я лично тоже отмечал у них относительно больший процент лысых, чем у немцев, американцев или русских, не говоря уже о неграх, где совсем нет их.

Называли французов еще «сантимниками», то есть мелкими мещанами, скопидомами. Но я не замечал этого. Причем я считал бы такое свойство душевным плюсом, а не минусом: бережливость есть признак здоровой души.

Политическая жизнь их за годы, какие я прожил во Франции, состояла в беспрерывной борьбе партий. Но главных было три-четыре, а не восемнадцать, как в Болгарии. Эта борьба тоже свидетельствовала о душевном развале. Одно время она обострилась до уличных револю-

Париж. У подножия Эйфелевой башни. *Фото 1920-х гг.*



Свято-Сергиевский Православный Богословский институт в Париже

ционных восстаний в Париже (в конце 1933 года). Одни элементы были более левые, склонные к социализму, а другие оставались буржуазно-республиканскими. В конце концов взяли первенство социалисты, с Блюмом[319] во главе, но скоро они опять должны были уступить свою власть более умеренным партиям, особенно ввиду надвигавшейся войны немцев. И к моменту нападения их на чехов у власти оказался несильный, лысоватый Деладье[320]. Несильным, хотя и очень милым, был и сам президент Лебрен.

К новой советской власти французы в массах относились скорей сочувственно, но у себя не хотели вводить коммунизм, потому что французы все же больше собственники в душе и свободолюбивые индивидуалисты в обычной жизни. И потому Деладье пошел на сговор с Чемберленом и Гитлером, а не с Советским Союзом.

Про армию их всегда говорилось, что она — первоклассная сила. Я, зная общую психологию народа, не доверял этому. А после, незадолго перед второй немецкой войной, я узнал, как один французский офицер открыто признался: «Армия не желает войны!» Это очень важный знак слабости народа. Потому думаю, что проигрыш их в борьбе с немцами объясняется не только преимуществом военной техники последних и не изменою «вождей», как принято говорить, а больше душевной слабостью этого милого народа.

Теперешнее рабство их под немцами, надеюсь, много излечит их от развала. Де Голль[321] и Жиро[322] уже указывают на такое возрождение. Потопление самими французами своего флота в городе Марселе свидетельствует об оживающей жертвенности французского народа. Почти несомненно, что при появлении союзников на французской земле мы будем свидетелями взрыва патриотизма в этой стране.

Нужно отметить, что французы не только веселы и легкомысленны, но и терпеливы, трудолюбивы. Между прочим, я видел одну замечательную сцену. Грузили с

парохода на берег прекрасных лошадей при помощи подбрюшных ремней. Все шло благополучно. Но одна вороная лошадь билась от испуга и долго не давалась поднять ее. Наконец машина подняла ее на сажень, а она в воздухе билась и все же сорвалась на палубу, ободрав себе ногу до крови. И вот тут подошел к ней француз — сержант лет сорока. Как он ее успокаивал! Как он ее гладил со всех сторон! Потом пролез под ее брюхом. И опять гладил. И все-таки успокоил. Потом поддел ремень, и лошадку перенесли через борта. Она хоть и металась опять, но все же опустили ее в воду, и она поплыла к берегу. Все это продолжалось с полчаса. И я подумал: если бы я был французским генералом и наблюдал эту сцену, я дал бы сержанту медаль «За храбрость и выдержку». Нечего и говорить: этот француз не имел лысины. И сейчас французы терпеливо ждут своего момента... И он близок.

Нужно сказать и о религиозной стороне их жизни. Французов никак нельзя назвать безбожниками. Мне пришлось однажды в Париже откровенно говорить с католическим миссионером по этому вопросу. Он дал такие сведения, если только они правильны. По его словам, среди французского населения до 30 процентов совсем не крещены, а из остальных 70 процентов половина — «по практике», то есть крещеные, но не практикующие религиозно: не ходят в церковь, не молятся дома, живут как неверующие. И лишь остальные, то есть приблизительно около одной трети населения являются «практиками», то есть практикующими на деле свою религию. Если это верно, то положение католицизма (протестантов во Франции мало) далеко не радостное в этой стране.

Потом нужно отметить еще одну особенность и про «практикующих»: в городах из рабочих мало посещающих церковь, а больше интеллигентного класса, и преимущественно женщины. Так мне говорил француз сержант, бывший «комиссаром», то есть представителем своего правительства на русском торговом корабле

в Константинополе: «У вас, русских, верующих больше из народа, а у нас, французов, наоборот: рабочий класс более безрелигиозен, а интеллигенция — более верующая». В селах, несомненно, религиозность выше, чем в городах. Однако мне приходилось слышать от одного католического священника, что некоторые деревенские храмы пустуют, и потому один настоятель (кюре) иногда обслуживает два-три других прихода. Недостает и кандидатов во священники: обычно ученики семинарии набирались католиками из крестьянского сословия, а так как там теперь религиозность оскудевает, то меньше и желающих быть священниками. Впрочем, эти сведения и слухи мною недостаточно проверены. Но вот я точно <знаю> о неоккупированной Франции: теперь храмы даже и в будни посещаются усердно, а в праздники и воскресные дни в них даже тесно. Это писала мне старая православная женщина.

Но если и признать малорелигиозность французов, то я ни разу не видел никаких публичных безбожных выступлений или даже озорства. Наоборот, скорее можно было подметить уважение к религиозным проявлениям. Между прочим, католическое духовенство во Франции без всякого стеснения носило священническую одежду — длинные подрясники, а монахов различных орденов можно встретить, например, в соответствующих рясах, подпоясанных веревкой, с капюшоном сзади, почти босыми. И никто этому не удивляется, привыкли. Кажется, эта одежда присвоена «бенедиктинцам». И вообще ни малейшего гонения на Церковь не было.

Времена (1905 год) Комба[323] давно кончились, а прошлая война, где священники жили и воевали в одних окопах, сблизила, говорят, духовенство с народом больше всяких декретов, хотя Клемансо был безбожником[324]. А в данную страшную эпоху это сближение еще более окрепнет. Маршал Петен[325] даже открыто покровительствует католицизму.

Конечно, в литературе у них свободно выражаются самые атеистические идеи. Особенно этим отличался писатель Анатоль Франс со своими кощунственными и умными книжечками и памфлетами. Но наряду с этим мы видим в той же «Академии бессмертных» (высшее научное учреждение, подобное нашей Академии наук) и французского епископа Бодрийяра. Там же был и ученый-атеист М. Дантек, написавший к концу жизни «Исповедь безбожника», в которой он считает атеизм великим несчастьем и даже безумием для человека. В Париже ходили при мне слухи (он не так давно скончался), что он перед смертью возвратился в христианство.

Но о католическом духовенстве у меня как беженца остались печальные воспоминания. Всякому понятно, что мы, русские, нуждались в храмах или хоть в часовеньках или даже каких-нибудь подвалах для богослужений. История не знает буквально ни одного случая, чтобы Католическая церковь предоставила нам хоть одно помещение для этого. Обратился и я через посредство аббата Канэ с подобной же просьбой. Он принял меня довольно вежливо, но холодно. Заговорили о папе, что он весьма культурный и даже читает русские книги (Н.А. Бердяева), но я с большей радостью услышал бы, если Канэ сказал бы, что папа («наместник Божий на земле») отличается святостью жизни, любовью к молитве, смирением, милосердием. А культура и литература... Чем хотел удивить?! А когда зашла речь о помещении, то в этом мне было отказано «любезно». И я с укором помахал головой и сказал:

— Вот когда вы, католики, просили у нас о том же, то мы вам давали.

— Когда? — недоуменно спросил он.

— Когда немецкие войска, баварские католики, занимали нашу Украину (1914 год)[326], ко мне, как к епископу, военное начальство обратилось с просьбой предоставить им храм. И я дал согласие. Только предложил не служить на наших престолах.

Он стеснительно чуть улыбнулся и ничего не ответил.

Впрочем, указанный выше миссионер произвел на меня доброе впечатление. А после я познакомился с одним выдающимся ученым-монахом, редактором антимасонской литературы. Весьма умный, но и простосердечный человек. После он посетил наш убогий подвал, патриарший храм, и стоял благоговейно во время службы. Но эти люди брали ответственность лично на себя, а Церковь в официальных представителях поступала формально. И конечно, такое холодное отношение никак уже не могло содействовать не только «объединению», но даже и сближению. Наоборот, хотелось (и теперь хочется) быть подальше от этих самомнительных фанатиков.

Светлым явлением более широкого масштаба была организация французских католиков возле образованного и широкотерпимого Маритэна[327]. Там встречались и русские православные (светские) лица и даже, кажется, протестанты; велись беседы на разнообразные темы о христианстве и сближении. Теперь Маритэн живет в Америке.

Но католическая народная масса относилась к нам, православным, гораздо любезнее и сердечнее, чем их духовные отцы. Слава Богу и за это!

Вспоминаю еще один факт. В Латинском квартале, где живут студенты, есть огромнейший храм, называемый теперь Пантеоном. Не знаю, когда (не в министерстве ли гонителя христианства Комба?) он был отнят у католиков и превращен в музей. Когда я дошел до алтарного места, то увидел очень большую картину военного жанра: какая-то кавалерия неслась на врага, и на самом переднем фасаде выделялись зады лошадей. Точно непременно хотели поиздеваться над верою, что на самом священническом месте выставили такое зрелище.

Чтобы закончить свое впечатление о Франции и французах, не могу пройти мимо страшного убийства



Суд над П. Горгуловым

Перед казнью П. Горгулова

русским беженцем, казаком Горгуловым, президента республики Думера[328]. Он был уважаем всеми французами, никто и из русских не мог пожаловаться на него. И на какой-то выставке его убил из револьвера наш соотечественник. Он считал себя «писателем», хотя никто из нас не знал о его писаниях. Поводом к убийству была безумная идея: обратить этим преступлением внимание всего мира на большевиков как врагов человечества. А другие объясняли все это просто ненормальностью Горгулова. Был суд, его признали ответственным и казнили на гильотине: отрубили голову. И перед казнью и после нее среди русских шли споры: кто он? К какой группе эмиграции принадлежит? Белые, чтобы снять с себя вину, старались обвинить его как большевика, а те не без основания возражали, что убийца — из белых беженцев. Так мы, русские, оба крыла, отрекались от своего несчастного собрата: «Не наш, не наш!» — кричали все. А чей же? Чей-нибудь должен быть. И мне стало стыдно и даже грешно так отрекаться от него всем. Это означало, что мы «умывали руки», как делал Пилат на суде над Христом (см.: Мф. 27, 24). А в самом деле, по моему мнению, виноваты обе стороны. Одни — большевики — тем, что выбросили человека на тяжелую жизнь эмигранта. А другие — все мы, белые, — тем, что разжигали пятнадцать лет во всех, особенно в беженцах, вражду против большевиков и призывали иностранных правителей выступить с интервенцией против советской власти. А теперь все отрекаются! И мне подумалось по-христиански: если я в чем виноват, то лучше сознать свой грех и покаяться в нем, тогда последствия вины изглаживаются. Если же не сознавать свой грех перед ближним, да еще и оправдывать себя, то грех остается в нас, и последствия потом отразятся на нас же самих. Потому я сказал в своем патриаршем храме слово на такую тему и объявил, что буду служить за него заупокойный сорокоуст (то есть сорок Литургий). Так и сделал, слава Богу. Совесть моя осталась спокойной, я принял свою часть вины, как бе-

лый, и покаялся в ней. И не раскаиваюсь в этом, хотя иные (мнимые праведники) и осуждали меня за такой шаг и такие суждения. Бог с ними!

После казни Горгулова я получаю телеграмму с юга Франции от духовника его, отца Жилле[329]. Это бывший католик-монах, весьма образованный, говорил и по-русски, сознательно принял Православие. Ему правительством было разрешено посещать арестованных русских. Он считал своего духовного сына, который исповедался перед смертью, ненормальным. Узнав с моем отношении к убийце и не имея возможности приехать вовремя, он телеграфно просил меня отпеть казненного при погребении. Я взял с собой певца и часов в 6–7 утра отправился на одно кладбище, где секретно должны были закопать Горгулова. Приехал катафалк с гробом. Оказалось, он был такого огромного роста, что его гроб не вошел в обычной величины катафалк, так что задняя дверца его была приотворена и завязана веревкой. Инспектор полиции опросил нас, кто мы и зачем. Я показал телеграмму, и он согласился разрешить нам отпеть. Но в этот момент прибыл другой священник, тоже православный француз, от имени митрополита Евлогия, и он отслужил короткое отпевание. А мы стояли и молились за убийцу. Впоследствии его тело было перевезено на далекое от Парижа кладбище и там похоронено среди других неизвестных могил. Прости его и нас, Господи! Да, и нас, белых. Еще Достоевский говорил: все мы друг за друга виноваты[330].

Теперь перейду вообще к русским во Франции. Много нас приняла эта страна. Большей частью белые поступали в рабочие на военные и аэропланные заводы в городе Крезо, у Ситроена, в Париже и так далее. Очень многие стали шоферами, особенно в столице. Говорят, здесь их было до четырех тысяч. Разумеется, они работали не на своих авто, а в компании. Среди них был и сотрудник генерала Врангеля генерал П.Н. Шатилов.

Вообще нужно сказать, что добровольцы, пережившие почти легендарную борьбу на Родине, привыкли ко всему, и никакие работы их не пугали. Прошлые привилегии и легкая жизнь были забыты, и наши офицеры, до генералов включительно, оказались честными и способными рабочими, это нужно сказать к их чести. Некоторые (но мало) ушли на фермы — трудное дело. Правда, бывали отдельные случаи опустившихся людей из них, но они тонули в общей массе тружеников. Не говорю уже о рядовых солдатах и казаках, которые и прежде работали на своей земле.

Все это хорошо. Но все же нас, русских, все более и более тянуло на родину. Как ни хороша была Франция, но все же мы были здесь иностранцы. Мало-помалу надежды на победоносное новое завоевание с иностранными интервентами и даже на простое возвращение на Родину все слабели.

Нужно было поднять настроение эмигрантской массы, а может быть, и другие цели? Я не интересовался. И вот, в параллель бывшему Церковному Собору, в Париже созывается «Зарубежный Собор». Собрались на нем опять те же правые и умеренные. Приехали митрополит Сергий и митрополит Антоний. Но уже отказался, если не изменяет память, даже и осторожный митрополит Евлогий, или он был на открытии, но не участвовал в работе. Приходили князь Горчаков (Миша Горчаков, как его обычно звали, хотя ему было за сорок), староста карловацкой церкви, один из деятелей совета, и генерал Чепатовский и ко мне с приглашением. Но я решительно, хотя и спокойно, отказался.

— Почему? — спросили они.

— Не буду говорить о многом, одно скажу. Съезд ваш выдуманный, искусственный. Никакой стихии под ним нет. А история, какая бы она ни была, делается всегда стихийно-массово. И потому пользы от съезда быть не может.

И действительно, ничего из него не вышло. Я даже не помню буквально ни одного постановления съезда. Мертворожденное было дитя бесплодной эмиграции. Скоро его забыли, истории нечем будет помянуть его. Эмигрантская мечта! Но если им в 1921 году в Карловцах удалось захватить Церковный Собор, то в Париже в 1925 году[331] они выявили свое бессилие. Масса эмигрантов не пошла за ними, то же было бы, вероятно, в Карловцах, если бы тогда выявила свою волю вся эта эмиграция, а не одни церковники и правые. Но нужно принять во внимание и то, что прожито было уже пять лет, которые принесли много разочарований беженцам, и уже стали надоедать постоянные обещания: вот, вот скоро! Следующей весной! А весной говорят об осени!

Я лично знал двух людей, которые верили в весну! Ну, не эта, так следующая — что за беда! А один знакомый мне и способный эмигрант в таких случаях находил выход более умный: ну что такое для истории сроки? Год ли, пять ли или двадцать пять лет? Какая разница?! Но они (большевики) все равно уйдут: вот увидите! А после он запутался в одной денежной истории с поддельными английскими фунтами. Был в тюрьме, но судья (я был в качестве свидетеля), весьма симпатичный улыбающийся француз с подстриженной седой бородкой, отнесся к нему милостиво: засчитал время предварительного заключения и освободил от дальнейшего наказания. Признаюсь, я любил этого человека, несмотря на его печальные истории: одаренный и живой деятель... Почти талант! И сколько их погибло за эти годы изгнания... Но зато наросли новые, на Родине, молодые.

Пробовала омолодиться и часть эмиграции: я разумею партию так называемых «младороссов». О ней нужно сказать уже потому, что она одна осмелилась найти причины общего эмигрантского течения и дала, быть может, толчок и другим подобным течениям: возвращенцам, утвержденцам, непредрешенцам и просто рядовой эмиграции.

Суть этой партии, как я воспринимал ее, заключалась в стремлении найти для заграницы новый подход к России: не безоговорочное отрицание всего, что делается на Родине, не абсолютное хуление всего, что там произошло и делается. Наоборот, признать и то светлое, что там есть, и попытаться найти общий с Родиной язык. Но в то же время эта партия не хотела мириться со всем, что там совершилось, например с материалистическим безбожным фундаментом марксизма и с какими-то социально-экономическими проектами коммунизма. Я никогда не читал их программы, поэтому эти мои сведения поверхностны.

Помню лишь, что они решительно стали за систему «Советов». Но в то же время они требовали православного царя. «Царь и Советы» — такова была их короткая и ходячая формула, обращавшаяся в массе. Притом они стояли за наследственного монарха, а таким был великий князь Кирилл. Такова была их политическо-административная точка зрения.

Другой принцип, а иной подумает, что он был самым главным, — «о примате духовного над материальным». В противоположность марксистскому материализму, из которого будто бы рождается все прочее, младороссы выставили обратное утверждение: духовное ставилось в их программе на первое место перед материальным.

Они издавали всегда журнал или газету. И вообще, это была одна из активных групп за границей. С появлением ее пронесся какой-то освежающий ветерок, иначе все начало бы плесневеть.

Конечно, старое поколение, «отцы», смотрели на новое движение «свысока», с усмешкою, как на мальчишеское дело молодых людей. И даже пробовали прозвать их большевиками, а другие винили их в фашизме. Но молодые люди не боялись кличек: это было смелое движение. И руководители его, особенно очень способный вождь А.А. Казем-Бек[332], из родовитой аристократиче-

ской семьи, были не из робких и отстаивали свое место. По всему свету организовались их ячейки. Очевидно, это было своевременным историческим движением. Кажется, у них было до двадцати тысяч членов. Цифра исключительная по размеру среди других групп.

Каково мое личное отношение к ним?

В церковном брожении партия младороссов, стоя в общем на религиозной позиции, не указала, однако, определенной линии среди эмигрантских церквей. Их сначала было две: Карловацкая (или антониевская) и Парижская (или евлогиевская). Из них младороссы предпочитали сначала евлогиевскую, так как она была все же ближе к русской, находившейся на Родине. Но когда в 1921 году обе они отделились от Матери-Церкви и образовалась третья, наша Патриаршая Церковь, связанная с Московской Патриархией, то выдающиеся члены этой группы с А.А. Казем-Беком во главе перешли к нам. Думаю, по той же причине, что мы имели реальную связь с родной Церковью в России.

А перед этим ко мне, как возглавителю Патриаршей Церкви в Париже, пришли представители младоросской группы с вопросами.

— Можем ли мы, состоя в нашей группе и проводя свои политические воззрения борьбы с советской властью, принадлежать к Патриаршей Церкви?

— Можете. Наша Церковь не требует от мирян никакой определенной политической программы, но только вы не можете выступать с вашей борьбой как прихожане наши. Этого не дозволяет наша лояльность к советской власти.

Делегаты удовлетворились, но задали мне второй вопрос:

— А что вы, как представитель Патриаршей Церкви, думаете о позиции нашей партии?

— Откровенно сказать, по отношению к советской власти я не считаю ее правильной по существу и истори-

чески верной. Правильную позицию приняла вся наша Родина и наша Церковь: признала советскую власть. Это правильно, а ваша линия неверна. И именно поэтому ваше направление не выдержит исторической пробы, не устоит. Но это уже ваше дело. Я мог бы дать совет стать на русскую церковную точку зрения, а не продолжать эмигрантской борьбы против советской власти. Но вы едва ли в силах встать на нее. Это еще вообще трудно вам и эмиграции: политически она антисоветская, а религиозно — слабая, не способная принять духовную позицию Патриаршей Церкви. И я это понимаю, сам с большим трудом пришел к лояльности Церкви перед советской властью.

На этом разговор кончился и младороссы в Париже пристали к нам. Впрочем, в Нью-Йорке они были с карловчанами, также и в Бразилии. Один из них, Шевич, был усерднейшим и очень религиозным членом нашего приходского совета. Впоследствии, уже при немецкой оккупации Парижа, он после сидения в концлагере принял монашество с именем Сергий, в память о Московском митрополите Сергии, которого он глубоко чтил. Между прочим, как мне говорил в Америке Казем-Бек, немцы освободили его из лагеря именно ради вступления его в монашество. Казем-Бек, по моему мнению, недостаточно придал значения уходу видного своего сотрудника из партии: он больше смотрел на это как на частное, духовно-прекрасное дело Шевича. Но тут нужно усмотреть и политическую сторону: Шевич разочаровался в политической эмигрантской деятельности вообще и младороссов в частности. Это я точно знаю из его письма ко мне в Америку. Единственно важным делом, полезным не только лично для себя, но даже и для Родины, он стал считать прежде всего духовную работу над собой, без нее он перестал верить в правильность и политических принципов, и установок, и в самую возможность встать на правильный путь. Если угодно, его уход был

не просто и не только личным религиозным актом, но и результатом сознания ошибочности младоросского движения. И выпустили его, конечно, не ради монашеского пострига, а как человека, разочаровавшегося в неприятной немцам политической (антигерманской) группе. Но они не учли того, что будущий монах станет на позицию того Сергия, имя которого он принял, то есть тоже будет патриотом в борьбе с ними. Только иным путем, что младороссы...

Я считаю его шаг хотя и необязательным, но правильным. Мое наблюдение над всей эмиграцией давно убедило меня тысячами фактов, что вся наша беда происходит от неправильной духовной установки, от недостаточной религиозности и от самочинного неверия в Православную Церковь. Отец Сергий Шевич стал на нее, и прекрасно сделал. Это будет один из церковно-общественных деятелей нового поколения — теперь ему около 37 лет. Дай Бог ему сил на это. Конечно, он не ради будущей деятельности ушел в монастырь, но тем ценнее и выше по своим добрым разным последствиям его постриг. Кто знает, какая значительная величина вырастет из него! А он — человек редкой чистоты души, искренности и воспитанности, но в то же время и твердой решительности.

Я лично утверждаю и много раз говорил им, что младороссы хорошо написали в программе своей о «примате духовного над материальным», но на деле они этого не сделали и еще доселе не делают. Декларации писать легче, чем осуществлять. Зная многих из них, я вынужден сказать, хоть я считаю их друзьями, что у них фактически первенствует не духовное, а политическое, государственное, земное. Духовное же — лишь поверхностная покрышка, вызванная, как я говорил, противопоставлением себя большевикам-материалистам.

Вот одна из характерных картин, описанных мне нью-йоркским младороссом Д-м, юношей чистым, ис-

кренним, хотя еще и порывистым. Приехала сюда великая княгиня Мария Павловна. А она была близка младороссам по духу. Кроме того, близкая родственница царя Кирилла. Ей устроили торжественную встречу с молебном, но молебен лишь старый обычай, декорум.

Другой факт. Кажется, в день именин Кирилла служили Литургию младороссы, собравшись вне храма, были недовольны долгим богослужением.

— Ну когда же все это кончится? — спрашивали иные. Им скорее хотелось дождаться «царского молебна». Картина, всем нам известная по дореволюционному прошлому. Вспоминаю рассказ, слышанный мною в Сербии от Х-ва, бывшего одно время вице-губернатором в Пскове. В какой-то царский день, еще перед началом Литургии, зашел по делу к губернатору, одетый по-парадному:

— Вы куда? — удивленно спрашивает его губернатор.

— В церковь.

— Вы с ума сошли?! — иронически говорит представитель православной государственной власти своему помощнику.

— А что такое?

— Да ведь еще лишь десять часов, а молебен будет после двенадцати.

И я сам видел таких снобов из младороссов, которым место было бы в старых гвардейских полках дореволюционного времени.

Нет, им далеко до «примата духовного». Теперь, во время второй войны немцев против России, вождь младороссов Казем-Бек прекратил политическую работу своей партии и даже активно выступил на позицию защиты Родины и принятия советской власти. Это огромный сдвиг, хотя и вызываемый русским патриотизмом. Но и теперь по временам все еще прорывается у него старая нота борьбы против советской власти. А ведь он один из лучших! Другие младороссы, вероятно, еще ме-

нее отстали от старых привычек и программ. Например, в Сан-Паоло младороссы (кажется, во главе их стоял там даже поляк-католик) посещают богослужения епископа Феодосия, заядлого противника советской власти и ярого карловчанина.

Но все же младороссов, в смысле патриотической работы в данное время, даже и сравнивать нельзя с другими, остальными эмигрантами. Некоторые же из них положительно развязались с прежним воззрением и работают с Советами. Другие же придерживаются тактики осторожности, чтобы легче привлечь к работе на Родину еще колеблющихся. Всякий работает в свою меру. Но лучше быть решительнее. А у них силы на это есть и были.

Другое видное течение, оторвавшееся от старой идеологии эмиграции, представляли так называемые «евразийцы». Как показывает само слово, они считают себя не европейцами лишь, но и азиатами. Не в смысле расы, а в политическо-идеологическом задании России и особом, отличном от Европы, характере русского народа. Этих людей было немного количественно, но они оказались очень способными пропагандистами своих идей, хотя и не очень ясных. Среди них нужно назвать молодого князя Трубецкого (сына бывшего ректора Московского университета Сергея Николаевича)[333], Савицкого[334], Сувчинского и других. Если младороссы оттолкнулись от эмиграции, то евразийцы, кроме того, отталкивались уже и от всей Европы, которая представлялась им односторонней и изжившей себя. Но это течение было не массовым, а интеллигентско-групповым и широкого движения не имело. Однако и оно прокладывало пути сближения с Советской Россией. А один из них, Сувчинский, насколько я знал, уехал туда совсем. Человек очень горячий, своенравный, с собственным умом и весьма одаренный[335].

Не буду говорить о менее значительных группах: возвращенцах, утвержденцах — они открыто

сочувствовали советской политике и идеалам. Дóлжно упомянуть наконец, хотя они были прежде всех, и про «сменовеховцев»[336]. Из них наиболее видные: писатель граф А. Толстой, Устрялов и другие. Но их значение было весьма важное: они в самом начале эмиграции поняли свою ошибку и бесплодность вне Родины, «переменили вехи» и возвратились домой. Разумеется, их осуждали. Но бессильно... А несколько лет назад уехал и Куприн, чтобы хоть умереть «дома».

Все эти движения постепенно показывали, что в эмиграции началось обратное движение — на Родину, с принятием советской власти.

Но наряду с этим продолжали существовать и антисоветские организации. На первом месте нужно, конечно, поставить тех же добровольцев. После эвакуации и разъезда из лагерей полуострова Галлиполи они оставили себе это имя — «галлиполийцы». Легально существовать им, как военной организации, в чужих странах было невозможно, поэтому они назвались по случайному признаку места первой остановки в Галлиполи, но в самом деле они, как всем известно, были военно-политической организацией. И одной из их задач были террористические акты в России: об этом говорили открыто, считая их благим делом для Родины.

По смерти генерала Врангеля во главу добровольцев вступил генерал А.П. Кутепов. После нескольких лет руководства галлиполийцами он сам погиб. Какая-то организация, под видом полицейских, арестовала его на улице, посадила в автомобиль, и он исчез. Что с ним случилось, никто толком не знал. Объявили, конечно, что большевики. И это логически допустимо: на войне, как на войне. Если в белой эмиграции существовал террор против «советчиков», то почему ему не быть против белых? Многие русские приходили выражать сочувствие жене генерала, но я не пошел: если ты борешься против Советов, то принимай и все последствия

этой борьбы, думал я. А кроме того, позиция лояльности Русской Церкви повелевала мне быть в стороне от такого темного дела.

На его место вступил генерал Миллер, возглавлявший во время младорусской борьбы антисоветский фронт в Архангельске. Этот человек был очень корректный, почтенный, культурный и осторожный. И он погиб тем же неизвестным путем похищения. Тут уже принял участие свое изменник, генерал из новых — Козмин. Когда я был в Белой армии, видел лишь раз на полковом обеде. И тогда он мне не понравился: что-то затаенное и хмурое почудилось мне в нем. Чутье мое оказалось верным. Он куда-то исчез. Говорят, переправился в Советскую Россию. А жена его, русская певица, была обвинена судом в соучастии и кончила свою жизнь в тюрьме[337].

Была еще одна организация — «Братство русской правды». Я не знаком со всеми этими группами. Но из листков «Братства» я видел, что она занимается агитацией внутри России против советской власти, призывает к террористическим актам и тому подобному. Митрополит Антоний открыто дал свое благословение этой организации. К этой организации принадлежали преимущественно все те же правые, известные за границей. Шли потом слухи, что там есть провокаторы. Впрочем, эта организация не пользовалась ни хорошей репутацией, ни особыми симпатиями среди эмигрантов, хотя чуть не во главе ее стоял сенатор Т.

Расскажу о себе лично, о своей тяге на Родину. Это желание и мысль у меня сложились давно, сразу после Карловацкого Собора. Я тогда почувствовал себя чужим для эмиграции. В 1924 году я рад был бы, если бы чехи отправили меня не в Сербию, а в Россию. Потом начались церковные споры между Антонием и Евлогием, это еще сильнее увеличило мою тягу «домой», прочь от этих бесконечных групповых политических дрязг.

Я через одного знакомого решил связаться с торгпредством в Париже. Кажется, тогда во главе его был Раковский. Оттуда передали мне, чтобы я заполнил анкету, где одним из пунктов было осуждение Белого движения. Я отказался от этого и просил передать следующее:

— Могу написать лишь о своем признании советской власти, а в церковном отношении буду подчиняться митрополиту Сергию.

— Я и сам бы поехал в Россию, — сказал он мне уныло, когда я предупредил его о желании моем начать эти хлопоты.

Все это дело велось с тайного согласия моего начальника по Богословскому институту митрополита Евлогия.

Торгпредство согласилось на мои условия и телеграфно снеслось с московским правительством. Оттуда через три дня пришел ответ: дать советскую визу для въезда на Родину. И мне предложено было явиться к шести часам вечера уже лично в торгпредство и подписать там нужные документы.

Но в двенадцать часов дня митрополит Евлогий с нарочным присылает мне письмо, где пишет (приблизительно): «Дорогой Владыка! Именем Божиим умоляю Вас: откажитесь от поездки в Россию. Слухи об этом както проникли уже в ряды эмиграции и вызывают лишь большой соблазн, что архиерей едет в Советскую Россию. Оставайтесь здесь, а мы вам найдем более важный пост. Прошу ответ дать по телефону».

Меня не интересовал «новый пост», но упоминание имени Бога — вот что остановило мое внимание. Подумав, я пошел к телефону и сказал о согласии своем. Закрыв трубку, я невольно разрыдался, вышел в институтский сад и там четверть часа гулял со слезами. А перед вечером сообщил по телефону о своем ответе.

— Почему? — спросили у меня в представительстве.

— К моему сожалению, я не могу объяснить этого по телефону. Но только сердечно благодарю вас за все хлопоты и полученное разрешение.

И доселе я часто жалею об этом отказе. Многое в моей жизни пошло бы иначе. Но сделанного не воротишь. Одно лишь успокаивает, что я это сделал ради упоминания имени Божия да исполнил мольбу старшего. По нашему учению, из послушания не выйдет дурного. А может быть, и добро получилось? За границей я остался верным Церкви и проповедовал как ее истинность, так и правду об отношении к ней советской власти. Таким образом, вражда к советской власти в массе эмиграции постепенно слабела, заменялась, наоборот, разочарованием в Белом движении, а тяга к Родине постепенно увеличивалась. А непримиримые — кто старел, кто приспосабливался, и влияние их становилось ничтожным. Можно упомянуть и про другие некоторые организации антисоветского характера. Был «Национальный комитет» во главе с А.В. Карташевым, профессором Санкт-Петербургской духовной академии и министром исповеданий при Керенском. Существовала «Торгово-промышленная» группа капиталистов. Издавались две большие газеты: «Последние новости», под редакцией П.Н. Милюкова, и «Возрождение», под редакцией Струве, а потом некоего Семенова. В Берлине издавался Гессеном[338] «Руль», в Белграде — «Новое время» и «Царский вестник». Все это известно. И писать мне о них нечего; запечатлелась, впрочем, фотография, снятая с банкета по случаю какого-то торжества «торгово-промышленников». Большой стол с массой бутылок вина. Кругом стоят промышленники. Многие из них толстые. И у меня блеснула мысль: неужели вот для этих богачей нужно воевать против советской страны рабочих? Неужели христианство стоит за этих сытых людей, а не за бедняков? Нет и нет! Эта какая-то ошибка, что будто Церковь должна защищать интересы собственников вообще, а богачей — в частности!

Была и масса других организаций: профессоров, писателей, инженеров, казаков, украинцев, кавказцев — разных сортов и так далее. Но они не имели большого влияния на массу, а действовали в собственном кругу. Да всего и не опишешь... В общем, русская эмиграция в Париже довольно многочисленна и деятельна, другого такого центра не было нигде, включая и Нью-Йорк. Молодежь религиозно-настроенная в довольно большом количестве группировалась в ИМКА[339], и там велась большая работа: лекции, курсы, печатание, детский отдел.

Теперь нужно обратиться к краткому описанию церковной жизни во Франции. Ее возглавлял, как уже писалось, митрополит Евлогий. Сначала он жил в Берлине, а с передвижкой эмиграции в Париж приехал туда и он, заняв русский собор на рю Дарю. Он умело организовал приходы, которые, впрочем, возникали сами, вызываемые религиозной потребностью эмигрантов как в Западной Европе, так и в других местах: Африке, даже в Индии и прочих. И его делом было создание Богословского института, где училось до пятидесяти студентов на трех курсах и четвертом дополнительном. Лекции велись профессорами (протоиереем Булгаковым, Карташевым, Вышеславцевым[340], Флоровским[341], Ильиным[342], Безобразовым, Зеньковским[343], Франком[344], мною и по вызову). Жизнь студента была поставлена на церковный лад: ежедневные обязательные утренние богослужения, подрясники, чтения жития святых за обедом — по монастырскому обычаю. Политическая жизнь не проводилась в институте, но, разумеется, она была антисоветская, хотя и не резко. Средства для содержания института получались главным образом от Англиканской церкви (из Лондона и Нью-Йорка). Англичане были заинтересованы в сближении с Православной Церковью. После занятия Франции немцами институт продолжал существовать, хотя и в малом размере. Цель его была готовить образо-

ванных кандидатов для священства. Принимались туда лица со средним образованием. Вот сюда и вызвал меня митрополит Евлогий в 1925 году.

Для управления церковными делами был организован Епархиальный совет (бывшая консистория). Созывались епархиальные собрания в важных случаях, издавался небольшой печатный орган. В духовенство пошло много кандидатов из светских и военных лиц, а после студенты Богословского института. Очень большое и весьма влиятельное участие в церковной жизни принимал бывший премьер-министр В.Н. Коковцов[345].

Англия

Из Франции мне удалось посетить Англию. В 1925 году там устроили празднование 1600-летия Первого Вселенского Собора. На эти торжества были приглашены восточные православные патриархи или представители их. Из России не было никого, зато из эмигрантов-епископов были и митрополит Антоний, и митрополит Евлогий, и я.

Англичане произвели на меня новое и большое впечатление. Прежде всего меня удивил первый прием их еще на таможне. Наши рясы и клобуки для них были оригинальным одеянием, и меня после переезда через Ла-Манш сразу окружила группа любопытных: здоровый матрос, какая-то пожилая дама, несколько человек в пальто, — и начали с детским невинным любопытством осматривать меня со всех сторон, притом сначала молча, а потом спросили, успокоились и разошлись мирно.

Лондон — огромный по пространству город в семь миллионов жителей. Довольно серый вид зданий, а при туманах, которые здесь часты и иногда очень густы, так что днем зажигают электрические фонари, эта серость увеличивается еще больше. Солнечных дней здесь мало.

Проезжая по стране, видишь поля, рощи, пасутся овцы, стада коров. Но, конечно, эта страна не земледельческая: хлеб, вероятно, привозится из колоний. Оттуда же привозят и самые разнообразные фрукты, зелень, которую можно достать (как и в Нью-Йорке) во всякое время года по недорогой цене. Вообще ясно, что английская митрополия живет в значительной степени своими колониями, которых у нее так много по всему свету.

И Англия не случайно заняла это место как первая мировая держава. В одной из своих речей там я не ради комплимента сравнивал ее с древней <...>, владевшей почти всем светом. Англичане достойны этого. Пусть это мое мнение не сходится с другими, пусть даже русские давно уже составили мнение, что Англия постоянно вредила нашей родине, но справедливость побуждает меня говорить о достоинстве этой страны и ее народа.

Англичане произвели на меня впечатление очень серьезных, деловых, ответственных и выдержанных людей. Правда, они и сами сознают это. Но, по моим наблюдениям, не тщеславятся своим передовым положением. В чем же именно я увидел их деловитость, это нелегко объяснить. Возьму несколько примеров и случайных впечатлений.

В противоположность беспрестанно веселым французам англичане вовсе мало улыбаются и смеются. Лишь иногда бурно выражают свое удовольствие от интересной или остроумной мысли оратора: кричат, шумят, стучат руками по столам, ногами по полу. Впечатление от того у меня получилось грубоватое, но они не стеснялись выражать свои чувства такими способами: так у них, англичан, давно принято.

И вообще они чрезвычайно дорожат своими традициями, насчитывающими несколько веков. Например, около их парламента был какой-то колледж, или хайскул. И все учащиеся мальчики и юноши носили на голове высокие блестящие цилиндры, которые мы привыкли



Лондон. *Фото начала XX в.*

встречать лишь на взрослых людях, да и то лишь на особенных торжественно-парадных церемониях. А здесь вы видите, как десятилетний школьник идет важно в цилиндре, не замечая смешного. Так принято тут! Не боятся они и обнаруживать свою веру, не стесняются говорить о ней, как это нередко можно было видеть у наших русских интеллигентов. В характере англичанина есть чувство долга: если он дошел до чего-нибудь умом, логикой и наукой, то он считает себя обязанным признавать это. Например, наука доказала им подлинность наших Евангелий, и как честные люди они веруют в Божество Господа Иисуса Христа и не скрывают этого. Я хорошо помню ректора одного университета, человека спокойного, с открытым взором, немного даже холодноватого, который с убедительностью говорил при нас о религиозном вопросе. Был я в одном богословском колледже, где начальником был выкрещенный еврей, и он был глубоко искренним христианином. Но, в отличие от холодных англичан, он проявил больше любезности и улыбался больше, горячая раса уже сказывалась.

Или вспоминается мне стачка шоферов и углекопов, кажется, в министерстве Болдвина[346]. Противная партия тотчас же организовала отряды своих членов, начиная с аристократических юношей, и расстройство движения было предотвращено. Но и рабочие упорно не работали на шахтах два года. Помню интересную картину. Проезжали мы на автомобиле мимо леса. Вижу странность: деревья покрыты грязно-зеленой листвой, а верхушки светло-свежие. В чем дело? Оказалось, за эти два года забастовки заводские печи не работали, и дым не закоптил за это время новых зеленых веток. Потом, после долгого перерыва, рабочие и владельцы сговорились, и дым опять стал грязнить листву.

Даже сельские здания по архитектуре своей выглядят грузными, тяжелыми, серьезными. Особенно солидное и даже прекрасное, но тяжелое впечатление произ-

вел на меня «Бильдинг», австралийский доминион, высочайший, с прямыми линиями, мало окон, точно какой-нибудь склад.

Традиции их иногда совершенно неприемлемы русскому духу. Например, отношение высших классов к низшим не допускает простоты и любезности. Как-то я прожил одни сутки в поместье лорда, у него была лишь единственная дочь, пожилого возраста, занимавшаяся общественными и религиозными делами. На другой день они провожали меня. Внизу, в небольшом вестибюле, кроме хозяев, встали сзади четыре лакея, как на подбор — высокие стройные брюнеты, и мне показалось, что они даже похожи лицами. Лорд ласково облобызался со мною, а дочь, по их обычаю поведения с епископами, стала, не стыдясь, на колени передо мной и попросила благословения... Лакеи в это время стояли точно мертвые статуи: на их лицах я не мог прочитать никаких чувств. Затем я поклонился и им, сказав прощальное «гуд бай», но они и бровью не повели, потому что слугам не позволяется даже откланиваться гостям их господ. У русских — несравненно проще и сердечнее. Но зато когда слуги имеют положенное время отдыха, то им они распоряжаются по собственному усмотрению, и тут уже господа не вправе вмешиваться в их личную жизнь.

Вспоминается еще подобный случай. Мы заехали в какое-то маленькое местечко, по-русски сказать бы — в деревеньку. Священник местный встретил нас очень любезно и повез по своему приходу. Домики крохотные, но двухэтажные. Я захотел посмотреть внутренность одного из них. По английским обычаям и законам дом — неприкосновенное убежище. Священник обратился с просьбой к пожилому хозяину его, лениво сосавшему трубку. Конечно, у нас в России всякий счел бы за радость пригласить гостя в хату. Но англичанин безмолвно покачал отрицательно головой. И мы пошли к другому, где нас впустили. Внизу комната — это и зал, и столовая,

и кухня с камином, а направо по крутой и узкой лестничке ход наверх, в спальную комнату. Туда нас и этот англичанин не пустил.

Конечно, не нужно думать, что все рабочие живут там убого. Наоборот, в больших местечках и городах и они живут совсем не так, как бывшие русские труженики. Проехав, например, на окраины Лондона, я увидел бесконечные ряды двухэтажных домов. С пути было видно, что там есть, вероятно, четыре-пять-шесть небольших комнаток. Слышны были и звуки рояля. А кругом — маленький огородик и пара кустов. Так живут здесь рабочие. Как далеко это было до нашей бедной (разумею, дореволюционной) России!

Но, с другой стороны, мне пришлось слышать о какой-то исключительной, страшной бедноте в Лондоне (в южной стороне его). На шикарном автомобиле нас повезли и туда, на какую-то толкучку или базарную площадь. Что тут было за столпотворение! Огромнейшая толпа людей стояла и двигалась, как овцы в гурте, сплошной массой. Наш автомобиль должен был пробираться черепашьим шагом. Ему давали дорогу, но я заметил недружелюбные взоры этой бесчисленной громады людской. А какой-то человек взобрался повыше и, увидев русскую священническую одежду на нас, с веселой иронией, но без злобы крикнул: «Э-эй, здорово, товарищи!» И признаюсь, жутковато было ехать нам, представителям буржуазного сословия, среди этой пролетарской голи. И чем-то все это может кончиться? Было стыдно за себя...

В противоположность этой бедноте рисуется другая картина. Нас пригласили в загородное поместье одного герцога. Далеко впереди виднелся среди деревьев дворец. А перед ним расстилался огромный луг, десятин в пятьдесят. Кое-где росли дубы, широко раскинув ветви на просторе. Под одним из них мирно отдыхало стадо красивых оленей. Какое богатство, какая красота, какая

тишина! И как это непохоже было на толкучку... Нас приняли здесь отменно любезно. Сам герцог, небольшого роста и немного горбатый, оказался чрезвычайно скромным и милым человеком, без малейшей важности или тщеславия. Для нас был приготовлен обильный обед, а за каждым сидевшим за столом стоял отдельный слуга. Как ни был любезен подобный прием, но нельзя было забыть голи южного Лондона.

Устроил для нас торжественный прием лидер либеральной партии. Было около ста человек гостей. Высокая зала. Люстры. Серебряная утварь на столе. Любезный и спокойный хозяин высочайшего роста и розово-полный. Все было приятно. Опять все было очень богато, мило, но нерадостно. Однако я вновь убедился, что англичане умеют держать себя с достоинством, но без гордости. Да, это «мировые политики», промелькнуло у меня в голове, но они занимают это место заслуженно. Вероятно, среди них, особенно в колониях, проявляется и более острое чувство своего превосходства, а иногда и надменности, но в Англии я этого не заметил.

Коснусь теперь несколько подробней религиозной стороны. Я думаю, что англичане в массе — народ верующий. Не видел я не только хвастовства и рисовки безбожием, но даже и больших разговоров об этом. Очевидно, это не больной вопрос у них. Но вот на что жаловались мне они сами: «У нас вера больше в голове и воле, а не в сердце!» И они скорбели о том, но не знали, как помочь делу. Завидовали нам, русским, что мы более горячи, чем они. А на одном банкете множество епископов, так называемых англо-католиков, или по-американски епископалов (глава их Церкви — архиепископ Кентерберийский), в своей речи даже открыто заявили, что они, англичане, ждут от России не только нового слова о социальных вопросах, но и возрождения для себя христианского духа.

Читая впоследствии литературные заметки их самих о религиозности в Англии, я заметил очень тревож-

ную скорбь о бессилии и малоплодности их религиозной работы. Народ, особенно рабочий, все больше отходит от Церкви, религия не имеет влияния на социальный процесс, люди не видят в ней пользы, дух отмирает, не зажигая массы. Что-то нужно делать! А что? Совершенно неясно. Пришлось даже читать мнение одного из церковных наблюдателей, что нужно для возрождения религии бросить Церковь в лишения, материальную беспомощность, и тогда истинно религиозные люди загорятся вновь верою... Насколько это верно, я не могу судить с решительностью, так как кругозор моих наблюдений был невелик. Но полагаю, что действительно в Англии к христианству охладели. По видимости все прилично: храмы в свое время наполняются привычными прихожанами, спокойно поют они свои канты под аккомпанемент огромных органов, дают по рядам церковную лепту на тарелки. В определенные часы совершаются молитвы, но огня уже мало. И искусственно его не зажечь.

Посещали мы храмы... Есть очень старинные, от XII века. Вросли даже в землю, огромные, солидные, иногда колоссальные. Во многих мы видели следы протестантской революции XVI века: отбитые руки, носы у статуй, надругательства над гробницами. Но все это уже прошлое. И оно хранится в неизменности доселе, не ремонтируется. Традиции и здесь хранятся, как они есть. Были и в огромном лондонском храме святого апостола Павла. Большой, но внутри безжизненный, не то что русские церкви, всюду украшенные и оживленные иконами и росписью.

Пришлось бывать и в палатах архиерейских. Как известно, английские епископы — лорды. И живут они в огромных роскошных дворцах в три-четыре этажа, с большим штатом прислуги и тому подобного. Даже и сравнить нельзя с прежним положением наших архиереев, хотя и нам жилось богато! На ночь мне отвели огромную комнату с таким толстым, мягким ковром во

все пространство, что не слышно было никакого звука от ног. А на кровати можно было лечь, без преувеличения, четырем человекам свободно. Мне как-то стыдно даже было спать на ней. Старая полная экономка дома молча все мне приготовила и с поклоном ушла. А я стянул простыню и одеяло на пол и сладко проспал на толстом ковре. На другое утро намеренно смял перины, будто я спал на кровати.

Зажиточно живет и рядовое духовенство. Одним словом, общая картина современного нашего христианства во всем мире. Не христианство бедняков, как это было в первые века его...

Религия в Англии, как известно, в общем протестантская с XVI века. Но борьба католиков против протестантов выработала средний тип между теми и другими, так называемых «англо-католиков». Но среди них существует деление на «высшую», «среднюю» и «низшую» Церковь. Высшая весьма близка по своей внешности к римо-католической, только без папы и проще. Католическая церковь их не признает, и они с давних времен стараются получить признание от Православных Восточных Церквей, но и доселе эти искания бесплодны, потому что в основе у них лежит протестантизм. Но «хай чёрч» (Высокая <церковь>) весьма серьезно работает над сближением с Православием и по шагу двигается к нему все больше и больше. У себя же дома уживаются англичане всех трех ветвей — от высокой до чистого протестантизма. Дело в том, что церковное имущество у них общее, и каждая группа думает, что постепенно другие перейдут в нее. Но главное — их роднит общий основной дух протестантизма и государственные законы. Так, Церковь есть и государственное учреждение; в законах определены «39 пунктов веры», изданы молитвенные сборники, без парламента невозможно включение новых молитв или предметов веры. Все это пока держит их вместе. Но внутри нет подлинного единства.

В одном городе я видел, что епископ принадлежит к Высокой церкви, а духовенство — к низшей. И это не исключение. Нас пригласили в дом архиерея переночевать. Сам он отсутствовал, обходя (в буквальном смысле слова, как нам говорили) епархию свою. Нас любезно приняла его жена, почтенная старушка, и дочь. Английская церковь дозволяет и женатое, и безбрачное епископство. Немного спустя явился и господин дома. С бородою (большинство бритые), вдумчивыми глазами, сдержанный, очень серьезный, он произвел на меня сильное моральное впечатление как глубокий христианин и подвижник духа, хотя и был семейным. Когда он вошел, все мы, русские гости, сразу стали серьезнее, а до него вели себя значительно веселее. Родом он из одной старой аристократической семьи лордов С. «Вот и женатый, — подумалось мне, — а какой достойный, самособранный, скромный!»

— Есть ли у вас святые? — спросил я его.

— В вашем православном смысле — нет. Но у нас есть достойные миссионеры, школьные деятели и прочие. Иные из них запечатлели свою жизнь мученической кончиной, — ответил он.

Конечно, и это высоко и похвально, но все же эти «религиозные деятели» далеки от таких наших святых, как святой Серафим Саровский, боговидец. У них не столько культивируется молитва и внутренняя жизнь, сколько деятельность.

Это вообще дух протестантизма. А потому они и не достигают высоких степеней христианства — святости. А в доброделании они планомерны и щедры. Между прочим, наш Парижский Богословский институт, где работал и я, в большой доле содержался англичанами (а потом уже и американцами). Для этого было организовано в Лондоне особое общество под именем «Appeal» (обращение, воззвание), и собирали щедрые жертвы. В заключение сообщу два весьма характерных факта.

Мы были приглашены на обед к лондонскому епископу. В легком разговоре он, между прочим, сказал:

— Вот жалею, что у меня земли мало.

А вокруг дворца была почти роща.

— Для чего же вам нужна она? — спросил его митрополит Евлогий, — для огорода, что ли, или для сада?

— Нет, — рассмеялся архиерей, — слишком мало места для игры в футбол.

Тут уж нам пришлось смеяться.

Но вот совершенно другой случай. Служили мы в одном большом госпитале. И некоторые больные просили перенести их на кроватях в самый храм. И после службы они с умоляющими очами и протянувшимися руками просили благословить их, ожидая чуда исцеления! Такова была у них вера в глубокое христианство православных! Мне до слез было отрадно видеть такую веру их и... наше несоответствие их ожиданиям.

Значит, там кроются еще живые источники! Есть среди духовенства их масоны. Мне пришлось встретиться с одним. Тяжкое и дурное впечатление оставил он во мне.

Обращаясь к данному моменту истории, когда английский народ вместе с США и Россией борется против общего врага — гитлеризма, я с полною верой отношусь к английскому правительству и народу. Довольно русским бояться «англичанки, которая нам всегда портит»! Те времена прошли уже. Теперь их сотрудничество я считаю искренним и чрезвычайно важным для нас. И есть целый ряд фактов, которые говорят, что англичане, особенно рядовой народ, не только ценят силу союзницы России, но и любят русский народ. А интересы рабочих в обеих странах, в сущности, одни, и можно ждать сотрудничества их и после войны. Очевидцы лондонские мне лично рассказывали, с какой охотой и усердием англичане собирали жертвы на Русский Красный Крест и тому подобное. Потому не нужно поддаваться излишним

и вредным подозрениям, а с доверчивостью работать вместе с ними до общего победного конца. Нельзя также шутить и остроумными словами, будто «англичане воюют до последнего русского (или французского) солдата». Это недостойная их игра слов! Англичане — народ серьезный и крепкий. Это люди не слов, а дела. И мы теперь видим, как они сражаются по всему миру и побеждают. И победят вместе с нами и союзниками.

Когда-то давно запало в мою память замечание одного русского человека. Во время политических событий и поворотов истории нужно смотреть, куда, в какую сторону пойдет Англия. Там в конце будет победа. Англичане очень опытные и мудрые политики.

Гитлер в своей книге «Моя борьба» написал, что немцам не следует воевать против Англии, потому что, как бы долго ни продолжалась война, каких бы денег ни стоила она, англичане доведут ее до конца.

Но сам он оказался неверен своей идее и потому, во исполнение собственного же пророчества, будет побежден со своей Германией.

Есть еще и другие основания, которые побуждают меня благодарить Бога за союзничество с нами англичан и в эту войну, как и в прошлую... Но это касается моих предвидений о будущем, о чем благоразумней пока молчать.

На этом кончу свои наброски об этой сильной и самой большой, по пространству земель и количеству жителей, мировой империи — Великобритании.

Испания и Италия

Чтобы закончить краткие наброски моих впечатлений о Европе, скажу два-три слова об Испании и Италии, хотя мне не удалось видеть эти страны.

Когда началась международная борьба в Испании, мне так ясно вспомнилась знакомая картина войны крас-

ных с белыми. И когда я видел портреты генерала Франко[347] и его соратников, так все они были похожи на нас: точно деникинцы, врангелевцы, только немного почище одеты. А когда начали писать об этих победах и показывать на картинах, то я не порадовался за них, потому что я знал (и теперь думаю), что это не конец борьбы между испанскими «белыми» и народными массами. И в России в 1905–1906 годах временную победу взяли белые, побеждали они и в 1919–1920 годах. Чуть до Москвы не дошли одно время. А потом все же потерпели поражение, не устояли против народа. Подобно этому, думалось и думается мне, будет и с Испанией. Победа Франко — временная. Недаром же они сами невеселые на картинках: не верят в прочность своих завоеваний.

Думал и о Католической их церкви. Если она радуется победе Франко над рабочим народом своим, то ей же плохо будет. И немилостивая она мать к бедным, если и пострадали в этой борьбе монастыри и архиерейские дворцы, то нужно же знать, какими огромными богатствами и властью пользовались они столетиями над этой страной!

Да, еще не кончилась борьба с ней... И на месте Франко я не чувствовал бы себя победителем, хотя я знал и заранее (и говорил), что временно победят в Испании «белые».

Видел я фотографию его встречи с Гитлером: с каким подобострастием и мальчишеской улыбкой смотрит он на более сильного и «высшего классом» фюрера! Даже стало жаль мне этого заискивающего Франко! Бедный, бедный! Пока еще силен Гитлер, ты кланяешься перед ним и ожидаешь от него помощи. Мы, русские белые, кому только не кланялись из-за той же цели: и англичанам, и французам, и даже тысячелетним врагам, польским вождям! Но все напрасно... Придет время, падет твой Гитлер, падут и итальянцы с католическим папой, и с кем тогда ты останешься? Кому будет нужна твоя

улыбка? Не будут ли смеяться над тобой?! Да лучше бы тебе быть со своим народом, чем без него, с ненадежными чужими людьми, даже с магометанами?

Еще вспоминаю рассказ очевидца, русского юноши, жившего чуть не полгода в Испании в ожидании визы и парохода в Америку. Ему случилось снять комнатенку в доме одной испанской семьи фалангистов[348], тоже противников народа и революционных рабочих. Молодой сын участвовал в борьбе против русских красных, как солдат испанской «голубой дивизии», был ранен. И вот он рассказывал моему знакомому юноше с год назад (ноябрь 1942 года):

— Нам везде твердили, что наша война против красных священна, это крестовый поход за веру! А когда я приехал в Россию, вижу церкви. Наш отряд был около Великого Новгорода: везде храмы, везде иконы, молящийся народ, никто не мешает им. Нас обманули. А вот немцы, наши союзники, это действительно настоящие безбожники-материалисты, я не видел у них никаких признаков веры.

И раненый возвратился домой разочарованным. Говорил мой знакомый и о внутрипартийных делениях «белых» на монархистов, военных фалангистов (не помню подробно). Говорил и о бедноте испанского народа. Грустная картина, совпадавшая с прежними моими думами, предстала передо мной со слов этого очевидца...

Италия

Да, я не видел твоих красот. Однажды католики предложили в Константинополе посетить мне бесплатно их Италию, и в частности монастыри. Я согласился. Но пугливые наши архиереи отправили ко мне в больницу (католическую, я тогда серьезно страдал от болезни кишечника) митрополита Антония, чтобы убедить меня

отказаться от этого паломничества. «А то, неровен час, помрете в пути, а католики объявят, что вы приняли их веру. Соблазн будет». Улыбнулся я про себя этой наивной аргументации, но не стал спорить: бесполезно! От поездки отказался.

Но кое-где, особенно в Константинополе, мне пришлось встретиться с итальянцами. В частности, среди международной полиции чернели их накидки-мантильи и треугольные шляпы с перьями, напоминавшие времена Наполеона Бонапарта. Веселое впечатление производили эти блюстители порядка! Точно ряженые куколки или игрушечные солдатики. Им самим доставляло приятность такое красивое театральное одеяние, точно на карусельном хороводе где-нибудь в красивом Неаполе. И они постоянно улыбались, точно раздавали вокруг себя свое южное солнечное тепло. И казалось мне, решительно никто не боится этих полицейских! Да разве они полицейские? Это оперные певцы и торговцы макаронами, ряженые в полицейскую форму. Да и форма-то больше рассчитана на красоту, чем на военные действия с нарушителями порядка. И тогда же у меня создалось впечатление: «римлян» уже давно нет! Это «итальянки», как почему-то называли их у нас в России. Милые они, но не воинственные! И напрасно игрок Муссолини хотел впрыснуть в них огонь времен римских цезарей! История назад не возвращается, и современных итальянцев не сделать «римлянами»... И потому для меня неудивительно было, что итальянцы и в первую войну переменили союзников, и в эту тоже. Неудивительно, что им с трудом удалось одолеть безоружных абиссинцев в этой неравной и несправедливой войне против босоногих детей гор! И понятно, что их били даже греки, выходя один на пять, на десять... Нет, не за свое дело взялся Муссолини, ораторствовать легче (а итальянцы всегда, даже в трактирах за стаканом вина, любят принять театральную позу и сказать какую-нибудь красивую речь, говорил мне

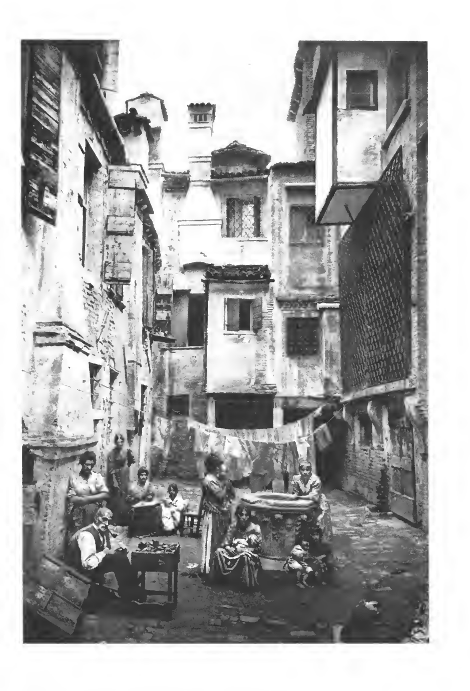
один русский студент, учившийся в Риме), чем воевать и делать историю! И провал всей затеи Муссолини с «полетом» его самого из-под ареста в своей стране. Все это кажется больше театральной игрой, чем серьезной историей!

Италия — страна прошлого... Давнишнее дерево, прожившее без малого три тысячи лет, уже истощило свои силы. Нужно смириться. И народ смирился. А вожди его все хотят «играть роль» в театральном смысле слова. Получается конфуз...

А народ итальянский, каким я видел его и во Франции, на юге Ривьеры, и в Америке, — простой, наивно, по-детски верующий народ, многодетный, труженический и совсем не воинственный. А иногда из него вдруг выделяются преступники, какие-нибудь чудаки анархисты, какая-то «черная магия» или открытые разбойники вроде американского Аль Капоне и других.

Неразрывно с этим народом связан и папа со своими кардиналами, большинство из которых (не говоря уже о самих папах) всегда итальянцы. О папстве нужно говорить или много, или уже совсем мало. Но я тут приведу не мои мнения, а слова современного итальянского деятеля графа Сфорцы, который был противником Муссолини и его фашизма, убежал в Америку, а теперь возвратился на родину с американо-английскими войсками и будет если не главным, то одним из видных вождей будущей послевоенной Италии. Во время бегства он написал очень интересную книгу на английском языке под заглавием «Европа и европейцы». И в ней, между прочим, есть замечательная страница о поведении папского двора во время Первой мировой войны[349].

В заключение же об итальянском народе могу сказать, что в общем он мирный, простой, религиозный народ. И народ — искусства. И пусть он идет среди семьи других народов этим скромным путем своим, не увлекаясь (хотя его поэтической натуре и нелегко



Итальянский дворик. *Фото начала XX в.*

не увлекаться) соблазном великодержавия времен империи и цезарей. Теперешний отрыв его от лютых немцев — тоже хороший знак доброй и смиряющейся натуры, и потому мировая семья так легко переменила к Италии гнев на милость. Простота итальянской души и их милая «легкость» сделали это «чудо»: покаялся народ — и все ему забыли... Не то что гордые немцы!

Но, кажется, не в одних победах союзников дело и не в характере лишь итальянского народа, а и в папстве, что Италия ушла от немцев. Хотя папский Ватикан далеко не все открывает миру из своих тайн, но мы все помним, как перед занятием итальянских островов и самого полуострова вдруг в печати стали звонить, что папа совещается с кардиналами. Папа принимает иностранных послов, папа готовит что-то миру и так далее. Ясно стало, Ватикан обеспокоился чем-то. Чем же?

Если предполагать, что папа боится гитлеризма, то нужно было бы противодействовать ему давно и с самого начала, а этого мы не видели. Наоборот, всегда ясно было, что Ватикан предпочитает Гитлера Советскому Союзу и Красной армии. И одно время, в начале войны против нашей Родины, от папы шли тайные и почти явные призывы к «крестовому походу» против красных коммунистов вместе с Гитлером. Значит, не боязнь Гитлера зашевелила кардиналов и папу. А что же? Они увидели опасность для себя, для католицизма от хода исторических событий. Именно русские (а следовательно, в глубине и православные) советские армии стали побеждать Гитлера и опасно приближаться к католическим местам: Польше, Венгрии, Балканам, Адриатике. А с юга шли грозной тучей англо-саксонские (то есть протестантские) могучие войска, уже разделавшие итальянцев и немцев в Африке. А что дальше? Союзники по протоптанному уже историческому пути пойдут через Балканы. А на Балканах — православные греки, православные болгары, православные сербы и даже пра-

вославные румыны, хотя и предатели. Отовсюду опасность. Особенно с этих Балкан! И везде православная угроза, а протестанты скорее сговорятся с православными: враг общий — немец. И кардиналы, точно тараканы, забегали. Из Америки едет кардинал Спельман, в Риме советуется с послами. О чем же? Мне пришлось слышать об очень остроумном плане одного русского вдумчивого человека, хотя и не специалиста в политике, но человека тонкого и с широким кругозором. Римским католикам совсем нежелателен был путь победителей через православные Балканы: этим усиливалось бы и сразу освобождалось бы Православие там, а римский католицизм с Муссолини продолжал бы оставаться еще в стане «врагов» всего мира. Нужно было вырвать этот козырь из рук противника: не дать Балканам получить свободу первыми и показать себя миру будто бы врагами фашизма. А дальше, при успехе этих предприятий, папа будет предлагать мир, мир. И кто знает: не явится ли удачливая возможность оказаться миротворцем всего мира? Тогда папство не только снимет с себя обвинение в покровительстве фашизму, но еще и усилит довольно-таки пошатнувшееся в мире положение католицизма. Выигрыш огромный!

Конечно, союзники, как и всякие политические деятели, были довольны присоединением к ним такого сильного игрока, как Рим, имеющего своих католических подданных на всем земном шаре. Но, говорит мой приятель, католики оказались более хитрыми политиками, чем президенты, послы, генералы и парламенты. Они отвели нашествие союзников через Балканы и направили их на Италию, обещая содействовать сдаче этой страны на сторону союзников. Последние согласились. И вместо Балкан первою стала освобождаться католическая Италия, а скоро освободится и папский Рим. Я не военный специалист, но мне припоминается одна статья английского генерала В-а, который придает очень малое

значение всей этой итальянской операции в военном смысле: огромная трата времени, вооружения, солдат, и ничего решающего даже после завоевания всей Италии! Может быть, это и не так, но странное совпадение мнений моего приятеля и английского специалиста!

Еще Достоевский писал в дневнике (приблизительно): «Я утверждаю, что ни в Европе, ни во всем мире не будет ни одного вопроса, к которому папство не постаралось бы приложить свою тайную руку!»

А теперь (декабрь 1943 года) мы уже читаем, что папа обращается к миру с предложением: молиться о мире мира! Действие продолжается...

Но я со своей стороны должен сказать, что надежда на помощь Рима может быть больше количественная, а не качественная: папу еще слушают миллионы его дисциплинированных верноподданных по духу, а специально-христианского в папизме становится все меньше и меньше. До такой степени безбожны, бесплодны и легковесны все выступления папы за эти годы войны! Ни одна из его речей никому не запала в память. И я, несмотря на внимание к его словам, запомнил лишь жалкие обрывки общих мыслей: строить мир после войны на основах морали, о правах малых народностей и меньшинств, о справедливости социального порядка. Какие пустые, избитые фразы! И ничего духовного, сильного, могуче-христианского! Да, выдохлась Римская империя и итальянский народ искусства и бедности. Выдыхается и папизм из древних мученических катакомб в политическое министерство религиозных исповеданий и культов. Духа почти нет, и ожидать миру от Рима духовного нечего: разница лишь в облачениях и обрядах, а дух — мирской — тот же, что и в других политических канцеляриях. И этот упадок духа будет все увеличиваться и обнаружится перед ищущими взорами всего мира. Не спасут Рим и хитрости.

Саратов. 1956 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

МИТРОПОЛИТ ВЕНИАМИН: ЖИЗНЬ НА РУБЕЖЕ ЭПОХ

Будущий митрополит Вениамин (в миру Иван Афанасьевич Федченков) родился 2 сентября (по ст. стилю) 1880 года в Кирсановском уезде Тамбовской губернии. Отец — Афанасий Иванович Федченков — происходил из крепостных крестьян Смоленской губернии. Афанасий Федченков, дворовый человек господ Боратынских, был послан ими в возрасте 13–14 лет конторщиком в тамбовское имение. Мать — Наталья Николаевна — происходила из «духовных», была дочерью дьякона и в девичестве носила фамилию Оржевская. Свою мать, а также добрую и кроткую бабушку владыка считал святыми и даже в трудные минуты жизни обращался к ним, уже ушедшим в мир иной, с молитвой и просьбами о ходатайстве пред Престолом Господа Сил. Со страниц воспоминаний митрополита Вениамина Наталья Николаевна предстает русской праведницей, труженицей, матерью, посвятившей детям всю свою жизнь. Воспитание детей было для нее подвигом, подвигом в значении ежедневного делания, смиренного прохождения жизненного поприща. К труду естественным образом присоединялась молитва, к молитве — пост. Наталья Николаевна всю свою жизнь «понедельничала за детей», то есть соблюдала благочестивый обычай: кроме установленных Церковью еженедельных постных дней — среды и пятницы — она постилась еще в понедельник. И так всю жизнь... У нее была мечта, которую они с Афанасием Ивановичем успели увидеть в своей жизни исполнившейся, — дать всем детям (а их было

шестеро) образование. Дети в семье Федченковых в буквальном смысле учились на «медные деньги». И при этом пятеро из шестерых шли первыми учениками. Лишь один немного отставал от братьев и сестер в учебе из-за своей болезни. Из шестерых трое получили высшее, а трое, как бы мы сейчас сказали, — среднее специальное образование.

Иван всегда шел первым учеником. Сначала, правда, было «домашнее образование»: славянская и гражданская азбука, основы чтения и письма, знание основных молитв. И, как это с древних времен велось на Руси, — чтение Псалтири. Потом его «университетами» были земская школа, уездное училище. И, наконец, вступление на духовную стезю: учеба в духовном училище в губернском городе Тамбове. Там же, в Тамбове, Иван Федченков закончил в 1903 году духовную семинарию. Теперь путь его лежал в столицу, в Санкт-Петербургскую духовную академию.

В то время далеко не все, заканчивающие духовные учебные заведения, принимали сан или же вообще выбирали поприще церковного служения, поэтому и люди в академии учились самые разные по своим взглядам и настрою. Учился вместе с владыкой Вениамином в академии Николай Соболев — в будущем архиепископ Серафим (†1950), святой подвижник, богослов и церковный писатель. Но среди студентов были также и социалисты всех оттенков, сторонники церковных реформ, даже, как пишет в своих воспоминаниях владыка, один-два безбожника. Его сокурсник Володя Красницкий станет впоследствии видным деятелем обновленчества, на его совесть ляжет немало тяжких грехов перед Православием и перед конкретными людьми, верующими церковно. Учившийся в академии годом или двумя старше К. Тренев станет советским писателем, автором популярной пьесы «Любовь Яровая», и, видимо, совсем отпадет от Церкви, напишет клеветническое, по мнению митрополита Вениамина, произведение — повесть под названием «Владыка». Прообразом главного персонажа явился человек, которому студент Федченков был обязан многим, и прежде всего формированием мировоззрения, а может быть, даже в какой-то мере и выбором жизненного пути. Речь идет об архимандрите (впоследствии архиепи-

скопе) Феофане (Быстрове). Архимандрит Феофан в академии занимал должность инспектора. Он стал духовником Ивана Федченкова.

Вокруг отца Феофана образовался сначала небольшой, состоявший из пяти-шести человек, кружок студентов, серьезно занимавшихся изучением святоотеческой литературы. Но не только интерес к «сверхпрограммным» занятиям творениями святых отцов и обаяние личности архимандрита Феофана, бывшего «душой» кружка, объединяли студентов. Связь между участниками была гораздо глубже. Это был союз юных глубоко верующих душ, путь в их общество был открыт лишь для единомышленников. Дерзающие без благоговения прикасаться к святыне сюда не допускались. Студенты, собиравшиеся для бесед на квартире у отца инспектора, называли свой кружок «Златоустовским», так как совместное чтение и обсуждение святоотеческих творений началось с разбора трудов святого Иоанна Златоуста. Для «внешних», для всего остального академического студенчества, они были «феофанитами». Впрочем, и на это наименование никто не обижался. Архимандрит Феофан действительно был для них наставником, щедро делившимся с учениками духовным опытом, помогавшим усвоить не только букву, но и проникнуться духом великих подвижников прошлого.

Отец Феофан одно время был духовником императорской семьи. В этом качестве он обычно и поминается в работах исследователей предреволюционного периода российской истории. Ну и конечно, и историки, и просто интересующиеся историей люди знают тот факт, что при посредстве архимандрита Феофана в царский дворец попал Григорий Распутин. Действительно, отец Феофан принимал у себя «старца Григория из Сибири», рекомендовал его одной великокняжеской семье, которая, в свою очередь, и ввела Распутина в царские чертоги. И как-то приглушенней, без акцентов «досказывается» обычно история о том, как царский духовник впал в немилость из-за своего «протеже». Архимандрит Феофан открыто выступил с обличением Распутина. Некоторую роль при этом играл и молодой иеромонах Вениамин (Федченков). Впоследствии, уже после смерти архиепископа Феофана, владыка Вениамин составил его жизнеописание —

небольшое по объему, но достаточно глубоко раскрывающее внутреннюю, сокровенную от людских глаз жизнь своего бывшего духовника и наставника. Истинный инок, усердный молитвенник, человек, ищущий прежде всего Царства Божия и правды его, — таким предстает владыка Феофан перед читателем этого своего рода жития. Особенно впечатляет описание последних лет жизни архиепископа Феофана, когда он жил почти затворником и ежедневно в своей квартире совершал Божественную литургию*.

Знаменательно, что в годы обучения будущего митрополита в Санкт-Петербургской духовной академии там ректорствовал архиепископ Сергий (Страгородский) — будущий Патриарх Московский и всея Руси, выдающийся иерарх, оказывавший большое влияние на студентов, в том числе, безусловно, и на И. Федченкова. Более того, по-видимому, именно в академии возникли и укрепились теплые и доверительные отношения между ректором и студентом. Не случайно владыка Сергий, в бытность свою архиепископом Финляндским, сделал иеромонаха Вениамина своим личным секретарем. Верность своему владыке уже не иеромонах, а епископ Вениамин еще будет доказывать в условиях, нелегких для него, и все же останется верен и митрополиту Сергию, и Московской Патриархии. Но об этом речь впереди.

В 1907 году студент последнего курса академии Иван Федченков принял монашество с именем Вениамин. Шаг этот, определивший всю его дальнейшую жизнь, оказался неожиданным для родных и не сразу был понят и принят ими. Родная мать новопостриженного инока, та, которую сам он называл святой за ее жертвенную любовь к ближним и глубокую веру, написала сыну исполненное горьких упреков письмо. Потом, конечно, поняла и смирилась, и даже любила своего Ванюшу (а теперь уже инока Вениамина) больше всех детей, гордилась своим молитвенником.

При поступлении в академию, да и в первые годы учебы у самого Ивана тоже не было желания принимать постриг. Он, по его собственным словам, думал о женатом священстве. И все же, выбирая свой путь, чутко прислу-

* См.: *Вениамин (Федченков), митр.* Божьи люди. М.: Отчий дом, 2011. С. 370–432.

шивался к голосу сердца, к указаниям горнего мира, незримого в обыденной ситуации для человека, но реального и незыблемого. Большое, если не сказать решающее, значение имела для Ивана встреча на Валааме, где он посетил старца Иоанно-Предтеченского скита отца Никиту. Этот насельник «Северного Афона», монах-подвижник, «живой святой», долго беседовал с юношей и пророчески назвал его «владыкой»*.

Другой праведник — иеромонах Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры отец Исидор — также предсказал будущему митрополиту его жизненный путь**. «Придется быть монахом», — так в простоте верующего сердца решил студент столичной духовной академии. Иноческий постриг был совершен 26 ноября 1907 года, 3 декабря того же года инок Вениамин был рукоположен во иеродиакона, а 10-го — стал иеромонахом.

Ученик Высокопреосвященнейшего Вениамина епископ Феодор (Текучев), живший на покое в Псково-Печерском монастыре, вспоминал в 1966 году, в пятую годовщину со дня кончины своего наставника, еще об одном предсказании в жизни владыки. Молодой иеромонах Вениамин с одним из своих товарищей посетил болящую благочестивую старицу. При этом состоялся следующий диалог:

— Кем мы будем? — спросил один из посетителей.

— Ну разве я гадалка какая? Будете митрополитами... Да разве в этом дело?..

— Помолитесь о грехах моих, — попросил отец Вениамин.

— Вот это, что и нужно, — отвечала старица***.

В самом начале своего служения встречался отец Вениамин с великим праведником земли русской отцом Иоанном Кронштадтским и даже сослужил ему во время совершения Божественной литургии. Нам неизвестно, удостоился ли он личной беседы с отцом Иоанном, известно лишь, что батюшка беседовал с новоначальными иноками (отец Вениамин был в

* Там же. С. 107–118.

** Там же. С. 119–141.

*** *Феодор (Текучев), еп.* Памяти митрополита Вениамина (Федченкова) // Истина всегда победоносна. М., 2009. С. 682.

Кронштадте со своими товарищами по академии), укреплял и ободрял их*. И, разумеется, встреча эта не прошла бесследно. На всю жизнь сохранил владыка Вениамин благоговейное отношение к памяти святого старца, часто обращался к его духовному наследию.

После окончания академии, в 1907–1908 годах, иеромонах Вениамин — профессорский стипендиат на кафедре Библейской истории, а в 1910–1911 годах, как мы уже упоминали, — личный секретарь архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского).

Волею Промысла иеромонаху, а затем уже и владыке Вениамину суждено было проходить земное поприще среди многих волнений житейского моря. Он был свидетелем трех российских революций, двух мировых войн и братоубийственной гражданской. Такова судьба людей его поколения, поколения, жившего на рубеже эпох. А если учесть, что жизнь для него всегда неразрывно связывалась с церковным служением, то тогда и вовсе становится ясно: нелегкое время досталось владыке. Он застал небывалые в истории христианства гонения, начавшиеся вскоре после революции, точнее даже — вместе с ней, а за рубежом узнал всю горечь расколов и церковных нестроений. Да и само его служение Церкви начиналось в атмосфере не столь уж безоблачной, как это может показаться с первого взгляда.

За Русской Церковью по-прежнему сохранялось положение Церкви «первенствующей и господствующей», и в то время, как другие вероисповедания, исключая разве что сектантов уж совсем зловредных, получили по указу о веротерпимости (апрель 1905) свободу действий, религиозной проповеди и свободу в вопросах самоуправления, Церковь Православная все еще оставалась под присмотром «ока государева» — обер-прокурора Святейшего Синода. В это же время в Церкви росло движение за восстановление патриаршества — канонической формы управления Церковью. С этой целью было созвано и работало Предсоборное присутствие, готовившее грядущий Собор и разрабатывавшее проект устройства Церкви, который бы избавил ее от навязчивой государственной опеки, дал бы возможность обустро-

* *Вениамин (Федченков), митр.* Божьи люди. С. 53–70, 75–82.

ить свою жизнь в полном соответствии с канонами Православия.

Остро стоял вопрос и о реорганизации духовных школ, о превращении их из узкосословных учебных заведений (лишь четвертая часть выпускников которых поступала на церковное служение) в места подготовки пастырей и служителей Церкви.

В этот же период набирает силу и оформляется организационно в виде «Союза церковного обновления» движение сторонников леворадикальных перемен в церковной жизни, смыкавшееся с приверженцами социалистических взглядов. В этом направлении церковной жизни зрело ядро будущего обновленческого раскола.

По-прежнему относилась с непониманием и безразличием (а порой и с враждебностью) к Церкви либеральная и марксистская интеллигенция. И все же в рассматриваемый нами период наметился и приток (пусть небольшой численно) возвращавшейся в Церковь интеллигенции. Вышел в свет сборник «Вехи». Первый мостик между утерявшей веру интеллигенцией и Церковью был переброшен в 1901–1903 годах, когда в Петербурге проводились религиозно-философские собрания, непременным председателем которых был хорошо известный отцу Вениамину епископ-ректор Сергий (Страгородский).

В предгрозовой атмосфере начала века был еще один весьма характерный признак приближающегося смутного времени: распространение всевозможных лжеучений, а равно и лжеучителей и лжепророков. Шарлатаны и «прельщенные» в царских чертогах, в светских салонах и в залах для народных бесед. Декаденствование на религиозной почве, теософия, спиритизм, оккультизм и масонство — все это, по тогдашнему выражению отца Вениамина, «интеллигентное сектантство». А в гуще народной — баптизм, хлыстовство, иоаннитство и так далее. И не может пастырь пройти мимо, даже желая «бегать злого», потому что он пастырь; и паства его взирает на него, ждет совета, разбора всех соблазнительных для ума и сердца явлений. Иеромонаху Вениамину пришлось столкнуться в начале своего служения с «народным» сектантством в форме «чуриковщины» — учения некоего

«братца» Ивана Чурикова, прельщавшего на своих беседах в основном питерских рабочих и работниц, горничных, кухарок, приказчиков, словом — простонародье. Пришлось побывать на сектантских собраниях, устраивавшихся вполне открыто лишь с символической маскировкой (Чуриков объявлял себя православным); «удостоился» отец Вениамин и беседы с «братцем». Результатом этих наблюдений стала книга, выпущенная в 1911 году в Петербурге под названием «Подмена христианства: К спорам о Чурикове, "братцах", странниках и проч.», в которой отец Вениамин, основываясь на истинах Священного Писания и учения святых отцов, дает разбор «учения» Чурикова, изобличая и его самого, и его рьяных последователей в ереси. Появление книги было также советом некоторым авторам, выступавшим в церковной печати в защиту «чуриковщины».

Но вернемся к жизненным вехам служения владыки Вениамина. Период с 1911 по 1917 год связан у него с научной и педагогической деятельностью. С декабря 1911 года отец Вениамин, возведенный в сан архимандрита, занимает должность ректора Таврической семинарии. В 1914 году его, как бывшего воспитанника Тамбовской семинарии, приглашают для участия в торжествах прославления новоканонизированного святого — святителя Питирима Тамбовского.

Свое послушание с 1913 по 1917 год архимандрит Вениамин проходит в Твери, где трудится на посту ректора семинарии. В этом городе его застали события «бескровной» февральской революции. Страницы его воспоминаний, посвященные этим дням, производят особенно сильное впечатление...

В 1917–1918 годах ректор Тверской семинарии архимандрит Вениамин, избранный от младших клириков своей епархии, стал членом Поместного Собора Православной Российской Церкви. Заседания Собора начались при Временном правительстве, 15 августа 1917 года.

Членам Собора предстояло решить важнейшие вопросы церковной жизни, «накопившиеся» за весь синодальный период, определить положение Церкви в новых условиях ее бытия и, конечно, восстановить традиционную форму церковного управления — патриаршество. Сегодня, когда просматри-

ваешь документы Собора, просто не верится, что можно было обсудить и разрешить такую массу важнейших серьезных вопросов. Тем более что заседания Собора проходили на фоне быстро сменяющихся событий, во многом определивших ход нашей истории. Выступление генерала Л.Г. Корнилова, провозглашение Временным правительством Российской республики, вооруженный захват власти большевиками, падение Временного правительства, октябрьские бои в Москве, открытие и разгром Учредительного собрания, заключение позорного Брестского мира, начало Белого движения, красный террор, расстрел царской семьи, установление «продовольственной диктатуры» — вот далеко не полный перечень лишь основных, важнейших событий, совершившихся за чуть более чем годовой промежуток времени. К концу работы Собора (которая была прервана искусственно, круг вопросов, поставленных на обсуждение, был решен не полностью) пламя гражданской войны охватило всю Россию. Решая важнейшие для Русской Церкви проблемы (восстановление патриаршества, канонизация святых, утверждение положения о православном приходе, о церковном управлении, о роли мирян и многие, многие другие), Собор должен был реагировать и реагировал на внешние события: осуждал междоусобицу, призывал к гражданскому миру, к милосердию и великодушию, сохраняя «политический нейтралитет», не отдавая своих симпатий ни одной из противоборствующих сторон.

Многие из внешних событий непосредственно касались и Церкви. С первых же дней советской власти, лицемерно провозгласившей отделение Церкви от государства, начались явные попытки прямого вмешательства в церковные дела. Достаточно обратиться лишь к «юридическим» актам, принятым советской властью в период работы Собора. 11 декабря 1917 года — декрет наркома просвещения, подписанный также и В.И. Лениным, о конфискации имуществ церковных учебных заведений (зданий, земель и капиталов); декрет наркома юстиции от 24 августа 1918 года вводил кабальную систему «двадцаток», при которой ответственность за приходскую жизнь возлагалась на группу мирян из двадцати человек. Кроме того, 17–18 декабря 1917 года церковный брак был лишен государственного признания; 20 января

1918 года было решено прекратить все виды дотаций Церкви и духовенству; и, наконец, знаменитый декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви, опубликованный 23 января 1918 года, лишил Церковь прав юридического лица. Конституция РСФСР, принятая 10 мая 1918 года, в статье 65 лишала духовенство и монашествующих права голоса (как «нетрудящийся элемент»).

Этому явному нажиму, творимому властями, сопутствовал и откровенный кровавый террор, развязанный большевиками. Вот события лишь одного месяца — февраля 1918 года: убийство вооруженными матросами отца Петра Скипетрова в Петрограде; убийство Киевского митрополита Владимира (Богоявленского); расстрелы крестных ходов в Воронеже и Шацке; кровавый инцидент в Пермской епархии... Протоиерей Петр и митрополит Владимир были прославлены Русской Православной Церковью в лике святых как священномученики.

И все же Собор продолжал свою работу, и на его заседаниях ощущалось биение сердца Православной Руси; соборный разум Церкви, возглавляемой святителем Тихоном, которого Собор избрал Патриархом, закладывал основы бытия Христовой Церкви в новых политических и социальных условиях.

Патриарх Тихон во время работы Собора заметил принимавшего активное участие в его деяниях молодого и деятельного архимандрита Вениамина.

Дальнейшее служение отца Вениамина проходило на юге, в пределах Таврической епархии. Он был избран корпорацией преподавателей Таврической духовной семинарии ее ректором, и в этой должности трудился в 1917–1919 годах. В этот же временной промежуток, а именно в 1918 году, архимандрит Вениамин принимает участие в работе проходившего в Киеве Украинского Церковного Собора, где вместе с другими клириками, мирянами под водительством иерархов отстаивает мир церковный, противостоит попыткам центробежных сил в лице «самостийников» расколоть единство Церкви. Раскольники потерпели на Соборе поражение...

В феврале 1919 года сбылось предсказание старцев: в кафедральном соборе г. Симферополя состоялась архиерей-

ская хиротония архимандрита Вениамина (Федченкова) во епископа Севастопольского — викария Таврической епархии. Бремя архиерейства было возложено на преосвященного Вениамина в суровое время и, как мы увидим в дальнейшем, по большей части проходило и потом среди многих бурь, колебавших корабль церковный. Призванный к служению иерарха Православной Церкви в час братоубийственной войны, он будет нести свое новое послушание во время раздоров и разделений, руководствуясь духом Евангелия и зовом собственного сердца.

А тогда, в 1919–1920 годах, на Юге России епископ Вениамин будет просить и требовать милости к ближним — милости, о которой, как тогда могло показаться, навсегда забыло большинство ожесточенных междоусобицей людей... Красные или белые?.. Он решит этот вопрос для себя, выберет, с кем ему по пути. Но не будет делить людей по этому признаку, не отвернется от попавших в беду, нуждающихся в его помощи. Владыка Вениамин будет даже ходатайствовать за «своего» следователя, допрашивавшего его в «чрезвычайке».

В условиях гражданской войны, перекроившей своими фронтами всю территорию бывшей Российской империи, при невозможности регулярной связи с церковным центром — Москвой, в различных областях страны, занятых Белыми армиями, стали возникать органы церковного управления, временно бравшие в свои руки власть над несколькими епархиями, или же правящий архиерей устанавливал власть над отдельной епархией до появления связи с Патриархом. Делалось это по необходимости, с благословения Патриарха Тихона, принявшего решение о возможности таких действий со стороны архиереев и временных органов церковного управления. (Постановление Патриарха Тихона и Синода от 18 мая 1920 года.)

Но еще до этого постановления временные органы по управлению епархиями, не имеющими связи с центром, были созданы в Сибири и на Юге России. В ноябре 1918 года Сибирское Соборное Церковное Совещание (все его участники были членами Поместного Собора), состоявшее из 13 архиереев, 26 священников и мирян, образовало Временное Высшее Церковное Управление (ВВЦУ). В областях, занятых Добровольческой армией, в мае 1919 года было образовано ВВЦУ

епархий Юго-Востока России, а в ноябре того же года в Новочеркасске состоялся Собор епископов. После эвакуации белых в Крым состав ВВЦУ изменился. В него вошли: архиепископ Полтавский Феофан (Быстров), протоиерей Сергий Булгаков и епископ Севастопольский Вениамин, ставший представителем ВВЦУ в Совете министров при бароне П.Н. Врангеле.

1920 год ознаменовался для викария Таврической епархии епископа Вениамина вступлением в Белое движение, переживавшее тяжелые дни и неумолимо клонившееся к своему закату. С отставкой А.И. Деникина и назначением на пост главнокомандующего Русской армией (так стали называться Вооруженные силы Юга России) Петра Николаевича Врангеля владыка Вениамин дает согласие быть епископом армии и флота, возглавить военное духовенство. Этот шаг характеризует владыку Вениамина как человека эмоционального, которому свойственны горячие искренние порывы. Он жил по сердцу, а кроме того, был человеком долга и не мог оставаться в стороне от дела, которому сочувствовал.

Конечно, существовала совокупность причин, побудивших епископа Вениамина перейти с позиций лояльного наблюдателя на позиции активного участника Белого движения. Прежде всего, как он сам говорит в своих воспоминаниях, его переход в Белый лагерь был обусловлен нежеланием пребывать в мнимом благополучии, когда решалась судьба Отечества. Всем, устранившимся от борьбы, непричастным жертвенному, хотя и безнадежному, подвигу, бросят потом свой горький упрек многие из оставшихся в живых участников походов Белой армии. Не мог владыка Вениамин относиться без симпатии к «русским мальчикам» — светлым и чистым юношам, сражавшимся «за Бога и Родину», — и это тоже вполне очевидно отражено в его воспоминаниях. Ему, прошедшему к тому времени большую жизненную школу и несомненно обладавшему духовным опытом, ясно виделись все недостатки белых, прежде всего нравственного, духовного плана. Армия в целом «не горела» огнем внутреннего подвига, не имела той благодатной силы, той способности к обновлению, которая могла бы преобразить каждого воина в духовного страстотерпца. Армия почти не веровала: армия, по горькому замечанию ее епископа, была «некрещеной».

Очевидно было и несоответствие «белой идеи» внутреннему состоянию ее конкретных носителей. «Мы не белые, мы — серые...» — к такому неутешительному выводу приходит епископ Вениамин, взирая на свою армейскую паству.

И все же этих мальчиков-идеалистов и всю паству в серых шинелях нельзя было оставить, бросить, отвернуться от нее. Ведь, по неложному слову Евангелия, *не здоровые* нуждаются *во враче,* а *больные* (ср.: Мф. 9, 12)... Но в то время, в тот исторический момент не было во всей России силы, не было армии, кроме этой, пусть почти неверующей (а может быть, изверившейся?), пусть состоящей из мальчиков, отвечающих сполна за грехи отцов, и из вчерашних (да и нынешних) материалистов, — но все же не было иной армии, начертавшей на своих знаменах дорогой для владыки Вениамина девиз: «За Бога и Родину!»

Политическую позицию епископа армии и флота определяли и его взгляды патриота-государственника, которому, конечно, нестерпимо больно было видеть, как могучая держава буквально на глазах распадается на мелкие республики губернского масштаба и уездные «коммунии».

И еще было благоприятное стечение обстоятельств: между главнокомандующим и главой военного духовенства установились достаточно доверительные, почти дружеские отношения, было достигнуто взаимопонимание по многим вопросам. Епископ Вениамин был среди представителей общественности и командования, настаивавших на назначении барона Врангеля на пост главнокомандующего после новороссийской катастрофы. С Врангелем делил он труды во время крымской эпопеи, с Врангелем продолжал довольно длительное время сотрудничать и в эмиграции как член Русского Совета. И в воспоминаниях владыки (за исключением эпизодов, вызванных некоторыми мировоззренческими расхождениями) отражены чувства добрые и отношения неомраченные.

Вместе с тем тесного союза духовенства и Белого движения не было. Безусловно, возникнув на территориях, занятых Белыми армиями, временные органы церковного управления относились лояльно и даже вполне сочувственно к политике временных органов управления государственного. Многие представители духовенства видели в белых

правительствах преемников и наследников былой российской государственности. Под покровительство белых стекались архиереи, клирики и миряне, бежавшие от красного террора, от ужасов «чрезвычайки». Так, на территории, контролируемой Вооруженными силами Юга России, находилась примерно треть православного епископата. Но вот участвовали-то непосредственно в Белом движении далеко не все епископы и священнослужители. Во-первых, Патриарх Тихон не благословил вождей Белого движения, да и само движение тоже. Он не считал возможным вмешиваться в дела политики и не допускал, чтобы Церковь оказывала предпочтение какой-либо из враждебных сторон, так как и белые, и красные, а равно и зеленые, розовые и прочие — все они были в большинстве своем (увы!) православными по рождению, исключая разве что большевистскую верхушку. В глазах Патриарха Русской Церкви действия временных органов церковного управления были вполне правомочными, и хотя некоторые чисто политические акции «белого» духовенства и не вызывали его сочувствия и одобрения, но церковная и даже шире — сакральная сфера их деятельности — признавалась святителем Тихоном вполне правомочной.

Во-вторых, священнослужители, и это особенно усилилось на заключительных этапах существования Белого дела в России, опасались (и не без основания) жестокой расправы за всякую поддержку белых (может быть, и даже скорее всего, часто большинству из них симпатичных), за любые действия, выходящие за рамки обычной церковной деятельности: специальные молебны для войск, участие в белой печати, произнесение «тематических» проповедей, благословение белых вождей и так далее.

И в-третьих, не было полного единения или даже взаимопонимания между православным духовенством, в целом придерживавшимся довольно консервативных взглядов, и вчерашними студентами, адвокатами, учителями, гимназистами и чиновниками, одевшими форму Белых армий. Ведь среди них было немало равнодушных к Церкви либералов и неудачливых соперников большевиков (бывших союзников) — социалистов иных разновидностей. Лишь общая беда и безысходность соединяла, казалось бы, несоединимое.

С другой стороны, в среде духовенства, также в политическом отношении далеко не однородного, была определенная часть сторонников «прогрессивных» взглядов.

Этот парадокс вынужденных совместных действий Церкви и сторонников социалистических учений отмечала еще на заре революции социалистическая (небольшевистская) печать, освещавшая октябрьские события 1917 года в Москве. Речь идет об участии членов Поместного Собора Православной Российской Церкви в погребении жертв октябрьских боев. Известно, что 11 ноября 1917 года Собором было принято решение об отпевании погибших с обеих сторон. Более того, Собором была поддержана выдвинутая общественностью идея совместных похорон жертв вооруженного восстания, по целому ряду причин не воплощенная. Как известно, сторонники Военно-революционного комитета были похоронены на Красной площади, а похороны приверженцев Временного правительства состоялись через несколько дней на ныне не существующем Братском кладбище. Хоронили борцов за свободу, называя их «товарищами», павшими в сражении с тиранией. Звучали речи видных деятелей левого толка. Но все это после заупокойной Литургии и торжественного отпевания, совершенного членами Собора в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Такой неожиданный «союз» Церкви и оказавшихся в оппозиции левых партий и казался газетчикам парадоксальным и неестественным, хотя участие членов Собора в погребении погибшей молодежи вызывало чувство признательности у многих побежденных. И мало кто распознал тогда в этом деянии акт, взывающий к примирению над телами убиенных юношей и девушек. Большинство увидело лишь «альянс», а не исполненное любви дело милосердия...

Присоединение к Белому движению требовало со стороны епископа Вениамина определенного выбора. Он должен был суметь, став «белым архиереем», остаться «своим» для Таврической паствы, тем более что епархиальный архиерей архиепископ Димитрий (Абашидзе) фактически отошел от дел по управлению епархией.

Новая должность владыки Вениамина — пост главы военного духовенства, равно как и сам институт армейских

и флотских священников, — была унаследована Русской армией барона Врангеля от Вооруженных сил Юга России, а теми — от императорской армии, так как и Добровольческая армия, и Русская армия от последней вели свою родословную, сохраняли русские воинские традиции. В Красной же армии институт военного духовенства юридически был упразднен 16 января 1918 года, а фактически гораздо раньше — в самом начале создания новой советской государственности.

Русское военное духовенство имело свою славную историю. С древнейших времен духовенство сопровождало в походах православное воинство, а с созданием регулярной армии при Петре I появились и особые военные священники, постоянно и неотлучно находившиеся в войсках.

С начала восемнадцатого столетия и вплоть до 1800 года военное духовенство подчинялось в мирное время епархиальному начальству по месту дислокации воинских частей, а во время войны управление вверялось полевому обер-священнику. Флотским духовенством, в силу его специфики, управлял как в мирное, так и в военное время обер-иеромонах. В 1800 году по указу императора Павла I все армейское духовенство возглавил обер-священник. Вскоре в его ведение было передано и флотское духовенство. С 1858 года главой военного духовенства в Русской армии стал «главный священник», получивший некоторые права, принадлежащие исключительно епархиальным архиереям. В частности, он мог лично назначать и увольнять с должности военных священников. На рубеже XIX и XX столетий военное духовенство возглавлял протопресвитер (высший сан белого, немонашествующего духовенства). Он обладал, согласно Положению об управлении церквами и духовенством военного ведомства (1890), правами епархиального архиерея. Его власть распространялась на всю территорию империи и на суда военно-морского флота. Была в этой «епархии» и своя «консистория» — учрежденное в 1892 году особое духовное правление, за выполнением решений которого следили благочинные.

В Русской армии существовали должности армейских, корпусных, дивизионных и полковых священников. Военное духовенство имело свой печатный орган — «Вестник во-

енного духовенства» (впоследствии — «Вестник военного и морского духовенства»), выходивший с 1890 года.

С 1888 года духовенство военного ведомства по правам и выплате жалованья приравнивалось к военным чинам. Должность «главного священника гвардии и гренадер» приравнивалась к званию генерал-майора, протоиерей благочинный «приравнивался» к полковнику. Должность полкового священника соответствовала чину капитана, дьякона — чину поручика. Младший церковнослужитель — псаломщик — получал жалованье и обладал правами подпрапорщика. При встрече со священником военного ведомства от нижних чинов требовалось отдание воинской чести.

При императоре Николае II, в 1900 году, при Главном штабе была создана комиссия, занимавшаяся вопросами методики ведения церковной работы в войсках.

В повседневной армейской жизни пастыри Церкви несли труды по духовному окормлению православного воинства: совершали богослужения, Таинства и обряды. Большое внимание уделялось проповедям и пастырским беседам. Во время боевых действий военные батюшки не разлучались со своей паствой и часто под огнем неприятеля напутствовали умирающих, вместе с сестрами милосердия оказывали помощь раненым. Согласно канонам Православной Церкви, священник не может брать в руки оружия, принимать непосредственное участие в боевых действиях. Никто не принуждал военных иереев выходить на передовые позиции. Но, вооруженные одним оружием — основанным на вере мужеством, — они выносили раненых с поля боя, причащали под свист пуль умирающих, а иногда и поднимали с крестом в руках своих «прихожан» в атаку.

Конечно, положение полкового священника (и владыка Вениамин пишет об этом) было далеко не идеальным в армейской среде. Сколько душевного такта и даже тонкой дипломатии требовалось от него, чтобы занять свое положение в полку, не уронив достоинства священного сана, предохранить себя от подчинения диктатуре демократической атмосферы офицерской среды, не опускаться до панибратства. Ведь сферой общения полкового батюшки было все то же «вольнодумное» офицерство, та же интеллигенция, но только военная, характерным признаком которой порой была если не полная

утрата веры, то по крайней мере холодное пренебрежение или же безразличие к вопросам религии. Усложнялось положение священника — и даже в некоторой степени становилось двойственным — из-за все той же государственной «опеки», возводящей Церковь в ранг признанного, а потому и обязательного общественного института, пренебрежение которым истолковывалось как вид политической неблагонадежности. Обязательное говение раз в год, присутствие на богослужениях — все это обретало некоторую казенность, иссушало часто даже самые искренние души, вызывало противление не только со стороны офицеров, но и солдат... Все это имело место. И владыка Вениамин не умалчивает об этом.

Но, с другой стороны, трудно переоценить ту помощь, которую мог оказать священник не большинству (хотя это и прискорбно осознавать), а лишь меньшинству; но меньшинству, ждущему от него, от своего пастыря, поддержки и утешения. Сколько слез (ведь и воины тоже плачут) отерли полковые батюшки, скольких напутствовали в час смертный! А окормление и моральная поддержка солдат из крестьянских патриархальных семей, для которых, особенно в начале службы, батюшка был единственным пользовавшимся полным доверием человеком?

Признание труда армейских пастырей народом знаменуется тем, что в глубинах его исторической памяти сохранился (пусть и старательно замазанный черной краской злыми хулителями) образ армейского батюшки — один из образов исторической России. И, отрешившись от лжи, привитой нам неправильным воспитанием, узнав побольше о собственной истории, а главное — заглянув в глубины исторической памяти, — мы увидим этот образ, ощутим его. Вот он выходит из тумана забвения: скромная фигура в не новом уже подряснике, подпоясанном солдатским ремнем, в солдатских же сапогах, с образом Распятого Спасителя на груди. Он идет по развороченному снарядами полю, на котором смерть собирает свой страшный урожай. И каков бы ни был он сам лично, этот батюшка-ратоборец, каковы бы ни были его душевные качества, думается, что сердца наши потянутся к нему. Под страхом смертным он каждый день предстоит со своей паствой пред ликом Спасителя...

В летопись Русской армии вписаны имена пастырей-героев. Священник 19-го егерского полка отец Василий Васильковский, герой 1812 года, отличился в сражениях под Витебском и Малоярославцем. Во время заграничного похода Русской армии скончался от ран.

Священник Тобольского пехотного полка отец Иов Каминский во время русско-турецкой войны 1828–1829 года при переправе через Дунай шел в боевых порядках русских войск и с крестом в руках вступил на вал неприятельской батареи. В бою был тяжело ранен.

Иеромонах Иоанникий (Савинов) во дни Севастопольской обороны, в ночь на 11 марта 1855 года, остановил начавших было отступать солдат и повел их с пением молитвы «Спаси, Господи, люди Твоя...» на штурм вражеских укреплений.

На легендарном крейсере «Варяг» отец Михаил Руднев (однофамилец командира) под грохот снарядов бесстрашно ходил по залитой кровью палубе, напутствуя умирающих и ободряя сражающихся.

Среди военных батюшек встречались личности поистине легендарные.

Солдаты и офицеры Скобелева хорошо знали и любили отца Андрея Малова — участника среднеазиатских походов «белого генерала». Во время штурма крепости Динь-Курган в 1862 году он шел впереди штурмующей колонны. В 1864 году во время осады г. Туркестана, выполняя пастырский долг, находился под огнем противника. Одним из первых взошел на стены Ташкента. А в бою под Ходжентом, когда офицеры-артиллеристы полегли под огнем, отец Андрей принял на себя командование батареей. Впоследствии принимал участие в походе на Хиву и участвовал, по личной просьбе генерала Скобелева, в Алтайской экспедиции. Отец Андрей Малов смиренно отказался от предложенной ему чести стать первым епископом Туркестана и занял должность протоиерея Ташкентского собора...

Конечно, отец Андрей — личность богатырского размаха, и действия его были не всегда бесспорны с канонической точки зрения, но мы решили привести в пример жизнь этого пастыря-воина именно для того, чтобы показать

масштаб личности, возросшей в армейской среде. В основной же массе деятельность военных священников, выполнявших свой долг в условиях постоянной опасности для жизни, поражала контрастом между суровыми, не знающими жалости внешними условиями и пастырской христианской миссией любви и милосердия, кротости и утешения, побеждающей и разделение мира, и ожесточение сердец.

В годы Первой мировой войны в Русской армии находилось около двух тысяч священнослужителей. Среди них было немало пастырей, проявивших храбрость и мужество на полях сражений. В этот период военное духовенство возглавлял протопресвитер Георгий Шавельский. О популярности этого пастыря свидетельствует тот факт, что отец Георгий на съезде военного духовенства в 1917 году был избран пожизненным главой русского военного духовенства. Его имя называлось на Соборе 1917–1918 годов в числе кандидатов на патриарший престол, но он сам отказался от такой чести. После февраля 1917 года протопресвитер Георгий Шавельский оставался в армии по просьбе Временного правительства и продолжал свою пастырскую деятельность в войсках, часто выезжая на фронт. Отец Георгий имел ранения и боевые награды. С 1919 года он вступил в Белое движение и стал главой военного духовенства Вооруженных сил Юга России до ухода А.И. Деникина с поста главнокомандующего. Преемником отца Георгия стал епископ Вениамин.

Новый главнокомандующий П.Н. Врангель, приглашая его возглавить военное духовенство, руководствовался не только личными симпатиями. Назначение владыки Вениамина епископом армии и флота должно было подчеркнуть самостоятельное положение Церкви в областях, занятых Русской армией. Назначение епископа на этот пост в императорской армии было просто немыслимым. Протопресвитер, хотя и обладавший правами епархиального архиерея и входивший в Святейший Синод, не обладал равенством по благодати с архиереями и в этом смысле был лицом если не подчиненным, то по крайней мере нижестоящим в системе церковной иерархии.

Вступив в новую должность, епископ Вениамин должен был совмещать архипастырскую, административную и

общественно-политическую деятельность. Как и прежде, он совершал богослужения, произносил проповеди, был членом так называемого Крымского Синода — уже упоминавшегося нами Временного Высшего Церковного Управления; требовала его участия и работа в Совете министров при бароне Врангеле. Кроме того, у него была масса забот по линии «военного ведомства». Епископ армии и флота должен был координировать свои действия и действия подведомственного ему духовенства с военной администрацией, разбирать пусть редкие, но все же имевшие место конфликты между клиром и теми же властями, гражданскими и военными. Он должен был устраивать судьбу священников-беженцев, часть из которых удавалось определить в воинские части, как правило, без выплаты жалованья. Приходилось владыке выезжать на фронт.

В сентябре 1920 года епископ Вениамин принимал участие в Днях всенародного покаяния, проходивших в Крыму и приуроченных к празднику Воздвижения Креста Господня (14/27 сентября). В некоторых воспоминаниях (генерала Слащева, врача Б. Н. Александровского и других) имя владыки Вениамина упоминается в связи с идеей организации грандиозного крестного хода, который должен был пойти через линию фронта с тем, чтобы по мере продвижения в него вливались все новые массы людей. Крестный ход должен был идти до Москвы, духовно побеждая большевиков. Известно, однако, что владыка Вениамин назвал эту затею «святой мечтою» и в воспоминаниях отрицал свою к ней причастность.

«Пропагандистская», как бы мы сейчас сказали, работа велась епископом Вениамином посредством печатного органа — газеты «Святая Русь». Но ни в печати, ни в устных выступлениях он — монархист по убеждениям — не мог открыто высказывать свои взгляды. А если и пытался, то получал «выговор» от «начальства» и наталкивался на неоднородную реакцию крымской общественности, являвшей картину в плане политических симпатий чрезвычайно пеструю...

Чуть более полугода продержался Врангель в Крыму. В ноябре 1920 года началась эвакуация войск и присоединившейся к ним части населения. Это был один из этапов русского исхода, в котором Россия потеряла (и по большей части навсегда) от одного до трех (цифры называются разные)

миллионов далеко не худших своих граждан. В эти дни вместе со своей паствой покинул русскую землю владыка Вениамин. Отныне он — беженец. В лексиконе владыки Вениамина нет слова «эмигрант», применимого к армии, оставившей родину с оружием в руках и надеявшейся продолжать борьбу; к мирным людям, в большинстве своем навсегда потерявшим самое дорогое — дом, родину, возможность жить для ее блага, — к людям (как гражданским, так и военным), которые никогда бы, ни при каких других обстоятельствах не покинули бы родных берегов по своей воле... Беженцы... Богатые и неимущие, способные заработать на хлеб и устроиться в новых условиях и неспособные думать ни о чем другом, кроме победного возвращения в Россию. Женщины, дети, младенцы, немощные старики, закаленные в боях воины и мальчишки-юнкера — все, все они теперь беженцы. Беженцы — архиереи, прибавляющие теперь к своим титулам слово «бывший»: бывший Киевский, бывший Одесский, бывший Севастопольский...

Теперь, слава Богу, мы можем беспристрастно говорить о Русском Зарубежье, о его духовной и культурной миссии. И мы должны воздать по справедливости «беженцам», уносившим с собой в сердце Россию и свою «белую идею». Как разительно отличаются они от поучающих нас ныне представителей «третьей волны»!

Беженцы устраивались как могли в новых условиях, проходило постепенно «чемоданное» настроение, надежды на скорое падение большевиков и на возможность возвращения постепенно гасли. Беженцы становились эмигрантами — людьми без родины, а зачастую и гражданства. Многие русские так и остались до самой смерти обладателями «нансеновских» паспортов, которые выдавались беженцам без гражданства.

Епископ Вениамин, похоже, не знал характерного для большинства эмигрантов положения вынужденного бездействия, пережитого многими русскими людьми в зарубежье. Его жизненная позиция оставалась такой же активной, а деятельность находила применение в устроении церковных дел в условиях эмиграции. Он еще некоторое время оставался епископом армии и флота, обращался к белому воинству с посланиями, посещал русские лагеря в Галлиполи и на

острове Лемнос, был членом Русского совета при Врангеле. В Константинополе — первом месте его зарубежного служения — епископ Вениамин выступил с инициативой создания временных органов церковного управления. Митрополит Антоний (Храповицкий) был сначала против, ибо понимал, что к таким органам, если они возникнут, можно предъявить слишком много претензий канонического характера. Прежде всего, то основание, на котором собирались утвердиться сторонники учреждения церковного управления, ссылавшиеся на постановление Патриарха Тихона о «временных автокефалиях», было достаточно зыбким с точки зрения канонов. В постановлении речь шла о возможности учреждения временных автокефалий в епархиях, находящихся на территории, подведомственной святителю Тихону и его Синоду. А зарубежный епископат, клир и миряне пребывали на канонической территории Константинопольского и Сербского Патриархов. К тому же (что, конечно, очень спорно с точки зрения реальных внешних обстоятельств, но юридически абсолютно справедливо) оказавшиеся за рубежом иерархи покинули свою паству, следовательно, лишались своих полномочий. Но на первых порах препятствия удалось обойти, разрешение Константинопольского Патриарха было получено, и в Константинополе возникло Временное Высшее Русское Управление за границей, действующее под высочайшим омофором Вселенского Патриарха. Формально за Константинопольским Патриархом оставалось и право церковного суда.

В 1921 году созданное в Константинополе Церковное управление переместилось в Сербию, в Сремские Карловцы, найдя приют у Сербского Патриарха Димитрия, предоставившего русским архиереям часть помещений своей резиденции. Переезд подготовил митрополит Евлогий (Георгиевский), уехавший из Новороссийска в январе 1920 года и проживавший в Сербии. Перемещение в Сремские Карловцы не было согласовано с Константинопольским Патриаршим престолом.

Здесь, в Сремских Карловцах, в ноябре 1921 года начал свою работу Всезарубежный Церковный Собор. Впрочем, Собором он стал именоваться лишь с 1 декабря, а первоначально мыслился как общецерковное заграничное собрание. Собор

в своих деяниях ссылался на авторитет Патриарха Тихона, действовал от его имени. Члены Собора (а среди них было 13 архиереев, 26 священников и 67 мирян) приняли резолюцию о восстановлении монархии Дома Романовых как единственно возможной для России формы правления. Святитель Тихон и весь епископат, находившийся тогда в России, выступили против заявления собравшегося в Карловцах Собора, мудро предвидя те тягчайшие последствия, которыми еще обернется выражение «верноподданнических» чувств, о которых было официально заявлено, кстати, по настоянию мирян. Да и в дальнейшем неоднократно «карловчане» (так стали именовать эту группировку) своими «принципиальными» и «бескомпромиссными» декларациями, продиктованными, увы, далеко не всегда чисто церковными нуждами, ставили под удар со стороны богоборцев епископат, клир и мирян Православной Церкви в России. Разумеется, гонения были бы в любом случае, и сторонники митрополита Антония, председательствовавшего на Соборе в Карловцах, конечно, не могли стать их прямой причиной. Но их претензии быть свободным голосом находящейся вне политического давления со стороны большевиков части Руcской Православной Церкви давали прекрасный повод для усиления гонений, предоставляли «идеологическое» обоснование преследований верующих, ставили под угрозу само существование иерархии в трудный для Церкви час, когда она — бесправная перед лицом власти, обуреваемая организационными нестроениями и набиравшим силу обновленчеством, пользовавшимся покровительством государства, — фактически одна духовно противостояла кровавым злодеяниям режима. И не вдаваясь в полемику, не желая впадать в обличительный пафос, хочется все же напомнить о том, что жизнь «там» и «здесь» существенно отличалась, и за все, сказанное (свободно и бескомпромиссно) «там», именно «здесь» платили кровью, страданиями и жизнями...

В связи с этим интересно высказывание известного деятеля-безбожника М. Горева, которым он завершает свою книжку «Карловицкий собор»: «Слова из песни не выкинешь. И будущий историк, внимательно разглядывая ту роль, которую играла церковь в нашей революции, непременно остано-

вится на Карловицком соборе, когда церковники сбросили с себя все маски и показали миру свое настоящее лицо.

Но нас интересует та роль, которую играет "всероссийский патриарх".

Митрополит Антоний за границей ведь не частное лицо. Он действует там "по полномочию Тихона". Он "наперсник и наместник" патриарха. И ответ, повторяю, за его действия, и в частности, за Карловицкий собор, должна нести вся русская церковь, и в первую очередь Тихон. Ведь недопустима с точки зрения простого смысла вещь, когда в одной и той же церкви правая рука не знает, что делает левая!

Патриарх или должен признать, что существующие у нас, в России, "приходские", "епархиальные" и всякие иные церковные советы — не что иное, как конспиративные монархические организации, или он должен выйти из своего оцепенения и ясным голосом дать ответ: объединяется ли с митрополитом Антонием? Подписывается ли под его речами? Признает ли действия его правильными?

Мы нисколько не верим, чтобы, не фальшивя, не лицемеря, не прибегая к каким-нибудь "святым" уловкам, патриарх и в будущем мог дать ясный ответ, а тем более прогнать от себя этого зарвавшегося приказчика.

Настоящие симпатии церкви именно там, куда ведут эту церковь Антоний и Марковы.

Церковь без царя — сирота. Или, как развязно сказал это заместитель "святейшего", "церковь всегда молилась, как за установленное и освящаемое Богом, за Божиею милостию царствующий дом".

Но есть молитва явная, и есть молитва тайная. Вся разница в том и состоит, что здесь, в России № 1, молятся и "пламенеют" тайно, а там в России № 2, не боясь ГПУ; делают это явно.

Не следует забывать, что церковь всегда держит за пазухой нож и, при удобном случае, всегда всаживает его в спину революции»*.

Патриарх Тихон направил послание Сербскому Патриарху Димитрию с выражением благодарности за прием,

* *Горев М.* Карловицкий собор. М.: Наука и религия, б/г. (Вероятно, 1922 г. Орфография и пунктуация сохранены.)

оказанный архиереям, клирикам и мирянам Русской Церкви, оказавшимся на чужбине. А 5 мая 1922 года святитель Тихон направил послание зарубежному духовенству, в котором признал Собор в Сремских Карловцах неканоничным и указал на необоснованность претензий заграничного Временного Высшего Церковного Управления говорить от имени всей Церкви. Решением Патриарха и Синода ВВЦУ было упразднено, а вся власть над европейскими приходами передана митрополиту Евлогию (Георгиевскому). Епископ Вениамин (Федченков) вместе с епископом Анастасием (Грибановским) активно выступали за исполнение патриаршей воли.

ВВЦУ упразднили, воля Патриарха, вроде бы, была выполнена. Но в 1923 году митрополит Антоний возглавил Архиерейский Синод, фактически сменивший только что упраздненный орган. Негласно был взят курс на то, чтобы не подчиняться тем решениям святителя Тихона, которые покажутся митрополиту Антонию и синодалам «несвободными».

Все дальше отходивший от карловчан и раскаявшийся в своей прежней деятельности по подготовке Собора в Карловцах, епископ Вениамин в 1922 году поселился в монастыре Петковице (во имя святой Параскевы Пятницы), расположенном неподалеку от сербского города Шабаца. В этом монастыре вокруг владыки собралось около тридцати человек русских иноков, среди которых были и новопостриженные монахи — из солдат армии Врангеля. А в 1923–1924 годах он — вновь викарный архиерей, но теперь он, русский, окормляет православную паству в Карпатской Руси, находившейся тогда в составе Чехословакии. Управление приходами поручил ему архиепископ Пражский и всея Чехословакии Савватий (Брабец).

Православные русины горячо полюбили своего архипастыря, трудившегося в тяжелых условиях под пристальным и недоброжелательным присмотром чехословацких властей. Его паства — простые «селяки», рабочие, мелкие служащие — люди, с которыми владыка Вениамин всегда легко находил взаимопонимание. Деятельность владыки была прервана по решению властей, и он вынужден был покинуть пределы Чехословакии. Отсюда он хотел отправиться... в Россию, домой, на родину. Это может показаться невероятным, но он соби-

рался вернуться, он — «белый» архиерей! Можно себе представить, какую встречу подготовило бы ему ОГПУ! Но этот идеальный порыв может объяснить нам многие решения, принятые впоследствии владыкой Вениамином.

Пока же из Чехословакии он едет в Сербию, возвращается в Петковице, в монастырь, ставший на некоторое время его местопребыванием, и в 1924–1925 годах окормляет «русских мальчиков» — воспитанников двух кадетских корпусов: Русского и Донского имени генерала Каледина. Кроме этого, возглавляет пастырско-богословские курсы и является настоятелем Русской Церкви.

В 1925–1927 и в 1929–1931 годах его педагогическая деятельность продолжается в парижском Православном Богословском институте во имя преподобного Сергия Радонежского. Он уходит с поста главы духовенства рассеянной по всему свету армии, прощаясь с бывшими соратниками особым посланием.

Богословский институт был детищем митрополита Евлогия, временно управлявшего на основании указа Патриарха Тихона православными русскими приходами в Западной Европе. Первоначально владыка Евлогий, князь Г.Н. Трубецкой и М.М. Осоргин пытались получить у французского правительства в безвозмездный дар какой-нибудь небольшой участок земли в память о заслугах русских воинов, погибших в годы Первой мировой войны и ценой своих жизней спасавших Францию и французов. Но все эти хлопоты успехом не увенчались. Пришлось приобретать землю за деньги. Такой случай вскоре представился: с большим трудом за 312 тысяч франков было приобретено владение на рю де Кримэ, бывшее некогда собственностью немецкого благотворительного учреждения. Здесь и было основано Сергиевское подворье и Богословский институт, ставшие памятником жизненной стойкости русских изгнанников, их верности Православию и традициям своего народа.

Церковь преподобного Сергия, устроенная при подворье, была расписана (безвозмездно) художником Д.С. Стеллецким в духе росписей XVI столетия; им же был устроен великолепный иконостас в древнерусском стиле с подлинными Царскими вратами XIV века. Великая княгиня Мария

Павловна пожертвовала 100 тысяч франков на внутреннюю отделку храма в знак памяти о своей тетушке, замечательной подвижнице и мученице великой княгине Елизавете Федоровне, прославленной в лике святых в 1992 году, — основательнице и настоятельнице Марфо-Мариинской обители в Москве, посвятившей себя служению ближним...

Митрополит Евлогий пригласил в Богословский институт преподавателей из разных стран рассеяния. Из Чехословакии прибыли отец Сергий Булгаков и Г.В. Флоровский; из Сербии — епископ Вениамин и С.С. Безобразов. Г.В. Флоровский читал курс патрологии, отец Сергий Булгаков возглавил кафедру догматического богословия. Историю западных исповеданий читал Г.П. Федотов, нравственное богословие — Б.П. Вышеславцев, литургику и философию — В.Н. Ильин. Ведущим преподавателем по праву считался А.В. Карташев — бывший доцент Санкт-Петербургской духовной академии, занимавший в свое время пост министра исповеданий во Временном правительстве. А.В. Карташев — образованный богослов, историк Церкви, человек редкого дарования — олицетворял собой лучшие традиции русской богословской школы.

Епископу Вениамину (он стал профессором и инспектором) институт был обязан своей особой духовной атмосферой, почти монашеским укладом жизни, а отчасти и тем «горением», которым отличались студенты. Это проявлялось и во внешних признаках. Студенты ходили в подрясниках, во время общей трапезы читались жития святых. Богослужение в храме совершалось неспешно, строго по уставу. И самое главное — может быть, благодаря этой вдумчивой, проникновенной, требующей предельной сосредоточенности и самоотдачи подготовке выпускники Богословского института оказывались способными нести крест пастырского служения в условиях суровых, часто внешне неблагополучных. Многие пастыри буквально голодали на приходах, а большинство священников совмещало служение с работой на фабриках и заводах. Четыре-пять дней работали, а в субботу, воскресенье и праздники совершали богослужения. И несмотря на все тяготы, выпускники института проходили служение во Франции и в Германии, в Польше и в Финляндии, в Литве, Латвии и

Эстонии, в Румынии и Болгарии, в Соединенных Штатах и в других странах русского рассеяния. Настоятели приходов и монахи-миссионеры свидетельствовали перед миром Истину Православия.

Среди студентов института владыка Вениамин нашел верных последователей и сподвижников. Однажды, в 1930 году, когда при храме не оказалось диакона, епископ Вениамин обратился к студентам, и на его призыв откликнулись двое: один — студент третьего курса, а другой — четвертого. Их постригли в монашество, а затем рукоположили во иеродиаконы. Один из них стал епископом, другой — архимандритом. Епископ Феодор (Текучев) скончался в Псково-Печерском монастыре в 1985 году, а архимандрит Стефан (Светозаров) — в Виленском Свято-Духовском монастыре в 1969 году.

В 1927 году произошло событие, ставшее в жизни владыки Вениамина в ряд важнейших. Он подписал декларацию митрополита Сергия (Страгородского) от 29 июля 1927 года.

Декларация была опубликована 19 августа в «Известиях ВЦИК» и тотчас же стала камнем преткновения для многих православных русских людей как в СССР, так и за рубежом. Многие не приняли этого вынужденного шага митрополита Сергия. Не будем здесь пытаться разбирать и саму декларацию, и те последствия, которые были ею вызваны. Тем более что существует огромное количество литературы, этому вопросу посвященной. Напомним лишь слишком ретивым обличителям будущего Патриарха о том, что за время его фактического управления делами Православной Церкви он четырежды арестовывался советскими карательными органами, а также арестовывались близкие ему люди.

Митрополит Евлогий принял декларацию, оговорив, однако, само понятие лояльности по отношению к советской власти. Дело в том, что лояльность провозглашалась и Патриархом Тихоном, и Местоблюстителем митрополитом Петром (Полянским), и соловецкими (находившимися в заключении в СЛОНе — Соловецком лагере особого назначения) епископами. В декларации же митрополита Сергия увидели не просто лояльность, но отождествление интересов Церкви и государства. Поэтому митрополит Евлогий, прежде чем собирать подписи с подведомственного ему духовенства (такое

требование выставила Москва), уточнил, что́ он понимает под лояльностью: аполитичность Церкви, а также отказ использовать церковную проповедь в политических целях. Митрополит Евлогий справедливо полагал, что о какой-либо лояльности, понимаемой как некое внутреннее единение с советской властью, речи быть не может; тем более, что она к тому же не признает эмигрантов гражданами СССР и поэтому не может требовать ничего более аполитичности. Митрополит Сергий дал на это свое согласие, и подписи под декларацией с большинства духовенства «евлогиевской» ориентации были собраны.

Епископ Вениамин, верный своему правилу во всех трудных случаях жизни перед принятием важного решения служить «сорокоуст» — сорок Литургий, — поступил так и на этот раз. И после многих молитв, раздумий и советов с авторитетными для него духовными лицами подписал декларацию, сохранив тем самым общение с митрополитом Евлогием и соединившись с Московской Патриархией.

Для «карловчан» же декларация 1927 года стала пунктом окончательного размежевания с митрополитом Сергием.

Митрополит Евлогий со смирением и пониманием отнесся и к нелегкому, видимо, для самого митрополита Сергия заявлению последнего об отсутствии гонений на Православную Церковь в СССР, сделанному в 1930 году. Он даже сумел удержать от раскола свою паству. В воспоминаниях об этом периоде владыка Евлогий пишет, что получил из России письмо от одного священника, который рассказал о том, как митрополита Сергия держали в полной изоляции, а потом дали ему текст интервью, в котором он сделал лишь некоторые пометки, а затем поставил свою подпись. В противном случае чекисты грозились арестовать всех бывших на свободе епископов тихоновской ориентации. «Но что было бы, — писал впоследствии митрополит Евлогий, — если бы Русская Церковь осталась без епископов, священства, без Таинств — этого не представить... Во всяком случае, не нам, сидящим в безопасности, за пределами досягаемости, судить митрополита Сергия»*.

* Путь моей жизни: Воспоминания митрополита Евлогия, изложенные по его рассказам Т. Манухиной. Париж: YMCA-Press, 1947. С. 621.

Но разрыв отношений все же произошел, и довольно скоро. Конфликт, о котором пойдет речь, имел свою предысторию. Дело в том, что именно оказавшееся за рубежом русское духовенство впервые стало принимать участие в мероприятиях, проводившихся различными инославными экуменическими организациями: в конференциях, симпозиумах, совместных молениях и собеседованиях. В межконфессиональных контактах участвовали как «синодалы-карловчане», так и «евлогианцы». Последние — в несколько большей степени. Внешняя деятельность митрополита Евлогия и его сторонников выглядела особенно активной на фоне вынужденной изоляции оставшейся за «железным занавесом» Московской Патриархии. Относившиеся более настороженно к инославному Западу, «синодалы» предостерегали владыку Евлогия от слишком активного сотрудничества с инославными, а крайне правые круги эмиграции даже обвиняли его в том, что Богословский институт в Париже основан и существует на масонские деньги. Поводом послужил тот факт, что часть средств (100 тыс. франков) на покупку земельного участка на рю де Кримэ была получена в виде бессрочной и беспроцентной ссуды от барона М.А. Гинзбурга, а в первый год своего существования институт получал субсидию Молодежной христианской ассоциации YMCA.

Впрочем, как сторонники митрополита Антония, так и приверженцы митрополита Евлогия надеялись с помощью межконфессиональных контактов упрочить положение Церкви за рубежом, получить моральную поддержку и материальную помощь и, может быть, с помощью видных религиозных деятелей международного масштаба облегчить положение гонимой Церкви в СССР. Но главная цель — свидетельство истин Православия перед лицом католического и протестантского Запада и консолидация сил в противостоянии растущему влиянию безбожия.

В 1925 году по приглашению Англиканской (Епископальной) церкви в проходивших в Лондоне торжествах, посвященных 1600-летию Первого Вселенского Собора, принимали участие: митрополит Антоний, митрополит Евлогий, епископ Вениамин, священник Иоанн Лелюхин и профессор Н.Н. Глубоковский. В 1927 году митрополит Евлогий участвовал в работе Конференции Христианских Церквей

в Лозанне под названием «Вера и церковное устройство» («Faith and Order»).

Но конфликт с митрополитом Сергием (Страгородским) возник не из-за межконфессиональных контактов, а, скорее, проходил на «экуменическом» фоне. В начале Великого поста 1930 года архиепископ Кентерберийский пригласил владыку Евлогия в Лондон для участия в молении о страждущей Русской Церкви. Было совершено торжественное богослужение в Вестминстерском аббатстве и коленопреклоненное моление во всех английских храмах. Митрополит Евлогий не мог не поехать в Англию. Прежде всего, он не хотел обижать английское духовенство. Тем более что в Великобритании существовало «Общество помощи Русской Церкви и ее духовенству», жертвовавшее средства на Богословский институт. Митрополит Евлогий не считал свое участие в молитвах за гонимую Церковь политическим актом, скорее, долгом архипастыря. Но в Москве на это посмотрели иначе, и митрополит Сергий потребовал от митрополита Евлогия осудить эту акцию и дать подписку с обязательством не участвовать в дальнейшем в подобных мероприятиях. Митрополит Евлогий отказался и был уволен от управления приходами Московской Патриархии в Западной Европе. А когда объявил о самоуправлении в своей епархии, то был запрещен в служении... Впоследствии он возвратился в состав клира Московской Патриархии, но это произошло уже после окончания Второй мировой войны. Указом Патриаршего Местоблюстителя от 11 июля 1930 года управляющим западноевропейскими приходами был назначен архиепископ Ниццкий Владимир (Тихоницкий). Но последний отказался принять новое назначение.

В 1931 году в Париже, в аудиториях Православного Богословского института, собрался епархиальный съезд духовенства и мирян, который должен был решить судьбу приходов «евлогианской» ориентации. Кроме самого митрополита Евлогия на съезде присутствовало еще трое архиереев: упоминавшийся уже нами архиепископ Ниццкий Владимир (Тихоницкий), епископ Пражский Сергий (Королев) и инспектор Православного Богословского института епископ Вениамин (Федченков). Съезд принял решение о переходе возглавляемой митрополитом Евлогием митрополии в юрис-

дикцию Вселенского Патриарха с наименованием «Русский Западноевропейский Экзархат Константинопольского престола». И лишь один из архиереев — епископ Вениамин — открыто заявил о своей верности митрополиту Сергию. К нему присоединились двое его бывших студентов: иеромонах Феодор (Текучев) и иеромонах Стефан (Светозаров).

После своего заявления владыка Вениамин должен был оставить свой пост инспектора Православного Богословского института и преподавательскую деятельность в нем. Не мог он больше и служить из-за разделения с митрополитом Евлогием в храме Сергиевского подворья. Оказавшись без постоянного пристанища, он скитался по городу, ночуя у знакомых. Но с ним были его верные ученики, разделявшие жизненные тяготы владыки, которого они почитали своим «старцем». И в этот тяжелый период вокруг епископа Вениамина и двух его соработников-иеромонахов собралась небольшая община — группа в 25–30 прихожан, не пожелавших прерывать каноническое общение с Церковью на родине. Усилиями этой группы, направляемыми владыкой Вениамином, в Париже был образован первый приход Московской Патриархии. Одна из прихожанок будущего храма заложила свои драгоценности, и на вырученные деньги удалось нанять подвальное помещение на улице Петэль, изначально предназначавшееся для склада. Митрополит Литовский и Виленский Елевферий (Богоявленский), которому митрополитом Сергием было поручено управление приходами Московской Патриархии в Западной Европе, благословил освятить главный престол во имя трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и еще один престол — во имя святителя Тихона Задонского. Храм дал название подворью, которое стало именоваться Трехсвятительским.

На подворье, в верхнем этаже здания, разместилась типография имени отца Иоанна Кронштадтского, где печатались как труды самого великого молитвенника земли Русской и книги о нем, так и произведения других авторов, в том числе и книги владыки Вениамина: «Всемирный светильник преподобный Серафим Саровский», «Небо на земле» (объяснение учения отца Иоанна Кронштадтского о Божественной литургии). Издавались и труды митрополита Елевферия. В основ-

ном это были книги полемического характера: «Неделя в Патриархии», «Мой ответ митрополиту Антонию (Храповицкому), председателю Заграничного Архиерейского Синода», «Соборность Церкви. Божие и кесарево».

Храм Трехсвятительского подворья вскоре стал привлекать многих молящихся уставным богослужением и строгой красотой своего внутреннего убранства. Богослужения совершал епископ Вениамин, но служил как простой священник — «иерейским чином». Во время пения канона на утрене катавасии исполнялись хором посредине храма, напротив Царских врат, как это было в древности. В конце богослужения первого часа певцы правого и левого клиросов сходились вместе для пения кондака «Взбранной Воеводе победительная...». Был в храме и свой чтимый образ — Иверская икона Божией Матери, перед которой обычно служились молебны с акафистами. Храм выглядел необычно: находился под землей, словно катакомбная церковь первых христиан.

Были у владыки большие скорби в это время. Бóльшая часть русских бойкотировала «красную» церковь. Это был чисто политический вопрос, и поэтому «рвение» проявляли и люди, от Церкви весьма далекие. Были случаи, когда в висевшую над входом в храм Трех святителей икону бросали камни, называя «большевистской». Стоически переносил владыка, как это уже не раз бывало в его жизни, бытовую неустроенность, находя в себе силы поддерживать и утешать свою пусть немногочисленную, но очень сплоченную и дружную паству. А сам утешался плодами своих трудов: приходили новые люди, открывались новые приходы в Париже и в других городах.

В 1933 году владыка Вениамин (уже архиепископ) с благословения митрополита Сергия отправился с циклом лекций в Соединенные Штаты. Местоблюститель поручил ему попутно выяснить, в каких отношениях с Московской Патриархией пребывает митрополит Платон (Рождественский). Маститый иерарх, пользующийся большим уважением в церковных кругах, митрополит Платон прибыл в Америку в 1921 году. Указом Патриарха Тихона от 29 сентября 1923 года он был назначен американским экзархом. Владыка Платон не переходил в Константинопольскую юрисдикцию и пресекал все поползновения карловчан на его каноническую территорию, а так как «сино-

далы» продолжали на нее посягать, то на Соборе в Детройте в 1924 году была объявлена временная автономия митрополии, которую возглавил владыка Платон. От митрополита Сергия он просил подтверждения своих полномочий. Но от митрополита Платона требовалось собрать «подписки о лояльности» со своей паствы. Сделать это в Америке было совсем уж трудно, почти невозможно. Значительную часть американской паствы составляли нерусские: греки, сербы, сирийцы, украинцы, уехавшие за океан еще до революции, перешедшие в Православие униаты. Русская белая эмиграция составляла незначительный процент от всех связанных с митрополитом Платоном православных. Произошел разрыв отношений с Москвой, и вскоре митрополит Платон скончался. На Соборе митрополичьего округа его преемником был избран архиепископ (впоследствии митрополит) Феофил (Пашковский), так же, как и его предшественник, подпавший под запрещение как отделившийся от Церкви. В 1935 году митрополит Сергий подтвердил действенность этого запрещения. Архиепископ Феофил скончался в Сан-Франциско в 1950 году, так и не воссоединившись с Русской Православной Церковью, хотя и предпринимал к этому некоторые попытки в 1945–1946 годах.

А пока владыка Вениамин с 1933 года становится архиепископом Алеутским и Северо-Американским, экзархом Московской Патриархии в Северной Америке...

Еще до революции, в 1911 году, на торжественном годичном акте в Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Вениамин (Федченков) в своем слове, обращенном к будущим пастырям, сказал: «Братие, путь пастыря именно есть путь “воина Христова”, путь крестный, путь мученический...»*. И сам он шел этим путем всю жизнь: изгнанничество, вынужденная разлука с родиной, с народом, который горячо любил; труды по созданию приходов за рубежом, по устройству церковной жизни, моральные страдания, понесенные от людской злобы и жестокосердия. По свидетельству ученика, «ему приходилось спать на полу,

* О крестном пути пастырства. Слово, произнесенное в храме Санкт-Петербургской духовной академии за Литургией в день годичного акта // Христианское чтение. 1911. С. 545.

подметать улицы, терпеть оскорбления»*. Так было и в Америке, которую владыка Вениамин, по его собственным словам, «приехал завоевывать» один; экзарх не имел экзархата, у пастыря не было паствы. На одном эмигрантском собрании страсти накалились до такой степени, что хозяева дома предложили владыке воспользоваться «черным ходом». Но он ушел по парадной лестнице. Под градом оскорблений и насмешек. Кто-то бросил ему вслед окурок, кто-то прошипел в спину: *Бегает нечестивый ни единому же гонящу* (Притч. 28, 1).

Четырнадцать лет суждено было владыке Вениамину провести в Америке. И по истечении этого срока владыка Вениамин, удостоенный к тому времени сана митрополита, управлял пятьюдесятью приходами с помощью трех викариев: архиепископа Филадельфийского и Карпаторусского Адама (Филипповского), епископа Эдмонтонского и Канадского Антония (Васильева) и епископа Аргентинского Феодора (Текучева). Иеромонаха Феодора и нескольких других священнослужителей владыка Вениамин призвал к служению в Америке из европейских стран. А в 1943 году его ученик был хиротонисан во епископа Аргентинского. Первым же присоединившимся к Московской Патриархии американским архиереем был епископ Аляскинский Антоний (Покровский), впоследствии Вашингтонский и Сан-Францисский — человек горячей веры и чистой жизни, скончавшийся в 1939 году.

Начало Второй мировой войны застало владыку Вениамина в Америке, здесь же встретил он и тревожное сообщение о нападении Германии на Советский Союз. Это трагическое событие в истории Отечества стало значительной вехой в истории Русской Православной Церкви, всегда разделявшей судьбу народа. 22 июня 1941 года Патриарший Местоблюститель Блаженнейший Сергий, митрополит Московский и Коломенский, обратился с посланием ко всем православным людям. В обращении к пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви, разосланном по всем приходам, были такие слова: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла и утешалась его

* *Феодор (Текучев), еп.* Памяти митрополита Вениамина (Федченкова). М., 2009. С. 690.

успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и всенародный подвиг»*.

В далекой Америке экзарх митрополит Вениамин произносит слова надежды и упования на милость Божию к России и ее народам: «Все кончится добром!» 2 июля 1941 года он выступил на многотысячном митинге в Мэдисон-сквер-гарден с обращением к соотечественникам, союзникам, ко всем людям, сочувствующим борьбе с фашизмом, и подчеркнул особый, промыслительный для всего человечества характер совершающихся на востоке Европы событий: «От судьбы России зависят судьбы всего мира!» Как известно, Великая Отечественная война началась в день, когда Русская Православная Церковь отмечала день Всех святых, в земле Российской просиявших. На это владыка Вениамин обращает особое внимание: «Это есть знак милости русских святых к общей нашей Родине и дает нам великую надежду, что начатая борьба кончится благим для нас концом»**.

Митрополит Вениамин обратился с посланием ко всем русским людям в Америке, призывая их сплотиться в годину суровых испытаний, выпавших на долю Отечества. Сам владыка, всегда бывший по своим взглядам патриотом-государственником, организует сбор средств для Красной армии, выступает с лекциями о России, собирает и готовит к отправке в Россию оборудование для госпиталей и медикаменты. Превозмогая усталость и недомогание, вновь и вновь едет на выступления, участвует в работе Комитета помощи России. «Сейчас болеть некогда», — говорил в те дни владыка одному из своих сотрудников.

За каждым богослужением в русских храмах американского континента возносились молитвы о даровании победы русскому оружию. Повсюду в Соединенных Штатах, в Канаде и в Аргентине молились о победе православные, молились даже в тех храмах, которые находились в разделении с Московской Патриархией. И в этом тоже была немалая заслуга митрополита Вениамина, объединявшего соотечественников. Все его помыслы, весь жар горящего любовью сердца уносились туда,

* Правда о религии в России. М., 1942. С. 16.

** Слово митрополита Вениамина, экзарха Московской Патриархии в Америке // Правда о религии в России. М., 1942. С. 291.

где его народ противостоял германскому вторжению. Бывший глава военного духовенства Белой армии призывал Божие благословение на воинов Красной армии, на весь народ, любовь к которому не прошла и не уменьшилась в годы вынужденной разлуки. В любое время дня и ночи мог входить с докладом к президенту Соединенных Штатов митрополит Алеутский и Северо-Американский Вениамин — почетный председатель русско-американского Комитета помощи России.

В январе – феврале 1945 года митрополит Вениамин впервые после двадцатипятилетнего перерыва побывал на родине. Он прибыл в Москву как член Поместного Собора Русской Православной Церкви. В Соборе принимали участие Александрийский Патриарх Христофор и Антиохийский Александр, Предстоятель Грузинской Православной Церкви (восстановившей в годы войны молитвенное общение с Русской Православной Церковью), Патриарх Каллистрат, представители Константинопольского, Иерусалимского, Сербского и Румынского Патриархов. Всего на Соборе присутствовало: 4 митрополита, 41 архиепископ и епископ, 126 клириков и мирян. Заседания Собора проходили с 31 января по 4 февраля. Членам Собора предстояло избрать Патриарха Московского и всея Руси. (Митрополит Сергий, избранный в сентябре 1943 года на Архиерейском Соборе Патриархом, скончался 15 мая 1944 года.) Заседания 31 января — 2 февраля (день избрания нового Патриарха) проходили в величественном храме Воскресения Словущего в Сокольниках, который незадолго до этого от обновленцев отошел вновь к Московской Патриархии. Под его высокими сводами 2 февраля 1945 года митрополит Вениамин назвал кандидата в Патриархи от имени епископов, клира и мирян Патриаршей Церкви в Америке, а также от имени пожелавших иметь общение с Московской Патриархией митрополита Евлогия (Георгиевского) и его паствы и американских «феофиловцев» — Высокопреосвященнейшего Алексия, митрополита Ленинградского и Новгородского.

Легко понять, но трудно представить те чувства, которые переживались членами Собора. После долгих лет гонений, систематического разрушения церковной жизни, проводимого государством, после периода раздиравших Церковь расколов

в Москве открыто собрался Поместный Собор (первый после 1918 года), на котором был избран Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский).

По свидетельствам очевидцев, это было удивительное время. Шел последний, завершающий этап Великой Отечественной войны, за время которой необычайно возрос авторитет Церкви. Ее патриотическая позиция в целом и самоотверженная деятельность отдельных представителей вызывали чувство уважения у народа, и с этим вынуждено было считаться правительство. Немного утихли гонения, и хотя аресты духовенства имели место, но послевоенные репрессии не достигали прежнего размаха... Впервые за долгие годы открывались храмы, возобновляли свою деятельность духовные школы, налаживался выпуск религиозной литературы и церковной утвари. Прекратил свое бесславное существование Союз воинствующих безбожников.

Все это, конечно, не могло не радовать владыку Вениамина. Своими впечатлениями митрополит Вениамин поделился на страницах «Журнала Московской Патриархии»: «Я достаточно мог наблюдать родной народ и понять его. И скажу прямо: впечатление от народа — самое сильное, самое важное, что я увожу с собою с родины за границу. И прежде всего скажу о верующих. Боже, какая горячая вера в них!.. Я давно не молился так усердно, с такой "зрячей верой", как здесь, среди этого духоносного "дома Божия", Церкви Христовой, Тела Его...»

А что было, когда говорились им слова живой проповеди? Какое внимание! Какая жажда духовная! А нередко — и слезы, текшие по щекам и мужчин, и женщин. Горяча вера у русского православного народа.

«Русь и теперь святая. Да, и теперь я могу без всяких сомнений утверждать: жива православная вера в русском народе... И вообще пришел к несомненному убеждению, что не только в отдельных личностях, но и в широчайших толщах народа — вера жива и растет»*.

В 1947 году митрополит Вениамин возвратился на родину и был назначен на Рижскую и Латвийскую кафедру.

* *Вениамин (Федченков), митр.* Мои впечатления о России // Журнал Московской Патриархии. 1945. № 3. С. 21–24.

«Радуйтесь, всегда радуйтесь, и в скорбях радуйтесь!» — такими словами он приветствовал свою новую паству на родине.

В 1951–1955 годах митрополит Вениамин управлял Ростовской епархией. В это время он встречается и поддерживает дружеское общение с архиепископом Лукой (Войно-Ясенецким) — исповедником, замечательным иерархом и ученым, канонизированным РПЦ в 2000 году. Владыка Лука управлял в это время Симферопольской епархией.

Везде, где бы ни служил митрополит Вениамин, у него завязывались теплые отношения с паствой. Владыка хранил письма верующих, некоторые даже переписывал. Он ценил их как свидетельства «любви нелицемерной», бескорыстной привязанности.

В этот период митрополит Вениамин много размышляет о путях церковного устроения в современных условиях, видит в обычных «мелочах архиерейской жизни» людские судьбы, а также общие законы духовной жизни. Свои размышления, интересные письма прихожан, рассказы о чудесных явлениях, а также фрагменты воспоминаний, выдержки из творений святых отцов и другие материалы он объединил в книгу под названием «Записки архиерея». Этот труд, может быть, немного приоткрывает покровы над внутренней жизнью владыки, позволяет приобщиться к его размышлениям и переживаниям. А остальное — знает лишь «Единый сведый сердечная»...

И еще небольшой штрих к нашей краткой биографии митрополита Вениамина, без которого картина представляется нам неполной. Известно, по крайней мере, два случая, когда он брал на свое попечение (включавшее непосредственный уход) больных беспомощных людей и устраивал их жизнь. Один раз такое было еще до революции, по указанию старца, а другой раз — уже в Америке, где владыка обихаживал тяжелобольного иеромонаха-старичка, много лет трудившегося миссионером на Аляске.

Приближался вечер жизни, золотая осень святителя. Ему было уже семьдесят пять, когда в 1955 году он получил назначение на Саратовскую епархию. Уходили силы, владыка стал часто болеть; а в 1958 году, согласно прошению, митрополит Саратовский и Вольский Вениамин (Федченков) был

уволен на покой и поступил на жительство в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Живя в уединении, в обители, владыка предается молитве и размышлениям, много пишет. Иногда, если позволяют силы, совершает богослужения и произносит вдохновенные проповеди.

Когда митрополит Вениамин покидал в 1958 году свою последнюю архиерейскую кафедру, он писал одному из своих корреспондентов о том, что отправляется в Печоры и думает провести там оставшиеся 2–3 года. Больше он и не прожил. Скончался владыка 4 октября 1961 года — в день святителя Димитрия Ростовского.

Книга воспоминаний владыки Вениамина создавалась около шестидесяти лет тому назад. Появилась она, как об этом пишет сам автор, по конкретному поводу и адресовалась «красному читателю». Это следует учитывать. Но, на наш взгляд, совсем не следует поддаваться искушению увидеть в мемуарах владыки некий исполненный социальный заказ. Ни черты личности митрополита Вениамина, ни самый труд его не дают для этого ни малейших оснований. И уж тем более нет решительно никаких оснований для того, чтобы «уловить» автора в некоем криводушии, в «двойной морали». Просто воспоминания митрополита Вениамина, его рассказ о пережитом стали уже, в свою очередь, своеобразным памятником времени и несут на себе его отпечаток. Задуманы они в год Сталинграда и Курской дуги, в переломный год Великой Отечественной, когда на Волге и под Прохоровкой решались судьбы мира. А вершителями судеб, исполнителями действий Промысла Божия были одетые в солдатские шинели тамбовские и тверские мужички, «селяки» и рабочие, инженеры и врачи, сыновья «белых» и «красных», в том числе дети священников, может быть, тех, что учились когда-то с Ваней Федченковым в духовных школах.

Им — своим, родным, русским, бесконечно далеким и до боли близким — адресована книга владыки Вениамина. И не вина автора, что они ее не смогли прочитать тогда. Он сделал все, что мог, принес дар *любви*, которая *долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится*, которая *все покрывает, всему верит*, всегда *надеется, все пе-*

реносит (ср.: 1 Кор. 13, 4, 7). Он попытался понять и принять, объяснить и простить. Но в то же время он верил и надеялся, не меняя идеала, которому служил всю жизнь.

Попробуем и мы понять его...

Будем помнить и то, что никакие мемуары, кем бы они ни были написаны, не могут претендовать на полное, совершенно адекватное отражение действительности. Лишь в полноте, в совокупности свидетельств открывается историческая правда. Порадуемся же тому, что книга владыки Вениамина наше знание о прошлом делает полнее, а значит — и нас богаче, наш взгляд на мир шире, выше мертворожденных схем и идеологических барьеров.

Из текста воспоминаний митрополита Вениамина (Федченкова) «На рубеже двух эпох» следует, что первоначальная работа над записками относится к 1943 году. Впоследствии, уже после возвращения владыки Вениамина из Америки, появился текст, датированный 1956 годом. Его машинописный вариант хранится в библиотеке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Этот текст и был положен в основу настоящей публикации.

Пользуемся случаем, чтобы выразить глубокую признательность братии святой обители за предоставленную возможность работать с трудами митрополита Вениамина.

А.К. Светозарский



КОММЕНТАРИИ

Предисловие

[1] *Киселев Евгений Дмитриевич* (1908–1963) — советский дипломат; в 1943–1945 гг. — генеральный консул СССР в Нью-Йорке.

[2] *Митрополит* (с сентября 1943 г. — Патриарх) *Сергий* (в миру *Иван Николаевич Страгородский*; 1867–1944) — окончил Арзамасское духовное училище, Нижегородскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию (со степенью кандидата богословия). После окончания академии в 1890–1893 гг. проходил свое служение в Православной духовной миссии в Японии, был судовым священником на корабле «Память Азова». В 1893–1894 гг. — инспектор Московской духовной академии. Возведенный в сан архимандрита, отец Сергий был назначен настоятелем посольской церкви в Афинах, где и служил с 1894 по 1897 г. В 1895 г. архимандрит Сергий был удостоен степени магистра богословия за диссертацию «Православное учение о спасении». В 1897–1899 гг. — вновь работа в Православной духовной миссии в Японии, а затем — возвращение в Петербург, в академию, и назначение ее ректором. В 1901 г. — хиротония во епископа Ямбургского, викария Санкт-Петербургской епархии. В 1905 г. владыка Сергий был возведен в сан архиепископа с титулом Финляндского и Выборгского. В 1906–1917 гг. занимал ряд ответственных постов: член Священного Синода, председатель Учебного комитета, председатель Миссионерского совета и др. В 1917 г. архиепископу Сергию определено быть архиепископом Владимирским и Шуйским; в этом же году он был возведен в сан митрополита. Член Поместного Собора Православной Российской Церкви. Одно время, после ареста святого Патриарха Тихона (см. о нем коммент. № 123) и захвата церковной власти обновленцами, вступил с последними в переговоры и вместе с двумя авторитетными иерархами — архиепископом Нижегородским Евдокимом (Мещерским) и архиепископом Костромским и Галичским Серафимом (Мещеряковым) — уклонился в обновленческий раскол, но вскоре принес покаяние и был принят патриархом в общение. С 1924 г. — митрополит Нижегородский. В 1925 г. вступил в должность заместителя Патриаршего Местоблюсти-

теля. Весной 1934 г. ему был присвоен титул Блаженнейший митрополит Московский и Коломенский. Осенью 1943 г. на Архиерейском Соборе избран Патриархом. Скончался 15 мая 1944 г. На долю митрополита (Патриарха) Сергия выпал жребий управления Церковью в очень тяжелых условиях: политика террора и курс «на ликвидацию», взятый советской властью по отношению к Церкви, обновленческий и карловацкий расколы, нестроения, отделения церковных группировок... Потом — суровые годы Великой Отечественной войны. Этот сложный период в истории нашей Церкви был во многом связан с личностью митрополита Сергия.

[3] На деньги, собранные православными христианами, верующими Русской Православной Церкви, были построены танковая колонна им. Димитрия Донского и эскадрилья им. Александра Невского.

Деревня

[4] Персонаж хроники Н.С. Лескова «Соборяне» протопоп Туберозов верил в силу молебна о дожде. Однако история с зонтом взята, вероятно, из повести А.П. Чехова «Дуэль». В повести дьякон рассказывает о своем «дядьке-попе», который «так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонт и кожаное пальто».

[5] Русский поэт *Евгений Абрамович Боратынский* (или Баратынский; 1800–1844) происходил из семьи генерал-адъютанта Абрама Андреевича Боратынского и Александры Федоровны, урожденной Черепановой, фрейлины императрицы Марии Федоровны.

[6] *Марков Николай Львович* (1841 – после 1917 г.) — председатель правления Общества Юго-Восточной железной дороги, член партии октябристов, депутат III и IV Государственных дум.

[7] *Жемчужников Алексей Михайлович* (1821–1908) — русский поэт. Вместе со своими родными братьями — Владимиром и Александром — и двоюродным братом Алексеем Константиновичем Толстым написал сборник пародий под общим псевдонимом Козьмы Пруткова.

[8] *Собзой* — от англ. subsoil (грунт, подпочва). В данном случае, видимо, речь идет о дренажных работах.

[9] *Фозман* — возможно, от англ. foreman (мастер, бригадир).

[10] *Гатцук Алексей Алексеевич* (1832–1891) — писатель; издавал «Газету Гатцука» и периодическое издание «Крестный календарь».

[11] *Епископ Феофан* (в миру *Василий Дмитриевич Быстров*; 1872–1940) — выпускник Санкт-Петербургской духовной академии (окончил в 1896 г. со степенью кандидата богословия), в 1898 г. принял монашество; в 1901-м — архимандрит. За диссертацию «Тетраграмма, или Ветхозаветное Божественное имя Иегова» удостоен степени магистра богословия (1905). С 1901 г. отец Феофан исполняет должность инспектора Санкт-Петербургской духовной академии, а в 1909-м становится ее ректором. Епископская хиротония владыки Феофана состоялась в 1909 г., он стал епископом Ямбургским, викарием Санкт-Петербургской епархии. С 1910 по 1913 г. епископ Феофан занимал ряд кафедр: Таврическую, Астраханскую, Полтавскую. В Астрахань он был отправлен в «почетную ссылку» за обличение перед царем Г. Распутина. В 1917 г. возведен в сан архиепископа. Во время гражданской войны, после эвакуации Вооруженных сил Юга России в Крым, вошел в состав Временного Высшего Церковного Управления. Эмигрант. Жил во Франции... Был молитвенником, аскетом, человеком чистой жизни. Последние годы жил почти в затворе, ежедневно совершая Литургию... Его влияние на владыку Вениамина трудно переоценить.

[12] Книга историка Михаила Петровича Погодина (1800–1875) «Простая речь о мудреных вещах» (2-е изд. М., 1873).

[13] Цитата из трагедии В. Шекспира «Гамлет».

[14] *Рачинский Сергей Александрович* (1833–1902) — педагог, ботаник, публицист и общественный деятель.

[15] *Успенский Глеб Иванович* (1843–1902) — русский писатель, автор очерков «Нравы Растеряевой улицы» и других произведений.

[16] *Центральная Рада* — организация, созданная в Киеве в марте 1917 г. представителями нескольких партий (социалистического толка) и организаций. Существовала и Малая

Рада — исполнительный орган Центральной. В октябре 1917-го с помощью сформированных украинских частей Центральная Рада захватила власть в Киеве и объявила об образовании Украинской народной республики (УНР) в составе России, а в январе провозгласила ее независимость. В январе – феврале 1918 г. Центральная Рада в связи с захватом Киева Красной гвардией перебралась на Волынь. Вернулась в Киев после заключения договора с представителями германского и австрийского командования. В апреле 1918 г. Центральную Раду сменило правительство гетмана П.П. Скоропадского.

[17] См. коммент. № 262.

[18] В машинописном тексте воспоминаний, положенных в основу настоящей публикации, встречаются также варианты: Оршевские, Оршевка.

[19] *Толстой Л.Н.* Детство // Собр. соч.: В 22 т. М., 1978. Т. 1. С. 105–107.

[20] *Симеон Новый Богослов, прп.* Слова: В 2 т. М., 2001. Т. 1. Слово 24. С. 309.

[21] *Ровоам* — сын царя Соломона и наследник его царства. При нем еврейская монархия распалась на два государства — Израильское и Иудейское (980 г. до Р.Х.).

[22] *Кутлер Николай Николаевич* (1859–1924) — русский государственный и политический деятель, юрист по образованию. В 1905–1906 гг., занимая пост главноуправляющего землеустройством и земледелием, предоставил проект отчуждения частновладельческих земель, который не был принят. После неудачи с проектом вышел в отставку и стал видным деятелем кадетской партии, автором ее аграрной программы. Был членом II и IV Государственных дум. После октября 1917 г. работал в Наркомфине и в правлении госбанка.

[23] *Ильинка, Ильяновка, Ильиновка* — варианты названия одного и того же селения, наименованного в честь помещика Ильи Абрамовича Боратынского.

[24] Стихотворение А.Н. Майкова «Летний дождь»:

Золото, золото падает с неба!
Дети кричат и бегут за дождем...
Полноте, дети, его мы сберем,
Только сберем золотистым зерном
В полных амбарах душистого хлеба!

[25] *Семичник* — старинное название двухкопеечной монеты.

[26] *С Егория до Покрова* — от дня св. великомученика Георгия (23 апреля / 6 мая) до праздника Покрова Божией Матери (1/14 октября). *Три Спаса* — народное название трех церковных праздников. Первый Спас — медовый: происхождение (изнесение) Честны́х Древ Животворящего Креста Господня и празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1/14 августа — в этот день совершается освящение меда, отсюда название), второй — яблочный: праздник Преображения Господня (6/19 августа — освящаются плоды), Третий Спас — перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (празднуется 16/29 августа). *Празднование Казанской иконе Божией Матери* бывает дважды в год — 8/21 июля и 22 октября / 4 ноября; *Тихвинской* — 26 июня / 9 июля; *Петра и Павла* — праздник святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла — 29 июня / 12 июля. *Иван-Купала* — Рождество честно́го и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — 24 июня / 7 июля. *От Спиридона Поворота до Ильи Пророка* — период с 12/25 декабря до 20 июля / 2 августа, от дня св. Спиридона, епископа Тримифунтского, до дня св. пророка Божия Илии.

[27] В Тамбовской губернии *икрами* назывались плавучие льдины, свободно передвигающиеся по реке во время ледохода.

[28] *«Герасим Грачевник»* (4/17 марта) — в этот день празднуется память прп. Герасима, иже на Иордане (†475), и прп. Герасима Вологодского (†1178). 9/22 марта совершается празднование Сорока мученикам, в Севастийском озере мучившимся (†ок. 320).

[29] Строки из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов».

[30] *Петров пост* начинается через неделю после дня Святой Троицы (Пятидесятницы) и продолжается до дня св. апостолов Петра и Павла.

[31] *Зеленя* (*диалектн.*) — озимь.

[32] Коронация последнего русского императора Николая II совершилась в Москве в мае 1896 г. В 2000 г. император Российский Николай II был канонизирован. Память страстотерпца царя Николая († 1918) совершается 4/17 июля.

[33] *«Свет»* — ежемесячный научный, литературный и художественный журнал. Выходил в Санкт-Петербурге с января 1877 г. В приложениях к нему печатались произведения русских и зарубежных писателей, исторические и научно-популярные сочинения.

[34] *Своекоштный* (*устар.*) — содержащийся и обучаемый за свой счет (кошт — расходы, издержки).

[35] *Святитель Питирим, епископ Тамбовский* († 1698) — уроженец г. Вязьмы; принял иноческий постриг в 21 год. За строгость жизни избран был игуменом Предтеченского монастыря в своем родном городе. Епископское служение свт. Питирима проходило с 1685 г. во вновь образованной тогда Тамбовской епархии. Свт. Питирим часто совершал богослужения, был усердным молитвенником и воздержником, человеком высокого духовного подвига. За время его управления в Тамбовской епархии были построены новые храмы, открыта школа для духовенства, собрана обширная библиотека при архиерейском доме. Святитель положил много трудов в деле обращения в Православие раскольников, татар, мордвы, черемисов и мещеры, приводя их к истинной вере примером своей жизни и подвига. Причислен к лику святых в 1914 г. Память — 28 июля / 10 августа.

[36] *Часы* — богослужения суточного круга (наряду с полунощницей, вечерней, повечерием, утреней и Божественной литургией). Существуют богослужения первого (присоединяется к утрене), третьего, шестого и девятого часа. Последование часов состоит из чтения псалмов и особых молитв, вспоминаются события земной жизни Спасителя и истории Церкви, упомянутые в Писании (например, сошествие Святого Духа на апостолов).

[37] *Афинский Платон Иванович* — священник Ианнуариевской придворной церкви, законоучитель 3-го уездного и Сретенского начального училища в Москве, автор «Книги для духовно-нравственного чтения в начальных училищах», выдержавшей более 50-ти изданий.

[38] *Соколов Дмитрий Павлович* — священник, автор книги «Беседы с детьми о вере и нравственности христианской».

[39] *Апухтин Алексей Николаевич* (1840–1893) — русский поэт. Главная тема в творчестве Апухтина — трагическая любовь. Поэт обращался также к патриотической и исторической темам, писал о призвании поэта.

[40] *Катавасия* (от *греч.* — схождение) — исполнение ирмоса (первого стиха канона) в конце песни канона. В монастырях для исполнения катавасии оба клироса (хора) сходятся вместе на середине храма, перед амвоном; во время всенощного бдения под праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в качестве катавасии исполняются ирмосы рождественского канона. Ирмос первой песни рождественского канона начинается словами: «Христос раждается, славите...». Пение рождественских ирмосов на катавасиях во время этой службы — первая весть о приближающемся празднике Рождества Христова.

[41] Книга Н.Г. Помяловского (1835–1863) «Очерки бурсы».

[42] *Марфа Борецкая* (?–1503) — жена новгородского посадника Исаака Борецкого. Известна как Марфа Посадница. Выступала за политическую независимость Новгорода от Москвы.

[43] В переводе на латынь «девочка» — puella.

[44] *Саблер (Десятовский) Владимир Карлович* (1847–1929) — юрист по образованию, выпускник Московского университета, состоял юрисконсультом при Св. Синоде, затем управляющим его канцелярией. С 1890 г. — товарищ обер-прокурора Синода, с 1911 по 1915 гг. — обер-прокурор.

[45] *Митрополит Антоний* (в миру *Александр Васильевич Вадковский*; 1846–1912) — сын священника Тамбовской губернии, окончил духовное училище и семинарию в Тамбове и духовную академию в Казани (1870), доктор церковной истории (1895). В начале своей деятельности, будучи еще мирянином, занимался преподавательской и научной деятельностью, редактировал журнал «Православный собеседник». За три года (1879–1882) потерял жену и двух детей. В 1883 г. принял монашество и был возведен в сан архимандрита. Занимал ряд административных постов в духовных учебных заведениях. В 1887 г. рукоположен во епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии. С 1887-го по 1892-й —

архиепископ Финляндский и Выборгский. С 1898 г. и до кончины — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Был постоянным членом Св. Синода (а с 1900 г. — первенствующим), членом Государственного совета. Владыка Антоний отличался глубокими богословскими познаниями, чистотой жизни, удивительным бескорыстием.

[46] О Поместном Соборе 1917–1918 гг. см. подробно в гл. «Церковные соборы в Москве и Киеве».

[47] Император Александр III скончался в 1894 г.

[48] *Нелидов В.А.* Театральная Москва. М., 2002. С. 29.

[49] *Победоносцев Константин Петрович* (1827–1907) занимал пост обер-прокурора Св. Синода с 1880 по 1905 г. После Манифеста 17 октября 1905 г. подал в отставку. Известен своими охранительными тенденциями и глубоким консерватизмом. Препятствовал созыву Поместного Собора, всеми силами старался сохранить синодальное возглавление Церкви. При деятельном участии К.П. Победоносцева значительно увеличилась сеть церковно-приходских школ; возросло количество учащихся в них.

[50] *Сервилизм* (от *лат.* servilis) — рабский. Раболепство, рабская угодливость.

[51] *Святополк-Мирский Дмитрий Петрович* (псевд. Д. Мирский; 1890–1939) — князь, сын императорского министра иностранных дел, в годы гражданской войны — офицер Добровольческой армии. Эмигрант. В 1930 г. вступил в коммунистическую партию Великобритании. Автор книги «Ленин» и статьи «Почему я стал марксистом». В 1932 г. «князь-социалист» выехал в СССР. Был арестован, отправлен в лагерь, а затем казнен.

[52] *Зейполь Игнац* (1876–1932) — австрийский политический деятель, профессор теологии Венского университета, лидер легитимистского крыла христианских социалистов. В 1922–1924 и в 1926–1929 гг. был канцлером Австрийской республики. Во время его правления (1924) между Австрией и СССР были установлены дипломатические отношения.

[53] Апостол Павел был до своего обращения (тогда он носил имя Савл) яростным гонителем юной Церкви Христовой.

[54] Фраза из пьесы М. Горького «На дне».

[55] *Святой праведный Иоанн Кронштадтский* (*Иван Ильич Сергиев*; † 1908) — протоиерей Андреевского собора в г. Кронштадте, великий молитвенник земли Русской, обладавший даром прозорливости и чудотворения, духовный писатель. Причислен к лику святых Русской Православной Церкви в 1990 г. Память совершается 20 декабря / 2 января.

[56] Стихи ирландского поэта-романтика Томаса Мура (1779–1852) в переводе русского поэта Ивана Козлова (1779–1840).

[57] *Толстой Л.Н.* Исповедь // Собр. соч.: В 22 т. М., 1983. Т. 16. С. 146.

[58] К образам «маленьких Кронштадтских» митрополит Вениамин неоднократно обращается в своих произведениях. Небольшие жизнеописания их приведены владыкой в его книге «Божьи люди» и в «Записках архиерея». Об отце Василии Светлове см.: Божьи люди. М.: Отчий дом, 2011. С. 34–46.

Две революции

[59] *Испола* (*устар.*) — в половину, на половину, пополам.

[60] Имеется в виду русский писатель *Станюкович Константин Михайлович* (1843–1903). В числе известных произведений — рассказы о жизни военных моряков. Выступал с резкой критикой существующего общественно-политического строя. За связь с революционными народниками-эмигрантами был арестован и провел в ссылке три года.

[61] *«Русское богатство»* — ежемесячный литературный, научный и политический журнал. Основан в Москве в 1876 г. С середины 1876 по 1918 г. выходил в Петербурге. С 1880 г. издавался артелью писателей-народников (Н.Н. Златовратский, Г.И. Успенский, В.М. Гаршин и другие). С 1893 г. с приходом новой редакции (Н.Н. Михайловский и В.Г. Короленко) журнал стал органом легального народничества.

[62] *«Русская мысль»* — ежемесячный научный, литературный и политический журнал. Выходил в Москве с 1880 по 1918 г. После 1905 г. — орган партии кадетов.

[63] *Бокль Генри Томас* (1821–1862) — английский историк и социолог, представитель географической школы в социологии. Основной труд — «История цивилизации в Англии» (1857–1861). Русский перевод этой книги был напечатан в «Отечественных записках» в 1861 г. Считал, что развитие сознания зависит непосредственно от географических условий среды обитания. Причиной изменений в общественном строе называл накопление знаний.

[64] Речь идет о книге русского публициста, социолога и естествоиспытателя Н.Я. Данилевского «Дарвинизм» (СПб., 1885–1889).

[65] Персонаж романа Ф.М. Достоевского «Бесы».

[66] *Чернов Виктор Михайлович* (1873–1952) — политический деятель, один из организаторов партии социалистов-революционеров, член ее ЦК, главный теоретик партии. С 1899 г. — эмигрант, возглавлял заграничную организацию эсеров. После февраля 1917 г. вернулся в Россию и занял пост министра земледелия Временного правительства. В январе 1918 г. был председателем разогнанного большевиками Учредительного собрания. С 1920 г. — эмигрант, жил во Франции. Участник движения Сопротивления. Последние годы провел в США.

[67] Текст песни приведен в пьесе М. Горького «На дне».

[68] *Спиридонова Мария Александровна* (1884–1941) — одна из организаторов и лидеров партии левых эсеров. После октября 1917 г. выступала за сотрудничество с большевиками, была членом Президиума ВЦИК, участницей III, IV, V Всероссийских съездов Советов. Выступала против заключения Брестского мира и в июле 1918 г. приняла участие в московском восстании левых эсеров, за что была осуждена (условно) Ревтрибуналом на 1 год лишения свободы. Отошла от политической деятельности. Впоследствии неоднократно арестовывалась, много лет провела в тюрьмах, лагерях и ссылках. Казнена осенью 1941 г.

[69] *Богданович Николай Евгеньевич* (1870–1905) — Тамбовский вице-губернатор. Богдановича смертельно ранили эсеры М.П. Катин и И.С. Кузнецов. М.А. Спиридонова застрелила жандармского полковника, усмирителя крестьянских волнений в Тамбовской губернии Г.Н. Луженовского.

[70] *«Наш путь»* — двухнедельный политический и общепрофессиональный журнал. Издавался в Санкт-Петербурге в 1910–1911 гг.

[71] *Гапон Георгий Александрович* (1870–1906) – священник, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии. С 1903 г. служил в церкви при пересыльной тюрьме, основал «Общество русских фабричных и заводских рабочих». Яркий проповедник и талантливый агитатор. Призывал рабочих законным путем добиваться улучшения своего положения. В начальный период своей деятельности придерживался монархических принципов, но начиная с 1904 г. все более и более сближался с левыми кругами. В январе 1905 г. выступил инициатором стачки, в которую было вовлечено 150 тысяч рабочих столицы. Поводом к стачке послужило увольнение рабочих Путиловского завода. После трагедии 9 января скрылся за рубеж. Осенью 1905 г. возвратился в Петербург и попытался пойти на контакт с графом С.Ю. Витте и департаментом полиции, но был убит эсером П.М. Рутенбергом в Озерках. Гапона обвинили в сотрудничестве с полицией и в провокационной деятельности.

[72] Группой «пятидесяти трех» владыка Вениамин ошибочно называет группу «тридцати двух», на основе которой возник «Союз церковного возрождения», выступавший за реформы в Церкви. Впоследствии, после революции, многие участники группы стали видными деятелями обновленческого раскола. Зревшее в церковных кругах обновленческое движение проявилось в связи с арестом Патриарха Тихона в мае 1922 г., когда члены «группы прогрессивного духовенства и мирян» во главе с петроградским протоиереем А. Введенским обманом захватили власть в Церкви, организовав самочинное Высшее Церковное Управление (ВЦУ), которое возглавил архиепископ Антонин (Грановский). Сторонники «церковного обновления» планировали заняться «церковно-общественной» деятельностью: ликвидацией монастырей и самого института монашества, устранением законных архиереев от управления епархиями, намеревались ввести брачный епископат, пересмотреть догматы Православия и реформировать богослужение. Движение состояло из множества группировок: «Живая церковь», «Союз общин древнеапостольской церкви», «Союз церковного возрождения» и др., которые объединялись под

властью ВЦУ или же его власти не признавали. Обновленцами стали именоваться после 1923 г., когда в журнале «Жизнь и религия» было опубликовано «Положение об организации ревнителей церковного обновления». Обновленцами в 1923 и 1925 гг. проводились лжесоборы. На совести «ревнителей обновления» немало позорных деяний: «лишение сана» Патриарха Тихона, кощунственное попрание канонов Церкви, предательство по отношению к духовенству «тихоновской» ориентации, сотрудничество с советскими карательными органами и многое другое. Свт. Тихон осудил обновленцев, а церковный народ не пошел за ними. Свое существование обновленчество фактически прекратило вскоре после Великой Отечественной войны. «Синодальной» обновленческую «церковь» владыка Вениамин называет потому, что в 1923 г. ВЦУ было преобразовано сначала в ВЦС (Высший Церковный Совет), а затем в Синод. При этом обновленцы переменили название своей организации. Теперь она стала именоваться «Российской Православной Церковью».

[73] *Трепов Дмитрий Федорович* (1855–1906) — в 1896–1905 гг. занимал пост московского обер-полицмейстера, а с января 1905 г. был генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Впоследствии товарищ министра внутренних дел. Фраза «холостых залпов не давать и патронов не жалеть» относится по времени к октябрю 1905 г.

[74] *Полубояринова Елена Адриановна* (1864–1918) — вдова миллионера, финансировала издания «Союза русского народа», была его официальным казначеем и членом ЦК. Комиссия, занимавшаяся после февраля 1917 г. деятельностью СРН, Полубояринову к ответственности не привлекала.

[75] *Дубровин Александр Иванович* (1855–1918) — врач, один организаторов «Союза русского народа». Возглавлял часть союза после раскола СРН в 1910 г. Расстрелян большевиками в 1918 г.

[76] *Кони Анатолий Федорович* (1844–1927) — юрист, общественный деятель, академик. Получил известность, когда в 1878 г. вынес оправдательный приговор по делу В. Засулич, убившей петербургского градоначальника Трепова. С середины до конца 1890-х был обер-прокурором кассационного департамента. После революции 1905–1907 гг. член Государ-

ственного совета. После октября 1917-го — профессор Петроградского университета. Автор воспоминаний «На жизненном пути».

[77] Имеется в виду, вероятно, *Баткин Федор Исаакович* (1892–1923) — матрос, агитатор, агент командующего Черноморским флотом адмирала А.В. Колчака в борьбе с пораженческой пропагандой большевиков в ходе Первой мировой войны. По политическим взглядам — эсер. Участник Белого движения.

[78] О Коржикове — см. с. 306, 314–319.

[79] *Красницкий Владимир Дмитриевич* возглавлял «Живую церковь» — одно из самых радикальных течений в обновленчестве, призывал к закрытию монастырей, выступал с обличениями «церковной контрреволюции». Лицемерно приносил покаяние Патриарху Тихону и вновь возвращался в обновленческий раскол. Умер во время войны в Ленинграде, по некоторым сведениям, соединившись с Церковью, а по другим источникам — пребывая в расколе.

[80] *Керенский Александр Федорович* (1881–1970) — эсер, юрист по образованию, выпускник Санкт-Петербургского университета. В IV Государственной думе был председателем фракции трудовиков. С 1917 г. — эсер. Во время февральской революции — член Временного комитета Государственной думы, зам. председателя Петроградского Совета. Во Временном правительстве занимал посты министра юстиции, военного и морского министра, министра-председателя и одновременно был верховным главнокомандующим. Во время Октябрьской революции бежал из Петрограда. С 1918 г. — эмигрант.

[81] Державная икона Божией Матери явилась в подмосковном селе Коломенском (бывшей царской вотчине) в день отречения от престола императора Николая II — 2 марта 1917 г. На ней изображена Пресвятая Богородица с Богомладенцем Иисусом. У Божией Матери на голове — корона, в руках — символы государственной власти: держава и скипетр. Отныне Пресвятая Богородица Сама правит судьбами Российской державы, имея постоянное попечение о Своем уделе.

[82] В эмиграции А.Ф. Керенский выпускал газету «Дни», которая выходила сначала в Берлине, а затем в Париже. Ее издание было прекращено в 1932 г.

[83] *Авксентьев Николай Дмитриевич* (1878–1943) — член ЦК партии эсеров, представитель ее правого крыла. Во Временном правительстве — министр внутренних дел. В 1918 г. Авксентьев — один из руководителей «Союза возрождения России», ставившего своей целью свержение власти Советов, председатель Уфимской директории. В ноябре 1918 г. арестован колчаковцами и выслан за границу.

[84] *Архангельский Александр Андреевич* (1845–1924) — русский духовный композитор, создатель замечательного хора, знакомившего русское общество с лучшими образцами отечественной и зарубежной хоровой музыки.

[85] *Владыка Феофан* (*Быстров*), в описываемое время был архимандритом, а впоследствии стал архиепископом.

[86] *Дубасов Федор Васильевич* (1845–1912) — адмирал, в 1897–1899 гг. командовал Тихоокеанской эскадрой. В 1905–1906 гг. — московский генерал-губернатор.

[87] *Герценштейн Михаил Яковлевич* (1859–1906) — экономист, теоретик кадетской партии по аграрному вопросу, земский деятель. Был депутатом I Государственной думы, членом думской аграрной комиссии. Убит в июле 1906 г. в Финляндии.

[88] *«Выборгское воззвание»* — обращение группы депутатов I Государственной думы (июль 1906 г.) с призывом отказаться от уплаты налогов и от прохождения воинской службы в знак протеста против роспуска Думы.

[89] *Столыпин Петр Аркадьевич* (1862–1911) — русский государственный деятель, министр внутренних дел, с 1906 г. — председатель Совета министров, инициатор проведения аграрной реформы, направленной на ликвидацию малоземелья, а также военной реформы. Убит в Киеве в 1911 г. Кроме недюжинного ума и таланта государственного деятеля, обладал большим личным мужеством.

[90] *Богров Мордко Гершкович (Дмитрий Григорьевич)* (1887–1911) — агент охранки, убийца П.А. Столыпина. Повешен по приговору военно-окружного суда.

[91] *Граф Апраксин Петр Николаевич* (1876–1962) — государственный и общественный деятель, действительный статский советник. Занимал должность Таврического губернатора в 1911–1913 гг.

[92] *Графиня Апраксина Елизавета Владимировна* (1882–1948), урожденная княжна Барятинская.

[93] Здание Тверской семинарии сохранилось до наших дней. В настоящее время в нем располагается Суворовское военное училище.

[94] *Святитель Тихон Задонский* (в миру *Тимофей Савельевич Соколов*; †1783), избрав монашество, был архимандритом Желтикова и Отроча монастырей, ректором Тверской семинарии. В 1761 г. был хиротонисан во епископа Кексгольмского и Ладожского, викария Новгородской епархии. По болезни рано ушел на покой и проживал с 1769 г. в Задонском монастыре Воронежской епархии (его последней архиерейской кафедрой была Воронежская и Задонская, где он был правящим архиереем). Живя на покое в монастыре, свт. Тихон предавался подвигам поста и молитвы, изнурял себя тяжелыми работами, много заботился о просвещении и занимался широкой благотворительностью. Известен также как духовный писатель. Основной труд — «Сокровище духовное, от мира собираемое». Ф.М. Достоевский считал, что без знания творений свт. Тихона невозможно понять душу русского человека. Память — 13/26 августа.

[95] *Распутин Григорий Ефимович* (1872–1916) — из крестьян Тобольской губернии, был связан с сектой хлыстов. В светских салонах Петербурга был принят как «старец», «святой человек» из народа. Стараниями покровителей из «высшего света» был приближен к трону и, пользуясь своим влиянием на царскую семью, приобрел огромную власть. Обстоятельства жизни Распутина использовались левой прессой и политическими деятелями для дискредитации царской семьи и государственной власти. Убит в декабре 1916 г. в результате заговора, во главе которого стоял великий князь Дмитрий Павлович.

[96] *Фон Бюнтинг Николай Георгиевич* (1861–1917) — гофмейстер императорского двора, тверской губернатор.

[97] В 1906 г. император Николай II ответил согласием на ходатайство Григория Распутина, в котором тот просил именовать его «Распутин-Новых». Считается, что такое прошение Распутин подал из-за неблагозвучности фамилии.

[98] *Верхотурский Свято-Николаевский монастырь* основан в 1604 г. В 1704 г. в Покровскую церковь монастыря были

перенесены мощи праведного Симеона Верхотурского (†1642; память — 12/25 мая, 12/25 сентября и 18/31 декабря). В годы советской власти обитель была закрыта. В 1990 г. началось возрождение монастыря.

[99] *Верхотурский подвижник Макарий* (в миру *Михаил Васильевич Поликарпов*; ум. 1917) был известен своей аскетической жизнью и духовными дарами. В 1909 г. император Николай II встретился с отцом Макарием в Царском Селе и передал ему пожертвование на строительство келии. В народе подвижника называли «пастух Михаил» или «птичий святой», так как он разводил кур.

[100] Имеется в виду *архимандрит Ксенофонт* (в миру — *Константин Петрович Медведев*; 1871–1933). В 1905 г. был назначен временно исполняющим обязанности настоятеля Верхотурского Свято-Николаевского монастыря, а в 1909 г. — рукоположен во игумена. В 1925 г. архимандрит Ксенофонт был арестован, а монастырь — закрыт.

[101] *Григорий Богослов, свт.* Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою // Собр. твор.: В 2 т. Изд. Троице-Сергиевой Лавры, 1994 (репр. изд.). Т. 1. С. 371.

[102] Гефсиманский скит Троице-Сергиевой Лавры, основанный митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым), находился в двух верстах от Сергиева Посада. Владыка Вениамин, тогда еще молодой человек, посещал здесь старца Исидора (Козина; ум. 1908) — насельника Гефсиманского скита, который предсказал ему архиерейство.

[103] *Епископ Иннокентий* (в миру *Иван Васильевич Солодчин*, в схиме — *Иоанн*; 1842–1919). В 1899 г. хиротонисан во епископа Благовещенского и Приамурского. Проживал на покое в одном из монастырей Таврической епархии, где в то время проходил свое служение владыка Вениамин.

[104] Ср.: строки из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус».

[105] Речь идет о семье великого князя Петра Николаевича.

[106] Это был, конечно, исключительно номинальный пост, один из многочисленных титулов, к тому же совершенно бессмысленный с точки зрения церковных канонов.

[107] Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский).

[108] *Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий* (в миру *Василий Богоявленский*), родился 1 января 1848 г. в селе Малые Моршки Моршанского уезда Тамбовской губернии в семье священника Никифора Богоявленского, также принявшего в конце жизни мученический венец. Окончил духовное училище и семинарию в Тамбове, затем — Киевскую духовную академию (в 1874 г.). В 1882 г. рукоположен во пресвитера, а в 1886 г., после трагической кончины жены и ребенка, принял иноческий постриг в Тамбовском Казанском монастыре. С 1888 г. — епископ. Был викарием Новгородской епархии, занимал Саратовскую кафедру (1891–1892). С 1892 по 1898 г. святитель Владимир управлял Грузинским экзархатом в сане архиепископа Карталинского и Кахетинского. Затем в течение пятнадцати лет — в сане митрополита — управлял Московской епархией. Был духовным руководителем преподобномученицы великой княгини Елисаветы (†1918; память 5/18 июля), оказывал ей содействие в устроении знаменитой Марфо-Мариинской обители. 23 ноября 1912 г. Высокопреосвященнейший Владимир был назначен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, Первенствующим членом Святейшего Синода. В 1915 г. (не без влияния Распутина) переведен на более младшую Киевскую кафедру.

Мученически скончался 25 января 1918 г. Мощи его почивают в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры. Прославлен Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 31 марта—4 апреля 1992 г. Память — 25 января / 7 февраля.

[109] *Митрополит Питирим* (в миру *Павел Васильевич Окнов*; 1858–1919) — выпускник Киевской духовной академии, в 1883 г. принял монашество. С 1887 по 1891 г. в сане архимандрита трудился на педагогическом поприще, в 1894 хиротонисан во епископа Новгород-Северского. В 1894–1914 гг. занимал различные архиерейские кафедры, а в 1915-м архиепископ (с 1909 г.) Питирим был возведен в сан митрополита и назначен на Петроградскую кафедру. В марте 1917 г. постановлением Синода уволен на покой вместе с рядом архиереев (митрополит Московский Макарий, архиепископ Тобольский Варнава и архиепископ Сарапуль-

ский Амвросий). Находился на территориях, занятых Вооруженными силами Юга России. Скон-чался в Новочеркасске.

[110] *Самарин Александр Дмитриевич* (1868–1932). Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Состоял членом Государственного совета, в 1908 г. был избран московским губернским предводителем дворянства. В 1915-м назначен обер-прокурором Святейшего Синода. До революции выступал как противник восстановления патриаршества, а во время Поместного Собора был выдвинут кандидатом в Патриархи.

[111] *Тихомиров Лев Александрович* (1852–1923) — публицист, редактор газеты «Московские ведомости». В 70–80-е гг. XIX в. — народник, член партии «Земля и воля», соредактор ее печатного органа. С 1879 г. был членом исполнительного комитета партии «Народная воля». В 1883 г. эмигрировал, за границей возглавлял «Вестник народной воли». За рубежом выпустил брошюру (1888) «Почему я перестал быть революционером?» А в 1889 г. направил царю личное послание и вскоре возвратился в Россию, где, кроме «Московских ведомостей», начал работать в «Новом времени» и «Русском обозрении».

[112] Убийство Распутина в доме князя Ф.Ф. Юсупова в Петрограде.

[113] *Милюков Павел Николаевич* (1859–1943) — историк по образованию, один из организаторов партии кадетов, член ее ЦК, редактор партийного органа — газеты «Речь». Депутат III и IV Государственных дум. Во время гражданской войны входил в «Донской гражданский совет» и в «Национальный сектор». С 1920 г. — эмигрант, издавал за границей популярную среди эмигрантов газету «Последние новости».

[114] *Священномученик митрополит Серафим* (в миру *Леонид Михайлович Чичагов*; † 1937; память — 28 ноября / 11 декабря) был в то время Тверским правящим архиереем. См. о нем коммент. № 121.

[115] *Червен-Водали Александр Александрович* (?–1920) — кадет, член IV Государственной думы, министр внутренних дел и зам. председателя Совета министров в правительстве А.В. Колчака. Расстрелян по приговору большевистского суда.

[116] *Епископ* (впоследствии архиепископ) *Арсений* (*Смоленец*; 1873–1937) — поляк по национальности, вырос в

интеллигентной семье; окончил юридический факультет Варшавского университета. Принял Православие и в 1902 г. окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Принял монашество и преподавал в духовных учебных заведениях. В 1910 г. состоялась его хиротония во епископа Пятигорского, викария Владикавказской епархии. С 1912 г. владыка Арсений проходил свое служение в Твери, был викарным архиереем. В 1918–1919 гг. находился на Юге России, управлял Ростовской епархией, с 1919 г. был епископом Приазовским и Таганрогским. Участвовал в Ставропольском Соборе (1919), был связан с Временным Высшим Церковным Управлением (ВВЦУ). В 1920–1930-е гг. управлял рядом епархий. Неоднократно арестовывался. Архиепископ Арсений был человеком высокой культуры и глубоких познаний, в совершенстве владел французским, немецким, английским и итальянским языками.

117 *Полковников Георгий Петрович* (1883–1918) — полковник российской армии. В 1917 г. — главнокомандующий войсками Петроградского военного округа. Один из руководителей вооруженного выступления юнкеров в 1917 г. в Петрограде. Расстрелян большевиками.

118 Тверской губернатор *Слепцов Павел Александрович*, камергер высочайшего двора, действительный статский советник. Погиб в Твери от бомбы террориста 25 марта 1906 г.

119 Тело фон Бюнтинга впоследствии было погребено в пещерах Псково-Печерского монастыря и находится буквально в сотне метров от места захоронения владыки Вениамина, погребенного там же, в пещерах, в 1961 г.

120 *Львов Георгий Евгеньевич* (1861–1925) — князь, депутат I Государственной думы, председатель Всероссийского земского союза, в годы Первой мировой войны — один из руководителей комитета Земского и Городского союзов по снабжению армии, глава Временного правительства в марте – июле 1917 г. Эмигрант.

121 *Священномученик Серафим* (*Чичагов*) был расстрелян в 1937 г. Митрополит Вениамин этого не знал. Приводим ниже основные вехи жизненного пути владыки Серафима. Окончил Пажеский корпус, состоял на военной службе в чине полковника. В 1880 г. принял сан священника. После смерти жены, в

1890 г., состоялось пострижение в монашество. В 1899–1904 гг. архимандрит Серафим настоятельствовал последовательно в Суздальском Спасо-Евфимиевском и в Воскресенском Новоиерусалимском монастырях. Архиерейская хиротония архимандрита Серафима во епископа Сухумского состоялась в апреле 1905 г. в Успенском соборе Московского Кремля. С 1906 по 1914-й управлял Орловской, а затем Кишиневской епархиями. С весны 1914 по осень 1917-го — архиепископ Тверской и Кашинский. Участник Поместного Собора 1917–1918 гг. Свт. Тихоном был назначен на Варшавскую кафедру, но остался в Москве из-за невозможности попасть к месту служения. Последний титул — митрополит Ленинградский (с 1928 по 1933 г.).

[122] *Святитель Московский Макарий* (в миру *Михаил Андреевич Невский*; † 1926; память 16/29 февраля) — «апостол Алтая», много лет трудился на Алтае миссионером, будучи еще мирянином. После пострига и рукоположения начал служить Литургию на языках народов Сибири. В 1883 г. архимандрит Макарий был назначен начальником Алтайской миссии, а в 1884-м состоялась его хиротония во епископа Бийского. Владыка Макарий боролся с расколом, обращал в Православие туземцев, обличал в проповедях сосланных в Сибирь революционеров, которые, как известно, и в ссылках продолжали свою разрушительную антигосударственную деятельность. Последние мстили епископу Макарию: подожгли архиерейский дом (сгорели библиотека и архив) и хотели убить самого владыку. С 1895 по 1912 г. владыка Макарий управлял Томской епархией (с 1906-го — в сане архиепископа). А в 1912-м был возведен в сан митрополита и назначен на Московскую кафедру, которую занимал до марта 1917 г., когда он был «по просьбе духовенства» уволен на покой. Ему вменялась в вину зависимость от Распутина. Подлинная или мнимая — судить трудно. Впоследствии проживал в Николо-Угрешском монастыре. Прожил 90 лет, служил 71 год; был архиереем 42 года.

[123] *Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России* (в миру *Василий Иванович Белавин*; † 1925; память — 25 марта / 7 апреля, 26 сентября / 9 октября). Закончил Торопецкое духовное училище, Псковскую духовную семи-

нарию и духовную академию в Санкт-Петербурге. Принял монашество в 1891 г. после окончания академии и нескольких лет педагогической деятельности, которую продолжал и после пострижения. В 1897 г. хиротонисан во епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии. С 1898 по 1907 г. служил в Америке (с 1905-го — в сане архиепископа), управляя многонациональной православной паствой, объединяя всех духом согласия и любви. С 1907 по 1913 г. управлял Ярославской епархией, а затем, до лета 1917 г., был архиепископом Литовским и Виленским. Съезд духовенства и мирян Московской епархии избрал в июле 1917 г. владыку Тихона архиереем Первопрестольной. На Поместном Соборе Православной Российской Церкви митрополит Московский Тихон был избран посредством жребия Патриархом Московским и всея России. Святейшему Тихону предопределено было вести корабль церковный через многие бури, совершать свое служение в условиях смуты и братоубийственной войны, всеобщего смятения и озлобления. Ему, печальнику за православный народ, пришлось пережить и темницу, и неправедный суд, и клевету, и ложь, и предательство бывших соработников; ему выпало подвергнуться смертельной опасности (было два покушения на жизнь его, по счастью, не достигших своей цели). Патриарх был верен своей пастве и своему служению до самой смерти. Причислен к лику святых в 1989 г.

[124] Митрополита Питирима в полном святительском облачении посадили в разбитый автомобиль и с гиканьем и криками целый день возили по городу.

[125] Митрополит (позднее Патриарх) Сергий (Страгородский).

[126] *Епископ Андрей* (в миру *князь Александр Ухтомский*; 1872–1937) — выпускник Московской духовной академии, кандидат богословия. Принял постриг и рукоположение в декабре 1895 г. В 1911 г. был хиротонисан во епископа Сухумского, а с 1913 г. занимал Уфимскую кафедру. Не склонный к компромиссам, владыка Андрей в 1918 г. отлучил от Причастия «грабителей чужих имений». В 1921 г. свт. Тихоном назначен на Томскую кафедру, но епархией не управлял. В 1925 г. был запрещен в служении за уклонение в старообрядчество

заместителем Местоблюстителя Патриаршего Престола Сергием (Страгородским). По этому вопросу епископ Андрей, выступая за молитвенное объединение со старообрядцами, говорил, что его усилия были направлены на то, чтобы раскол в Церкви был изжит, а старообрядческая древлерусская община стала образцом для устройства общин православных. Епископ Андрей неоднократно подвергался репрессиям со стороны советских карательных органов.

[127] *Священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский* (в миру *Василий Павлович Казанский*), родился в 1873 г. в селе Нименском Андреевской волости Каргопольского уезда в семье священника. Окончил Петрозаводскую духовную семинарию. В 1895 г. принял иноческий постриг. В течение многих лет был преподавателем духовных училищ и семинарий. В январе 1910 г. хиротонисан во епископа Гдовского, викария Санкт-Петербургской епархии. В марте 1917 г. избран правящим архиереем Петроградской епархии. В августе 1917 г. Святейшим Патриархом Тихоном возведен в сан митрополита. Во время голода, охватившего страну в 1921 г., митрополит Вениамин благословил передачу церковных ценностей, не имеющих богослужебного употребления, на нужды бедствующих. Арестован в мае 1922 г. по обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей и создании контрреволюционной организации, предан суду трибунала. По делу о сопротивлении изъятию ценностей было привлечено еще 86 человек. Принял мученическую кончину в ночь с 12 на 13 августа 1922 г. вместе с архимандритом Сергием (Шеиным) и мирянами Юрием Новицким и Иваном Ковшаровым. Митрополит Вениамин и с ним пострадавшие прославлены в 1992 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. На братском кладбище Александро-Невской Лавры воздвигнут крест над символической могилой новомучеников. Память — 31 июля / 13 августа.

[128] *Графиня Гейден Евгения Петровна,* урожденная княжна Кропоткина, — жена графа Гейдена Николая Федоровича (1856–1918), генерала от кавалерии, общественного деятеля.

[129] *Михаил Александрович* (1878–1918) — великий князь, брат Николая II. С 1898 по 1917 г. находился на военной службе. Командовал кавалерийской дивизией, корпусом, был

генерал-инспектором кавалерии. Отречение Николая II от престола (2 марта 1917 г.) было сделано в пользу великого князя Михаила, но он также отрекся 3 марта 1917 г. Расстрелян в ночь на 13 июня 1918 г. на Урале.

[130] Памятник императору Александру III возле храма Христа Спасителя (именно при Александре III, в 1883 г., было совершено торжественное освящение собора) был открыт весной 1912 г. Авторами монумента были архитектор А.Н. Померанцев и скульптор А.М. Опекушин.

Социальный переворот

[131] Эти слова приписывают разным лицам. Русский социолог и публицист Н.Я. Данилевский приводит высказывание со ссылкой на короля Пруссии Фридриха II. См.: *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. М., 2003. Гл. XVI. С. 448.

[132] Русская пословица.

[133] С 1926 г. — Днепропетровск (Украина).

[134] Данное утверждение может вызвать недоумение у современного читателя, воспринимающего описываемые события в далекой ретроспективе и владеющего гораздо большей информацией, чем автор воспоминаний. На наш взгляд, митрополит Вениамин (и это очень важно) не касается нравственной стороны рассматриваемого им вопроса о власти. Его выводы носят скорее психологический характер. Находясь вдали от родины уже в течение двух десятилетий, получая противоречивую информацию из газет и журналов, книг и устных рассказов редких очевидцев, владыка Вениамин пытается объяснить — в первую очередь себе самому — причины жизнеспособности советского государства.

[135] Владыка уже ссылался на данный эпизод Священной истории. См. коммент. № 21.

[136] *Митрополит Антоний* (в миру *Алексей Павлович Храповицкий*; 1863–1936) — вырос в старинной дворянской семье, был сыном генерала, героя русско-турецкой войны 1877–1878 гг. От матери унаследовал глубокую религиозность.

Юношей испытал сильнейшее влияние Ф.М. Достоевского. Из церковных авторитетов на него оказал особенное воздействие бывавший в доме Храповицких свт. Николай (Касаткин), просветитель Японии (впоследствии канонизированный в чине равноапостольного; † 1912; память — 3/16 февраля). Одно время Алексей Храповицкий даже готовился стать миссионером и отправиться к язычникам с проповедью Евангелия, но впоследствии пришел к выводу, что его собственный народ, современное ему общество также нуждаются в проповеди слова Божия. После окончания гимназии (с золотой медалью) он поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию и на последнем курсе принял монашество. Обладая большими дарованиями, сделал «головокружительную» карьеру: в 24 года был магистром богословия, в 26 — архимандритом и ректором Московской духовной академии, еще через пять лет — ректором Казанской академии. Епископом стал в 1897 г., получив хиротонию во епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии. С 1900 по 1902 гг. владыка Антоний проходил служение на Уфимской кафедре, а в 1902 г. решением Синода его перевели на Волынь. Епископ Волынский и Житомирский Антоний первым из русских архиереев поднял вопрос о восстановлении патриаршества в Русской Церкви. Незадолго до начала Первой мировой войны архиепископа Антония перевели в Харьков, а после февраля 1917-го он был уволен на покой и должен был иметь пребывание в Валаамском монастыре на Ладоге. Но вскоре архиепископ Антоний возвратился на свою кафедру и принял участие в работе Поместного Собора. Он был одним из трех избранных Собором кандидатов в Патриархи. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, после своего возведения на патриаршество удостоил владыку Антония сана митрополита. С 1919 г. митрополит Антоний связал свою судьбу с Белым движением. Участвовал в деятельности ВВЦУ на Юге России. С 1921 г. — эмигрант. На Карловацком Соборе был председателем, а затем возглавил заграничный Синод. Скончался в разделении с Московской Патриархией.

[137] Решением Поместного Собора Православной Российской Церкви была создана особая комиссия для описания и фотографирования повреждений кремлевских святынь.

Материалы комиссии решено было опубликовать в органе Поместного Собора «Всероссийском церковно-общественном вестнике». Была издана книга, автор — епископ Камчатский Нестор (Анисимов): «Расстрел Московского Кремля (27 октября — 3 ноября 1917 г.)». М., 1917.

[138] *Епархиальный дом в Лиховом переулке* — детище митрополита Владимира (Богоявленского). При доме была церковь во имя святого равноапостольного князя Владимира, музей и библиотека (12 тыс. томов). Фасад дома в русском стиле был выполнен архитектором П.А. Виноградовым, стенопись — В.П. Гурьяновым. Комплекс епархиального дома был освящен в конце декабря 1902 г.

[139] *Архиепископ Кирилл* (*Смирнов*; священномученик; †1937; память — 7/20 ноября) — выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия. В 1887–1902 гг. служил священником. Овдовев, принял монашество. Епископское служение владыки Кирилла началось в 1904 г. Он был епископом Гдовским, викарием Санкт-Петербургской епархии. С 1910 по 1918 г. управлял Тамбовской епархией. В 1913 г. возведен в сан архиепископа. Архиепископ Кирилл (Смирнов) на Поместном Соборе 1917–1918 гг. был одним из самых активных участников. С 1918 по 1930 — митрополит Казанский и Свияжский. Один из наиболее авторитетных лидеров группы «непоминающих» (находились в оппозиции митрополиту Сергию (Страгородскому) и отказались поминать его имя за богослужением). Со стороны властей подвергался репрессиям, в 1924 г. сослан в Красноярскую область.

[140] *Митрополит Арсений* (в миру *Авксентий Георгиевич Стадницкий*; 1862–1936) — окончил духовную семинарию в Кишиневе и духовную академию в Киеве. Доктор богословия. Постриг принял в 1895 г. Занимался педагогической деятельностью, был в 1898–1899 гг. ректором Московской духовной академии. С 1899 по 1903 — епископ Волоколамский, викарий Московской епархии. С 1903 г. его деятельность проходит в пределах Псковской епархии. В 1907 г. возведен в сан архиепископа. Владыка Арсений был членом учебного комитета при Св. Синоде и членом Предсоборного присутствия. Он готовил реформу церковных учебных заведений. В 1910 г. занял Новгородскую кафедру. Был председателем Московского

противоалкогольного съезда (1912). Член Поместного Собора 1917–1918 гг. В ноябре 1917 г. Патриархом Тихоном возведен в сан митрополита. В 1922 г. высказался за немедленную передачу церковных ценностей в фонд помощи голодающим. Был членом Временного Патриаршего Синода (с 1927 г.). Будучи сосланным в Среднюю Азию, владыка Арсений возглавлял Ташкентскую епархию до дня своей кончины.

[141] Среди трех кандидатов, получивших большинство голосов, было два архиепископа: Антоний и Арсений и один митрополит — Тихон. «Умнейший, строжайший и добрейший», — как говорили тогда. Жребий патриаршества и тяжкий крест управления Церковью в страшную годину испытаний пал на «добрейшего» — Тихона.

[142] Члены Собора неоднократно обращались в Военно-революционный комитет с просьбами о прекращении кровопролития на улицах Москвы.

[143] *Спасо-Преображенский Валаамский монастырь.* Очерки о жизни монастыря, о насельниках и богомольцах помещены владыкой Вениамином в его книгах «Божьи люди» и «Записки архиерея». На Валааме, в Иоанно-Предтеченском скиту, старец отец Никита предвещал будущему митрополиту Вениамину его архиерейство.

[144] Имеется в виду *Зейн Франц-Альберт Александрович* (1862–1918) — военачальник, государственный деятель, генерал-губернатор Финляндии в 1909–1917 гг.

[145] Ныне столица Финляндии г. Хельсинки.

[146] Из контекста следует, что автор принимает официальную советскую версию, согласно которой инициатором конфликта была финская сторона.

[147] Выражение Л. Троцкого.

[148] *Архиепископ Димитрий* (в миру *князь Давид Ильич Абашидзе*; в схиме — *Антоний*; 1867–1942 или 1943) — выпускник Новочеркасского университета, принял монашество в 1892 г.; в 1896 — окончил Казанскую духовную академию и был рукоположен в священный сан. Кандидат богословия. С 1897 по 1902 г. — на педагогической и административной работе в духовных учебных заведениях. С 1902 по 1903-й — епископ Алавердский. С 1903 по 1912 г. сменил ряд архиерейских кафедр. С 1912-го — епископ Таврический и Симферопольский.

В 1914 г. добровольно отправился на фронт, служил рядовым священником Черноморской эскадры. С 1915 г. — епископ Таврический и Симферопольский. Член Собора 1917–1918 гг. Принимал участие в работе ВВЦУ на Юге России. Погребен у входа в Ближние пещеры Киево-Печерской Лавры.

[149] *Скоропадский Павел Петрович* (1873–1945) — генерал-лейтенант императорской армии, октябрист, помещик Черниговской и Полтавской губерний. Во время Первой мировой войны — командир корпуса. В апреле – декабре 1918 г. — гетман Украины. Эмигрант. Жил в Германии.

[150] *Петлюра Симон Васильевич* (1879–1926) — член Украинской социал-демократической рабочей партии, после февраля 1917 г. — председатель Всеукраинского войскового комитета Центральной рады. Возглавлял военное министерство Украинской Народной Республики. С.В. Петлюра и его единомышленники первоначально сотрудничали с немцами и австро-венграми, оккупировавшими Украину, и с режимом Скоро-падского. В ноябре 1918 г. выступили против гетмана и обра-зовали Директорию, которую возглавили С.В. Петлюра и В.К. Винниченко. Созданная Директорией Украинская народная армия была разгромлена сначала Красной армией, а затем потерпела поражение от Добровольческой армии. В 1920 г. Петлюра заключил договор с Пилсудским и вместе со своей армией действовал против Красной армии. Попытка Петлюры договориться о совместных действиях с бароном Врангелем не увенчалась успехом. С лета 1920 г. — эмигрант. В свое время С. Петлюра действительно учился в духовной семинарии.

[151] *Митрополит Платон* (в миру *Порфирий Рождественский*; 1866–1934), после окончания духовной семинарии в Курске был рукоположен во иерея и проходил служение на сельском приходе. Овдовев, в 1891 г. поступил в Киевскую духовную академию, которую окончил в 1895 г. Магистр богословия (1898). С 1895 по 1901 г. преподавал, занимал ряд административных должностей, а в 1902 г. стал ректором академии и в том же году был хиротонисан во епископа Чигиринского, викария Киевской епархии. В сане архиепископа начиная с 1907 г. служил в Америке, был правящим архиереем с титулом Алеутский и Северо-Американский. В 1914–1915 гг. архиепископ Кишиневский и Хотинский, а с декабря 1915-го —

архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии и член ее Синода. Член Поместного Собора Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. В сан митрополита возведен в августе 1917 г., назначен митрополитом Тифлисским и Бакинским, экзархом Кавказским. С февраля 1918 г. — митрополит Херсонский и Одесский. В 1919–1920 гг. — активный участник Белого движения, с 1920-го — эмигрант. Жил в Северной Америке. Подпал под запрещение митрополита Сергия (см. Послесловие). Решением Патриарха Алексия (Симанского) запрещение фактически было посмертно снято с владыки Платона в 1946 г.

[152] *Салгир* — река в Крыму, впадает в залив Сиваш.

[153] *Свято-Введенская Оптина пустынь* в г. Козельске Калужской епархии, известная на всю Россию особым укладом монашеской жизни и своими святыми старцами.

[154] На это характерное явление указывают авторы многих мемуаров. Нечто подобное упоминает и И.А. Бунин в своей книге «Окаянные дни».

[155] Ныне Ленинградский вокзал Октябрьской железной дороги.

[156] Данный эпизод подробно описан владыкой Вениамином в «Записках архиерея» (Кощунник-солдат // Записки архиерея. М., 2002. С. 755–757).

[157] *Рязано-Уральская железная дорога* — одна из крупнейших железных дорог в России на рубеже XIX и XX вв. На настоящее время основные линии включены в Приволжскую железную дорогу.

[158] *Жуков* — крестьянин, бывший подрядчиком при перестройке домашней церкви в Тверской духовной семинарии во время ректорства митрополита Вениамина (см. с. 162–163).

[159] Послание Патриарха Тихона о Брестском мире от 5/18 марта 1918 г. «Этот мир, подписанный от имени русского народа, не приведет к братскому сожительству народов. В нем нет залогов успокоения и примирения, в нем посеяны семена злобы и человеконенавистничества. В нем зародыши новых войн и зол для всего человечества» (Церковные ведомости. 1918. № 9–10).

[160] *Священномученик Гермоген* (*Ермоген*; в миру *Ермолай*; †1612), Патриарх Московский и всея Руси в 1606–1612 гг.

Управлял Церковью в тяжелый и для нее, и для всего русского народа период — Смутное время. Заточенный врагами в Московском Чудовом монастыре, обращался к народу с посланиями, в которых призывал всех православных встать на защиту веры и Родины, выступить против захватчиков, освободить Москву и всю Россию от поляков и изменников. Скончался мученически: был заморен голодом. Канонизирован в 1913 г. Память совершается 17 февраля / 1 марта и 12/25 мая.

Монах Авраамий (в миру *Аверкий Иванович Палицын*) родился в середине XVI столетия, скончался в Соловецком монастыре в 1626 г. Известный деятель эпохи Смутного времени. Келарь Троице-Сергиевой Лавры.

Патриарх Никон (в миру *Никита Минов*; 1605–1681) возведен на патриаршество в 1652 г. Был «собинным другом» царя Алексея Михайловича, царь советовался с Патриархом в государственных делах, во время длительного отсутствия оставлял его управлять страной. Патриарх Никон имел царский титул — Великий Государь. Патриарх считал, что церковная власть должна главенствовать над светской, и это послужило одной из причин конфликта царя и Патриарха.

161 Имеется в виду послание Патриарха Тихона от 19 января 1918 г. с анафематствованием гонителей Церкви. Послание содержало также осуждение насилия, чинимого над невинными людьми, развала государственности и призыв к православным встать на защиту святынь. О том же — постановление Собора от 20 января 1918 г. (Священный Собор Православной Российской Церкви: Деяния. М., 1918. Вып. 1. Кн. VI).

162 Ex cathedra (*лат.*) — букв. «с кафедры»; непререкаемо, авторитетно. Учение, провозглашенное папой ex cathedra, признается Католической церковью безошибочным.

163 *Князь Трубецкой Евгений Николаевич* (1863–1920) — религиозный философ, общественный деятель. Выпускник Московского университета (с 1905 г. — профессор). Принимал активное участие в деятельности Поместного Собора. Участник Белого движения. Скончался от тифа во время эвакуации белых из Новороссийска.

164 Владыка Вениамин в период кампании по изъятию церковных ценностей находился уже за пределами России и не

был свидетелем происходящего. Теперь, когда опубликовано секретное письмо Ленина Молотову и другим членам Политбюро большевистской партии, посвященное изъятию ценностей, становится совершенно очевидным запланированный характер этой кровавой провокации. Текст письма опубликован в журнале «Известия ЦК КПСС» (1990. № 4).

165 V Вселенский Собор проходил в Константинополе в 553 г. Ива Эдесский — пресвитер, с 435 г. — епископ Эдесский. Скончался в 457 г. Вероятно, речь идет о IV Вселенском Соборе (здесь возможна опечатка в тексте машинописи). Ива Эдесский был лишен епископского сана Собором в Эфесе (449), а Вселенский Собор в Халкидоне (451) возвратил ему епископство.

166 *Хоповский монастырь* — основанный в 1496 г. в Хопово (Сербия) монастырь во имя свт. Николая Чудотворца, куда в виду его запустения в 1920 г. переехал русский Свято-Богородицкий Леснинский женский монастырь. В Хопово поселилось 70 монахинь во главе с игуменией Екатериной (в миру графиня Ефимовская Евгения Борисовна; 1850–1925).

167 *Я.С. Гурович* — адвокат, приглашенный митрополитом Вениамином (Казанским) для своей защиты на процессе по делу о церковных ценностях. Процесс проходил в Петрограде с 11 июня по 5 июля 1922 г. и носил характер беззаконной расправы над людьми Церкви: главный пункт обвинения — сопротивление изъятию ценностей — невозможно было доказать, так как в Петрограде ценности были отданы властям без сопротивления. По делу об изъятии на петроградском процессе было привлечено в качестве подсудимых 86 человек: 10 приговорено к расстрелу (шестеро помилованы), несколько человек оправдано, остальные — к длительным срокам заключения. В ночь с 12 на 13 августа митрополит Вениамин (Казанский), архимандрит Сергий (в миру В.П. Шеин, бывший член Государственной думы), профессор Ю.П. Новицкий и адвокат И.М. Ковшаров были казнены.

168 Вероятно, епископ Кассиан (Безобразов).

169 О сщмч. Вениамине (Казанском) см. также коммент. № 127.

170 Поездка Патриарха Тихона в Петроград проходила с 23 мая по 3 июня 1918 г. Святитель совершал богослужения

в Исаакиевском и Казанском соборах, в Александро-Невской Лавре; посетил Кронштадт.

[171] Ныне Николаевский вокзал называется Московским, а Знаменская площадь — площадью Восстания.

[172] «National Geographic».

[173] Патриарх Тихон скончался 7 апреля 1925 г., в день Благовещения. Здание клиники Бакуниной — частной больницы на Остоженке — сохранилось до наших дней.

[174] Вероятно, это был еще кто-нибудь из большевистских вождей. Ленина к тому времени уже не было в живых.

[175] *Крыленко Николай Васильевич* (1885–1938) — советский партийный и государственный деятель. С 1918-го — председатель Верховного трибунала, прокурор РСФСР. С 1931-го по 1936-й — нарком юстиции РСФСР, с 1936-го — СССР. В 1927–1934 гг. член Президиума ВЦИК. Известен своими обвинительными речами на процессах «контрреволюционеров» и «врагов народа», в том числе и на «процессах церковников».

[176] *Шиллинг Дмитрий Иванович* — белый генерал, участник Первой мировой войны. В конце 1919 — начале 1920 г. его войска защищали Херсон, Николаев и Одессу. Генерал Шиллинг был главнокомандующим Новороссийской области. После сдачи Одессы эвакуировался в Крым.

[177] *Св. архидиакон Стефан* († 34) — первый мученик за Христа, апостол от семидесяти (см.: Деян., гл. 6–7).

[178] Св. апостол и евангелист Лука, согласно преданию, был врачом и художником.

Белое движение

[179] Восточные народы называли белым царем русских правителей начиная с Ивана IV. У тюрков цветами обозначали стороны света. Белым был цвет запада. Кроме того, белый символизирует чистоту и высокий духовный уровень.

[180] *Скобелев Михаил Дмитриевич* (1843–1882) — выдающийся русский военачальник, генерал от инфантерии. Участвовал в завоевании Средней Азии. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. командовал Сводной казачьей дивизией,

Кавказской казачьей бригадой, а затем — 16-й пехотной дивизией (во время блокады Плевны). Его дивизия сыграла решающую роль в сражении под Шейново. Скобелева называли белым генералом за благородство и смелость, в Болгарии его почитают как национального героя. Сражался на поле битвы в белом мундире и на белом коне.

[181] *Бурцев Владимир Львович* (1862–1942) — публицист, занимавшийся разоблачением полицейских агентов Российской империи. Народоволец, в 1917 г. выступил с резкой критикой большевиков, был арестован, после освобождения в 1918 г. эмигрировал.

[182] *Аладьин Алексей Федорович* (1873–1927) — участник революционного движения, член Государственной думы первого созыва. Поддерживал генерала Корнилова. Был арестован. После освобождения примкнул к Белой армии, затем эмигрировал.

[183] *Алексинский Григорий Алексеевич* (1879–1967) — революционер, член РСДРП, поддерживал Г. В. Плеханова. В 1917 г. начал агитацию против большевиков. В 1919 г. эмигрировал.

Алексинский Иван Павлович (1871–1945) — хирург, член I Государственной думы. Был близок к кадетам. Отрицательно отнесся к революции 1917 г. В 1919 г. примкнул к Белому движению, работал хирургом в госпиталях. В 1920 г. эмигрировал.

[184] *Деникин Антон Иванович* (1872–1947) — генерал-лейтенант, один из организаторов Добровольческой армии, правитель и командующий Вооруженными силами Юга России. Сын бывшего крепостного крестьянина, дослужившегося до чина майора. Закончил Ловическое реальное училище, Киевское пехотное юнкерское училище и Николаевскую академию Генерального штаба. Участник Русско-японской войны. Во время Первой мировой войны командовал 17-м пехотным полком («железные стрелки»), был командиром корпуса. При Временном правительстве был назначен начальником штаба Ставки, а с мая 1917 г. — главнокомандующим армиями Западного фронта, а затем — Юго-Западного. За участие в выступлении Корнилова был арестован и заключен в Быховскую тюрьму. Бежал на Дон, где сначала был начальником дивизии Добровольческой армии, а после смерти Корнилова —

главнокомандующим. После поражения Вооруженных сил Юга России весной 1920 г. сдал командование Врангелю и уехал в Константинополь.

[185] *Врангель Петр Николаевич* (1878–1928) — барон, генерал-лейтенант. Из потомственных дворян. Окончил Горный институт и Николаевскую академию Генерального штаба. Службу начал рядовым (на правах вольноопределяющегося). Добровольцем участвовал в русско-японской войне. Воевать в Первую мировую войну начинал в чине ротмистра, а в 1917-м был командиром 3-го конного корпуса. С августа 1918 г. — в Добровольческой армии. Командовал конной дивизией, конным корпусом, Кавказской армией. Из-за разногласий с Деникиным должен был покинуть армию, но после эвакуации добровольцев из Новороссийска в Крым вернулся и сменил Деникина на посту главнокомандующего. В ноябре 1920 г. вместе со своей армией покинул пределы России. В эмиграции основал РОВС — Русский общевоинский союз.

[186] *Павличенко Людмила Михайловна* (1916–1974) — Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны была снайпером 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. В 1942 г. была ранена. Вскоре ее отозвали с передовой и направили в США и Канаду в составе делегации советских молодых людей, в числе которых был комсомольский лидер Н. Красавченко.

[187] Учредительное собрание было разогнано в ночь с 18 на 19 января 1918 г. красноармейцами во главе с матросом, анархистом Анатолием Григорьевичем Железняковым, известным как матрос Железняк. Был начальником караула во время заседания Учредительного собрания.

[188] *Кутепов Александр Павлович* (1882–1930) — генерал от инфантерии, командующий 1-й армией Вооруженных сил Юга России. Участник Русско-японской войны, за боевые отличия принят на службу в лейб-гвардии Преображенский полк. Участник Первой мировой войны. В 1914-м — штабс-капитан, в 1917-м — полковник, командир Преображенского полка. После октября 1917 г. — в Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского похода. Командовал ротой, Корниловским полком и 1-й дивизией. В Крыму генерал-майор Кутепов командовал 1-й армией. После смерти Врангеля — председатель РОВС.

Будучи человеком большой личной храбрости, не желая лишней траты средств, отказался от телохранителей. Был похищен агентами ОГПУ в Париже и пропал без вести.

[189] 27 августа 1917 г. Верховный главнокомандующий Л.Г. Корнилов направил войска на Петроград. Выступление Корнилова было подавлено.

[190] *Корнилов Лавр Георгиевич* (1870–1918) — генерал от инфантерии, командующий Добровольческой армией. Окончил Омский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище в Петербурге и Николаевскую академию Генштаба. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В 1914–1917 гг. командовал бригадой, дивизией (48-я «Стальная»). Весной 1915 г., тяжело раненный, попал в плен, в 1916 г. бежал. При Временном правительстве был главнокомандующим войсками Петроградского военного округа, командующим армией, главкомом Юго-Западного фронта, Верховным главнокомандующим. Добился введения смертной казни, пытался ввести строгое соблюдение воинской дисциплины, приостановить развал фронта. За вооруженное выступление в августе 1917 г. был отстранен от должности. Пробрался на Дон и принял от генерала Алексеева командование Добровольческой армией. Убит во время 1-го Кубанского похода. Известны его слова: «Я ничего не боюсь, кроме позора России».

[191] *Алексеев Михаил Васильевич* (1857–1918) — генерал-адъютант, выпускник Московского юнкерского училища, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг., ординарец Скобелева. В 1887 г. окончил Николаевскую академию Генштаба. Участник русско-японской войны (сам подал рапорт о направлении его в действующую армию). В годы Первой мировой войны — начальник штаба Верховного главнокомандующего. В марте 1917 г. высказал открыто делегатам офицерского съезда, что стране грозит опасность. Был уволен со службы. На Дону генерал Алексеев организовал основу Добровольческой армии, так называемую «алексеевскую организацию». Скончался во время 8-го Кубанского похода от сильной простуды.

[192] *Колчак Александр Васильевич* (1874–1920) — адмирал, окончил Морской корпус, участник полярной экспедиции

барона Э.В. Толя. Участник русско-японской войны, воевал в Порт-Артуре, был ранен и взят в плен. Во время Первой мировой войны — командир дивизиона миноносцев, начальник минной дивизии. С августа 1916 г. — вице-адмирал, командующий Черноморским флотом. После октября 1917 г. отправился в Сибирь. 3 июля 1919 г. в Омске провозглашен Верховным Правителем России. В январе 1920 г., когда шел разгром сибирских войск Красной армией, А.В. Колчак был арестован большевиками в результате предательства французского командования, чехов и эсеровского правительства. Казнен чекистами 20 февраля 1920 г.

[193] Имеется в виду *Бермондт-Авалов Павел Рафаилович* (1884(?)–1973(?)). Участник Первой мировой войны. Один из организаторов Белого движения в Прибалтике и на Украине. Эмигрировал в Германию.

[194] *Вейган Максим* (1867–1965) — французский генерал, участник Первой мировой войны. С ноября 1917 г. — глава Высшего военного совета союзников, с марта 1918-го — начальник штаба Верховного главнокомандования. В 1920 г. возглавлял англо-французскую военную миссию в Варшаве, занимавшуюся снабжением польской армии и обучением ее личного состава. В годы Второй мировой войны — начальник штаба национальной обороны и Верховный главнокомандующий вооруженными силами Франции.

[195] *Юденич Николай Николаевич* (1862–1933) — генерал от инфантерии, главнокомандующий Северо-Западной Добровольческой армией. Закончил Алексеевское военное училище, Николаевскую академию Генштаба. Во время русско-японской войны за боевые отличия был произведен в генерал-майоры. В 1912 г. — начальник штаба Кавказского военного округа. За победы над турками в 1915 г. назначен командующим Кавказской армией, а с марта 1917-го — фронтом. В октябре 1918 г. пробрался в Финляндию, а затем — в Эстонию, откуда начал в октябре 1919 г. наступление на Петроград. При подавляющем перевесе сил (50 тысяч штыков) Красной армии удалось остановить продвижение восьмитысячной армии Юденича. Она была охвачена с флангов, но сумела отойти в Эстонию. Эстонское правительство считало русские белые части опасными для эстонской самостоятельности.

К тому же между Эстонией и РСФСР существовал мирный договор. Поэтому, с одобрения союзников, армия Юденича была разоружена эстонцами. Н.Н. Юденич скончался в эмиграции.

[196] *Миллер Евгений Карлович* (1867–1937) — генерал-лейтенант, закончил Николаевский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище. Служил в лейб-гвардии гусарском полку. В 1898–1907 гг. был российским военным атташе в Бельгии, Голландии и Италии. Окончил в 1892 г. Николаевскую академию Генштаба. В годы Первой мировой войны был начальником штаба 3-й армии, а затем командиром корпуса. Ранен взбунтовавшимися солдатами. Осенью 1917 г. назначен представителем Ставки при итальянском командовании. Октябрьскую революцию не признал. Был заочно осужден военным трибуналом. В начале 1919-го в Архангельске «Временным правительством Северной области» (возглавлял социалист Н.В. Чайковский) приглашен на пост военного губернатора Северной области. В мае 1919 г. генерал-лейтенант Миллер был назначен Верховным Правителем адмиралом Колчаком на пост главнокомандующего войсками Северной области, а в сентябре того же года — главным начальником края. Вся армия Миллера насчитывала всего до 10 тысяч штыков, и все же после ухода англичан из Архангельска Миллер решил продолжать борьбу. Лишь в феврале 1920 г. его войска на судах покинули Архангельск, отправившись в изгнание. В эмиграции Е.К. Миллер был (с 1922 г.) начальником штаба генерала Врангеля, а с 1929 г. — заместителем председателя, а затем и председателем РОВСа. В сентябре 1937 г. в Париже похищен агентами НКВД.

[197] *Слащев Яков Александрович* (1885–1929) — генерал-лейтенант, выпускник Николаевской академии Генштаба, в чине полковника участвовал в Первой мировой войне. С весны 1918 г. — начальник штаба казачьего отряда А.Г. Шкуро. В Добровольческой армии командовал бригадой, Чеченской конной дивизией, сражался против «народной армии» Н.И. Махно. В январе – апреле 1920 г. командир 2-го армейского корпуса Слащев руководил обороной Крыма, а затем вел бои в Северной Таврии. За проведение удачных операций и за успешную оборону Крыма получил титул «Крымский».

В августе 1920 г. отстранен Врангелем от командования корпусом, так как между ним и Слащевым возникли существенные разногласия. В Константинополе Слащев выступил против П.Н. Врангеля в печати. Был судим и разжалован в рядовые. Осенью 1921 г. вернулся в Россию. Преподавал тактику на курсах комсостава Рабоче-крестьянской Красной армии «Выстрел». Обратился к эмигрировавшим солдатам и офицерам Белой армии с призывом вернуться на Родину. По официальной советской версии, был убит родственником повешенного по его приказу в Крыму солдата.

[198] О Харьковской «чрезвычайке» приводим отрывок из воспоминаний А.И. Деникина: «Наконец — эти могилы мертвых и живых — каторжная тюрьма, чрезвычайка и концентрационный лагерь, где в невыносимых мучениях гибли тысячи жертв, где люди-звери — Саенко, Бондаренко, Иванович и многие другие — били, пытали, убивали и так называемых врагов народа, и самый неподдельный безвинный народ! “Сегодня расстрелял 15 человек. Как жить приятно и легко!” — такими внутренними эмоциями своими делился с очередной партией обреченных жертв знаменитый садист Саенко. По ремеслу столяр, потом последовательно городовой, военный дезертир, милиционер и наконец почетный палач советского застенка. Ему вторил другой палач — беглый каторжник Иванович: “Бывало, раньше совесть во мне заговорит, да теперь прошло — научил товарищ стакан крови человеческой выпить: выпил — сердце каменным стало”» (*Деникин А.И.* Очерки русской смуты: Вооруженные силы Юга России. Берлин, 1926. С. 129).

[199] *Май-Маевский Владимир Зенонович* (1867–1920) — генерал-лейтенант, окончил Николаевскую академию Генштаба. Участник Первой мировой войны. В Добровольческой армии с декабря 1918 г. в должности командира 3-й Пехотной дивизии, с весны 1919-го — командующего Донецкой группой войск. В мае – ноябре 1919 г. командовал Добровольческой армией, был главноначальствующим Харьковской области. В декабре 1919 г. отстранен от должности. На его место был назначен П.Н. Врангель. Скончался в Севастополе.

[200] *Шатилов Павел Николаевич* (1881–1962) — генерал-лейтенант, окончил Академию Генштаба, участник Первой мировой войны. Поддерживал выступление Л.Г. Корнилова.

С лета 1918 г. в Добровольческой армии. Был начальником 1-й Конной дивизии, затем начальником штаба Добровольческой армии (январь – май 1919, декабрь –январь 1920). С мая по декабрь 1919-го был начальником штаба Кавказской армии. В июне – ноябре 1920-го в Русской армии барона П.Н. Врангеля. Эмигрант.

[201] *Херсонский (Херсонесский) монастырь святого Владимира* находился в двух верстах от г. Севастополя. Основан в се-редине XIX столетия архиепископом Херсонским Иннокентием на месте древнего города Херсонеса Таврического. Известный археолог граф Уваров открыл на этом месте останки нескольких древних храмов. Один из них — церковь Рождества Богородицы с баптистерием (крещальней) при ней, согласно летописи, была местом Крещения святого равноапостольного князя Владимира.

[202] *Гавриил, архиепископ Челябинский и Троицкий* (в миру *Григорий Чепур*), родился 19 декабря 1874 г. в Херсоне в семье генерала. После окончания гимназии поступил в Киевскую духовную академию. По окончании академии (в 1896 г.) принял постриг в Киево-Печерской Лавре. Пять лет преподавал литургику и гомилетику в Ардонской семинарии, затем был инспектором Могилевской, а потом — ректором Полтавской семинарии. Преподавательскую деятельность оставил из-за революционных беспорядков. Занимал должность синодального ризничего, служил в церкви Двенадцати апостолов в Кремле. Был ректором Вифанской семинарии. В 1910 г. хиротонисан во епископа Измаильского, второго викария Кишиневской епархии, через год поставлен первым викарием с титулом епископа Анкерманского. После оккупации румынами Бессарабии вместе с епископом Измаильским Дионисием отказался признать отрыв Кишиневской епархии от Русской Церкви. Выслан из Бессарабии по решению румынских властей. В 1919 г. Патриарх Тихон назначил владыку Гавриила на Челябинскую кафедру, но он не смог попасть в свою епархию. В 1920 г. вместе с Русской армией оставил пределы России. Преподавал Закон Божий в Харьковском девичьем институте в г. Новый Бечей и в русско-сербской женской гимназии в г. Велика-Кикинда (после 1947 г. — Кикинда). Был членом зарубежного Синода. Скончался в феврале 1933 г.

[203] *Архимандрит Дионисий* (в миру *Дамиан Чудновец*; 1854–1932) — насельник Бахчисарайского монастыря. Его жизнеописание изложено митрополитом Вениамином в книге «Божьи люди» (М.: Отчий дом, 2011. С. 355–369). Упоминается отец Дионисий и в «Записках архиерея».

[204] *Святитель Василий Великий,* архиепископ Кесарийский, прославился верностью Православию, трудами по ограждению паствы от влияния еретиков-ариан. Составил чин Литургии, принятый во всех Восточных Церквах (в Русской Православной Церкви совершается 10 раз в год).

Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, одно время подвизался в пустыне вместе со своим другом свт. Василием Великим, пока оба они не были призваны к пресвитерскому, а затем епископскому служению. Взошел на престол архиереев Нового Рима — Константинополя, когда все храмы были заняты арианами. Своими проповедями и примером высокой чистой жизни возвратил многих заблудших в лоно Церкви. Председательствовал на Втором Вселенском Соборе (381 г.).

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, прославился необыкновенным даром красноречия, обращавшего людей на путь следования заповедям Спасителя, обличал без страха пороки и преступления начальствующих, чем нажил себе множество недоброжелателей. Особенно неистовствовала императрица Евдоксия, добившаяся того, чтобы святителя отправили в ссылку, где он и скончался. Свт. Иоанн Златоуст составил чин Литургии, названный впоследствии его именем; оставил после себя множество творений. Особенно замечательны его беседы с толкованиями Священного Писания.

[205] Митрополиты Антоний (Храповицкий), Евлогий (Георгиевский), Платон (Рождественский) — наиболее авторитетные архиереи в церковном мире на занятых белыми территориях Юга России, а затем и в эмиграции. Об отношениях их с владыкой Вениамином см. Послесловие (с. 593 настоящего издания).

[206] *Балаклавский Георгиевский монастырь* в 1891 г. торжественно отметил тысячелетие своего существования. Основан на месте языческого капища. Из трех храмов один —

пещерный VI в. Предание связывает это место с проповедью св. апостола Андрея Первозванного.

[207] *Преподобный Иона Киевский* (в миру *Иван Павлович Мирошниченко*, в схиме *Петр*; 1802–1902) происходил из семьи мещан посада Крюкова Кременчугского уезда Полтавской губернии. Семья жила в бедности, поэтому хорошего образования Иван не получил. С детства был набожным. Восемь лет прожил на послушании у преподобного Серафима Саровского. В 1836 г. поступил послушником в Брянскую Белобрежскую пустынь, в 1843 г. принял постриг с именем Иона. Затем был переведен в Киевский Николаевский монастырь, позднее — в Киево-Выдубицкий. С течением времени прп. Иона стал известным на всю Россию старцем. В 1886 г. был назначен настоятелем Киево-Межигорского Спасо-Преображенского монастыря. В 60-х гг. XX в. мощи преподобного подверглись осквернению. В 1995 г. старец Иона был причислен к лику святых, память совершается вместе с Собором Брянских святых.

[208] *Инкерманский монастырь св. Климента* — в семи верстах к юго-востоку от Севастополя. Основан в 1852 г. на месте заточения св. Климента, папы Римского, архиепископом Херсонским Иннокентием. Один из храмов — пещерный, времен св. Климента.

[209] *Сажень* — старорусская единица измерения расстояния, равная 2,13 м.

[210] *Ярославский Емельян Михайлович* (*Губельман Миней Израилевич*; 1878–1943) — советский и партийный деятель, член РСДРП с 1898 г., возглавлял Союз воинствующих безбожников (СВБ), созданный в 1925 г. на основе актива газеты «Безбожник». В 1929 г. к названию союза было добавлено определение «воинствующих», что вполне соответствовало характеру деятельности этой погромной организации, нанесшей непоправимый урон отечественной культуре. Хотя официально союз провозглашал идейную борьбу с религией, но, пользуясь монополией в сфере идеологии, обладая разветвленной сетью периодических изданий (газета «Безбожник», журналы «Безбожник», «Атеист», «Антирелигиозник», «Юные безбожники», «Безбожный крокодил», «Безбожник у станка» и др.), имея свое издательство, фактически развернул широкую кампанию клеветы, кощунства, очернительства, направленную на

Церковь, вдохновлял на погромы рядовых «безбожников» и обманутые «народные массы». Осквернение святынь, закрытие и разрушение храмов, сожжение икон, повсеместное и едва ли не ежедневное оскорбление чувств православного народа — вот далеко не полный список злодеяний СВБ. Деятельность зачинателей государственного атеизма проходила при поддержке со стороны советских и партийных органов. Сотрудничеством с СВБ запятнали себя Крупская, Красиков, Скворцов-Степанов, Демьян Бедный и др. В годы войны Союз фактически прекратил свое бесславное существование. В 1947 г. его функции были переданы Всесоюзному обществу по распространению политических и научных знаний (общество «Знание»).

[211] *Винавер Максим Моисеевич* (1863–1926) — адвокат по специальности, один из основателей кадетской партии, член ее ЦК. Одновременно видный деятель еврейских националистических организаций. Депутат I Государственной думы от Петербурга. Министр внешних сношений «Краевого правительства в Крыму». Эмигрант.

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) — член РСДРП с 1897 г. Долгие годы находился в эмиграции. После февраля 1917 г. вернулся в Россию. С приходом большевиков к власти Троцкий стал наркомом по иностранным делам, по военным и морским делам, председателем Реввоенсовета, членом Политбюро ЦК партии и членом Исполкома Коминтерна. В 1927-м исключен из РКП(б), в 1929-м — выслан за пределы СССР и в 1932 г. лишен советского гражданства. Убит в Мексике агентами НКВД.

Литвинов (Валлах Макс) Максим Максимович (1876–1951) — член РСДРП с 1898 г. С 1908 по 1918 г. — в эмиграции. Арестован в Англии после октября 1917 г., а затем обменян на британского разведчика Р. Локкарта в 1918 г. Был членом коллегии наркомата иностранных дел (с 1921 г. — замнаркома). В 1922 г. — глава советской делегации на Генуэзской конференции. В 1930–1939 гг. — нарком иностранных дел. В 1941–1943 гг. — замнаркома иностранных дел СССР и посол в США. В 1934–1941 гг. — член ЦК ВКП(б).

Свердлов Яков Михайлович (1885–1919) — член РСДРП с 1901 г., после октября 1917-го — председатель ВЦИК, первый

большевистский президент России. Близкий товарищ Ленина. Виновник и инициатор убийства царской семьи и истребления казачества. По официальной версии, скончался от тифа. По некоторым другим источникам — от последствий побоев, нанесенных рабочими.

Сокольников (Бриллиант) Григорий Яковлевич (1888–1938) — член РСДРП с 1905 г. После октября 1917-го — ответственный советский работник. В 1922–1926-м возглавлял наркомат финансов, в 1926-м — зампредседателя Госплана СССР. Был замнаркома иностранных дел. В 1936 г. исключен из ВКП(б) «за участие в троцкистско-зиновьевском блоке». Репрессирован.

Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) — член РСДРП с 1911 г. После октября 1917 г. — на ответственной партийной работе. Участник гражданской войны. В 1920 г. — член Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б). С 1922 по 1934-й занимал ряд постов в аппарате ЦК. С 1935 по 1939-й возглавлял ряд наркоматов. С 1938 по 1946-й — зам. председателя Совнаркома СССР. Отстранен от руководящей работы в июне 1957 г. Соучастник многих тяжких преступлений сталинского режима.

Характерно, что сведения о получении всеми названными лицами высшего образования отсутствуют.

Специально еврейскому вопросу посвящены две книги митрополита Вениамина (Федченкова) «Еврейский вопрос» и «Письма к еврейке».

212 *Бромберг Я.А.* Европа, Россия и еврейство: Опыт пересмотра еврейского вопроса / Предисл. В.Н. Ильина. Прага, 1931.

213 *«Еврейский мир».* Ежегодник. Париж, 1939. Объединение русско-еврейской интеллигенции в Париже. Второй номер вышел в 1940 г.

214 *Архиепископ Екатеринославский Агапит* (в миру — *Антоний Вишневский*; 1867–1924) — участник Собора 1917–1918 гг., архиерей, педантично и добросовестно исполнявший свои обязанности по управлению епархией. Горячий сторонник автокефалии Украинской Церкви. В 1918 г. торжественно встречал в Киеве Петлюру. Был запрещен в служении.

215 *Махно Нестор Иванович* (1889–1934) — анархист, до революции принимал участие в террористических актах и

экспроприациях. Был приговорен к десяти годам каторжных работ. В апреле 1918 г. создал партизанский отряд, сражавшийся с австрийскими и немецкими частями, а также с войсками гетмана Скоропадского. Был популярен среди крестьян и пользовался их поддержкой. Махновцы воевали против Белой и Красной армий, против войск Центральной рады. Правда, с Красной армией Махно трижды заключал соглашения о совместных действиях, которые вскоре нарушал. В 1921 г. перешел границу Румынии. Умер в эмиграции.

[216] *Григорьев Николай Александрович* (1878–1919) — участник Первой мировой войны. Служил в войсках Центральной рады, затем — у гетмана Скоропадского. В декабре 1918 г. присоединился к петлюровцам. С февраля 1919 г. воевал на стороне Красной армии, командовал сначала бригадой, а потом дивизией. Весной 1919 г. организовал одно из самых крупных выступлений в тылу Красной армии (так называемая «григорьевщина»). Надеялся, что его мятеж будет поддержан махновцами и зелеными. Григорьев потерпел поражение от советских частей и с остатками своих войск присоединился к махновцам. Убит в июле 1919 г. по приказу Махно.

[217] В ближайшем окружении Махно среди лиц, имевших на него непосредственное влияние, евреев было не меньше, чем среди красных комиссаров. Достаточно назвать лишь лидеров анархистской конфедерации «Набат» В. Волина (В.Н. Эйхенбаума), П.А. Аршинова (Марина), А. Барона. Погромы, вероятнее всего, не были ни в коем случае установкой, идущей «сверху». И вообще в армии Махно лицам, устраивавшим еврейские погромы, грозил расстрел.

[218] *Краснов Петр Николаевич* (1869–1947) — генерал-лейтенант, окончил Павловское военное училище, участвовал в Первой мировой войне, в 1917 г. командовал корпусом. В октябре 1917 г. должен был прибыть со своими войсками в Петроград для подавления выступления большевиков. Был взят в плен, но отпущен советскими властями под честное слово. Бежал на Дон. Весной 1918 г. избран атаманом Донского казачества. Казачьи части под руководством генерала Краснова к началу лета 1918 г. ликвидировали на Дону советскую власть. Прогермански настроенный Краснов опирался на поддержку немцев и проводил в жизнь идеи самостоятельности Дона.

Но в январе 1919 г. ему пришлось признать главенство А.И. Деникина, а в феврале Краснов подал в отставку и уехал в Германию. В 1939–1945 гг. П.Н. Краснов тесно сотрудничал с германским командованием. Взят в плен Советской армией. Казнен по приговору Верховного суда СССР.

Генерал Врангель

[219] *Раковский Г.Н.* Конец белых. От Днепра до Босфора: Вырождение, агония и ликвидация. Прага, 1921.

[220] Русская армия была образована в мае 1920 г. из реорганизованных Вооруженных сил Юга России, эвакуировавшихся в Крым в январе–феврале 1920 г.

[221] *Драгомиров Александр Михайлович* (1878–1926) — генерал, участник Первой мировой войны. Командовал армией. После октября 1917 г. участвовал в формировании Добровольческой армии. Сначала заместитель председателя, а затем и председатель Особого совещания при главкоме А.И. Деникине.

[222] *Шавельский Георгий Иванович* (1871–1951) — протопресвитер, глава военного и морского духовенства в русской Императорской армии, затем — в Добровольческой. О нем см. Послесловие.

[223] *Кривошеин Александр Васильевич* (1858–1923) — гофмейстер, член Государственного совета. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Служил в 1884–1902 гг. в различных учреждениях Министерства юстиции. В 1902–1905 гг. — начальник переселенческого управления. С 1905 г. — товарищ главноуправляющего земледелием и землеустройством. В октябре 1906 г. назначен товарищем министра финансов. В 1908–1915 гг. — главноуправляющий земледелием и землеустройством. Глава правительства у Врангеля. Эмигрант.

[224] *Богаевский Африкан Петрович* (1872–1934) – генерал-лейтенант, донской атаман.

[225] *Рогожское и Преображенское кладбища в Москве* — известные старообрядческие центры. Рогожское — старообрядцев-поповцев (признающих священство) так называемого

австрийского согласия, Преображенское — беспоповцев-федосеевцев. В 1905 г. храмы Рогожского кладбища (о котором идет речь) не открылись вновь — они и не закрывались, действуя как часовни. В них совершались все богослужения суточного круга, кроме Литургии. Она совершалась тайно, так как власти еще в XIX в. опечатали по указанию митрополита Филарета (Дроздова) не сами храмы, а двери, ведущие в алтари. Дело в том, что во времена митрополита Филарета русское правительство не признавало рукоположенных в Австро-Венгрии старообрядческих священников и препятствовало тому, чтобы они совершали общественные богослужения. А митрополиту Филарету донесли о том, что «австрийские попы» бывают в алтарях рогожских церквей и тайно служат. Поэтому последовали такие строгие меры.

[226] Беседа преподобного Серафима Саровского с Николаем Александровичем Мотовиловым «О цели христианской жизни» // Записки Николая Александровича Мотовилова. М.: Отчий дом, 2006. С. 202.

[227] *Сведенборг Эммануил* (1688–1772) — натуралист, теософ, основатель религиозного движения, «духовидец», автор многочисленных сочинений мистического характера. Исследователи сопоставляют учение Сведенборга с гностическими системами и еврейской каббалой. Сведенборг выступал с критикой протестантских догматов, основал секту «сведенборгиан».

Эккартсгаузен Карл (1752–1803) — немецкий писатель-беллетрист, автор алхимических и мистических сочинений. «Разрабатывал» средства вызывания духов.

[228] *Татаринова Екатерина Филипповна, урожденная Буксгевден* (1783–1856) — основательница «духовного союза». Определенное воздействие на ее мировоззрение оказали хлысты и скопцы. В 1817 г. перешла из лютеранства в Православие. Е.Ф. Татаринова, почувствовав «дар пророчества», основала секту. В ее кружке — «корабле» — участвовали академик живописи Боровиковский и министр духовных дел (!) князь Голицын. В секте культивировалась внешняя приверженность к обрядовой стороне Православия, но при этом ее члены должны были скрывать (в том числе и на исповеди) тайны «посвященных». Впрочем, еретики действовали вполне открыто вплоть до 1822 г., когда был издан указ о закрытии тайных

обществ. После этого сектанты действовали более осторожно. Впрочем, особенно опасаться им было нечего. Император Александр I и его супруга императрица Елизавета Алексеевна благоволили к Татариновой. При Николае I в 1825–1837 гг. существовала даже сектантская колония. Она была закрыта и разогнана, а сама Татаринова отправлена на жительство в монастырь. Потом ей разрешили жить вне монастырских стен в Москве и бывать в Петербурге. Собрания «корабля» Татариновой состояли из чтения Писания, пения хлыстовских песен, а также «кружений», «радений» и «пророчеств».

[229] *Лорд Редсток Гренвиль-Вальдигрев* (1833–1913) способствовал возникновению в России секты «пашковцев». Сам лорд Редсток был очень популярен в середине XIX в. в Англии, где выступал со своим учением, провозглашая, что человек (по своей греховности) не может заслужить спасения добрыми делами. Всех искупил от грехов Христос, поэтому-де, кто уверовал, тот и спасется. Основатель новой ереси, вышедшей из недр протестантизма, отрицал почитание святых икон, Таинства и церковную иерархию. Лорд Редсток бывал в России, проповедовал в аристократических салонах и имел определенное число последователей, среди которых наиболее фанатичным был Василий Александрович Пашков, распространявший идеи своего учителя в России.

[230] *Фесслер Игнац-Аврелий* (1756–1839) — немецкий писатель, уроженец Венгрии, русский общественный деятель. Был капуцином, но вышел из ордена и поселился во Львове. В 1796 г. в Берлине вступил в масоны. С 1809 г. — профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Был обвинен в атеизме (скорее всего, в его распространении или в потворстве безбожию) и сослан в г. Вольск. По возвращении из ссылки возглавил евангелическо-лютеранскую общину Петербурга.

[231] *Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич* (1873–1955) — советский государственный и партийный деятель. До революции занимался вопросами сектоведения, надеясь отыскать у сектантов оппозиционные настроения, которые можно было бы использовать в деле разрушения государственного механизма. Известно, что после октября 1917 г. сектанты, как «религиозно преследовавшиеся при царизме», не подверга-

лись некоторое время таким гонениям, как православные, а наоборот, пользовались поддержкой государства.

[232] *Туркул Антон Васильевич* (1892–1957) — белый генерал, участвовал в Первой мировой войне (в чине штабс-капитана). В Белом движении с самого начала. В Крыму командовал Дроздовской дивизией (в возрасте двадцати пяти лет). Эмигрант. Издавал журнал «Доброволец». С 1935 г. — глава Русского национального союза участников войны. Позднее жил в Германии, сотрудничал с немецкими войсками. С 1945 г. — председатель Комитета русских невозвращенцев.

[233] *Протоиерей Георгий Спасский* (1877–1934) — выпускник Московской духовной академии. С 1904 г. преподавал Закон Божий в средних учебных заведениях. В январе 1917 г. приглашен адмиралом Колчаком на должность главного священника Черноморского флота. Член Поместного Собора. В армии Врангеля — помощник епископа армии и флота. В Бизерте, где находился ушедший из Крыма флот, стал духовным руководителем русских беженцев. По его инициативе были организованы школы (воскресная и общеобразовательная), оказывалась необходимая материальная помощь и моральная поддержка всем нуждающимся в утешении русским изгнанникам. Отец Георгий основал православный приход в Тунисе. С 1923 г. — во Франции, а с 1925-го — священник Александро-Невской церкви в Париже.

[234] *Родионов И.А.* Наше преступление. (Не бред, а быль). Из современной народной жизни. 2-е издание. СПб., 1910.

[235] *Жлоба Дмитрий Петрович* (1887–1938) — активный участник революции 1905–1907 гг., работал на шахтах Донбасса. В 1917 г. — член Московского совета. В годы гражданской войны командир полка, бригады, а затем «Стальной дивизии». Командовал особым партизанским отрядом и кавалерийской бригадой в составе войск Б.М. Думенко. С 1922 г. — на хозяйственной работе. Репрессирован.

[236] Текст обращения генерала Врангеля:

«Слушайте, русские люди! За что мы боремся?

За поруганную веру и оскорбленные ее святыни.

За освобождение русского народа от ига коммунистов, бродяг и каторжников, вконец разоривших Святую Русь.

За прекращение междоусобной брани.

За то, чтобы крестьянин, приобретая в собственность обрабатываемую им землю, занялся бы мирным трудом.

За то, чтобы честный рабочий был обеспечен хлебом на старости лет.

За то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси.

За то, чтобы русский народ сам выбрал бы себе Хозяина.

Помогите мне, русские люди, спасти Родину!

Генерал Врангель»

[237] *Марков Николай Евгеньевич* (1866–1945) — один из лидеров Союза русского народа и Союза Михаила Архангела, депутат III и IV Государственной думы. Эмигрант. Впоследствии жил в Берлине, где был видной фигурой среди русских монархистов. Марков-второй его называли по той причине, что в Думе был еще один депутат с такой же фамилией.

[238] *Тургенев И.С.* Рудин. М., 1980. Гл. 12. С. 87.

[239] *Струве Петр Бернардович* (1870–1944) — экономист, историк, сторонник «легального марксизма». Автор манифеста I съезда РСДРП, участник Лондонского конгресса II Интернационала. С 1900 г. — либерал, редактировал за рубежом либеральный орган «Освобождение». Член ЦК партии кадетов; один из авторов сборника «Вехи». Входил в состав правительств при А.И. Деникине и П.Н. Врангеле. Эмигрант. Редактор журнала «Русская мысль» (София).

[240] *Исполать* — слава тебе; из *греч.* εἰς πολλά ἔτη (многая лета).

[241] *Махров Петр Семенович* (1876–1964) — белый генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны. Окончил Николаевскую академию Генштаба. В Добровольческую армию вступил в конце 1918 г. Был назначен заместителем начальника военных сообщений Крымско-Азовской Добровольческой армии, затем начальником военных сообщений Кавказской армии, позднее — Кубанской. После назначения генерала Врангеля главнокомандующим Вооруженными силами Юга России стал его представителем в Польше. В 1925 г. переехал во Францию.

[242] *Мильеран Александр* (1859–1943) — французский социалист. Исключен из французской социалистической партии в 1904 г. В 1920–1924 гг. — президент Франции.

[243] *Кавур Камилло Бензо* (1810–1861) — граф, видный государственный деятель Италии времен ее воссоединения.

[244] 12 октября 1920 г. в Риге были заключены предварительные условия мирного договора. Окончательно подписан через пять месяцев, в 1921 г.

[245] *Стефан, митрополит Софийский* (в миру *Стоян Попгеоргиев Шоков*; 1878–1957) — видный болгарский церковный деятель. Окончил Киевскую духовную академию. Митрополитом Софийским служил 26 лет — с 1922 г. Был убежденным русофилом и славянофилом.

[246] *Булгаков Сергей Николаевич* (1871–1944) — философ, экономист, один из авторов сборника «Вехи». В начале своей деятельности — марксист. Под влиянием В. Соловьева обратился к религиозным ценностям. С 1918 г. — священник. В 1922 г. выслан из СССР. Профессор Богословского института в Париже (с 1925 по 1944 г.). Учение отца Сергия Булгакова о Софии вызвало острые дискуссии в православном мире.

[247] *Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение».* Ныне находится в главном православном храме Архиерейского Синода в Нью-Йорке (США). В 1989 г. копия этой иконы была передана в Россию, в дар Курской-Коренной пустыни. Ежегодно (с 2009 г.) в течение двух недель древняя чудотворная икона пребывает на своей исторической родине.

[248] *Феофан, епископ,* позднее архиепископ (в миру *Федор Георгиевич Гаврилов*; 1872–1943), окончил Киевскую духовную академию, где во время обучения принял монашеский сан. С 1913 г. — епископ Рыльский, второй викарий Курской епархии. В 1920 г. объезжал с Курской-Коренной иконой Божией Матери русские приходы в Западной Европе. Последние годы жизни провел в Белграде.

[249] *Дни покаяния* — одна из примет церковной жизни того времени. Они проводились в Петрограде, Москве, в других городах России. Так, в екатерингофской Екатерининской церкви богослужение во время особых дней покаяния в 1918 г. продолжалось всю ночь и завершилось под утро общей исповедью всех присутствующих в храме. Подобные богослужения (см. Церковные ведомости. 1918. № 9–10) были проведены в ряде петроградских храмов. По распоряжению митрополита Петроградского Вениамина (Казанского) нака-

нуне дня Воздвижения Креста Господня в храмах Петрограда совершался за всенощным бдением особый чин всенародного покаяния. Трехдневный пост, служение Литургии с особыми покаянными прошениями на ектениях были установлены после всенародных молений в Троице-Сергиевой Лавре в августе – сентябре 1918 г.

[250] Панихида была совершена Патриархом Тихоном и сослужившим ему духовенством в Казанском соборе на Красной площади.

[251] См.: *Александр Рождественский, прот.* Святейший Тихон, Патриарх Московский. София, 1922.

[252] Авторы некоторых воспоминаний (в частности, Я.А. Слащев) считают, что организовать крестный ход предложил не протоиерей Востоков, а сам владыка Вениамин. Однако известно, что в то время он назвал эту затею «святой мечтой», что еще во время Собора 1917–1918 гг. архимандрит Вениамин выступил на одном из заседаний противником проведения крестного хода во время октябрьских боев в Москве.

[253] В свое время будущий митрополит Вениамин был домашним учителем в этой семье. С.Н. Обухов — председатель уездной земской управы, предводитель дворянства — жил с семьей на Волыни, в Житомире, и был в дружеских отношениях с архиепископом Антонием (Храповицким) и архимандритом Феофаном (Быстровым), по рекомендации которого будущий владыка и был принят в семью Обуховых. Затем они надолго теряют друг друга из виду. И встречаются вновь уже в 1919 г. С.Н. Обухов скончался от тифа (он получил должность черниговского вице-губернатора, но, кажется, так и не добрался до места своего назначения). Сын Обуховых — Николай (Колечка, как ласково называл воспитанника владыка) — был расстрелян красными. О.В. Обухова покинула Россию вместе с епископом Вениамином. Несколько раз они встречались в Сербии и в Париже у архиепископа Феофана (Быстрова), который благословил Обухову принять иноческий постриг. С его же благословения монахиня Анна (Обухова) отправилась по вызову владыки Вениамина в Америку. С этого времени они уже не разлучались. До конца жизни связывала их проверенная временем и совместно пережитыми испытаниями духовная дружба. Матушке Анне адресовал митрополит Вениамин свою

книгу «Объяснение двунадесятых праздников». В «Записках архиерея» владыка так характеризует матушку Анну: «Ей уже девяностый год... Она живет в моем архиерейском доме в Ростове. Монахиня. Была женой вице-губернатора. Глубоко верующий и богословски образованный человек. Знает кроме русского языка еще четыре». Монахиня Анна вместе с владыкой Вениамином вернулась на Родину. Рассказывают, что когда кто-нибудь сомневался в целесообразности того, что матушка Анна «состояла» при владыке, он обыкновенно отвечал: «Если министр сам будет печь пирожки, то дела в министерстве запустеют!»

Церковные Соборы в Москве и Киеве

254 *Патриарх Филарет* (в миру *боярин Федор Никитич Романов*) оказывал сильное влияние на дела государственного управления и лично воздействовал на сына — царя Михаила Федоровича, избранного на русский престол Земским Собором в 1613 г.

255 В авторском машинописном экземпляре книги цифра 300 от руки исправлена на цифру 586. Согласно «Церковным ведомостям», на торжественном открытии Всероссийского Поместного Собора Православной Российской Церкви в Успенском соборе Кремля в день Успения Божией Матери 15 августа 1917 г. присутствовало 588 членов Собора (Церковные ведомости. 1917. № 34). В своих лекциях, прочитанных весной 1990 г. в Московской духовной академии, канадский исследователь Д. Поспеловский дал следующую цифру: 564 депутата с решающим голосом, из них 314 мирян и 250 человек духовенства (Доклад третий. Московский Собор, Патриарх Тихон и революция).

256 *Розов Константин Васильевич* (1874–1923) — служил в храме Христа Спасителя, в Успенском соборе Кремля (в сане протодиакона). Обладал уникальным голосом, редким музыкальным слухом и знанием богослужебной традиции. Снискал любовь и уважение москвичей, величавших его «наш дядя Костя». Ему посвящали свои произведения композиторы П. Чесноков и А. Кастальский. После восстановления патриаршества К.В. Розову было присвоено звание патриаршего

архидиакона. Был солистом Московской государственной капеллы, выступавшей с программой из светских и духовных произведений.

[257] *Карташев Антон Владимирович* (1875–1960) — богослов, историк Церкви, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. 25 июля 1917 г. назначен обер-прокурором Синода, а в начале августа того же года назначен на пост министра исповеданий. Эмигрант. Профессор Православного Богословского института в Париже.

[258] *Митрополит Анастасий* (*Грибановский*; 1873–1965) возглавил Русскую Православную Церковь за границей после смерти митрополита Антония (Храповицкого).

[259] Послание Патриарха Тихона от 8 октября 1919 г. о невмешательстве Церкви в борьбу враждующих сторон, о запрещении духовенству отдавать предпочтение какой-либо из них.

«Церковь не связывает себя ни с каким определенным образом правления, ибо таковое имеет лишь относительное историческое значение.

Говорят, что Церковь готова будто бы благословить иностранное вмешательство в нашу разруху, что она намерена звать "варягов" прийти помочь нам наладить наши дела...

Обвинение голословное, неосновательное. Мы убеждены, что никакое иноземное вмешательство, да и вообще никто и ничто, не спасет России от нестроения и разрухи, пока Правосудный Господь не преложит гнева Своего на милосердие, пока сам народ не очистится в купели покаяния от многочисленных язв своих...» (Распоряжения Высшей церковной власти. Вятка. 1919. № 21– 22).

[260] *Епископ* (впоследствии *архиепископ*) *Серафим* (в миру *Михаил Митрофанович Остроумов*; † 1937) прославлен в лике святых Русской Православной Церкви. Родился в 1880 г. в семье псаломщика в Москве, окончил Московскую духовную академию, в 1904 г. принял монашеский постриг. С 1907 г. — настоятель Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря Холмской епархии (недейств., в настоящее время существует Люблинская и Холмская епархия Польской Православной Церкви). С 1917 г. — епископ Орловский и Севский. Несколько раз арестовывался. С 1927 г. — архиепископ Смоленский и

Дорогобужский. В 1936 г. архиепископ Серафим был сослан в Караганду. Спустя полгода следствие по его делу было возобновлено. Приговорен «тройкой» НКВД к расстрелу. Память сщмч. Серафима совершается вместе с Собором новомучеников и исповедников Российских.

261 Архиепископы Аполлинарий (Кошевой), Тихон (Троицкий) и Виталий (Максименко).

262 *Грушевский Михаил Сергеевич* (1866–1934) — украинский историк, сторонник самостоятельного пути развития Украины. В 1917 г. — один из организаторов Центральной Рады. С 1919 по 1924 г. в эмиграции. Возвратился в СССР. Академик АН СССР (1929).

Винниченко Владимир Кириллович (1880–1951) — украинский писатель. С 1901 г. член Революционной Украинской партии, с 1907 г. в Украинской социал-демократической рабочей партии. Жил в эмиграции в 1907–1914 гг. После февраля 1917 г. — один из организаторов Центральной Рады. В ноябре 1918 – феврале 1919 гг. возглавлял Директорию. С 1919 г. — эмигрант. Вернулся на Украину летом 1920 г. Был назначен заместителем председателя Совнаркома, но вскоре вновь эмигрировал.

Макаренко Андрей? (1885–1963) — чиновник управления железных дорог. Один из руководителей Директории.

263 *Липковский Василий Константинович* (1864–1937) родился в селе Попудне Липовецкого уезда Киевской губернии в семье священника. Окончил Киевскую духовную академию. В 1891 г. рукоположен во священника. В 1917 г. избран главой революционного съезда духовенства и мирян, затем назначен заместителем председателя Всеукраинской православной церковной рады, главной целью которой была автокефалия УПЦ. Подвергался каноническим прещениям. Был избран предстоятелем неканонической Украинской автокефальной православной церкви. Приговорен «тройкой» НКВД к смертной казни и расстрелян.

264 *Кош* — тыловая часть легиона Украинских сечевых стрельцов в составе австро-венгерской армии.

265 *Епископ* (с 1927 г. — *архиепископ*) *Пахомий* (в миру *Петр Кедров*; 1876–1937) — епископ Черниговский с 1917 по 1927 г.

[266] Священномученик Владимир (Богоявленский).

[267] *Епископ* (с 1921 г. — *архиепископ*) *Пимен* (в миру *Павел Григорьевич Пегов*; 1875–1942) — епископ Подольский с 1918 по 1923 г. С 1922 по 1935 г. пребывал в обновленческом расколе. Принес покаяние и вернулся в лоно Матери-Церкви.

[268] *Неисцельно* (*устар.*) — неизлечимо.

[269] *Митрополит Флавиан* (в миру *Николай Николаевич Городецкий*; 1841–1915). Родился в Орле в дворянской семье. В детском возрасте лишился родителей, воспитывался в доме тети. Обучался на юридическом факультете Московского университета, но учебу не закончил — на четвертом курсе стал послушником Николо-Пешношского монастыря. В 1866 г. пострижен в монашество. С 1873 г. — член, позднее глава, Пекинской духовой миссии. С 1891 г. — епископ Холмский и Варшавский. В 1898 г. назначен экзархом Грузии, в 1901 г. — архиепископом Харьковским и Ахтырским. С 1903 г. — митрополит Киевский и Галицкий.

[270] С.В. Петлюра эмигрировал в Польшу. Однако власти СССР потребовали его выдачи. Петлюра переехал в Венгрию, затем Австрию, Швейцарию, Францию. Он был убит в Париже в 1926 г. Шоломом Шварцбардом, обвинившим Петлюру в еврейских погромах.

[271] *Архиепископ* (впоследствии *митрополит*) *Евлогий* (в миру *Василий Семенович Георгиевский*; 1868–1946). См. о нем Послесловие.

[272] Митрополита Антония (Храповицкого) и архиепископа Евлогия (Георгиевского) увезли в униатский монастырь в г. Бучач близ Тернополя.

[273] *Димитрий Уманский* (в миру *Максим Андреевич Вербицкий*; 1869–1932) — епископ (с 1910), а затем архиепископ (с 1925) Уманский. С 1930 г. — архиепископ Киевский.

Парфений Тульский (в миру *Памфил Андреевич Левицкий*; 1858–1921) — архиепископ Полтавский и Переяславский. С 1908 по 1917 г. окормлял Тульскую епархию.

Агапит Екатеринославский — см. коммент. № 214.

[274] Священномученик Макарий, митрополит Киевский, был убит татарами в 1497 г. во время совершения Божественной литургии на берегу реки. Святитель был погребен в Софийском соборе г. Киева. Ныне святые

мощи митрополита Макария покоятся во Владимирском кафедральном соборе.

[275] Последствия вредоносной деятельности «липковцев» для верующих Украины были ужасными. Православным священникам пришлось перекрещивать детей, перевенчивать супругов, словом, совершать все то, на что «липковцы» не имели права посягать, но все равно посягали, дерзко нарушая при этом каноны Вселенского Православия.

[276] *Архиепископ Алексий* (в миру *Анемподист Яковлевич Дородницын*; 1859–1919) — епископ Сумской, викарий Харьковской епархии. В 1918 г. пытался захватить церковную власть и провозгласить автокефалию Украинской Церкви.

[277] *Митрополит Николай* (в миру *Борис Дорофеевич Ярушевич*; 1892–1961) — окончил гимназию и Санкт-Петербургскую духовную академию, принял монашество в 1914 г. и вскоре выехал на фронт. Сначала был священником при санитарном поезде, а затем полковым священником лейб-гвардии Финляндского полка. С 1915 по 1917 г. преподавал в духовной академии в Петрограде. В 1919 г. — наместник Александро-Невской Лавры. В 1922 г. хиротонисан во епископа Петергофского, викария Петроградской епархии. С 1935 г. — архиепископ Петергофский. С 1936 по 1940 г. управлял Новгородской и Псковской епархиями. В 1940 г. — архиепископ Волынский и Луцкий, экзарх Украины и Белоруссии. Возведен в сан митрополита (1941). В 1942–1943 гг. управлял Литовской епархией и состоял управляющим делами Московской Патриархии. Член Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их союзников. В 1944 г. назначен митрополитом Крутицким. Доктор богословия. Сыграл большую роль в деле соединения зарубежных приходов с Русской Православной Церковью. Незадолго до кончины у митрополита Николая был острый конфликт с администрацией Н.С. Хрущева. Скончался во время операции.

[278] *Кадикей — Скутари (Искюдар)* — малоазийская часть Константинополя, лежит на восточном берегу Босфора на месте древних Хрисополя и Халкидона. IV Вселенский Собор состоялся в 451 г.

[279] Юстиниан Великий (527–565) на месте сгоревшего в 532 г. храма возвел величественное здание — знаменитый храм Святой Софии.

[280] *Масарик Томаш* (1850–1937) — президент Чехословакии в 1918–1935 гг. Один из организаторов действовавшего в 1918 г. в Сибири и Поволжье Чехословацкого корпуса, который вел военные действия против советской власти.

[281] Имеется в виду Русский балет Дягилева, который базировался в Монте-Карло.

[282] *Галата и Пери* — бывшие предместья Константинополя, лежавшие на противоположной от города стороне бухты Золотой Рог. Ныне районы Стамбула.

[283] Марковская, Корниловская и Дроздовская дивизии.

[284] Генуэзская конференция проходила с 10 апреля по 19 мая 1922 г. Участвовало 29 государств, в том числе СССР.

Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) — советский государственный и партийный деятель. Дипломат. Возглавил советскую делегацию на Генуэзской конференции.

[285] Это собрание было одной из ступеней на пути подготовки Всезарубежного Собора, состоявшегося в 1921 г. в Сремских Карловцах.

[286] В 1925 г. в Лондоне торжественно отмечалось 1600-летие I Вселенского Собора, проходившего в 325 г. в Никее.

[287] Св. великомученик Димитрий Солунский пострадал около 306 г. Память совершается 26 октября / 8 ноября.

[288] *Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалонитский* (†1357), разработал учение о Божественных энергиях, о природе Фаворского света. Память — 14/27 ноября и во вторую Неделю Великого поста.

[289] *Блаженный Августин, епископ Иппонийский* (†430), — учитель Церкви IV–V веков, оказавший огромное влияние на развитие богословской мысли на Западе, ревностный борец с ересями, расколами и язычеством. Основные труды блаж.

Августина: апологетическое сочинение «О граде Божием», «Энхиридиан», «Комментарий» и биографические сочинения: «Исповедь», «Письма», «Исправления». Главные пункты богословия блаж. Августина: учение о Святой Троице, о грехе и благодати. Впервые в богословской мысли им выдвинуты так называемые «антропологические вопросы», то есть вопросы, касающиеся отношения человека к Богу.

[290] *Фома Аквинский* (1225–1274) — католический святой, богослов и философ. Главный труд — «Сумма теологии» (не окончен), а также «Сумма философии» (об истинности католической веры против язычников).

[291] *Стамболийский Александр Стоименов* (1879–1923) — болгарский политический и государственный деятель. В 1918–1920 и 1920–1923 гг. — глава правительства. При нем Болгария установила дипломатические отношения с СССР. Убит во время переворота в 1923 г.

[292] *Борис III* (1894–1943) — царь Болгарии (1918–1943). Взошел на престол после Первой мировой войны, в которой Болгария, выступавшая на стороне фашистской Германии, потерпела поражение.

[293] *Александр I Карагеоргиевич* (1888–1934) — с 1921 г. король Югославии (до 1929 г. — Королевство сербов, хорватов и словенцев). Убит хорватскими националистами-усташами.

[294] *Крупенский Павел Николаевич* — монархист, член II Государственной думы. После октября 1917 г. — эмигрант. Член Высшего монархического совета.

[295] *Трепов Александр Федорович* (1862–1928) — российский государственный деятель, министр путей сообщения, с 10 ноября по 27 декабря 1916 г. был председателем Совета Министров. Его отец, Федор Федорович, был петербургским градоначальником, а брат, Дмитрий, — дворцовым комендантом.

[296] *Локоть Тимофей Васильевич* (1869–1942) — российский ученый, доктор агрономии, профессор Ново-Александрийского сельскохозяйственного института. Политик, член I Государственной думы, публицист. Эмигрант, жил в Сербии.

[297] *Родзянко Михаил Владимирович* (1859–1924) — октябрист, председательствовал в III и IV Государственных думах.

[298] *Митрополит Сергий* (в миру *Георгий Алексеевич Тихомиров*; 1871–1945) родился в селе Гузи Новгородского уезда Новгородской губернии в семье протоиерея Алексия Тихомирова. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1895 г. принял монашеский постриг. В 1905 г. назначен ректором академии. В том же году рукоположен во епископа Ямбургского, викария Санкт-Петербургской епархии. В 1908 г. назначен епископом Киотским, викарием Токийской кафедры. Был помощником святителя, равноапостольного Николая Японского, после блаженной кончины которого в 1912 г. стал руководителем миссии, епископом Токийским и Японским. Известен как талантливый писатель, историк, проповедник.

[299] *Николай Николаевич* (1856–1929) — великий князь, внук Николая I, генерал от кавалерии. В 1914–1915 гг. — Верховный главнокомандующий. В 1915–1917 гг. — главнокомандующий войсками Кавказского фронта. Эмигрант.

[300] *Ксения Александровна* (1875–1960) — супруга великого князя Александра Михайловича (1866–1933).

[301] *Гавриил Константинович* (1887–1939) — великий князь.

[302] *Андрей Владимирович* (1879–1956) — великий князь, сын великого князя Владимира Александровича.

[303] *Архиепископ Владимир* (в миру *Вячеслав Михайлович Тихоницкий*; 1873–1959) родился в семье священника Михаила Тихоницкого, канонизированного в 2003 г. в чине священномученика. Окончил Казанскую духовную академию. В 1897 г. пострижен в монашество. В 1907 г. был рукоположен во епископа Белостоцкого, викария Гродненской епархии. Противодействовал устремлениям Польской Православной Церкви к автокефалии. В 1923 г. возведен в сан архиепископа. В 1924 г. выдворен польским правительством в Чехословакию. Переехал во Францию, был назначен архиепископом Ниццким. В 1931 г. перешел под юрисдикцию Константинопольского Патриархата. В 1947 г. Константинопольским Патриархатом возведен в сан митрополита.

[304] *Милица Николаевна* (1866–1951) — великая княгиня, супруга великого князя Петра Николаевича (1864–1931), урожденная черногорская княжна из династии Петровичей-Негошей.

[305] *Ольга Александровна* (1882–1952) — великая княгиня, дочь императора Александра III, супруга принца Петра Александровича Ольденбургского.

[306] *Татьяна Константиновна* (1890–1979) — княгиня императорской крови, супруга князя К. Багратиона-Мухранского.

[307] *Кирилл Владимирович* (1876–1938) — великий князь; второй сын великого князя Владимира Александровича, третьего сына императора Александра II; двоюродный брат Николая II.

[308] *Архимандрит Сергий* (в миру *Кирилл Георгиевич Шевич*; 1903–1987) родился в семье русского дипломата. Эмигрировал с семьей в 1920 г. Сначала жил в Швейцарии, потом в Германии. С 1923 г. — во Франции, в Париже. Во время немецкой оккупации был арестован, позднее освобожден. В 1941 г. принял монашеский постриг. В 1945 г. рукоположен в иеромонаха. Настоятель Свято-Троицкого храма в г. Ванв, под Парижем, в юрисдикции Московского Патриархата. В 1954 г. возведен в сан архимандрита.

Европа

[309] *Архиепископ Савватий (Брабец)* — чех по национальности, получивший образование в России (закончил Киевскую духовную академию). В 1923 г. Константинопольским Патриархом поставлен экзархом Средней Европы с титулом архиепископа Пражского и всей Чехословакии. В 1942 г. был арестован и отправлен в концлагерь Дахау. Освобожден в 1945 г.

[310] *Архиепископ Сергий* (в миру *Аркадий Дмитриевич Королев*; 1881–1952) — был викарием митрополита Евлогия (Георгиевского) в Праге. Его стараниями был устроен русский Успенский храм на Ольшанском кладбище. Скончался в Казани. Последний титул — архиепископ Казанский и Чистопольский.

[311] *Лем* (частица) — лишь, только.

[312] *Бенеш Эдуард* (1884–1948) — государственный деятель Чехословакии, в 1918–1935 гг. — министр иностранных дел, в 1935–1938 гг. — президент. С 1940 г. — президент в эмиграции.

Вновь занимал этот пост на родине в 1946 г. и в 1948 г. (после февральских событий) вышел в отставку.

[313] *Сергий (Страгородский), архимандрит.* Православное учение о спасении: Магистерская диссертация. Сергиев Посад, 1895. (Совр. изд.: М.: Издательский отдел Московской Патриархии, 1991 (репр. 1898).)

[314] *Генри Эгард Уоллес* (1888–1965) — политический и государственный деятель США. В 1933–1940 гг. — министр сельского хозяйства, в 1941–1945 гг. — вице-президент в правительстве Ф. Рузвельта.

[315] Зимой 1937 г. Гитлер издал декрет о переходе всех церковных имуществ в распоряжение министерства культов. После этого началась передача храмов, находившихся в юрисдикции митрополита Евлогия (Георгиевского), в руки карловчан. Осенью 1938 г. епископом Потсдамским был назначен Серафим (Ляде) — принявший Православие немец. Священников, не связанных с карловчанами, вынуждали перейти в подчинение Архиерейского Синода, который к тому времени уже возглавлял митрополит Анастасий (Грибановский).

[316] В авторском машинописном экземпляре настоящей книги, находящемся в распоряжении издательства, главы «О войне» не существует.

[317] Договор о ненападении между СССР и Германией 1939 г. (пакт Молотова-Риббентропа).

[318] *Максим Циник* (Киник; IV в.), будучи в дружеских отношениях со святителем Григорием Богословом, попытался сместить его с Константинопольской кафедры.

[319] *Блюм Андре Леон* (1872–1950) — французский политический и государственный деятель. Глава Французской социалистической партии. Сформировал блок из социалистов, коммунистов и радикалов и победил на выборах в парламент в 1936 г. В 1936–1937 гг. занимал пост премьер-министра Франции (первый социалист во главе правительства). В 1943 г. был заключен в концлагерь «Бухенвальд», в 1945 г. — освобожден. В конце 1946 г. непродолжительное время возглавлял государство и правительство.

[320] *Деладье Эдуард* (1884–1970) — в 1933–1934 гг. французский премьер-министр, лидер партии радикалов. Подписал печально известное Мюнхенское соглашение

(1938) о передаче Чехословакией Германии Судетской области.

[321] *Де Голль Шарль* (1890–1970) — генерал, основал в 1940 г. патриотическое движение «Свободная Франция» (с 1942 г. — «Сражающаяся Франция»). С 1943 г. вместе с генералом Анри Жиро возглавил Французский комитет национального освобождения. Президент Франции в 1958–1969 гг.

[322] *Жиро Анри Оноре* (1879–1949) — французский военачальник, генерал. Наряду с де Голлем был сопредседателем Французского комитета национального освобождения.

[323] *Комб Эмиль* (1835–1921) — французский государственный деятель. В 1902–1905 гг. глава правительства. В годы его правления Франция разорвала отношения с Ватиканом, был принят закон об отделении Церкви от государства и запрещена деятельность религиозных обществ в сфере народного просвещения.

[324] *Клемансо Жорж* (1841–1929) — премьер-министр Франции в 1906–1909 гг. и в 1917–1920 гг.

[325] *Петен Анри Филипп* (1856–1951) — маршал Франции, командовал французскими армиями в 1914–1918 гг. В 1940–1944 гг. — глава коллаборационистского правительства в Виши.

[326] Здесь в машинописном тексте воспоминаний владыки Вениамина — «темное место», содержащее явное противоречие. Неправильно названа дата — 1914 г. Возможно, автор передает чей-то разговор, чье-то мнение, так как сам он не был епископом в 1914 г., не был он епископом и в 1918 г., когда германские войска заняли Украину.

[327] *Маритэн Жан* (1882–1973) — французский философ, основатель неотомизма.

[328] Французский президент Поль Думер был убит П. Горгуловым 6 мая 1932 г. Русская эмиграция в лице своих наиболее авторитетных представителей на следующий же день после убийства П. Думера отмежевалась от безумной акции Горгулова.

[329] *Архимандрит Лев* (в миру *Луи Жилле*; 1892–1980) после Первой мировой войны поступил в бенедиктинский монастырь в Фарнборо. В 1924 г. перешел в монастырь

восточного обряда. В 1928 г. перешел в Православие. Одно время преподавал французский язык в парижском Православном Богословском институте.

[330] *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы // Собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 10. Ч. IV. С. 105.

[331] Съезд русской эмиграции проходил 4–11 апреля 1926 г.

[332] *Казем-Бек Александр Львович* (1902–1977) — публицист, церковный деятель, богослов. В возрасте 16–17-ти лет принимал участие в Белом движении. С 1920 г. — вместе с семьей в эмиграции. В 1957 г. вернулся на родину и был сотрудником Московской Патриархии.

[333] *Трубецкой Николай Сергеевич* (1890–1938) — русский ученый, языковед, участник Пражского лингвистического кружка. В 1920 г. эмигрировал.

[334] *Савицкий Петр Николаевич* (1895–1968) — русский экономист, географ, социолог. Участник Белого движения, эмигрант. С 1922 по 1945 г. жил в Праге. В 1945–1954 гг. находился в заключении в Мордовии по обвинению в контрреволюционной деятельности. В 1956 г. реабилитирован. Вернулся в Прагу.

[335] *Сувчинский Петр Петрович* (1892–1985) — философ, музыковед, публицист. С 1920 г. — в эмиграции. В 1937 г. побывал в СССР, был разочарован культурной ситуацией. В 1946 г. принял решение не возвращаться в Россию.

[336] «Сменовеховство» — философско-политическое течение в среде русской эмиграции в 1920-х гг. Название происходит от сборника статей «Смена вех», вышедшего в 1921 г. в Праге. Сменовеховцы выступали за сотрудничество с Советской Россией.

[337] Имеется в виду Скоблин Николай Васильевич (1893 – ок. 1937) — генерал Белой армии, участник Первой мировой войны. Эмигрант. В 1930 г. был завербован НКВД. Участвовал в похищении Е. К. Миллера. Умер при невыясненных обстоятельствах в Испании. Его жена, Надежда Васильевна Плевицкая, известная певица, была осуждена на 20 лет за соучастие в похищении Миллера и умерла в тюрьме.

[338] *Гессен Иосиф Владимирович* (1865–1943) — российский государственный и политический деятель, публицист, юрист. Был близок к народовольцам. Один из лидеров партии кадетов.

Депутат II Государственной думы. В 1919 г. эмигрировал в Финляндию. Издавал ежедневную эмигрантскую газету «Руль» вместе с В.Д. Набоковым и А.И. Каминкой в 1920–1931 гг. в Берлине. Тираж — 20 тыс. экземпляров. В 1941 г. переехал в США.

339 ИМКА (YMCA, Young Men's Christian Association) — Молодежная христианская ассоциация. Основана в Лондоне в 1844 г., имеет отделения в более чем 130 странах мира.

340 *Вышеславцев Борис Петрович* (1877–1954) — окончил юридический факультет Московского университета, с 1917-го — профессор. В 1922 г. выслан из СССР. Жил в Париже, преподавал в Православном Богословском институте. Скончался в Женеве.

341 *Флоровский Георгий Васильевич* (1893–1970) — окончил историко-филологический факультет Одесского университета. Эмигрант. В 1932 г. принял священный сан. С 1926 по 1939 г. — профессор Православного Богословского института в Париже. В 1939–1955 гг. — профессор и декан Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. Выдающийся богослов, автор трудов по византологии и истории русской философии.

342 *Ильин Владимир Николаевич* (1891–1974), выпускник Киевского университета (окончил 3 факультета), мыслитель, агиограф, литургист, профессор Богословского института в Париже.

343 *Зеньковский Василий Васильевич* (1881–1962) — окончил естественно-математический и историко-филологический факультеты Киевского университета, в 1915–1919 гг. — профессор Киевского университета. Министр исповеданий в правительстве Скоропадского. С 1919 г. — эмигрант. В 1920–1923 гг. — профессор философии Берлинского университета, в 1923–1926 гг. — директор Педагогического института в Праге. В 1926–1962 гг. — профессор Православного Богословского института в Париже. С 1942 г. — священник. Христианский философ.

344 *Франк Семен Людвигович* (1877–1950) — религиозный философ. В юности участвовал в марксистских кружках. В 1899 г. был арестован. После освобождения жил в Германии. Вернувшись в Россию, опубликовал работы на

философские темы. В 1912 г. принял Православие. В 1922 г. был выслан из России. Проживал в Берлине, затем в Париже и Лондоне.

[345] *Коковцов Владимир Николаевич* (1853–1943) — русский государственный деятель. В 1904–1905 и 1906–1914 гг. — министр финансов, в 1911–1914 гг. премьер-министр. С 1918 г. — эмигрант.

[346] *Болдуин Стэнли* (1867–1947) — британский политик и государственный деятель. В 1921–1922 гг. — министр торговли; в 1923–1924, 1924–1929, 1935–1937 гг. — премьер-министр.

[347] *Франко Франсиско* (1892–1975) — испанский государственный и военный деятель, глава Испанского государства в 1939–1975 гг. Во время гражданской войны 1936–1939 гг. возглавлял антиреспубликанские силы. На стороне Республики воевали коммунисты, социалисты и анархисты.

[348] *Фалангисты* — члены «Испанской фаланги», крайне правой политической партии в Испании. При режиме Ф. Франко — единственная партия в стране.

[349] *Сфорца Карло.* Европа и европейцы. Нью-Йорк, 1936.

К. Сфорца (1872–1952) — итальянский государственный и политический деятель. Происходил из аристократического рода. В 1920–1921 гг. — министр иностранных дел Италии. После прихода фашистов к власти покинул страну. Находился в эмиграции во Франции, Англии, США. В 1943 г. вернулся в Италию. В 1947–1951 гг. — министр иностранных дел.

СОДЕРЖАНИЕ

В серии **«Митрополит Вениамин (Федченков). Наследие»** готовится к выходу новая книга.

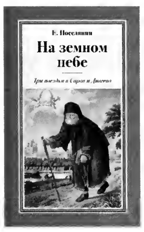


Митрополит Вениамин (Федченков). Служение в Америке (1933–1947)

Предлагаемое издание является первым обзорным исследованием архипастырской деятельности митрополита Вениамина (Федченкова) в Северной Америке в 1933–1947 гг. Служение в Америке стало для владыки Вениамина исповедническим путем верности Матери-Церкви. В книге собраны архивные документы, письма и доклады патриаршего экзарха в Америке митрополита Вениамина Патриархам Сергию (Страгородскому) и Алексию (Симанскому). Основная часть документов публикуется впервые.

Переплет, 146x221 мм, 920 с.

В серии **«Преподобный Серафим Саровский»** вышли в свет следующие книги: Е. Поселянин. «На земном небе» и «Милость преподобного Серафима».



Е. Поселянин
На земном небе.
Три поездки в Саров и Дивеево

В книге собраны три очерка знаменитого духовного писателя Евгения Поселянина, рассказывающих о посещении им Саровской пустыни и Дивеевского монастыря накануне прославления преподобного Серафима и в дни самих Саровских торжеств (1903 г.). Там, по сердечному ощущению автора, «небесное переплелось с земным», и уже не знаешь, «где кончилась земля и началось небо».

Переплет, 130x206 мм, 336 с.



Милость преподобного Серафима.
Рассказы о чудесной помощи

Книга рассказывает о случаях милостивой помощи преподобного Серафима Саровского тем, кто обращается к нему с молитвой. Это бесценные рассказы замечательных русских духовных писателей Е. Поселянина, С. Нилуса, И. Шмелева. Это свидетельства священнослужителей, принимавших участие в торжествах прославления Саровского чудотворца; рассказы известных иерархов Русской Православной Церкви и малоизвестных ее подвижников.

Переплет, 130x206 мм, 528 с.

Митрополит Вениамин (Федченков)

НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ

Выпускающий редактор *Бутримова Л.В.*
Редактор *Земцова М.Ф.*
Корректор *Алёшина Е.А.*
Дизайн и верстка *Михалицын В.С.*
Технический редактор *Гулина А.Л.*

Подписано в печать 25.04.2016
Формат 60x90/16. Физ. п. л. 44
Тираж 6 000 экз. Заказ № 5182 .

ООО Издательство «Отчий дом»
119017, Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1
Тел.: 8 (499) 261-18-87

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



«На рубеже двух эпох» — уже полюбившаяся читателю книга воспоминаний митрополита Вениамина (Федченкова, 1880–1961). Владыка был свидетелем трех революций, двух мировых войн, жил в годы гонений на христиан, в эмиграции на себе ощутил всю тяжесть церковного раскола. Митрополит Вениамин пишет о своей жизни, вспоминает пережитое, но благодаря дару смирения в центре повествования оказывается не его личность, а время, в которое он жил, и люди, с которыми встречался. Владыка — талантливый рассказчик, чуткий наблюдатель, у него внимательный глаз и острая память, и потому картины событий, выходящие из-под его пера, становятся живыми, а портреты современников — святого праведного Иоанна Кронштадтского, императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, П.Н. Врангеля, Г.Е. Распутина и многих других — яркими и запоминающимися.



Отчий дом